

ГАРДЕНИНЫ

А.И.ЭРТЕЛЬ

А.И.ЭРТЕЛЬ

ГАРДЕНИНЫ

А.И.ЭРТЕЛЬ

ГАРДЕНИНЫ,

ИХ ДВОРНЯ,
ПРИВЕРЖЕНЦЫ
И ВРАГИ

•
РОМАН



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •
1987

ББК 84Р1

Э82

Текст печатается по изданию:

Эртель А. И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги.
М., Гослитиздат, 1960.

Послесловие

К. ЛОМУНОВА

Художник

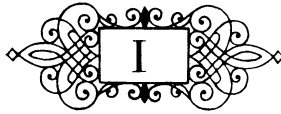
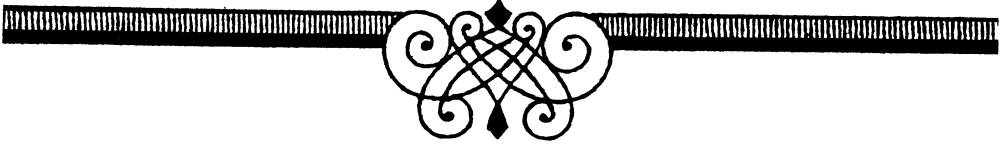
А. ИТКИН

Оформление художника

Д. ШИМИЛИСА



ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ



Экскурсия швейцара Григория в область сравнительной физиологии.— Откровенные излияния барчука.— «Орел».— Нервы и сон Элиз Гардениной.— Утро ее превосходительства.— Вернопреданное письмо.— «Серебряный чай».— Успокоительные отчеты.— Случай на Сенной и неудачная поездка дворецкого Климона Алексеича на студенческую квартиру.— «Ну, времечко наступило!»



Вимнее петербургское утро. Пухлыми непрерывными хлопьями падет снег. С Гагаринской набережной видны, как сквозь сито, очертания Васильевского острова, мосты, елки на Неве, придавленные стены Петропавловской крепости, шпиц собора и правее — спутанные линии крыш на Петербургской и на Выборгской, далекие фабричные трубы. Швейцар Григорий окончил чай в своей каморке, перетер и прибрал посуду, сладко зевнул, потянулся, не спеша напялил на свое откормленное тело коротенький кавалерийский полушубок и, отомкнув зеркальные двери подъезда, вышел наружу. Младший дворник, рыжий малый со скуластым коричневым лицом, в засаленной поддевке и в фартуке, отметал снег.

— Снежит, Григорий Евлампич,— сказал он, почтительно кланяясь швейцару.

Швейцар прикоснулся к своей фуражке с галуном, постоял, посмотрел, прищурившись, на Неву, сделал неодобрительное лицо и начал чистить суконкой медное яблоко звонка.

— Отчего это, Григорий Евлампич, господа спят долго? — сказал дворник, опираясь на метлу.— Я вот на Калашниковой у купцов жил: те страсть как рано поднимаются.

— Вот и вышел дурак,— важно проговорил швейцар,— то купцы, а то господа.

— Что ж купцы? Чай, естество-то одно.

— Эва, махнул! Может, и у тебя одно естество с генеральшей?

Дворник не решился ответить утвердительно.

— Об нас что толковать,— сказал он,— коли из мужиков, так уж из мужиков. А я вот насчет купечества. Какие есть несметные богачи, но между прочим встают рано.

— Да купец-то, по-твоему, не мужик? Дедка его ошметком ши хлебал, а он разжился, в каретах ездит. Но все ж таки, как его ни поверни, все — черная кость. Обдумал что сказать — естество! Ты видал ли когда тело-то барское, какое оно из себя?

— А что?

— А то! Барское тело — нежное, белое, вроде как рассыпчатое, самые прожилки-то по нем синенькие. Али голос возьми у настоящего барина. У него и голос-то благородный, вальяжный такой. Сравнял!

— Ну, пушай, Григорий Евлампыч, пушай... Я только вот о чем: с чего они спят-то долго?

— А с того и почивают, что господа. И потом (Григорий говорил «пóтом») женский быт. В женском быту завсегда, брат, спится крепче.

— Кабыть работа.

— А ты думал — нет? Вот вчера их превосходительство с визитами ездили — раз; перепрягли лошадей, на Морскую к французинке поехали — два; оттедова, господи благослови, в приют на Васильевский остров — три; из приюта за барчуком в училище — четыре; а вечером — в симфоническое собрание, на музыку. Вот и понимай, деревенщина, какова барская работа.

Дворник хотел что-то сказать, но только крякнул, поплевал на руки и с остервенением стал действовать метлою. В это время на подъезд выбежала молоденькая горничная.

— А! Федось Митревна! Наше вам. На погоду взглянуть? — сказал ей швейцар, игриво осклабясь.

— С добрым утром, Григорий Евлампыч! У, снежище-то какой! — Горничная вздрогнула плечами и спрятала руки под фартук. — Григорий Евлампыч! Барышня приказали: приедет мадам певица — не принимать, им сѣдни нездоровится, петь не будут.

— Что так? Аль простудимшись?

— А кто их знает; встали с восьми часов,— скажи, говорят, чтоб не было приему.

— Ладно. Их превосходительство почивают?

— Почивают еще. Юрий Коскентиныч только кофий откушали, должно в училище поедут. Рафаила Коскентиныча немец будить пошел... то-то хлопоты их будить! Брыкаться начнут, беда.

— Григорий, Григорий! — повелительно прозвучал на верху лестницы тот «благородный» барский голос с приятным и важным рокотаньем в горле, о котором Григорий только что рассказывал дворнику. Швейцар торопливо открыл двери подъезда, вошел какою-то скользящею и беззвучною походкой в сени, вытянулся, снял фуражку. Горничная, повиливая всем корпусом и не вынимая рук из-под фартука, побежала наверх. Навстречу ей, сидя на позолоченных перилах лестницы, быстро спускался плотный, белотелый, чернобровый юноша с необыкновенно румяными губами, с блестящими глазами навывкате, в синей «уланке» и рейтузах, ловко обхватывающих его стройные и гибкие ноги. На площадке лестницы он спрыгнул с перил, щелкнул каблучками, закричал притворно строгим голосом: «Эт-тэ что несешь под фартуком?» — и схватил горничную. Та взвизгнула, вырвалась, побежала далее с румянцем стыда и счастья на лице. Юноша молодецки шевельнул плечом, засунул руки в карманы рейтуз и, напевая из «Мадам Анго», сошел вниз. На жирном лице швейцара играла почтительно-восхищенная улыбка.

— А? Снег, мороз, Григорий, а? — сказал юноша, стараясь говорить басом и смотря выше швейцара.

— Так точно, ваше-ство, одиннадцать градусов.

— Скажи Илюшке, чтоб Летуна заложил.

— Слушаю-с, ваше-ство. В бегунцы прикажете?

— А? Да, да, пусть в бегунцы заложит.

— Слушаю-с.

Юноша еще хотел что-то прибавить, но вместо того промычал, значительно пошевелил выдвинутую нижнюю губой и, напевая, подошел к зеркальным стеклам подъезда. За ними виднелся рыжий малый с метлою.

— А? Кто такой? — спросил юноша.

— Младший дворник, ваше-ство, с неделю тому нанят,— и швейцар улыбнулся своему разговору с дворником.

— Ты что смеешься, а?

— Деревенщина, ваше-ство, все по купцам живал. Удивляется.

— Чему удивляться?

— Удивительно ему, как живут господа и как купцы. Мужик-с.

Барчук вдруг схватил Григория за пуговицу и с оживленным, наивно-детским выражением в лице сказал своим настоящим, ломающимся голосом:

— Я не понимаю, Григорий, отчего мы не берем людей из Анненского, а нанимаем от разных купцов и тому подобное, а? Я понимаю тебя: ты — из гусар, вахмистр и тому подобное. Ты знаешь, я тоже выйду в гусары. В лейб-гусары, а? Но из Анненского у нас Илюшка, и больше никого. Горничные у татап — немки, у сестры Лизы — Фенька эта,— он кивнул подбородком в сторону лестницы. — Но я люблю, чтоб все были наши крепостные. Понимаешь, это настоящий барский дом, когда собственные люди. Это делает тон. Вот как у графа Обрезкова. Ты знаешь нашего анненского повара?

— Никак нет, ваше-ство.

— Великолепнейший повар, а? Папа воспитывал его в аглицком клубе. Я тебе скажу, братец, какое он фрикасе делает из куропаток! Но вот живет в деревне, болтается, вероятно пьянствует.

— Когда изволите, ваше-ство, в вотчину прокатиться, там покушаете.

Юноша быстрым движением прошел вдоль сеней и бросился на резной дубовый стул около пылающего камина.

— В том-то и дело, милейший мой,— сказал он, понижая голос и совсем дружелюбно взглядывая на швейцара,— в том-то и дело, братец, что любезнейшая сестрица с своими нервами... Вот бабы, а? Не по-нашему, брат, не по-гусарски. Чуть что — ах, Элиз! Ах, ах, за доктором, в аптеку, за границу! — И он сделал кислое и жалобное лицо, передразнивая кого-то.— Понимаешь, Григорий, я говорю: отлично, поезжайте, черт побери, с вашей плаксой Элиз в Гиер, в Остенде, а я не могу, я — владелец, я должен быть в Анненском. Рафу пятнадцать лет, позвольте спросить, кто же хозяин? Воруют там разные... татап ничего не смыслит, а? Я отлично понимаю: прежде, бывало, наворует, а он все-таки крепостной. Я всегда могу от него конфисковать и тому подобное. Но теперь наворует и — ффюты! — ищи его, а?

— Это так точно-с.

— И ты знаешь, Григорий, управляющий в Анненском тридцать лет служит,— можешь вообразить, сколько он наворовал! Конюший Капитон — сорок лет, кажется... Продает лошадей, покупает,— все это безотчетно. Как тебе покажется, а? Но я намерен все это привести в порядок, по-военному, братец! — и, помолчав, неожиданно добавил: — Ты знаешь, Григорий, я тебя возьму в конюшие, а? Хочешь?

— Рад стараться, ваше-ство. Конечно, когда изволите войти в совершенные лета.

— Ну да, ну да. Ты знаешь, я решил так: послужу в лейб-гусарах... ну, хоть до эскадрона, потом перейду в штаб, потом дадут полк,— конечно, кавалерийский, терпеть не могу эту пехтуру! — ну, и потом, потом...— юноша на мгновение задумался,— потом генерал-майором свиты выйду в отставку. А? Ты как думаешь?

— Чего лучше, ваше-ство,— с серьезнейшим видом согласился Григорий.

— А? Не правда ли? — Юноша широко открытыми великодушными глаза-

ми посмотрел на Григория.— Так я тебя беру, братец, можешь рассчитывать. Анненское я Рафу не отдам, пусть берет Орловское... Ты знаешь, Орловское родовое, а Раф младший... Но оно гораздо, гораздо хуже Анненского, а?.. Элиз — по завещанию нижегородский лес. У татап — приданое, да еще вдовья часть: дом, рязанские акции... Вот, братец, не понимаю, для чего бабам состояние, а? Но ты замечаешь, как я отлично все знаю?.. О! Не беспокойся, меня не проведут! — Он помолчал, взял с подзеркальника развернутую газету, но, вновь охваченный потребностью откровенности, отбросил газету, с наслаждением погладил себя по коленке и сказал: — Да, братец, в лейб-гусары! Вот прочитаешь в своей газетке: Юрий Гарденин за отличие производится в ротмистры... Обрадуешься, а?

— Точно так-с.— Григорий покосился на круглые часы, вделанные в темно-красную, в помпейском вкусе, стену, и добавил: — Осмелюсь доложить, ваше-ство, не прикажете ли закладывать?.. Четверть десятого... Их превосходительство прогневаются изволят.

С лица будущего свитского генерала мгновенно сбежало наивно-доверчивое и великодушное выражение.

— Да, да, братец, прикажи,— сказал он гортанным басом и с небрежным видом направился к дверям подъезда.

Швейцар, взглянув на барина, тотчас же уловил его намерение выйти наружу и отчетливым, неслышным движением распахнул двери.

К тому, что Юрий Константинович не одеваясь и с обнаженной головой выходил на холод, он, как и все в доме, давно уже успел привыкнуть. Рыжий дворник по-прежнему разметал снег. Барчук рассеянно посмотрел на пустынную набережную, на белую равнину Невы, перевел свои выпуклые красивые глаза на дворника и вдруг, побагровев до самых воротничков, закричал гневным, раскатисто-командирским голосом:

— Эй! Шапку долой!.. Эт-тэ что такое — шапки не ломаешь. Я тебя научу, ррракалья!

Рыжий малый торопливо сдернул свой ваточный картуз и с испугом и удивлением устоял на барчука. Тот круто повернулся, перевел широкими, точно для густых эполет созданными плечами и твердым шагом, грудью вперед, вздрагивая на ходу туго обтянутыми икрами, поднялся по лестнице.

«Орел!» — думал Григорий, по-солдатски провожая глазами барчука.

Странно высокая девушка лет семнадцати, с гибким и опять-таки до странности тонким станом, с неправильными, но чрезвычайно выразительными чертами бледного личика, стояла у окна и смотрела в сторону Невы. Комната была огромная, звонкая зала. Навощенный паркет, белые стулья, размещенные в строгом порядке, черный рояль в углу, мраморный бюст Екатерины на высоком белом консоле, люстры в белых чехлах, белые, под мрамор, стены, лепные амуры и арабески на потолке придавали зале вид необыкновенно холодного и важного величия. Девушка следила туманным и грустным взглядом, как волновалась сеть мерно падающих снежинок, как с угрюмою подозрительностью высматривали едва заметные впадины окон в стенах крепости, как смутно и изменчиво пестрели вдали и вблизи люди, лошади, дома, птицы, мосты, елки, высокие фабричные трубы. Ей хотелось плакать. Вчера, возвратившись с матерью из симфонического концерта, она долго не могла заснуть, волнуемая мучительно-сладкими звуками, и, чтобы прогнать бессонницу, развернула первую попавшуюся книгу. Книга оказалась старая — «Русский вестник» за 1866 год, — и в ней та глава известного романа, где герой встречается в погребе с пропойцей-чиновником, слушает его потрясающий рассказ. До четырех часов ночи читала Элиз эту книгу и припоминала весь, еще прежде прочитанный, роман, который с удивительной силой истерзал

ее живое воображение. Конечно, вышло случайно, что она могла прочитать его: кроме целомудренно-скупных томиков Таухница, ей не полагалось читать романы, но «Русский вестник» давно уже получил некоторое право гражданства в семье Гардениных, успел внушить такое доверие, что на его бледно-зеленые книжки смотрели как на совершенно безвредную и даже для чего-то необходимую домашнюю вещь. Вещь обязательно лежала первый месяц на видном месте, потом облекалась в прекрасный переплет, потом украшала собою, вместе с другими прекрасно переплетенными книжками, дорогой книжный шкаф, потом... о ней забывали.

И вот, вместо того чтобы успокоиться, Элиз читала, припоминала и думала. И когда легла в постель, забылась в тревожных грезах, вскрикивала, стонала, часто просыпалась. Дикие, отрывочные сны, с странно яркостью подробностей, с самым невозможным смешением фантастического и действительного, не давали ей отдыха, мучили ее жестоко. Картины, совершенно не свойственные тому, чем она жила и к чему привыкла, совершенно не соответствующие ее богато убранной комнате — тяжелым гардинам, изящной голубой мебели, коврам, нежному шелковому одеялу, — преследовали ее. И, что всего было ужаснее, она сама участвовала в них, чувствовала себя только наполовину Элиз Гардениной, другая половина была глубоко несчастная девушка с светлыми покорными глазами, с кроткою и страдальческою улыбкой, слабенькая, худенькая, — одним словом, Соня Мармеладова. Эту Соню-Элиз истязали, преследовали, били, ругались над нею... А она на все отвечала каким-то болезненным восторгом, горела нестерпимою жалостью, терзалась мучительною любовью.

И вся эта цепь отрывочных сновидений к утру закончилась странным, самым несообразным сном. Будто входит Элиз в огромную залитую огнями залу. Хоры, места за колоннами, ложи, кресла, проходы — все переполнено людьми. Сверкают звезды, эполеты, бриллианты, блестят обнаженные плечи и руки, пестреют ленты, цветы, кружева, перья... И Элиз чувствует себя ужасно смущенной, потому что ее бальное платье в необыкновенном беспорядке, оборваны цветы, нет перчаток и веера. Кроме того, она знает, что запоздала, что она необходима здесь, что ее ждут... Она идет вдоль партера, торопливо переступая ногами, не смея поднять глаз — отовсюду устремлены на нее насмешливо-любопытные взгляды, — пробирается куда-то вдаль, к эстраде, где виднеется безмолвный оркестр. «Не правда ли, как эта скрипка похожа на Элиз Гарденину? — произносит чей-то знакомый голос во втором ряду. — Но как оборвана! Как измята прическа! Смотрите, смотрите — трен в грязи!» — «О, mesdames, обратите внимание на фагот... Какой уморительный фагот!» — восклицает флигель-адъютант Криницын, указывая на бегущего впереди Элиз человека. Человек — в мешанской чуйке, в решительно надвинутом картузе и с строго и презрительно стиснутыми губами... «О, какой смешной фагот!.. О, какой невероятный, невозможный, никуда не годный фагот!» — раздается по всей зале. «Зачем же они смеются? — думает Элиз. — Ведь это вовсе и не фагот... Ведь это тот самый, что бежал за *ним* и заглядывал ему в лицо, крикнул ему: *Убивец!*»

Но ей некогда думать. На эстраде множество людей. Все они смотрят на Элиз, будто недовольны ею. С стесненным сердцем она входит на возвышение, оглядывается... Что это такое? Звезды, цветы, бриллианты, обнаженные плечи, тысячи биноклей, тысячи любопытных и выжидающих глаз отступили куда-то далеко, далеко... В неясном тумане колышется какая-то зыбь, мелькают бесчисленные огни, едва слышится несвязный говор, похожий на жужжание. На эстраде особый мир, что-то свое, отрезанное, независимое от *того*. И это вовсе не эстрада, это — мрачное подземелье. Откуда-то льется скудный, синеватый, таинственно мигающий полусвет. В разных положениях, в мертвой неподвижности застыл оркестр. И какой странный оркестр! Тут были женщины,

девушки, дети, старики, все в лохмотьях, с измученными лицами, с кровавыми подтеками и шрамами, с отвратительными язвами, выставленными точно напоказ... «Наконец-то!» — сказал бледный, с безумно-тоскливыми глазами человек. И как будто единодушный вздох, как будто тысячеустый шепот пронеслось по оркестру: «Наконец-то!.. Наконец-то!..» Смертельный ужас охватывает Элиз... Она становится в ряд с другими и ждет... Она знает, сейчас совершится что-то страшное... И вдруг тонкий, протяжный, высоко взлетающий звук — звук скрипки — помимо ее воли вырывается из ее груди. Рыдающая нота виолончели присоединяется к нему... «А! Это непременно Соня, — думает Элиз. — Как хорошо, как похоже!» Но вот вздрогнула палочка в руках бледного человека, пауза... Все задвигалось, заволновалось, кто-то в отчаянии всплеснул руками, какая-то женщина стала мерно покачиваться, сидя, низко потупив голову с распущенными волосами, с выражением необыкновенного страдания закрывая лицо... «О, скорее же, скорее!» — молила Элиз. И целое море звуков наполнило подземелье: флейты, гобои, кларнеты, альты, виолончели, басы... Потрясающие звуки, похожие на человеческий голос. Там слышался истерический, непрерывающийся хохот, там — робкое всхлипывание, там раздавался пронзительный, насильственно задушаемый крик, там проклинали кого-то, молили о пощаде, издавали тихие, жалобные стоны, там — в торжественных, трагических аккордах прославляли страдание и жертву. Волосы поднимались на голове Элиз... Ей казалось, что она тает. Ее звуки — она слышала их — все могущественнее и согласнее вливались в стройную разноголосицу оркестра... Но ей было слишком больно. «Нет, это не может продолжаться, — думала она, — я не возьму этой ужасной ноты... струны порвутся... я изйду слезами!» Но звук вылетал, и она вскрикивала с каким-то горестным упоением: «Ах, как хорошо! Ах, как я счастлива!»

Вдруг пронесся вопль нескazanной, нечеловеческой муки... Музыка кончилась. И другой вопль — восторженный, ликующий, — гром рукоплесканий, крики, вызовы, точно шум разыгравшейся вдали и все приближающейся бури... Элиз стоит на краю эстрады, ждет... И вот из сплошного рева вырываются отчетливые слова: «Элиз Гарденину! Элиз! Элиз!» Тогда она поняла, что *все кончено*. И видит — эстрада сделалась как-то ниже залы, приходится всходить по ступенькам. И подумала: надо идти, надо пожертвовать собою. И увидала на себе оборванное платье — грязный шлейф, помятые цветы, увидала свои голые плечи... Ей стало ужасно стыдно. «Соня, — прошептала она, — закрой мне плечи, мне стыдно». Соня накрыла ее стареньким, изорванным, но необыкновенно мягким и теплым платком. «А он?.. Где же он?» — прошептала Элиз и вдруг увидела у себя в ногах бледного человека с безумно-тоскливыми глазами. «Не тебе поклоняюсь — поклоняюсь страданью твоему великому», — проговорил он. И снова послышались нетерпеливые крики: «Элиз Гарденину! Элиз! Элиз!» С упавшим сердцем, путаясь в шлейфе, содрогаясь от непомерного ужаса, Элиз всходит высоко-высоко... И видит — выступил из разряженной толпы брат Юрий, протянул венок, положил ей на голову... Раздался оглушительный, наглый, ликующий хохот. «Что это... мне больно?» — недоумевает Элиз и вскрикивает: мелкие капли крови спадают с ее головы, сочатся по корсажу ее белого платья... Она поднимает руки, схватывает венок: острые шипы вонзаются в пальцы... «А, это — оно, конец, смерть, жертва...» — с быстротою молнии проносится в ее голове. И точно кто толкнул ее: в холодном поту, с лихорадочной дрожью во всем теле она проснулась.

И не могла больше спать. Позвала Феню, оделась, попросила поднять тяжелые драпри, увидала печальный сумрак на дворе, падающий снег... закуталась в пуховый платок, сжалась в глубоком, просторном кресле. И долго сидела, не отрываясь от окна, временами вздрагивая, с тяжелою головой, с ноющей болью в сердце. Час спустя в столовой послышался громкий, развязно-бодрый голос Юрия. Элиз сморщилась, точно от боли, и вышла в столовую. Юрий пил

кофе, глотал с необыкновенным аппетитом куски горячего хлеба с маслом и весело, с беспрепятственным повторением своего противного и небрежного «а?», что-то рассказывал экономке Гедвиге Карловне.

— Как вы рано встали, фрейлен! Угодно кофе? — по-немецки спросила Гедвига Карловна.

— А? Вы опять в нервях, милейшая! — насмешливо проговорил Юрий.

Элиз промолчала, сделала презрительное лицо и, боясь расплакаться перед этим «несносным мальчишкой», ушла в залу, выходящую окнами на Неву.

К подъезду подали серого в яблоках рысака, вышел Юрий в своей бобровой шинели и в надвинутой набекрень фуражке, швейцар Григорий с подобострастным выражением на лице подсадил его, застегнул полость, кучер Илюшка шевелинул вожжами, серый взял с места крупною рыскою, обдал санки целою тучей снега... Мгновенно полость, шинель Юрия, кожаный армяк Илюшки покрылись белою пылью и хлопьями падающего снега, стали одного цвета с лошадью. «Как им весело!» — со вздохом прошептала Элиз и начала ходить вдоль залы, невольно прислушиваясь к одинокому звуку своих шагов. Звук этот казался ей невыразимо печальным, и особенно, когда она сильнее нажимала каблуком и ходила мерно и медленно. И она нарочно старалась тяжело ступать и растягивала шаги. В ее воображении — снег, падающий за окнами, мутное небо, пустынная равнина Невы, черные рavelины крепости, похожие на гробы, пестреющая неясными очертаниями даль и этот одинокий странно-гулкий звук ее шагов сливались в одну картину с каким-то унылым, безнадежно-горестным содержанием. И такая картина доставляла ей жгучее, растрavляющее наслаждение.

Но немного спустя ей захотелось усилить это наслаждение, увеличить прелесть отчаяния. Ей показалось, что, если она не сделает этого, тупое и холодное равнодушие скоро овладеет ею, и тогда будет еще тоскливее и скучнее смотреть «на все на это», двигаться, говорить, идти в столовую, когда там появится тапан, слушать о вчерашнем концерте, о прикуте, о том, что дяде Сергею Ильичу предлагают место губернатора в Туле. Она подошла к роялю, бесшумно открыла его, помедлила несколько секунд в боязливой нерешительности и взяла аккорд. И жалобно-протяжный звук точно вонзился ей в душу... Тайные слезы закипели в ней от приизбытка тоски и счастья, от того, что все так холодно, сумрачно, угрюмо и хочется всех спасти и за всех умереть.

Вдова действительного статского советника Татьяна Ивановна Гарденина постоянно проводила зиму в Петербурге, летом же с некоторых пор жила за границей. Года два-три тому назад распорядок жизни был несколько иной. Вместо заграницы она с детьми жила летом в своей воронежской деревне. Но случилось так, что здоровье дочери Лизы расстроилось, доктора нашли в ней признаки малокровия и порекомендовали морские купанья, виноград, осень на юге. Приходилось жить в Остенде и в южной Франции. Это огорчало Татьяну Ивановну. Когда Юрий поступил в училище, нужно было в начале августа отсылать его одного с гувернером в Петербург, а с гувернерами он постоянно ссорился и не ставил их ни во что. Кроме того, самой Татьяне Ивановне гораздо более нравилась покойная и безмятежная жизнь в деревне со всеми удобствами, с старыми и преданными слугами, с глубоким почетом, которым она бывала там окружена, нежели суетливая, беспорядочная, мещанская жизнь на морских купаньях или где-нибудь в Гиере. И это ее очень огорчало. Петербургская жизнь была совсем другое дело. Гарденины и стари имели здесь свой дом и различные связи; и хотя принадлежали к так называемому среднему дворянству и никогда не бывали в очень больших чинах, тем не менее значительное состояние и родство с двумя-тремя подлинно аристократическими домами давали им возможность от времени до времени появляться в большом

свете и иметь там хотя и скромное, но все-таки твердо упроченное положение. Таким образом, петербургская жизнь Татьяны Ивановны шла по привычной и давно наезженной колее и в этом походила на жизнь в деревне. Выдумывать, изобретать, прилаживаться к новым обстоятельствам, сталкиваться с новыми «не своего круга» людьми, утверждать среди них свое положение — все это непременно случалось и непременно нужно было, живя за границей, но совершенно не было нужно в Петербурге и в деревне. Тут все было когда-то и кем-то выдуманно, изобретено и прилажено. Каждый новый день приносил с собою точное и самое подробное указание, что делать, куда ехать, кого принять, что говорить, кому и о чем написать. Оставалось подчиняться такому указанию — вот и все. И эта-то усвоенная с детства привычка к легкости и удобствам жизни заставляла иногда добрую и весьма благовоспитанную Татьяну Ивановну сердиться и даже роптать на провидение за то, что ее дочь нездорова.

Впрочем, последний год Элиз стало лучше, характер ее сделался ровнее, свойственные ей вспышки и «экспансивности» почти прекратились, и домашний доктор, важный и весьма серьезный человек с звездой Станислава на синем вицмундире, хотя и помычал и пожевал губами, прежде чем ответить на вопрос Татьяны Ивановны, но все-таки ответил благоприятно. «М-да, я полагаю,— процедил он,— мне представляется... мне кажется, что вы на лето можете не ехать за границу. М-да, м-да... мне кажется, можно попробовать провести лето в деревне». Это совещание происходило в начале февраля, и обрадованная Татьяна Ивановна тотчас же написала в Анненское, чтобы приготовили дом, объездили верховых лошадей, купили тройку донских для Юрия Константиновича,— его давнишняя мечта,— засадили бы цветники, не сдавали бы сад в аренду и ждали ее в половине мая.

Из особенно приятных привычек у Татьяны Ивановны была одна, с которой ей тяжелее всего было бы расстаться и с которой она, однако же, расставалась, когда жила за границей. Просыпаясь в десять с половиной часов, она любила час полежать в постели с французским романом в руках; полчаса провести в ванне; в течение другого получаса подставлять свое сморщенное и сохшееся тело мускулистым, как у крючника, рукам горничной Христины, вооруженной тонкими и мохнатыми простынями; и затем, до половины первого отдавать себя в распоряжение другой горничной, обруселой немки Амалии, то есть протягивать ноги, чтобы на них натянули чулки, неподвижно держать голову, чтобы ее причесали и украсили скромною наколкой, стать в такое положение, чтобы затянули корсет, надели и застегнули платье. Это утреннее разделение времени носило в доме особые названия: час — французского романа, час — шведки Христины и час — Амалии. Последний, кроме одевания, наполнен был вот еще какими делами: выпивалась чашка горячего куриного бульона, читались письма, вносимые дворецким Климоном на серебряном подносе, просматривалась согретая и слегка опрыснутая духами газета «Голос»,— Татьяна Ивановна не выносила запаха типографской краски,— выслушивались доклады от Амалии, Климона и экономки Гедвиги Карловны о погоде, о новостях в доме, о том, как почивали «молодые господа», и утверждалось составленное поваром меню обеда.

Кроме двух горничных, экономки и дворецкого, никому не принято было входить на половину Татьяны Ивановны, когда совершалось ее «утро». Татьяна Ивановна иногда говаривала, непременно улыбаясь при этом слабою и самоотверженною улыбкой, что из всего дня хочется, чтобы только утро принадлежало ей всецело. Подразумевалось, что остальной день она живет для детей и для общества. Таким образом, дети встречались с матерью только за чаем в половине первого. В это же время сходились к столу: два гувернера, англичанка мисс Люси и бесцветная особа, Ольга Васильевна, в неопределенном звании «чтицы». Конечно, и для детей и для всего этого люда в девять часов



подавался особый «чай», — то есть и чай, и кофе, и горячий хлеб со сливочным маслом, — но подавался не столь парадно и без холодного завтрака. Первый чай в доме называли «медным», второй — «серебряным», как потому, что только во время второго чая подавался серебряный самовар, так и потому, что второй чай был обставлен сытнее и торжественнее. Первым чаем заведовала экономка Гедвига Карловна, вторым — сама Татьяна Ивановна, причем присутствовал дворецкий Климон — важный человек с видом, по крайней мере, директора департамента — и беспрестанно появлялся по звонку ливрейный лакей Ардальон.

В тот день, с которого начинается наш рассказ, в «час Амалии», Татьяне Ивановне было доложено, что барышня Елизавета Константиновна читали ночью какую-то книжку, почивать изволили дурно, вскрикивали, встали не было еще восьми часов, приказали не принимать учительницу пения, не стали кушать чай, не поздоровались с Юрием Константинычем, когда вышли в столовую, долго гуляли в бальной зале, ушли затем в свою комнату, сидят пишут; из себя нехороши.

Выслушав этот доклад, Татьяна Ивановна задумалась и озабоченно сдвинула брови.

Затем было доложено, что Юрий Константиныч сами сбегали в сени («изволили съехать на перилах!»), говорили с швейцаром Григорием с четверть часа, о чем — неизвестно, изволили ущипнуть на лестнице барышнину горничную, выходили на подъезд, гневались на младшего дворника, кушали кофе раньше всех, вдвоем с Гедвигой Карловной, и уехали на Летуне в училище в половине десятого.

Татьяна Ивановна нежно, с тайною гордостью усмехнулась. Юрий был ее любимец.

— Климон, чем рассердил Юрия Константиныча этот дворник? — спросила она певучим и важным голосом.

Климон почтительно вынес вперед, к туалетному столику, свое директорское брюшко.

— Шапки не успел снять, ваше-ство.

— Как же это так? Отчего же он не успел?

— Не могу знать, ваше-ство. Всего вероятнее, по невежеству-с: он прежде в купеческих домах служил.

Татьяна Ивановна помолчала, подумала и произнесла:

— Ты скажи ему, чтобы этого не было. Юрию Константинычу вредно сердиться. Или, вообще, не лучше ли его уволить? Лучше уволь, Климон, и не бери от купцов.

— Слушаю, ваше-ство.

— Спросить у Григория, о чем говорил Юрий Константиныч.

— Слушаю-с, ваше-ство.

— Гедвига Карловна, Фене надо сказать, что, если *это* повторится, я ее отпущу. Юрию Константинычу вредно возбуждать в себе чувствительность. — Это было сказано по-немецки. Гедвига Карловна целомудренно побагровела и по-немецки же ответила:

— О да, да! Я непременно скажу ей это. В молодые годы очень вредно шутить с девушками.

Затем было доложено, что Рафаила Константиныча разбудили в девять часов, но они изволили брыкаться ножками и нежились в постельке до половины десятого, требовали к себе на ночной столик кофе и выбрали Адольфа Адольфовича «колбасой» за то, что кофе не велено было подавать.

Татьяна Ивановна рассмеялась и ничего не сказала на это. Про себя же подумала: «Решительно Адольф Адольфыч не умеет обращаться с Рафом».

Затем было сообщено, что другой гувернер, Ричард Альбертович, говорил вчера выездному Михайле, что нашел себе место у князя Мостовского

и что очень-де счастлив уйти отсюда, потому что ему-де от Юрия Константиныча житья нет.

— Ну, и с богом, — проговорила Татьяна Ивановна, — очень рада.

— Ольга Васильевна имеет претензий на прачку, — сказала Гедвига Карловна, из почтительности не решаясь изъясняться по-немецки, — будто прачка нарочно дырявит шемизет. Но это оттого, что шемизет стар, очень скверный полотно.

— Если не нравится, скажите, чтобы отдавала кому хочет.

— Мисс Люси требовайт ковер на весь комнат. Говорит, в Англии всегда на весь комнат ковер. Но у меня нет.

— Да, да, это правда, — с грустью о положении мисс Люси сказала Татьяна Ивановна, — у них это принято. Климон, пошли в английкий магазин купить сколько надо узкого ковра, — знаешь, дорожками? — и прикажи сшить. Чтобы не особенно дорого. У тебя есть еще деньги?

— Точно так, ваше-ство, — семнадцатого числа из орловской вотчины две тысячи прислано.

— Ах, да! Я и забыла. Это что у тебя — меню? Дай, пожалуйста. — Татьяна Ивановна с серьезно нахмуренным лбом прочитала щегольски написанное, на особой бумажке с виньеткой, меню и сказала: — Хорошо. Но отчего так давно нет стерляди по-русски? Пожалуйста, прикажи на завтра. Юрий Константиныч очень любит.

— Слушаю-с, ваше-ство.

— Можешь идти.

Она взяла несколько писем с оставленного дворецким подноса, рассеянно скользнула по ним взглядом, узнавая от кого, и с удовольствием и особенно снисходительностью улыбнулась: среди писем лежал большой самодельный конверт, надписанный старательным старчески-красивым почерком анненского конторщика Агея Дымкина и запечатанный голубком с распростертыми крыльями и пакетом в клюве. Это было письмо от экономки в Анненском, Фелицаты Никаноровны, старинной и преданной слуги, которая выныячила еще покойного мужа Татьяны Ивановны и давно уже была посвящена во всю интимную жизнь Гардениных. Письмо было такого содержания:

«Ваше превосходительство! Милостивая благодетельница наша Татьяна Ивановна!

Сим имею честь доложить вам, сударыня, что по дому, по птичьему двору, а равно по всей вотчине все, славу богу, обстоит благополучно. Индейки начали выводиться, и, бог даст, индейских птенцов весьма будет достаточно. А к приезду вашему я отбила из прошлогоднего вывода сорок штук и кормлю их грецкими орехами. Степан топит печки аккуратно, и, по милостивому письму вашего превосходительства, я приказала протапливать и камин в диванной, дабы, чего боже упаси, не завелось сырости. Что же касательно пыли и выветривания, я слежу пуше глаза за барским добром, уж будьте покойны, матушка.

То-то вы нас, верных слуг ваших, обрадовали, матушка-барыня, что пожалуете в Анненское на все лето! А мы, ваши верные слуги, признаться, заскучали без ясных господских глазок. Особенно мне, старухе, грустно. Да и деткам-то будет вольготнее разгуляться в своей вотчине. Конюший Капитон говорил: их превосходительству Лизоньке въездить полукровку Неру; на сей предмет я выдала юбку с старой темно-зеленой амазонки вашего превосходительства. А молодым господам, Юрию Константиновичу и Рафаилу Константиновичу, — пегашку Людмилку и Черкеса. А впрочем, как вашей милости будет угодно. Насчет донских лошадей для Юрочки Капитон докладывает вам особо.

Капитонов сын, Ефрем, самовольно ушел из харьковского коновального заведения и определился в Петербург в доктора. Вот времена какие настали, сударыня: дети почитают родителей за ничто! И каким бытом вдруг из низкого звания и принимать в доктора! Сами изволите знать Капитонов характер: скре-

пился, никому ни слова, намедни, как ни в чем не бывало, выслал двадцать пять рублей Ефрему, но видно, сколь его убил Ефрем своим самоволием. Сами посудите, сударыня: при заводе нет хорошего коновала, Капитон убивается от этого, и вдруг родной сын покидает коновальскую часть; и притом не спросясь родительского благословения. Прискорбно. Не взыщите с меня, глупой старухи, сударыня, — сам Капитон не осмеливается вам доложить: ежели Ефрем явится к вашему превосходительству, — да и как бы он смел не явиться к своей госпоже? — будьте милостивы, прикажите Климону Алексеевичу или Едвиге кастелянше покормить его; ну, там остаточки какие-нибудь от господского обеда. И пускай приходит по праздникам. Мать сокрушается, что он, дескать, не пимши, не емши в Питере; ничего нет мудреного: чужая сторона не свой брат. И еще она умоляла доложить вашему превосходительству: не найдется ли какого немудрого уголка для Ефрема; может в дворницкой или в лакейской. Я ей говорила: статочное ли дело из-за этого беспокоить ваше превосходительство? Захотят ли, говорю, господа из-за твоего самовольника теснить прислугу? Но она все же таки умолила доложить вам, как рассудите. Капитону-то боится сказать... Известно, мать, да и рассудок-то ее сами знать изволите. Управитель Мартин Лукьяныч не образовывал, да чуть ли не будет счастливее в своем сыне Николае. Приучает к хозяйству, может хороший слуга будет господам.

Кучеру Никифору я наказала, чтоб лошадей подкармливал. Говорит, нечего и подкармливать: хоть сейчас, говорит, за сто верст не кормя, особливо на рыжей четверне. Обе кареты тоже в исправности: и дормез и ваша двухместная, полевая.

Уж так-то рады!

Как здоровьице драгоценной моей барышни Лизоньки? Крепко ли почивают, мой светик? Угождает ли им аглицкая мамзель? А я, старая дура, все думаю: не от наемных ли слуг приключилась болезнь их превосходительству? Какой ведь наемный-то народ! Ей, дряни, лишь бы жалованье получить, а как госпожу успокоить, она и думать забыла, вертихвостка! Простите, сударыня, за дерзкие слова. А с другой стороны, и язык этот аглицкий взять, — не слишком ли нудит мамзель Лизавету Константиновну? Уж больно язычком-то надо путать. А иное дело — и нельзя. Осмелюсь доложить, сударыня: не лучше ли деревенский воздух заграничных-то лечений? Не взыщите, что в простоте слово молвила. Молочко с майских трав многим на пользу бывает.

А я все мечтаю, на старости лет, какого-то женишка господь пошлет нашей Лизавете Константиновне. Вот кабы поближе к Анненскому, сударыня; все бы приехали на лето, и я, при старости, хоть одним бы глазом поглядела на Лизоньку. Сами изволите знать, матушка, сколько графов, князей, баронов по нашему Битюку. Вот, сказывают, у графа Пестрищева сынок есть. И какие несметные богачи! Ишь, в одной нашей губернии пятьдесят ли, шестьдесят ли тысяч десятин. То-то господь-батюшка соединил бы с нашей Лизонькой их графское сятельство. Конечно, все от судьбы да от счастья, а я по своему глупому разуму полагаю — лучше бы и не надо их превосходительству. А иное дело, может, я, в глуши живучи, что-нибудь и несуразное сгородила: может, граф-то он — граф, а Лизоньке и низко за него выходить. Вашей милости виднее, как оно там по родословным-то книгам. Сами изволите знать, блаженные памяти императрица Александра Федоровна с его превосходительством, покойным барином, соблаговолила мазурку танцевать. И опять же Константина Ильича отец, Илья-то Юрьевич... Сам гневный император Павел за один стол его с собой саживал. Прадед же Лизоньки в придворной церкви венчался, великая Катерина посаженою матерью соизволила быть, на новоселье дом пожаловала. Всячески надо рассмотреть, сколь знатных кровей женихов род. Иные графы, сказывают, и из сапожников выходили. А за сим целую ручки вашего превосходительства и их превосходительств: Юрия Константиновича,

Лизаветы Константиновны и Рафаила Константиновича, и остаюсь навеки усердная раба ваша анненская экономка Фелицата.

Писал по воле Фелицаты Никаноровны и под ее диктант нарочито при-
верженный конторщик анненской вашего превосходительства вотчинной конто-
ры Агей Дымкин, 21 февраля 1871 года».

Татьяна Ивановна с слабыми, но разнообразными движениями в лице прочитала письмо. Там, где писалось о радости по случаю приезда господ, она благосклонно улыбнулась; о хозяйственных подробностях — с серьезным выражением сложила губы; о сыне конюшего — укоризненно покачала головою и прошептала: «Чудиха!» и, наконец, о проекте выдать Элиз за молодого графа Пестрищева — опять повторила: «Ах, чудиха, чудиха!» — и погрузилась в сладкое, однако не более одной минуты продолжавшееся мечтание. Затем приказала позвонить и, задумчиво посмотрев на вошедшего дворецкого, спросила:

— Климон, ты знаешь, где заведение для докторов,— где они учатся?

— Медико-хирургическая академия, ваше-ство.

— Ах, да! На Выборгской стороне? Так вот... Ты знаешь, сын нашего конюшего, Ефрем, поступил, оказывается, в доктора.

Дворецкий сделал не то укоризненное, не то удивленное лицо.

— Так вот... Ричард Альбертович, вероятно, скоро освободит комнату. Съезди в эту их академию и найди Ефрема.— Она остановилась, соображая.

— Слушаю-с, ваше-ство,— сказал дворецкий с обычным ему непроницаемым выражением, так что решительно нельзя было понять, доволен ли он поручением или оскорблен им до глубины души.

— И скажи... Скажи, что во внимание к усердной службе отца я разрешаю ему занять комнату Ричарда Альбертовича. Обедать может с Гедвигой Карлов-
ной,— и она взглянула на экономку. Та опять целомудренно побагровела и соч-
ла нужным сделать глубокий книксен.— И ты посмотри там, Климон, если он нечесаный и вообще дурно одет, скажи: я прошу, чтобы привел себя в порядок. Эти студенты бывают очень невоспитанные. Можешь идти.

«Серебряный» чай совершился с обычною торжественностью. Только два человека выделялись на фоне общей почтительности, размеренно мягких и медленных движений и сдержанного выражения лиц: гувернер Ричард Альбертович, который вдруг со вчерашнего дня приобрел весьма независимое и даже развязное выражение лица, и Элиз, явившаяся к чаю закутанная до подбородка в своем пуховом платке, мрачная и рассеянная. Татьяна Ивановна не обращала ни малейшего внимания на Ричарда Альбертовича, но несколько раз пристально взглядывала на Элиз.

После чая Раф удалился с мисс Люси в классную, гувернеры отправились к себе, Ольга Васильевна выжидательно встала. Татьяна Ивановна мановением руки отпустила Ольгу Васильевну и, взяв под руку Элиз, вышла с ней в свой кабинет.

— Ты долго не ложились, Элиз? — сказала она.

— Да, татап, мне не спалось.

— Но тебе вредно читать по ночам. Ты читала?

— Мне не хотелось спать, татап. Я читала «Русский вестник».

Татьяна Ивановна вопросительно подняла брови.

— Что такое, роман?

— «Преступление и наказание» Достоевского.

Татьяна Ивановна поискала, что сказать, и затруднилась: она не знала, в чем заключается это произведение. И переспросила:

— Роман?

— Да, татап, это — превосходный роман.

— Но, Элиз, нервы, нервы... Я так боюсь за тебя. Ты опять вскрикивала во сне, и я так боюсь...

Элиз презрительно усмехнулась.

— Тебе уж доложили,— сказала она с легким дрожанием подбородка. Татьяна Ивановна насильственно сделала приятное лицо и провела ладонью по волосам Элиз.

— Ну, хорошо, хорошо, оставим это,— проговорила она притворно смягченным голосом и резко переменяла разговор.— Я так рада, что мы проведем лето в Анненском. Дай мне, пожалуйста, мою работу. Там, в шифоньере. Ты мне прочитаешь отчет из орловской деревни?

Чтение скучного годового отчета происходило вот уже неделю подряд и было придумано с тайною целью успокаивать нервы Элиз. Элиз, подавляя вздох, подала матери работу — воздухи для приютской церкви,— вынула из папки на письменном столе толстую разграфленную и испещренную цифрами тетрадь и принялась читать намеренно деревянным, глухим от скрытого раздражения голосом:

— «За уваживание 50 экономических десятин в паровом поле: поденным мужикам 200 подвод по 40 копеек, итого 80 рублей; издельным 4 367 возов по 4¹/₂ копейки, итого 196 рублей 51¹/₂ коп.; отрядным за свинные кошары и коровий варок 55 рублей; им же на магарыч 1 рубль 75 копеек; бабам на разбивку: издельным... поденным... отрядным...» и так далее.

— Представь, сын нашего конюшего поступил в Медико-хирургическую академию,— сказала Татьяна Ивановна, отрезая ножницами золотистую шелковинку.

— Какого конюшего, матан?

— Капитона.

— А! — равнодушно произнесла Элиз и продолжала читать.

— Фелицата пишет: старик очень огорчен,— немного погодя добавила Татьяна Ивановна.

— Чем же?

— Ну, понимаешь, у него были свои мечты, устроить сына при заводе: он ведь определен в ветеринары.

— Вот странно! Я думаю, лучше быть доктором, нежели лечить лошадей...— с досадою сказала Элиз.

— Да, но у нас действительно нет хорошего ветеринара при заводе.

Элиз вспыхнула, готова была крикнуть: «Мерзко так эгоистически рассуждать!» — но сдержалась и дрогнувшим голосом выговорила: «...а на ремонт коровника в лавке купца Ненадежного куплено: гвоздей...»

— Я распорядилась отдать ему комнату Ричарда Альбертовича,— с поспешностью сказала Татьяна Ивановна,— пусть живет. Действительно, Капитон сорок лет служит у нас. Твой папá очень дорожил им. Это замечательный конюший.

В другое время Элиз несомненно была бы тронута поступком матери, но теперь она горько усмехнулась, воскликнула про себя: «Только поэтому!» — и продолжала:

— «Взыскано за потраву с государственных крестьян села Выползок за 142 лошади по 30 коп., итого 42 р. 60 коп.; с шерстобита Дормидона Комарова — побил гусями просо — 1 руб. 20 коп.; с измайловского дьячка...»

Татьяна Ивановна хотела опять прервать ее и спросить, чему она смеялась, когда дня четыре тому назад у Криницыных молодой граф Пестрищев подошел к ней и заговорил. До сих пор Татьяна Ивановна и не думала интересоваться этим: о такой партии для Элиз было слишком смело мечтать. Но теперь, под влиянием тех предположений Фелицаты Никаноровны, которые сама же Татьяна Ивановна называла наивными и сумасбродными, а главным образом под влиянием сообщения, что у Пестрищевых есть также имение в Воронежской губернии (как это ни странно, но с этим у Татьяны Ивановны тотчас же соединилось какое-то суеверное представление о возможности для Элиз

быть женою Пестрищева), она очень любопытствовала узнать, до какой степени молодые люди заинтересованы друг другом. Однако не спросила. Вместо успокоения чтение отчета сегодня, очевидно, производило на Элиз противоположное действие. Однообразный тон ее голоса начинал пересекаться, в нем слышалась какая-то нервическая звенящая нотка. Общим становилось все тяжелее и неприятнее быть вместе. Татьяна Ивановна посмотрела в окно: снег перестал, мутные тучи висели неподвижными громадами.

— Не заложить ли для тебя лошадей, Элиз?

— Да, татап, я очень желала бы. У меня страшно болит голова.

Через полчаса у подъезда стояла пара вороных. Кучер Петр, толстый, как бочка, от ваточного армяка, внимательно наблюдал за левым — Варакушкой, все норовившим укусить за шею того, который был запряжен направо. У открытой полости стоял наготове выездной лакей Михайло, в цилиндре и в длинной ливрее с скуновым воротником. Швейцар Григорий дал знать наверх, что лошади поданы.

Уж было известно, что поедет барышня. Это известие одинаковым образом отразилось на швейцаре, кучере и выездном. Лицо Григория вместо подобострастно-сдержанного, как перед «самой», или подобострастно-восхищенного, как перед Юрием Константиновичем, или высокомерно-благосклонного, как перед учительницей пения, гувернерами, англичанкой и прочим мелким людом, являло теперь вид снисходительного добродушия. Кучер Петр сидел на козлах с неувливаемой для непривычного взгляда развязностью: будто немного сгорбил, немного опустил локти, чересчур свободно ворочал шеей в высоком меховом воротнике. Когда приходилось ехать с «генеральшей», он сидел, точно отлитый из цельного куска, и только позволял себе вращать бессмысленно выпученными глазами. На красивом, с греческим профилем, лице Михайлы откровенно играла довольная и дружелюбная улыбка. Элиз быстро сошла с лестницы, с застенчиво потупленными глазами кивнула на низкий поклон швейцара, сказала кучеру: «Здравствуйте, Петр! Пожалуйста, ступайте на Невский», — торопливо уселась, как бы желая доставить возможно меньше хлопот Михайле и Григорию, и, неловко и неграциозно завернувшись в шубу, оглянулась вокруг с таким видом, как будто вырвалась из тюрьмы. Михайло весело вскочил на запятки, крикнул: «Поезжайте, Петр Иваныч!» — дерзость, не возможная в присутствии «самой», — и пара вороных дружно понесла легонькие сани вдоль набережной.

Тем временем мисс Люси, задыхаясь и путаясь в длинной шубе, сбежала с лестницы. Григорий насмешливо посмотрел на нее. «Уехали!» — преувеличенно громко сказал он, как говорят с глухими. Англичанка растерянно подбежала к дверям, посмотрела, не то всхлипнула, не то пробормотала что-то и, поднявшись наверх, страшно оскорбленная, со слезами на глазах, объявила Татьяне Ивановне, что «мисс уехала одна, что она удивляется, чем заслужила такое невнимание, что это *шокинг* — девице ездить одной и что у них, в Англии, разумеется в порядочном обществе, такое событие совершенно невысказуемо». Татьяна Ивановна успокоила ее, как могла, и послала к Рафу, сама же возвела глаза, всплеснула руками и с прискорбием прошептала: «Боже мой, боже мой, какой невозможный ребенок!»

Между тем все «событие» объяснялось странным и тревожным состоянием духа Элиз, которая решительно забыла, что нужно подождать англичанку.

На Садовой улице, там, где она примыкает к Сенной, у кабака с прилитыми и обделенными ступеньками, с мрачными, заплатанными стеклами на дверях, били пьяную женщину. Крик, хохот, брань стояли в толпе дерущихся и тех, кто остановился посмотреть на драку. Вдруг здоровенная пощечина оглушила Дуньку, она жалобно пискнула и упала навзничь; и тотчас же послы-

шался другой вопль, у самой толпы остановилась пара вороных, женский, странно ломающийся голос пронзительно закричал:

— Я вам приказываю!.. Приказываю!.. Сейчас же поднять ее!.. Сейчас, сейчас!.. Ах, боже мой, боже мой! Что же это такое?

— Помилуйте, барышня, их превосходительство разгневаются изволят! — говорил толстый, как бочка, кучер, вполоборота оглядываясь на впавшую в какое-то исступление молодую девушку в собольей шубе и с бледным лицом.

Та не помнила себя. Она выскочила из саней, бросилась к избитой женщине, подняла ей голову. Лакей, путаясь в длинной ливрее, прыгнул с запяток, подбежал к барышне и в недоумении улыбался, не зная, куда деть руки. Мастеровые, бывшие женщины, нырнули в толпу. Любопытные глазели, смеялись, охали, призывали полицию. Из дверей кабака выглядывал пузатый, обложенный желтым жиром сиделец.

— Позвольте, позвольте, прошу расходиться... Эй ты, чуйка! Куда прешь, или по морде захотелось отведать?.. Господа, честью прошу!..

Перед барышней предстал околоточный.

— Что вам угодно, сударыня? — спросил он с изысканной вежливостью.

Она посмотрела на него мутными, ничего не понимающими глазами. Тогда он отвернулся и скомандовал городовому, прикасаясь носком сапога к избитой Дуньке:

— Миронов, тащи в участок! — и, снова обращаясь к барышне: — Никак невозможно поспеть-с: шестая драка с нонешнего утра. И всё эти твари-с!

— Пожалуйста... я вас прошу... не трогайте ее, — торопливо заговорила она, путаясь в словах и не в силах сдержать нервически трясущегося подбродка. — Я — Елизавета Гарденина... наш дом на Гагаринской набережной... Я ее возьму с собою. Можете справиться... Нельзя так жестоко... Это возмутительно... бесчеловечно!..

Околоточный смотрел на нее сначала с беспокойством, потом с снисходительною насмешливостью, впрочем вежливо. Кучер Петр не вытерпел.

— Помилуйте, Лизавета Константиновна, — сказал он грубо, — их превосходительство прямо прикажут расчет мне выдать. Так нельзя-с. Поехали, говорили, из любопытства, посмотреть Сенную, и вдруг — пьяницу в барских санях везти.

— Молчать! — неожиданно крикнула Элиз, и звук ее голоса поразительно напомнил голос брата Юрия, когда тот закричал на дворника. — Сейчас же перенести в сани!

Вид ее бледного, с горящими глазами лица был настолько внушителен, что Михайло тотчас же подхватил Дуньку под руки, городской поддержал голову, люди из толпы взялись за ноги, Дунька была посажена на дно саней и прикрыта так, что одна только растрепанная голова виднелась из-под полости. В чувство она пришла еще валяясь в снегу и теперь невразумительно ругалась, решительно не понимая, что с нею делают. Околоточный сам застегнул полость и вообще не оказал никаких препятствий; только спросил у мрачного, как туча, Петра адрес господ и занес его в свою растрепанную и засаленную книжечку.

Дворецкий Климон Алексеич отправился после барского «чая» в буфетную, приказал находившемуся там Ардальону прибрать сервиз, сообщил ему в кратких и презрительных словах о поручении «генеральши», послал казачка Фомку за извозчиком, надел енотовую шубу — подарок покойного барина — и, отдуваясь, в сквернейшем расположении духа сошел с «девичьего» крыльца, уселся, — тот же Фомка суетливо застегнул полость, — и отправился на Выборгскую разыскивать Капитонова сына. Там узнал адрес: приходилось ехать в Измайловский полк, в Седьмую роту. «Эхма!» — с раздражением проговорил

Климон Алексеич и потащился в Измайловский полк. У ворот огромного четырехэтажного дома извозчик остановился.

— Эй, малый! — закричал Климон Алексеич, поманив человека в фартуке и с лопатой в руках. — Ты будешь дворник?

Тот посмотрел на важную осанку Климона Алексеича, на его енотовую шубу и директорские бакенбарды, поклонился и сказал:

— Что прикажете?

— Студент Ефрем Капитонов в каком номере?

— Надо быть, у портных, в двадцать третьем.

— Поди, высоко?

— Ды, признаться, высоконько; верхний этаж, — с сожалением сказал дворник.

— Охо-хо-хо... Да ты не приметил, выходил он сегодня или нет?

— Кабыть не выходил. А иное дело — жильцов много, не усмотришь.

— Ну, видно, нечего делать, надо лезть, — сказал Климон Алексеич, выбираясь из саней, — показывай, куда тут у вас...

И, важно запахиваясь, неодобрительно посматривая по сторонам, он пошел вслед за дворником в глубину узкого и высокого, как колодец, двора.

Идти по указанной дворником лестнице было весьма утомительно для тучного дворецкого. Вся она была прилита помоями и насыщена смрадом отбросов, кухонным чадом и запахом постного масла. «Живут, подумаешь», — презрительно бормотал Климон Алексеич. Наконец он увидел на дверях жестянку с намалеванными ножницами и властно дернул звонок. Мальчишка в тиковом халате и с совершенно зеленым лицом отворил двери.

— Вам кого?

— Студент Ефрем Капитонов здесь живет?

— Здесь.

— Дома он?

— Кажись, дома. Я утюги разводил, не видал.

— Ну-ка, проводи.

Прошли по темному, чадному коридору, прошли низенькую, душную и закопченную комнату, где, сидя на корточках, шили портные. Климон Алексеич, не снимая картуза и в высоких калошах, поводит носом и раздражительно шмыгал ногами.

— Вот сюда идите, — сказал мальчишка и покричал в дверь: — Ефрем Капитоныч, тебя купец спрашивает!

За неплотно притворенную дверь, которая была когда-то окрашена в желтый цвет, но теперь вся облуплена и захватана, слышались громкие молодые голоса.

— А где же передняя-то у вас, раздеться, например, аль не полагается? — насмешливо спросил Климон Алексеич.

Мальчишка посмотрел на него в недоумении.

— Кто спрашивает? Что надо? — сердитым басом проговорил, выглядывая в дверь, худой, волосатый юноша с резкими чертами лица и с густыми, угрюмо насупленными бровями.

Климон Алексеич увидел в табачном дыму много молодых людей с разгоряченными лицами, скелет в углу, кучи как ни попало разбросанных книг, зеленоватый и перекошенный самовар на прилитом столе, стаканы с жиденьким чаем.

— Вы будете сынок Капитона Аверьяныча, конюшего?

— Я. Что надо? — Ефрем пропустил Климона Алексеича в комнату. Тот молча и с независимым видом снял картуз, калоши, шубу и, видимо рассчитывая на эффект, важно проговорил:

— Я от их превосходительства Татьяны Ивановны Гардениной. Дворецкий ихний.

Эффекта, однако, никакого не получилось. Ефрем страшно занят был тем, о чем кричали и спорили в другом углу комнаты, и так и порывался броситься туда.

— Что же вам нужно? — повторил он, нетерпеливо пощипывая свои едва пробивающиеся усы.

— Их превосходительство изволили приказать переезжать вам в господский дом. Как тятенька ваш примерный барский слуга и генеральша очень им довольна, то и велено отвести вам комнату.

Лицо Ефрема дрогнуло, он хотел что-то сказать, но в это время спор разгорелся с особенною силой, и он бросился туда, покинув оскорбленного и недоумевающего Климона Алексеича. Климон Алексеич одно мгновение постоял, хотел одеваться, но, подумав, что барское поручение еще не совсем исполнено, с видом уязвленного в своем достоинстве человека сел около стола и пренебрежительно стал прислушиваться к спору, но никак не мог уловить, о чем спорят. Беспреданно повторялись слова: кризис, банкротство, государственность, когорты труда, федерация, долг народа, капитализм, пауперизм, организация, рабочий вопрос, аграрный вопрос, женский вопрос — слова, известные Климону Алексеичу по газете «Голос», которую он аккуратно прочитывал после генеральши, но в совершенно непонятном для него сочетании. Одно было очевидно для Климона Алексеича: тщедушный, длиннолицый, точно обсыпанный мукою человек с визгливым, надтреснутым голоском особенно напирал на Ефрема. Слова лились у него с языка с непостижимой быстротой и горячностью. У Ефрема выступали красные пятна на скулах, он сердился, прерывал длиннолицего, но, видно, никак не мог переспорить. «Да ведь это — софизмы, Воеводин, — кричал он, — диалектика, паутина!»

Однако Климон Алексеич начинал чувствовать, что его совершенно забыли, сделал нетерпеливое движение, привстал... Вдруг Ефрем с перекосившимся от негодования лицом, с словами: «Ну, погоди же, я тебе документально докажу!» — отбежал от длиннолицего и нечаянно встретился глазами с Климоном Алексеичем.

— Вы чего дожидаетесь? — грубо сказал он. — Скажите своей генеральше, что мне благодарений не нужно. Напрасно беспокоила вашу великолепную особу! — и, схватив какую-то книгу, опять устремился к длиннолицему.

Климон Алексеич встал ошеломленный. Язвительный ответ вертелся у него на языке. Но великолепного дворецкого никто не видел и не замечал в пылу вновь поднявшихся криков и словопрений. Тогда он надел калоши и шубу, надвинул с видом решительного вызова картуз и, громко стуча ногами, вышел, не затворив за собою дверь. И всю дорогу от Измайловского полка до Гагаринской набережной сердито бормотал себе под нос и нервически теребил свои директорские бакенбарды.

В передней «девичьего» подъезда его встретила куда-то убегающая Феня.

— Ну, Климон Алексеич, — прошептала она, — у нас чистое светопреставление!

Он не успел спросить ее, в чем дело, разделся, пригладил перед зеркалом баки и височки и только подумал распечь Фомку за то, что тот его не встретил и не принял шубы, как вдруг по соседству с передней, в комнате Ардальона, послышался стон. Климон Алексеич заглянул туда: на постели что-то копошилось. Он подошел ближе и оцепенел: на постели лежала растрепанная женщина с разбитым лицом. От нее сильно пахло водкой.

— Испить бы... — пробормотала она.

— Что же это такое? — растерянно выговорил Климон Алексеич. За его спиной послышался раздраженный голос Ардальона:

— Воля ваша, Климон Алексеич, эдак служить нельзя. Что же это такое? Перегадили постель, замарали полы... Как им угодно, а я на это не согласен.

— Да что... такое у вас делается? — пролепетал Климон Алексеич, подступая к Ардальону.

— Что! — с негодованием ответил Ардальон. — Барышня весь дом смутили. Приказали Петру Иванычу ехать на Сенную, там в драке зашибли вот эту, — и он с глубочайшим омерзением кивнул на постель, — велели взять в сани, да вот и привезли. Невозможно выдумать, чем занимаются.

Климон Алексеич круто отвернулся от Ардальона, машинально поправил трясущимися руками галстук и быстро направился во внутренние комнаты. Ардальон схватил его за рукав.

— Да вы куда, Климон Алексеич?

— Только жалованье получать, дармоеды! — вдруг, вне себя от гнева, разразился Климон Алексеич. — Как смел пропустить? Чего Фомка смотрел? Только генеральский дом срамить!.. Что такое? Почему? Какая барышня?.. Нельзя на минуту отлучиться. Все доложу генеральше!

— Им известно. Помилуйте, Климон Алексеич, до того дошло — за доктором посылали. Я было не пропускал. Михайло с Илюшкой ташат, а я не пропустил. Но тут барышня закричали... Я вижу, ничего не поделаешь, Фомку-то в парадную послал посидеть, сам к их превосходительству. Их превосходительство даже с лица сменились... Вскочили, пошли сами к Лизавете Константиновне. Крепко закричали на них по-французски. А Лизавета Константиновна бац об пол да в истерику. Подхватили их Феня с Христиной, понесли... А тут, вижу, пробежала Едвига Карловна, Амалия, чтица, англичанка... слышу — их превосходительство в обмороке. Помилуйте, не приведи бог что было!

Климон Алексеич опустил голову, отошел нетвердым шагом к столу, сел и, соображая весь сегодняшний день, с отчаянным вздохом прошептал:

— Ну, времечко наступило!



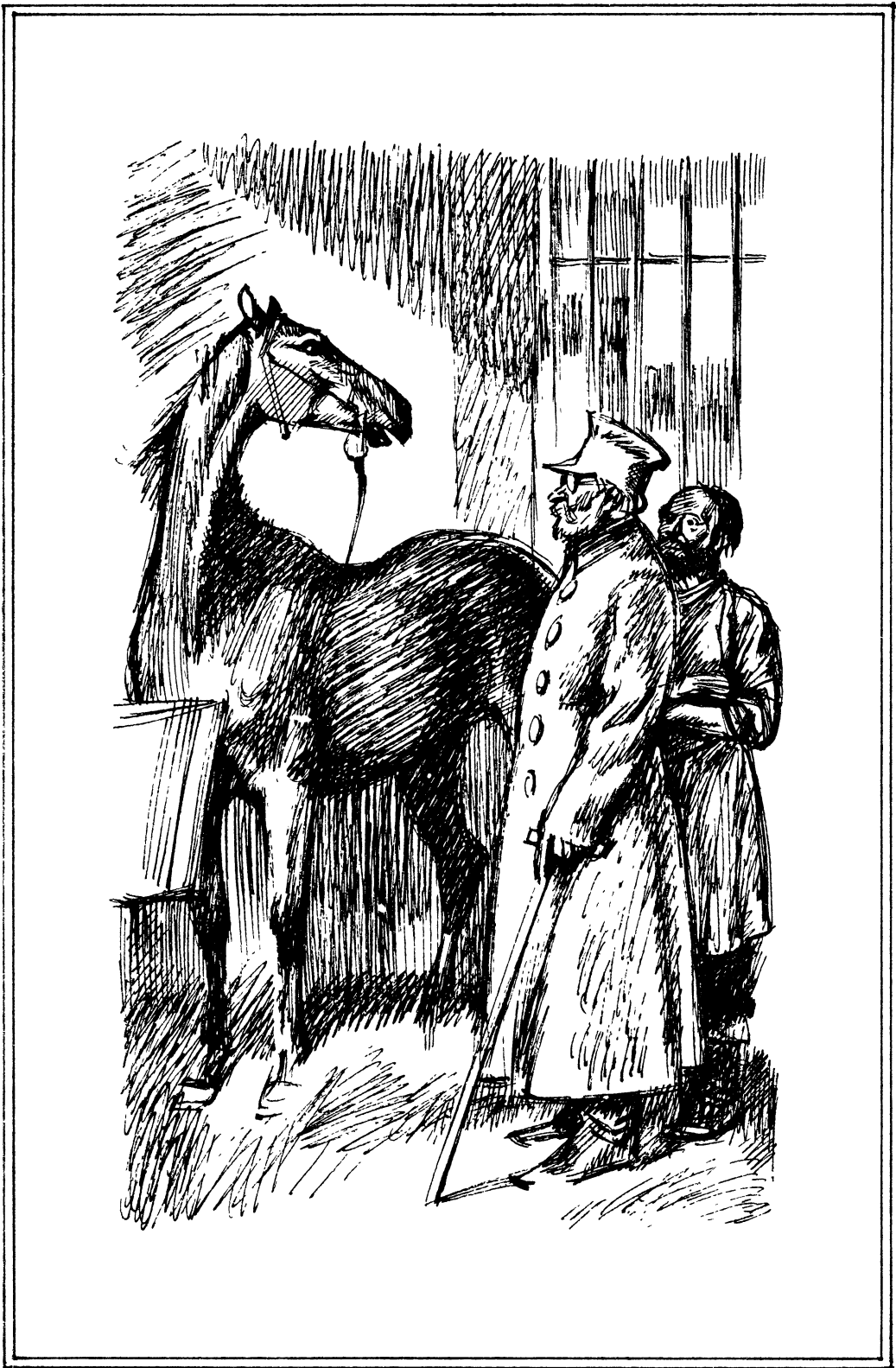
Вотчина господ Гардениных. — Обход Капитона Аверьяныча. — Варфоломеичева вожжа. — Кролик. — Как разбирались подначальные люди в настроении конюшего. — Любимец Фадей. — Дети Волшебницы. — Коннозаводские мечты и идеалы. — Любезный. — Федоткин случай.

Сельцо Анненское, Гарденино тож, было в начале семидесятых годов необыкновенным захолустьем. До одной железной дороги считалось от него верст восемьдесят, да и та недавно выстроилась. Другую же, верстах в тридцати, только что строили. Ближайший город отстоял в ста двадцати верстах. Почта доходила в Гарденино какими-то невероятными зигзагами. О том, что делалось на белом свете, знали там смутно и гадательно. Правда, как только подрались пруссаки с австрийцами, в контору, по распоряжению барыни, выписывался «Сын отечества», но читался очень плохо и, так сказать, больше по обязанности: чтоб не пропадали барские деньги. Выписывался еще «Журнал коннозаводства». Вещь маловероятная, но в Гарденине не представляли себе отчетливо, что такое земство, гласный суд, телеграф, железная дорога, банк. Что касается губернии, то она представлялась гарденинским обитателям в каком-то загадочном тумане. Разумеется, самый город знали, и не только тот, но и ближайший уездный, затем — Козлов, Елец и даже Тамбов. Но знали в этих городах некоторые здания, некоторые улицы и затем немногих людей,

с которыми приходилось вести дела: лошадиных барышников, хлебников, прасолов. Ничего другого, никаких общественных, увеселительных, административных, городских и земских учреждений не знали, исключая до некоторой степени одного «управителя». Затем, несмотря на то, что в конторе получался «Сын отечества», предпочитали иметь о событиях «живые» сведения. Именно эти сведения, начиная от самых достоверных и кончая самыми фантастическими, служили тою связью, посредством которой Гарденино сплеталось с уездом, с губернией, с Россией и, наконец, со всем миром. Понятно, что достоверность уменьшалась сообразно с лестницей этих величин, хотя и не во всем. Так, например, кое-что о происшедшем в Париже или в Петербурге знали лучше и достовернее, чем о том, что произошло в своем уездном городе. Знали, например, что на всемирной выставке император Наполеон купил лошадей такого-то русского завода и заплатил столько-то, что там же русский жеребец Бедуин прошел трехверстную дистанцию в столько-то минут и осрамил американских и английских рысаков, что в Петербурге в запряжке императрицы появились темно-серые лошади и потому цена на темно-серых лошадей поднялась; что кобыла завода Стаховича опять взяла приз на Неве; что рожь вместо Москвы пошла на Кенигсберг и Либаву; что министром будет назначен тогда-то такой-то, потому что его сестра сама говорила об этом барыне, и барыня распорядилась, чтобы «заездить» пару серых для своего брата, который в «генералах» у нового министра; что в России скоро введут «ландвер», ибо барыне уже посоветовали «ихние знакомые» и Рафаила Константиныча пустить «по военной». Затем все, что не соприкасалось с непосредственными интересами Гарденина, представлялось либо в фантастических, либо в каких-то смутных очертаниях: Ташкент, генерал Черняев, драка пруссаков с австрийцами и французов с пруссаками, отмена парижского трактата, нигилисты, освобождение гласных крестьян от телесного наказания, Парижская коммуна, суд присяжных, земство, продажа американских владений и т. д. и т. д. Все это, конечно, говорится об усадьбе и о главных лицах двора, — деревня и дворовая мелкота сюда не входят, ибо у них были интересы уж совсем особенные.

Место в Гарденине было живописное и привольное, хотя и не такое командующее, как барские усадьбы на берегах Дона, Воронежа, Битюка и других тамошних рек. Те усадьбы сидят на местах холмистых, крутых, видны за много верст, точно они с гордостью озираются на смиренные села и деревни, распростертые у их подножия, на кроткие покорные равнины, уходящие вдаль... Гарденино же забралось в самую степную глушь и притаилось там без излишней высокомерности и без особенно вызывающей красоты. И не одно Гарденино. Тихая степная речонка Гнилуша на протяжении пятидесяти верст течет вдоль глубокой лощины и впадает в густо заросший камышом залив Битюка. Там, где не беспокоили эту речонку и не преграждали ей путь, она текла себе узенькою полоской, скромно пряталась в камышах, исчезала в зарослях тальника и осинника, скоплялась в неподвижные плесы, где было поглубже и поспокойнее. Пустынно было на ее берегах, поросших мелкою и мягкою травкой, конским щавелем и одуванчиками. Ничего живого и постороннего. Только проплачет чибеска, коснувшись изогнутым крылом невозмутимой поверхности плеса, прогудит унылая выпь, пронзительно свистнет сурок на ближнем холмике — и опять глубокая тишина.

Но в трех или четырех местах, там, где крутая лощина раздавалась и береговые склоны были отлоги, еще с прошлого столетия «осели» господа, переселили крестьян из других губерний, перехватили речонку, заставили ее бежать по скрыне и двигать мельничными колесами, развели на пустынных берегах сады, настроили каменных и деревянных зданий. И жалкая речонка превращалась там в светлые и широкие пруды. Вместо одного только неба, да вечно трепещущего осинника, да высокого и стройного, как стрела,



конского щавеля и мохнатых кистей камыша, отражались в ней ярко выбеленные постройки, ярко-зеленые и красные крыши, узорчатая ограда, толстые ветлы на плотине, сад и рощи,— густые клены, душистые липы, сверкающие веселым серебром березы. Там и сям на прудах плавали гуси и утки, оглашая воздух криканьем и нестерпимо шумным гоготаньем. Мельница содрогалась от тяжелых поворотов колес и торопливой работы жернова... Посуетившись на мельнице, речонка, как сумасшедшая, спадала вниз под колеса, бурлила и шумела там, вырывая в гневе глубокий омут, потом мало-помалу успокаивалась, с звенящим лепетом пробегала мимо ветляка, засевающего за мельницей на влажной и низкой почве, мимо деревенских огородов и конопляников и, достигая полей, снова превращалась в смирную и ленивую речку, еле двигающую свои воды. И опять плакала над ней чибеска, шумел камыш да стояла выпь, уныло нарушая важную и задумчивую степную тишину.

Вот на берегах одного из таких широких и светлых прудов — самого широкого по течению Гнилуши — и раскинулось Гарденино. На левой стороне — «красный двор», на правой, через плотину,— «экономия». «Красный двор» совсем походил на городок. С трех сторон тянулись огромные конюшни — заводская, рысистая, полукровная, маточная, холостая, каретная, рабочая, два жеребятника, манеж, каретный сарай; потом — кладовые, ледники, кухни, прачечная и бывшая ткацкая, а теперь флигелек экономки Фелицаты Никаноровны. Замыкая двор со стороны сада, возвышался барский дом с мезонином, с балконами, выходящими на пруд, окруженный цветниками и густыми купами сирени. За домом и позади одной стороны двора развевывался десятинах на пятнадцати столетний сад. Весь двор был обнесен каменной узорчатою оградой. Да и вообще все на «красном дворе» было каменное, выбеленное и покрытое железом. Рядом с двором через широкую дорогу тянулись опять-таки каменные, но уже с тесовою и камышовою крышей флигеля для служащих. Тут были: застольная, контора, шорня, мастерская, тут жили наездники, кучера, семейные конюхи, ключники, кузнецы, шорник, колесник, повар Лукич, лакей Степан, конторщик Агей Данилыч, конюший Капитон Аверьяныч и, наконец, в особом домике сам «управитель» Мартин Лукьяныч Рахманный.

На другой стороне пруда просторно раскинулись кошары, варки, овины, амбары, рига и, наконец, гумно, обнесенное глубокою канавой с ветлами. На этом гумне к августу месяцу скоплялось более сотни огромных скирдов разного хлеба, который затем и молотили вплоть до марта месяца.

Широко расположился отставной бригадир Юрий Гарденин, основавший в 1768 году сельцо Анненское на пожалованной земле и переселившийся сюда из орловской своей вотчины 112 душ мужеского и женского пола,— так широко, что деревня, теперь уж в 74 двора и 310 ревизских душ, приютившись вниз по течению Гнилуши, занимает место чуть не вдвое меньше господской усадьбы и жметя себе, охваченная с трех сторон господским выгоном, господскою рощей и господскими полями.

Раннее мартовское утро. В длинных и широких коридорах «рысистого отделения» торопливо ходят люди с охапками сена, с железными гарнцами и ведрами. Двери теплых и сильно пахнущих навозом денников растворяются, слышится ласковое и нетерпеливое ржание, сухой шелест сена, плеск воды, равномерное смурьганье скребилиц и щеток, гремит железо об ясли, раздается сердитый, охрипший со сна голос: «Ну, дьявол, куда лезешь!»

В том конце коридора, где в тусклое, запыленное окно пробивается косою ярко-зеленый свет восходящего солнца, сидит на ларе с овсом маленький и кругленький человечек в голубом сюртуке старомодного покроя, с буфами и низкою талией. Он сидит на корточках, не спеша покуривает изогнутую

пенковую трубочку и поплеывает сквозь зубы. Конюхи один за другим подходят к ларю, зачерпывают овес и разносят по денникам.

Вдруг голубой сюртук изъясляет волнение и озабоченно спрашивает:

— Федот, Федот! Ты, тово... Кролику, что ли?

— Кролику, Онисим Варфоломеич.

— А вот, тово, подожди... Подожди, брат, тут дело не совсем... Экий ты, брат Федот! Надо, брат, все по порядку,— и он с живостью спрыгивает с ларя, нагибается и что-то быстро с таинственным видом бормочет над гарнцем. Круглолицый румяный Федотка с белым пушком на верхней губе едва перемагает смех. Наконец Онисим Варфоломеич облегченно вздыхает и выпрямляется.— Ну, неси, брат. Теперь неси,— говорит он, хитро подмигивая Федотке,— теперь, брат, тово... посодействует! — и только хочет опять влезть на ларь, как вдруг оглядывается в темную глубину коридора, торопливо засовывает в карман трубочку и, отбегая от ларя, кричит грозным и деловым тоном на того конюха, который в эту минуту опять изругал лошадь «дьяволом»: — Эй, чего невежничаетшь.. тово... Чего чертыхаешься, мужлан?.. Ужели не понимаешь, как с лошадей обращаться?

В темной глубине коридора, лицом к свету, обозначилась странная фигура. Круглые, с медный пятак, глаза сверкали, как у филина; меж этих огневых глаз выступал нос с необычайно длинным клювом; нелепое и огромное туловище узко сходило около шеи и широким кринолином топырилось внизу; вдоль туловища в два ряда отсвечивали какие-то блестящие пятна... Чудовище стояло неподвижно и не сводило своих круглых глаз с растерявшегося Онисима Варфоломеича. Онисим Варфоломеич бросался как угорелый под этим взглядом, визгливо покрикивал на конюхов, пригоршнями собирал с пола рассыпанное сено и, точно какую драгоценность, бережно относил его в первый растворенный денник. Тем временем чудовище мигнуло своими глазищами, двинулось вдоль коридора и остановилось у денника, на двери которого уже можно было разобрать слово, нацарапанное мелом: «Кролик». Федотка проворно откинул крючок, распахнул дверь; чудовище посопело, потолок суковатым костылем около порога и перенесло в денник огромные, похожие на лодки ноги. Суетливый Онисим Варфоломеич в одно мгновение ока очутился подле, отстранил Федота, вежливо взялся за дверь и, наклоняясь всем корпусом, с неопределимой тревогой стал глядеть в спину чудовища. Кролик всхрапнул, вытянулся, насторожил уши и, отворотившись от овса, внимательным и недоумевающим взглядом обвел вошедшего. Пыльный розовый луч пробивался в маленькое окошко денника. И этот луч упал на чудовище, осветил высокий пуховый картуз с длинным и прямым козырьком, подклеенным зеленою бумагой, необыкновенно большие серебряные очки, бледное лицо с твердо сжатыми тонкими губами и с выражением какой-то угрюмой важности, нависшие брови, коротко подстриженную седую бороду, щетинистые усы, зеленое ватное пальто из грубого и жесткого, как листовое железо, демикотона, похожее своим покроем на удлинненный колокол, два ряда огромных, едва не в чайное блюдо, лакированных пуговиц... Одним словом, этот луч осветил конюшего Капитона Аверьяныча.

— А подстилки опять мало? — внушительно произнес Капитон Аверьяныч, поковырявши костылем около своих ног.

Онисим Варфоломеич изогнулся до невозможности.

— Кажись, вдосталь, Капитон Аверьяныч... Самолично надсматривал,— пролепетал он, заикаясь.

— То-то самолично. Ты бы на овес-то поменьше шептал, а смотрел-то бы поаккуратнее... Самолично!

— Что касающе насчет шептанья, я, то есть, тово, Капитон Аверьяныч... Я к тому теперича, чтобы как-никак посодействовать. Старичок меня научил, Капитон Аверьяныч.

— Чего? Какой такой старичок? Ты, Варфоломеев, юлишь, я замечаю, а дела от тебя ни на грош. Поди сюда.

— То есть, к вам пойти, Капитон Аверьяныч?

— А к кому же? Аль боишься? Эх ты, горе-наездник!

— Зачем же-с? Я, собственно, чтоб не толкнуть вас... темненько-с... А то я, тово... — и, незаметно перекрестив себя под жилеткой, Онисим Варфоломеич мужественно перешагнул порог.

— Иди сюда. Это что? Подстилка? Хочешь, чтоб обезножила лошадь? Пощупай-ка ногу, — и Капитон Аверьяныч, нагнувшись, с силою поднял за щетку переднюю ногу Кролика. Кролик вырвал ногу и шарахнулся в сторону. Онисим Варфоломеич кубарем вылетел из денника; на нем лица не было, губы его тряслись. Федотка прыснул в руку и с притворным участием прошептал:

— Аль зашиблись, Онисим Варфоломеич?

— Федотка, — сердито сказал Капитон Аверьяныч, — выведи Кролика! — Затем он опять поковырял и постучал костылем, перенес через порог свои ноги в несоразмерно больших калошах и зашагал по коридору. Онисим Варфоломеич, изгибаясь и вежливо поваливая поясницей, семенил сзади. Они вышли из коридора в огромные сени, где было еще совсем темно. Но тут Онисим Варфоломеич с опасностью жизни ринулся вперед, хлопнулся всем телом в ворота и стремительно отлетел вместе с ними в сторону. На дворе было совсем светло, и стены конюшен весело и приветливо алели, озаряемые утренним солнцем. Капитон Аверьяныч сощурил глаза, приложил ладонь к козырьку и огляделся; затем отошел к стене и оперся на свой суковатый костыль. Трепетавший Онисим Варфоломеич привязал ворота, запахнул сюртучок и искательно посмотрел в очки Капитона Аверьяныча. Но тот хранил суровое молчание. В конюшне послышался быстрый топот, раздался звон подков, и на свет вылетел большой караковый жеребец, увлекая на тугом поводу Федотку в красной рубашке и в фартуке. Федотка проехал несколько шагов на подошвах, оправился, закричал свирепым голосом: «Но-о-о ты, леший!» — и, перехватив правой рукой повод около самой морды Кролика, поставил его близ стены. Кролик повел огненным глазом, красиво отделил хвост, фыркнул, вздрогнул, стройно вытянулся и стал как вкопанный. Онисим Варфоломеич тоже встрепенулся, закричал неистово громким голосом и угрозил Кролику. Тот спокойно и немножко презрительно посмотрел на него.

— Не юли, — сказал Капитон Аверьяныч и махнул на Онисима Варфоломеича, как на муху. Кролик отчетливо выделялся на светло-розовой стене конюшни. Это была длинная лошадь с не особенно широкою, но удивительно мускулистою грудью, с прямою шеей, с «подлыжеватыми» ногами и низко поставленным хвостом. На взгляд неопытного человека она, пожалуй, не была красива. Плечо, например, показалось бы слишком длинным и слишком косым, «бабки» слишком изогнутыми, так называемый «локоть» — длинен, «почка» — высока, челюсти — чересчур раздвинуты, «подпруга» — очень глубока. Разве признаки высокой породы подкупили бы такого неопытного человека в Кролике: огромные, широко посаженные глаза, тонкая кожа, лоснящаяся, как атлас, выпуклые связки, сухая голова с резко очерченными ноздрями, точно из меди вылитые мускулы. Но знаток и любитель резвых лошадей пришел бы в одинаковый восторг как от этих признаков «породы», так и от характерных статей, некрасивых на взгляд неопытного человека. Эти некрасивые стати изобличали в Кролике большую резвость и большую силу.

Капитон Аверьяныч не пришел, однако, в восторг. Он обошел вокруг лошади, внимательно осмотрел ее, пробурчал что-то себе под нос. Лицо его не изменяло высокомерного и недовольного выражения.

— Антик! — сладко пролепетал Онисим Варфоломеич.

Брови Капитона Аверьяныча сдвинулись еще больше.

— Стати на удивленье, призывые! — добавил Онисим Варфоломеич.

Капитон Аверьяныч нагнулся и поднял за щетку правую переднюю ногу. Кролик покосился на него, но стоял смиренно в этом неудобном положении.

— Черт! Я говорил: мокрецы заведутся. Смотри, уж разъедать стало. Онисим Варфоломеич нерешительно наклонился к ноге.

— Настилали, Капитон Аверьяныч, — пробормотал он, — самолично надсматривал.

Капитон Аверьяныч внезапно побагровел, выпустил ногу Кролика и выпрямился во весь свой необыкновенно высокий рост. Быстро подошел он к Федотке, у которого уж побелели и затряслись губы, ткнул его сжатым кулаком прямо в лицо, отчего Федотка судорожно откинул голову, не решаясь, однако, даже на мгновение выпустить повод, и, прошипев сквозь стиснутые зубы: «Ты не мог присмотреть, такой-сякой... веди!» — зашагал к другим конюшням.

Онисим Варфоломеич кинулся было вслед за ним, потом вдруг сообразил что-то, отпрянул назад и побежал вслед за Кроликом, которого уже вводили в денник.

— Как же это, Федотик, а, — торопливо заговорил он конюху, — ты, тово... оплошал, брат, оплошал?!

Федотка снял с Кролика недоуздок, затворил дверь и, отплюнувшись, вытер зубы фартуком: из десен сочилась кровь.

— Аль влетело? — хладнокровно спросил старый конюх Василий, вытирая только что вымытые руки.

— Да я-то чем оплошал? — огрызнулся Федотка, не отвечая Василию. — Всем стлали поровну. Вы бы сами зашли в денник-то, да и поглядели. Тоже наездник называется — к лошади боитесь подойти.

— Эка, эка, что сказал — боитесь! Я, брат, тово... к черту войду, и то не побоюсь. У меня, брат, слово такое есть...

— С Варфоломеичем у нас не шути, — с серьезным видом сказал Василий, — вот только бы нам с ним на призы выехать: всех осраим!

— А что ж ты думаешь, и осрамлю, — сказал Варфоломеич, вынимая и закуривая свою изогнутую трубочку. — Ты, тово, дядя Василий... ты, может, шутишь, а я тебе прямо говорю — осрамлю!

— Какие шутки! На корм шепчешь, в санки садишься — шепчешь... И где это ты научился, голова?

— И осрамлю, — упрямо повторил Онисим Варфоломеич, смутно догадываясь, что дядя Василий смеется над ним, и не зная, обижаться ли ему на эти насмешки или притвориться, будто не замечает. Тем временем Федотка постлал свежей соломы Кролику, другие конюхи вывели коридор, прибрали ведра и меры, заперли наглухо денники, вымыли руки и, подшучивая над зуботычиной, полученной Федоткою, и над трусостью наездника, пошли завтракать в застольную. Онисим Варфоломеич, поплеывая и посасывая трубочку, замкнул ларь с овсом, осмотрел, все ли в порядке, и тоже направился домой. Федотка остался дежурным. Дядя Василий пошел рядом с наездником.

— Вот теперь Наум Нефедов берет призы; ты думаешь, он спроста берет? — говорил Онисим Варфоломеич, поматывая ключом на пальце.

— Где спроста! Тоже, поди, слово какое знает, — соглашался дядя Василий.

— А, то-то, «слово»! Мне вот Микитка-поддужный сказывал: он, говорит, без саверинского колдуна как без рук. Что съездит к нему, то и возьмет приз, что съездит, то и возьмет. Ужели мы не понимаем? Да, все, брат, на слове держится. Вот теперь Капитон Аверьянов на меня нападает... А знай-ка я на него слово, небось бы из гостей у меня не выходил. Где это видано — наезд-

нику руки не подает; я тогда, снова-то, протянул ему руку, а он эдак посмотрел и тово... палец! Ей-богу, один палец выставил.

— Ну, это ты не говори, он и барышнику иному только что палец протянет. Человек гордый.

— А почему? Эх, погляжу, погляжу, добуду я на него слово. Ей-богу, добуду. Уж я его обратяю!

— Да, пожалуй, что тебе невозможно без эфтого.

— Уж добуду! Уж вижу, что надо его в хомут вести!

— Вот Фадей, говорят, приворожил.

— Ну, вот-вот. Что такое Фадей? — Так себе, конюшишка... А поди, силу какую взял. Нет, без слова на ихнего брата... — И Онисим Варфоломеич посасывал из своей трубочки, вертел ключом и с шиком отплеывался на добрые две сажени расстояния.

Когда Капитон Аверьяныч бывал в раздраженном состоянии духа, он имел привычку сильно стучать костью под ногами и мрачным басом напевать себе в бороду: «Коль славен наш господь в Сионе»; тогда туча лежала на его важном лице, и глаза из-за очков метали злоеющие искры. Такое состояние было, однако же, не особенно часто. Еще реже видели Капитона Аверьяныча веселым, когда он бывал шутив и разговорчив, хоть и отнюдь без потери своего достоинства. Чаще же всего, — и даже, можно сказать, постоянно, — Капитон Аверьяныч был сух, молчалив, сосредоточен, смотрел строго и серьезно и вечно мурлыкал какой-то невразумительный духовный напев, совсем, впрочем, не похожий на «Коль славен». Все население завода, исключая лишь нескольких очень почтенных и очень заслуженных людей, рассчитывало образ своего поведения и свои слова с этими признаками. Когда гудело «Коль славен», тут лучше всего было не попадаться на глаза: за малейший промах, за ничтожнейшую оплошность, за слово, сказанное невпопад, нужно было ожидать всего худшего. Здесь не говорится о зуботычине или об ударе костью, — на языке гарденинских конюхов того времени не это считалось самым худшим; но случалось, что Капитон Аверьяныч, не преломив своего гнева «домашним способом», произносил одно только грозное слово: «В контору!» А это означало бесповоротный и решительный расчет. Это означало для дворового человека не получать более «мещины», не получать каждое первое число 3 рубля 33 ¹/₃ копейки, а не то и целых 4 рублей, не получать «поводковых», «праздничных», «по случаю приезда господ», квартиры в барском флигеле; это означало — ломать хлевушок, продавать корову, клеть, свинью, расставаться с пригретым углом, с соседями, с обществом в застойной, с привычным образом жизни, с обязанностями, унаследованными от отца и деда, и пускаться — куда? — неизвестно. Впрочем, таких поистине трагических случаев было с самой воли всего два или три. Обыкновенно дело кончалось проще — выбитым зубом или синяком под глазами.

Когда же Капитон Аверьяныч был в обыкновенном состоянии духа, его боялись как огня, без особенной и настойчивой нужды не заговаривали с ним, относились к нему с великою почитательностью, но и не бегали от него, а каждый проявлял свое усердие, в чем ему было назначено. И, разумеется, все веселилось и зубоскало друг над другом, когда Капитон Аверьяныч был весел и давал немое соизволение шутникам и зубоскалам.

Уже сказано, что были исключения для тех людей, которые приноравливались и приспособлялись к душевному настроению Капитона Аверьяныча. В числе исключений нужно назвать кучера Никифора Агапыча, давнишнего завистника и тайного врага могущественного конюшего; второго наездника, Мина Власова, убеленного сединами, но малоспособного старца; маточника Терентия Иваныча; конюха Полуекта, имевшего на своем попечении заводских жеребцов, и, наконец, конюха Фадея, ходившего за жеребятами. Все,

кроме Фадея, были старые гарденинские слуги. Иные из них старше самого Капитона Аверьяныча. Конюх же Фадей, хотя не был крепостным Гардениных и происходил из загадочного и неопределенного звания «приписных» (к чему приписных, он и сам не знал), а по возрасту годился в сыновья Капитону Аверьянычу, был у сего последнего на особом счету, что в Гарденине, как мы уже видели, объяснялось Фадеевой «ворожкой» и некоторым «словом».

Во всяком случае, многие вздохнули с великим облегчением, когда Капитон Аверьяныч, грозно напевая «Коль славен» и стуча костью по мостовой двора, направился прямо из рысистого отделения в жеребятник. Там толпились у корыт кобылки и коньки годового возраста. Среди них стоял человек низенького роста, с бородою во всю грудь, в неловко сидящем полшубке и с смешною, похожею на колпак шапкой на кудлатой голове. Увидав, что свет, падающий в ворота, кем-то заслонен, он досадливо обернулся, — в руках у него была сечка, чем рубят морковь, — но тотчас же его маленькое сморщенное лицо озарилось приятною и добродушною улыбкой.

— Ах, едят те мухи-комары, я думал, это Евдокимка заслонил, — сказал он певучим, мягким голосом, — здравствуй, Аверьяныч. Вот стою, все крошу, чтоб помельче. Трудно им крупное-то жевать. Чистые ребята! Ишь, ишь, гляди, вороненький-то... Ах, братец ты мой. Ну-ка, дурашка, дай, дай сюда, где тебе эдакий оболонк разжевать! — Он осторожно вынул изо рта жеребенка кусок моркови и не спеша, медленным и аккуратным движением разрезал его натрое и, посмотрев на Капитона Аверьяныча, рассмеялся: — Ну, чистые, братец ты мой, детишки, едят их мухи-комары! Вон, вон, смотри, гнedenьякая-то, с чулочками-то на задних ножках, — от Атласного она, что ли, — ну, такая-то забавница, такая-то воструха! Ишь, ишь, за ухо мышастенького теребит. Вот я тебе, шельма! Али этот, с отметинкой на губе... такой-то продувной. Чуть недоглядишь, сейчас за ухо сцапает... А не кусается, вежлив. Вот этот, Волшебницын, строг, разбойник. Ну, ну, смотри ты у меня! Но что ж это за красота, волки его ешь! Поди, подрастет, не уступит Любезному. Ну, Аверьяныч, вырастил ты коней... — Фадей ходил в толпе жеребят, ласково и любовно поглядывал на них, гладил, чесал их «под зебрами»; тот, что с отметкой на губе, сунул его теплой мордочкой прямо в губы, другой положил ему голову на плечо и, вероятно находя такое положение очень для себя удобным, с аппетитом хрустел морковью. Вдруг Фадей, только теперь заметивший, что Капитон Аверьяныч не выговорил ни слова, взглянул на него и перестал улыбаться. — Эге! Ты, никак, сердит, Аверьяныч? Аль непорядки какие?

Капитон Аверьяныч помывал и с неохотою процедил сквозь зубы:

— М-да... наездник все этот.

— Онисим? Ах, едят его мухи-комары! Ну, что ж, ну, ничего, братец ты мой. Авось справится. Авось! — И опять рассиял: — Гляди, гляди, со звездочкой-то что разделявает. У, коростовый! Так и хапает, так и норовит вырвать изо рта. Ну, чистые ребяташки!

— Говорят, Ефим воейковский без места, — сказал Капитон Аверьяныч.

— А что, Онисима расчесть хочешь? Ну, что ж, разыщем Ефима, попытаем. Это ничего. А может, Онисим справится, забодай его корова? Аль нет? Ну, как знаешь, как знаешь, можно и Ефима нанять... Эй, эй, ты, головастик! Ишь ведь прицеливается, ишь, едят те мухи-комары...

Из жеребятника Капитон Аверьяныч уже с значительно пониженным гудением прошел в маточную.

— Ну, мы ноне с радостью, Аверьяныч, — встретил его маточник Терентий. — Волшебнице бог конька дал.

Внезапно туча сбегала с лица Капитона Аверьяныча, его сурово сжатые губы раздвинулись радостною, детскою улыбкой.

— Давно? — спросил он, быстро устремляясь вперед.

— Да вот только что управились. Надо быть, опять вороной. На лбу звезда, левая задняя в чулке.

Другие маточники, подручные Терентия, окружили Капитона Аверьяныча с веселыми и возбужденными лицами.

— Я посмотрел эдак на свет,— торопливо рассказывал один,— эге, говорю, дядя Терентий, ведь конек!

— А шельма-то какая, мал, мал, а как мотнет головой,— чуть опомнился, сейчас и насторожился, разбойник! — поспешил другой.

— Вылитый отец! — с восторгом сообщал третий.

Вдоль темного и очень теплого коридора, в денниках, обшитых тесом не более как на полтора аршина от полу, стояли жеребые кобылы и матки с голенастыми сосунками. Спешащая и возбужденная толпа как будто взволновала их; там и сям слышалось беспокойное ржание; молодые матки подымали головы, заостряли уши и ревниво оглядывались на своих сосунков; более опытные смотрели на проходящих с выражением покойного любопытства; старуха Визапурша, жеребая уже в девятнадцатый раз на своем веку, ограничилась тем, что лениво подняла сонное веко и затем с прежним равнодушием принялась шевелить губами. Отворили дверку. Красивая Волшебница тревожно вытянула шею; головастый сосунок, весь еще мокрый, трепещущий на своих несоразмерно высоких ножках, смешно толкался у ее ног. Капитон Аверьяныч ласково погладил Волшебницу и сел на корточки, чтобы лучше рассмотреть жеребенка; но было темно; в другое время и при других обстоятельствах он бы кратко и строго произнес: «огня!» Теперь же его голос, сразу приобретший какие-то не свойственные ему добродушные звуки, выговорил: «Ну-ка, ребята, засветите огоньку, а то не рассмотришь. Ишь, шустрый, шельмец!»

Зажгли свечку. Действительно, это был конек, теперь неопределенной мышастой масти, но в будущем непременно вороной или караковый. Звездочка на лбу и чулок на ноге до смешного напоминали такие же отметины у его знаменитого отца, лучшего производителя гарденинского завода, Недотроги 3-го. Опытный взгляд Капитона Аверьяныча даже прозрел в сосунке и иные сходства с отцом, в спине, в расстановке маклаков, в глубокой подпруге. И за всем тем в очертании головы и шеи Капитону Аверьянычу чудилась наследственность матери: лебединый изворот, сухой «тулиновский» профиль. Безмерно довольный и счастливый, он выпрямился и опять потрепал Волшебницу. «Умница»,— проговорил он, на что не менее счастливая Волшебница отозвалась тихим и довольным ржанием.

— Ну, Терентий Иваныч, зайди в контору... получить там. За эдакого коня полагаю тебе три целковых. И вы, ребята, ужо зайдите. Я скажу управителю.

— Ладно. Ужо, может, и удосужусь завернуть,— равнодушно ответил Терентий Иваныч, не спуская глаз с сосунка, и добавил с живостью: — Ишь, ишь, бестия! Ишь, теребит! Ну-ка, Ерема, подсоби его ходы-то найти.

Остальные конюхи хором поблагодарили Капитона Аверьяныча.

Тем временем Федотка, оставшись на дежурстве, съел ломоть мягкого, густо посоленного хлеба, собрал крошки с подола рубахи и тоже покидал их в рот, запил все это водою прямо из ведра и, перекрестившись на темненькую иконку Флора и Лавра, достал из-за ларя гармонику. Пытливо и нежно осмотрел он ее, сдул пыль с клавишей, отер подолом золоченые мехи, затем влез на ларь к самому окну, разостлал полшубок, сел, поджав под себя ноги, и, тихо посапывая от усиленной аккуратности, стал связывать ниточкою средний и безымянный пальцы правой руки. Он давно и — увы! — напрасно добивался отчетливо играть «трепака»; «девичью» он умел хорошо

играть, «бычка» и «барыню» — порядочно, но здесь нужно было брать сразу два лада, и это никак ему не давалось. Теперь известный гармонист, поддужный Ларька, научил его связать пальцы и таким манером действовать. Он пробовал уже два раза, несмотря на великий пост, и действительно как будто стало выходить. Растянув мехи и перебирая пальцами, он стал наигрывать, посапывая носом и шевеля губами в такт игры. Пот лил с него градом, свесившиеся на глаза волосы золотились от горячих лучей солнца. Вдруг он вздрогнул и быстро сунул гармонику под полушубок. Страх изобразился на его румяном лице. Из сеней кричал Капитон Аверьяныч: «Дежурный!» Однако страх Федотки быстро миновался: по второму возгласу он уже угадал, что Капитон Аверьяныч не сердит, и бойко крикнул, соскакивая с своего возвышения:

— Я-с, Капитон Аверьяныч!

— Федотик? — добродушно переспросил Капитон Аверьяныч. — Ну-ка, малый, выведи мне Любезного.

Если бы Федотка и не догадался по голосу Капитона Аверьяныча, что гнев его прошел, то он непременно догадался бы об этом теперь, когда приказано было вывести Любезного. В самые добрые и хорошие часы Капитон Аверьяныч любил смотреть на эту лошадь и, посмотрев на нее, становился еще добрее и благосклоннее. Дело в том, что за все существование завода еще не было такого четырехлетка в гарденинских конюшнях. Из всей «ставки», — а в ней считалось восемнадцать жеребцов, — только Любезный да Кролик не назначались к продаже. Кролика совсем не выводили барышникам, Любезного же выводили только ради особого щегольства, и притом очень крупным барышникам, известным как любители и знатоки. Обыкновенно порядок выводки был таков: сначала показывали худших и малорослых, затем все лучше и крупнее. Любезный выводился семнадцатым. В первый раз, в нынешнем феврале месяце, когда ставку показывали «Григорь-Григоричу», знаменитому московскому барышнику и к тому же страстному любителю, он при взгляде на Любезного едва не обомлел, но с обычною своею стойкостью сдержался и притворно-равнодушным взглядом осмотрел лошадь. Капитон Аверьяныч кривил лицо и странно мигал глазами от скрытого наслаждения и торжества.

— Что, Григорь-Григорич, каков? — не утерпевши, спросил он, когда Любезного увели, а барышник все-таки молчал.

— Ничего себе. Ребра маненько плоски, — хладнокровно ответил тот, стараясь не смотреть в лицо Капитону Аверьянычу.

— Плоски?..

— Да и крестец будто свихловат.

— Свихловат?.. — Капитон Аверьяныч насмешливо прищурился, помолчал и вдруг, сделав высокомерное лицо, выпалил: — Непродажен!

— Что ж, так и запишем. Себе в завод оставляешь?.. Нечего сказать, стбит. А я бы, не в пример прочим, пожалуй, особнячком его купил. Возьми полторы тысячи.

— Непродажен.

— Эй, возьми. Ну, хочешь тыщу семьсот? — У «Григорь-Григорича» загорались глаза и по лицу начинали проступать пятна: верный признак, что он начинал сердиться и приходиться в азарт.

— Ни за сколько.

— Фу, голова дубовая! Знаешь ли, год его продержу — он прямо государю императору в шарабан поступит. Слава-то вашему заводу!

— Нет, Григорь-Григорич, давайте уж лучше в других торговаться, а эфто-го оставим. Ведь ребра плоски... — глумился Капитон Аверьяныч.

— И две тыщи не хочешь? Ну, ладно, кремень, снимай рубашку, благо я из себя вышел: две тыщи пятьсот — и больше ни слова!

— Непродажен,— ответил Капитон Аверьяныч.

«Григорь-Григорич» совершенно взбесился:

— Тпфу!.. Тпфу!.. Так вот на же тебе, на!.. Не нужно мне твоих лошадей!.. Не покупаю!.. Черт с вами совсем, с идолами!

Так и уехал, не купивши ставки.

Любезный был сын Недотроги 3-го и той же самой Волшебницы, которая так кстати ожеребилась сегодня конем. Капитону Аверьянычу тем особенно был приятен этот приплод, что Волшебницу он приобрел в завод уже после смерти старого барина. В противоположность прежнему гарденинскому рысаку несколько тяжелых и сырых статей, в детях Волшебницы, рожденной в знаменитом заводе Тулинова, обозначался какой-то новый тип: лошадь выходила очень крупная, но не сырая, с сильными и развитыми челюстями, но не тупорылая, как прежде, с мягкой, шелковистой шерстью, с удивительной шеей, с крепкими и сухими мускулами, резвая и горячая. Это не была призовая лошадь,— по крайней мере, призовая на короткие нынешние дистанции; Кролик, например, тоже новый тип в Гарденине и тоже предмет особого увлечения Капитона Аверьяныча, не в пример больше соответствовал названию «рысака». Но в душе Капитон Аверьяныч не любил Кролика так, как он любил детей Волшебницы. С Кроликом у него связаны были мечты о необыкновенном прославленном гарденинском заводе; когда он думал о Кролике, ему мерещились золотые кубки в господском кабинете, императорские призы, медали, отчеты в газетах и в «Журнале коннозаводства», посрамленные соперники, гремящее имя господ Гардениных... Любезный же говорил его сердцу, как говорит самодовлеющая красота; он любовался им, ни о чем не помышляя; он носил его в своем воображении, как, может быть, древний грек носил творение Фидиаса какого-нибудь в своем. И только на дне души сладостно удовлетворялась его гордость, что это он, Капитон Аверьяныч, а не кто-либо другой, вывел такую лошадь в заводе Гардениных.

И в самом деле, нужно было долго подумать и побеспокоиться, прежде чем прийти к удачной мысли «скрестить» две отрасли, примирить два основных течения в орловском чистокровном типе. Константин Ильич Гарденин не гнался за этим. Еще от отца принял он завод, в котором превозмогал тип тяжелой, сыроватой, мясистой и крупной лошади. Таких лошадей с большою охотой покупали в хорошую городскую упряжь. Они были смиренны, немножко вялы и очень сильны. Впоследствии, так как Константин Ильич из скупости мало «освежал кровь», в заводе стали появляться «наливы» и «шпат». На призах во все время существования завода гарденинская лошадь не появлялась, если не считать Бычка, который взял императорский приз в 1852 году, но, по правде-то сказать, взял только потому, что была жесточайшая грязь и дистанция равнялась десяти верстам.

Как только, спустя два года после воли, старик Гарденин умер и Капитон Аверьяныч очутился единовластителем, он тотчас же принялся за осуществление своей давнишней мечты. Гарденинская лошадь требовала обновления. Нужно было добиться большей сухости в мускулах, лучшей шеи, более прямой спины, а главное — более огня, резвости и признаков благородной породы. Тем не менее ему дорога была и старая гарденинская лошадь — ее по преимуществу вороная масть, чуть не шестивершковый рост, сила, выносливость, кротость и послушливость в запряжке. Капитон Аверьяныч забирал к себе толстые заводские книги и длинные зимние вечера заставлял конторщика Агея Данилыча читать их вслух (сам он умел только подписываться «Офираноф»); днем отправлялся в кабинет покойного барина, всматривался в портреты знаменитых лошадей, развешанные на стенах в золотых рамах, припоминал, соображал, ходил как тень в звонких опустелых комнатах и все гудел себе в бороду. Наконец взял с собою маточника Терентия, объехал и осмотрел Хреновое, Пады, Мартин, Чесменку, ближние и дальние заводы Воронежской

и Тамбовской губерний. В этой-то поездке было им приобретено двенадцать маток и три жеребца, из которых Витязь стал отцом Кролика, а Волшебница ожеребила Любезного и тем щедро вознаградила Капитона Аверьяныча за все претерпенные им хлопоты, сомнения и тревоги. Кролик обещал начать собою новую эру призов, Любезный — облагородить тип и возвысить, по крайней мере, в полтора раза ценность старой гарденинской лошади.

Ловко и щегольски показав Любезного, Федотка был удостоен Капитоном Аверьянычем следующего разговора:

— Ты чего тут на музыке-то на своей пилишь, аль разговелся? Чай, люди грехи замаливают.

— Я учусь, Капитон Аверьяныч.

— То-то... учусь. Все, небось, норовишь девку обольстить. Какая у тебя: Аришка? Матренка? Секлетишка?

Федотка ухмыльнулся и промолчал.

— А Кролику подостлал соломы?

— Подостлал-с, Капитон Аверьяныч.

— Как это ты, братец: малый, поглядеть на тебя, тямкий, а дал маху?

— С ним не сообразишь, Капитон Аверьяныч! Уж больно человек он неосновательный. Смех сказать: наездник — в денник боится войти.

— Ну, вам-то он с руки. Не взыскивает. Вам, дармоедам, того и надо.

— Никак нет-с, Капитон Аверьяныч. Нам лишь бы взыскивали за дело. А с ним никак не сообразишь. Вы гневаетесь, а от него порядка никакого нет-с. Его и Кролик ни во что не ставит. Ей-богу-с.

— А ты с Кроликом-то говорил?

— Видно-с, Капитон Аверьяныч.

— Ну, в эти дела, малый, вникать не тебе.

— Я только к слову, признаться...

— Ты на лошади крепко держишься?

— Как же-с! Сызмалетства.

— Ну, ладно. Ларьку, я вижу, нужно из поддужных прогнать. Избаловался. Пошлю его на хутор коньков стеречь. А ты присматривайся. Бог даст, поведем Кролика на бега, ты поддужным будешь.

Федотка оторопел от радости.

— Воля ваша,— пролепетал он.

— А старших не суди,— продолжал Капитон Аверьяныч,— не твоего ума дело. Онисима я, может, и уволю, а все-таки дело не твое.— Он вынул двумя пальцами серебряную монету из жилетного кармана и, вытянув руку, долго рассматривал эту монету на свет; наконец протянул Федотке: — Это что, двугривенный?

— Двугривенный-с, Капитон Аверьяныч.

— Возьми. Девкам на пряники. Как ее — Алена? Степанида?.. Да смотри у меня: недосмотришь, заведутся мокрецы,— все виски повыщиплю.

— Как можно-с...— сказал Федотка и рассмеялся глупым, счастливым смехом.

Красный двор опустел. В конюшнях оставались только дежурные. Капитон Аверьяныч прислонил ладонь к глазам, посмотрел на солнышко и медленно побрел со двора. У ворот он подумал одно мгновение, хотел идти домой, но вдруг загудел в бороду и, задумчиво разбивая костью комки ссохшейся грязи, поворотил за красный двор, в степь. Это была его любимая прогулка, когда ему хотелось остаться одному и о чем-нибудь крепко подумывать.



Выезд управителя.— Степь.— Урок истории.— Урок кулачного права.— «Авось крепостных-то теперь нету!» — Кое-что из философии.— Точки в жизни «вольного» человека.— Гнев на милость.— Весна и весенние мысли.— «Столпы» Гарденина; о Николае, о системе хозяйства, о «вольтерьянце» Агее и о том, как писалось увещание студенту медицинской академии.

В то же самое мартовское утро, когда Капитон Аверьяныч совершал свой обход, Мартин Лукьяныч Рахманный вздумал объехать поля, чтоб осмотреть озими и узнать, скоро ли можно будет сеять овсы. Весна была ранняя, март близился к концу, и, хотя в пологих местах кое-где и синел снежок, от земли давно уже шел пар, и там и сям пробивалась молодая травка. Озими начинали зеленеть; на деревьях наливались, краснели и лопались почки; вешние воды укрощались, и ручьи в лощинах вместо неистового рева стремились к реке с ленивым и неспешащим бормотаньем.

У крыльца управительского флигеля дождалось трое: староста Ивлий, сивобородый мужик в кафтане из сурого крестьянского сукна, в высокой шляпе, с длиною биркой в руках; конторщик Агей Данилыч, сгорбленный и сухой, «рябой из лица», широкий в кости человек, бритый, с подвязанною щекой и огромным фиолетовым носом, в теплом долгополом пальто и в ватном картузе с наушниками, и управительский кучер Захар, обросший волосами по самые глаза. Все трое держали в поводу оседланных лошадей и молчали. Поодаль от них гарцевал на красивой гнедой «полукровке» безбородый юноша с едва приметным пушком на губе, единственный сын давно уже овдовевшего Мартина Лукьяныча. Юноша без нужды склонялся то на ту, то на другую сторону, откидывался назад, натягивал и опускал повод, поглядывал украдкой на свои новые высокие сапоги с голубыми кисточками и блестящими лакированными голенищами и, видимо, так и горел от снедавшего его внутреннего восторга.

— Что за сапожки-то отдали, Миколай Мартиныч? — спросил староста Ивлий.

— Семь, дядя Ивлий. Ведь хороши, а? — И юноша вытянул ногу. — Ну, уж Коронат не подгадит! Смотри, носок какой пустил... чистый квадрат! Говорит, по самой первой моде. Чего уж! «На Стечкина барина, говорит, шью».

— Сапожки ловкие. В подъеме будто бы узеньки.

— О, ничуть,нисколько, дядя Ивлий! — горячо возразил юноша. — Это только со стороны оказывается... я тебя уверяю. Смотри, смотри, я вот шевелю ногой... Смотри, как просторно.

— Чего уж просторно! — насмешливо выговорил Захар. — Не ты вчера ночью в конюшню-то прибегал, Федотку молил сапоги-то с тебя стащить? Да опосля того мылом их сколько натирали? Щеголи!..

Юноша покраснел.

— Вот уж всегда выдумашь, Захар Борисыч! — воскликнул он.

— Чего выдумашь! Светла тебя с ума Грунька Нечаева; ты ради ей и принимаешь муку. Вот папенька узнает, как в окны-то по ночам шастаешь да к Василеся ходишь, — не похвалит. Или тоже: управительский сынок в дружбу с конюхами входит, с Федоткой запанибрата... Куды превосходно!

— Только папенькины деньги зря переводите, — сказал Агей Данилыч странным дискантом, совершенно не соответствующим его большому росту, подвязанной щеке и серьезному, с каким-то трагическим выражением лицу.

Юноша вспыхнул до самой шеи, хотел что-то ответить, но только презрительно усмехнулся и сильно дернул поводом. В это время на крыльце показался сам Мартин Лукьяныч, среднего роста осанистый человек, русый, с легкой проседью в окладистой бороде, в солидном «купеческом» картузе и в синей бекеше. Староста Ивлий и кучер Захар сняли шапки,— один Агей Данилыч, поклонившись, тотчас же опять накрылся,— Николай скромнехонько и неподвижно сидел на своем гнедом конике. Мартин Лукьяныч сказал: «Здрасьте», натянул на ходу зеленые замшевые перчатки и, приняв от Захара повода, ловко и грузно вскочил на своего длинного бурого мерина Ваську. Васька пошатнулся, закричал, но тотчас же оправился и, как следует доброй лошади, натянул повода. Вслед за Мартином Лукьянычем, наскоро нахлобучив шляпу и придерживая бирку под мышкой, влез тяжело, по-мужицки, как-то животом, староста Ивлий на косматую кобылку мышастой масти, и взобрался, долго привскакивая на одной ноге, Агей Данилыч на необыкновенно высокого управительского коренника. Все тронулись за Мартином Лукьянычем, ехавшим впереди развалистою иноходью с ловкостью и уверенностью человека, с самого детства получившего привычку к верховой езде. И в посадке всех этих людей сказывались их характеры и положения. Так и видно было по Мартину Лукьянычу, что это едет человек властный, независимый, сознающий свою силу,— одним словом, гарденинский управитель. По тому, как трусил на своей утробистой кобыле сивобородый мужик, искательно наклоняясь вперед и выпрямляясь на стремянах, всякий бы узнал, что это староста Ивлий; по неуклюжей и смешной, но свободно сидящей фигуре Агея Данилыча, которого коренник нес на себе степенною и скорою «ходо́й», не мудрено было заключить, что это едет человек характера мрачного и сосредоточенного, привыкший к уединенным мечтам и к перу, и, наконец, по тому, как гнедой коник все покушался галопировать, грыз удила, крутил шею, высоко и красиво вскидывал передние ноги и вообще доставлял неописанное наслаждение своему седоку, беспрестанно менявшему позу ради живописности, видно было, что неслась легкомысленная, самоуверенная, влюбленная в самоё себя юность. Под копытами лошадей хлопала грязь и жирными комьями отлетала из-под ног галопирующего гнедого коника.

Осмотрели кусты, озими, плотины в полевых прудах, доехали до опушки леса, попробовали пашню, приготовленную под овес,— оказалось, что через три дня можно сеять: овес любит ранний сев; «кидай меня в грязь — буду князь»,— сложена о нем пословица,— и с пашни повернули степью. Солнце сияло ослепительно. С полей то и дело взлетали жаворонки и с звонкими трелями подымались в голубое небо. В малейших котловинах и углублениях почвы стояли озера вешней воды, сверкая на солнце, как осколки зеркала. Над ними беспрестанно опускались дикие утки, тяжело разрезая воздух своим грузным и неуклюжим полетом. По мочажинам бродили какие-то голенастые птицы. Писк, свист и беспокойное кряканье оживляли поля. Иногда в вышине правильным треугольником тянули гуси со стороны юга или слышны были крики журавлей, похожие на отдаленные трубные звуки. Отовсюду несло славною и здоровою свежестью, пахло разрытою землей и тем запахом возникающей растительности, от которого так сладко и томительно расширяется грудь. Всем было хорошо в этом ликующем и сверкающем просторе. Даже по трагическому лицу Агея Данилыча разлилось что-то ласковое и благоденственное. У Николая радостно блистали глаза. Мартин Лукьяныч благодушно шурился, опершись рукою в колено и похлопывая нагайкой крутые бедра неумолимого Васьки. В стороне от их пути, посредине гладкой, как скатерть, степной равнины, одиноко стоял высокий курган,— что-то вроде маленьких столбиков виднелось на его вершине. Мартин Лукьяныч натянул повод — и все стали как вкопанные. От кургана доносился пронзительный свист. Это были сурки.

— Ишь, подлецы, выделывают! — сказал, добродушно улыбаясь и оглядываясь на своих спутников, Мартин Лукьяныч и вдруг пригнулся, ударил Ваську и во весь дух помчался к кургану. Все поскакали вслед за ним. Влажная степь загудела под копытами. Николай первый взлетел на курган и, красиво откинувшись на седле, кричал что есть силы:

— У, какая даль!

Остановились и стали смотреть. Один староста Ивлий слез с своей кобылы, мешкотно подтянул подпруги и с видом величайшего глубокомыслия стал ширять биркой в сурчинные норы. Кругом видно было на много верст. Вдали, около красноватого сада, весело блестели крыши Гарденина и гладкая, как разлитое масло, поверхность пруда. Во все стороны развевалась ровная степь, тянулись желтые, зеленые и черные поля, синели одинокими шапками ольховые и осиновые кусты. По направлению к Битюку сверкали кресты сельских церквей, белелись колокольни. За ними простиралась неясная сизо-голубая даль с странными проблесками и неопределенными очертаниями лесов, курганов и бесчисленных стогов: там начиналась «Графская степь»¹. Мартин Лукьяныч задумчивым оком осматривал окрестности.

— Вон Лисий Верх, видишь? — указывал он сыну на лесок, едва синевший на горизонте.

— Вижу, папенька.

— Вплоть до того «вэрха» все было гарденинское.

— Куда же эдакая уйма девалась, Мартин Лукьяныч? — спросил староста Ивлий, опираясь подбородком на бирку.

— Куда?.. А приказные-то на что? Чего хочешь оттягают.

— Народ верно что озорной, — с готовностью согласился староста.

— Но как же, папенька, оттягают?

— Очень просто. Юрию Николаичу пожаловала царица тридцать тысяч десятин ненаселенной земли вот в этих местах. Заметь себе: ненаселенной, — в этом вся штука. Ну, Юрий Николаич и послали братца выбрать. Тот выбрал честь чество, обозначил грань, обозначил, где быть усадьбе, куда крестьян поселить, и поехал в Воронеж. Туда-сюда, приказные говорят: «Дай тысячу рублей». Он — брату: так, мол, и так. Юрий Николаич гордый был человек, самостоятельный, одно слово — гвардеец: «Знать, говорит, не хочу. Как, говорит, чтобы царица жаловала, а разная тварь издевается? Ни копейки!» — и собственноручно пишет письмо наместнику: так, мол, и так, вот что у тебя делается. Ну, сколько времени прошло, приходит из Воронежа донесение — в сенат там, что ли: «Гарденину-де пожаловано тридцать тысяч ненаселенной земли, а в тех-де местах столько пустопорожней земли не оказывается: сидят села вольных однодворцев и землю пашут. А есть-де по реке Гнилуше семь тысяч, да оттолева в пятнадцать верстах тысяча десятин, и та земля свободна». Что такое значит? Юрий Николаич к брату: «Поезжай, узнай». Тот в Воронеж: что такое? почему? какие однодворцы? А крапивное семя только зубы скалит: «Пожалели, мол, тысячи рублей — двадцать две тысячи десятин и уплыли промеж пальцев». Что же они, разбойники, придумали: в какой-нибудь год собрали три села и посадили на Битюке! И откуда — никто не знает. Вон красуются, все на кровной гарденинской земле.

— Что же, папенька, царица-то неужто не велела отобрать?

— Дурак! Разве она может против закона? Нет пустопорожней земли — и нет. Она уж ему в Полтавской губернии тысячу душ пожаловала в отместку.

— А за какие заслуги ему награда такая вышла? — спросил Николай.

¹ Так называется в Воронежской губернии огромное пространство земли, принадлежавшей когда-то графу А. Г. Орлову-Чесменскому, а ныне перешедшей ко многим, большею частью титулованным, владельцам. Почти вся «степь» в аренде у купцов. (Примеч. А. И. Эртеля.)

— Руками подковы ломал-с,— с ядовитою усмешкой пискнул Агей Данилыч.

— Был город Измаил, Юрий Николаич город Измаил в полон брал,— внушительно сказал Мартин Лукьяныч, искоса поглядев на конторщика.

— Город Измаил с отменно жестокого приступа светлейший князь Александр Васильевич Суворов-Рымникский победил,— отчеканил Агей Данилыч,— это, ежели хотите знать, и у Вёлтера описано.

— Ну, уж ты, Дымкин, известный фармазон,— с неудовольствием ответил Мартин Лукьяныч и стал спускаться с кургана. Николай нарочно отстал, приблизился к Агею Данилычу и вполголоса спросил:

— Что вы сказали, Агей Данилыч, что подковы ломал? Неужто награждали за это?

— Подите у папеньки спросите. Все узнаете — скоро состаритесь.

— Ну, пожалуйста, голубчик Агей Данилыч, скажите, пожалуйста. Придет лето, я с вами на перепелов буду ходить. Ей-богу, буду ходить.

Агей Данилыч смилостивился и шепотом что-то такое стал рассказывать Николаю, отчего у того полуоткрылись от изумления губы и он с совершенно новым чувством, широкими, любопытными глазами посмотрел на расстилающийся перед ним простор вплоть до едва синееющего Лисьего Верха. А Агей Данилыч самодовольно и язвительно ухмылялся и постукивал указательным перстом о березовую тавлинку, приготовляясь захватить здоровенную понюшку смешанного с золою и толченым стеклом табаку.

— Мартин Лукьяныч,— вдруг вскрикнул староста Ивлий, зорко всматриваясь в степь,— ведь это, никак, *галманы* шляются?! Беспременно они сурков ловят.

— Так и есть. Ну-ко, догоняй их, анафемов!

Староста Ивлий пригнулся к самой шее лошади и пустил ее вскачь, размахивая локтями и биркой. Видно было, как он остановил людей, ехавших целиком по степи. Подъезжал рысцей и Мартин Лукьяныч с остальными. На самодельных дрожках сидел с мешком, в котором копошилось что-то живое, и с одностовкой за плечами молодой малый в кафтане с растерянным и перекосившимся от испуга лицом. Другой, рыжебородый, здоровый однодворец в белой льняной рубаше с красными ластовицами, вырывал с выражением какой-то угрюмой злобы вожжи из рук старосты Ивлия и ругался. Огромный косматый битюк спокойно стоял в оглоблях. Мартин Лукьяныч, как только увидал ссору, внезапно побагровел, сделал какое-то зверское, иступленное лицо и с грубыми ругательствами помчался к рыжебородому однодворцу.

— Чего ты, болван, смотришь? — заревел он на Ивлия.— Бей его! — И, замахнувшись что есть силы, начал хлестать рыжебородого нагайкой по лицу и по чем попало. Тот бросил вожжи, схватил Ваську под уздцы и, как-то рыча от боли и отчаяния, стал тянуть его к себе.

— Бей!.. Що ж, бей!..— хрипло кричал он.— Бей, душегубец!

Староста Ивлий старался попасть биркой по рукам однодворца и дребезжащим голоском повторял:

— Брось, окаянный, поводья! Говорят тебе — брось!

Наконец Мартин Лукьяныч опустил нагайку и подъехал к молодому малому.

— Что в мешке? — спросил он, задыхаясь от гнева и усталости.

— Сурки, ваше степенство,— пролепетал тот белыми как мел губами.

— Сурки? А вот я тебе покажу!

И Мартин Лукьяныч, наклонившись с седла, ударом кулака сшиб шапку с малого и, уцепившись за волосы, стал его таскать. Малый покорно вертел головою по направлению Мартин Лукьянычевой руки. Рыжебородый стоял в стороне, размазывая подолом кровь по лицу, и отчаянно ругался.

— Дьявол толсторожий!.. Ишь, мамон-то набил, брюхатый черт! Твой он,

що ль, зверь-то? Все норовите захватить. Подавишься, не проглотишь... Погоди ты, пузан, появишься у нас на селе... я тебе рано морду-то исковыряю... Погоди, кровопивец!

На него никто не обращал внимания.

— Выпусти! — скомандовал Мартин Лукьяныч.

Малый с торопливостью развязал мешок и тряхнул им. Сурки, прихрамывая, отбежали в степь.

— Анафемы бесчеловечные, — сказал управитель, посмотрев наковыляющих сурков, — где капканы?

— В стогу спрятали, ваше степенство, в Сидоркиной окладине.

— Смотрите у меня другой раз! — пригрозил Мартин Лукьяныч и поехал прочь. Руки его дрожали, губы тряслись. Рыжебородый схватил вожжи, сел и погнал своего битюка. Долго было видно, как он обращал по направлению к кучке верховых свое окровавленное лицо и с каким-то заливающимся визгом угрожал кулаками. На его белой спине пестрели черные полдсы от нагайки. Молодой малый скреб горстью в голове и сбрасывал наземь волосы.

— Зачем же эдак бить, Агей Данилыч? — шепотом проговорил Николай, стараясь удержать трясущуюся от волнения нижнюю челюсть.

— А необразованного человека нельзя не бить, если вы хотите знать, — равнодушно сказал Агей Данилыч и, приложив палец к левой ноздре, высморкался из правой. — Искони веков, сударь мой, неучей били. — Он приложил теперь палец к правой ноздре и высморкался в левую.

— Но все ж таки эдак нельзя, — упрямо повторил Николай и отъехал от конторщика.

Старый Ивлий был совершенно доволен. Во-первых, потому, что он первый заметил контрабанду, а во-вторых, что вместе со всеми «барскими» разделял презрительное и высокомерное отношение к однодворцам. Такое отношение высказывалось в то время во всем: барские не упускали случая посмеяться над однодворцами и передразнить их говор: *каго* и *чаго* вместо «ково» и «чево», *що* вместо «што», — поглумиться над их манерой одеваться: толсто наворачивать онучи, носить широчайшие, с бесчисленными складками сапоги, кафтан с приподнятыми плечами и высоким воротом, уродливые кички и паневы у баб. По праздникам барские и однодворцы не ездили друг к другу. Даже в церкви норовили становиться отдельно. Почти не было примеров, чтобы барскую девку отдавали за однодворца или однодворку за барского. Одним словом, походило на то, что живут рядом иноплеменники и питают друг к другу настоящее враждебное чувство. Вот почему суровая политика «усадыбы» в отношении к однодворцам находила полнейшее сочувствие в деревне и староста Ивлий был совершенно доволен.

— Что за народ? — отрывисто спросил Мартин Лукьяныч, указывая вдаль нагайкой.

— Это-с наши мужики землю делят, — ответил староста Ивлий.

Мартин Лукьяныч молча повернул туда.

Большая толпа крестьян, видимо, волновалась и находилась в необычайной ажитации. Из сплошного шума вырывались пронзительные и тонкие фальцеты, густые басы, задорно дребезжащий бабий голос. Впрочем, баба была всего одна, и главным-то образом из-за нее и шел такой шумный говор. Когда подъехал управитель, все сразу смолкли и один за другим сняли шапки. Только баба успела произнести еще несколько необыкновенно задорных слов. Это была полная, румяная, разбитная солдатка Василиса, с черными плутовскими глазами и с беспрестанно повливающей поясницей. При взгляде на нее Мартин Лукьяныч, и без того сердитый, еще более насупился. Он приподнял картуз и процедил «здрате», на что последовал гул приветствий. Тем временем староста Ивлий бочком подъехал к толпе и, опасливо взглянув на Мартина Лукьяныча, шепнул возле стоящему старику:

— Зачем Василису-то принесло? Смотрите, в гнев не введите: серчает страсти!

Старик тотчас же нырнул в толпу, и там и сям тихо и возбужденно заговорили:

— За Гараськой блюдите... Гараську, дьявола, наперед не пускайте!.. Сердит!.. Василиску-то дерните... Ах, пропасти на нее нету!

— Ты зачем здесь? — спросил Мартин Лукьяныч Василису.

— Что ж, Мартин Лукьяныч, — бойко затараторила баба, успевшая плутовски подмигнуть Николаю, отчего тот покраснел и отъехал за толпу, — доколе же без земли-то мне оставаться? Ужели мужик-то мой обсевок в чистом поле? Чать, гнули, гнули хребты-то на господ, а тут до чего довелось — и земельки не дают. То ли мы воры какие, то ли нашей заслуги не было? Всеми миру землю даешь, а мне — на-поди, ни пядени! Мне, чать, с детьми-то малыми пить-есть надо. Мужик на службе, не родимца ему там делается, а я — все равно что вдова, вся тут!

Она таким бесстыдным движением подалась вперед и так приподняла некоторую принадлежность костюма, что близстоявшие старики опустили глаза, а по лицам молодых пробежало нечто вроде одобрительной улыбки.

— Староста, — крикнул Мартин Лукьяныч, — зачем она здесь?

Выступил тщедушный седенький старичок с медною медалью на груди и с заплатанным треухом в руках.

— Вот пришла, отец, — прошамкал он, улыбаясь деснами. — Мы говорили: зачем? Сказано: нет тебе земли. Ну, она приволоклась. «Подайте, говорит, мою часть». А какая ее часть? Ведь от твоей милости прямо сказано, чтоб не давать.

Вдруг черноволосый, румяный, с блестящими белыми зубами молодой мужик, до сих пор стоявший позади, решительно надвинул картуз на голову и начал расталкивать локтями стариков, употреблявших все усилия, чтобы оттеснить его в толпу...

— Куда, леший, прешь? — заговорили со всех сторон вполголоса. — Уймись! Осадите его, старички! Дядя Арсений, чать, ты — отец, наступи ему на язык-то, больно длинен!.. Картуз-то сними, оглашенный!..

— Остынь, Гараська!.. Тебе говорю, остынь! — сказал дядя Арсений, хватая Гараську за полы.

— Не тронь, батюшка, не глупее других! — огрызнулся тот и, сразу подняв голос до крика, набросился на старосту: — Как ты можешь так рассуждать? Какой ты после этого миру слуга, старый черт? Тебе какое дело, что управитель сказал?.. Барыня землю всему миру сдает, а уж это дело наше, кому какую часть на жребий положить... Мы на миру все равны. Ах ты, продажная твоя душа!

— Может, сколько на них горбы-то гнули! — подхватила Василиса, в свою очередь наступая на старосту. — Что твои снохи в конторе полы моют, так ты и виляешь нашим-вашим?.. Я твоей Акульке еще рано глаза-то выцарапаю... Ты, старый паралик, за какие такие дела трескаешь чай в конторе?

— Ну, будя теперь война! — пробормотал староста Ивлий и укоризненно помотал головой на мужиков.

— Ребята, гоните ее в три шеи, — насильственно спокойным голосом сказал Мартин Лукьяныч.

Поднялся невообразимый шум. Василису схватили под руки и поволокли из толпы. Она отбивалась и пронзительно визжала.

— Митревна, Митревна, — сказал ей староста Ивлий, уверившись, что Мартин Лукьяныч не смотрит в его сторону, — ты хоть мир-то пожалей!

Одни кричали на Гараську, другие — на его отца, беспомощно разводящего руками.

— Эка барин выискался! — горланил Гараська, размахивая руками, но

избегая, однако, смотреть на Мартина Лукьяныча.— Авось крепостных-то теперь нету!

Мартин Лукьяныч подозревал Ивлия, что-то сказал ему и, махнув конторщику и Николаю, уехал с ними. Суматоха стихла; все мало-помалу успокоилось. Гараська в картузе набекрень сидел, поджавши под себя ноги, и, злобно посмеиваясь, крутил сигарку; красный платок Василисы виделся далеко по дороге в деревню...

Но тут староста Ивлия объявил, что Гараськиному отцу, Арсению Гомозкову, земли давать не приказано. Вновь поднялся страшный шум. Гараська вскочил и закричал еще яростнее, чем прежде. Дядя Арсений совсем растерялся.

Проехав версты две шагом, Мартин Лукьяныч пришел в себя и совершенно успокоился.

— Эка народец! — выговорил он.

— Избаловались, если хотите знать, — пискнул Агей Данилыч. — А! Какое слово сказал: «Крепостных теперь нету!» Лучше было, дурак, лучше было. Заботились о тебе, о дураке!

— Да что он за солдатку-то вступается? Ему-то что?

— Тут, папенька, кажется, роман, — робко сказал Николай.

— Гм... Ну, ничего, пускай их без земли останутся. Экой грубиян! Ведь, по-прежнему, что с ним, с эдаким, делать? Один разговор — в солдаты.

— Он, папаша, очень уж работник хороший: когда на покосе, всегда первым идет. Или скирды класть... ужасно ловко верха выводит.

Мартин Лукьяныч промолчал на это и немного спустя сказал:

— Дай-ка закурить, Николья! Агей Данилыч, ты нонче приготовь-ка список, кому овес сеять, — завтра надо, господи благослови, и повещать. Фу, благодать какая стоит!

Около сада, на обширном лугу вилась кольцом плотно убитая дорожка. Это была так называемая «дистанция» для испытания рысистых лошадей. В самом центре круга стояла беседка. На ее ступеньках сидел теперь, опираясь подбородком на костыль и задумчиво смотря вдаль, конюший Капитон Аверьяныч.

Мартин Лукьяныч слез с седла и подошел к нему. Они пожали друг другу руки. Слезли затем с лошадей и Агей Данилыч с Николаем. Тому и другому Капитон Аверьяныч протянул указательный палец левой руки.

— Как дела? Овес гожается сеять? — спросил он.

Мартин Лукьяныч сказал и тоже сел на ступеньку беседки. Агей Данилыч и Николай стояли и держали лошадей.

— Ну, а у вас что? — спросил Мартин Лукьяныч.

— Да что, Варфоломеева прогнать придется. Какие с ним призы!

— Я давно вам говорил. Как же теперь быть?

— Слышно, что Ефим от Воейкова отошел. Груб он и часом пьет, но по крайности дела своего мастер. Придется послать за ним.

— Что ж, пошлем. Эдак, значит, в июне не поведем Кролика в Хреновое?

— Куда поспеть! К лошади нужно примениться. Я уж давно заметил — Онисим ему ход скрутил. С начала зимы прикидывали шесть минут десять секунд, а потом гляжу — шесть минут восемнадцать секунд. Что бог даст на тот год, пятилетком.

— Ну что ж, пошлем за Ефимом, а на тот год, даст бог, и оберем призы. Я давно вам говорил, что Онисим — дрянь.

Все помолчали.

— Вот ты, фармазон, говоришь: бога нет, — сказал конюший Агею Данилычу, — а смотри, велелепие какое... Чтó есть красно и чтó есть чудно! — и он неопределенно махнул рукою в пространство.

— Это натура, ежели хотите знать, — отвечивал Агей Данилыч,

язвительно улыбаясь, — для невежества оно точно оказывает богом, но это суть натура-с, сударь мой.

— Дура! — отрезал Капитон Аверьяныч.

Все засмеялись.

Перед вечером во флигель к управителю пришел Арсений Гомозков с сыном Гараською. Мрачно нахмуренного и кусающего себе губы Гараську он оставил в сенях, а сам явился перед Мартином Лукьянычем, долго молил его и валялся у него в ногах. Наконец вышел в сени, умоляющим шепотом что-то долго-долго говорил с Гараськой и вместе с ним вошел опять в комнаты. Тем временем Мартин Лукьяныч послал за чем-то Николая к Фелицате Никаноровне, кухарку Матрену отправил за мукою на мельницу и остался один. Гараська как вошел, так и остановился у порога. Вид у него был угрюмый и жалкий.

— Вот что хочешь, то и делай с ним, Мартин Лукьяныч, — сказал Арсений, по своей привычке беспомощно разводя руками, — а мы тебе не супротивники.

Мартин Лукьяныч, не глядя на Гараську, сказал:

— Ну, что ж с ним толковать? Возьми вон в кухне веник. Там из лозинок есть. Пускай ложится...

Арсений торопливо вышел. Гараська, стараясь удержать нервную дрожь и всхлипывания в горле, начал раздеваться.

.....

Вечером в контору пришел «за приказанием» староста Ивлий, старший ключник Дмитрий, овчар, мельник и садовник. Агей Данилыч записал дневную выдачу и приход продуктов. Мартин Лукьяныч ходил по конторе, заложивши руки за спину, и задумчиво курил папироску, выпуская дым колечками. На завтра все было приказано.

— Да, я и забыл, — вдруг останавливаясь, сказал он старосте, — пусть Арсению жеребий положат. Сколько он записал под яровое?

— Три десятины-с.

— Ну, пусть. Ступай с богом.

— Там мужики к вам пришли, — доложил мельник Демидыч, оглянувшись на дверь.

— Что там? Здрасте. Что вам нужно?

Вошли мужики, в том числе и Арсений Гомозков.

— К вашей милости, Мартин Лукьяныч; пожалуй нам овсеца взаимы. Обсеяться нечем. Кое на подушное продали, кое в извозе, а год, сам знаешь, какой был. Заставь бога молить.

— Агей Данилыч, хватит у нас овса до нового урожая?

Конторщик отвечал утвердительно.

— Сколько же вам?

— Да нам бы вот, коли милость ваша, по три четверти на двор. Дядя Арсений, тебе сколько?

— Мне — пять, Мартин Лукьяныч, — неуверенным и робким голосом сказал Арсений, — мне без пяти четвертей делать нечего. Не обессудьте.

— Ну что ж?.. Отпусти, Дмитрий. Запиши, Агей Данилыч, в книгу. Смотрите только — к покрову отдать! Ступайте с богом.

Ночью собиралась первая гроза, и где-то вддали неясно грохотал гром. Крепким и мирным сном спала усадьба. На мельнице лениво и тоже как будто спросонья шумела вода, пущенная мимо колес. Один Николай не спал. Долго он ворочался на своей постели и спокойно прислушивался. Разные мысли лезли ему в голову: о том, что нехорошо *до крови* бить людей, о том, что у него новые сапоги, что Агей Данилыч верит вместо бога в какую-то «натуру» и что Гарденин пожалован вовсе не за город Измаил... А посреди этих беспорядочных мыслей грезился ему захватывающий степной простор, звенели

в ушах журавлиные крики и трели жаворонка, мелькало смуглое лицо Груньки Нечевой и что-то сладкое, счастливое, томительное стесняло грудь и вызывало на глаза странные, беспричинные слезы.

На другой день привезли почту. Конюший ждал письма от сына и еще задолго до возвращения нарочного пришел к управителю. Но оказались только газеты да письмо Фелицате Никаноровне от барыни. Капитон Аверьяныч вдруг сделался мрачен, начал поскрипывать зубами и гудеть... Мартин Лукьяныч в свою очередь беспокоился: ему было странно и неприятно, что барыня написала одной только экономке. «Не гnevаются ли? Не дошли ли до них какие-нибудь кляузы?» — думал он. Послали с письмом Агея Данилыча и нетерпеливо ждали, нет ли чего нового и важного. Фелицата Никаноровна не замедлила прибежать, — она всегда ходила какою-то кропотливую мелкою рысцей. Это была маленькая, тщедушная старушка, в темненьком платьице, с живыми движениями и прозрачно-желтым в мельчайших морщинках лицом. В ее руках белелось уже распечатанное и прочитанное конторщиком письмо от барыни. Истоиво перекрестившись на образа, она поздоровалась, села и внезапно всхлипнула.

— Или что нехорошее пишут, Фелицата Никаноровна? — тревожно спросил Мартин Лукьяныч.

— Что!.. Видно, и нынешнее лето не приведет создатель господ повидать, — сказала Фелицата Никаноровна. — Лизавета Константиновна захворали.

Управитель в значительной степени успокоился: это не касалось хозяйства.

— Что с ними приключилось? — спросил он, делая участливое лицо.

— Пишут их превосходительство: незапно, незапно стряслось. Всё думали в деревню, ан доктор в Италию посылает. Подробно-то не описывают, — ну, а видно, сколь обеспокоены. Тут и вам, батюшка, есть местечко: недосужно писать-то в особицу, очень грустят. Еще бы, господи! Барышня на выданье, только женишка бы подыскать, — да разве станет за ними дело? — а тут этакое произволение!

Она вынула платок, свернула его комочком и вытерла свои слезящиеся глазки.

— Очень уж докторам вверились, — заметил Мартин Лукьяныч, благоговейно погружаясь в чтение письма.

Он теперь совершенно успокоился: объяснилось и то, почему барыня не написала ему отдельно.

— А как же наукам не верить? — выговорил Капитон Аверьяныч, из гордости не решавшийся спросить, нет ли чего о сыне. — Ученому человеку нельзя не верить. Вот хотя бы взять Ефрема Капитоныча...

— Ну, батюшка, ты уж лучше не говори про своего самовольника! — встрепенулась Фелицата Никаноровна, и даже румянец проступил на ее крошечном личике. — Хорош! Куда хорош! Послушай-ка, что госпожа-то пишет.

— Что такое? — спросил Капитон Аверьяныч, напрасно стараясь придать равнодушное выражение внезапно дрогнувшему лицу.

— Как же! Заботятся о нем, их превосходительство комнату ему приказали отдать... Да не подумайте, Мартин Лукьяныч, какую-нибудь комнату, — гувернерскую! (Ричарду-то, слава богу, прогнали!) Мало того, смилостивились и в харчах: позволили с кастеляншей за одним столом кушать. И вдруг, едет к нему Климон Алексеич, — самого дворецкого изволили послать! — а твой дебошир чуть не в шею его! Я бы, говорит, наплевал. Каково вам это покажется?

Капитон Аверьяныч, в свою очередь, успокоился: ему представилось, что он услышит что-нибудь ужасное.

— Ну, уж и в шею! — проговорил он недоверчиво. — Ну-кошь, прочитайте, Мартин Лукьяныч, что он там натворил?

Управитель прочитал.

Татьяна Ивановна действительно извещала, что Ефрем отринул предложение, имел дерзость ответить, что в милостях не нуждается, но о Климоне Алексеиче писала только, что Ефрем невежливо обошелся с ним.

— Невежливо обошелся, а вы говорите — в шею! Само собою — гордец; не будь он студент императорской академии, конечно, следовало бы всыпать горячих. Но вот, поди-кошь,— достиг! Своим умом добился. Года три пройдет, отец-то мужик останется, а он — эва! — дворянин. Не таковский Ефрем Капитоныч. Коли уж драть, надо было сыздетства в это вникнуть, а уж в императорскую академию влез — поздно.

Капитон Аверьяныч высказал это, как будто осуждая сына, но в его голосе и в выражении лица сквозило тайное удовольствие, и Фелицата Никаноровна полнейшее право имела подумать: «Ты и сам-то такой же самонадеянный!»

Мартин Лукьяныч дочитал письмо и, бережно сложив его, возвратил Фелицате Никаноровне.

— Насчет конного заводу нет приказаний? — спросил конюший.

— Ничего, Капитон Аверьяныч,— ответил управитель.— Приказывают лошадей не готовить, больше ничего. Приезда не будет. Деньги велено высылать... как его, город-то? Дозвольте, Фелицата Никаноровна, на минуточку,— во Фло-рен-цию. Значит, в Итальянское государство. Придется из Воронежа трансфертом.

Николай сидел тут же и сначала прислушивался, а потом стал развертывать «Сын отечества» и просматривать фельетоны и то, что напечатано мелким шрифтом. Он был рад, что господа не приедут. Правда, он только еще год как жил с отцом, и, следовательно, узнать господ ему не было случая, но, живя у тетки, верстах в шестидесяти от Гарденина, ему приходилось приезжать к отцу и гостить здесь, когда были господа, и он очень хорошо помнил то чувство приниженности и опасливого настроения, которое овладевало тогда усадьбою. Помнил, как отец водил его на поклон к господам, заставлял шагов за двадцать от барского дома снимать шапку, целовать ручку у генеральши, почтительно вытягиваться и опять-таки снимать шапку при встрече с барчуками и с барышней. Помнил, как отец и такой уважаемый и важный человек, как Капитон Аверьяныч, стояли ввытяжку и с обнаженной головой не только когда барыня говорила с ними, но когда просто проходила мимо, и как при ее отъезде и приезде они раболепно целовали у ней ручку. Все это Николаю, воспитанному на глухом и свободном от барского вмешательства теткинском хуторе, представлялось ужасно неприятным.

— Вот, папенька, пишут, как ведется хозяйство в Померании,— сказал Николай, воспользовавшись тем, что в разговоре старших наступил перерыв.

— Ну, что же из этого! — с пренебрежением спросил Мартин Лукьяныч.

— Очень уж будто хорошо. Огромный доход, и все отлично делается. По агрономии.

— Плюнь, брат! Все это вздор. Немчурицки хвастаться горазды, а в газетах и рады пропечатать.

— Ох, уж подлинно, батюшка, что горазды,— воскликнула Фелицата Никаноровна,— теперь подумаю: Ричарду прогнали, а Адольф Адольфыча оставили... К чему? То ли дело обоих бы, шаромыжников...

— Агрономы! — насмешливо выговорил Капитон Аверьяныч.— Любопытно бы посмотреть на них без нашего-то хлеба. Жрали бы эту... как ее?.. вику, что ли? Воля была, сколько ведь этих агрономов господа повыписали: Павлов, Савельев... У Павлова какой завод изгадили, Савельев, спасибо, вовремя до-

гадался, разогнал. И ведь какую ораву! Павлов-то человек сорок, кажется, махнул!

— Что ж, не в похвальбу сказать... Помните, Константин Ильич,— царство им небесное! — произнес Мартин Лукьяныч,— как настаивали из Саксонии немцев выписать? Из Саксонии немцев, а от Бутенопа машины. Не надо, докладываю, ваше превосходительство! Извольте обождать, все оборотится на прежнее. Куда тебе как горячились!

— Ан и оборотилось.

Мартин Лукьяныч с достоинством выпрямился.

— Могу похвастаться,— сказал он.— Говорят: поправки, порубки, воровство, грубость, неотработки... Верно. Но почему? Потому, что без ума. По-моему, так: надо тебе сенокосу? — коси, сделай милость; скотину пустить некуда? — пускай куда угодно, лишь бы без вреда; пар, зеленыя, жнива, отава, ежели господский скот не нуждается,— пускай! Лесу мало? — вот тебе хворост, вот тебе на всю деревню две десятины строевого каждогодно; земли не хватает? — бери; у людей десять рублей тридцатка, у меня бери за семь. Конечно, ежели ты достоин. Богачу Шашлову не дам и Василисе-солдатке не дам. Платить нечем? — не надо, в долг запишем, и притом без всяких расписок. Что же выходит? Та же старина-матушка. Пошлю повестить на барщину — сколько нужно, столько и придут. Цену сам назначаю. Неисправностей никаких, порубок нет, поправок нет, работа ни разу не стояла; что касательно суда — ей-богу, до сих пор не знаю, как мировому прошение написать. Зачем же немцы, спрашивается? Почему — Бутеноп? Конечно, я не ровняю с прежним. Но это потому, что грустно за них, анафемов. Теперь я как смотрю на мужика? Очень хладнокровно. А по-прежнему мне во всякую мелочь нужно было вникнуть: и жену не бьет ли, и не пьянствует ли, и вовремя ли на своем поле убрался, и почитает ли отца-мать. Словно за малым ребенком ухаживали. Ну, что ж, не понравилось — как угодно. Наша изба с краю.

Капитон Аверьяныч одобрительно помычал, простился и ушел.

— Да, тяжело вольному человеку,— задумчиво выговорила Фелицата Никаноровна,— сколько горестей! Вот Ефрем. Будь крепостные, ну, отдали его в Хреновое в коновальскую школу, кончил бы, воротился к отцу, к матери. И господам-то на пользу. А тут нá: из Хреновой в Харьков, из Харькова, не унялся, в столицу шмыгнул. Легкое ли дело!.. Обдумывай, хлопочи, тянись, мать плачет. А уж за господами все, бывалоче, обдуманно. Отраднó это, милые мои, когда воли своей не имеешь,— ох, какая забота снимается!

— Ну уж нет-с,— с горячностью вскрикнул Николай,— легче, кажется, удавиться!

Отец строго посмотрел на него и сказал:

— Помолчи. Не вламывайся зря. Смотри у меня, брат...

— Ну, что вы, Мартин Лукьяныч?.. Юноша! Господь с ним,— проговорила Фелицата Никаноровна и ласково поглядела на сконфуженного и оробевшего Николая.— Что, Ни́колушка, привыкаешь, голубчик, к хозяйству? Не скучаешь без тетеньки?

— Привыкаю-с. Я у тетеньки тоже занимался, Фелицата Никаноровна.

— Чем ты там занимался? — Баклуши бил,— прервал его отец.— Тридцать десятин распашки, чем там можно заниматься? И сестра-то Анна баклуши бьет, и ты бил. Спросите его, что они зимой делали? Либо мотки разматывали, либо романы читали. Валяет ей с утра до ночи Ринальда-Ринальдини какого-нибудь, а старая дура плачет. Я сам люблю чтение, но разве это занятие? Только и хорошего, что насобачился читать прекрасно. Не поверите, лучше меня, право. И пишет превосходно.

— Ты бы, голубчик, пришел как-нибудь из Филарета мне почитать. А я тебя пастилкой угощу.

— Слушаю-с, Фелицата Никаноровна.

— Ничего, ничего, приучается,— продолжал Мартин Лукьяныч благо-склонным голосом,— глуп еще, горяч. Осенью, смотрю, стадо коров загнал. «Чье?» — спрашиваю. «Наших, гарденинских». — «Зачем же?» — «На зеленях ходили». — «Да, болван, говорю, зеленя-то ведь мерзлые?» — «Мерзлые». — «Вреда нет?» — «Вреда нет, да не пускай на барское». Ну, взял его, пощипал маленько, велел выпустить.

Фелицата Никаноровна засмеялась и сказала:

— Да уж, Ни́колушка, слушайся папашеньки. У господ Гардениных от-родясь было без обиды, зато господь и посылает сторицею,— и, добавив со вздохом: — только вот Лизонька-то обмоглась бы... — торопливо приподня-лась, попрощалась и побежала к себе.

— Как же, папаша? — обиженным тоном заговорил Николай. — Едем мы с вами на дрожках, и вдруг вижу: на барских жнивах ихняя скотина. Пас-тух сидит как ни в чем не бывало, в жилейки играет. Увидал вас, вскочил, захлопал кнутом будто сгоняет скотину. А мы проехали, я оглянулся: он заки-нул кнут за плечо и опять в жилейки, а скотина как была, так и осталась на барской земле. Хорошо, вы не оглянулись!

— Вот и вышел дуралей. А я без тебя-то не знал? Он должен страх иметь. Он его и имеет. Видит, что управитель, он и бежит сломя голову. А зачем ему сгонять, коли нет вреда и я молчу? Вот захвати ты его в хлебе или рядом с барским скотом, ну, тогда иное дело. Да и то не загонять, а полыснул его хорошенько нагайкой, он и опомнится. К чему? О́днoдвoрцы запустят — загоняй. Этих нечего баловать. А своих никак не моги. Свои приучены, чутьем знают, куда можно пустить, куда нет. Вот выгон около деревни. Выгон-то наш, а скотина на нем по всякий час мужицкая. По-твоему, как: загонять? штрафы брать? (Николай промолчал.) Вот то-то и есть. Без барского выгона мужикам прямо петля. Зачем же мы будем зря петлю-то затягивать? По-надобится — затянем, а пока бог с ними. Разве есть надобность людей оби-жать, рассуди-ка? Нужно, чтоб люди из повинования не выходили, чтоб гос-подам от них польза была, а обижать, Никóля, никого не следует. Скажу не в похвальбу: хотя же покойник барин и разгневался тогда, что я землеме-ру Стервятникову подарил корову и выдал в виде взятки пятьдесят рублей, но потом неоднократно спасибо мне говорил. Деревня у нас вот где (Мартин Лукьяныч сжал кулак). Ежели стиснуть — пошевелиться невозможно. Одним водопоем можно со свету сжить. Но я этого никак не желаю. Ты видишь, как я обращаюсь с народом? Подочти-ка, сколько долгов распущено. Нет тако-го двора. Ни в чем нет отказу... Зато и нам не отказывают. Пожалуй, вон гос-подин Головятников до того дошел: девки на троицу в его степь за цветами пошли — штраф! Не говоря уже о ягодах или в лес по грибы и по орехи. И глупо. У меня за всем ходи. Конечно, чтоб на глаза не попадались, имели страх. И что же выходит? Головятникова жгут, Головятников судится, у Головятникова в сентябре пшеница стоит некошенная, а у нас, брат, все сла-ва богу, все вовремя. И много дешевле других. Так-тося, дурачок!.. — и, по-молчав, прибавил со вздохом: — Ах, дети, дети...

Тем временем Капитон Аверьяныч зашел за конторщиком и пригласил его с собою составлять письмо к сыну.

Но нужно рассказать об Агее Данилыче. Как уже известно читателю, он слыл в Гарденине за вольнодумца и безбожника. Но его вольнодумство не только никого не заражало, а никого и не возмущало. Трудно сказать — почему. Так уж было принято — извинять Агея Данилыча и смотреть на него как на чудака. С другой же стороны, со стороны его честности и письмен-ных познаний, все очень ценили и уважали его. Уважала и ценила даже Фели-цата Никаноровна, которая одна из всего Гарденина не смеялась над его «продерзостными словами» и неизменно отплевывалась и крестилась, когда он в ее присутствии, — что случалось, однако, очень редко, — извергал их. Тем не

менею только Агей Данилыч писал ей письма к барыне, был посвящаем во все интимности гарденинской семьи. Впрочем, гарденинские предания смутно упоминали, что, помимо уменья Агея Данилыча красноречиво владеть пером и помимо его примерной скромности, были и особые обстоятельства, вследствие которых Фелицата Никаноровна относилась к нему мало того что с доверием, но и с глубокою нежностью. Кое-кому из старожилов было известно, а иные слышали от отцов, что некогда камердинер Агей питал любовную страсть к нянюшке Фелицате, — это относилось приблизительно к двадцатым годам текущего столетия; известно было и о печальной развязке этого крепостного романа, о том, как был жестоко наказан и сослан в орловскую деревню камердинер Агей, как он приставлен был пасти свиней, одет в лапти и в посконную рубаху. После Фелицата обратилась в Фелицату Никаноровну, прилепилась всею душой к барской семье и навек осталась девицей, Агей же произведен был в конторщики и тоже никогда не помышлял о женитьбе. От природы угрюмого и сосредоточенного нрава, Агей Данилыч, со времени своего несчастья в особенности, сделался нелюдимым, полюбил уединение и мечты, стал углубляться в книги. Приближенный в качестве камердинера к барину — тому самому Илье Юрьевичу, с которым «гневный император Павел за одним столом кушал», Агей перенял от него взгляды и понятия достаточно кощунственные. Илья Юрьевич в свое время славился по этой части, хотя за столом «гневно императора», конечно, славился и по другим частям. Затем в старом и давно покинутом орловском доме Агею Данилычу случилось найти сочинения Вольтера, переложенные на русский язык еще при Екатерине; «Кума Матвея» — книжку, изданную в Москве в 1802 году и тогда же запрещенную, еще десятка два затхлых, заплесневелых томиков в прочных кожаных переплетах, на толстой синеватой бумаге, написанных тем наивно-свободным и уверенным языком, которым столь известен конец XVIII века. С тех пор Агей Данилыч уж и не расставался с этими книгами, решительно пренебрегая всякими другими позднейшего происхождения. Среди гарденинской дворни он держался одиноко, замкнуто; редко-редко проявлялась в нем потребность общительности, но и тогда он, вместо того чтобы идти куда-нибудь в гости, предпочитал посидеть в таком публичном и свободном для всяких изречений месте, как застольная.

В письме к сыну Капитон Аверьяныч прежде всего велел поместить, что «родители огорчены тем, что он разгневал их превосходительство и был столь дерзок с уважаемым барским слугою, который недаром же отличен и превозвышен». После этого следовал совет: поскорее, пока господа не уехали за границу, попросить прощения у генеральши, ибо «ласковое теля двух маток сосет» и «плетью обуха не перешибешь». Затем шли обычные увещания, одинаковые во всех письмах Капитона Аверьяныча: веровать в бога, почаще ходить в церковь, слушаться начальников и наставников, почитать старших, беречь копейку на черный день, не водиться с дурными людьми, не пить хмельного и, по заповеди «чти отца и мать твою», всячески помнить родителей. Кое-что из этих увещаний решительно противоречило взглядам Агея Данилыча, заставляло его язвительно ухмыляться, выпускать «дерзкие» словечки, нетерпеливо вертеться на месте, тем не менее он продолжал писать цветисто и с усердием, к полнейшему удовольствию Капитона Аверьяныча.

— Выводи, — говорил Капитон Аверьяныч, — говеть же тебе, сын Ефрем, а также и приобщаться святых и страшных таин беспрерывно кажинный год. Ибо ежели господь грешников милует, то кольми паче соблюдающих правила.

— Ну, уж нечего сказать, понятие! — ворчал Агей Данилыч. — Ужели сие сочтется за грех, коли я в пятницу ветчины поел? Вот ежели я голодом привожу себя в уныние, естomак редькой набиваю, это подлинно грех, понеже грешу против самой природы... Невежество, сударь мой!

Капитон Аверьяныч терпеливо выслушал и повторил:

— Пиши, Агей, пиши: говеть же тебе, сын мой Ефрем...

Агей Данилыч презрительно фыркнул и начал возражать с другой стороны:

— Ну, кто же такое невежество пишет, да еще к образованному человеку? Кажинный год! Мужичье выражение, сударь мой. Господа студенты насмех поднимут-с.

— Как же по-твоему?

— А по-моему, вот этак-с.— Агей Данилыч углубился в писание и спустя десять минут прочитал: — «По нашему простому убеждению и по вере, преподая совет тебе, сын мой возлюбленный, не противиться установлениям кафолической религии и с изрядным усердием исполнять то, что кафолическая религия предписывает в смысле говения, хождения на исповедь и нарочито к причастию. Понеже родителям своим ты через сие соблюдение учинишь приятный поступок и между тем по вере нашей творцу составишь угодное. Ибо творец все сущее установил на пользу и ради отменно-изрядного процветания натуры...»

— Ничего, ловко,— одобрил Капитон Аверьяныч.

— Еще бы-с! А то пишем господам студентам и вдруг — простонародное выражение! Ежели писать... (Агей Данилыч вставил кощунственное словечко), так по крайности грамматично, а не в утеху шпыням-с.

— Ну, ну, фармазон, некогда, пиши!.. Пиши, что родители оченно умоляют приехать повидаться, хотя же бы на один денек... Сколько, может, годов не виделись,— ведь как уехал в Харьков, так и канул! А лета наши уж небольшие. Пиши, что очень прискорбно... и что грех столько годов...— Голос Капитона Аверьяныча дрогнул и пресекался; он быстро отвернулся, чтобы незаметно для Агея Данилыча вытереть слезинку. Впрочем, Агей Данилыч не подал вида, что замечает «слабость» Капитона Аверьяныча: низко склонившись над листом бумаги, он рачительно выводил буквы и оглянулся лишь тогда, когда Капитон Аверьянович твердым и насмешливым голосом сказал:

— Что, аль запнулся, фармазон?

— Никак-с, как ни в чем не бывало,— отвечивал Агей Данилыч,— и не такие цидулы можем составлять-с.

Тут же находилась и супруга Капитона Аверьяныча, но она не осмелилась говорить при муже, проворно шевелила чулочными спицами, краснела, вздыхала и тихо плакала, стараясь, чтобы слезы не падали на работу. В конце письма Капитон Аверьяныч обратился к ней с тем же тоном снисходительной шутиливости, как и к конторщику:

— Мать, что от тебя-то будет? Написать: двадцать, мол, дюжин носков посылаешь по телеграфу? Аль пусть пришлет из Питера колбасы жеребьячей в подарок?.. Ведь эти студенты бесперечь кобылятину едят... Правда, что ль, Агей Данилыч?

«Мать» испуганно ахнула, перекрестилась и, коротко улыбаясь, сказала:

— И уж, Капитон Аверьяныч... Право, что придумаете!..— Затем, всхлипывая, трепещущим голосом обратилась к конторщику: — Напиши, батюшка Данилыч, напиши: касатик мой... чадо мое единое... да когда же, глазочек мой ясенкий, дождусь-то я тебя...

— Ну, ну, разрюмилась,— остановил ее Капитон Аверьяныч, строго нахмуривая брови. «Мать» схватила чулок и мелкими шажками, робея, усиливаясь сдерживать рыдания, удалилась за перегородку.



Хутор на Битюке.— Агафокл Ерник.— Как он проводил время.— Арефий Сукновал и столяр Иван Федотыч.— Разговор о «превозвышенном».— Николай оскорбляется.— Философия Ивана Федотыча.— «Делатели мзды, страха и любви».— Повесть о том, как Иван Федотыч женился на Татьяне.

— Никбля! Вели-ка запрячь дрожки, съезди на хутор,— сказал Мартин Лукьяныч,— осмотри с Агафоклом стога, обойди низовой лес: нет ли порубки. Вообще посмотри, как он там. Да смотри у меня, ежели у него какая компания,— не приставай, он тебе не товарищ. Ты, брат, всячески должен держаться в стороне от дворни. Вот ходишь к столяру, просиживаешь до поздней ночи... Ну, это, положим, еще ничего: Иван Федотыч — серьезный, самостоятельный человек, но с Агафоклом подальше себя держи. Недаром ему прозвание — Ерник. Да! Не забыть бы: скажи, как пойдешь к Ивану Федотычу, когда же он рамы-то парниковые сделает?

— Он, папенька, третьёво дни шестую раму связал.

— Ведь, ишь, копается. Вот и хороший, поглядеть, человек, а сколь ленив, анафема. Ты постражай его, скажи: со стороны, мол, хотят нанять. Теперь пришла весна, он и пойдет с удочками шататься. Нынче, сказывают, чем свет на Битюк попер. Lentяй!

Но это произнесено было Мартином Лукьянычем без всякого раздражения, и в выражении его лица, в звуке голоса ясно было видно, что, несмотря на леность и копотливость Ивана Федотыча, Иван Федотыч был в его глазах человек хотя и низший, но все ж таки уважаемый и почтенный.

Николай проворно собрался, сунул украдкой в карман горсть отцовских папирос и по твердой степной дороге отправился за пятнадцать верст на хутор. Гарденинский хутор стоял на берегу Битюка, «на самом пригреве», как говорили, потому что холм, на котором он стоял, склонялся к югу. Это было тихое и очень пустынное место. Недалеко от него, вверху, битюцкая долина расширялась и река делилась на несколько течений, образуя острова с заливыми лугами и лесом. Главное течение было не у хутора, а на противоположной стороне долины, в версте от хутора. Здесь же, под холмом, выгибался дугою рукав, образуя нечто вроде того, что на Волге называют «затоном». Здесь вода была постоянно невозмутима и гладка, как в налитом блюде. С холмистого берега гляделись в нее постройки хутора — веселый флигелек, обмазанный белой глиной, плетневые варки, рубленая конюшня. Со стороны острова отражались в ней высокие, непролазные камыши и густой, перепутанный жирными и цепкими травами «низовой лес». Летом в этом лесу была постоянная влага, стояло непрерывное затишье, пахло сыростью, гнилью, болотными растениями и в сказочном изобилии росла ежевика. Зимой водились волки и лисицы. Добрую половину года, с октября до первых чисел мая, хутор был почти необитаем. Только с мая, когда вырастала трава в степи, туда пригонялись табуны и приводились, как бы на дачу, заводские жеребцы. В июне шел покос, степь оживлялась песнями, кострами, дружным звуком кос, видом таборов, копен и быстро возникавших стогов. Осенью жизнь замирала, оставалось слушать, как шумит ветер, гоняя перекасти-поле по степи, как идут непрерывные унылые дожди, бормочет и шепчет вершинами оголенный лес, да смотреть на свинцовое небо, на поблекшую и мокрую траву, на сердито вздутый Битюк. Зимой еще того скучнее становилось на хуторе: сугробы со всех сторон облевали постройки, вьюги и метели наводили тоску, открытый



северному ветру лес гудел мрачно и зловеще, по ночам выли волки. Вообще зверье становилось до того неистовым, что даже среди дня подступало к хутору и, случалось, разрывало хуторских собак у самых окон занесенного снегом флигелька. Чтобы жить здесь круглый год, не бояться волков, ненастья, лихих людей, скуки надрывающего шума лесного и унылых завываний метели, и притом, чтобы жить в полном одиночестве и уединении, казалось бы, нужен был человек с особенно аскетическими наклонностями, человек, приверженный к серьезному размышлению, к истязаниям плоти,— одним словом, такой человек, который бы совершенно разочаровался в соблазнах и сквернах мира и только бы и мечтал о «матери-пустыне». А между тем, по странному распоряжению судьбы, круглый год жил на хуторе — в качестве приказчика, клерка и сторожа вместе — развеселый человек, известный на добрые сорок верст, в ближних и дальних селах, под именем Ерника. Был он гарденинской крепостной, в свое время оказал барину какую-то темную услугу, получил за то отпускную и вот эту должность на хуторе. И жил здесь вот уже лет двадцать подряд. Как только с хутора уводили жеребцов и угоняли табуны, ни работников, ни кухарки не полагалось Агафоклу. Он сам должен был готовить себе еду, доить корову, убирать лошадь, отгребаться от снега, осматривать и оберегать низовой лес и стога в степи.

С дороги, ведущей из Гарденина, хутор, хотя и стоял на холмистом месте, открывался внезапно, совсем вблизи, потому что к нему приходилось подъезжать из лощины и у самого хутора обогнуть невысокий бугорок. Николай ехал себе не спеша, покурил папирсы, неопределенно мечтал, прислушивался к птичьим голосам, свисту и кряканью, смотрел на желтую траву, на высокое теплое небо, по которому лениво двигались редкие весенние облака, на долину реки, которая открылась перед ним совсем близко от хутора, с своими покрасневшими оживающими лесами, с затопленными лугами и полянами, с рядом церквей, белевших в отдалении. Вот и поворот и знакомый бугорок с старою ракой на вершине... Вдруг, обогнувши этот бугорок, шагах в двадцати от себя Николай увидел такую картину. У веселой белой избы, на твердо притоптанном, залитом солнцем месте, Агафокл, без шапки, в ситцевой рубахе, опоясанной ниже толстого брюха, с балалайкой в руках, отхаживал «барыню». Нырряя, приседая и выделявая ногами удивительные штуки, он увивался вокруг бойко семенящей с платочком в руках молодой грудастой бабы. Балалайка издавала подмывающие звуки; Агафокл частою скороговоркой приговаривал: «Ходи изба, ходи печь — хозяину негде лечь! Ах, барыня с перехватом — подпиралась ухватом... А-ах, барыня с перебором — ночевала под забором!» — и вскрикивал, взмахивая балалайкой: «Делай, Акулька! Сыпь горячих, в рот тебе ягода!» Баба игриво отшатывалась от плясуна, наступала на него грудью, жеманно помахивала платочком, манила к себе, притопывала в лад игры подкованными котами, приговаривала: «Ох, що ж, що ж, що ж, да мой муж не хорош... Ах, серые глаза режут сердце без ножа!.. Любила я тульских, любила калуцких, елецкого любила — сама себя погубила!» На завалинке, положа кисти рук на согнутые правильным углом колени, как-то странно и неподвижно выпрямившись, сидел старик с копною седых волос на голове, с гладко выбритым морщинистым лицом, в пальто, подпоясанном веревочкой, и благосклонно улыбался на пляску. Увидав Николая, Агафокл с треском «оторвал» аккорд, остановился плясать и, посмеиваясь мелким рассыпающимся смешком, переваливаясь низко подтянутым брюхом, пошел к нему навстречу. Его румяные толстые щеки так и тряслись, глазки щурились, почти пропадая в лучистых морщинках, между алых губ виднелись крепкие зубы с большою щербиной в верхнем ряду.

— А, Миколушка! — воскликнул он нежным, немного пришепетывающим голоском, оправляя на ходу свои седые кудри и бородку клинушком. — Друг

любезный! Тебя ли видим?.. Твое ли распрекрасное лицо? Вот, матушка, как разделяваем... Под орех, чтобы не было прорех!

— А ведь, никак, великий пост, Агафокл Иванович,— смеясь, сказал Николай, слезая с дрожек.

— Пост? Это точно, друг закадычный. И великий, сказывают. Как, отец, великий, что ль? — Он повернулся к старику, сидевшему в той же неподвижной позе и с тою же благосклонною улыбкой, и плутовски подмигнул ему. И вдруг засуетился.— Ну, да что тут толковать по пустякам. Давай лошадь-то, матушка, я ее под сарай поставлю. Акулька! Подогрей, дура, самовар. Не знаешь, гость какой? Управителей сын, неотёса! Друг, чего желаешь: яишенку, молочка? Грех, говоришь? Это точно. А-ах, и справедливы же твои слова, радость моя незабвенная! Ну, вот Иван Федотыч окуньков наловил, ушицу смастерим. Акулечка, краля моя нарисованная! Свари ты, друг милый, ушицы... да с лучком, да с перчиком. И как разлюбезно, братцы вы мои, время проведем! — Он весело подмигнул Николаю, кивая вслед уходившей бабе, и с неувимым выражением лукавства и нежности сказал: — Хороша? Постанов-то, постанов-то какой, миляга! С масленой у меня живет. Из Щучья.

— А прежняя-то где, Агафокл Иваныч? У тебя на святках, никак, другая была?

— Лукерья-то? — Агафокл так и затрясся от смеха.— Сбыл, голубок ты мой хорошенький, сбыл! Вот прилипла, прилипла... ну, нет моих сил! Я ведь, друг, эдак не уважаю, чтобы очень прилипать. С какой стати? Погулял, порасеялся, провел разлюбезное время — и с колокольни долой. Вот как, матушка, по-нашему, по-стариковски! А она — нет, Луша-то, — ей приятно, чтоб поканителиться. Ну, что делать, — пришел, сокол ты мой, мясоед, стали волки свадьбами ходить, я и зачни ее пужать и зачни. Завоют в лесу, — эге! скажу, Лукерья, чуть ли наш смертный час подходит, кайся, девка, в грехах... Пужал так-то, пужал — глядь, на мое счастье, волки средь бела дня кобеля разорвали — Орёлку. Так и располосовали, мошенники, вдрызг, вон у ракиты. Гляжу, любезный человек, гляжу: моя Лукерья — давай бог ноги! Да до чего ведь, сердешная, — пока я сани запрег, пока что, она уже около Выселков качает! Ну, и расцепилась, матушка. Эх, та уж больно телом была рыхла — тесто, братец ты мой!

— Ну, Агафоклей, истинно про тебя сказано, что ты ерник, — произнес старик, все продолжая улыбаться и здороваясь за руку с Николаем.

— Отец, Иван Федотыч, да я разве отрекаюсь? — сказал Агафокл.— Миколушка! Отрекался я когда-нибудь? Уж известно, народ прозовет, так недаром. Я и не отрекаюсь, голубь ты мой сизой!

— И с чего к тебе женщины льнут? — посмеиваясь, проговорил Иван Федотыч.— Виски седые, пузан, щербатый. Тебе, чай, лет под пятьдесят будет?

— А что ж ты думаешь, прямо будет пятьдесят годов. Это точно. Ну, поди ж ты, милый человек, льнут! — И он в веселом недоумении развел руками.— Болтают про меня — присуху знаю. Обдумают, что сказать! Не то что присушать, я и сам, братцы вы мои, удивляюсь, с чего они лезут, дуры! Ну, на подарки я прост, это нечего говорить. Я ведь не задумаюсь шелковый платок аль янтари подарить. Но все ж таки, други мои драгоценные, удивительный этот народ — бабы!

— Сам-то ты удивительный,— сказал Иван Федотыч, и вдруг лицо его перестало улыбаться и глаза сделались кротки и задумчивы.

— Ну, я приберу лошадь. Миколушка, иди-ка в избу, чайку попьем. Иди, иди, я, брат, не ревнив, пощупай бока-то у бабы! А ты, Иван Федотыч, как насчет чаю?

— Нет, уж достаточно. Вы пейте, управляйтесь с делами, а я пойду еще с удочкой посижу. Хочется мне беспрерывно леща поймать. Татьяна моя очень до них охотница. А тогда подойду к вам, похлебаю ушицы.

Агафокл опять засмеялся, и когда Иван Федотыч, сгорбившись и накрыв-

шись старою касторовою шляпой с изгрызенными полями, пошел к реке, сказал Николаю вполголоса:

— Разлюбозное время проведем, миляга! Из Боровой посулился Арефий Сукновал приехать... Не знаешь? Умственный, грамотный мужик, все из божественного доискивается. Новую веру обдумывает. Ему и любопытно с Иваном Федотычем сразиться. Это они уж в третий раз стыкаются. И-их! Соболек ты мой горностаевый, и люблю я, братец ты мой, стравить эдаких начетчиков, книжников, мудрецов! За первое удовольствие! — И, легонько толкнув Николая по направлению к избе, добавил: — Иди-ка, иди, потопчись вокруг бабы, при мне-то, глядишь, не подпустит.

Николай покраснел и с застенчивою улыбкой пошел к избе. Вдруг Агафокл восторженным голосом окликнул его из сарая:

— Друг милый, сколь хорошо! Солнышко... травка... цветочки... Журавлики перекликаются в небесах... А-ах, братец ты мой, до чего разлюбозно жить на свете!

Однако Николай, увидав в полурастворенную дверь согнутую фигуру бабы, раздувавшей самовар, почему-то застыдился, не посмел войти в избу и, закурив папироску, сел на завалинке. Агафокл, управившись с лошадьёю, подошел к нему, уселся рядом и, побалтывая ногами и посмеиваясь, сказал:

— Что, аль не по вкусу? Ну, уж,— однодворка, сокол мой, с тем возьми! А я их, признаться, страсть люблю, этих однодворок. Вот еще, радость ты моя, есть у меня в Боровой на примете... — Он искоса поглядел в дверь и тотчас же изменил предмет разговора.— Ягодка! Не отвоедаешь ли наливочки, а? Рюмочку-другую? Ежевичная, андел мой. Нет? А я, признаться, сам-то ее мало потребляю, но для баб держу: ха-а-рошая привада! И гости иные угощаются... ничего! Сколь же часты гости у меня, матушка, уму непостижимо. Что делать, любят меня, старика. Ты только, миляга, папашеньке не болтай: страсть я его боюсь. Вот, братец мой, какое дело: теперь его да еще конюшого Капитона я так и почитаю замест грозы. Кричат, шумят... К чему? Что хорошего? Я, голубенок ты мой приятенький, крика никак не могу выносить. Я робок. Ежели на меня цыкнуть покрепче, я прямо ослабну.

— Нельзя ведь, Агафокл Иваныч, порядок требует.

— Порядок, говоришь? Вот это точно. Это справедливые твои слова. Я иной раз на волков так-то погляжу, братец ты мой: вот, разбойники, зайчат режут. Ну, а потом и подумаю: значит, порядок такой, значит, предустановлено. Ну, черт ее дери, нечего тут толковать! Так вот насчет гостей, милый человек. Ты не подумай — такой уж я до компании охотник... А вот страсть моя — людей стравливать промеж себя. Вот на той неделе... ха-ха-ха!.. — он так и заколыхался от смеха, — лебедянский молоканин с дьячком из Щучья сразились. Ну, что ж ты думаешь, друг разлюбозный? Едва рознял. Прямо дьячка за косу отволлок от молоканина. А то еще — жилеишников стравливаю. Этих больше по весне. Вот Потапка из Кужновки — страшный завистной на жилейках играть!.. Прямо, узнаю, какой объявится мастер по этой части, съезжу и стравлю с Потапкой. Да у меня, Миколушка, беспречь ратоборство происходит. Ономясь об масленой песельников стравил — Гаврюшку прокуровского да Андрюшку из Гороховки. Здорово, подлецы, разделявали! Али насчет пляски... Ну, друг, насчет пляски да еще балалаечной игры я вот что тебе скажу: сколько ни есть в округе плясунов и балалаечников — всех перепляшу и переиграю, ей-богу. По правде тебе сказать, я и за Акулькой-то больше из-за пляски погнался. Влить ей ежели стаканчика три, эдак чтобы рассолодела, — начнет откальвать, уноси ты мое горе во чистое поле... Да что тут толковать! — Он сорвался с места, схватил лежавшую подле балалайку, тряхнул кудрями и сделал ловкую выступку.— Хочешь? Ты прямо говори: желаешь? Сейчас вдребезги разворочаем... — и каким-то певучим, разгульно-изнеможенным голосом, прищуривая глазки, усмехаясь алыми, точно выкрашенными, губами, вскрик-

нул: — Кхи... кхи... кахи — ну! Кахи, кахи, кахикала, полну избу накликала, еще бы кахикати, да некуда кликати!.. Эй, Акулька! Щеки писанные, брови сурьмленные, повадка картинная, о походка павлиная!..

— Оставь, Агафокл Иваныч, — густо краснея, сказал Николай, — неловко как-то... ни с того ни с сего — плясать...

Агафокл быстро успокоился, сел и отложил балалайку.

— Это точно, — добродушно согласился он, — это справедливые твои слова, что неловко. Ну, вот, братец ты мой, Иван Федотыч меня любит. Что я и что он, сам можешь понимать, друг разлюбезный... Прямо можно сказать не ложно — божественный человек; а вот любит, в рот ему малина. Ну, и я здорово ему подержен... ума — палата, братец мой. Захочется ему эдак о божественном поговорить, я никак не поленюсь: сейчас, господи благослови, на пегашку, враз достану кто занимается эфтими делами. Я, птенчик ты мой драгоценный, даром что живу в диком месте, на всю округу знаю, кто до чего охотник. И вот соберу их... И им-то любопытно, и мне потеха. Вот теперь Арефия раздостал: этот сам упросил сравнить его с Иваном Федотычем... Ух, зазвонистый мужичишка! Послушаем, послушаем... разлюбезное, братец мой, время проведем!

Вдруг какая-то уморительная мысль пришла в голову Агафоклу; сдерживая душивший его смех, он толкнул Николая в бок и, указав в сторону реки, прошептал:

— Леща пошел ловить!.. А-ах, чудеса, брат, на свете... Леща ли ей нужно?.. Дурак, дурак! — и потом с отвисшею нижней губой подмигнул Николаю: — Ты часто у них пребываешь, как насчет Татьяны-то? У, и товар же, братец ты мой, — первый сорт!

— Вот еще выдумал!

— Ну, чего? Ну, чего, дурашка, румянеешь?.. Хе-хе-хе! Аль я не понимаю? Бабе есть ли двадцать годов, — шестнадцати он ее, старый тетерев, замуж взял, — красоты — на редкость поискать, и вдруг вы бы зевать стали. Да что, черт ее дер! Прямо грех зевать с такой бабой. Ведь он весь сплющился, ссохся, Иван-то Федотыч, ведь Тянюше с ним маета одна, а тут эдак под боком душа-паренек, в соку, миленький, пригоженький... Охо-хо-хо, какая сладость, братец ты мой, в ваших делах с Татьяной!

Николаю и омерзительны были слова Агафокла о столярной жене и вместе новы, интересны и завлекательны. Стыдясь почему-то разуверять Агафокла, сказать правду, то есть что он никогда и не думал о Татьяне в этом-то смысле, что смотрел на ее красоту не то что равнодушно, а несмело, без всяких помыслов, что не произнес с нею десяти слов за все полгода, как бывает у Ивана Федотыча, Николай притворным и даже несколько плутовским голосом повторил: «Вот еще выдумал, Агафокл Иваныч!» — и, как только сказал это, почувствовал, что солгал, что наклепал что-то скверное на жену Ивана Федотыча, и рассердился на себя и на Агафокла.

— Ну, вот что, Агафокл Иваныч, — грубо сказал он, — мне некогда с тобой толковать: папенька приказал низовой лес осмотреть, нет ли порубки. Да стога не побиты ли у тебя чужой скотиной.

— А чайку-то, бесценный?

— Я пил. Надо дела делать.

— Это точно, братец мой. Это справедливые твои слова. Ну, погоди, шапку сейчас ухвачу, поедем стога смотреть. Будто бы, на мой взгляд, нет урону. Эй, Акуля! Приглуши покамест самовар, может Арефий подъедет.

И они вдвоем на Николаевых дрожках отправились смотреть стога.

Тем временем действительно приехал Арефий Сукновал, пришел с реки Иван Федотыч, — Акулина собрала им чай, и они, медленно потягивая красноватую жидкость из блюдечек, беседовали о возвышенных предметах. Возвратившись из степи, убедившись затем, что в низовом лесу стоит еще вода и осматри-

вать его невозможно, Николай вспомнил наказ отца не засиживаться у Агафокла, но сильнейшее желание посмотреть на Арефия, послушать его разговор с Иваном Федотычем и — что греха таить — перемолвиться о том о сем с Акулиной, которую он видел только мельком, сейчас же подсказало ему, что перед отцом можно оправдаться вот чем: ловили-де рыбу с Иваном Федотычем, и потому случилось промедление. Николай знал, что, когда сошлется на Ивана Федотыча, отец не будет сердиться. Поставивши под сарай лошадь, рядом с буланкой Арефия, Николай и Агафокл вошли в избу. Это была чистая, выбеленная горенка с голландскою печью, с твердо утопанным глиняным полом, светлая, веселая и уютная. За самоваром сидел и наливал чай Иван Федотыч, напротив него — черноволосый худощавый мужик с живыми, необычайно серьезными и блестящими глазами. Между ними помещался мальчик лет десяти, в ловко сидящем кафтанчике из грубого крестьянского сукна, с вышитым воротом льняной рубашки, остриженный в кружок, такой же черноволосый, как и Арефий, и с такими же живыми, но еще с детским выражением, глазами. Это был сынишка Арефия. Акулина с степенным лицом слушала, сидя у печки, и проворно щелкала орехи.

Приход Николая с Агафоклом на минуту прервал разговор, но мало смутил беседующих. Только Арефий вопросительно вскинул глазами на Николая да с снисходительною, торопливою усмешкой пожал руку Агафоклу. Иван Федотыч нашел, однако же, нужным сказать, кивнув в сторону Николая:

— Это сынок управителя нашего. Ничего, артельный парень, свой. Присаживайся, Николай Мартиныч, — и тотчас же перешел к тому, что было прервано: — Но в таком разе как же ты, Арефий Кузьмич, понимаешь о аде?

Арефий тряхнул волосами, отставил блюдечко с горячим чаем и только что хотел отвечать, как Агафокл, усевшийся за стол рядом с Николаем и напрасно старавшийся придать серьезность своим плутовски смеющимся глазам, сказал Николаю:

— Друг бесценный, с молочком не желаешь ли?

Николаю сделалось стыдно, что в присутствии таких людей Агафокл заговорил о молоке.

— Что ты, — сказал он, отмахнувшись, — чай, я не Агей Данилыч!

— Ах, братец мой, опять забыл... Грехи!

Лицо Арефия внезапно дрогнуло, и около рта пробежала неприятная нервная судорога. Он насмешливо взглянул на Николая и сказал:

— А и взаправду, Агафокл Иваныч, дай-ка молочка. Этак-то будет посытнее.

Агафокл радостно засуетился:

— Вот это так, друг любезный, вот это по-нашенски! Краля, волоки-ка горшочек утрешничка!

Акулина принесла молоко и поставила на стол. Арефий с каким-то вызывающим видом зачерпнул ложкой, налил себе и сыну.

— Отец, для канпании! — с неистовым восторгом крикнул Агафокл, обращаясь к Ивану Федотычу, и с ужимками, ухмыляясь, подмигивая, налил себе полные две ложки.

— Я не потребляю, — спокойно сказал Иван Федотыч и на вопросительный взгляд Арефия добавил, — греха в этом не вижу, но не потребляю.

— Как же не грех, когда великий пост? — выговорил Николай, оскорбленный не столько тем, что нарушался великий пост, сколько насмешливым взглядом Арефия и тем вызывающим видом, с которым он зачерпнул молоко.

— Плохо закон знаешь, плохо Святое писание знаешь, — возбужденно сказал Арефий и, оставив перед собой глаза, как будто смотря в развернутую книгу, начал ссылаться на тексты. И задорно крикнул: — Ведь прямо сказано, чего ж мы еще хитрить будем?

— Может, и яишенку в таком разе, алмаз ты мой драгоценный? — вкрадчиво спросил Агафокл, так и подергиваясь от внутреннего смеха, и тотчас же приказал Акулине: — Сударушка! Смастери-ка яишенку для дорогих гостей.

— Это довольно странно, как ты понимаешь про посты! — высокомерно сказал Николай.— Эдак ты придумаеть, что и в церковь не надо ходить?

— Не токмо в церковь, в Ерусалим, пожалуй, ходи. А сам срамись по всякий час, блуди, враждуй, с нишего последнюю рубаху сымай... Аль не читал: «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе?»

— Это где такое сказано? — с насмешкою спросил Николай, никогда не читавший Евангелия и знавший только краткую священную историю Ветхого и Нового завета.

Арефий быстро взглянул на него, и вдруг суровое и возбужденное выражение пропало с его лица, по губам пробежала улыбка.

— Сказано, паренек, сказано,— ответил он, понявши невежество и слабость противника, и, круто повернувшись к Ивану Федотычу, он заговорил обыкновенным своим голосом: — Касательно адовых мук, Иван Федотыч, я рассуждаю точь-в-точь как Исаак Сирийский проповедовал: гееннское мучение есть раскаяние. Прочитай-кось слово восемьдесят девятое и девяностое. Али еще ловчей сказано в восемнадцатом слове. Очень мудро! — и Арефий проговорил множество цитат.— А то и так еще полагаю: не иначе как будет срок... геенне, тоись. Адовы муки никак не вечны, не может того быть,— и поспешно добавил,— умствую так, не подумай, что самовольно, Иван Федотыч... Все из Писания, все из книг!

Иван Федотыч вдумчиво посмотрел на него.

— Все на книги ссылаешься... Ах, душенька, сколь это обоюдоостро,— проговорил он как бы сам с собою и громко сказал: — Коли уж ссылаться, спрошу у тебя, Арефий Кузьмич: аль не знаешь, какая была ересь Оригена, прозванного Адамантовым?

— А какая?

— Вот то же, что и ты говоришь... насчет срока-то. И на пятом вселенском соборе святые отцы так постановили: кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно и что после некоторого времени оно будет иметь конец или что будет после восстановление демонов и нечестивых людей, да будет анафема.

— Вот так фунт, Арефий Кузьмич! — с величайшим удовольствием воскликнул Агафокл и даже привскочил.

Арефий тряхнул волосами, хотел улыбнуться, но не выдержал и рассердился.

— Я вселенским соборам не верю, соборных постановлений не принимаю! — крикнул он.— Как сказано в первом Послании Ивана, глава четвертая, стих шестнадцатый? Бог есть любовь, вот как сказано! Смотри у Павла первое Послание к Коринфянам, глава тринадцатая, от четвертого до восьмого стиха. Апостол оченно тонко вникает в эфто дело. И смотри, что написано: любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. А ты мне анафему сулишь.

— Не в том смысле, Арефий Кузьмич,— тихо, улыбаясь, сказал Иван Федотыч.— Что апостол Павел о любви говорит, это, душенька, великие слова,— и задумчиво повторил, видимо куда-то далеко улетаая мысли,— да, да... всего надеется, всего...

— А вот, господа честные, и яишенка! — вскрикнул Агафокл, вскакивая навстречу Акулине.

Однако почти вся сковорода целиком досталась Агафоклу. Иван Федотыч опять сказал: «Греха в этом не нахожу, но не потребляю»; Николай

с притворным отвращением отвернулся; Арефий съел одну ложку, очевидно только с намерением доказать, что это не грех, мальчик тоже едва попробовал.

Агафокл выскреб дочиста сковороду, с удовольствием причмокнул, отер губы подолом рубахи, засмеялся и, обращаясь сначала к Николаю, а потом к Арефию, сказал:

— Вот, Миколушка, и покушали. Грех — это точно. Это справедливые твои слова. А ты, Арефий Кузьмич, доискался: нет греха... Как это ты, братец мой? Я же, голубчики вы мои, так полагаю: поемши, поимши, не вылезть ли нам на солнышко да не отведать ли наливочки, ась? Ежевичная у меня, братцы, перевоющий сорт! Как в эфтом разе обозначено в книгах?

Все засмеялись, вышли и сели на завалинку, но наливку пить не стали.

— Потолкуйте еще, други любезные,— сказал Агафокл, сладко потягиваясь и почесывая брюхо.— Страсть люблю умных речей послушать,— и, с целью подзадорить Арефия, обратился к Ивану Федотычу: — Так как, отец, значит, Арефию Кузьмичу анафема выходит?

Однако этот подход не сделал впечатления: Арефий только слабо усмехнулся, Иван же Федотыч и не расслышал. Он с умилением оглядывался по сторонам, смотрел на небо, в котором звонко пели жаворонки, на холмы, где едва пробивалась зеленая травка и желтели ранние цветочки. Широко развернутая даль синела и сияла перед ним в горячих солнечных лучах, с ее церквами, селами, лесами, лугами, зеркальным разливом реки и рядом высоких курганов на берегу долины, и, казалось, навевала на него кроткие и любовные мысли. Лицо его становилось все яснее, бледные старческие губы складывались в благостную, неизъяснимо ласковую улыбку. Николай сидел в сторонке и курил, стараясь выпускать дым колечками: он все еще находился в неприятном, уязвленном настроении.

— Сколь мудро устроен мир божий! — счастливо вздыхая, сказал Иван Федотыч.— Для чего, подумаешь, свара, обида, ложь, человеконенавистничество, заботы о куске?.. Каждая былиночка, каждая что ни на есть махонькая тварь славит господа.

Арефий, опершись на руку, смотрел ничего не видящими глазами и о чем-то пристально думал. Агафокл, по-видимому, остался недоволен таким мирным и молчаливым настроением; он, прикрывшись ладонью, легонько зевнул и, сказав: «Э! Надо еще лошаденку твою напоить, Миколушка»,— поднялся с завалинки и пошел к сараю.

— Ты говоришь: ложь, обида, свара, человеконенавистничество,— вдруг заговорил Арефий, и глаза его заблестали.— Скоро, друг, скоро конец князю мира сего. Глянь-ко, народушко как просыпается. Где тьма, там теперь осияние, братец мой. Ходил я ноне зимою по Саратовской губернии, сукна валял, пришел в одну деревню... Вот, поглядел я, святое дело-то укрепляется! Живут по-братски, сирот привечают, голодных кормят, за хворых работу справляют, дележки нет, кабаков нет... Промеж себя не продают, не покупают, есть излишек — бери... Ах, сколь приятен плод возрастает от Святого писания!

— Не везде так-то, Арефий Кузьмич. В наших местах что-то не слышать.

— Надо трудиться, друг. Чай, помнишь, что написано: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти». Надо увещевать: толцыте, сказано, и отверзется; надо словом принимать людей,— ревности все доступно, братец мой.

— Так-то так, душенька.

— А коли так, и не отлынивай, Иван Федотыч,— горячо сказал Арефий, возвышая голос,— чего отлыниваешь? Бог разум тебе дал, любовь дал, уста дал красно глаголати... Чего ж ты упираешься, как норовистая лошадь? Эй, Иван Федотов, берегись! Не будь рабом лукавым, не гневи господа бога! Вот третий раз с тобой толкуем от Писания... В чем не согласны, скажи? Оспаривал ли ты меня своими словами? Все из отцов, все из отцов. А чуть доведется само-

му, ты и молчишь и улыбаешься. Зачем так-тоя бобы разводить? В кимвалы нам с тобой бряцать, что ли? Недосуг, Иван Федотыч, в кимвалы бряцать... ой, жатва велика, а жнецов нетути. Ты думаешь, задаром царь-батюшка из вавилонского плена вас ослобонил, волю дал, руку крепкую и жестоковыйную отвел от вас, барских людей? Шалишь, Иван Федотов, не задаром. Прежде ты во грехах купался, а перед богом за тебя помещик отвечал; ты был раб, все равно что скот бессловесный. Ну-кася, теперь-то кто за тебя ответит? Не вилай, Иван Федотов,— вилять, друг, некогда.

— Арефий Кузьмич, видишь? — сказал Иван Федотыч, и голос его дрогнул.— Видишь,— повторил он, указывая рукою вдаль,— храмы божии... вот маленько годя гул пойдет колокольный: народушко к вечерням поплетется... говеть, молиться о грехах: «Господи, владыко живота моего... Господи, владыко живота моего!» Ах, друг, друг... сколь жалко этого! — Он махнул рукою и отвернулся.

Арефий по направлению Иван-Федотычевой руки презрительно усмехнулся и долго спустя произнес:

— А я вот что тебе скажу, Иван Федотыч: закостенела твоя душа. По человечеству жалко тебя, нечего и толковать. Но для-ради дела господнего, для-ради жатвы его великой, об одном молю бога: пушай бы, как Иова, пробрал тебя, пушай бы сок-то из тебя повыжал... Пострадать тебе нужно, Иван Федотыч! Крест на себя принять... бремена тяжкие и неудобь-носимые возложить! Вот ты о боге скорее бы вспомнил, упираться-то перестал бы! Прости, Христа ради.

— Что ж, может, и правда твоя, Арефий Кузьмич,— благодушно согласился Иван Федотыч.

— Эх, драгоценное это место — гарденинский хутор! — помолчав, сказал Арефий, очевидно желая переменить разговор,— и кого господь попустил жить здесь, не в осуждение будь сказано Агафоклу Иванычу!.. Больше полу-года — пустыня; следа нету; лица человеческого не видно. Что бы тут можно устроить во славу господя! Ведь иной раз до чего нужда укрыть человека, побеседовать без лишних людей, собраться, принять посланца из дальних мест... А на селе все-то неловко, все-то глаза, да уши, да языки. Завидное местечко! — И вдруг, будто что вспомнив, повернулся к Николаю, низко поклонился и сказал с каким-то деловым, заботливым выражением на лице: — Прости меня, вьюноша, ради Христа! Обидел я тебя, истину лживым языком выговорил. Прости, пожалуйста! Каюсь, горяч я: где бы нужно любовью, а язык мой неистов — согрубит. Прости, сделай милость!

— Что ты, что ты, Арефий Кузьмич? Я и не думал сердиться,— покрасневши, ответил Николай и в ту же минуту почувствовал, что любит и уважает этого человека.— Я действительно не читал Евангелия,— торопливо сказал он, путаясь в словах и желая как можно скорее обвинить себя,— я не думал... я... может, ты и прав. У нас тетка — очень религиозный человек... только один год живу с папашей... И вообще посты... тетка замечательно строго требовала... Я вообще мало думал об этом.

— Надо, парень, думать. Ты грамоту, чай, твердо знаешь,— вникай. Глупостев небось много прочитал, а Святое писание проглядел. Эдак невозможно.

И как только Арефий проговорил это,— как говорят младшим: с обидною снисходительностью и поучительно,— так Николай снова почувствовал, что терпеть не может этого человека, и снова оскорбился и сказал Ивану Федотычу:

— Вы со мной не поедете, Иван Федотыч? Мне пора. Надо еще поглядеть, не шляются ли однодворцы в степи... Вчера папенька здорово двоих отгладил.

Арефий был однодворец, и Николай думал уязвить его этими словами.

Свежело. По Битюку звонили к вечерне, степь отливала красным в огне косых солнечных лучей, когда Николай с Иваном Федотычем возвращались

в Гарденино. Иван Федотыч сидел назади с удочками и корзиной, в которой неподвижно лежали красноперые окуни и два золотистых леща; длинные ноги его едва не волочились по земле; сдвинутая на затылок шляпенка открывала кроткое, светящееся тихим умидением лицо. Он что-то напевал про себя, медленно переводя глаза от высокого неба, где двигались розовые облака и звенели птицы, к озеру, к лесу вдаль, к курганам, за которыми в тонком струящемся тумане виднелись кусты, и степь, и островерхие стога.

— И не нравится мне этот Арефий! — сказал Николай, с особенным шиком сплевывая сквозь зубы, как недавно научился у Федотки.

— Что так, душенька? — отозвался Иван Федотыч, не сразу выходя из своей созерцательной задумчивости.

— Да что же, Иван Федотыч! Вдруг какой-то мужик и осмеливается есть скромное. Это смешно.

— Ну, дружок, не говори, что мужик. Какая память! Какая память! И сурьезный, самостоятельный человек. Это ты не говори.

— Он, никак, в свою веру вас обращал? — насмехаясь над Арефием, сказал Николай.

— Какая же его вера? — неохотно ответил Иван Федотыч. — Вера его обыкновенная — во Христа, — и, помолчав, добавил: — А ежели что не по душе мне в Арефии, так это рьяность его. К чему? Силком не спасешься и не спасешь. *Он делатель мзды*, вот что плохо.

— Как, Иван Федотыч, мзды? Разве ему платят за это?

— Ну, душенька, кому платить! А сказание есть такое — о трех мнихах. Были три мниха: Федосей, и Лука, и Фома. Жили в горе, спасались. И говорит один человек: «Вот три мниха, и все трое великой жизни и одинаково понимают спасение». — «Как так?» — спрашивают человека. И говорит: «Шел я дорогою, встретил Федосея: несет вязанку дров, пошатывается от непосильного бремени. И подумал я про себя: надо его испытать, — расскочился, прыгнул ему на горб, так и придавил вместе с вязанкой. Поднялся Федосей, оправился, поклонился, побрел, куда ему следовало, ни слова мне не сказал. Вот пошел я дальше, вижу: идет Лука, в руках выдолбленная тыква — воду несет к себе на гору. Постой, думаю, по эдакой жаре да идти за водой в долину — великий труд для старца, дай я его соблазну. И ударил по тыкве и разлил воду. Ничего не сказал Лука, поклонился, поднял тыкву, спустился опять в долину. Иду я опять, вижу Фому: сгорбился, опирается на клюку, присматривается к траве, кореньев ищет... Подбежал я к Фоме, ударил его в щеку, и Фома ничего не сказал, поклонился, нагнулся к земле, зачал клюкой ковырять — корешок выкапывать. Вот отчего все трое великой жизни и одинаково понимают спасение». И *некто* сказал тому человеку: «Не все великой жизни и не одинаково понимают спасение: ступай в крипту, стань за дверьми, слушай». И пошел человек в крипту, и прислонился у входа, и стал слушать. Первый сказал Федосей: «Нес я вязанку дров, и вдруг высочил неистовый человек, вспрыгнул на меня и повалил. Спасибо, отцы, я вовремя опомнился, бога побоялся, а то бы наклал ему в загорбок». И проговорил вслед за Федосеем Лука: «Было и мне искушение: выбил человек у меня из рук тыкву с водой; так-то мне жалко его стало, братья! Согрешил, думаю, несчастный, впал в соблазн, обидел старца. Его-то жалко, а за себя радуюсь: я гнев преломил в себе, отошел от греха, со смирением претерпел обиду. Это мне зачтется». Фома ничего не говорил и только плакал. «О чем плачешь, авва?» — спросили его Федосей и Лука. И отвечал Фома: «Как же мне не плакать? Великий грех нанес себе человек, соделал грех, поддался искусителю; плачу от жалости по том человеке». И еще его спросили, какой грех и в чем искушение, но старец молчал и не переставал, плакал горькими слезами. И тогда *некто* сказал тому, кто стоял у входа крипты: «Слушай и различай *делателей страха, мзды и любви...*» Вот так я, душенька, и Арефия понимаю: любви в нем мало! Что ж книги? На книги всякий может сослаться. Дело не в книгах.

— Но удивительно, с какою заносчивостью он говорит! Я не понимаю, Иван Федотыч, ужели он только один умен, а все дураки? Отец Григорий смыслит, я думаю, почище его; да и вы, может, во сто раз больше его прочитали всяких книг, однако же не скоромитесь и в церковь ходите.

— Эх, Николай Мартиныч, молоденок ты, душенька... Знай, дружок, одно: не токмо у христиан, — у жидов, у турок, у язычников которых — у всех искра божия, у всех зажжена любовь в сердце. А любовь, душенька, главное. Человеку многое не дано знать, и никто не знает... Ой, многое не дано! Недаром святой отец сказал: «Не ищи того, кто не может быть найден, ибо ты не найдешь его. И откуда бы ты мог почерпнуть познание о нем? От земли? Но она не существовала. От моря? Но и воды не было. От солнца и луны? Но и они не были созданы. От веков? Но прежде веков существовал едиnorodный. Чтó бог сам в себе, какова его сущность? — вопрошать о сем опасно, а вопрошающему отвечать трудно. Легче малым сосудом исчерпать море, нежели человеческим умом постигнуть неизреченное величие божие». Вот что, дружок, Василием Великим сказано, и это — истина. А святой Григорий Богослов тако мудрствует: «Кто я был? Кто я теперь? И чем я буду? Ни я не знаю сего, ни тот, кто обильнее меня мудростью... Душе моя! Кто ты, откуда и что такое? Кто соделал тебя трупоносицею, кто твердыми узами привязал к жизни, кто заставил непрестанно тяготеть к земле?» Вот, Николай Мартиныч, о чем сумневался святой отец. Стихотворец же Кольцов, тот прямо на это отвечает: «Подсеку ж я крылья дерзкому сомнению, прокляну усилья к тайнам провиденья... Ум наш не шагает мира за границу, — набум мешаает с былью небылицу...»

— Я страсть как люблю сочинения Кольцова, — сказал Николай, — вот и из мешан, а какой дар имел!

Но старик, увлеченный течением своих мыслей, не остановился на том, что сказал Николай о Кольцове, и продолжал:

— Какой был мудрец царь Соломон, возвеличен превыше всех людей, а и тот чтó возвещает в Экклезиасте: «Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом». И разбирает по ниточке премудрый царь: из-за чего же жить? Вот разобрал и славу, и почести, и богатство, и вино, и женский соблазн — все, чем маячит в жизни, и, разобравши, сказал: «Возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа!»

Иван Федотыч помолчал, глянул ввысь; на его выцветших глазах проступили слезы, и он сказал растроганным, умиленным голосом:

— Боже! Будь мне защита и покров! Где же ты, господи? Камо скрылся от меня? Почто оставил меня метаться туда и сюда? — И вдруг радостно и счастливо возвысил голос: — Ан и не скрылся! Ан и не покинул свою тварь! Арефий, может, и сам не понимает, а припомнил великое слово: бог есть любовь. Ах, медоточивейший, сладчайший, ласковый апостол Христов! Сколь утешительно, душенька, Послание его первое, я и сказать тебе не сумею, — он несколько нараспев, по-старчески, дребезжа голосом, проговорил слова апостола Иоанна: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает бога. Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь... Бога никогда никто не видел. Если мы любим друг друга, то бог в нас пребывает и любовь его совершенна есть в нас...»

Николай не мог понять, отчего Иван Федотыч впал в такую чрезмерную чувствительность, — он его никогда не видел таким, — и ему сделалось смешно и неловко быть свидетелем такой чувствительности. Между тем Иван Федотыч громко, с каким-то пронзительным звуком, высморкался, помолчал и, точно застыдившись, произнес:

— Эге! Вот я разнежился, старый дурень... Знать, степь-то матушка мягчит душу. Экая благодать-то! Экая благодать! — И еще помолчал и, будучи не в силах сдержать свою общительность и вместе боясь наскучить Николаю, спросил его притворно равнодушным, деловым голосом: — Я тебе, Николай Мартиныч, не рассказывал, как я на Танюше женился?

— Нет, Иван Федотыч, не рассказывали, — ответил Николай, невольно вспомнив при этом соблазнительные намеки Агафокла и стыдливо опуская глаза.

— Вот как было дело. Я исстари любил почитать и побеседовать о превозвышенном. И когда был молод, нечего сказать, посмотрел свет. Я ведь подарен Гардениным-то, а был князь Ахметовых дворовый человек. И остался от родителей сироткой. Ну, князь, — царство ему небесное! — это, значит, отец будет нашей барыни, — и совал меня туда и сюда. Тромбону отдавал учиться, в повара, по шорной, по кондитерской, по столярной части. Одно время оказался у меня бас, душенька, — ну, сейчас меня, доброго молодца, в певчие снарядили. Сломался маленько погода бас, взяли из певчих, вроде как камердинером приставили к молодому князю, братцу нашей барыни. Я с молодым князем прожил в Москве три года, мало того — в чужих краях, в городе Париже побывал: из дня в день ровным счетом два месяца. Помню, пристрастился там князь к картежной игре, все до ниточки спустил... кушать-то нечего, каштаны, бывало, жаривал его сиятельству, овощей питались... Пошатался, душенька! Ну, опосля того, как-то на Татьянин день, князь и подарил меня сестрице. Призвала меня Татьяна Ивановна, спрашивает: «Что же ты, Иван, можешь?» — «А что ж, говорю, сударыня, все могу: по шорной, по кондитерской, по столярной части, могу и за повара и ноты не забыл, ежели потребуется, и лакейское дело знаю, — что прикажете, то и буду исполнять». — «У нас, говорит, все это есть, только столяра нету: будь ты, Иван, столяром». Так с тех пор, душенька, я и не отхожу от верстака, вот уже двадцать восемь лет... И был у барина приближенный лакей, Емельян. Умственный человек. И завязалась у нас с Емельяном великая дружба. Вот как, бывало, управится по своему лакейскому делу, придет ко мне в мастерскую, — напролет ночи просиживали... Все насчет души и из божественного. А то и светские книги читывали: романы, повести, стихи; рассказывали друг дружке истории. И купила барыня у господ Вельяшевых горничную себе, так белолицынькая, Людмилкой звали. Вот, вижу, прошло сколько времени — не по себе мне сделалось от Людмилы: напала тоска, спать не сплю, сосет. Известно, плотская любовь. С другой же стороны замечаю, и с Емельяном что-то неладное творится: из лица потемнел, глаза ввалились, задумываться начал. Жалко мне сделалось друга. Сидим однажды, и как-то грустно... «Друг, говорю, великий, Емельян Петрович! Откройся, душечка, отчего твоя печаль?» А он мне тем же оборотом: «Откройся и ты, Иван Федотыч, и с тобой, вижу, что-то не совсем ладно». — «Что ж, говорю, таитья мне нечего: уязвила меня Людмила-горничная, а приступиться боюсь по великой своей робости». Вижу, сменился с лица Емельян Петров, затряслись губы, отвечает глухим голосом: «Так я и знал. Недаром Людмилу в краску бросает, как ты в барский дом приходишь; видно, не попусту она, как юла, вертелась; ты в барынином шифоньере замки вырезал: и нет ей нужды, а все егозит вокруг тебя...» А мне, признаться, и самому мерещилось, что Людмиле-то тово... люб я; ну, от великой своей робости отгонял такие мысли. Тут же, как услышал Емельяновы слова, не выдержал и возрадовался: «Друг, говорю, сколь я счастлив безмерно, и сказать тебе не умею!» Глаза-то мне замстило, что на нем лица нет. И вдруг вскочил Емельян с места, глянул на меня, плюнул: «А мне черт с вами!» — говорит... хлопнул дверью, ушел. Враз все ровно осияло меня: значит, и он чухнет от Людмилы. Ну, осиять-то осияло, а видно, душенька, истинно сказано: плотская любовь из человека зверя делает. Зачал я с тово раза улучать время — с Людмилушкой встречаться, зачал слова ей говорить прелестные, сделал шкатулочку красного

дерева, подарил... Одним словом, прямо надо сказать: дело наше пошло на лад. Об Емельяне же Петрове и думать позабыли. Тем временем, смотрю, бросил он ко мне ходить, встретит когда — не кланяется, угрюмый, злой сделался. И замечаю, два раза меня барин изругал: копотко-де работаю. «Ты, говорит, все глупые разговоры разговариваешь да с глупыми книжками барские свечки жгешь; я тебя, говорит, научу знать свое место». Грустно мне сделалось: вижу, Емельянова работа, он барину в уши нашептал. Ну, однако, улучил время, перемолвился с Людмилой, — не сказал ей, что думаю на Емельяна, а вот, мол, так и так, барин мне огорчение сделал, обидел напрасно... Перемолвился, говорю, выронила она словечка два, опять мне весело стало на душе... И по некотором времени работал я в барском кабинете, — как сейчас помню, этажерку пристраивал над письменным столом. И желала на столе портфель. Ну, кончил я, душенька, свою работу, собрал инструмент, пошел к себе в мастерскую. Только что хотел фартук снять, обедать идти, вдруг прибегает Андрюшка-казачок, зовет к барину. Что, думаю, такое? Иду... Вижу, барин вне себя мечется по кабинету, сам, как свекла, багровый. А это у Гардениных уж первый признак: делается красен, значит в великом гневе. Горячие господа! Смотрю: и Емельян Петров стоит, смотрит на барина, лик вражеский, злобный, меня будто и не замечает. Не успел я выронить слова, хотел спросить, зачем призвали, барин так и накинулся на меня: «Ты, кричит, из портфеля сторублевою ассигнацию взял? Признавайся!» — «Никак нет, говорю, сударь». — «Как же, кричит, нет, когда Емельян проходил мимо дверей и сам видел?» — «Никак нет», — говорю. Кинулся на меня барин, ударил по щеке... разрезал перстнем около уха. Увидел кровь, разъярился еще того больше, ударил в другую щеку. «Признавайся!» — кричит. Нет мочи какая взяла меня тоска. «Емельян Петрович, говорю, побойся бога. Когда же я брал? Я пришел в мастерскую и фартука не успел снять... Прикажете обыск сделать». А Емельян поглядел на меня эдак в упор, — вижу, не его взгляд, чужой, сатанинский, — усмехнулся и говорит барину: «Как теперь, Константин Ильич, обыск делать? Он, поди, успел схоронить. Достаточно того, что я своими глазами видел, как он в портфель лазил». Барин только взвизгнул, метнул на меня глазами, видит, весь я в крови перед ним стою, не захотел марать рук, закричал: «Ведите его на конюшню!» Ну, повели меня, душенька, на конюшню, высекли... Слег я в постель опосля этого: безмерно захворал. И что ж ты, дружок, думаешь? Лежу, бывало, трудно мне, весь в жару, поворотиться невозможно от чрезвычайной боли... а с души тем временем точно скорлупа какая, точно чешуя сваливается. О ком ни подумаю, всехто мне жалко, а пуще всего Емельяна Петрова жалею: стало быть, думаю, болит его душа, коли он на такой грех великий пошел. И все, бывало, плачу, исхожу прискорбными слезами... Люди полагают, о том я плачу, что в солдаты меня везти: барин повелел забрать, а я и думать забыл о солдатчине. Однако стал обмогаться, опять Людмилушка припомнилась: пошло лезть в голову, как бы мне с ней словом перемолвиться, повидать ее, на девичью красоту полюбоваться. Ну, таким бытом пролежал я, душенька, недель семь; на седьмой неделе мне бог радость послал: упросила за меня барыня, вышло распоряжение в солдаты меня не отдавать, а только чтобы на господские глаза не показывался. Вот однажды сижу, я, дружок, под окошечком — приятный такой вешний день! — гляжу, люблюсь, радуюсь эдак... вдруг вижу, бегут люди с баграми, с веревками, кричат: «Емельян Петрович утопился!» Так мне и пронзило в сердце! Встал я, вскочил, хотел бежать, зашатался на ногах, грохнулся об пол, долго лежал без памяти. Пришел в себя, испил водицы, доплелся к окошку, — вижу, тихий, благодатный вечер стоит. И так-то сладко соловушка заливается в барском саду. И вспомнил я, как мы дружили с Емельяном, о чем беседовали, из-за чего разожглись друг на друга... Сижу, схватился за виски, хлынули слезы, рыдаю в голос. Вдруг слышу — человек говорит, поднял глаза — Капитон Аверьяныч; он и тогда уж был конюшим. «О чем плачешь,

голова?» — спрашивает. «Как же мне, говорю, не плакать? Емельян Петрович утопился». Капитон Аверьяныч и глаза вытаращил: «Когда?» — «Да вот с час тому времени; бежали люди с баграми, с веревками, кричат: утопился!» Посмотрел он на меня, покачал головою. «Поди, говорит, проспись: ничего такого не было; я, говорит, только что от барина, Емельян и докладывал обо мне». Задрожал я, трясусь от радости, хочется мне одному побыть. Отер слезы. «Ну, что ж, говорю, Капитон Аверьяныч, значит, это мне от болезни от моей померещилось. Извините, что беспокоил». Поглядел он эдак на меня, ушел. Дождался я, душечка,— сумерки пали, и много обдумал, сидючи у окошка, милую тварь божию слушаючи. Пали сумерки, попытался я с места сойти — нету твердости в ногах, вряд ли дойду. А за мной старушка одна ухаживала, Ерофеевна, вот тетка доводилась конюху Полуекту. Позвал я старушку, молю ее: «Сходи ты, болезная, к Емельяну Петровичу, скажи: Христом-богом, мол, просит Иван прийти». И что ж ты думаешь? Пришел ведь, душенька! Слова не сказал — пришел. И, видно, недаром мне послано было видение: пожелтел человек, в глазах — безумие, уста кривятся. Увидел я его, разорвалась во мне душа, кинулся я к нему в ноги, как малый ребенок захлипал. «Прости, говорю, друг! Я тебя в дьяволовы руки предал!» — и растворилось его сердце... Ну, что говорить, пропели петухи, уснул соловушко, а мы сидим обнявшись, плачем несказанными слезами.

Иван Федотыч всхлипнул и высморкался с пронзительным звуком.

— Я к чему веду? — продолжал он, оправдываясь.— В орловской деревне мебелировку тогда новую делали, я и отпросился, чтоб меня послали. Воротился по весне в Анненское, вижу — женат Емельян Петрович. Ладно, хорошо живут. Ну, только господь, видно, не захотел счастья ему послать. Пожил он с Людмилой Митревной два годочка, родила она девчурочку, захворала с родов, померла. Впал Емельян в отчаянность, зачал пить, зачал должность свою забывать. Поглядел, поглядел на него барин, жалко ему испытанного слугу, а с другой стороны, и без лакея никак невозможно,— выдал ему вольную, подарил десятину земли, отпустил на все четыре стороны. Взял себе другого лакея. И вот тут-то, душенька, наступила для меня и радостная и прискорбная жизнь. Прискорбие — на Емельяна глядучи, радость — на девочку, вот на супругу-то мою на теперешнюю. Емельян совсем спился, начал по кабакам, по трактирам ходить, весь оборванный, в грязи. Бывало, скроется с глаз — по неделям его не видим; придет — жалость на него глядеть: несмелый, убитый, людей стыдится... все норовит как-нибудь украдкой Танюшу приласкать: либо волосики ей погладит, либо ручку тихонько чмокнет,— в губки-то не осмеливался. Ну, выдержишь его, сошьешь одежду, разговоришь... глядь — скроется, опять закатился на целый месяц. А мы тем временем все с Танюшей свыкаемся, да свыкаемся. Ну, вот... что теперь?.. Да вот пять лет будет на красную горку: и насмешили мы дворню с Татьяной Емельяновной, сочетались браком... Емельян был еще жив; так спустя какой-нибудь месяц и помер у нас на руках. А надо тебе сказать, душенька, за полгода окончательно бросил пить и все прихварывал. Трогательный сделался, кроткий, умилительно поглядеть. От венца так-то приехали мы с Татьяной — ну, тут гости, народ,— а он ухватил эдак меня за руку, а другой — Татьянину руку ухватил: «Ну, говорит, нелицемерный друг, смотри, квиты мы с тобой али нет?» — а у самого слезы, кап, кап, кап... Что ж ты думаешь, душенька, и меня слеза проняла! Никто, кроме нас двоих, не уразумел Емельяновых слов: наши с ним тайные дела мало кто и знал в дворе, разве старики которые.

Иван Федотыч помолчал и вдруг застенчиво и весело воскликнул:

— Вот, душенька, Николай Мартиныч, каким бытом женился я на Татьяне!



О Николае.— Говение.— Разъяснение молитвенных слов и правда ли, что кобыла Отрадная «забалтывается».— Стихотворство.— Потомственный почетный гражданин и кавалер.— О старых и новых сюжетах; о том, что все — из обезьяны, и о валухах.— Как встретились в Гарденине XVIII век с XIX.— Страшный грех.— Мечты, страхи, ведьма и неудавшийся подвиг мученичества.

Николаю, как и другим, случалось очень часто слышать от Агея Данилыча «продерзостные слова». Но так как все относилось к этим словам несерьезно, то и он привык мало обращать на них внимания. Редко-редко иное слово западало в душу и вызывало там что-то вроде вопросов и сомнений. Но и вопросы и сомнения как-то незаметно и неслышно затихали, производя лишь мимолетную рябь на гладкой поверхности детских верований и понятий. Да не могло и быть иначе, потому что всякий членораздельный звук, исходящий из уст Агея Данилыча, рассматривался в Гарденине как несомненное чудачество и шутовство, и Николаю тотчас же становилось стыдно, когда он примечал, что такое-то его «сомнение» пристекло из слов столь смешного и неосновательного человека.

Вообще то, что Николай принял на веру от своей тетки, и то, что он решительно без всяких размышлений перенял от тех людей, с которыми жил, подвергалось очень незаметному и незначительному брожению. В его душе было как будто сложено известное количество взглядов, понятий, верований и лежало там неприбранное и непересмотренное, но в покое. Настоятельной нужды трогать это еще не встречалось, — ни в смысле критики, ни в смысле того, чтобы жить *этим*. Жилось ему, в сущности, вовсе не этим, а тем же самым, чем живет молодой, сильный и красивый дубок или молодое, сильное и красивое животное. Он бессознательно впитывал в себя и претворял все, что казалось ему светлым, радостным, приятным, и веселился тем ощущением жизни, которое сопровождало эти бессознательные впечатления. Он не задавался вопросами: для чего это, зачем, что из этого сходственно с понятием о добре и что — с понятием о зле? Иногда то или иное огорчало его, причиняло ему чувство, похожее на чувство страдания, но это происходило отнюдь не из размышления, а просто потому, что было неприятно, невесело. А отчего — он не знал, да и не любопытствовал узнавать. Сила непосредственной жизни приливалась еще таким непрерывным потоком и так много было работы с больше и больше наливающимися мускулами, с напряжением мышц, с яркою и пленительною игрой воображения, с чисто животною потребностью двигаться, быстро переходить из одного положения в другое, что решительно некогда было думать и размышлять. В потемках его души, в той области, где надлежало бы возникнуть не чужим, а своим собственным, самостоятельным мыслям, только совсем недавно начинали вспыхивать — не мысли, а клочки, отрывки мыслей, вроде тех, которые мелькали у него ночью после поездки с отцом в степь.

Кроме Агея Данилыча, на Николая мог бы, казалось, повлиять другой философ гарденинской дворни — Иван Федотыч. Но дело в том, что Николай бывал у Ивана Федотыча вовсе не ради его огромной для дворового человека начитанности в «божественных» книгах и склонности к философическим соображениям, а ради того, что Иван Федотыч был превосходный рассказчик, знал множество любопытных историй. К тому же он любил рассказывать и любил, чтобы его внимательно слушали и подзадоривали вопросами и напоминаниями. А лучшего слушателя, как Николай, невозможно было сыскать. Зимой, и особенно в непогоду, он готов был ночи напролет слушать мерную, неторопли-

вую, выразительную речь столяра. В теплой, уютной избе пахло свежими стружками, лаком, клеем, визжала пила, строгал рубанок, слышался однообразный гул прятки, за которой сидела красавица столярова жена, за окнами сердито шумела вьюга, потрясая и царапая плотно притворенные ставни... И все эти звуки, запах лака и стружек, вид погруженной в вечное молчание красавицы, важное и неизменно ласковое лицо столяра как-то странно переплетались с содержанием рассказов, придавали этим рассказам какую-то особенную, фантастическую прелесть.

Какие же истории знал Иван Федотыч? Да и не пересчитаешь. От него услышал в первый раз Николай «Историю двух калош», «Капитанскую дочку», про казака Киршу и Юрия Милославского, про Дубровского, о девице Антигоне, дочери Эдипа-царя, о Гамлете, принце датском, и т. д. Нужно добавить, что Иван Федотыч располагался с этими сюжетами весьма свободно: в одной и той же истории у него сегодня оказывались такие события, которых не было вчера, прибавлялись и исчезали действующие лица, изменялось содержание. Кроме того, Иван Федотыч знал были, легенды, жития святых, говорил краткие повести, иногда выдумывая их из собственной головы... Все у него текло одинаково гладко, вдумчиво и красиво. Все заключало в себе какую-нибудь «превозвышенную» мысль. Но для Николая мысли эти почти оказывались бездейственными, и только образы, лица, фигуры волновали его и в связи со всем, что он находил в столяровой избе, доставляли ему истинное наслаждение.

На шестой неделе поста отсеяли овсы, а на страстной Николай удостоен был приглашения от Капитона Аверьяныча вместе говеть. Едва светало, говельщикам подавали в шарабане кобылу Отрадную, Николай брал вожжи в руки, и в какие-нибудь полчаса они достигали приходской церкви, где к тому времени только что начиналась заутреня. Необыкновенно бодрое и живое состояние духа внушалось Николаю этими ранними поездками. Славный утренний холодок, заря на бледном небе, степь, выступающая мало-помалу из серой предрассветной мглы, важно-унылый великопостный звон — все это как нельзя лучше подготовляло к тому, что совершалось в церкви. В церкви бывал еще полумрак во время заутрени. Горело несколько огненных точек перед местными иконами, видно было, как на окнах алтаря розовым светом разгорался восток, видно было, как все более и более светлело небо и одна за другою погасали звезды... Пахло воском, ладаном, полшубками... И так трогательно раздавались в звонком просторе церкви слова отца Григория: «Господи, владыко живота моего, духа праздности и уныния не даждь ми...» Капитон Аверьяныч грузно опускался на колени, внятно и благоговейно повторял: «Господи, владыко живота моего...» Вся церковь наполнялась шорохом и молитвенным шепотом. И Николай в свою очередь повергался ниц, стучался лбом о холодные плиты, просил владыку о духе смиренномудрия, целомудрия, терпения и любви. По правде сказать, Николай хорошенько не понимал, что, например, означает словом «смиренномудрие»; также и «дух любоначала» был для него неразумителен. Но это все равно. Приятно было молиться и просить вместе со всеми, и приятно было чувствовать внутри себя какой-то сладкий прилив умиления и тихой радости.

Когда, отстоявши обедню в «великую среду», говельщики возвращались в Гарденино, в полях уже все ликовало. Блистали чистые небеса, заливались жаворонки, тянули к битюцким камышам дикие гуси с протяжным криком... Вместо проникающей утренней прохлады сделалось тепло и сухо. Такая погода подмывала Николая: ему хотелось так пустить лошадь, чтобы захватывало дух. Он искоса посмотрел на Капитона Аверьяныча, слегка и незаметно натянул вожжи и с наслаждением почувствовал, что Отрадная рвется вперед, все прибавляя рыси. Но Капитон Аверьяныч внезапно вышел из своей сосредоточенной задумчивости и остановил Николая:

— Куда гонишь? Не на пожар. Эка зуд-то у тебя!

Николай сконфузился и сдержал лошадь. Опять поехали легонькою рысцой. Капитон Аверьяныч поднял к небу свои огромные очки, глубоко втянул в себя степенной воздух, сказал:

— Какая благодать, а ты гонишь, точно угорелый! — и замурлыкал в бороду.

Николаю стало скучно. После долгого молчания он попытался завязать разговор с своим важным спутником, вежливо кашлянул и спросил:

— Капитон Аверьяныч, что значит «смиренномудрие»?

— Гм... Старших слушайся, вот что значит. Ты вот млад — будь в смирении, потому в этом и состоит мудрость вьюноши.

Разговор оборвался. Капитон Аверьяныч опять что-то загудел про себя.

— Капитон Аверьяныч, а «любоначалие»? — с особенно изысканною почтительностью спросил Николай спустя пять минут.

— Чего — любоначалие?

— Вот отец Григорий читает: духа праздности, любоначалия не даждь ми.

Но ответа не получилось. Капитон Аверьяныч по-прежнему принялся гудеть, не обращая внимания на Николая.

— Хорошо бежит Отрадная, однако же сбой делает не вполне, — как бы про себя заметил Николай, сгорая желанием погнать лошадь.

— Кто это тебе сказал? — спросил Капитон Аверьяныч, насмешливо взглянув на Николая.

— Да вы посмотрите, Капитон Аверьяныч! Право же, на сбоях забалтывается.

— Ну-ка пусти, пусти!

Николай вытянул руки, шевельнул вожжами... Отрадная крупною и машистую рысью бросилась вперед, колеса шарабана слились от быстрой езды в какие-то круглые пятна... Вдруг — маленькая рытвинка на дороге, шарабан с мягким треском подскочил, — Отрадная из рыси перешла вскачь, запрыгала, закусила удила...

— У, дурья голова! — крикнул Капитон Аверьяныч и вырвал вожжу у Николая. — Вот!.. Вот как правят!.. Вот как сбой делают!.. — говорил он, передергивая Отрадную. Почувствовав опытную руку, лошадь стремительно влегла правым плечом в хомут и вступила в рысь. Капитон Аверьяныч заставлял ее опять и опять делать сбой, то есть делать несколько сильных порывистых скачков и прямо с последнего вступать движением левой задней ноги в красивую и чрезвычайно быструю рысь. — Вот как вожжи-то держат, дурья голова! — покрикивал Капитон Аверьяныч с видом затаенного торжества. Таким образом пролетели версты три и только в виду Гарденина разгоряченную Отрадную заставили идти шагом.

— Отлично вы правите, Капитон Аверьяныч, — льстиво воскликнул Николай, — вот бы вам самим на Кролике.

— Кабы с костей лет двадцать, я бы им показал езду, — сказал Капитон Аверьяныч, вытирая клетчатым платком вспотевший лоб.

— А Варфоломеич ведь плох, Капитон Аверьяныч! Я намедни — выехал он на дистанцию, а я посмотрел: куды плох. Кролик на повороте сделал сбой, а он: тпру, тпру, сам же ухватился за щиток и за щиток держится. Ну, думаю, наездник! Недаром вы воейковского Ефима хотите нанять: говорят, ужасно ловок на сбоях.

— За то Варфоломеева и гонят, что плох. Ты вот спрашивал любоначалие. Онисим-то из эдаких. Востер покомандовать. Воды на самовар принесть, это уж он беспременно конюха заставит. Или смотрю намедни: Федотка сапоги ему ваксой наводит. Вот и выходит — любоначалиник. Сосет трубчонку свою, только и делов... А ты сам, поди, куришь украдкой от отца, а? — неожиданно закончил Капитон Аверьяныч.

— Как можно-с! — краснея, воскликнул Николай.

— Ну, рассказывай! Все вы одной колодкой сбиты. Ефрем Капитоныч тоже пишет — не курю. Но я не верю, хотя ж он и студент императорской академии.

Подъехали к усадьбе. Сутуловатая фигура Агея Данилыча показалась около конторы и двинулась им навстречу. «Отдай Отрадную да приходи чай пить: отец-то небось без тебя управился», — сказал Капитон Аверьяныч, окончательно приходя в благодушное настроение, и затем крикнул конторщику: «Эй, афеист, волокись чай пить! Ишь, все безбожничаешь, а смотри — благодать какая стоит». Агей Данилыч ответил обычным кощунством, говельщики весело рассмеялись, и все трое мирно направились к избе конюшего.

Однако говение, подобно другим более или менее значительным ощущениям, кроме того, что развлекало Николая, отзывалось и на его способности воображать; временами оно двигало те колеса в его душе, которые управляли мечтами о загробной жизни, о подвижничестве, о покаянии. Правда, колеса эти не слишком работали, часто останавливались, давали ход другим, совсем не о загробной жизни, тем не менее он, напившись чаю у конюшего и возвратившись домой (отца не было), вдруг почувствовал это великопостное настроение, отчасти и потому, что решительно не знал, чем заняться... Лениво волоча ноги, побродил по комнатам, взял истрепанный томик Кольцова, раскрыл «Думы», почитал... Настроение усугубилось, невольно стало приноравливаться к стихам. Тогда он положил перед собою листок бумаги, взъерошил волосы и с видом вдохновения, с глазами, увлажненными слезою, написал стихотворение. Оно начиналось так:

Ах ты, тучка, туча черная,
Да когда же ты пройдешь?
Ах, печаль, печаль, ты сердцу сродная,
Да когда же ты пройдешь?..—

и после многих такого же рода обращений оканчивалось: «В блуждающих взорах я лика Спаса искал, и одежду мою брэнную я слезами орошал. Слезы, лейтеся потоком, и из уст, молитва, несись, и тем молитвам ты, боже, внимай и слезам моим даром течь не давай!»

Когда черновая была готова, Николай с наслаждением прочитал стихи, — сначала шепотом, а потом громче и громче, упиваясь звуком собственного голоса. Затем сходил в контору, пробрался на цыпочках мимо спины углубленного в свое дело Агея Данилыча к шкафу, похитил оттуда лист так называемой «министерской» бумаги — гладкой, как атлас, — и, благополучно возвратясь, рачительно переписал стихи. Оставалось подписать, что сочинил Николай Рахманный, такого-то года, месяца и числа, в сельце Анненском, Гарденино тож. Но только что Николай приступил к этому, только что подумал, как лучше расчеркнуться — с завитушками или крючком, мимо окон промчалась тройка в блестящей сбруе, загремели бубенчики. Сгорая от любопытства, Николай бросил стихи и стремглав вылетел на крыльцо. Взмыленные лошади стояли у подъезда.

В Гарденино так редко заезжали посторонние люди, гарденинская жизнь так была однообразна и тиха, что обыкновенно каждое появление нового человека встречалось Николаем как самый радостный праздник. Новый человек приносил с собою как бы частицу иного, не гарденинского мира, и если Николаю казалось иногда, что жизнь того не известного ему мира походит на шумное море, то с новым человеком точно вбегала волна в мертвое гарденинское затишье.

На этот раз «новый человек» внушил Николаю вместе с жадным любопытством и некий трепет. Тройкою правил «молодец», похожий на купеческого приказчика, а в тарантасе сидел плотный человек в пальто и в плюшевом картузе с бобровым околышком. Как по этому картузу, так и по камышовой

трости с костяным набалдашником, по прекрасной, выхоленной и расчесанной волосок к волоску светло-русой бороде и особенно по золотым очкам Николай сразу сметил, что это особа немаловажная. Он почтительно подошел к тарантасу, низко поклонился... Вдруг, к его полнейшему и приятнейшему изумлению, немаловажная особа с отменной вежливостью ответила на поклон и изысканно-благодарным голосом спросила:

— Позвольте узнать, здесь жительствоует господин управляющий?

— Точно так-с.

— Имя-отчество — Мартин Лукьяныч, если не ошибаюсь?

— Точно так-с, Мартин Лукьяныч.

— А вы, позвольте узнать?

— Я ихний сын, Николай-с.

— Николай Мартиныч, значит. Очень приятно познакомиться. Рекомендуюсь: Косьма Васильев Рукодеев.

Особа ловко выпрыгнула из тарантаса и белою пухлою рукой с бриллиантом на указательном пальце крепко пожала трепещущую руку смущенного и повергнутого в решительное блаженство Николая. Он слышал, что Рукодеев — богатый купец, живет в своем имении верст за тридцать от Гарденина, но никогда его не видал и теперь сразу был очарован. Еще бы! До сих пор Николая величали по отчеству либо в шутку, как иногда Капитон Аверьяныч, либо в весьма редких исключениях; девки, например, иначе его и не звали как «Микола» и «Миколка»; руку ему тоже не подавали важные-то люди: только Капитон Аверьяныч удостоивал протягивать палец. А тут такой богач, такой фронт, с столь великолепною осанкой и в золотых очках, не только пожимает ему руку и называет полным именем, но и говорит совершенно как с равным. Это коренным образом противоречило всем гарденинским обычаям и понятиям.

— А дома ваш папá? — спросил Рукодеев.

— Они пошли на кошары, но я сейчас пошлю-с.

Николай пригласил Рукодеева в горницы, побежал так, что под ним горела земля, на конный двор, приказал убрать рукодеевских лошадей и накормить чучера, послал за отцом, распорядился, чтобы поставили самовар. А сделавши что надо по хозяйству, вошел в комнату и после некоторого колебания сел в почтительном отдалении от Рукодеева и вдруг так и сгорел: Косьма Васильич, благодушно посмеиваясь, читал его стихи. Не помня себя, Николай вскочил и коснеющим языком пролепетал:

— Это я по поводу говенья-с... Мы говеем с господином конюшим...

— Вот как! Ничего, ничего. Сюжетец отсталый... В нынешнем веке подобные сюжеты опровергнуты. И рифмовка слабовата. Но раз вы стремитесь сочинять, это делает вам честь, молодой человек. Извините, если спрошу: сколько вам от рождения?

— Девятнадцать-с.

— Извольте говеть по собственному усердию?

— То есть как-с? Я всякий год говею.

Косьма Васильич произнес «гм» и с тонкой усмешкой поглядел на Николая. И Николаю вдруг стало неловко от этой усмешки, сделалось стыдно, что он говеет... Он с ненавистью взглянул на свои красиво и на великолепной бумаге переписанные стихи, украдкой потянул к себе лист, скомкал его и сунул в карман. Тем временем Косьма Васильич не спеша посмотрел на свои массивные золотые часы, не спеша вынул из одного кармана массивный серебряный портсигар, из другого — массивный янтарный мундштук и приготовился закурить. Николай опрометью бросился зажигать спичку. Рукодеев протянул ему раскрытый портсигар:

— Не угодно ли?

— Я не курю-с,— ответил Николай, еще более влюбляясь в гостя.

— Что так? Нынешнее развитое поколение придерживается этой привыч-

ки. Существуют отсталые взгляды и в отношении курения, но нужно протестовать. Где изволили обучаться?

— Дома-с. Домашнее образование.

— Почитываете что-нибудь? Подумываете, эдак, о вопросах?

— О, я очень люблю читать. Но негде доставать книги-с. Вот у волостного писаря «Евелину де Вальероль» выпросил, но между прочим без конца. Ужасно интересно, а все без конца как-то неловко-с.

— Гм...— Косьма Васильич пыхнул папироской.— А журналов не читаете?

— «Журнал коннозаводства» получаем... Только редко читаю. Еще «Сын отечества»... Фельетонная часть бывает иной раз ужасно интересная.

— Ну, а эдакие серьезные журналы? Ежемесячные? «Дело», например?

— Нет-с, не случилось,— с живейшим сожалением ответил Николай. До сих пор он весьма смутно понимал, что такое журналы, и никогда не видал их.

— Напрасно. В ваши годы непременно нужно развиваться. Вот есть стремление сочинять... Однако же сюжет не соответствует. Рифмовка не беда, но сюжет-то ваш относится к эстетике. В нынешнем веке сюжеты предпочитают гражданские. Надо развиваться, молодой человек.

Николай молчал, жадно вслушиваясь в каждое слово Косьмы Васильича.

— Если желаете, я могу вас снабдить: у меня абонемент в библиотеке,— продолжал тот.— Приезжайте как-нибудь, буду рад. Я молодое поколение люблю. Слышали об Илье Финогеныче? Купец, но просвещенный субъект вполне, отличную библиотеку завел. Будете в городе, непременно познакомьтесь. Есть у меня и собственные книги: два шкафа-с. Разумеется, подбор не особенный,— есть между прочим и Вальероль, однако могу снабдить и Дарвином.

— Роман-с?

— О нет, напротив. Рассказывается, в каком, например, смысле человек из обезьяны проистек. Такое и заглавие: «О происхождении человека».

— Но как же из обезьяны, Косьма Васильич, ежели человек сотворен в шестой день из персти?

Косьма Васильич засмеялся и ответил словами, весьма похожими на те, которыми Агей Данилыч потешал Гарденино. Однако же в устах Косьмы Васильича эти слова имели совсем другое значение для Николая, тем более что Рукодеев закончил опять в высшей степени любезным обращением:

— Право, не хотите ли папироску, Николай Мартиныч?

В это время вошел Мартин Лукьяныч и еще в дверях низко поклонился Рукодееву. Рукодеев встал, отрекомендовался. Николай вскочил со стула.

— Вот мы тут с молодым человеком о литературе рассуждаем,— сказал Косьма Васильич,— прошу приехать ко мне. В нынешний век вся надежда на молодое поколение. Надо их развивать, развивать.

— Очень благодарю-с. Он у меня любит почитать. Но негде взять-с... Из барской библиотеки, сами изволите знать, неловко. Я вот и сам охотник до книг, а негде. Ничего не поделаешь.

— Сделайте милость, ко мне. У меня много-таки, могу похвастаться.

— Очень благодарю-с. Если есть исторические романы, премного обяжете. Ужасно, признаться, люблю историческое чтение. С молодости Зотовым, бывало, зачитывался... «Таинственный монах», например... Теперь уж как-то и не пишут таких книг. До чего забывался — совестно вспомнить-с: живши у хозяина в мальчиках, свечи крал, чтобы читать. Ей-богу-с!

— Я вот советовал Николаю Мартинычу. Книг много.

— Очень благодарю... Благодарю, Николай. Он у меня любознательный паренек. Вы напрасно его по отчеству, Косьма Васильич,— молод еще. Покорно прошу чайку... Вот, слышишь, Николай, как о тебе заботятся? Это надо чувствовать. Бери стакан. Вот на праздниках возьми лошадей и можешь съездить...

Дадут — читай. Лучше, чем баклуши-то бить. Можете себе вообразить, до чего набаловался; из конюхов приятелей себе заводит-с!.. Я, брат, смотрю, смотрю, да и взыщу.

— А не напрасно, Мартин Лукьяныч? — снисходительно улыбаясь, возразил Рукодеев. — Конечно, не следует опускать себя, но в нынешнем веке во всяком разе гуманность требуется. Все мы, так сказать, братья, и потому мужик входит в то же число. Было время, его и продавали, а теперь все — граждане. Вы как полагаете, Николай Мартиныч?

— Я так полагаю, что ваши слова совершенно справедливы, — мужественно ответил Николай.

— Ну, уж ты бы не совался, — сказал отец.

— Как же, папенька, государь император освободил — и вдруг вы против!

— Поди, поди, поговори еще.

— А почему же, молодой человек, вашему папá и не иметь собственного мнения касательно эмансипации? — посмеиваясь, спросил Рукодеев.

— Как же можно-с!

— Ну, а почему?

— Потому все мы — подданные.

— Но во всяком разе не рабы. Как вы руководствуетесь в этом сюжете?

— Сроду родясь рабами не были, — с гордостью сказал Мартин Лукьяныч. — Еще прадед мой — царство ему небесное! — был мценским мещанином. Не высокое звание, но все ж таки не хам.

— А ежели не рабы, — продолжал Рукодеев, не спуская смеющихся глаз с Николая, — то уповаем больше на свой интеллект, а отнюдь не как прикажут.

— Так-с, — ответил Николай в недоумении.

— И ежели ваш папá не может чего одобрить, ужели ему одобрять потому, что он в подданстве?

Николай молчал.

— Вот то-то, балаболка, — заметил отец, — говорю: не суйся. С богом прекословить не могу — это правильно, но земной бог над душою не властен.

Но Рукодеев и на это утверждение не упустил возразить.

— Хе-хе-хе, ужли же так-таки и невозможно прекословить, Мартин Лукьяныч? — сказал он. — Я полагаю, что по мере накопления прогрессивных наук и это возможно-с: бог, так сказать, найдет лихорадку, а я ее хиной, разбойницу; найдет грозу, а я ее громоотводом да в землю; засуху, а у меня ирригационная система под рукою; океан воды, так сказать, всемирный потоп, — но мне на атлантическом пароходе и океан перемахнуть составляет один пустяк.

— Так-то оно так, — сказал Мартин Лукьяныч, из почтительности не решаясь оспаривать Рукодеева, — но во всяком разе смерть найдет — не поспорите-с.

— Ну, это закон естества, Мартин Лукьяныч. Да и то при успехе наук ничего нельзя сказать. Нет, нет, молодой человек, читайте, читайте, — сказал Рукодеев, — развивайтесь!.. А я к вам, собственно, по делу, Мартин Лукьяныч: у вас, слышно, есть продажные валухá, — не продадите ли мне? Хочу на нынешнее лето тысчонки две набрать, для нагула.

После чаю пошли смотреть валухов. Тем временем Николай, бросив допивать свой стакан, отрезал большой ломоть белого хлеба, спрятал его в карман и бегом направился в конюшню. Оттуда все уже ушли обедать, и оставались одни дежурные. В «рысистом отделении» дежурным опять был Федотка. Растянувшись на ларе, он крепко спал, подложив кулак под голову.

— Федот! Федот! Вставай! — громко закричал Николай.

Федотка вскочил испуганный.

— О, чтоб тебя! — воскликнул он, протирая глаза. — Я думал, Капитон Аверьяныч. Ты чего?

— Да так,— и Николай с веселым хохотом принялся щекотать Федотку.

Тот отбивался; затем они схватились и стали бороться. Николай одолел и смеялся как сумасшедший.

— Ишь тебя с белого хлеба-то подмывает! — сказал Федотка, вставая с пола и отряхиваясь.

Николай вспомнил, вынул из кармана ломоть и подал Федотке.

— Ешь! — сказал он кратко.

Они сели рядом на ларь. Николай достал папиросу и стал курить. Федотка ел хлеб.

— Аль гости у отца? — спросил он.

— Рукодеев, Косьма Васильич. Вот, брат, человек-то!

— Расейский?

— Душа! Богач, но между тем очень уж образованный человек. Папиросница у него серебряная — вот эдакая! Часищи золотые — вó! Папаша стал жаловаться: так и так, мол, сын с мужиками дружит,— это, должно быть, про тебя,— а Косьма Васильич: все мы, говорит, братья, что мужик, что барин. Вот какие слова! И такую еще он мне загадку заганул, просто не придумаешь: человек, говорит, из обезьяны произошел.

Федотка неопределенно помычал.

— И это не то что на смех, а всамделе,— с жаром продолжал Николай.— Ученые доказали. Обещал мне книжку такую дать... Вот, Федотик, человек!

— Коренник у них больно хорош,— сказал Федотка, отряхивая подол и подбирая крошки в рот.

— Еще бы! У него, брат, чего мундштук один стоит!

— Нет, пристяжные-то так себе. Левая здорово на ноги посажена. А коренник важный. Что ж, говоришь, мужик: разве я тебя чему плохому учу? Да и какие ж мы мужики, коли матушка из дворовых? Мы вовсе и не мужики.

— Толкуй еще. Стоит черт-те о чем толковать! Ты вот что лучше скажи: Грунька не то пойдет на святую к заутрене, не то нет, а? Кабы, брат, разузнать?

— Погоди, ужо пойду ко двору рубашку сменять, толкнусь к Василисе. Чай, Василиса знает. Да ты, парень, вот еще что: намеднись брехали — Алешка Козликов за Груньку-то свататься хочет. Ты бы не упустил своего дела.

— Ну, это, брат, пускай он погодит: может, я и сам женюсь,— с шиком отплевываясь, заявил Николай и придавил окурок папиросы о каблук сапога. — Я вот посмотрю, посмотрю, да и женюсь. Нонче, брат, послушай-ка людей-то настоящих!

Федотка опять неопределенно помычал.

— Нет, я что думаю,— сказал он, принимая мечтательный вид.— Вот найдется воейковский Ефим, поедем мы, господи благослови, в Хреновое на тот год... Все мне за каждый приз награждение какое будет. Говорят, купец Мальчиков поддужному по красненькой от приза выдает. Тогда первым делом, господи благослови, безрукавку плисовую (он пригнул палец), фуфайку, как у Варфоломеева (пригнул другой палец), плисовые штаны, сапоги на высоких подборах... И-их, поживем, Миколашка!

— А часы-то?

— А что ж, по прошествии времени можно и часы. Это, брат, как задастся.

Оба помолчали, погруженные в сладкую задумчивость.

— Может, и мне генеральша жалованье положит,— неуверенно произнес Николай.

Опять помолчали, каждый думая о своем.

— А что, Николай, говорят, ведь и вправду Науму Нефедову каверинский колдун подсобляет, а?

— Ерунда. Никаких колдунов нету. Это, брат, брехня одна.

— И ведьмов, скажешь, нету?

— Конечно, одни глупости.

— Ну, уж это ты погоди: поддужный Ларька своими глазами ее видел.

— Это оказывает, будто ведьма. Фантазия такая.

— Толкуй! Белая, говорит, как кипень. Вот как за ним гналась!.. Козлиха, говорят, оборачивается — Алешкина мать. Прямо ударится оземь — во что захочешь оборотится. В позапрошлом году ее у Гомозковых чуть-чуть не прихватили: повадилась коров выдаивать. Гараська взял дубину, сел и ну давай ее караулить. Две ночи сидел, на третью глядит — пришла; он ка-а-ак дубиной гвозданет!.. Козлиха-то как шарахнется, только ее и видели. Наутро посмотрели, а у пестрой коровы ляшка содрана.

— Ну, вот, вместо ведьмы он и саданул по корове.

— Это верно, да отчего? Ведьму-то он видел... Так, говорит, махонькая из себя, востренькая. Опосля того дело-то разобрали: ему что надо было? Ему первым долгом надо было сорвать с себя гашник, да гашником-то и обратять окаянную, да тогда уж и молотить дубинкой. Она никак не может себя оказать супротив гашника. Нечисть, брат... к ней нужно подступать умеючи.

Николай ничего не сказал, потому что не знал, что возразить против такой очевидности. Помолчали.

— Ну что, говеешь? — спросил Федотка.

Николай притворно зевнул.

— Ну ее! — сказал он, потягиваясь. — Вон послушай, что образованные люди-то говорят. Пошли валухов посмотреть, а папаша говорит: «Покушаете с нами, Косьма Васильич?» А Косьма Васильич: «С удовольствием, говорит, откушаю, но только я, говорит, нынешнего века и потому прикажите яишницу». Вон что!

Федотка вдруг захохотал.

— Ты чего?

— Да мне Агей Данилыч вспомнился. Я намеднись поужинал в застойной, крещусь на образ, а он сидит, да такое сказал... Все, кто был, — животики надорвали!

— Ну, вот сравнивал! — обиженно сказал Николай. — Всякий брешет черт знает что, а ты равняешь!

— Да я не к тому... больно уж смешно. Так все и разорвались со смеху, — и вдруг с оживлением добавил: — Ты говоришь — нечисти нету: на первой неделе молодой Визапур заваливаться стал. Повалится вверх тормашками, захрапит середь ночи — страсть! Я подумал, подумал, пошел в денник, стал его честью просить...

— Кого?

— Известно кого — хозяина¹. Просил, просил, глядь — на другую ночь опять повалил он Визапура. Ну, думаю, погоди ж ты! Пошел и так-таки его откозырял, так откозырял... хуже не надо. Что же, ведь бросил, — пристыдил я его. Теперь вот Удалому гриву все путает. Надо с ним потолковать как-нибудь.

Николай и на это не нашел что ответить и, побарабанив пальцами, встал.

— Подтичь посмотреть, — сказал он, — не воротились ли с овчарни.

Дома он застал отца и гостя за столом. Перед ними стоял наполовину уже опорожненный графин водки.

Мартин Лукьяныч, выпивая, закусывал редькой с конопляным маслом, Ручкодев — яичницей. Лица у обоих были красные и речь не совсем твердая. Мартин Лукьяныч беспреестанно гладил ладонью щеки, что у него было признаком начинающегося опьянения. Косьма Васильич трепал и тербил свою вели-

¹ Хозяином называют домового. (Примеч. А. И. Эргеля.)

колепную бороду, неистово запуская в нее белые, выхоленные пальцы. Они торговались. Но Рукодеев и торговался не похоже на других купцов: он не божился, не упрашивал сбавить и пожалеть, не хлопал с ожесточением по рукам, а ссылался на положение рынка в Лондоне, на чрезмерное развитие овцеводства в Австралии, на то, что для сукон стали предпочитать шерсть камвольную, отчего шерсть чистых негретти упала в цене. Выходило и вежливо, и чрезвычайно убедительно, и любопытно. В промежутках же разговора об овцах, как бы давая понять, что недостойно развитого человека всецело уходить в торговые дела, он беспрестанно заговаривал о других предметах, «так сказать, не столь материальных, как валухи»: о Бисмарке, о «Прекрасной Елене», которую видел недавно в Москве, о народном образовании, о франко-прусской войне. Все было ново для Николая и ужасно интересовало его.

— Ну, что ваши хозяева молодые, учатся? — спросил Рукодеев, насмешливо улыбаясь и с особым неистовством теребя бороду.

— Как же-с. Один — в кавалерийском, другой — в пажеский готовятся. Способные господа.

— Хе, хе, хе! Способны они денежки прожить. Что такое пажеский? Петлички, выпушки! Матушка умрет, поди загремят наследственные капиталы. Шаркуны! Полотеры! Герои паркетные! Проиграл в карты пять-десять тысяч, а какой-нибудь разнесчастный мужик работай на него, голодай. Или вы, например, Мартин Лукьяныч: он на француженку ухлопает, а вы трудитесь, ночей не спите. Эх, дворяне, дворяне! Когда они за ум схватятся?.. Чтобы, так сказать, за народ, за трудящуюся массу... Ведь сказано: «Волга, Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля...»

— Мы генеральшей довольны,— пробормотал Мартин Лукьяныч.

— Довольны? — иронически взглядывая на него, произнес Косьма Васильич.— Довольны?.. Ну, и слава богу,— и он обратился к Николаю: — Молодой человек, не читали Некрасова?.. Ничего не читали!.. Грустно, молодой человек, грустно. Гражданский поэт. Пришлю вам. Все пришлю... Я буду вас развивать. Я купец, но я понимаю, что значит прогресс и цивилизация. Да что вы не садитесь? Унижать себя не надо. Надо держать себя с достоинством... Родитель, внуши ему, что надо держать себя с достоинством.

— Сядь, Николай.

— А Некрасова прочитайте.— Косьма Васильич опрокинул рюмку в рот, поморщился, закусил, потом налил другую и, держа ее в руке, вдруг приподнялся на стуле.— Родная земля! — воскликнул он с дрожанием в голосе.

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!

Стонет он... как бишь? — стонет он по полям, по дорогам... стонет он по тюрьмам, по острогам, в рудниках на железной цепи... — Рукодеев круто остановился, сел и снова выпил.— Да-с, молодой человек, — и пошли они, солнцем палимы, повторяя: суди его бог! разводя безнадежно руками... (он трагически возвысил голос), и куда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами... Ну-с, так как же, почтеннейший Мартин Лукьяныч, бери по три с четвертью, а? Честью уверяю, что покупка без интереса: Австралия подгадила.

Снова начали торговаться и пить. И решительно запьянели, когда, наконец, сошлись на 3 р. 35 к. за голову. Рукодеев вытащил из кармана брюк целую кипу серий и отсчитал задаток; Мартин Лукьяныч помуслил пальцы, тщательно проверил число бумажек и приказал Николаю «учесть проценты». Когда все было кончено, он колеблющимися шагами направился в другую комнату, чтобы положить деньги в кассу. Рукодеев мутными глазами посмотрел на Николая.

— Смущаетесь, юноша? — сказал он с пьяною улыбкой и вдруг искривил рот и прослезился: — Пьем вот... А по-настоящему что сказано: «От ликующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови уведи меня в стан погибающих за великое дело любви...» Любви, молодой человек!.. А мы — пьем! — и как бы в подтверждение своих слов он налил, выпил и закусил. И, прожевывая закуску, добавил: — Потому и пьем, что свиньи... на шее народной сидим... И нас за это не похвалят. Никак не похвалят, молодой человек!.. Не берите с нас пример. А что касается того, другого, прочего, — понимаете?.. — это все ерунда. Я вам прямо говорю, что ерунда. Всё из обезьяны!.. Это доказано... Фактически доказано, молодой человек... Ничтоже бысть, еже бысть, — понимаете?

— Вы мне позвольте господина Некрасова, Косьма Васильич, — робко сказал Николай.

— Могу, могу... Все могу... Я рад. Водку не пьешь? Не хочешь рюмочку... без папаши, а? Ну, и отлично... Не пей. Скверно, брат... голова болит, жена ругается... А Некрасова я тебе дам. Я уважаю молодое поколение.

Мартин Лукьяныч приказал позвать конторщика, чтобы написать расписку в получении задатка. И когда Агей Данилыч вошел и, поклонившись с обычным своим угрюмым достоинством, остановился около притолоки, последовали следующие рекомендации:

— Вот наш фармазон и афеист, Косьма Васильич! Поверите ли, до чего дошел — господа бога отрицает.

Рукодеев осовелыми глазами посмотрел на Агея Данилыча и с трудом приподнялся.

— То есть в каком смысле? — спросил он.

— Я на сочинениях господина Вольтера основываюсь, — скромно ответил Агей Данилыч.

— А!.. Очень... очень приятно. Садитесь, прошу покорно.

— Да он постоит, помилуйте, — сказал Мартин Лукьяныч.

— Я постою-с.

— Очень... очень приасходно.

— Ежели они утверждают, что был потоп, то это одно баснословие-с, — неожиданно заявил Агей Данилыч, — пилигримы занесли на возвышенные места раковины, и отсюда пошла басня.

— Очень приасходно... Но что же вы, так сказать, признаете?

— Я признаю натуру-с.

— В каком отношении?

— В отношении разума-с. Я разум признаю. Остальное — басни-с. И хотя же господин Лейбниц и утверждает, что сотворено все к лучшему, но это суть неправильно. Господин Вольтер в «Кандите» — сиречь «Приключения простодушного» — изрядно доказал, что это нарочитая чепуха-с.

— Но, однако же, есть материя!

— Все суть одно — натура-с, как ее ни назови.

— Выпиваете? — Рукодеев подморгнул Агею Данилычу и щелкнул пальцем по графину.

— Никак нет-с.

— Он у нас чудак, — сказал управитель, как бы извиняясь за Агея Данилыча.

— Уважаю! — внушительно заявил Косьма Васильич. — Ваше имя-отчество позвольте узнать?.. Агей Данилыч?.. Я уважаю таких чудачков. Отсталость большая от нынешнего века, но... верррно и правильно. Руку вашу, Агей Данилыч... Зачем же унижать себя?

— Сядь, Дымкин, — приказал Мартин Лукьяныч.

В это время кухарка Матрена просунула голову в дверь и сказала:

— Николай Мартиныч, за тобой от конюшего пришли.

— Это еще зачем?! — строго спросил Мартин Лукьяныч.

— А я почему знаю?.. Канон, что ль, покаянный читать.

— Какой канон? — спросил Мартин Лукьяныч у Николая.

Николай так и сгорел и опустил глаза, чтоб не смотреть на Рукодеева.

— Это Андрея Критского, — торопливо проговорил он, проглатывая слова, и умоляющим шепотом добавил: — Я, папенька, лучше ужю на сон грядущий его прочитаю.

— Вот молодежь-то какова, Косьма Васильич! К вечерне по-настоящему надо ему ехать, — ну, вот отец Григорий снисходит: управителей сын, то да сё... канон разрешает вместо вечерни. Я в приходе, можно сказать, лицо, а сынок и пользуется этим!.. Ну уж, сиди, сиди, нечего с тобой делать. Матрена! Скажи, что нельзя, мол, занят Николай Мартиныч.

Агей Данилыч хотел, по своему обыкновению, вставить язвительное слово, но вспомнил, в какой находится компании, и только крикнул. Косьма Васильич с усилием посмотрел на Николая, укоризненно покачал головою и пробормотал:

— Напрасно, напрасно, молодой человек!

Несвязная и бестолковая беседа кончилась только к вечеру. Затем Рукодеев так охмелел, что Николаю вместе с Агеем Данилычем пришлось на руках вынести его из комнаты и точно мертвое тело положить в тарантас. «Молодец» сидел теперь уже не на козлах, а на «господском месте»; внутренность тарантаса была набита сеном.

— Готов! — сказал он, презрительно поворачивая хозяина на бок. — Что, смирен был?

— А что?

— Он у нас страшный азарной во хмелю. Иной раз и-и, дым коромыслом подымет! Особливо из-за баб.

«Молодец» уселся поплотнее, только что расправил вожжи, как вдруг Рукодеев очнулся.

— Исейка! — заорал он диким голосом. — Пошел!.. В Кужнóвку!.. К Малашке!.. Раздельвай, стервецкий сын!..

На мгновение перед глазами Николая поднялась вся в сене, растрепанная, с иступленными глазами фигура с бобровым картузом на затылке, с галстуком, съехавшим набок, с косматою грудью, засквозившею через расстегнутую рубаху, и вдруг сразу загремели колеса, забренчала наборная сбруя, неистово залились бубенчики и что есть силы закричал Исейка: «Эй, соколики, подхватывай!» — и не прошло десяти секунд, как Косьма Васильич Рукодеев умчался за красный двор по дороге в село Кужновку.

Агей Данилыч посмотрел вслед, сожалительно чмокнул губами и запустил пальцы в тавлинку.

— Что означает — купец, сударь мой, — сказал он.

— Что ж означает? — грубо возразил Николай. — Во-первых, и не купец, — вы ведь сами писали расписку, — а «потомственный почетный гражданин и кавалер». А потом — со всяким может случиться. Вам-то он, так сказать, ничего не говорил, а со мной как остался один на один, — прослезился... и такие стихи произнес, прямо видно, как он мучается. А то — купец!

— Н-да, — пискнул Агей Данилыч, — я и не оспариваю... понятие у него есть: шибкие слова может провозглашать. Ну, однако далеко, сударь мой, до Вóлтера! Отменно далеко-с.

Мартин Лукьяныч сидел за столом, положивши на руки отяжелевшую голову. Когда вошел Николай, он с усилием приподнялся и посмотрел на него напряженным и строгим взглядом.

— Понимаешь? — пробормотал он, едва поворачивая язык.

— Чего, папаша?

— Понимаешь, какой человек?.. Я, может, сколько годов перед Гардениным без шапки стою... Но вот богач... кавалер... и — уважает! (Мартин Лукья-

ныч рыгнул.) А почему? Потому что образованность. Цени. Он там, анафема, где-нибудь в пажеском в карты проиграет, а мы ночей не спи... работай... да. Трудись на него, на этакого сына... (Еще рыгнул.) Цени, да. Я, брат, много претерпел... И ты терпи. Агей до чего дошел — бога отрицает... А почему? Потому что крепостной. Стоял камердинером, дедушка этих, так их и сяк... кавалеристов, смертным боем его бил. А мы с тобой вольные. И отец, и дед, и пра... пра... (еще рыгнул), да все были вольные. Из Мценска. И ты это понимай. Почему я без шапки стою? Из-за тебя. И ты стой. Вот приехал хороший человек... прямо тебя обласкал. А почему? Потому, что ты сын мой. Понял? Чувствуй это. А увижу, к Василиске пойдешь — изволочу... Понял? Отведи меня на постель.

В комнате стояли сумерки. В этом неясном и печальном свете особенно неприятно было глядеть, как все было разбросано и неприбрано. На полу, где ни попало, валялись окурки, ложка, запачканная в яйцах, куски хлеба; стол был прилит водкой; стояли недопитые рюмки, недоеденная яичница с ветчиной, тоненькие ломтики редьки плавали в конопляном масле; на засаленных тарелках лежали окурки, пепел, обожженные спички. В этом противном беспорядке Николаю почудилось какое-то странное сходство с тем, что происходило в его душе. Что-то точно сдвинулось там с привычного места и нагромоздилось как ни попало. Он с решительным видом подошел к столу, оглянувшись на дверь, выпил полрюмки водки и торопливо, ни о чем не думая, ощущая только приятно-раздражающий вкус ветчины, доел яичницу, после чего вытер губы концом скатерти, вышел на двор и долго сидел на крылечке. Где-то за конюшнями печально ухал филин. Вода на плотине падала с мерным и что-то важное рассказывающим шумом. В похолоднувшем небе одна за другою тихо загорались звезды и становились в пары, в ряды, в фигуры, точно собираясь исполнять свое привычное, давным-давно надоевшее им дело. Николаю было хорошо, но еще более грустно, нежели хорошо. Новое, загадочное и туманное открывалось перед ним, манило его, до боли стесняло его сердце. Куда манило — он и сам не знал этого. Незнакомые дотоле мысли робко и беспорядочно зачинали шевелиться... Ему и хотелось быть «образованным», и уехать далеко-далеко... все узнать, все прочитать. И многое из прежнего стало ему казаться нелепым, таким, на что он смотрел теперь как бы со стороны и удивлялся, что можно было делать так, думать так.

Вдруг он вспомнил, что завтра «чистый четверг», что надо встать пораньше и ехать на исповедь. И как только вспомнил, мгновенно забытые впечатления великопостной службы, полумрак церкви, запах ладана, мерное бряцанье кадила, певуче-дребезжащий голос отца Григория, трогательные и важные слова молитвы Ефрема Сирина припомнились ему. И он испугался. Под ногами точно открылась пропасть. Как сказать отцу Григорию, что он поел скоромного в «великую среду»? Как признаться, что он усомнился, нужно ли говеть и причащаться? Как, как?... И все завертелось и замутилось в его голове. Он не мог долее сидеть на крылечке, мучительное беспокойство им овладело, душа терзалась раскаянием. Быстрыми, торопливыми шагами он пошел за красный двор, по дороге в степь, и начал ходить туда и сюда около молчаливого сада, вдоль степи. И заметил, что, как только наступала усталость от быстрой ходьбы, беспокойство мало-помалу улеглось, на душе становилось яснее, опять возвращались новые, привлекательные мысли, опять манило в какую-то загадочную даль, и как проходила усталость от ходьбы — возникла беспокойная сумятица в голове, разгоралось чувство раскаяния. И он сам, не думая о том, умерял и ускорял шаги, вызывая смену противоположных друг другу настроений, стараясь поскорее устать и помедленнее отдыхать... Вдруг от темноты сада оторвалось что-то белое, исчезло в канаве, вынырнуло и клубком с необыкновенной быстротой покатило в степь, по направлению к Николаю... «А!» — вырвалось у него жалким, звенящим зву-

ком, дыхание перехватило, сердце упало. Не помня себя, он бросился бежать. Не успев подумать хорошенько, он всем существом своим почувствовал, что это — ведьма, Козлиха. Земля убежала под ним; за спиной ясно раздавался спутанный, мелкий топот: то, что догоняло, несомненно было на трех ногах и по временам мчалось как клубок — кóтом.

Николай вскочил в сени, хлопнул дверь, наложил дрожащую и прыгающую рукой крючок и перевел дух. В груди саднило от непомерной быстроты бега, нижняя челюсть тряслась и подскакивала, спина, казалось, была опущена в ледяную воду. Ощупью дошел он до своей кровати, сдернул сапоги, платье, лег, закутался в одеяло и подумал, что теперь заснет... Но не мог заснуть. В темной комнате так и мерещилось что-то постороннее. Из-за большого шкафа слышны были шорох и шепот, где-то около кровати треснула половица. Маятник у часов двигался с угрожающим стуком. Из спальни Мартина Лукьяныча доносилось задушевное, с какими-то свистами и всхлипываниями храпение.

«Да воскреснет бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым...» — бормотал Николай, затыкая пальцами уши и натягивая на голову одеяло.

Ночь проходила. Белесоватый свет начинал проникать в окна. Николай мало-помалу успокоился и открыл голову. В комнате было видно, что постороннего никого нет. За шкафом скреблись мыши. Маятник стучал лениво и равнодушно; Мартин Лукьяныч наладился и храпел ровно, внушительно, звонко. И опять, точно издалека, Николай почувствовал приближение мучительных мыслей о завтрашней исповеди; страстно желая ускользнуть от этих мыслей, не дать им овладеть собою, он торопливо стал перебирать, о чем бы вспомнить, о чем бы подумать, что-нибудь такое выдернуть из памяти, что заглушило бы мучительное течение мыслей об исповеди и о страшном грехе. И вспомнил рассказ Ивана Федотыча, как к иноку пришла блудница и как, дабы отогнать греховное желание, иннок стал жечь пальцы на огне, и блудница ужаснулась и ушла из кельи. И когда вспомнил — почувствовал, что сладко и хорошо пострадать за свой грех, испытать какую-нибудь боль, помучиться, даже поплакать от боли. Он радостно сбросил одеяло, встал, обвел глазами полутемную комнату и, заметив около печки брошенную сахарную бечевку, сразу сообразил, что надо делать. В потолок для какой-то надобности было ввинчено кольцо; Николай подставил стул, прикрутил бечевкой к кольцу правую руку и остался стоять на стуле, едва касаясь сиденья пальцами ног. Рука быстро немела, бечевка впилась в запястье, в плече сделалась тупая, равномерно ноющая боль. Эта боль прибывала, увеличивалась, точно наливалась в плечо и в руку. И по мере того как становилось больнее и больнее, вместо беспокойства и тоски восторг загорался в Николаевой душе, представление о сделанном грехе смягчалось, таяло, пропадало... Выскакивали откуда-то мысли о подвиге, о том, что не всякий-де вытерпит такую боль, о том, что стоит только захотеть — и можно уйти в пустыню и сделаться великим подвижником, и тогда далеко будут говорить: «Слышали? Слышали? Авва Николай объявился... сияние вокруг него... исцеляет... бесы его боятся...»

Вдруг против окна обрисовалась темная фигура. Николай вскрикнул от неожиданности и весь похолодел. Наскоро он размотал бечевку, высвободил затекшую руку и, соскочив со стула, побежал и нырнул под одеяло. В стекло едва слышно забарабанили... Николай притаился и молчал. Еще стук... Затем шепот: «Миколой... Миколой, спишь?»

Николай насторожил уши и дрожащим голосом ответил:

— Кто там?

— Это я, отвори.

— Кто ты?

— Я, Федотка.

Николай радостно перевел дыхание и бросился со всех ног отворять окно. В висках у него стучало, голова горела как в огне. После некоторых усилий еще недавно выставленное окно, наконец, растворилось.

— Ты чего? — спросил Николай, не попадая зуб на зуб и от волнения и от холода, пахнувшего в окно.

— Одевайся, побежим к Василисе: у ней Грунька ночует. Обещалась с тобой погутарить¹.

— Врешь?

— Ей-богу, пра! Скорей. Я ходил рубашку сменять, да и зашел. Ну, она у ней. Мы живо слетаем. Отец-то небось выпимши? Бёг, бёг я, братец мой... Роса! Все сапоги вымочил... Ты чего трясешься, аль испужался?

— Вот еще, — с пренебрежением ответил Николай, — какого тут черта бояться! Одно — кабы мне к заутрене не опоздать. Я бы и наплевал, да Капитон Аверьяныч будить придет, а меня нету.

— Поспеем, чать, не поздно.

Захлебываясь от радостного волнения, Николай торопливо натянул одежду, надел сапоги, накинул на плечи полушубок, выпрыгнул в окно и заворил его. В деревне кричали петухи.

— Айда! — прошептал он, бросаясь бежать под гору.



Праздник наездника Онисима Варфоломеича и его многочисленного семейства.— Фантастические мечты о плюсовых штанах, о гарнитуровом платье и о прочем.— Удар.— Наездник Ефим Цыган.— Отъезд и бунт Онисима Варфоломеича и мужик Агафон.

О том, что Капитон Аверьяныч хотел нанять бывшего воейковского наездника Ефима и даже на страстной неделе посылал Фадея разыскивать его, а Онисима Варфоломеича готовился уволить, знали в Гарденине управитель, конторщик и Николай. Да Николай рассказал под великим секретом приятелю своему Федотке, да Федотка, чтобы придать себе важности и тоже под великим секретом, рассказал конюху Василию и маточнику Терентию Иванычу, да те, в свою очередь, рассказали двум-трем почетным лицам из двора. Таким образом осведомлено было почти все Гарденино. Тем не менее известие не доходило до того, кого прямо касалось, — до Онисима Варфоломеича. Как это ни странно, но, несмотря на добродушие и мягкость Онисима Варфоломеича, он не имел в Гарденине преданных себе людей. Напротив, стоило ему год тому назад занять должность «первого» наездника, как тотчас же у него явились не только недоброжелатели, но и враги. Врагом его стал кучер Никифор Агапыч, врагом его стал и убеленный сединами старец Мин Власов, давнишний гарденинский наездник, теперь из единственного сделанный «вторым». Дело в том, что, когда заездили трехлетнего Кролика и в нем обнаружилась необычайная для гарденинской лошади рысь, к этой необыкновенной рыси сразу прилепились мечты и вожеления гарденинских обывателей, то есть, конечно, тех, которые так или иначе имели касательство к кон-

¹ Поговорить. (Примеч. А. И. Эргеля.)

ному заводу. Мин Власов надеялся, что он поберет на Кролике пропасть призов, разбогатеет и войдет в славу; Никифор Агапыч мечтал, что когда обнаружится неумышленно старика Мина как следует выехать Кролика, то это поручат ему, Никифору Агапычу, и уж тогда-то... он поберет пропасть призов, разбогатеет и войдет в славу. Об этом же мечтали в сокровенных тайниках своей души конюх Полуект, конюх Василий, даже поддужный Ларька. Все они воображали, что вот Капитон Аверьяныч посмотрит, посмотрит, да и скажет: «А ну-ка, малый, возьми выезжай Кролика!»

И понятно явное и скрытое негодование всех этих претендентов на призы и на славу, когда вдруг после таинственной поездки Капитон-Аверьянычева любимца Фадея в Гарденине появился смешной человечек в голубом сюртуке с буфами, с вечно трубочкой в зубах, — человечек, только тем и известный, что жил у купца Пожидаева и взял на поживавских лошадях три-четыре приза. Вдобавок он происходил из дворовых какого-то мелкопоместного барина, — такого барина, которого господу Гарденины и в дом-то к себе не приняли бы и для которого была бы великая честь, если б его почтил своим знакомством гарденинский управитель. Аристократы гарденинской дворни никак не могли перенести этого. Когда вслед за самим смешным человечком в голубом сюртуке появилось в Гарденине его многочисленное семейство: старушка маменька, испитая и молчаливая жена с точно испуганными глазами, шестеро оборванных, хилых ребятишек, — в дворне не было конца смеху, язвительным шуткам и пересудам. К новой наезднице, правда, с первого же раза пошли жены и дочери гарденинских аристократов, но это только чтобы было о чем посудачить за чаем или за семечками, когда вечером женское высокопоставленное общество собиралось посидеть у горницы кучера Никифора Агапыча. Что же касается мужчин, они держали себя с большим достоинством: они выказывали свое презрение к «высочке» — как называли нового наездника — только тем, что не вступали с ним в мало-мальски серьезные разговоры и вообще не водились, а когда случалось говорить о каких-нибудь пустяках, никогда не покидали тона превосходства и особенной чрезвычайной ядовитой и тонкой насмешливости.

Не лучше относились к Онисиму Варфоломеичу и другие, не аристократы и не претенденты на призы и на славу. Но эти стали плохо относиться к нему уж после того, как увидели его на деле. Тут не столько были замешаны личности, сколько идеалы. По поводу Кроликовой рыси ведь так много было торжествующих разговоров в застойной! Ведь занималась заря прославления завода! Ведь в перспективе открывались беспрестанные посрамления воейковских, ознобишинских, циммермановских и других лошадей, а также и наездников, поддужных, старших и младших конюхов тех заводов! Ведь скоро с совсем особенным выражением будут говорить: «эта лошадь гарденинского завода», «это гарденинский приплод», или «он живет у Гардениных», «он гарденинский конюх», не говоря уже о том, что лошади подымутся в цене и покупатели больше будут давать «на поводок»! Кроме того, решительно у всякого человека, так или иначе прикосновенного к заводу, мелькала более или менее основательная надежда ездить с Кроликом в Хреновое, в Тамбов, в Воронеж, а может быть, господь пошлет, в Петербург и в Москву. Обыкновенно с призовою лошадью посылались: наездник, поддужный, конюх и кузнец. Какой конюх, какой поддужный и, наконец, который из двух кузнецов, Ермил или Егор, — этого никто не знал, и выбор Капитона Аверьяныча мог пасть на любого. Такая неизвестность ужасно разгорячала фантазию. Даже степенный и старый маточник Терентий Иванович иногда мечтал о поездке на призы, хотя обыкновенно и отплевывался после таких мечтаний; даже табунщик Ермолай, мальчишка лет четырнадцати, воображал иногда, что его послали с Кроликом и что Кролик взял сто призов, а ему, Ермолаю, Капитон Аверьяныч подарил плисовые штаны и шапку.

И вот все увидали, что Онисим Варфоломеич плохой наездник и что Кролик у него не совершенствуется, а бежит все тише и тише. Это был удар. Это было самое тяжкое оскорбление, которое только могло быть нанесено гарденинскому коннозаводскому населению. Отсюда понятно, что у Онисима Варфоломеича не было, да и не могло быть преданных людей в Гарденине.

Итак, Онисим Варфоломеич ничего не знал.

В первый день светлого воскресенья он честь честью съездил к заутрене и к обедне и в самом счастливом расположении духа возвратился домой с куличом и пасхой. Дома все было так по-праздничному, что отличное настроение Онисима Варфоломеича еще усугубилось. Ребята, начиная с годовалого Борьки и кончая восьмилетнею Марфуткой, были прибраны, умыты, расчесаны, одеты в самое лучшее. На мальчиках топорщились шерстяные малинового цвета рубашечки, блестели пряжки резиновых поясков, белелись воротнички и манжетки, — воротнички и манжетки, правда, не крахмальные и не из полотна, а из дешевенького коленкора, тем не менее точь-в-точь как у настоящих господских детей. Девочки были в «блюзках» с «басочками», — опять-таки как у господ. Волосики у всех были расчесаны «на косой ряд» и напомажены «серполетовою» помадой. Митревна, жена Онисима Варфоломеича, хотя и не спала всю ночь, хотя и замаялась перед праздником за стиркой, шитьем и приборкой дома, тоже принарядилась: надела шерстяное платье «цельферинного» цвета, накрыла жиденькую прическу бисерною голубою сеткой и выпустила «гофренный» воротничок. Маменька была в чепце и в темненьком платье необыкновенно солидного покроя, как и следует старушке из почтенного и уважаемого семейства. В большой горнице с перегородкой, оклеенной картинками, опять-таки сразу было заметно, что наступил великий праздник. Это во-первых, а во-вторых, было заметно, что живут здесь «не какие-нибудь», а наездник Онисим Варфоломеич с своим многочисленным и умеющим соблюдать приличие семейством. Часы с кукушкой, горшки с «еранью» и восковым плющом, картинки из модных журналов и из «Северного сияния», фотографические карточки в рамках, вязаная скатерть на столике под образом, кресло, обитое полинялым и замасленным ситцем, но тем не менее с вязаную салфеточкой на спинке, фарфоровая собачка и две куколки на комодке, — одним словом, все до последней мелочи взывало о том, что здесь живут «не какие-нибудь». Правда, если поглядеть за перегородку, то выходило как будто и не совсем ладно: там беспорядочно были нагромождены войлоки, тонкие и замасленные, как блин, подушки, всякая рвань и ветошь, служащая постелями для шестерых ребят и маменьки. Но все ж таки и там, в этой вонючей и душной от спертго воздуха комнатке, было нечто изобличающее, что семья Онисима Варфоломеича «не из таковских». Там вышалаась двуспальная кровать с периной, с целою горой подушек, с пестрым одеялом из разноцветных ситцевых клочков, а за кроватью, на особой подставочке, стояло, хотя и с сломанною ножкой, хотя и разбитое, но все-таки «туалетное» зеркальце с остатками зеленоватой бронзы в перекосившейся раме.

— Христос воскрес, маменька! — торжественно сказал Онисим Варфоломеич и троекратно облобызался со старушкой.

— Христос воскрес, Анфиса Митревна! — повторил он, подходя к жене.

— Христос воскрес, Марфутка! — сказал он, подставляя губы старшей девочке.

И долго слышались в горнице звуки поцелуев и слова: «Христос воскрес! Христос воскрес!» — «Воистину воскрес, Онисим!» — «Воистину воскрес, Онисим Варфоломеич!» — «Воистину воскрес, тятенька!» Блистательно вычищенный самовар кипел из всей силы и пускал к потолку густые клубы пара.

Он тоже словно радовался тому, что Христос воскрес. Чинно сели,— Онисим Варфоломеич в кресло с салфеточкой на спинке,— разговелись, стали пить чай с молоком. Выпив два стакана, Онисим Варфоломеич закурил свою трубочку, осторожно прислонился затылком на салфеточку кресла и счастливыми и торжественными глазами стал глядеть на свое многочисленное семейство.

— Где утреню-то дожидались, Онисим Варфоломеич? — спросила Митревна, отирая лоснящееся от пота лицо перекинутым через плечо полотенцем.

— У Власьевны, у просвирни. Я, признаться, тово... думал-таки к попу заехать... А вы не слыхали: поп место-то зятю передает?.. Как же, как же, передает!.. Ну, сказали: много народу у попа. Управитель там, Капитон Аверьянов, визгуновские еще... Ну, чего, думаю, тесниться? Я тесноту не люблю.

— Да и на глазах-то у начальства...— сказала маменька, осторожно откусывая сахар и стряхивая крошки в блюдечко.

— Вот вы, маменька, и тово... и неправильно рассуждаете. Что такое начальство? Моя часть — особая. Управитель — по своему делу, а я — по своему. И опять же у просвирни я с каверинским приказчиком находился. Не какой-нибудь человек.

Минут пять только и слышалось, как пыхтели, чмокали, откусывали сахар и отдувались.

— Житье им, этим приказчикам! — со вздохом сказала маменька.

— И опять, маменька, не точное ваше рассуждение. Конечно, каверинский приказчик получает триста целковых жалованья и окромя того выговорных, может, на сотенный билет, но что касающе меня — я бы никогда не польстился. Что такое про него можно сказать? Живет в лесу, пенькам богу молится,— вот и все, что про него можно сказать. Но во всяком разе у меня есть известность. Вы тово, маменька... вы коннозаводских журналов читать не можете, а между прочим в коннозаводских журналах прямо обозначено: кобыла Ворона, четырех лет, завода купца Пожидаева, наездник Онисим Стрекачев, взяла первый приз. Вот оно в чем отличие! И это, маменька, лестно-с.

— Известно, маменька, Онисима Варфоломеича часть завсегда любопытнее,— сказала Митревна.

Маменька ничего не ответила и только с глубоким вздохом произнесла:

— Охо-хо-хо...

Вдруг Онисим Варфоломеич вынул трубку изо рта и с самодовольно-сияющей усмешкой, ни к кому в отдельности не обращаясь, заговорил:

— Я, этта, подхожу, как отойти обедне, к управителю и тово... а он с купцом Мягковым разговаривает. Я говорю, тово... «Христос воскресе», говорю, Мартин Лукьяныч,— и прямо руку ему и протягиваю губы. А он тово: пожимает эдак руку, похристосовался и отвечает: «Воистину воскресе, Онисим Варфоломеич». — «Какая, говорю, погода для светлого праздничка, Мартин Лукьяныч! Говорю, тово... и по хозяйству, примерно, к статье подходит», говорю. А он: «Да уж нечего сказать, говорит, Онисим Варфоломеич, погода на редкость». И тово... Мягков-купец стоит и говорит: «Сев очень превосходный». А я эдак к нему: «Христос воскресе! — незнакомый, но я вот господ Гардениных, их превосходительство, главный наездник». — «Очень, говорит, тово... очень приятно, будем знакомы», — и с этими словами прямо протягивает мне руку и поцеловался. Я эдак посмотрел — огромный у него перстень на указательном персте... Браллиант.

Произошло непродолжительное молчание в знак особого уважения к происшествию, рассказанному Онисимом Варфоломеичем.

— И богачи эти Мягковы! — с благоговением воскликнула, наконец, Митревна.

— Еще бы,— сказал Онисим Варфоломеич, важно выправляя воротничок манишки.

— Ну, а наш-то Гордей Гордеич склонил гнев на милость? — недоброжелательным тоном спросила маменька.— Какие люди отличают, а он, как прынец какой-нибудь, нос воротит! Эка, посмотрю я, в нынешних людях. высокомордые какое развилось... Видала я гордых людей, видала. То ли гордее бурмистра нашего покойника! А уж эдакого, прости господи, пса, как Аверьяныч-конюший, и не нахаживала.

— Капитон Аверьянов тоже ничего,— с пренебрежением сказал Онисим Варфоломеич.— Он тово... обмяк. Этта, как мне Мягков руку-то протянул и тово... А он тут стоит, подле, и вдруг, вижу, косит, косит на меня глазом. Ну, думаю, тово, смотри, коси попристальней!.. Достаточно знаем, как ихнего брата в хомут вводить. Вот только бы мне в Хреновое выехать, и тово... и совсем обмякнет Капитон Аверьянов. Тогда еще неизвестно, какой ему будет почет и какой мне... Алешка, одерни костюмчик. Держись поакkuratней, Зинаида: ужели так и надо распускать сопли?

Митревна проворно подтянула Алешкины штанишки и утерла нос пятилетней Зинаиде.

— Самовар-то Федотка чистил? — спросил Онисим Варфоломеич.

— Я уж сама, признаться, почистила, Онисим Варфоломеич... Мы с маменькой,— робко и неохотно ответила Митревна.

— Сколько я тебе говорил, Анфиса Митревна! С какой стати вы натруждаетесь? Я ведь тово... я приказал, и вдруг вы сами. Такая черная работа, и вдруг вы не заставляете конюхов! Федотке прямо приказано.

— Народ-то здесь оглашенный, Онисим Варфоломеич. Вы приказали, но мы все ж таки стесняемся с эстим народом.

Онисим Варфоломеич промолчал на это и уже долго спустя выговорил:

— Вот, тово... погодите, подтяну, дайте срок. Я им соком достанусь, таким-сяким сынам: Хреновое не за горами.

Женщины долили самовар и опять стали пить и поить детей. Онисим Варфоломеич в важной задумчивости сидел на кресле, выпускал затейливыми колечками дымок и не спеша прихлебывал из своего синего с розовыми цветочками стакана.

— Не то снимите сюртучок-то, Онисим Варфоломеич,— сказала Митревна,— небось жмет? Уж это паратное платье завсегда жмет в подмышках. И сапожки-то не разуть ли с вас?

— Да, пожалуй, достань вендерку. Послободнее.

Митревна торопливо побежала к сундуку, достала из него и почтительно подала Онисиму Варфоломеичу платье, известное в семье под названием «вендерки»,— род какой-то кофты из лоснящейся материи с порыжелыми кистями и шнурками. Онисим Варфоломеич пошел за перегородку, снял коричневый необыкновенно узкий в плечах сюртук, снял манишку, галстук с зелеными крапинками, голубую атласную жилетку с алыми разводами. Ребятишки бросили пить чай и тесною гурьбой набились за перегородку; даже Борька приполз и, уцепившись ручонками за притолоку, стоял. Все, разинувши рты, с немым благоговением смотрели, как отец снимал одну за другой принадлежности своего парадного костюма и подавал матери, а та любовно складывала их на постель. Четырехлетний Никита не утерпел и, подавшись приливу чрезвычайного восхищения, потрогал пальчиком атласную жилетку. Митревна крикнула на него, взяла жилетку, осторожно дунула на место, которое потрогал Никитка, и бережно, точно какой драгоценный и хрупкий сосуд, отложила ее в сторону. Наконец Онисим Варфоломеич оглянулся... Митревна быстро сбросила с сундука засаленные

подушки и дерюги,— Онисим Варфоломеич сел, протянул ноги; Митревна стала снимать с него сапоги. Тем временем Онисим Варфоломеич опять что-то вспомнил и опять самодовольно усмехнулся.

— Вот, тоже живут,— сказал он,— просвирня эта! Сын — семинарист, и вдруг без галстука и... тово... сморкается — в праздник — в руку. «Ужели, говорю, на праздник не полагается платочка?» — «У нас, говорит, батюшка Онисим Варфоломеич, по простоте». — «Но ужели, говорю, называется вы из духовных, и вдруг тово... не понимаете благородного обхождения? Это даже довольно странно».

— Уж сказано — жеребьячья порода! — презрительно выговорила Митревна, отдуваясь от усилия стащить сапог.

— И вдруг постлали, этта, скатерть и прямо без подноса ставят самовар! «Ужели, спрашиваю, находитесь в безызвестности, как полагается производить сельвировку?» Но у них тово... у них один ответ: «Батюшка Онисим Варфоломеич, не взыщите, мы по простоте». Ну я бы, мол, при таком вашем необразовании не стерпел...

Надевши кофту и туфли, Онисим Варфоломеич, сопутствуемый всем семейством, снова воссел за самовар и стал пускать дымок и прихлебывать из стакана. Долили самовар еще раз. Глаза Онисима Варфоломеича становились все мечтательнее и благодушнее.

— Возьму приз — прямо сотенный билет прибавки потребую,— изрек он с обычною своею привычкою ни к кому не обращаясь.

— Кабы господь-батюшка...— выговорила маменька, с сокрушением вздыхая.

— Я что вам хочу сказать, Онисим Варфоломеич,— робко произнесла Митревна,— возьмете, господь пошлет, приз, беспрременно надо нам Марфутке да Зинаидке люстриновые кофточки справить.

— Что ж, буду в Воронеже,— в Воронеже и куплю. Надо бы тово... списочек эдакий составить.

— Да вот на панталончики ребятам...

— И на панталончики куплю.

— Мне, маменька, плисовые,— вдруг сказал Алешка,— а то у кучерова Миколки плисовые, а у меня казинетовые. Меня Миколка дражнит все.

Митревна так на него и зашипела.

— Ничего, ничего, пушай,— покровительственно сказал Онисим Варфоломеич,— нонче на плис мода вышла. Ты тово... будем списочек составлять, припомни. У купца Мягкова сынишка вот эдакий клоп, но между прочим весь в плисе.

— Тятенька,— доносительным тоном сказал ободренный Алешка,— а кучеров Миколка что говорит,— он говорит: батя-то твой на лошадях не умеет ездить, пужается.

— Шш...— прошипела Митревна, толкая Алешку и со страхом взглядывая на Онисима Варфоломеича.

Но Онисим Варфоломеич только презрительно усмехнулся.

— Ты ему тово... скажи ему: не чета, мол, отцу твоему, гужееду. Мой, мол, папенька как-никак, но во всяком разе имеет наградные часы. А ежели, мол, что, так он еще и в журналах пропечатан. Скажи-ка ему.

— Я скажу,— с достоинством ответил Алешка и, пользуясь благоприятным случаем, попросил у матери пирога.

— И какие уж ребяташки сорванцы в здешней дворне, уму непостижимо! — сунувши Алешке кусок, воскликнула Митревна.

— А Симка кузнецова говоит — ты, тятка, дуак,— торопливо закартавила Зинаида, уязвленная успехом Алешки,— он говоит, батя-то твой побиушка, голь пеекатная, его, говоит, из миости дейжут. Мамка, дай пиожка!

— А вот я тово... я им покажу, какой я побирушка! — сказал Онисим Варфоломеич. — Ты, Митревна, уж отдохнем, поведи-ка ребят на прогулку, да серьги с кораллами подвесь. Пуцай поскрипят зубами!

— Одна сережка-то сломана, Онисим Варфоломеич, помните, как выпимши были, ударили меня, — тихо выговорила Митревна. — Вы обещались, как в Воронеж поедете, в починку отдать.

— Мамонька, намедни кучериха говорит: вы, говорит, вшивые, а Полуектова жена... — начала было Марфутка, но Митревна цыкнула на нее, и она замолчала, завистливо поглядывая на Алешку, уплетавшего пирог.

— Ох, Онисим, что я тебе хотела сказать, — вкрадчиво вымолвила маменька, — пошлет тебе создатель-батюшка приз, купи ты мне кофейку. Очень уж я до кофию охотница.

— Доставлю, маменька, будьте спокойны. Первейшего сорта куплю. Митревна, напхни, как будем составлять списочек. Разве я, маменька, не понимаю вашу охоту? Сколько, может, годов жили в первых домах... Я это тово... я завсегда могу понимать... Да вот что... я вижу, и платьице тебе, Митревна, нужно обновить. У дьячковой дочери я посмотрел: что ж это за платьице такое... антик! Эдакое в празелень.

— Гарнитуровое, надо полагать?

— Уж не знаю. Отливает из цвета в цвет.

— Гарнитуровое, — авторитетно сказала маменька, — в духовенстве обожают гарнитур.

— Ну, вот и тово... и куплю тебе гарнитуровое платье. Припомни, как будем составлять списочек.

Митревна покраснела от удовольствия.

— А я что с вами хотела поговорить, Онисим Варфоломеич, — сказала она. — Надо бы тепленького чего-нибудь детишкам. Уж так-то пообносились, так-то пооборвались... Придет зима — носу нельзя будет показать на улицу; как уж нонешнюю перезимовали... Да и моя-то, признаться, шубейка... не вполне.

— Говорила, перемогитесь как-нибудь, не закладывайте салопа, — сказала маменька.

— Ах, маменька! Ужли же Онисиму Варфоломеичу не иметь костюма? Какой, скажут, это наездник и вдруг без атласной жилетки и без сюртука? Во всяком же разе с меня не взыщут... а они завсегда на глазах, завсегда с хорошими людьми.

— Без костюма мне никак невозможно, — подтвердил, сплевывая сквозь зубы, Онисим Варфоломеич, — вдруг я еду на должность и тово... являюсь в каком-то старье. Что скажут?

— Ох, тошно без должности-то! — сказала маменька, и лицо ее омрачилось.

Митревна глубоко вздохнула.

— Уж так эти полгода бились, так бились, — продолжала маменька, — легкое ли дело: три серебряных ложки... и ложки продали! Когда их соберешься купить? Или, подумаешь, оклад с матушки тихвинской: тридцать четыре золотника серебра одного!

Митревна вздохнула еще глубже.

— Мне пуце всего часов своих жалко, — сказал Онисим Варфоломеич. — Как, господи благослови, возьму первый приз, так беспрременно часы выкуплю.

На этот раз вздохнули: восьмилетняя Марфутка, шестилетний Алешка, пятилетняя Зинаидка и даже четырехлетний Никитка; только трехлетняя Машка не вздохнула, а провела пальцем по блюдецку и с наслаждением пососала, да годовалый Борька, бессмысленно улыбаясь, глядел на самовар.

— А как Кролик насчет минут-то, Онисим Варфоломеич? — после некоторого колебания спросила Митревна.

Онисим Варфоломеич помолчал и с притворным равнодушием сплкнул. Вопрос по разным причинам был ему неприятен.

— Входит в норму, — ответил он. — Кабы моя заездка спервоначала, я бы его в шесть минут теперь поставил... Но Мин Власов скрутил ход.

Митревна покраснела от негодования.

— Тоже наездники называются! — воскликнула она, и вслед за нею все семейство воспыало ненавистью к Мину Власову, конечно кроме Борьки и Машки.

Кончили чай, пообедали, легли спать. Но перед сном Онисим Варфоломеич отпустил ребят на улицу и произнес им следующее напутствие:

— Вы тово... не болтайте зря. Что говорено промеж старших — не ваше дело. Алешка, одерни костюмчик! Утри сопли, Зинаида! Ступайте тово... промеж себя больше держитесь. А Миколке так и скажи: у моего, мол, папеньки тово... часы наградные есть. От генерала Гринваля. Ежели, мол, не надевает, так не хочет показывать вам, дуракам. И лист... скажи ему, этакому сыну, что у папеньки, мол, лист такой есть. Скажи, мол, тово... от царя! Пушай поломают головы. А зря не болтайте. Зинаидка! Я что сказал про сопли? Ужели ты мужичка?

Вечером Зинаида, читая молитву на сон грядущий, подумала, подумала и после слов: «Помилуй, господи, тятеньку, помилуй, господи, маменьку, помилуй, господи, бабушку» — прокартавила: «Помилуй, господи, лошадку Кролика и всех сродников». Митревна услышала и, легонечко толкнув маменьку, прошептала с блаженною улыбкой: «Ведь вот, ребенок, подумаешь, а какое понятие у себя имеет!.. Молись, молись, голубушка!» — после чего с тяжким и сокрушенным вздохом полезла на перину, где уже сладко и с торопливым присвистом храпел Онисим Варфоломеич. Маменька тоже вздохнула на своей лежанке.

Наутро Онисима Варфоломеича совершенно неожиданно потребовали в контору. Все семейство ужасно обеспокоилось. Митревна даже сменилась с лица и выронила чашку, которую в то время вытирала. Но Онисим Варфоломеич усиливался владеть собою. Когда Митревна выронила чашку, он притворно-строгим голосом крикнул:

— Ты тово, Анфиса... поаккуратней бы, — и затем как бы про себя добавил: — Управитель что-то намекал вчерась... Вы, говорит, тово, Онисим Варфоломеич, ежели деньги али что другое... не устесняйте себя. В конторе завсегда имеется сумма. — Тем не менее, когда Онисим Варфоломеич застегивал пуговицы атласного своего жилета и натягивал праздничный коричневого сукна сюртук, руки его заметно дрожали.

Только он вышел, Митревна бросила мыть посуду и скользнула за перегородку. Маменька, тяжело охая, принялась за чашки. Ребятишки испуганно переглядывались и говорили шепотом. Алешка, по своему обыкновению, не утерпел и, боком приблизившись к перегородке, нашел щелку и приник к ней глазом. «Лежит... — прошептал он ребятам. — На лежанке, на бабушкиной постели лежит... ничком!» Митревна действительно лежала как пласт, уткнувши лицо в подушку. Однако минут через десять она поднялась и с опущенными глазами, с красными пятнами на лице принялась перетирать посуду.

— Вот оно... самовар-то гудел в субботу, — прошептала маменька, вытирая уголочком платка набегавшие слезы, — уж чуяло мое сердце — не к добру... чуяло — недаром гудит проклятый! Тоже от Пожидаевых сойтить, так-то гудел... О, мать милостивая, помилуй нас, грешных!

— Ах, маменька! Уж вы-то хоть бы помолчали, — вырвалось у Митревны, — чтой-то на самом деле! Живешь, живешь... мучаешься, мучаешься...

Господи ты мой батюшка! — и добавила: — А может, господь даст, вовсе не за худым потребовали...

Онисим Варфоломеич скоро вернулся. Преувеличенно развязною походкой вошел он в горницу, снял картуз, посмотрел на маменьку, на детей, на Митревну, потупился под пристальным и беспокойным взглядом восьми пар глаз, на него устремленных, сел и растерянно улыбнулся.

— Ну что, Онисим Варфоломеич, зачем требовали? — прерывающимся голосом спросила Митревна.

— А?.. Да так больше... Вы, говорит, тово, Онисим Варфоломеич... и прямо руку мне. А ежели, говорит, какая неприятность, мы, говорит, завсегда тово... Ну, и пошел и пошел.

— Да не томите вы нас, ради Христа-создателя! — вскрикнула Митревна, не сводя жадно любопытствующих и расширенных от страха глаз с Онисима Варфоломеича.

Онисим Варфоломеич засуетился, встал, порылся с заботливым видом в карманах, вынул оттуда две скомканных бумажки и вдруг закричал на Алешку:

— Долго я тебе, подлецу, говорить буду?.. Одерни костюм!.. Я, брат, погляжу, погляжу и тово... за виски!

— Расчет, что ли? — с прискорбием спросила маменька, все это время беззвучно шептавшая псалом царя Давида: «Живый в помощи вышнего».

Онисим Варфоломеич быстро и с величайшим оживлением повернулся к ней.

— Ход, маменька... ход, говорит, скрутил! Но каким же манером, говорю, ход... и разве вам не видно, Мартин Лукьяныч, что это тово... что это кляузы... Вдруг Капитон Аверьянов встал, стукнул эдак костью и тово... «Ты, говорит, тово... нам не нужен!» — «Но позвольте-с, в каком смысле?.. Сколько, может, имею наград... лист... часы... обозначен в журналах... По какому случаю?» Ну, он тово... Анфиса Митревна, получите деньги, пятнадцать целковых!.. Десять выдано не в зачет... В награду мне выдано. «Потому мы, говорит, понимаем вашу заслугу». — «Но как же, говорю, семейство... и притом перина... сундуки... комод?» — «Это, говорит, тово... во всяком разе, говорит, мы можем это понимать: сколько угодно берите подвод, Онисим Варфоломеич, так как мы, говорит, знаем вас и завсегда с нашим удовольствием».

Но дальше уж невозможно стало разобрать, что бормотал Онисим Варфоломеич. Митревна заголосила, дети бросились к ней, заплакали, закричали из всей мочи. «Господи! Господи! И когда же ты нашлешь час смертный на меня, грешную?» — воскликнула маменька, обращая взгляд на икону тихвинской божией матери с ободренным окладом. «Маменька! Анфиса Митревна! — вскричал Онисим Варфоломеич, в полнейшем отчаянии бегая вокруг рыдающего, охающего и вопящего семейства. — Ужели я не понимаю?.. Ужели я какой бессловесный столп... Я им говорил, говорил... как же, говорю, так, подступает Хреновое, лошадь готова, и вдруг вы лишаете судьбы?.. Я маленький человек... я смиренный человек... И потом по какому случаю обижаете неповинное семейство? Какие-нибудь кляузы, наговоры, сплетни... лошадь готова, через два месяца бега, и вдруг, ничего не говоря, расчет!.. Вы того, говорю... эдак, говорю, не делают настоящие люди. Но что же поделаешь?.. Сила, маменька!.. Ведь они — сила, Анфиса Митревна!.. Не плачьте понапрасну!.. Не утруждайтесь!.. Ужели я не могу вас успокоить?»

Вместо Онисима Варфоломеича явился в Гарденино воейковский Ефим, по прозванию Цыган. И действительно, в нем было что-то нерусское. Это был высокий, сутуловатый, нескладный человек, с длинными и цепкими, как у обезьяны, руками, на длинных ногах, с горбатым носом, с смелыми изжелта-кариными глазами, шафранно-смуглый, волосом черный, даже до синего отлива, и с серьгой в ухе. Голос у него был грубый, слова дерзкие, держался он гордо

и самоуверенно. В рысистом отделении сразу сметили, какая в нем разница от Онисима Варфоломеича. Ефим как только вошел к Кролику, так и закричал на него с необыкновенною строгостью, и Кролик был с ним тих и смирен; Федотке, которого сделали поддужным, он при первой же пустой неисправности «залепил здоровенного тумака»; на заслуженного Василия Иваныча зарорал, как на пастуха какого-нибудь. Но когда сел на дрожки и выехал на дистанцию, тот же Федотка сразу почувствовал к нему благоговение, а Василий Иваныч охотно простил свою обиду. Вожжи у него в руках были точно струны под смычком искусного скрипача; малейшим движением пальцев, незаметным натягиванием и опусканием, — на посторонний взгляд казалось: одним дерзким и напряженно-проницательным выражением своих глаз, — он заставлял лошадь идти как ему хотелось. А на Кролика так закричал при первом же неудачном «сбое», так передернул ему губы, что тот со второго же сбоя, сделавши узаконенное и допустимое на бегах количество скачков, прямо вошел в великолепную и еще не виданную за ним рысь. На узких поворотах колеса вертелись в воздухе, а Ефим и бровью не шевелил и только наклонялся в противную сторону, точно прилипая к дрожкам. Нет, этот наездник был не чета жалкому и трусливому Онисиму Варфоломеичу! Конюхам рысистого отделения он выставил четверть водки; почетных конюхов и наездника Мина Власова угостил чаем с сантуринским вином; Капитону Аверьянычу весьма свободно протягивал руку; в присутствии управителя не вставал; жену свою держал в беспримерной строгости и бил до такой степени часто, что она непрерывно ходила с синяками под глазом и с подвязанной щекой. Одним словом, это был человек властный, горячий, дерзкий и совершенно уверенный, что наездников лучше его не было, да и не может быть. С ним кучер Никифор Агапыч никак не осмеливался взять свойственного ему тона высокомерной и язвительной шутливости. И так как в довершение всего Ефим происходил из воейковской дворни, а господа Воейковы нимало не уступали в знатности господам Гардениным, то самые высокопоставленные дворовые люди Гарденина относились к нему с почтительностью и уважением. Ни над ним, ни над его женою, ни над их семейной жизнью и обстановкой не насмехались и не шутили. Это были свои люди, с которыми лестно было водить знакомство. Даже претенденты на Кролика, на его будущие призы и славу, и те почувствовали, что Ефим имеет преимущество над ними, потому что он — настоящий мастер и редкостный знаток своего дела. Разве один Никифор Агапыч не оставлял своей сатанинской зависти. Но Никифор Агапыч был известный самолюбец и гордец.

А семейство и имущество Онисима Варфоломеича повезли на трех подводках в село, на квартиру к просвишне. Стояла грязная, пасмурная погода. Дети, маменька и Анфиса Митревна сидела на возах, уцепившись за вещи и за веревки. Онисим Варфоломеич с подводчиком, мужиком Агафоном, шел сзади и, развязно размахивая руками, говорил Агафону:

— Нет, брат, это они погодят! Я, брат, прямо скажу: я слово знаю. Ежели теперь Ефим Цыган возьмет приз, я тово... прямо приходи ко мне и говори: «Протягивай морду, Онисим Варфоломеев!» — и бей по морде. И Капитон Аверьянов сломит свою гордыню... Это я, брат, тово... вперед тебе говорю. А у нас местов хватит... у нас, прямо надо говорить, отбою нет от местов... Но Онисим Стрекачев не ко всякому пойдет... вот оно в чем дело! Сам ты, братец мой, посуди: с чего мне кидаться? Ужели у нас имущества не хватит?.. Вон видишь — тувалет? Тридцать целковых!.. Комод красного дерева? Пятьдесят целковых!.. Эй, Анфиса, почему полботинком комод запачкала?.. Чтoб я не видал эфтого!.. Но я тебе, Агафон, прямо скажу: я им запрет положил на призы. Может, смилуюсь... не знаю. Поклонятся, ну, того... смилуюсь, сниму. А Ефиму Цыгану призов не брать... Не-э-эт!.. И я такой человек — ты видишь семейство?.. Маменька-старушка, жена, дети... Я жену нонче побил... это правда, побил. Но вот я тово... прямо, господи благослови, поеду в Воронеж и прямо

ей гарнитуровое платье куплю. Ты пойми, какой я человек!.. Они говорят то, другое, третье... Но я семейство свое содержу в ба-а-аль-шом порядке! Я побью, это правда... выпимши я завсегда могу побить. Но что касающе местов — у нас хватит!

— Уж это знамо! — подтвердил мужик Агафон. — Кто чего знает, тот знает. Тот своего не упустит, примерно сказать. А кто не знает, тот, например, упустит и не соберет. А тебе местов не искать, Варфоломеич, — тебя сами места сыщут... Ей-богу! Потому ты, прямо надо говорить, орел!

От обоих сильно разило водкой.



Новый Николаев гардероб. — Торжественный выезд Николая. — Краткое наставление о светских приличиях. — Недовольный мужик Андрон. — Базарный день. — Гаврюшка — разудала голова и его соблазны. — «В казаки!» — Домашний совет. — Из-за сапог и шапки. — Семейственное побоище. — Распадение дореформенных крепей.

Еще на святой Николай стал проситься съездить к Рукодееву. Мартин Лукьяныч принял эту просьбу благосклонно. Ему нравилось, что такой богач, как Рукодеев, удостаивает знакомством его сына. Но так как, по мнению Мартина Лукьяныча, у Николая не было для столь важного знакомства подходящей одежды, то был приглашен бродячий портной Фетюк, когда-то учившийся в самом Петербурге, а теперь обшивавший купцов, управителей мелких помещиков и духовенство окрестности. Фетюк приладил для Николая старый отцовский темно-зеленого сукна сюртук, бархатную клетчатую жилетку и дымчатые штаны с искрою. Все это было модное почти лет тридцать тому назад, почти новое, потому что лежало в сундуке, все сильно пахло камфарою. Фетюк кое-где урезал, кое-где ушил, наставил, приутюжил, отпарил, и вышло, по его словам, «хоть бы от Шармера». Пуговицы на сюртуке — деревянные, лакированные, величиною с добрый пятак, по рассуждению Мартина Лукьяныча, были оставлены, да и самому Николаю они чрезвычайно нравились своим зеркальным блеском. Затем куплены были на базаре «крахмальная» рубашка и голубой шелковый галстучек. Но этим еще не ограничилось благоволение Мартина Лукьяныча: накануне поездки, в субботу, он порылся в комод и торжественно вручил Николаю старинные серебряные часы-луковицу на бисерной цепочке. Восторгу Николая не было пределов. Он даже не утерпел и, украдкою от отца, побывал в полном одеянии в застольной, у Фелицаты Никаноровны, у Капитона Аверьяныча и у Ивана Федотыча за рекою.

Рано утром в воскресенье Мартин Лукьяныч разрешил Николаю запрячь в легонький тарантасик пару лошадей из своей тройки, а Капитон Аверьяныч отпустил Федотку за кучера. Когда пришло время садиться, Мартин Лукьяныч еще раз с ног до головы осмотрел Николая, снял пушинку с жилетки, велел Матрене почистить веничком спину и, подавая сложенный вчетверо лист бумаги, сказал:

— Без дела неловко в дом-то вламываться. Хотя же за валухов деньги все отданы и валуха приняты, но вот на всякий случай я написал квитанцию от конторы, то есть в деньгах, — понимаешь? Так и скажи: папаша, мол, приказали кланяться и вот вручить квитанцию, — вашему, мол, приказчику позабыли. Да зря не ломись, разузнай, как и что; на парадное крыльцо не лезь; войдешь —

не раздевайся, постой в передней, подожди. Коли будет приглашение в горницы — иди, а не пригласит — отдай квитанцию, поклонись — и назад. В этом стыда нету, ты вроде как посланный. И Федотка пускай... не отъезжает от крыльца. В комнатах как можно аккуратней держись... Боже сохрани в руку сморкаться. Матрена, не забыла носовой платочек Николаю Мартинычу?.. Садиться не сразу садись: раза два скажут, ну, сядь. Да смотри, развалиться не вздумай,— за это, брат, случается, и в шею накладывают. Барыня или вообще женский пол войдет,— конечно, не считаю прислуживающих,— ты должен как на пружинах вскочить со стула. А там уж их дело, что тебе на это сказать. Супруга-то Косьмы Васильича из дворян, понимает обхождение. В разговоры шибко не вступайся, а то ведь ты иной раз заведешь, прямо тебе следует затрещину хорошую. Не вступайся. Руку протягивать никак не моги; подадут — ну, другое дело. Ежели он здесь был прост, то, кто его знает, может из-за того, чтоб валухов купить подешевле... Я из-за этой его простоты так и считаю, что продешевил пяточок. Но за всем тем не унижай себя. Надобности не вижу. Пусть он и богач, однако же управитель гарденинской вотчины кое-что значит. Ну, бог с тобой, прощай!

— А ежели, папенька, ночевать станут просить,— оставаться?

— Обдумал еще... просить! Да ты из каких-таких, чтоб тебя просить-то? Вот то-то, говорю, на слова-то ты тороплив. Сперва подумай, а потом скажи. Просить!.. Ну, поезжай.

Воскресенье был базарный день в большом селе, верстах в семнадцати от Гарденина. Дорога к Рукодеву лежала как раз через это село. Не доезжая до него версты три, Николай нагнал едущего верхом гарденинского мужика Андрона, среднего из трех сыновей сельского старосты. Лошадям нужно было дать немного отдохнуть, и их пустили шагом. Андрон ехал сзади, около самого тарантасика.

— Аль на базар, Андрон? — спросил Николай, закуривая папиросу и вручая такую же Федотке.

— Да вот батюшка наказывал три косы купить. Покос подходит.

— А!.. А я вот, Андрон, к Косьме Васильичу Рукодеву в гости еду. Знаешь?

— Чтой-то не слышал.

— Ну, вот!.. Богач, потомственный почетный гражданин, сколько орден-ов имеет. В гости к себе приглашал.

Андрон ничего не сказал и только стегнул кобылу.

— Как думаешь, сколько теперь часов? — спросил Николай и с важностью вынул свою луковицу и поднес ее к самым глазам, чтобы Андрон видел. Но Андрон опять ничего не сказал.— У вас где покос-то нынче? — спросил Николай, осторожно впикивая часы в несколько тесный для них жилетный карман.

— Известно где — у вас. Тоже сказывали — воля, а заместо того всё на господ хрип гнем.

— Ну, как же на господ? Чай, ты за это деньги получаешь. Да и кто тебе может запретить работать где хочешь? Нет, Андрон, ты это не толкуй... ты удивительно какой недовольный мужик.

— А когда я их, деньги-то твои, видал? Батюшка получит — батюшка отдаст куда ему следует, а наше дело одно — работай. Коё дело придется сапоги справить — кланяешься, кланяешься и отъедешь ни с чем. Вот четвертый год ношу сапоги, а поди-ка, сунься, поговори, чтобы сшить... Заработки! Нет, брат, у нас не балуйся... Известно, у купцов на Графской не такие деньги, да поди-ка!

Поговорили еще о том о сем, Николай опять посмотрел на часы, сказал Федотке погонять, и тарантасик снова загремел рысцою по сухой дороге. А Андрон поехал шагом. Ехал и думал, как еще нынче заговаривал с отцом о сапогах и как старик замахнулся на него вожжами. И под стать к этому не-

приятному случаю думал о том, что только работаешь, работаешь, а воли никакой нету; чтоб баб из ихнего двора часто наряжают мыть полы в конторе, а управитель вдовый... кто ее знает, что там у них, — болтают ведь люди, что его Игнатка схож на управителя; да и Николка, гляди, не зеваает с бабами. И эти раздражающие мысли заставляли Андрона с каким-то особенным чувством поглядывать вдаль, в простор зеленеющих полей, лежащих окрест, в синие извивы долины. «Тоись убёт бы куда глаза глядят!» — воскликнул он мысленно, въезжая в село. Уже при самом въезде был слышен шум от середины села, от площади, где стояла церковь и был базар. Немного погодя пошли встречаться Андрону телеги с лошадьми, с коровами, приведенными на продажу, дальше — возы с хлебом, с сеном, еще дальше — сплошная толпа баб, мужиков, разряженных девок, мещане в длинных лоснящихся сюртуках, лавки, кабаки, трактиры, лотки, балаганы, кучи колес, вороха посуды, лыки, дуги, оглобли, крендели, деготь, метлы, лопаты. Андрон точно въехал в середину огромного улья: говор походил на жужжанье, люди сновали как пчелы; ругань, божба, хлопанье по рукам, пронзительный звук брошенной в воздух пилы, звон кос, ржание и мычание скота, песни из распахнутых настееж кабаков, залихватская музыка трактирной машины, трезвон колоколов «к достойной» — все сливалось в один сплошной, оглушительный и веселящий шум. Андрон, забыв про свои неприятные мысли, с широкою улыбкой на лице, с разбегающимися глазами, осторожно пробирался в толпе, присматриваясь, куда бы поставить кобылу. Вдруг молодой малый, в «касандрийской» рубахе, в сапогах-вытяжках, румяный, слегка навеселе, ухватился за узду Андроновой кобылы и закричал:

— Друг! Андрон Веденеич! Вот, брат, кстати: такие-то дела завязываются, такие-то дела... угоришь!.. Ты что шныряешь глазами — ищешь, где кобылу пристроить? Валяй за мной, елова голова: наш мужичок с коровой стоит... Он тебе с великим удовольствием!

— Я, признаться, посматриваю, нет ли из наших кого, — сказал Андрон, узнавши в молодом малом женатого на Гараськиной сестре парня из соседней барской деревни, верстах в десяти от Гарденина.

— Пойдем, чего тут толковать! Я тебе живо оборудую. Ах, братец ты мой, как я тебя опознал кстати! Такие-то дела... Ты зачем на базар?

Андрон сказал.

— Косы? Ну как раз их и надо. Слышишь? Их и надо. Запиши, Гаврюшка сказал — их надо! Ах, еловая твоя голова!

Гаврюшка, видимо, был в восторге от чего-то; он ухарски заломил шапку, распахнул кафтан и, идя впереди Андрона, бойко раздвигал толпу, пересмеивался с девками и бабами, встречал на ходу в чужие разговоры, беспричинно улыбался и радовался. Около телеги с привязанною мышастою коровой он остановился.

— Причаливай! Дядя Фрол, можешь ты вот эфтово мужика кобылу соблюсти? Приятель мой, гарденинского старосты сын. Можешь, елова голова? Ты прямо говори.

— Нет, нет, нечего и толковать, и не толкуй, Гаврила, — скороговоркой забормотал дядя Фрол, маленький, тщедушный мужичонко, точно с головы до ног обсыпанный толченым углем, — так он был грязен, смугл и черен.

— Корову продам, уйду от телеги — как быть?

— Дядя Фрол! Дядя Фрол! Погоди ерепениться... Девка с тобой?

— Что ж, что со мной? Девку не привяжешь к телеге, не привяжешь, не привяжешь. Вон сидит — зубы скалит, а чуть что, подол в зубы, и поминай как звали. Что ты мне девкой суешь?

— Стой! Желаешь кошушку, елова голова? Запиши: Гаврюшка сказал — кошушку!

Дядя Фрол заметался:

— А ты думаешь, чтó... ты думаешь, я твоей косушки не видал? Сделай милость, привязывай. Пушай сено жует, пушай жует. Эй, Алёнка! Уйду лыки покупать — шагу не смей отходить от телеги... шагу, шагу. Привязывай, привязывай, малый, я достаточно понимаю эфти дела.

Андрон привязал кобылу, захватил ей побольше и получше сена из вяхиря. Он был мужик хозяйственный и не любил упускать своего. Гаврюшка ударил его по плечу:

— Ну, а теперь зальемся мы, елова голова, в трактир, парочку пивца ковырнем.

Андрон так и оторопел от этих слов, даже оглянулся, не случился бы поблизости кто-нибудь из гарденинских и не услышал бы.

— Что ты, что ты, очумел, что ли?..— сказал он.— Батюшка узнает, он те такие трактиры покажет.

— Ловко! Ай да сказал словечко! Стало быть, дядя Веденей за семнадцать верст видит? Ну-ка, ну-ка, нечего калянитья, пойдём...

Гаврюшка ухватил Андрона под руку и поволок к трактиру. Тот упирался, бормотал, что сроду и не был, и ходу не знает, и пива не пивал, и, боже избави, родитель дознается... Но, упираясь и отговариваясь, ужасно желал побывать в трактире. Он был не особенный охотник до водки, но ему хотелось поболтать-ся на народе, поглядеть, послушать речей, посмотреть на машину, которая отжаривала так, что ее было слышно и теперь, шагов за сто от трактира. Это было очень заманчиво и любопытно для Андрона. Кроме того, от Гаврюшкиной бойкости и восторга его точно подмывало, и весело было ему с таким бывалым и удалым парнем, как Гаврюшка. Однако у самых дверей трактира он испугался, что надо будет платить деньги, да еще кто ее знает сколько, и решительно остановился.

— Очумелый! — сказал он.— У меня и денег-то всего на три косы, да баба парнишке на бублики дала пятак. Из чего я тебе буду расходоваться?

— Денег? У нас, брат, завсегда хватит. Понял? Запиши, Гаврюшка сказал: денег завсегда хватит. У, елова твоя голова! — и Гаврюшка потряс карманом, где звенела мелочь.

В трактире голова закружилась у Андрона. У накрытых прилитыми скатертями столов сидели, пили, курили сигарки, кричали, заводили песни. Проворные люди в белых рубашках сновали туда и сюда, ловко виляя между народом, звякая посудой, разнося чайники, чашки, графинчики, откупоривая бутылки с медом и пивом. И временами, покрывая весь шум, гудела машина: «Не белы-то снежки во поле забелилися...» Гаврюшка занял стол у самой машины и спросил пару пива. Андрон уставился на медные трубы, на валы с крючочками, на колесо, которое вертел вспотевший оборванный мальчишка. Уставил глаза, вслушивался в хитрые колена музыки и блаженно улыбался, приговаривая: «Ишь, ишь, окаянная, выводит... Ах, шут те расшиби со всем с потрохом!»

— Эка невидаль,— сказал Гаврюшка, презрительно кивнув на машину, — ты бы, голова еловая, в городе Ростове поглядел. Там машина. Иная, дьявол, прямо с избу. И тут вон колесо, а там не балуйся, сама разделявает. Велишь эдак, побежит половой, сунет железной штукой в нутро, повертит, повертит... она и почнет откалывать.

— Сама собой?

— А то как же! Прямо повертит и уйдет, а она и громыхает в свое удовольствие. Забавно поглядеть. Ну-ка, Андрон Веденеич, действуй... ополаскивай посуду!

— Ох, малый, чтой-то кабыть не пригоже.

— Чего... не пригоже?

— Да как же: сидим мы с тобой словно на свадьбе, а человек бегаёт вокруг нас. Словно господа!

— У, посмотрю на тебя, какой ты мякинник... Вали! Нонче, брат, что мужик, что барин — все единственно. Эй, малый! Прислуга! Тащи-ка колбасы на закуску да кренделей фунтик. Пошатывайся, елова голова!

Выпили пару, еще спросили пару и выпили. Ели колбасу, крендели, спросили чаю, в чай подлили сантуринского вина и потягивали себе не спеша. Всем распорядился Гаврюшка. Андрон рассоловел, забивал за обе щеки крендели и колбасу, отпустил украдкой пояс, чтобы побольше вошло еды, утирался платком и пристально слушал, что говорил Гаврюшка. А Гаврюшка говорил вот что:

— Из нашей деревни трое идут, из Прокуровки — двое, один боровский обещался... Да сказать тебе на ушко — из ваших шурин Гараська, должно, надумается. Уж говорено. Коли ты соберешься, вот нас и артель, елова голова. Эй, собирайся, Андронка! Места — рай, умирать не захочешь. Запиши, Гаврюшка говорит: умирать не захочешь. Вот пойдем — все Русь, все Русь... А там хохлы попрут, что ни яр — слобода, что ни левада — хутор. Сплошной хохол с самого Коротояка. Завалимся, господи благослови, за хохлов, казак пойдет, эдакие села, станицами прозываются... а там уж гуляй до синего моря: все степь, да ковыль-трава шатается, да камыш шумит на Дону-реке. Эй, собирайся, елова голова!.. Я сам впервой робел. То да сё, да оборки не свиты, да лапти разбились, да онучи не высохли... Такой же был мякинник. Но вот сходил... два раза, паря, отзваниваю: лапти расшиб, в Ростове вытяжки сторговал: смотри, сафьяном оторочены. Чего пужаться. Артелью пойдем. А до чего дело коснется — я все места-притулины знаю: где ночь ночевать, где день скоротать, куда стать на работу. Сделай милость! У хохлов, может, самую малость покосимся, и то ежели прохарчимся в дороге. Да где прохарчиться! Ежели по трешнице на рыло — смело хватит вплоть до Ростова. Ну, а как ввалимся в казаки, сейчас я вас на место ставлю. Запиши: ставлю на место. Где цена дороже, там и поставлю. И вот какие дела, братец мой: придет суббота, подставляй подол — прямо тебе казак пригоршнями серебра насыплет... У них не балуйся, у них — все серебро. А в воскресенье в станицу, на базар, а с понедельника опять идешь где лучше. И-их, сторонушка разлюбезная... Харчи ли взять... Понимаешь ли, Веденеич, ржаного хлеба звания не слышать. Все пирог, все пирог... каша с салом, а ежели масло в сухие дни, так невпроворот масла нальют, окромя того — ветчина, водкой поят которые... Одно слово — казак, в рот ему дышло! Ну, скажешь, стой, Гаврюшка! Ну, сошла трава, стога пометали, убрались, что тогда-то мы станем делать?.. Ах, разудалая твоя голова! А пшеничка-то матушка? Мы траву подваливаем, а она зреет, колышется, разбегается, конца-краю не видно. Жни, коси, молоти вплоть до самого успенья... да что до успенья — хоть до заговенья работы найдется. Набивай кошель — и шабаш.

— Ана и на Графской, случается, хорошие бывают заработки, — нерешительно возражал Андрон.

— У, обдумал! У, елова голова, слово высидел! Там, понимаешь ты, кто? Там ты прямо — барин. Ну-ка, скажи мне казак грубое слово... я прямо, господи благослови, наплюю ему в морду и пойду себе в другое место. Али хлеб не хорош, али пшено не чистое... Да за всякий пустяк я на него холоду нагоню. А что касательно, как в наших местах, в рыло залезать, да там и не слыхано такого озорства. Там прямо это считается за разбой.

— Купцы и у нас мало дерутся, — сказал Андрон, — это у господ точно есть привычка: наш управитель первым долгом по зубам норовит... А купцы не так чтобы драчуны.

— Рассказывай! Вот ты мне будешь рассказывать, елова голова, когда у меня и посейчас рубец на спине: купца Мягкова приказчик нагайкой полыхнул. Ну, да что об этом толковать!.. Ну, ладно, будь по-твоему — выпадет урожайный год, и здесь заработки найдутся. Так? Ладно. Но вот что я тебе, паря,

скажу: и-их, да и опостылела же своя сторона! Я правду скажу: меня тянет в казаки. Воля, братец ты мой! Развязка!.. Ты смекни, запиши: правду говорит Гаврюшка. Чтó набилось народу в наших местах, чтó деревень, чтó тесноты... Куда ни повернись — чужое, да не твое, да господское, да соседское... Ой, кабы кому на ногу не наступить! А какой ты есть человек в своей деревне? Захотели тебя выпороть — выпороли, захотели по морде съездить — съездили, волостной катит — пужаешься, барин мчится — поджилки трясутся со страху. Ну что за жисть? Братнин телок наемни в барском пруду напился, — штрах, руп-целковый! Да провались он с целковым, — скучно, елова голова! Вот я о чем говорю. И-и, такая-то, братец мой, скука — смерть!.. Ну, поработал ты на Графской, — ну, хорошо... Да ведь поработал неделю — опять в деревню воротиться... ну, дом проведать, хлеба взять... А тут волостные, а тут сборщики, сотские, десятские... Ах, тоска! Ах, скука! Глянешь в поле — межнички да межнички, да кабы, сохрани господи, барский овес не потравить...

— У нас этого нету, у нас вольготно насчет кормов.

— Погоди, нажмут и вам холку! Это вот пока управитель-то бога помнит...

— Помнит он, разрази его душу! — внезапно озлобься, сказал Андрон.

— Ну, вот! Ну, вот! О чем же я и говорю, елова твоя голова?.. Но завались ты на низы — ты и думать забыл, какой такой барин и какая потрава. Шапки не ломаешь, колокольцев не слышишь. Ходи браво, добрый молодец, гляди весело! Коли хочешь — кланяйся, запрет не положен, — кланяйся синему морю, бойся высокой травы, опасайся, — камыш шумит, гуси, утки гогочут в низинных местах. Эй, собирайся, елова голова, уламывай родителя! Принесешь к Кузьме-Демьяне сотенный билет... Запиши: Гаврюшка сказал.

— Уломаешь его, дожидайся! У нас в дому — сапог не справишь, а не то что отпустить в казаки. Вот четвертый год оболонки-то ношу, — и Андрон выставил из-под стола заплатанный порыжелый сапог и презрительно поглядел на него.

— Ой ли? Строг родитель?.. Ну, уж не знаю. Мой тоже куды был строг покойник, но я по-свойски с ним разделался. Не хочешь отпускать по добру? — Нет. — Отделяй, коли так! Туда-сюда, иди, говорит, на все четыре стороны в чем из матери вылез... Ой ли, старый кобель? А ну-ка, сбивай сход, — ну-ка, старички, рассудите по-божьему... Да прямо, елова голова, старикам ведро в зубы. И рассудили: Гаврюшке — клеть рубленую, Гаврюшке — мерина да стрыгуна, Гаврюшке — пяток овец, ржи на посев, кладушку овса. Ничего, я по-свойски разделался с родителем.

— Ну, у нас эдак не выгорит. У нас и слухом не слышать, чтоб от отца самовольно отделяться.

— А ты попытай. Отделишься, вот и будет слышно. Выгонит, старики не возьмут твою руку — наплевать! У тебя что: парнишка один, говоришь? Бабу на хватуру своди, а сам — айда в казаки. Воротишься — сразу избу справишь. Запиши: Гаврюшка сказал — избу справишь. На дорогу-то наколотишь трешницу?

— Гляди наберется, — нехотя сказал Андрон. — У меня, признаться, с мясоеда пятишница в портках защита: от овса, признаться, утаил.

— Ну, вот и дуй, разудала голова! Развязывай свои дела, да ко мне. Только как ни можно скорей: в середу беспрременно выходить надо. И так, шут ее дери, к поздней траве придем: заворошились у меня кое-какие дела — не поспел я вовремя артель сбить. Ну, не беда, на пшеничке заработаем... Так как, Андрон Веденеев, говори толком, идешь?

— Ты постой. Ты мне Расскажи все по порядку: как собираться, что брать, нужно ли билет выправить из волостной...

— А первое дело, елова голова, бери ты с собой косу... — И Гаврюшка начал обстоятельно, по пальцам, перечислять Андрону, что требуется, чтобы

идти «в казаки». Андрон слушал, не отводя глаз, разгоряченный пивом, чаем, едою, а еще того больше речами Гаврюшки, протяжным завыванием машины, народом, снующим туда и сюда, и неясным, но соблазнительным призывом где-то далеко, далеко... у синего моря.

Перед вечером, купивши вместо трех только одну, но зато удивительно хорошую косу, Андрон воротился домой. Хмель от вина совершенно прошел в нем, но зато хмель того, о чем он думал и что собирался делать, туманил и мутил его голову.

Веденей был поставлен сельским старостой еще с того времени, как вводилось «Положение». Когда были крепостные, он находился в милости у Мартина Лукьяныча, случалось, и тогда хаживал в старостах и барские интересы наблюдал строго. А с виду казался ласковым, добродушным старичком, шамкал хорошие слова, приятно улыбался. По старой памяти он и теперь чуть что — схватывал свой посошок и бежал торопливою рысцой за советом к управителю, и что управитель приказывал ему, то он и делал.

Подъехав к воротам, Андрон слез, ввел кобылу на двор, спутал ее и выпустил на гумно, на траву. Потом взял под мышку косу, взял связку кренделей и пошел к себе в клеть. Дверь была отворена в клетки, там Андропова баба возилась в сундуке, перебирала холсты. Андрон спрятал косу, положил бублики на кровать, сел, начал болтать ногами. Баба вполоборота посмотрела на него.

— Что долго ездил? — спросила она.

— Не твоего ума дело, — сказал Андрон и, помолчавши, спросил: — Где батюшка-то?

— А кто его знает. Поди, с стариками на бревнах сидит. Делов-то им немного.

— А брат Агафон?

— К сватам ушел с невесткой. Повадились, шляются каждый праздник.

— А Микитка где?

— На барском выгоне, за телятами батюшка свекор услал. Что я тебе хотела поговорить, Веденеич, ты погутарь с батюшкой свекром. Вот только что дядя Ивлий ушел: выдумали моду два раза на неделе полы мыть. Нам это непереносно. Чтой-то на самом деле?.. И так загаяли, на улицу стало нельзя показаться. Нонче солдатка Василиса так прямо и обозвала управительевой сударкой... Ты, чать, муж.

— Ну, ты, помолчала бы. Ведь только языком виляешь, сволочь, а сама небось до смерти рада.

Баба выпрямилась, стала креститься и клясться:

— Да разрази меня гром... да провалиться мне в тартарары... да чтоб мне не видать отца с матерью...

— Ладно, ладно. Замолчи.

Но баба уже всхлипывала:

— Чтой-то на самом деле?.. Батюшка свекор понуждает, люди смеются. Василиска проходу не дает — лается... а тут и ты взводишь напраслину.

— Замолчи, говорю.

— Чего молчать? Не стану молчать. Я за тебя из честной семьи шла. Я думала, ты путевый... А ты за жену заступиться не можешь. Какой ты мне, дьявол, муж?.. Старый кобель распоряжается, а вы рта не смеете разинуть... Маленькие жеребцы! Сука невестушка в гости повадилась... ей все ничего, все ничего!.. Аль я слепа... аль я не вижу — Агафоска глаза себе прикрывает, будто не видит, — беззубый шут к Акульке подлаживается...

Андрон не спеша встал и ударил жену по уху. Свалился повойник, баба с причитаниями нагнулась подымать его, другою рукой собирала растрепавшиеся косы. Андрон сел и смотрел на бабу равнодушным оком. Та оправилась и, всхлипывая, бормоча невнятные слова, принялась вновь перебирать холсты.

— Ты вот что, — сказал Андрон, — завтра на барский двор не ходи.

Баба так и выпрямилась и большими глазами посмотрела на мужа.

— Ты очумел? — выговорила она. — А батюшка-то?

— Это уж не твое дело. Я сказал — и кончено. А там не твое дело! — и, помолчав, добавил: — Завтра в волостную пойду, билет надо выправить. — И еще помолчавши, сказал: — В казаки уйду, на заработки.

— Да ты во хмелю, Андрюшка!

— Ишь не во хмелю, а ты слушай, что говорят. Чтоб прямо к авторнику были бы чистые портки, рубаха, онучи... да лепешек напеки поболее. В среду, господи благослови, выходить надо.

— Ей-богу, ты натрескался! Да он те, батюшка свекор, такие казаки задаст — до новых веников не забудешь! Аль не знаешь его ухватку?

— Не отпустит, скажешь?

— Ну, посмотрю на тебя — дурак ты, Андрон! Да какой же полоумный отпустит?

— А отчего, спросить у тебя?

— Оттого — отродясь не слыхано! — Баба еще хотела прибавить, отчего не отпустит, но рассердилась. — Тьфу, да оттого, что ты дурак! — крикнула она.

— Поговори, поговори, может я тебе еще шлык-то сшибу, — и Андрон сделал вид, что приподымается. Тогда баба испугалась и опять захныкала:

— Чтой-то, господи... аль я сиротинушкой на свет родилась!.. На кого ж ты меня покидаешь, Андрон Веденеич?.. Ведь Акулька-то меня поедом съест. Куда мне притулиться? Куда деться?.. Занесет тебя в дальнюю сторонущку — воротишься ли, нет ли... ни я — вдова, ни я — мужняя жена! Как мне будет жить-то без тебя, как мне горе-то горевать? И с мужем тошнехонько, а уж одна останусь — прямо топиться впору.

— Овдотья, — строго сказал Андрон, — ей-богу, изволочу как собаку! Замолчи!

Авдотья, подавляя охоту поголосить, опять наклонилась к сундуку.

— Ты слушай, коли в своем уме, — продолжал Андрон, — я с тобой не токмо лаяться — совет желаю держать. Я так порешил: идти на заработки. Гараська Арсюшкин идет, зять его из Тягулина — чать, знаешь Гаврилу, двое прокуровских, боровской один, тягулинских еще трое, окромя Гаврилы, — артель человек десять. Поняла? Заработки, одно слово, вот какие: подставишь подол — казак тебе полон подол серебра насыплет. Это уж верно. Теперь что мы живем? Не то в батраках, не то в полону у родителя... А приду я с заработков — свои деньги, свой и разговор начнется.

— Это хоть так, — сказала Авдотья и закрыла сундук, села, с оживленным и повеселевшим лицом стала слушать Андрона.

— А не отпустит — прямо отделяться. Нечего тут с ним груши околачивать.

— Ох, Андрюша, непутевое ты задумал! Отделиться — это что говорить, это хорошо. С ними, чертями, жить — только надорвешься... А уж страшно что-то! Ну-кася в чем мать родила выгонит?

— Ну, это еще как старики, — и Андрон рассказал ей случай с Гаврюшкой. — А иное дело наплевать. Прямо ты ступай с Игнаткой к родительнице. Лето проживешь, а я ворочусь — избу справим.

Авдотья задумалась: мысль о том, чтобы жить своим хозяйством, и ранее представлялась ей, но теперь соблазняла ее все более и более.

— Это хоть так, — роняла она по словечку, — я у мамушки сколько хочешь проживу... Брат Андрей до меня желанен... К чему дело доведись, пожалуй, и пеструю телку отдадут... Буду наниматься вязать, на жнитво, может на Графскую уйду, — все, глядишь, заработаю какую копейку, — и вдруг решительно закончила: — Ох, Андрон Веденеич, и опостылела мне

жисть в батюшкином дому! Авось, бог даст, справимся. Все равно — ты уйдешь, мне тут не жить... загают, запрягут в работу — доймут!

— Теперь вот какое дело,— сказал Андрон,— надо будет стариков попоить. Гараська с отцом, знаю, и без водки потянет на нашу руку... Ну, батюшка теть... Ну, ежели положить Нечаева Сидора — он за сестру, за Василису, здорово сердает на родителя. А тех беспрременно надо попоить. У тебя есть деньги-то?

Авдотья потупилась.

— Какие же у меня деньги, Андрон Веденеич? Разве что за ярлыки?.. Ярлыков-то, гляди, целковых на шесть наберется, да вот когда по ним расчет? Да ты, никак, был онóмнись нáвеселе, говорил, от продажного овса...

— Тсс! — цыкнул на нее Андрон и боязливо посмотрел, нет ли кого около клетки.— Мало ли что во хмелю нахвастаешь! Ты вот что, девка, не сходить ли тебе ноне в контору, не попросить ли расчета по ярлыкам? Ну, скажешь, нужда, то да сё, авось разочтут. А то и такое еще дело: завозимся мы с родителем, нажалуется он управителю, гляди, и совсем пропадут твои ярлыки. Им ведь, чертям, это ничего не стоит.

— Я схожу... Я, пожалуй, схожу, Андрон Веденеич. Только я вперед тебе говорю: напраслину не возводи. Я тебе чем хошь поклянусь... Лопни мои глаза... разрази мне утробу... чтоб мне ни дна ни покрывки не было, ежели я пред тобой виновата. Чья душа чесноку не ела, та не воняет, Андрон Веденеич.

— Ну, да ладно, ладно. Смерть я не люблю, как ты почнешь языком петли закидывать!

Заскрипели ворота, пришел младший брат Никита (еще холостой), пригнал телят.

— Невестка Авдотья!.. А, невестка! — закричал он.— Иди телят поить! — и подошел к клетки.— Аль приехал,— сказал он Андрону,— косы купил? Ну-кась, покажи.

Андрон лениво поднялся с места.

— Одноё купил,— сказал он, почесываясь.

— Что так?

— Да чего зря тратиться? Старые послужат.

— Ну, малый, смотри, кабы тебя батя-то того... вожжами! — Никитка присел на порог клетки, оглянулся туда и сюда и закурил трубку. Авдотья пошла выносить пойло телятам... — Ты бы, брат, уладил как-нибудь насчет бабы,— сказал Никитка,— давеча сцепились с Василисой — стыда головушке! Неладно эдак-то. И Акульку попрекает и твою. Да и взаправду, какую моду обдумали: только из нашего двора и гоняют управителю полы мыть. Кому не доведись — нехорошо. Чать, я жених. Намедни на улице ввернул было словечко Груньке Нечаевой, а она, сволочь, как меня ошарашила: я, говорит, полы мыть не горазда, у нас — земляные. Стыдобушка!

— Ведь при тебе говорил батюшке, аль не помнишь, что было...

Никитка вздохнул и сказал сквозь зубы:

— Н-да, нравный старик,— и, помолчавши, сказал: — Меня давеча ни за что ни про что за виски оттрепал. Посыкнулся я было про шапку ему сказать, про крымскую¹. Ну, сам посуди: собирается женить, а у меня крымской шапки нету. Где это видано? Ну, я и скажи. Чем бы, мол, Акулине новый полушубок справлять, ты бы мне крымскую шапку купил. Авось от двух целковых не пойдешь по миру... Только всего и слов моих было. Как он вцепится в виски... да ведь что — насилу отодрался. Эка, подумаешь, счастье

¹ П о с ы к н у л с я — возымел намерение; к р ы м с к а я ш а п к а — шапка из сизого курпяка. (Примеч. А. И. Эртеля.)

наше какое! Вон у Гараськи отец — пух! Иного и слова не подберешь, что пух. Чего Гараське захочется, то он и творит. А у нас поди-ка...

— Что ж Агафон-то не вступился?

— Агафон-то? Я бы те рассказал об Агафоне, да не хочется... Агафон вилять мастер, вот что. Он тебе так запутает языком, того наплетет — и не разберешь: то ли направо клонит, то ли налево... Самый скрозземельный человек.

— Ты говоришь — шапку, — сказал Андрон и, выставив ногу, презрительно посмотрел на сапог, — вот четвертый год донашиваю... Сколько запласт! Сколько прорех на голенищах! Но у него на это один ответ — вожжи.

Никитка промолчал, крепко затынулся и сплюнул сквозь зубы.

— Ты вот что, Микитка, — вдруг решительным голосом выговорил Андрон, — я отделяться хочу. Берешь мою руку аль нет?

Но не успел Никитка опомниться от этих неожиданно ошеломивших его слов, как скрипнула дверь с улицы и старческий голос Веденей задребезжал: «Приехал, что ль, Андронушка? Ну-кася, покажи, косы-то!» Никитка сунул трубку за голенище, вскочил, закричал на телят, побежал к Авдотье, стал помогать выносить пойло. Андрон для чего-то подтянул пояс, медлительно переступил через высокий порог клетки, остановился, не подходя близко к старику, и сказал:

— Косы я не купил.

— Как так не купил?

— Да так, не купил, и все тут. Старые хороши.

— Э! Да ты, никак, налопался? Подь-ка сюды!

— А чего я там позабыл? Коли есть что говорить, говори: я отсюда услышу.

— Ах, идиолов сын! Да ты что ж это задумал?.. — Тщедушный старишка со всех ног бросился к Андрону. Но тот только того и ждал: он оборотился спиною к отцу и, громыхая сапожищами, мешкотно побежал в отворенные ворота на гумно. Старик позеленел от злости. — Подь, говорят, сюды! — кричал он. — Тебе говорят аль нет? — и оборотился к Никитке: — Ты чего зенки выпялил?.. Беги, волоки его сюды! — Никитка бросил выливать из лохани и с деловым видом отправился на гумно. Веденей накинулся на Авдотью: — Это ты, паскудница, подбила Андрошку?.. Это ты все смутьянишь, кобыла лупоглазая?.. Говори, чего нашептала?.. Сейчас у меня говори!..

— Чтой-то, батюшка!.. Да лопни мои глаза... да вывернись у меня утро-ба... да чтоб мне отца с матерью не видать...

Никитка показался в воротах.

— Разве с ним совладаешь? — сказал он, не подходя к отцу и почесывая в затылке. — Он уперся, его народом не стащишь с места, — и добавил, махнув рукою: — Э-эх, стыдобушка!

— Ты что сказал? Ты что, щенок, сказал? — заголосил старик и заметался. — Да вы что ж это, душегубцы, задумали?.. Где у меня тут вожжи-то?.. Дунька! Поддай вожжи из амбара... Ах, ах... чего это пес Агафощка запропастился!.. Веди, я тебе говорю! Силком тащи!.. Бей чем ни попада!..

— Чего меня тащить, я и сам вот он, — сказал Андрон, показываясь в воротах. — Я тебе прямо, батюшка, говорю: Авдотья мыть полы не пойдет. Шабаш!

Веденей взвизгнул и с вожжами в руках побежал к Андрону. Андрон опять поворотил спину и мешкотно загромыхал сапожищами по направлению к огородам. Никитка крикнул, еще раз почесал в затылке, насутился и стал загонять телят в закуту. «На всю деревню сраму наделаем, — прошептал он Авдотье, — какая теперь за меня пойдет?» — Авдотья ничего не ответила; каждая жилка в ней дрожала; мигом она скользнула в клеть, схватила шушпан, схватила ярлыки, завязанные в уголке платка, и, не оборачиваясь

на пронзительный Веденеев голос, перебежала сени, выскочила на улицу, потрусила рысцою на барский двор. Веденей возвращался с гумна сам не свой,— Андрона он, конечно, не догнал, и кашлял, брызгался слюнями, с трудом переводил дыхание. Никитка пасмурно, исподлобья посмотрел на него, стоя у закуты. Старик так и взбеленился от этого взгляда. Он затопал ногами, закричал на Никитку: «Ты, щенок, заодно с Андрешкой... Сговорились!.. Порешить меня хотите... кхи, кхи... Не биты... не драты на барской конюшне!.. Погоди, погоди... узнаешь уже кузькину мать... кхи, кхи... узнаешь!.. Дунька!.. Где Дунька? Нырнула, псица!.. Ахти, живорезы окаянные... кхи, кхи, кхи...» Он совсем закашлялся и присел на опрокинутую вверх дном лохань. В это время в воротах опять показался Андрон; лицо его было озлобленно и налито кровью. «Коли на то пошло — отделий,— заорал он грубым голосом,— подавай мою часть! Не хочу с тобой жить... Достаточно на тебя хрип-то гнули... Отделий!»

Старик, как уязвленный, вскочил с лохани. Андрон снова застучал сапожищами, припускаясь бежать на огороды. Но с улицы слышались голоса, воротился из гостей Агафон с женой. Старик пошел к ним навстречу. «Бьют, Агафонушка,— зашамкал он плачущим голосом,— убить сговорились разбойники... Вдвоем, Агафонушка!..— и вдруг мимоходом сшиб с Никитки шапку и ухватил его за волосы.— А!.. Убить... родителя убить? — визжал он, мотая туда и сюда Никиткину голову.— Я тебе покажу!.. Я тебе задам... я тебе покажу!» Агафон остановился в дверях, раздвинул ноги и улыбался: он был навеселе. «Так его! Эдак его!..— приговаривал он в лад с тем, как моталась Никиткина голова.— Как можно супротив родителя? Родитель, примерно, сказал — ты завсегда должён повиноваться. Эдак-то!.. Так-то!»

Наконец Никитка вырвался, поднял шапку и заплакал. Андрон же тем временем пребывал у тестя и рассказывал охающей и негодующей Авдотьинной семье, как произошло дело.

Вечером, сначала в старостиной избе, а потом и на улице, на соблазн и потеху всей деревни случилась большая свара. Андрон требовал отдела, старик выгонял его вон и грозился отдать «за непокорство» в солдаты. Андронову руку держала Авдотьяна родня: старик отец, брат Андрей. Они, впрочем, пока еще не особенно вступались и только осторожными, приличными словами урезонивали Веденя. Но Веденей окончательно впал в бешенство; он во что бы то ни стало хотел побить Андрона и так и ходил вокруг него, как разъяренный петух.

Однако Андрон, стоя посреди избы и зуб за зуб выкладывая свои претензии, пристально следил за стариком и всякий раз успевал отводить его руки. Один только раз старику удалось прицелиться в Андронову бороду, подпрыгнуть и рвануть ее... Андрон ухватил отцовскую руку и внушительно закричал: «Не тронь, батька, отойди от греха!» Тем не менее в крючковых пальцах Веденя очутился клок красно-рыжих Андроновых волос. Вид этих волос точно взорвал Авдотью. С бранью, с клятвами, с криком: «Чтой-то такое? Ты, старый пес, уж при людях лезешь драться?» — она вмешалась в ссору. И пошло! Агафонова жена заступилась за свекра. Авдотья накинулась на Агафонову жену. Кричали о полушубке, о каких-то поярках, о краснах, об управителе, о том, что свекор «подлаживается» к Акулине, об опоенной пестрой телушке, о подковке, потерянной в прошлом году Андроном... Ребята плакали, хватались за матерей.

— Бей их, Агафошка! — голосил старик.— Колоти в заслонку, Акулька!.. Провожай со срамом на всю деревню!

Напрасно в общем шуме раздавалось трезвенное слово Авдотьяна отца: «Сват... а сват! Неладно. Уймись! Не гневайся. Брось, Дуняшка!.. Потише, Андрон!» — его никто не слушал.

— Что ж,— проговорил Агафон на отцовские слова,— коли человек, например, стóбит, отчего его и не побить? Кто чего стóбит, тот стóбит,— и хладнокровно, с обдуманым заранее намерением, опустил свой волосатый кулак прямо в лицо Андрону. Андрон отшатнулся, думал стерпеть,— ему ужасно не хотелось доводить дело до драки: он надеялся, если не будет драки, старики скорее станут на его сторону. Но в это время Авдотья завизжала и, как кошка, прыгнула на Агафона. Акулина сбила повойник с Авдотьи... Этого никак не мог стерпеть Андрон. Завязалась драка. Веденей бегал вокруг сцепившихся сыновей и снох и совал своим костлявым кулачишком то в Авдотью, то в Андрона. Авдотьян брат посмотрел, посмотрел — бросился и сам в драку. Все сплетенною грудой вывалились сначала в темные сени, потом на крыльцо, на улицу. Ребятишки давно уже смотрели в окна и оповестили на все концы, что у старостиных драка. Теперь и взрослые сбежались на шум. Акулина родня тотчас же вмешалась в дело; у Авдотьи, кроме брата Андрея, тоже нашлись заступники. Впрочем, драться скоро перестали, а стояли друг против друга в разорванных рубахах, с синяками, с подтеками на лицах, с разбитыми в кровь носами, бабы с криво и наскоро повязанными повойниками,— стояли и размахивали руками, горланили, хватались «за-пельки», попрекали, ругали друг друга всяческими словами. Кругом стоял народ. Судили, делали шуточные замечания, пересмеивались. Можно было заметить, что глумились больше над старостою, чем над Андроном и Авдотьей: Веденей недолюбливали в деревне. Забравшись в самую тесноту толпы, стоял и Никитка. Девки смеялись ему: «Ты чего ж, Микитка, зеваешь? Вон брательнику твоему рожу-то как искровянили!» — «Пушай,— говорил Никитка с видом постороннего человека,— мы эфтим делам не причастны».

Поздно ночью Андрон с женою и парнишкой, захватив кое-какую ху-добишку — дерюги, зипуны,— ушел к тестю.

VIII

За чаем в доме Рукодеева.— Степной миллионер, исправник и Филипп Филиппыч Каптюжников.— Невинные беседы, в том числе — о государственном преступнике Мастакове, и как строится земская дорога.— «Постучим, господа!» — Явление Николая.— «Прибежище горьких дум».— Стуколка, Анна Евдокимовна, таинственные прогулки и скандал.— Исповедь.— Счастливый Николай и благополучный Федотка.

В столовой дома, по убранству и расположению комнат схожего с господскими домами средней руки, сидели и пили утренний чай: Косьма Васильич Рукодеев; жена его — чопорная и некрасивая, с пронизательным выражением в умных, узко прорезанных глазах; исправник из соседнего уезда, добродушный толстяк, низенький, коренастый, с брюшком, трясущимся от непрерывного смеха, и в расстегнутом мундире; молодой человек с прыщами на лице, с клочковатою рыженькою бородкой, сын небогатого помещика, и широкий в кости, обросший волосом арендатор с Графской степи, в поддевке и сапогах бураками. Наливала чай гувернантка — долгоногая, долголицая, мучнисто-белая особа с талией как у осы. Поближе к самовару сидели дети: три девочки и мальчик. Взрослые, кроме гувернантки, недавно встали, потому что вчера поздно легли: до четырех часов играли в стуколку. Говорили о Тьере, о казнях коммунаров, о том, что лен поднялся

в цене, о том, как наживается подрядчик недавно начатой железной дороги и какая будет выгода земству, взявшему концессию на эту дорогу, а главным образом о том, как вчера ловко подвел Исай Исаич, арендатор, исправника Сергея Сергеича. «Я вижу, у него, шельмы, туз и дама,— с оживлением рассказывал Косьма Васильич,— так сказать, по физиономии примечаю. Уж в этом случае я — Лафатер! И вдруг у тебя (к исправнику) король и валет, и ты ходишь с валета. Ну, думаю, сумеет ли Исай произвести анализ? А Филипп Филиппыч (молодой человек с прыщами) сидит в трансе, трясется с своими козыришками. Бац! Исай выкладывает даму, и вам обоим ремиз». — «Ха, ха, ха! — раскатывался исправник, поддерживая руками живот. — Именно — произвел анализ! Именно — химик Исай Исаич!» — «Хе, хе, хе!» — подвизгивал арендатор, плутовски подмигивая Сергею Сергеичу на молодого человека в прыщах. Тот хмурился и презрительно кривил губы: он проиграл тридцать два с полтиной и теперь притворялся, что подобный разговор его нимало не интересует. Хозяйка любезно обратилась к нему:

— Вы, Филипп Филиппыч, вероятно, редко играете в стуколку? Вы очень горячитесь.

— Странно было бы, Анна Евдокимовна, ежели бы я играл часто,— язвительно ответил молодой человек с прыщами,— я, кажется, przygotowляюсь в университет. Эксплуатировать человечество посредством картежной игры, кажется, не входит в задачи высшего образования.

— Ну, не знаю, во что оно там входит, но я отлично себя чувствую... Ха, ха, ха! — Исправник похлопал себя по карману.

— Надо полагать, полусотенный билетик заработали, Сергей Сергеич? — умильно спросил Исай Исаич.

— В деревне, голубчик Филипп Филиппыч, поневоле станешь играть,— как бы извиняясь за себя и за компанию, сказал Косьма Васильич,— конечно, я беру в рассуждение наши идеальные порядки. Позвольте узнать, как тут будешь служить прогрессу вот с этими, так сказать, башибузуками? — Он шутиво ткнул в исправничий живот. Исправник так и покатился.

— Ха, ха, ха!.. Именно — башибузуки, именно — ловко сказал! Я, батенька, сижу на днях в клубе,— пулька долго не собирается,— дай, думаю, посмотрю «Голос». У нас в полицейском управлении «Московские» получают... Ну, батенька, я тебе скажу — пальчики расцеловал! Ах, разбойник, как он ловко подъехал под нашего брата. То есть с грязью смешал! Именно с грязью... Ха, ха, ха!

— Как же вы... так критически относитесь к полицейскому институту, а сами носите эти эмблемы? — и молодой человек кивнул на золотые жгуты исправника. Но слова молодого человека уж были совершенно непереносны для толстяка: он затрясся, закашлялся, замахал рукою на молодого человека. Все поневоле расхохотались, и даже сам молодой человек не мог сдержать самодовольной и снисходительной улыбки.

Отдохнув от смеха, Сергей Сергеич хлебнул из стакана и, наивно-хитрою улыбкой давая понять, что собирается уязвить молодого человека, сказал:

— А что, Филипп Филиппыч, какие вы имеете доходы от вашего собственного труда?.. Никаких? Чем же, осмелюсь полюбопытствовать, живете? Папенькиным?.. А тем не менее презираете помещичий институт! Ай, ай, ай, как же это так?.. Нехорошо, нехорошо-с! — и вдруг покинул притворно-серьезный тон и с громким хохотом воскликнул: — Что, ловко, батенька, подъехал под вас? Уланом был-с, понимаю разведочную службу! Ха, ха, ха!..

Молодой человек побагровел до самых волос.

— Это, кажется, сюда не относится, Сергей Сергеич,— сказал он оскорбленным тоном,— это личности. И я удивляюсь, как вы позволяете себе...

Исправник сконфуженно развел руками:

— Ну, вот... ну, вот... и — личности, и пошел! Эдак, батенька, слова с вами сказать невозможно. Господа! Рассудите, пожалуйста, чем я мог оскорбить Филиппа Филиппыча?

Косьма Васильич торопливо вмешался в разговор.

— Ты всякого можешь оскорбить, Сергей Сергеич,— шутиливо сказал он,— такие уж у тебя прерогативы.

— Хе, хе, хе... руки за лопатки и марш без излишнего разговору,— вымолвил Исай Исаич с тою же целью переменить предмет беседы.

— Именно — за лопатки, именно — без лишнего разговору,— повторил исправник, по привычке соглашаясь с тем, что казалось говорившему метким и остроумным, и с виноватым видом обратился к молодому человеку: — Нельзя-с, Филипп Филиппыч; живи не так, как хочется, а как судьба велит. А затем, смею доложить, всякое место можно облагородить.— Он с достоинством тряхнул своими жгутами.— Прежде взятки брали, а я уклоняюсь от этой мерзости; прежде дрались, а я же вот третий год исправником и, благодарю моего бога, ни разу рук не пачкал. Я, батенька, понимаю молодежь... во многом сочувствую, да! Был и сам молод, и всякие там идеи... с благодарностью вспоминаю, батенька! Но вот третий год исправником и горжусь, что облагородил. Это, осмелюсь вам доложить, прогресс!

— Прогресс-то прогресс,— посмеиваясь и толкая под столом молодого человека, сказал Косьма Васильич,— но ежели я, так сказать, распущу прокламацию насчет эдак социального переворота, ты ведь, пожалуй, не усумнишься в кутузку меня свергнуть, а?

— Ну, уж нельзя, батенька, служба! И рад бы, да не могу! Тут, брат, инструкция, циркуляры, строгости... Тут именно ничего не поделаешь. Уж это извини. Скручу, свергну, не посмотрю, что приятель. Я, батенька, присягу принимал.— Вдруг Сергею Сергеичу представилось что-то смешное, он опять развеселился и захохотал: — Знаете Мастакóва? Ведь дурак? Уважаю наших помещиков, но про него всегда скажу, что дурак. Смотрю, что это мой помощник на себя не похож?.. Эдакую таинственность напустил, шепчется с приставом второго стана, в уезд зачем-то отпросился — пропал три дня. Что, говорю, батенька, волнуетесь? Ну, наконец признался. Мастакóв, извольте ли видеть, с мужиками там не ладит, вообще дурак, недоволен эмансипацией. Ну, и какие-то там глупости... При народе... дерзкие слова... одним словом, вздор! Он, говорит, нигилист, непременно надо, говорит, у него выемку сделать. Это у нас-то, в эдаком-то медвежьем углу нигилистов разыскал... ха, ха, ха! Ну, говорю, батенька, извините меня, но подите проспите — и, признаюсь, рассердился: если, говорю, вам угодно карьеру себе сделать, то это еще не причина ретрограда и дурака в государственного преступника превращать!

Все смеялись, один только молодой человек с прыщами хранил на своем лице загадочное и пренебрежительное выражение. Анна Евдокимовна подумала, что ему скучно, и с своею приторно-любезной улыбкой спросила:

— Когда же вы предполагаете поступить, Филипп Филиппыч?

— Зоологию теперь прохожу. Кажется, в августе начну держать экзамены.

— Третий год уж слышу: кажется, в августе начну держать экзамены,— прошептал исправник Косьме Васильичу и прыснул, закрываясь салфеткой. Молодой человек побагровел.— Извините, Анна Евдокимовна,— сказал исправник, давась от усилия сдержать смех,— поперхнулся сухарем.

— Ничего, Сергей Сергеич, запейте чаем, пройдет,— тонко и уж неприторно улыбаясь, ответила Анна Евдокимовна и еще с более преувеличенной внимательностью спросила: — Но с какими же пособиями... зоологию?

Молодой человек пожал плечами.

— Что ж поделаешь!.. Говорил папá выписать некоторые препараты,— не хочет. Приходится патриархальным способом — лягушек режу.

— Да? Но какие надо способности?

Молодой человек сделал вид, что это ему ничего не стоит.

— А я слышал: у лягушки, наподобие как у человека, нервы есть,— вмешался Исай Исаич,— тронешь ее, она и пошевелит нервной, тронешь — и шевельнет.

Все засмеялись.

— Ты слышал звон, да не знаешь, где он,— покровительственно сказал Косьма Васильич.— По лягушкам изучают, так сказать, рефлексы: профессор Сеченов обдумал.

— А шут их... — сказал Исай, отмахиваясь рукою.— Вот хочу Алешку своего за границу отправить. Пущай у немцев ума набирается.

— А что ж гимназия? — спросила Анна Евдокимовна.

— Ну уж нет, сударыня,— вдруг рассердившись, сказал Исай Исаич,— я Алешку коверкать не намерен. Прошел четыре класса,— шабаш, будя! Помилуйте, скажите: я — коммерческое лицо, фирма, поставляю сало в Лондон и вдруг долбон с комиссионерами вожжаться!.. Почему с комиссионерами? Потому родной сын на латынь да на греческий, а что нужно по торговому делу — ни в зуб. Нет, пущай к немцам едет.

Все с живейшим согласием побранили классицизм и поскорбели о том, что все-таки придется отдавать сыновей в классические гимназии. Особенно кипятился исправник.

— Некуда-с! — кричал он.— Единственная карьера, единственный путь для молодого человека!

— Хорошо вам с таким состоянием, Исай Исаич,— завистливо сказала Анна Евдокимовна.

— И, сударыня, какое же наше состояние! У вас, по крайности, вечность, неотъемлемое, в роды и роды, а мы нынче здесь, а завтра — где будет угодно его графскому сиятельству.

— Ха, ха, ха! Каков? Сиротой прикидывается!.. А сколько у тебя, у сироты, земли графской в аренде? — воскликнул исправник, подмигивая слушателям.

— Хе, хе, хе!.. Да, признаться, побольше трех десятков тыщ.

— Не угодно ли!.. А бычков много ли отгуливаешь?

— Пять-шесть тыщ переводим в год.

— Не угодно ли!.. Ха, ха, ха... А овечек, сиротинушка, сколько «тыщ» переводите?

— Десятка три-четыре... Хе, хе, хе... Ну уж и насмешник вы, Сергей Сергеич!

Но Сергей Сергеич пришел в неописанный восторг, вскочил со стула и с хохотом, с криком топтался около Анны Евдокимовны.

— Нет, можете вообразить, каков! Именно — сирота!.. Именно — казанская сирота!.. Полтора́ста тысяч дохода, истину вам говорю — полтора́ста тысяч. Ха, ха, ха! Смотрите ж на него, — ну, похож ли? Ну, похож ли на миллионера?.. Ха, ха, ха!

На подтянутых сухих щеках Анны Евдокимовны проступили малиновые пятна, ее губы начали вытягиваться в ниточку, глаза на одно мгновение остро и злобно впились в Косьму Васильича. Тот завертелся на стуле.

— Женщин обыкновенно не имеют привычки слушаться, Сергей Сергеич,— с ударением на особых словах сказала Анна Евдокимовна,— женщины — ретроградны, женщины — мелочны, наконец, женщины стесняют свободу, то есть мешают некоторым про-грес-сив-ным... (опять острый и злобный взгляд на Косьму Васильича) поступкам. Оттого и приходится ограничиваться небольшими средствами... И приходится калечить Володю (она кивнула на внимательно слушающего мальчика) классическим образованием.

— Аннет! Неловко...— умоляющим полупшепотом сказал Косьма Васильич, показывая глазами на Володю.

Анна Евдокимовна вмиг собрала в порядок лицо и уже с обычною своею улыбкой продолжала:

— Рассудите, господа. Вот строится дорога. Сдаются великолепные подряды. У нас есть некоторая возможность. Твержу Косьме: поезжай к строителю, познакомься, тебе это ничего не стоит, у нас дети, имение дает доход все меньше... Мало этого, прямо писали ему, делали намеки. Рассудите, пожалуйста.

Сергей Сергеич, давно уже впавший в смущение от неожиданного тона Анны Евдокимовны и шумно, с деловым видом прочищавший свой мундштук, теперь встрепенулся и забормотал:

— Да, да, братец, съезди, съезди. Как же это ты, батенька? Именно — съезди! — и вдруг опять что-то вспомнил и с оживленным видом развел руками: — Ну, уж я вам доложу — гра-а-беж! Были у меня кое-какие дела, прожил я там неделю... Да-с, могу сказать, наслушался, посмотрелся. Этот самый строитель, мужик, батенька, представьте, дает бал господам дворянам. Зима, трескучие морозы. Ну-с, находят самый большой зал в городе, докладывают... как его там звать?.. строителю. Жалуется, осматривает. Толпа инженеров за спиною. «Быдто тесновато», — говорит... как его там звать? Инженеры засуетились, измерили, смекнули в записных книжечках: «Точно так-с, оркестр из Москвы поместить негде-с». Тем не менее приглашения разосланы на завтра. «А как бы вы, поштенные, обдумали эфто дело?» — говорит... как его там звать? И обдумали-с. В ночь, с кострами, с освещением, согнали рабочих с железной дороги, соединили залу с холодным помещением, обили войлоками, обставили тропическими растениями. Сколько это стоило, можете вообразить... Ха, ха, ха!.. На чей же счет? Ха, ха, ха!.. Или представьте такой казус: именинник один из тамошних воротил. Ну, прием, поздравления... Вдруг приносят посылку в рогоже. От кого? От... как его там звать?.. от строителя. Развернули, глядят — простое железное из вороненой жести ведро. Именно — ничего более, как ведро. Подходят, осматривают — ведро! Ха, ха, ха!.. Ну, кто-то догадался поднять, чувствует — какая странность, тяжело. Рассматривают опять — жбан для жженки из чистого серебра, подделка под ведро! Уменьшая штучка? Ха, ха, ха!.. А между тем этот воротила так себе, из второстепенных. Да что!.. Можете вообразить: весь город ополоумел. Именно — ополоумел! Шампанское, живые цветы, музыка из Москвы с экстренными поездами. Не веришь глазам. Именно — не веришь глазам.

— Ну как же вы странно судите, Сергей Сергеич? — с досадой сказала Анна Евдокимовна; она все время, пока он рассказывал, нетерпеливо кусала себе губы. — Ведь концессия получена законным порядком? Подряды сданы по документам? А там уж его добрая воля давать балы.

— Именно — по документам, именно — его добрая воля, — торопливо согласился исправник и, сообразив, отчего сердилась Анна Евдокимовна, с живостью повернулся к Косьме Васильичу: — Да, да, батенька, съезди. Как же это ты? Именно — съезди. Можно славный эдакий подрядец ухватить.

— Так сказать, народное благо дуванить, расхищать? — ответил Косьма Васильич, обращаясь к исправнику, но имея в виду Анну Евдокимовну. — Может, это и целесообразно с точки зрения семейственной основы, но мы с этим пока не согласны. Надеюсь, не согласны будем и впредь!

Исай Исаич опрокинул стакан, встал, перекрестился на образ, поблагодарил и сказал:

— Правильно, Косьма Васильич. Разбойники и грабители, одно слово! Чище нашего прасольского и посевного дела нет и не будет. Без обиды. Так, что ль, сударыня? Хе, хе, хе!..

Анна Евдокимовна не решилась противоречить миллионеру.

— Я не знала таких подробностей,— сказала она, натянуто улыбаясь.— Если это действительно так, то конечно...

— Именно — так, именно — разбойники! — с радостью подхватил Сергей Сергеич и, прислушиваясь, неслышно захохотал.— Что он ходит?.. Что он свистит?..

Оказалось, молодому человеку надоело слушать, и он ушел на балкон. Все засмеялись.

— Вот орпей,— проговорил Исай Исаич.

— Балбес! — шепотом сказал исправник.— Говорит — готовится, но сам решительно только за бекасами да за купеческими дочерьми. Именно — балбес. Вы заметили — рожу-то скорчил, как я о нигилистах заговорил? Ведь он себя первым заговорщиком считает... Ха, ха, ха!..

— Ну, зачем же? — уклончиво заметил Косьма Васильич.— Все развитой человек. Почитывает,— и, посмеиваясь, добавил: — зоологию-то... по лягушкам...

Анна Евдокимовна ничего не говорила и только проницательно улыбалась.

— Ну, что ж, господа! — громко и будто вспомнив что-то чрезвычайно важное и не терпящее отлагательства, воскликнул исправник.— Постучим?

— Ишь разлакомился... хе, хе, хе!..

Хозяева с величайшею готовностью согласились.

— А то не хотите ли, в рамс вас научу? — предложил исправник.— Инженеры выдумали. Именно — любопытная игра. Сдается пять карт...

— Ну, ладно, ладно, вы и в старые игры ловко обчищаете... Какой там еще раец! Хе, хе, хе!..

Вошел молодой человек с прыщами и, засунув руки в карманы брюк, мрачно и презрительно посмотрел на сидевших за столом.

— Ну, господа, что-нибудь одно,— сказал он,— или играть, или не играть. А то ведь первый час.

Задвигали стульями, стали подниматься. В это время в двери просунулась горничная — старая, некрасивая, под стать к хозяйке и к гувернантке — и сказала:

— Сударыня, там какой-то человек Косьму Васильича спрашивает.

— Кто такой? Мужик? Скажи, чтоб после пришел. Теперь некогда.

— Никак нет, сударыня, приехал на паре с кучером, одет прилично, по-купчески.

— Да что ж он не с того крыльца? Кто такой?

— Не могу знать. Стоит, не раздевается, спрашивает Косьму Васильича. Молодой паренек-с.

— Ну, господа, идите пока, занимайте места, а я пойду узнаю, кто такой,— сказал Косьма Васильич и направился в так называемую черную переднюю. Спустя минуту из столовой можно было услышать любезное восклицание Косьмы Васильича: — Ба, ба, молодой человек! Очень рад! Что же вы не раздеваетесь? Отчего не через парадный ход? Раздевайтесь, раздевайтесь! — и другой, пресекающийся от волнения, очень молодой голос: «Папенька приказали вам кланяться и вручить квитанцию... Просили извинить, что забыли...» — Какую квитанцию?.. А!.. Вздор. Раздевайтесь. Арина, прикажи, чтоб лошадей убрали. Да самовар... Хотите чаю? Ну, разумеется. Как здоровье папашеньки? Входите, входите сюда... Э, да каким вы, так сказать, щеголем! Ну, очень рад.

В столовой осталась только одна гувернантка, в недоумении стоявшая около стола: она не знала, уходить ли ей или еще нужно кому-нибудь налить чаю. Затем она увидела, что в столовую как-то боком, слегка подталкиваемый Косьмой Васильичем, вошел красный, как кумач, юноша в несколько стран-

ном костюме. Он застенчиво улыбался трясущимися губами и смотрел с таким выражением, как будто ничего не видел перед собою.

— Ну, и отлично, что собрались, молодой человек,— говорил Косьма Васильич.— Вот разрешите вас отрекомендовать: это наша гувернантка Елена Спиридоновна. Дайте-ка чайку, Елена Спиридоновна... да и мне за компанию.

Гувернантка церемонно присела, чуть-чуть улыбнулась на неуклюжий поклон юного человека и на его испуганно-любопытствующий, кинутый на нее исподлобья, взгляд,— она бы несколько не улыбнулась, если бы юный человек не показался ей хорошеньким,— и с подавленным вздохом снова уселась за самовар.

— Присаживайтесь... сюда, сюда, поближе. Не угодно ли... Мартиныч... извините великодушно, забыл,— сказал Рукодеев.

— Николай-с.

— Да, Николай Мартиныч. Экая память дурацкая! Не угодно ли папирску, Николай Мартиныч?

— Зачем же-с?.. Впрочем, позвольте...

— Ну, как?.. Почитываете? Интересуетесь?

— Да-с... по-прежнему-с.

— Хорошо, хорошо. Снабжу, книжками могу снабдить. Имею, так сказать, в изрядном избытии... Ехали через ***? Ну, как базар, велик?

— Обширный-с. Знаете, перед покосом, свободное время. И, несмотря на ранний час, много приметно пьяных мужичков-с.

— Пьют, пьют...

Косьма Васильич легонько вздохнул.

— Российский недуг, в зелене-вине горе топят.

— Точно так-с.

Немножко помолчали. Косьма Васильич побарабанил пальцами и спросил:

— Ну, как вы там... почитываете? Что этот чудак... как бишь его... вольтерьянец?

— Агей Данилыч? Все по-прежнему-с.

— Да, да... Ну, и что ж, прекрасно проводите время?

— Обыкновенно, как в глуши... Скучно-с.

— Ничего, ничего, развивайтесь. Лишь бы охота — литературы достаточно. Вот познакомлю вас... Знаете исправника Сергея Сергеича?

— Никак нет-с.

— Отличнейший человек. На такой ретроградной службе, но очень передовых мыслей. Ну, потом Филипп Филиппыч Каптюжников... тоже изрядный господин. Молод, но эдакое, так сказать, солидное развитие. Приготовляется в университет. Еще Жеребцов Исай Исаич, купец, но взирает на многое — дай бог хорошему прогрессисту...

— Это тот самый Жеребцов, чьих степи на Графской?

— Да, да, тот. Известный миллионер.

На лице Николая изобразилось благоговение.

— С женой вас познакомлю...

И, вспомнив что-то важное на этом слове, Косьма Васильич вскочил, проговорив:

— Извините, на минуточку, я сейчас,— и быстро прошел к играющим.

— Что ж ты, батенька? Нас тут хозяйшкa именно обобрала! — закричал ему навстречу исправник.

— Играйте, играйте, господа,— маленькое дельце есть. Аннет, поди-ка, пожалуйста, на два слова.

Анна Евдокимовна вышла за ним в соседнюю комнату.

— Вот видишь ли, Аннет,— заговорил Косьма Васильич, смущенно тебя бородку,— там приехал сын гарденинского управляющего... Ну, мальчик еще... ужасно дикий... несколько эксцентрик... Но эдакие, так сказать,

задатки. Пожалуйста, полюбезнее с ним... а?.. Ты понимаешь, валуха очень недорого куплены... и вообще надо его ободрить...

Анна Евдокимовна только что взяла подряд два ремиза; кроме того, соображение о валухах показалось ей резонным.

— Ты меня, Косьма, удивляешь,— сказала она,— ты отлично знаешь, как я отношусь к твоим гостям...

Какая-то двусмысленная тень пробежала по лицу Косьмы Васильича.

— Ты предложил ему чаю? Потом приведешь его к нам. Да не играет ли он в стуколку?

После этого разговора Косьма Васильич возвратился в столовую развязнее, чем прежде. Перед Николаем стоял стакан чаю, а сам он с ужасно озабоченным видом смотрел на свои часы.

— Что смотрите? Времени еще достаточно,— весело проговорил Косьма Васильич и, скользнув взглядом по столу, сказал гувернантке: — А нельзя ли, Елена Спиридоновна, вареньица?

Та выразительно посмотрела на него, сделала нерешительное движение, как бы готовясь встать, и сказала:

— Прикажете спросить у Анны Евдокимовны?

— Нет, нет, не беспокойтесь, пожалуйста! — смущенно и торопливо остановил ее Рукодеев.— Мы, так сказать, со сливочками... с сухариками... Зачем же вам беспокоиться?

«Экая деликатная душа!» — подумал Николай и влюбленными глазами посмотрел на красивое и добродушное, как ему казалось, лицо Косьмы Васильича.

За чаем просидели минут двадцать. Косьме Васильичу удалось за эти двадцать минут разговорить Николая и внушить ему даже некоторую смелость. Дело дошло до того, что Николай рассмотрел, наконец, где он находится: желтоватые под дуб обои, желтый буфет, красивые стулья с резными спинками, высокие окна, выходящие в сад, белые двери, блестящие ручки на дверях, круглые, гулко ударяющие каждую четверть часа часы... Мало этого, лицо гувернантки, до сих пор представлявшееся ему каким-то неясным, расплывающимся пятном, теперь обрисовалось перед ним почти с теми же чертами, которые были и на самом деле.

Тем не менее Косьма Васильич не повел его к играющим, шумные голоса которых доносились за три комнаты, а предложил посмотреть библиотеку. Они прошли полутемным коридором в кабинет, и там у Николая сразу разбежались глаза на множество корешков с золотыми надписями, видневшихся в шкафах. На столе, рядом с образцами льна и пшеницы в тарелках, лежала еще не разрезанная книжка в серовато-пепельной обложке.

— Вот-с,— с гордостью объявил Косьма Васильич,— прибежище, так сказать, горьких дум и высоких помыслов. Смотрите и выбирайте, что вам потребуется. Подходите, подходите к шкафам!..

Николай покраснел от удовольствия, читал надписи и не знал, за что ухватиться. Наконец заглавие привлекло его:

— Вот эту бы, Косьма Васильич, если можно... «С петлей на шее»-с.

— Эту? Не советовал бы, Николай Мартиныч. То есть оно отчего не прочитать, но для развития бесполезно. Ерунда.

— А вот «Живую покойницу», Косьма Васильич?

— Ксавье де Монтепена? Занятно, спора нет, и даже, пожалуй, увлекательно, но... не советую. Вам непременно нужно начинать с эдаких... с эдаких, так сказать, прогрессивных сочинений.

— Так вам нельзя ли самим, Косьма Васильич? Вы, когда были у нас, изволили обещать... как ее?.. вот доказывается, как обезьяна в человека оборотилась... Еще поэта Некрасова изволили обещаться. Да я еще вот что хотел попросить: нет ли у вас полных сочинений Пушкина? Мне столяр

рассказывал очень любопытную историю — про Пугачева, и говорит, что это сочинение Пушкина.

— Ну, батенька, вот уж охота! Пушкина давно уж в хлам сдали... Эти камер-юнкеры, эстетики, шаркуны в наше время презираются. Вот у столяра какого-нибудь самое для них подходящее место. Нет, я вижу, надо мне самому составить вам эдакий, так сказать, реестрик. Ну, что бы вам такое? — Косьма Васильич подошел к книгам и вдохновенно посмотрел на них.— Ну, что бы вам? — и вдруг вскрикнул: — Раз! — выхватил два томика, хлопнул ими, чтобы выбить пыль, и отложил в сторону «О происхождении человека» Чарльза Дарвина, — и затем вскрикнул: — Два, — и выхватил огромную книгу, хлопнул, отложил в сторону и сказал: — Гениальное сочинение — Бокль-с! — Таким образом набралось двадцать, когда Рукодеев произнес: — Ух!.. Ну, на первый раз достаточно, — и отер пот со лба. Николай все время стоял, раскрывши рот, и с радостным волнением следил глазами, как за корешок книги ухватывалась белая, выхоленная рука Косьмы Васильича, как эта рука звонко хлопала книгой о выступ шкафа и как, наконец, книга летела в грудку других книг — в грудку, которую можно было хоть сейчас взять и увезти с собою в Гарденино. Отдохнувши немного, Косьма Васильич еще достал несколько книжек и сказал Николаю: — А это для папашки... в его вкусе.

— Что я хотел вас спросить, Косьма Васильич, — робко и нерешительно выговорил Николай. — Вот вы говорите — прогресс, эстетика, ретроград... А вот у нас когда были, эдакое длинное слово выговаривали, на *цы* начинается... Но я этих слов не понимаю-с. Еще «прогресс» — и так и сяк; слово на *цы*... я вот не смею его выговорить... тоже как будто не совсем страшно. А эстетика мне совершенно непонятна.

— А! Прекрасно, что напомнили. — Косьма Васильич выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда отлично переплетенную книгу и, торжественно подавая ее Николаю, сказал: — Вот-с! Настольная книга всякого развитаго человека: «Сто тысяч иностранных слов».

Николай с признательностью поклонился. Сели около стола и закурили. Николай жадными и любопытными глазами осматривал комнату и то, что находилось на столе. Ему ужасно хотелось спросить кое о чем, но он долго не осмеливался. Наконец не утерпел:

— Косьма Васильич! Позвольте спросить: это и есть журнал?

Он прикоснулся кончиком пальца к неразрезанной книжке.

— Да, да, ежемесячный журнал «Дело»... Господин Благосветлов выпускает... Могу снабдить, только пришлите эдак недельки через две. Эти, — он указал на грудку, — можете держать сколько угодно, а журнал — недельки через две. Берите, берите, я рад.

— Покорно благодарю-с. Косьма Васильич, позвольте спросить, для какой надобности эта вещичка?

— Эта? Марки наклеивать. Вот таким манером мочится марка, и потом наклеивают.

— Как интересно!.. А это, Косьма Васильич?

— Пресс. Видите, там штемпель... подушечка... Краска. Так нужно ударить... и видите: потомственный почетный гражданин и кавалер К. В. Рукодеев.

— Вот ловкая штучка!.. А это, позвольте спросить, стеклышко в ноже? Нож ведь для бумаги, но стеклышко?

— Хе-хе-хе... А вы приложите к глазу, посмотрите... на свет, на свет!.. Занятно?

Николай вспыхнул, застенчиво улыбнулся и торопливо отложил костяной ножичек.

Так провели они в кабинете часа полтора к живейшему обоюдному удовольствию. Косьме Васильичу чрезвычайно нравился Николай, то есть главным

образом нравилось простодушное благоговение Николая перед его книгами и вещами, и перед тем, что он говорил ему. Наконец Косьма Васильич спохватился и сказал:

— Да что ж это я?.. Пойдем, познакомлю вас. Отличнейшие люди. Николай явил вид непреодолимого смятения.

— Нет, уж увольте-с, Косьма Васильич,— забормотал он,— позвольте мне домой... пора-с!

— Ну, вот ерунда! Надо вас развивать, развивать... Вы не стесняйтесь,— чего там стесняться? Люди, так сказать, свои. Пойдем-ка!

И Косьма Васильич взял Николая за рукав. Николай с трепетным сознанием страха отдался во власть Косьмы Васильича. Но, не доходя до дверей, Косьма Васильич круто остановился, схватил за пуговицу Николая и, заикаясь от смущения, прошептал:

— А вы того, Николай Мартиныч... эдак, ежели коснется разговоров... ну, жена там что-нибудь... образец передовой женщины... но, знаете, эдакие, так сказать женские взгляды... я у папаша вашего ночевал... понимаете? И насчет ежели там водки, пожалуйста... понимаете? Иногда находит, так сказать, мизантропия, но женщины не хотят понять.

— Будьте спокойны, Косьма Васильич, ужели я дурак? — стремительно ответил Николай, и сознание, что отныне важная тайна связывает его с Косьмой Васильичем, переполнило все его существо каким-то сладостным чувством.

— Вот, Аннет, рекомендую: сынок гарденинского управляющего, Николай Мартиныч,— сказал Косьма Васильич, подходя к столу.— Господа, рекомендую: мой юный друг.

Анна Евдокимовна благосклонно улыбнулась Николаю и подала ему руку; исправник тоже потряс ему руку; Исай Исаич приветливо сказал:

— Знаю, знаю твоего тятку: ха-а-ро-ший хозяин, старинный! Присаживайся-ка вот рядком. У меня у самого парнишка есть маненько помоложе тебя, Алешка.

Только один молодой человек в прыщах едва кивнул головою и, насмешливо посмотрев на Николая, вполголоса сказал Анне Евдокимовне:

— Кель моветон!

Но Анна Евдокимовна сухо ответила:

— Кажется, ваш ремиз, Филипп Филиппыч. Ставьте, пожалуйста... Сядешь, Косьма? Вы не играете, Николай Мартиныч?

— Никак нет-с!

— Мы вот посидим с ним, посмотрим... так сказать, благородными свидетелями.

— Стучу,— сказал исправник и обратился к Николаю: — Какой это Гарденин — Константин Ильич?

— Никак нет-с, они померли. Супруга ихняя, ее превосходительство Татьяна Ивановна.

— А!.. Покупаю двух. Властный был дворянин, столбовой. Именно — столбовой... Исай Исаич! Ты что же это, батенька, одну только покупаешь? Ловок! Ха, ха, ха!.. Я офицериком был. Случилось эдак пойти в дворянское собрание... перед эмансипацией. Как же говорил, разбойник, как же говорил! Дворяне эдак кучкой около него, а он-то ораторствует... Филипп Филиппыч, вы в ремизе, батенька!

— Знаю-с.

— Убедительное красноречие, Пальмерстон. Помню, я — молоденький офицерик, но именно слеза прошибала.

— Но какой же сюжет? — спросил Косьма Васильич.

— Как тебе сказать? Сюжет, батенька, если хочешь, не особенно... то есть, если откровенно говорить, прямо скверный сюжет. Все хло-

потал, чтоб мужикам надела не давали, на аглицкий, значит, манер. Но именно слеза прошибала... Эге, Филипп Филиппыч, да вам, батенька, опять ремиз!

— Я, кажется, вижу, Сергей Сергеич.

— Что, как пшеничка-то у вас — рожается? — спросил у Николая Исая Исаич.

— Да-с... В прошлом году сам-пятнадцать-с.

— Ну, обработка почему?

— У нас свои-с, дешево.

— Да уж тятенька твой — чести приписать. Кому продали-то?

— Козловскому-с... Калабину.

— Почему?.. У меня две взятки: пожалуйста три рубля тридцать копеек.

— Шесть рублей семьдесят пять за четверть-с.

— Ишь ведь как облимонил... Молодец твой тятенька!

Косьма Васильич с любопытством следил за игрою и, наконец, сказал:

— А давайте-ка, Николай Мартиныч, пополам: вы играйте, а я вас учить буду.

Николая точно в кипяток опустили.

— Зачем же-с? — пробормотал он. — Я сроду в руки не брал... Увольте-с.

Кроме того, что он не умел играть в стуколку, ему до боли было стыдно сознаться, что у него нет денег.

— Садись, садись, парень, — покровительственно сказал Исай Исаич, — ничего, и я подержу четверть пая. В торговом быту самое разлюбезное развлечение эта стуколка. У меня Алешка моложе тебя, но иногда дашь карты — ловко загважживает. Присаживайся!

— И отлично, батенька, — подтвердил исправник, — впятером отличная стуколка.

— Только не горячитесь, — сказала Анна Евдокимовна, смягчая угрожающее значение своих слов преувеличенно любезною улыбкой.

Косьма Васильич опять употребил некоторое насилие над Николаем и усадил его к столу. Затем положил перед ним кредитки и мелочь и уселся за его плечами, чтобы учить. У Николая сначала тряслись руки, в глазах рябило, на лице проступал пот, но мало-помалу, ободряемый снисходительными восклицаниями игроков, он освоился, уразумел, в чем заключалась игра, и раза два даже не согласился с указаниями Косьмы Васильича и приобрел через то некоторую выгоду. Часа через два ему уж положительно везло: перед ним лежало много денег. Анна Евдокимовна улыбалась ему с искреннею приветливостью... Впрочем, не оттого только, что он выигрывал для Косьмы Васильича, а и оттого, что теперь она лучше рассмотрела его и он казался ей очень хорошеньким. Исправник хотя и был в проигрыше, но с удовольствием хохотал, когда Николай тянул к себе деньги. Исай Исаич поощрительно приговаривал: «Так, так... волокиты, волокиты! Хе, хе, хе!.. Самое, братец, любезное развлечение в торговом быту». Очевидно, всем было приятно, что такой застенчивый, немножко смешной, свеженький и почтительный юноша, едва умея держать карты в руках, тем не менее выигрывал. Один только Каптюжников презрительно фыркал, передергивал губами и нетерпеливо двигался на стуле. «Покорнейше прошу ходить-с», — беспрестанно повторял он Николаю, — «не ваша очередь, вы изволите нарушать правила», «вы изволили не доложить пятнадцати копеек». Если б у Николая был нож, он, кажется, зарезал бы молодого человека с прыщами. Он даже остерегался поднимать на него глаза, потому что чувствовал, что будет не в силах сдержать выражения величайшей ненависти к этому человеку.

Когда пришло время обедать, все согласилось, чтобы не прерывать игры, обедать без горячего на маленьких столиках, которые можно было придвинуть

каждому особо. К закуске, впрочем, на минутку оторвались и с хохотом, с веселыми разговорами, потягиваясь и разминаясь, окружили поднос с винами, водками и наливками.

— В газетах пишут, как бы к нам холера не появилась,— сказал исправник, обращаясь к Жеребцову.— Вот, батенька, трудно тебе будет с капиталами-то расставаться... Ха, ха, ха!

— Мы люди сухие, постные,— огрызнулся тот,— а вот ваше благородие... вам капут... хе, хе, хе!

Косьма Васильич налил рюмку, поднес к носу, с гримасой притворного отвращения понюхал и только что хотел опрокинуть в рот, как вдруг взгляд его встретился с напряженно-выразительным взглядом жены. Он торопливо отхлебнул, отставил рюмку и засуетился, угощая гостей.

После обеда с новым оживлением стали стучать. Стемнело, подали свечи, с самого обеда непрерывно разносили чай. Николаю везло по-прежнему. Он уже почти совсем не испытывал смущения, забыл, что нужно ехать домой, и точно плавал в волнах несказанного благополучия. Косьма Васильич уговорил его выпить рюмку наливки, Исай Исаич «велел» отведать полынной («Ничего, ничего... у меня Алешка моложе тебя, а и то дашь иногда — ловко потягивает»). Николай хотя и не запьянел от этого, но сразу почувствовал какую-то развязность в словах и движениях. Косьма Васильич все сидел за его плечами и смотрел в карты. Однако, ближе к вечеру, Николай заметил, что его компаньон начал уходить куда-то, сначала редко, потом все чаще и чаще. Ремизы как раз подошли в это время крупные, и Анна Евдокимовна, увлеченная игрой, не обращала внимания на таинственные прогулки Косьмы Васильича. Еще ближе к вечеру Николай ясно ощутил за своими плечами запах водки, он оглянулся: Косьма Васильич щелкнул языком и плутовски подмигнул; глаза у него сделались странно смелыми и мутными.

— Валяй их, скотов! — вдруг брякнул он громко. Анна Евдокимовна с угрозой взглянула на мужа. Но, вероятно, усмотрела что-нибудь выразительное, ибо вместо угрожающих глаза ее стали беспокройные и губы внезапно сложились в кислую и покорную улыбку, Косьма Васильич еще раз совершил путешествие и, возвратившись, сел так прочно, что под ним затрещало. В соответствии с этим треском лицо Анны Евдокимовны дрогнуло... и вслед за тем приняло самое беззаботное выражение.

— Покорнейше прошу освободить стол-с,— язвительно сказал Каптюжников Николаю, за которым была очередь собирать карты.

— Ты, зоолог,— неожиданно крикнул Косьма Васильич,— по лягушкам зоологию изучаешь, а не научишься, как держать себя в приличном доме! Что ты, так сказать, фыркаешь?

Все оглянулись на Косьму Васильича и увидели, что он пьян. Анна Евдокимовна с внимательным видом тасовала карты. Каптюжников обиделся и встал.

— В таком случае,— сказал он дрожащим голосом,— я больше не играю. Я, кажется, не заслужил такого оригинального обращения.

— Ну, и черт с тобой,— не унимался Косьма Васильич,— и убирайся. Эка невидаль! Пять лет в университет готовится, дармоедничает, Базарова разыгрывает... Какой ты нигилист? Ты прохвост!.. Анна, сдавай, я сам сяду.

Принялись уговаривать Косьму Васильича и просить Каптюжникова, чтобы он успокоился. Каптюжников не заставил себя долго просить: он сделал брезгливый вид, высокомерно пожал плечами и снова взял карты. «Арина, водки!» — закричал Косьма Васильич, неистово теребя бороду. Прибежала Арина, взглянула на барыню,— та едва заметно кивнула головою,— водка вмиг появилась. Исправник начал рассказывать что-то смешное и сам хохотал громче обыкновенного. Все наперерыв старались смеяться. Один Косьма

Васильич оставался серьезен и презрительными глазами посматривал на играющих.

— Н-да,— произнес он, когда исправник кончил и смех затих,— ужасно смешно. Как это ты, Сергей Сергеич, в шуты не поступишь? Прелюбопытная должность!.. Вот, Николай Мартиныч, наблюдай: опора, так сказать, оплот!.. Но не заблуждайся: друга-приятеля за тридцать сребреников в кутузку свергнет!.. Нельзя-с — жена, дети-с... Э-эх, вы... опричники!

Опять расхохотался исправник, и засмеялись все остальные. И громче стали возглашать: «Стучу!.. Пас!.. Пожалуйста за взяточку!.. Ваш ремиз!»

— Анна, ты почему варенье замыкаешь? — неожиданно спросил Косьма Васильич.

Анна Евдокимовна притворно засмеялась.

— Ах, Кося!.. Ах, какой ты шутник!.. Что это тебе представилось? Я думаю, купить мне или не купить, а ты вдруг про варенье.

— Да, а я вдруг про варенье.

— Экая придира! — сказал Исай Исаич.— Ведь это он, сударыня, в отместку вам за давешние подряды... хе, хе, хе!

Анна Евдокимовна с немим упреком взметнула глазами на Исаю Исаича. Но случилось так, что Рукодеев пренебрег неосторожным намеком.

— Что ж ты кицишься? Подряды!.. — сказал он.— Одинаковые с тобой живорезы, я полагаю.

— Хе, хе, хе, так уж и живорезы.

— А ты что ж думал, ты во святых? Николай Мартиныч, вот рекомендую — святой... по миру братьев пустил, за быков фальшивую монетой расплачивался, два раза чуму разводил по губернии... Эх, ты... телелюй!

— Кося! — жалобно протянула Анна Евдокимовна.

— Пуцай,— равнодушно сказал Исай Исаич и побил козырною семеркой исправникова туза,— мы его, сударыня, не со вчерашнего дня знаем. Пуцай его!

— Как вы думаете, Косьма Васильич, купить или нет? — спросил Николай, показывая Рукодееву карты и стараясь этим отвлечь его внимание. Уловка до некоторой степени удалась.

— Покупай, покупай! — сказал Косьма Васильич.— Карта идет?.. Покупай!.. Жарь их... Вон студента-то, зоолога-то... пускай его ремизится, ему ничего: папенька здорово повысосал мужичков в дореформенное время! — Каптюжников опять хотел было оскорбиться, но раздумал: ему начинало везти. Николай купил и заремизился, и еще купил, все продолжая советоваться с своим компаньоном, и еще заремизился. Вдруг Косьма Васильич встал и нетвердым языком сказал ему: — Брось!.. Прячь деньги... Ну их к черту!.. Выиграл — и довольно. С паршивой собаки хоть шерсти клоч. Пойдем лучше побеседуем... Анна, пришли водку в кабинет!.. Пойдем, брат... ведь это пиваки!.. Народное, так сказать, благо высасывают... Черт с ними!

Каптюжников хотел было «протестовать», у него уже вертелось язвительное замечание на языке: «однако это оригинально: выиграть и уйти», но исправник так моргнул ему, что он не сказал ни слова. Николаю ужасно не хотелось оставлять игру, но он безропотно последовал за Косьмой Васильичем и был за то вознагражден признательным взглядом Анны Евдокимовны.

В кабинете пришлось просидеть по крайней мере до двух часов ночи. Косьма Васильич непрерывно пил маленькими глоточками водку, декламировал со слезами на глазах Некрасова, кричал, ударяя себя в грудь, что он, «когда придет время», всем пожертвует, громил Исаю Исаича, Сергея Сергеича, Филиппа Филиппыча и особенно Анну Евдокимовну.

— Это, брат, варррвар, а не женщина!.. С удовольствием рубашку снимет — из семейственных соображений... Не женись!.. Ни за какие прелщения,

так сказать, не женись... Вот ты теперь порядочный человек... я тебя люблю! Но женишься на эдакой и... пропадешь!.. Для всего пропадешь... для прогресса... для развития... Эх, брат! Давно сказано: «жизнь есть мученье, семейство — тиран, отечество — колыбель бедствий»... Был такой философ... Ярченко... в Воронеже... в тысячу восемьсот тридцать... Ну, черт его знает в каком году!.. — Косьма Васильич решительно впал в лирическое настроение. — Я пьян?.. Верррно! — говорил он пресекающим голосом. — Мало того, я и скот... огромнейшая скотина... Ужели, думаешь, не понимаю моей мерзости?.. Но искрра... есть, брат! Ты слышал про моих родителей?.. Вот то-то, что не слышал!.. Были Хрептюковы, мучники, — звери, кровосмесители и душегубы. Под видом благочестия, понимаешь?.. Перепились, ополоумели, издохла. Осталась девица, яблочко от яблоня... моя всепьянейшая и прелюбодейнейшая маман. Ваську-приказчика выволокла из убожества, сочетала с собой законным браком... Открыли фирму: ве и пе Рукодеевы. Да, брат, фирму!.. — Косьма Васильич язвительно усмехнулся. — Маман была таких понятий: натрескается наливки, благоверного на замок, цимбалы, трепак, приказчики, кучер в три объёма... Оргия! Падение Рима!.. Чувствуешь?.. В грязи, в грязи валялась в пьяном образе, а?.. А я рос подле нее, впитывался, так сказать!.. Прискорбно, брат. Папá в своем роде антик: «Кузька, всячески мужиков обмеривай!.. Кузька, не зевай!.. Кузька, дери шуру!.. Лупи!.. Грабы!..» Принципы, брат, педagogиче-ские, а?.. И я рос, впитывался, обмеривал, драл. Мать пьяна, «тятенька» над двугривенным дрожит, приказчики подговаривают в конторку залезать, спаивают... С десяти лет по скверным домам шатался, можешь ты это понимать?.. Нет! Ты, брат, не ком-пе-тен-тен... не можешь понимать. Душа была, горела... Были эдакие помыслы... Ау, брат! В темном царстве нет им ходу... Рубль... Смрад... Благолепные разговоры... Колокол на помин души... У городничего дозвольте ручку поцеловать... В парадных комнатах чистота... А душа-то изнаывает, изнава-а-ает! Разберем по совести. Ну, ладно... вот я сижу — сам видишь, каков; вот книжки отобрал для тебя... Ха-а-арошие, братец, книжки!.. А там — живорезы, опричники, прохвосты, варвар этот семейственный, — в карты дуются, азартную игру... Как нравится тебе этот сюжет?.. Нно... не обращай внимания! У Косьмы Рукодеева искра есть... Зажжена... горит... Не-э-эт, не потушите, мрракобесы!.. Будешь в городе, побывай у Ильи Финогеныча. Ты знаешь, какой это человек? Путям указчик, вот какой человек. Что я был? Двадцатилетний балбес, посуду в трактирах колотил, на арфянках катался, — приспешники запрягали в сани, и арфянки возили меня, подлеца, по городу... Приятный сюжет?.. Узнал Илью — оттаял, образ человеческий принял, так сказать... «Читай, такой-сякой! Долби! Вот как пишут. Вот о чем думают в нынешнем веке!.. Уткнись носом-то в книгу, очухайся... Прошло время в помоях валяться... заря, заря, болван эдакий, занимается!» И спас!.. Маман — за волосья, благолепный «тятенька» — смертным боем, книжки жгли, Илья Финогенычу ворота дегтем мазали... Что вызволяло? Отчего Кузька Рукодеев пропойцей не сделался, не полез в петлю?.. Огонь!.. Жар!.. Душа проснулась!.. Черт с вами, думаешь, тираньте... а все-таки вон как из столиц-то гудит!.. Весной пахнет!.. Оттепелью!.. Да, брат, время было. Трупы смердящие шевелиться зачинали... Лазарь воскресал!.. Убежишь, бывало, из кошар-то родительских, — что есть дореформенный купеческий дом, как не кошары? — а у Ильи Финогеныча журнал с почты получался, «Искра» выходила... Прочитает, разжует, изругает на все корки... в морду-то ткнет книгой, ошарашит по башке-то, — у, заиграет сердце!.. Ах, жизнь... Что смотришь?.. Плачу, брат... Не выпьешь... полрюмочки... И какой же подлый оборот впоследствии времени!.. Родители — в Елисейские поля, сто тысяч наследства, Анна эта подвернулась — интитуточка, декольтировка, то да се... видишь, «кавалером» сделали, а?.. Все пошло к черту! Грабить не грабил, — цивилизация, молодой чеазк!.. Обвешивать — ни-ни, обману нет в родительском-то смысле... Как можно!.. А вот эдак

мужичок работает на нас, а мы — в карточки!.. Мужичок ниву нашу пóтом обливает, а мы — наливочку, икорку, балычок, выигрышный билетик в день Володькина ангела... Хе, хе, хе!.. Та же народная кровь, да вежливо... вежливо попивает кровушку-то... Ножкой мерсикаем... Выпей рюмочку! Руси, брат, веселие пити...

Наконец к двум часам Косьма Васильич захрапел, положивши голову на стол. Николай на цыпочках вышел из кабинета и возвратился к играющим.

— Что, угомонился? — спросил исправник.

— Уснули-с.

— Ах, это такой ужасный характер! — воскликнула Анна Евдокимовна.

— Удивительная штука, судари вы мои, что хмель делает! — сказал Исай Исаич. — Я про себя откроюсь: ведь, кажется, степенный человек, а ведь что ж, единожды в Москве расшиб зеркало в эвдаком доме... Двести целковых счислили! — и добавил: — Когда он нахвтался, уму непостижимо.

— С этую прислугой истинное наказание, — проговорила Анна Евдокимовна, и ее лицо так и передернулось от злости.

Николая опять усадили...

Он выехал только утром. Несмотря на бессонную ночь, лицо его дышало свежестью и счастьем. В кармане у него лежали огромные и еще небывалые в его распоряжении деньги — двадцать три рубля с мелочью. Рубль он пожертвовал из них Федотке. От этого рубля, а также и вообще от поездки Федотка был тоже в приятном настроении. Они ехали не спеша, легонькою рысцою и весело обменивались впечатлениями.

— Тебя хорошо там кормили? — спрашивал Николай, вперед уверенный, что хорошо.

— Ничего. Спервоначала-то я в застольной пообедал. Ну, застольную ихнюю хвалить не полагается, дуже жидковато. А эдак к вечеру сам барин пришел... такой разбитной, куфарку к стене прижал, должно быть выпимши. Туда-сюда, враз велел мне водки, жареную утку и супец. Должно быть, от вас. Ну, я, признаться, здорово насадился.

— Вот добряк-то, Федотик!

— Уж чего! Ешь, говорит, до отвала, — у Рукодеева хватит. А вот, Миколай, барыня — у, пи-и-ика! Какую штуку обдумала с народом — штрафами донимать... Ест штрафами, как ржа, и шабаш. Вот теперь неизвестно, как Исей Матвейич вывернется, приказчик.

— А что?

— Да ведь она барину-то не дает водки. Строжайший запрет. Ну, и он ничего. Иной раз, говорят, сколько месяцев не пьет, а то найдет на него — требует. Вот вчера он и пошли Исей Матвейича в кабак... Тот живо смахал. А нонче, гляди, переборка будет.

— Нет, Федотик, ты не толкуй: и она прекрасная женщина.

— Да она, может, и хороша, скарעד только. А ты заметил, Миколай, бабы-то у них в доме? Морда на морде! И куфарки под такую же масть подобраны. Страшная ревнивишшая!.. И как, говорят, тверёзый Косьма Васильич — тих, смиренен, словно ребенок. Но как только швырнет стаканчиков десять — беда, чистый Мамай! Барыня так уж тогда и ходит на задних лапках. Вот хмель-то что делает!

— Что ж хмель? Это, брат, такой человек: другому, как с гуся вода, а он все к сердцу принимает... Он смотри как мучается... Ах, Федот! Вот, брат, я у него любопытную штучку увидел: устроен костяной ножичек...

Только к десяти часам утра показалось Гарденино.



Утренние мысли старосты Веденей.— Донос управителю.— «Не прежние времена!» — Униженная и посрамленная унтером Ерофеичем власть.— Мирская сходка.— Каргузы.— Зачатки кляузного красноречия.— Каверза дяди Ивлия и разгром старосты Веденей.

Ночью, после драки, Веденей плохо спал, кряхтел, охал и все ворочался с боку на бок. Едва рассвело, он обулся, надел полушубок, разбудил сноху доить коров, растолкал Никитку, чтобы гнал лошадей и телят на выгон, угрюмо посмотрел на замкнутую дверь Андроновой клетки и прошел на гумно. За гумном виднелись огороды, конопляники, лозинки, речка. На речке стоял тонкий туман. Навозные кучи, сваленные на огородах, курились. Сильно пахло сыростью, свежеспаханною землей и перегнившюю соломой, острым запахом навоза. По деревне кое-где скрипели ворота, в соседском дворе слышались заспанные голоса. Старик прошелся по гумну, посмотрел на капустную рассаду в приподнятом от земли деревянном срубе и подумал: «Пожалуй, постоит эдакое тепло — пора и высаживать, надо грядки готовить», посмотрел на одонья старого хлеба, сказал сам себе: «Вот этой кладушке шесть годов, этой пять, надо перемолотить в междупарье, а то кабы мыши не переточили... И откуда берется эдакая вредная тварь!» — и привалился к аккуратному сложенному омету просяной соломы, взял былинку в рот, начал задумчиво жевать ее беззубыми деснами. Прямо перед его глазами стояла большая рига с крепкими тесовыми воротами, дальше виднелся прочный плетневый двор с рублеными закутами, амбаром, клетями; между двором и ригой зеленел лужок, стоял еще амбар с навесом, желтелись высокие ометы, возвышалась круглая шапка отлично прибранного сена. Все постройки были крыты «под навес», красиво, гладко; под навесом, оглобля к оглобле, стояли четыре сохи с сверкающими сошниками, лежали друг на дружке крепко связанные бороны; ток перед ригой был выметен и утопан, лужок зеленелся, точно вымытый; нигде соринки не валялось зря, все веселило глаз чистотою, прочностью и хозяйственным порядком. Старик смотрел и думал: «Эдакая у меня строгость да аккуратность в дому... Ну-ка, у кого теперь так-то прибрано, вывершено, подметено... Так-то крепко да уемисто? Соломка-то — любо поглядеть. Ригу перекрыл, во дворе новые плетни заплел, печь избяную перекалал по-белому... У кого столько одоньев старого хлеба, столько рассады, столько лозинок на огороде? Разве у Шашловых... так ведь те недаром богачи прозываются». Заря разгоралась, туман с реки уползал в вышину, навоз курился тоненькими, едва заметными струйками, свежераспаханная земля становилась все чернее и чернее. Затопили печки; над трубами за клубился румяный дым; начали выгонять скотину в стадо; ворота точно пели на разные голоса: там хриплым басом, там пронзительно и тонко, там нежным, певучим голоском; пастухи хлопали кнутами, бабы звонко кричали: «а-рря! а-рря!»... «вечь, вечь, вечь!»... «тпружень, тпружень... тпружень, родимец ты задави!..», мужики уводили лошадей на выгон; хрюканье, бляенье, мычанье, ржанье смешивались, переплетались между собою и с необыкновенною ясностью разносились в остывшем за ночь воздухе. Немой дотоле Веденеев двор тоже встрепенулся: заревели, отворяясь, ворота, загоготал в конюшне трехгодовалый жеребец, закудахтали куры, слетая с насести; овцы, коровы, свиньи, толкаясь в воротах, побежали к стаду, издавая свойственные им звуки. И Веденей подумал: «Вон протяжно, тонко мычит — это буренка, а точно захлебывается — Машка рыжая; хриплым, давленным голосом — Машка пестрая, — давно бы продал, да к молоку хоро-

ша; переливается, как в рожок, — красная телка». И между свиньями отличил сердитое хрюканье желторылого борова, и между овцами — наянливое толстоголосое блянье черного барана с белым пятном на животе, и воскликнул про себя: «Слава богу! Слава богу! Скота хоть бы и у Шашловых».

Привалился Веденей на солому, жевал былинку, обводил глазами свое крепкое хозяйство, думал о раскаде, об огороде, о том, как много у него скота и хлеба и все в порядке, в приборе; вслушивался, как мычали коровы, хлопали пастушьи кнуты, играл звонкий рожок, выводили на разные голоса ближние и дальние ворота; разбирал носом запах дыма, соломы, парного молока, запах земли и утренней прохлады... И то, что не давало ему спать ночью, точно отошло от него, точно не выбрало себе места между приятными мыслями о хозяйстве и теми мыслями, которые невольно приходят в голову, когда горит восток, просыпается трудовой деревенский день, настают неотложные заботы.

Но вот со двора на гумно отворились ворота, вышел с подбитым глазом Агафон, увидел отца на соломе, удивился и спросил:

— Батюшка, аль захворал?

Веденей, как встрепанный, вскочил с соломы.

— Выдумай, выдумай, — зашамкал он, — ты вот жеребцу корму-то проворней задавай. Эка спит, эка валандается! Где Микитка-то?

— Чать, сам уснул на выгон с лошадыми.

— Ну, ступай, ступай, готовь резку. Я пойду жеребца напою. Варила баба кулеш?

— Варить-то варила, да не разорваться ей. Ноне Дуняшка деньщица-то.

— Ну, ладно, ладно, ступай. Меси не дюже густо, — вчера замесили совсем словно тесто.

— Батюшка, а как же теперь насчет полов? Бабе никак невозможно мыть полы в конторе. Что не ссильшь, так уж не ссильшь. Ты сказал бы — пушай другим повешают. И опять вот глаз у меня подбит... как теперь? Его бы следовало по крайности выдрать за озорство. Все-таки я — старшой. По крайности недаром срамились, как ему в портки-то насыпят.

— Поучи, поучи! — сердито крикнул Веденей. — Без тебя-то не знают, где право, где лево, — и пошел за ведром, чтоб напоить жеребца. Но теперь прежние, ночные мысли опять стали лезть ему в голову, и все стройное, веселое и важное, что сложилось и представлялось ему на гумне, рассыпалось и сделалось ненужным и неинтересным. Он опять разохался, раскряхтелся, изругал Акулину, отчего не готов кулеш, дал подзатыльника внучке Палашке и, проходя мимо замкнутой Андроновой клетки, каждый раз угрюмо сдвигал брови.

Когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы встать управителю, Веденей надел свех полушубка зипун, подпоясался кушаком, нацепил медаль, схватил посошок и мелкою заботливой рысцой потрусил на барский двор.

Мартин Лукьяныч пил чай и все поглядывал в окно, не едет ли Николай от Рукодеева. Вдруг в передней послышалось осторожное покашливанье.

— Кто там?

— Я, отец, староста Веденей. К твоей милости. Дозволь слово молвить...

— А, здравствуй, здравствуй! Входи. Что это тебе понадобилось спозаранку?

— Вот, отец, пришел... пришел... Что ж это будет такое? — Умильное лицо Веденей внезапно перекопилось, и он всхлипнул.

— Что такое случилось?

— Видно, отец, последние времена пришли... Сыновья родителям в бороду вцепляются. Вот пришел, как твоя милость рассудит, Андрюшка взбунтовался. Воротился вчерась с базара, загрубил, загрубил... неслыханное дело, отец, — на грудь наступает, требует, чтоб отделить.

— Вот вздор! Я думал бог знает что. Ты бы поучил его хорошенько. Веденей замахал руками.

— И не подступись! Я к нему, а он от меня, я к нему, а он навастривает лыжи в огороды. Я Микитке кричу, а Микитка с ноги на ногу переваливается. Разбой... как есть разбой, отец! Туда-сюда — ввечеру Дунькину родню привел: отдели!.. Я ему говорю: ой, Андронушка, под красную шапку попадешь... ой, господь накажет за родителя! Не внимает моим словам... А Дунькин отец подзуживает... такие слова стали говорить!.. Что ж вы, мол, озорничаете в чужом дому? А Дунька так и кидается, так и кидается. Нехорошим словом меня обозвала... Овдотьюшка, говорю, потишай, уймись, войди в разум... Куда тебе!.. Разлетелась, хватъ Агафошу за бороду. И пошло!.. Ейная родня встряла, с Акулины повойник сшибли... сгрудились — да на улицу!.. Пришла ночь, взял Андрощка воровским манером жену, парнишку, три дерюги, два зипуна... клеть на замок — ушли к тестю. — Веденей опять всхлипнул, развел руками и сказал: — Рассуди, отец.

— Гм... — Мартин Лукьяныч побарабанил пальцами. — Да тебе чего ж хочется?

— Как ты, отец! Я на твою милость располагаюсь. Мы завсегда ваши верные слуги... — Веденей пал в ноги Мартину Лукьянычу; Мартин Лукьяныч допил последний глоток с блюдечка, потом велел встать Веденею и сказал:

— В землю кланяться нечего, я не бог. Говори, что нужно.

Веденей поднялся, отер слезящиеся глаза и выговорил дрожащим, плачущим голоском:

— Есть мое родительское намерение, отец, спервоначала его выпороть... а уж там — господь с ним — отдать в солдаты. А что касающе Овдотьи, — пушай, отец... Христос с ней!.. Пушай постегают ее при стариках — и будя, с бабы взять нечего.

Мартин Лукьяныч протяжно посвистал.

— Ну, староста, эти времена прошли! В солдаты отдать никак невозможно, — нет закона.

— Как, отец, нет закона, за непокорство-то? Да давно ли ты Семку Власова забрил?

— То-то давно ли, — насмешливо сказал управитель, — ты уж из памяти стал выживать. Тринадцать лет, старый дурак! Да что с тобой толковать: говорю — нет закона, значит нет. Ежели еще старики с тобой согласятся, — ну, так.

Веденей поник головою.

— Где, отец, согласиться, — сказал он грустно, — чать я старикам-то не дюже мил. Рассуди уж ты, а с миром мне делать нечего.

— В солдаты отдумай — нельзя. Да и глупо — работник Андрощка хороший. Выдумай что-нибудь получше.

— Ну, а выпороть ежели — будет твоя милость?

— Это, пожалуй, можно. Напишу записку волостному писарю, он устроит там.

— Значит, уж и Дуньку?

— Не-э-эт, брат, эти времена прошли! Баб сечь не велено.

— Как, отец, не велено? Мне Дуньку никак невозможно ослобонить. Сделай такую милость.

— Чудак ты! Говорят — нельзя. Закон.

— Да что закон!.. Вот я тебе скажу, — не взыщи, отец, — она и твою милость обносит: парнишка-то, брешет, будто от твоей милости.

Мартин Лукьяныч побагровел.

— Что ты, старый дурак, плетешь... какой парнишка?

— Ейный, Овдотьян-то, благодетель, — Игнашка. Как же ее не пороть?

Не взыщи. У ней язык что колокол, на весь мир звонит. Вывалились на улицу... вот разинула пасть, отец, орет, будто я потокаю твоей милости. Из-за полов и шум поднялся.

— Из-за каких полов?

— Да вот к твоей милости наряжают. Спокон веку — с моего двора. А они что удумали с Андрешкой: я, говорит, мыть полы не пойду. Вот, отец, болтают дурачье... болтают, будто нехорошо эдак в конторе полы мыть. Они и обдумали. Сделай милость, прикажи и ей всыпать маненько. Для острастки, отец!

Мартин Лукьяныч только и мог выговорить пискливым голосом: «Каково?» — и немного погодя сказал сердито:

— Слушай, старый дурак, чтоб из твоего двора бабы ногой не смели ступать в контору. А, каково?.. Ты не мог мне прежде-то этого доложить? Ивлий тоже... Болваны! — Затем он, насупясь, налил и стал пить чай, не обращая никакого внимания на Веденя. Тот стоял у притолоки, переминался с ноги на ногу и тоскливо жевал губами.— Ну, что ж, иди. Я, брат, тут ничего не могу,— сказал наконец Мартин Лукьяныч,— вы теперь вольные, своим умом живете.

— Смилуйся, отец... пожалей! — заплакал старик.— Кто себя считает вольным, тот считай... А мы всегда рабы вашей милости... Смилуйся, рассуди, отец!

— Я уж тебе сказал,— нетерпеливо крикнул Мартин Лукьяныч,— в солдаты нельзя, бабу выпороть — нельзя. Дам записку писарю, больше ничего не могу сделать.

— Ну а жить-то его принудишь со мной?.. Что же это будет? У твоей милости набрана работа, на своей земле посев, на барской... Ужли батрака нанимать? Он теперь, я знаю... Дунькина родня всего ему назудит. Он и не воротится.

— Ну, уж тут ничего не поделаешь. Силком никак нельзя принудить.

— Ах, ах... последние времена! Последние времена!.. Ну, коли так, господь с ним, пушай побирается!.. Не захотел есть отцовского хлеба, ну, пушай... Под окно придет — корки не подам!.. Небось, не наживется у тестя!.. У тестя у самого еле до новины хватает. А я тебя теперь буду молить об одном: отец, не давай ты ему земли... И на барщину не принимай. Пушай брюхо-то подведет.

— Ну, нашамкал ты, а слушать нечего. Да старики-то как,— потянут твою руку?

— А мне что старики? В своем добре я, чать, волен.

— А еще староста называешься. Мирской сход велит выделить, и выделишь.

Веденей растерянно выпучил глаза.

— Как, отец? — пролепетал он коснеющими губами.

— Очень просто. Велит, и выделишь.

Лицо старика дрогнуло, он опять повалился в ноги управителю.

— Батюшка! Отец родной!.. Заступись!.. Что ж это будет такое?.. Сколько лет наживал... маялся... ночей не спал... Благодетели вы наши!

— Слушай, староста,— строго сказал Мартин Лукьяныч,— встань. Я тебе русским языком толкую — нельзя. Было время, я бы тебе слова не сказал. А теперь нельзя. Хорошо ли это, худо ли, нас не спрашивают. Нечего и толковать. Теперь ты говоришь — пускай побирается, а я тебе говорю — глупо. Хороший работник, баба — хорошая работница, по-прежнему прямо на тягло бы посадили. И тягло было бы не в убыток помещику. А ты говоришь — пусть побираются. Но это дело твое, там уж ты с стариками как знаешь. С своей же стороны я тебе вот что скажу... Матрена, позови конторщика!

Агей Данилыч вошел и остановился у притолоки.

— Дымкин,— сказал Мартин Лукьяныч,— посмотри в книге, сколько долгу за старостой. Вот, брат, времена: сын отделяется.

Агей Данилыч посмотрел на Веденей и с сожалением почмокал губами.

— Пороть, пороть надо, сударь мой! — сказал он и пошел в контору, а спустя пять минут доложил управителю:

— Долгу за ним состоит по нонешнее число сто двадцать три рубля семнадцать три четверти копеек.

Веденей безучастно покосился на Агея Данилыча.

— Вот видишь,— произнес Мартин Лукьяныч,— теперь ты помрешь, кто ж мне будет платить?

— Расплатимся, отец... бог даст, расплатимся...— вялым голосом про-
бормотал Веденей.

— То-то, расплатимся. Никитка твой не женат; помри ты, неизвестно, что будет.

— Бог даст, женим... женим...

— Это когда еще будет. Теперь скажи на милость, как же я не дам земли Андрошке или не велю принимать его на барщину? Жалко-то мне тебя, жалко, но все же господскую копейку я должен наблюдать. Мой совет: отдели его, дай ему там, чтобы стал на ноги, а потом приходите ко мне, я между вами долг разделю. Слышишь?

— Слышу, слышу, отец...— отозвался Веденей, но отозвался только из приличия, потому что перестал интересоваться словами управителя и едва пересиливал равнодушное и скучающее выражение, готовое проступить на лице. Мартин Лукьяныч тотчас же заметил это.

— А если не нравится,— сказал он,— приноси долг, и тогда делайте как знаете. Из уважения к тебе могу не давать земли. То есть... когда долг принесешь.

Веденей испуганно взметнул глазами. Правда, у него было семь одоньев старого хлеба, жеребец в полтораста целковых (кому не нужно — дадут!) и, что всего важнее, была зарыта кубышка в подполье, а в кубышке — все семнадцать золотых да десятков семь старинных рублевиков, но чтобы взять да и отдать долг в контору, ему и в голову не приходило,— это было бы ни с чем не сообразно, могло втемяшиться только в очень глупую и нехозяйственную башку. Не такова была башка старосты Веденей.

— Что ты, что ты, отец,— зашамкал он жалобным голосом,— да откуда сразу эдакие деньги?.. Да меня хоть распотроши... И так-то бьешься через пень колоду... И так, кабы не твоя милость, не знать, что и делать... Благодарители вы наши!

— Ну, как знаешь. Я сказал. Прощай. Да! Погоди немножко... Матрена! Возьми самовар, напой старосту чаем.

Оставшись с конторщиком, управитель сказал:

— А, Дымкин... в самом деле, какие времена! Какой двор рушится! До чего дожили!.. Жаль. И ведь что скверно — дурной пример. Теперь и пойдут делиться, анафемы, и пойдут. Если бы еще брат с братом. Брат с братом всегда делились. Но это ведь сын с отцом... Ты подумай! Дурной пример, дурной.

— Удивительно-с,— согласился Агей Данилыч,— нарочитое помрачение умов, сударь мой. Мировые учреждения, земство, гласный суд... К чему это-с? Для какой надобности? Для мужика, если вы хотите знать, одно учреждение — конюшня-с. Отодрать его на конюшне, вот ему и учреждение. С какой стати-с?

Мартин Лукьяныч тяжело вздохнул и, подойдя к окну, стал смотреть на дорогу.

— То-то и оно-то, Агей Данилыч, что нас с тобой не спрашивают,—

сказал он и, помолчавши, добавил: — Чтой-то, я смотрю, Николая не видать?.. А ты читал — в газетах пишут — холера? Как бы к нам не пожаловала.

— Все больше чернядь мрет,— равнодушно сказал Агей Данилыч, — и в сорок восьмом году и в тридцатом — все чернядь валила. От необразования-с.

— Ну, не говори. Бог захочет, и образованного настигнет. Это ты не говори... Чтой-то он запропастился?.. Да! Я и забыл... Напиши, пожалуйста, записочку волостному писарю, что, мол, Мартин Лукьяныч просит, чтоб Андрона высекли. Он уж знает там... Староста, вот возьмешь тогда записку насчет Андрона, волостному писарю отдашь.

Выпив пять или шесть чашек,— впрочем, больше по привычке пить чай в конторе, нежели из удовольствия,— Веденей устремился домой. Бежал он сгорбившись, мелкими шажками, высоко подымая лапотки, помахивая посошком; глаза опустил вниз, ворчал себе в бороду: «Упросила!.. Должно, еще вчерась удосужилась, хвостом вильнула... Видно, и вправду бают люди — Игнатка-то от него... Вот и служил и кланялся... Нету правды на свете... Нету... нету... Ахти-хти-хти!» Задами, вдоль речки и потом с гумна подошел он к своему двору и остолбенел: с улицы, от избы ясно доносился большой говор. «Никак, сходка,— прошептал он, пристальнее вникая ухом,— и впрямь сходка!.. Ахти-хти-хти...» и опять задами помчался к сборной избе, где жил и поселный писарь унтер Ерофеич. Унтер Ерофеич сидел на крыльчке и пил водку из только что початого полштофа. Нос у него так и краснелся над оттопыренными закуренными табаком усами.

— Отец! Что ж это будя?..— заголосил Веденей, размахивая руками. — Самовольный сход... сход самовольный собрался!.. Надо запрягать, надо запрягать... либо к старшине, либо к посреднику надо ехать.

Унтер Ерофеич допил стаканчик, крикнул, пригладил усы и сказал:

— Что ж, поезжай: арестантская давно по тебе плачет.

— И поеду! И поеду! Что ты меня пужаешь? И ты собирайся.

— Нет, видно, он не поедет,— ему дома хорошо...

— Как ты можешь эдакие слова? Ты, писарь. Вот она, медаль, аль не видишь?

— Возможно ли не видеть. Ты не прибежал, а я уж ее видал, медаль-то твою... Где тут сучка-то была... фю! Раскепка!.. Вон твоя медаль...

Веденей и сам был невысокого мнения о своей медали, но он подумал, что Ерофеич говорит неспроста, вышел из себя и завизжал:

— Ты чью водку-то лопаешь, а?.. Ты думаешь, я не вижу, чья водка-то? Душегубы!.. Христопродавцы!.. Вот погоди уже — управителю скажу... Погоди, дай в контору сбегать... Он тебя рано попрет из деревни!

— Беги скорей, не опоздай,— сказал унтер Ерофеич и опять выпил стаканчик и закусил.

Староста вдруг с растерянным и утомленным видом сел и молча стал глядеть на унтера. От того места, где собралась сходка, доносился шум. Унтер набил трубку, расправил усы, закурил и внушительно поглядел на старосту.

— Глуп ты, дядя Веденей, глуп,— сказал он по-солдатски, отрывая слова,— знаешь закон? Нет, не знаешь. За что старостой поставлен? За что — неизвестно. Ерофеев знает закон. Он в полку имени его величества Фридриха-Вильгельма, короля прусского, двадцать пять лет отзвонил. Что ты медаль сешь? Он пять имеет, шеврон, Егорий. Вздумал с кем тягаться.

— Полштоф-ат за что взял? — смирным, усталым голосом выговорил Веденей.

— А за то и взял, что знаю закон. Тебе не принесут. Ты — сиволап, тебе и не принесут. Если хочешь, скажу, кто и принес: Андрон. «Есть закон



собирать стариков при семейных разделах?» — «Есть». — «Может общество понудить родителя, чтоб выделить сына?» — «Может». — «Получай полштоф». — «Давай». Вот и разговор весь. Что есть выше закона, отвечай?.. Управитель? — Врешь. Старшина? — Опять врешь. Господин мировой посредник? — И опять соврешь, ежели скажешь. Выше закона — фухтеля. Понял? Но это часть военная.

— Ахти-хти-хти... как же, Ерофеич, нешто идти мне к ним?

— А ты думал как? На то и сход, чтоб тебе там присутствовать. Ты кто? Ну, и ступай.

— Ахти-хти-хти... — с глубоким вздохом проговорил Веденей, надвинул шляпенку, поправил свою медаль, понурился и тихо побрел улицей к своей избе, где на крыльце, около крыльца и на улице толпился народ. На лавочке крыльчика сидели подряд сивобородые, чинные, туго подпоясанные старики, с посошками в руках, в высоких шляпах. Между ними замешалась одна только смоляная борода Сидора Нечаева да лоснились одутые щеки молодого богача Шашлова с рыжим клинышком пониже губы. Сам старик Шашлов в мирские дела не вмешивался. Менее почетные и которые помоложе толпились у крыльца и перед лавочкой. Агафон и Акулина с любопытством выглядывали из сеней. Андрон, намащенный и расчесанный волосок к волоску, стоял без шапки, с смиренно потупленными глазами. Он держался поближе к сивобородам. Гараська Арсюшин, в картузе, надвинутом набекрень, то урывками затягивался из рукава цигаркой, то, будто уязвленный, метался по народу и звонко, надсаживаясь, кричал, стараясь заглушить тех, с кем спорил. Одних с ним лет и тоже в картузе и с таким же оглушительно-наявливим голосом был еще домохозяин — рябой и кривоносый Аношка. Они так и держались вместе, кричали иногда слово в слово одно и то же. У обоих и отцы находились здесь. Арсений сидел в почетном месте — на лавке, Аношкин отец стоял в толпе и робко озирался из-под своего рваного треуха: он был самый бедный мужик в деревне. Вообще почет распределялся не только по бороде, по одежде, по тому, чем была накрыта голова, но и по запаху: на крыльце и у самого крыльца гуще пахло дегтем от сапог, коровьим маслом от волос, Андроновой водкой, нежели за крыльцом и на улице. Вся улица перед Веденеевой избой запрудилась посторонним народом: сюда собрались ребятишки со всей деревни, парни, бабы и даже девки; девки, впрочем, старались не выступать наперед. Как только показался Веденей, говор стих. Вдруг Гараська оскалил зубы, усмехнулся, раздувая ноздрями, и сказал: «Вот и костяная яишница! С виду вкусна, в рот — зубы сломаешь». Аношка тотчас же подхватил: «Повадка волчиная — лик-ат андельский!» Оба выговорили так метко и похоже на старосту Веденея, что все, кто слышал, разразились хохотом. Веденей сразу догадался, что это над ним, и его сердце заныло еще больше. В хохоте он ясно различал и радостный смешок Сидора Нечаева, и визгливое захлебывание молодого Шашлова, и, что всего горестнее для Веденея, солидный с раскатцем смех строгого старика Ларивона Власова, и сиплое хихиканье «непотатчика таким делам» Афанасия Яклича. Еще ниже сгорбился Веденей и еще смиреннее и умильнее сделался лицом. Не доходя шагов пяти до сходки, он снял свою шляпенку, поклонился. В ответ не спеша, размеренными движениями, по очереди поднялись шляпы, шапки, треухи; картузы остались неподвижны. Произошло краткое молчание.

— Ну, что ж, Веденей Макарыч, — проговорил с крыльца Ларивон Власов, — полезай сюда. Кабыть, не пригоже как-то. Ты — хозяин, мы — гости.

— Чать, не в конторе у притолки стоять, — управителя здесь не-

ту! — буркнул Гараська, расталкивая народ, чтобы самому взобраться на крыльцо.

Веденей надвинул шляпенку и, не подымая глаз, пережевывая губами, вежливо протеснился куда ему следовало; его левую щеку едва заметно подергивало. Сивобородые подвинулись, дали ему место на лавке.

— Вот Андрон жалится миру,— сказал Ларивон, не взглядывая на Веденей и уставив бороду в землю,— жалится миру, будто обида ему от тебя...

Андрон тряхнул волосами и поспешно заговорил:

— Как же не обида, господа старички?.. Четвертый год сапоги ношу — не допросишься. Чуть что — вожжами... бабу заездил на работе...

— Твоя речь впереди! — строго сказал Ларивон.

Гараська дернул Андрона за рукав и выразительно мигнул ему. Веденей вскочил с места, обнажил голову и низко поклонился на все стороны.

— Я миру не супротивник,— прошамкал он дрожащим голосом, — глядите, отцы, вам виднее... Кажись, добро свое не проматывал, нажитое не расточал... Вот, отцы, дом — полная чаша... коровы, овцы, лошади... Вот хлеба старого семь одоньев!

— Язычком добыто! — сказал Гараська.

— Помолчи,— шепнул ему отец.

Веденей сделал вид, что это его не касается.

— Теперича он говорит — вожжами...— продолжал он.— Не потаю, отцы, случалось. Но чем же дом-ат держится, коли не строгостью? Я на тебя сошлюсь, Ларивон Власыч, аль на тебя, Сидор Егорыч, аль на тебя, Афанасий Яклич. Чать, ты, Власыч, не задумался Семке лоб забрить (Ларивон насупил свои лохматые брови), ты, Сидор Егорыч, случалось, бивал свою Пашку не токмо вожжами, а и — прямо надо говорить — чем попада; а уж об тебе, Афанасий Яклич, и толковать не приходится!.. Ну, и что ж, отцы, неужто плохо? У кого полны закрома хлеба? У кого гумно ломится от одоньев? У кого порядок в дому?.. Все у вас, благодетели. Отцы! Я вот что скажу: сами знаете, сколь трудно домок собирать... («Да, ежели хребтом!» — не унимался Гараська.) Там пригляди, там прикажи, там приладь... Всюду глаз, да руки, да ноги. Молодые-то и спать горазды, и выпить, бывает, не дураки, и работу не больно любят. Кому будить? Кому постращать? Кому указать, как работают — по-нашему, отцы, по-старински? Все на родителя, все на нас, господа старички!.. Что же это теперь будя? Хозяйство, что горенка: сдвинь державу — все разлезется. Ты говоришь, Андроша, вожжи... Как же тебя, друг сердешный, не поучить, коли ты вот до сего часу отчета мне в деньгах не отдал? Давал я ему, отцы, на три косы, а он привез одноё, и сам хмельной. Рассудите, благодетели!

Андрон опять тряхнул волосами и сказал:

— Провалиться, старички, в рот капли не брал! А что до денег, которые он мне давал деньги, я хоть сейчас... до последнего грошика целы.

— Помолчи малость! — с неудовольствием сказал Ларивон.

— Эка у тебя язык-то, малый, свербит? — гневно крикнул Афанасий Яковлев.

И Веденей ободрился, что так гневно закричали на Андрона.

— Ну, теперь ты жалишься, Андроша, про сапоги,— еще умильнее сказал он.— Точно, старички, сапог я ему не покупал. К чему? Вот они у меня, вытяжки-то,— и он приподнял свою ногу в лапте,— с малых лет отзваниваю!.. Хуже ли я стал с того, лучше ли — не знаю. Но все же

как-никак случается, и почитают лапотника-то... вот сколько, может, годов старостой хожу... К чему же, отцы, сапоги? Жили, работали, наживали, сапог не нашивали! («Это верно»,— выговорил Ларивон. «Правда, правда»,— подхватили старики. Веденей оживился и приподнял голос.) В старину говаривали: на пузе-то шелк, а в пузе-то щелк... Ты пожалься, Андронушка,— хлеба не наедался, квасу-браги не напивался, убоинки во щак не видывал, овчины на плечах не нашивал,— ну, иное дело, повинен я, стоит меня, старого хрыча, на осину. Сапоги носят, что говорить... да кто-о? Либб старички степенные... на праздник да на сходку, либб у кого мошна звенит, денег куры не клюют, кто злато-серебро лопатой загребают. Вот Максим Естифеич носит, так ему это под стать, друг сердешный! (По губам Максима Шашлова пробежала самодвольная улыбка.) Али взять удалую головушку, хвата, с лица — кровь с молоком, хоть бы, примерно, Герасима Арсеньича. («Не подлаживайся, старый шут!» — огрызнулся Гараська, однако же с ухарским видом поправил картуз.) А нам с тобой, Андрошинька, куда не к рылу сапоги! (Старики засмеялись.) Нет, отцы! Он жалится, пушай и я буду вам докучать. Вот воротился вчерась с базара, нагрубил, нагрубил... Что ж это будя?.. Бабу науськал — соромским словом меня обозвала... Полез в драку, родителю в бороду цепляется...

— Кто в тебя цеплялся, побойся бога,— сказал Авдотьин отец.

— Цеплялись, цеплялись! — вдруг разозлился и заголосил Веденей.— Твой же Андрюшка меня по уху съездил!.. Рассудите, старички... Вот пришли... вот в чужом доме драку затеяли... С Акулины повойник сшибли, Агафону глаз испортили... Что ж это будя? — но он тотчас же уловил, что его запальчивость не нравится старикам, что Сидор Нечаев уже готовится раскрыть рот перебить его, и тотчас же стих и прежним кротким голосом сказал: — Ты вот, Андронушка, бунтуешься, старика отца убить собирался... А отец-то не в тебя, а отец-то сердце родительское имеет! Вот, старички, побежал я ноне к Мартину Лукьянычу... вот побежал... как быть? А он так-то разгневался, благодетели, так-то раскричался. «Брей лоб, ступай к посредственнику! Бери от меня бумагу!» (Андрон переступил с ноги на ногу и побледнел.) Как быть?.. Родительское сердце — не камень, отцы! Вот пал в ноги... вот умолил. Пушай, что дальше будет. Посечь посеку, это уж ты не обижайся, друг сердешный, вот и бумага к волостному,— и Веденей бережно вынул из-за пазухи и торжественно, так, чтобы все видели, показал конверт с огромною сургучною печатью,— а лоб тебе брить покамест погожу. И насчет Овдотьи,— обращаясь к Авдотьиному отцу,— как, говорю, быть, Мартин Лукьяныч, вот соромским словом обозвала, кинулась в драку? «А, говорит, коли так, получай и об ней бумагу, пушай маненечко постегают для острастки»... а? — Веденей помолчал и с умилением добавил: — Не взял! И за дочь твою умолил, Евстигней! И дочь твою отвел от бесчестья! — и, точно набрав силы в этих благодетельных своих делах, он громко, на весь народ, провозгласил: — Вот, говорю, отец, Андронушка мир мутит, разделу требует, водкой угощает старичков... Как быть? — «А вот как, говорит, ежели тебе какая обида — со мной будут иметь дело, а не с тобой. А я уж, господь даст, рано с миром справлюсь!» — После этого Веденей вдруг опять понурился, сделал жалобное лицо, снял шляпенку, низко поклонился на все стороны и пересекающим, слезливым голосом проговорил: — А иное дело, я миру не супротивник... Смотрите, отцы, вам виднее. Рассудите дом рушить — рушьте. Укажете нажитое по ветру пустить — пушайте... Вам виднее! — всхлипнул он, отер заскорузлыми пальцами глаза, надвинул шляпу и сиротливо прислонился к стене.

Наступило гробовое молчание.

— Что ж, Андрон... — выговорил Ларивон Власов, переглянувшись с стариками, — видно, тово... покорись: проси прощенья у родителя!

Лицо Андрона дрогнуло, губы затряслись... еще мгновение, и он готов был упасть в ноги отцу, как вдруг Гараська и Аношка с остервенелыми лицами бросились к Веденею и, широко разевая рты, неистово размахивая руками, закричали, надсаживаясь, изо всей мочи. Точно волна пробежала по народу. Поднялся сплошной неописуемый шум.

Можно было заметить — у кого седина была меньше, тот громче и язвительнее донимал Веденея и степенных стариков. Многие из седых не задевали сверстников, но не щадили Веденея. Одни высказывали вперед и кричали начистоту, что им приходило в голову; другие поступали с лукавством: крикнут, ругнут и спрячутся в толпу; третьи горланили, не обращаясь ни к кому в отдельности, не прячась и не выказываясь, мало заботясь, чтобы их услышали, бескорыстно наслаждаясь оглушительным звуком своих собственных слов; четвертые схватывались ругаться с соседом или с тем, на которого давно имели зуб, спорили не слушая, налетали друг на друга, как петухи; пятые старались говорить веско и запутанно, выбирая для этого время, когда шум около них несколько стихал. Наиболее опытные, мудрые и хладнокровные тихо переговаривались и переглядывались, дожидаясь, пока наступит их очередь.

Прежний распорядок сходки — почетные и захудалые, в сапогах, смазанных дегтем, и в лаптишках, в шляпах и в разных треухах, — все теперь сбуровилось, спуталось, перемешалось. Взбегали на крыльцо, сходили оттуда, опять взбегали. Какой-нибудь голяк в заплатанном зипунишке подскакивал к сивобородым и лялся с непринужденною яростью. Толпу точно волновала буря. Гараська и Аношка носились, как на крыльях. Одну минуту их можно было видеть у самой бороденки Веденея: можно было подумать — вот-вот они вцепятся в него, но через мгновение их картузы чернелись уже на улице, и задорные, охрипшие голоса уличали какого-нибудь нечаянного почитателя старины. Внутренно доведенный до белого каления, Веденей злобно сверкал своими красноватыми глазками, щурился, подергивался, много раз готов был заголосить тем надтреснутым визгом, который был ему свойственен, но быстро спохватывался и молчал, насильственно улыбаясь, или со вздохом произносил: «Ахти-хти-хти!..» Он тоже выжидал своей очереди. Андрон и Агафон галдели во всю глотку, налетая друг на друга с кулаками. Но никто не думал, что они подерутся, потому что наскоки делались только для виду. Драка на сходке была не в обычае.

Крики, наконец, стали ослабевать, запас попреков, острот, язвительных и ругательных слов начал истощаться, приближалось затишье. Наступало то время, когда более опытные, влиятельные и мудрые взвешивали все, наговоренное на сходке, и, сообразно с этим, провозглашали свое мнение, непременно заканчивая его вопросом: «Так, что ли, старички? Согласны?» — на что следовал обыкновенный ответ: «Так, так!.. Согласны... Чего лучше!.. Мир — велик человек... Умнее мира не будешь!» На этой сходке чрезвычайно много было наговорено злобного, обидного, неприятного Веденею, много было насулено ему всякой всячины, много вспомнута его нехороших и лукавых дел и козней против мира, тем не менее насчет выдела Андрона высказывалось не более пяти человек. И эти пять человек сами понимали, что «не выгорело». Гараська уже сел, привел в обычный порядок лицо и стал вертеть цигарку. Аношка вяло доругивался. Андрон опять стоял, смиренно потупившись и сложа руки у пояса. Губы Веденея начинали складываться в приятную улыбку. Ларивон Власов, пошептавшись с стариками,

готовился опять повторить то, что сказал сначала: «Что ж, Андрон, видно, твою... покоришь: проси прощения у родителя!» Все понимали, что сейчас сходка кончится и чем кончится и что можно будет расходиться по домам.

Но в это время случилось внезапное событие, повернувшее весь ход дела. Дядя Ивлий трусил на своей косматой кобылке домой обедать. Ехал Ивлий не в духе, сердитый на Веденей: Мартин Лукьяныч только что жестоко пробрал Ивлия за то, что он не доложил ему, как болтают о мытье полов и о старостиних бабах. Но, пробравши, Мартин Лукьяныч сказал и о том, зачем Веденей приходил к нему, и опять пожалел, что «рушится хороший дом», и сказал про «не прежнее время, ничего не подделаешь с этим безобразием», что все будет, «как захотят старики». Увидал дядя Ивлий сход, захотелось ему узнать, чем порешили, но вместе с тем и спешил обедать; не подъезжая к старикам, он остановил кобылу у кучки баб, среди которых заметил солдатку Василису, и, подзвав ее, спросил:

— Что, Митревна, чем порешили Веденей?

— Вывернулся, беззубый паралик! — отвечала та с живейшим негодованием. — Галдели-галдели, грызли-грызли его, а должно, придется Андрошке покориться.

— Как так, покориться?

— Да так. Все толстопузый-то твой вламывается, куда ему не след (подразумевался Мартин Лукьяныч)!

— Ты угорела, девка! Чем он вламывается?

— Как же чем! Веденей такого тут страху нагнал... Да и впрямь задумаешься: ишь, управитель грозился Андрошке лоб забрить, Овдотью — выпороть. Статочное ли дело, пузатый родимец, бабу бесчестить! «А ежели, говорит, тебе какая обида будет от стариков, я с миром рано управлюсь». Небось, глотку-то перехватит от таких посулов!

Ивлий так и рассмеялся от радости.

— Ну, беги ж ты, девка, шепни Сидору, что ль, аль Гарасиму... — сказал он, нагибаясь с седла, и рассказал, что шепнуть, а сам, внутренне помирая со смеху, потрусил далее.

Скоро самые задние в толпе, уже мирно толковавшие, что весна больно хороша для трав, что, надо быть, со дня на день погонят сеять барскую гречиху, что, говорят, в село приехал новый поп, зять отца Григория, что в Митрохине, сказывают, выгорело семь дворов, что болтали вчерась в волости, будто идет холера, — эти самые задние были несказанно удивлены страшным шумом, случившимся на крыльце, новым взрывом ругани, попреков, острот и язвительных слов. Спустя минуту опять все заколыхалось, смешалось и зашумело. Но теперь уже чаще и чаще стало слышаться: «Выделить! Выделить!.. Нечего поношаться!.. Сколько над миром поношался, а теперь и сынов запрет... Будя!.. Выделить!» Веденей, ошеломленный неожиданностью, очертя голову бросился в свалку, визжал, шамкал, брызгался слюнами, огрызался, точно волк от наступающих собак. Гараська и Аношка ни на пядь не отставали от него, как впилась. Чувствуя свою силу, они даже не злились теперь и не ругались, а только глумились над стариком. Как перед тем все были уверены, что Андрошке придется покориться, так теперь были уверены, что его дело выгорело. Об этом знала вся деревня. Даже ребяташки, бегавшие без порток позади толпы и утиравшие себе сопли спущенными рукавами, — даже эти ребяташки знали.

Вновь наступило затишье. Веденей, прислонившись к стене, тяжело переводил дыхание и поминутно покашливал. На нем лица не было.

— Значит, мир рассудил тебе, Веденей Макарыч, отделить Андро-

на,— медленно выговорил Ларивон Власов и, обратившись к народу, крикнул: — Так, что ль, старички? Согласны?

Послышался одобрителный гул.

— Теперича как быть? Выбрать пятерых которых... чтоб, примерно, за дележкой понаблюдали, чтоб без обиды, по-божьему. Так, что ль? Согласны, старички?

Опять послышался одобрителный гул.

Без всяких пререканий выбрали Ларивона Власова, молодого Шашлова, Сидора Нечаева, Гараську и Афанасия Яклича. А когда Гараська, сославшись на недосуг, отказался, заменили его Аношкой.

— Ну, когда ж соберемся? — спросил Ларивон у выборных уже приватным, неофициальным голосом, — чать, не ближе воскресенья. Гляди, как бы с завтряго не погнали гречиху сеять.

— Что ж, в воскресенье и в воскресенье. Андрон, тебе как?

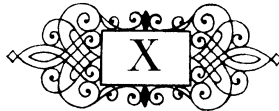
— Что ж, господа старички,— запинаясь от радостного волнения, отвечал Андрон,— как вы повболите! — но вдруг вспомнил, что идет в казаки.— Только, коли милость ваша будя, доверяю свою часть жене... аль вот батюшке тестю. Мне, признаться, кое-куда отлучиться нужно.

— Это дело твое,— сказали старики,— пуцай Овдотья получает. Муж да жена — одна сатана.

— Так вот, Веденей Макарыч,— выговорил Ларивон Власов, с сочувствием взглянув на старика,— видно, рад не рад, жди в воскресенье гостей. Мир, друг, не пересоришь.

— Да припасай полведра! — засмеявшись, добавил Аношка.

Веденей открыл беззубый рот, хотел что-то сказать,— что-то горькое и угрожающее,— захлебнулся слезами, всхлипнул и, махнув рукою, пошатываясь, побрел в избу.



Жизнь Николая в степи.— Его мысли, чувства, порывы и ощущения.— В куренях.— Шутка друга Кирюшки.— Любовные приключения Николая с голодной девкой Машкой.— Неожиданное общение с народом.— Обедня.— Проповедь.— Арефий Сукновал лазутчиком.— Отец Григорий и отец Александр, и кто из них лучше?

Наступило время покоса. Мартин Лукьяныч послал Николая на хутор, чтобы вместе с Агафоклом смотреть за работами. Это было еще в первый раз, что Николаю поручалось особое, почти самостоятельное дело. Он устроился на хуторе в порожнем амбаре. По утрам, едва восходило солнце, пил на крылечке чай с Агафоклом; обедал и ужинал за одним столом с конюхами и табунщиками. На праздники ему разрешалось ездить в Гарденино.

Новые условия жизни: отсутствие отца, некоторая самостоятельность, великолепная майская погода в степи и даже то, что приходилось есть с конюхами и табунщиками, быть с ними как свой,— все это казалось Николаю удивительно веселым и приятным. Он забрал было с собою книги, пробовал читать, но закрывал с первой же страницы, потому что волнующая прелесть жизни не давала ему покоя, подмывала его, срывала с места. Кроме того, он теперь уже окончательно решил, что живет в Гарденине только пока, что

вот еще пройдет немного времени — сколько, он не знал с точностью: месяц, год, три, вообще немного, — и тогда случится так, что он бросит все прежнее, начнет совсем, совсем новую жизнь; тогда он все узнает, все прочитает, поедет в Петербург и Москву, то есть вообще туда, где множество «настоящих» образованных и развитых людей, где пишут и печатают книжки, станет там учиться естественному, «социальным наукам», станет «запасаться солидным развитием».

А пока даже было и некогда читать. Когда он утром выходил на крылечко, щурясь от молодых солнечных лучей, вздрагивая от прохлады, веявшей с Битюка, и садился заваривать чай, в степи уже давно разносился звон кос, свист подваливаемой травы. Немного погодя подъезжал Агафокл на своей пегашке и неизменно восклицал: «Друг! Миколушка! Чего раненько продрал глазки? Ты бы, голубчик мой сизенький, еще понежился... А меня, признаться, на зорьке взбудили, в рот им ягоды!» После чая, за которым обыкновенно происходили деловые разговоры: докосит или не докосит сегодня боровская артель «на мысу», годится ли сгребать ряды в Тимохиной вершине, начинать ли в урочище Пьяный лог метать стога, — Агафокл укладывался вздремнуть часика на два, а Николай весело вскакивал на седло и скорою красивою иноходью выезжал мимо бугра, мимо старой ракиты в степь. Свежий, душистый, оживленный простор встречал его. Блестела роса, пестрели бесчисленные степные цветы, вспархивали из-под ног перепела, над головою, трепеща крылышками, заливались жаворонки, пронзительный свист сурка доносился с ближнего кургана, в траве перескакивали голубые стрекозы, перелетали разноцветные бабочки, зудели «кузнецы»; в низинных местах бродили голенастые кулички, плакала острокрылая чибеска. Пахло земляничкой, чабером, медом, горьковатым запахом полыни — всем, чем только благоухают степные травы в конце мая. Там и сям мерно, нога в ногу, двигались ряды косарей в белых рубашках, однообразно звенели и сверкали косы, с свистящим шумом падала в ряды высокая, росистая трава, или видно было, как пестрели копны темно-зелеными точками, гордо возвышались стога, ходили табуны, вился голубой дымок из куреней.

Иногда случалось, что Николай, вместо того чтобы прямо ехать к косарям, пускал лошадь подальше от того места, где виднелся народ, пробирался какою-нибудь ложиной туда, где еще не начинали косить, где было пустынно. Там он слезал с седла, пускал Казачка на чумбуре щипать траву, а сам принимался искать землянику и с величайшим чувством наслаждения бросал в рот душистые, обрызганные росой ягоды. Когда надоедало, ложился в высокую траву лицом вверх и, не отрываясь, долго, долго смотрел на небо. Вечно разнообразное, оно рождало разнообразные настроения в душе Николая. Смотри по тому, какие облака виднелись на лазури, как они двигались — быстро ли гнало их ветром или медленно, низко или высоко над землею, или небо было безоблачно, распростиралось бесконечною темно-синюю сверкающею бездной, — смотря по этому складывались и мысли Николая, слагались мечты. Какие мысли, какие мечты, он и сам не мог бы ответить, — так это было смутно, тонко, мимолетно, так было похоже на сонные грезы. Он одно только мог сказать: все, о чем мечталось и думалось в это время, на какой-то странно высокий и торжественный лад подымало его душу, волновало ее радостью, не похожую на другие радости, смущало несказанною грустью. Обыкновенно в первые минуты, когда бросался в траву и ненамеренно обращал к небу глаза, он додумывал прежде, — о том, сгребать ли сено, о том, что книга «О происхождении человека» во многом не понятна ему, хотя ужасно интересна и убедительна, о том, как хороши стихи Некрасова, как ловко разнес Писарев Пушкина и какой гениальный писатель Омуревский, о том, что-то теперь делают Татьяна, и Иван Федотыч, и Грунька Нечаева, и как хороша однодворка Машка, и как ловко поют песни боровские косари. Но мало-

помалу рассеивались и погасали эти прежние мысли, в душе выросло что-то новое, важное, в соответствии с тем, о чем говорили небеса. А небеса именно говорили, потому что все, чем звучала степь: серебристые переливы жаворонков, плач чибики в ближней ложине, непрерывный звон кузнечиков, едва уловимый шепот травы, копошение козявки у самого уха, дальнее звяканье, свист, удары молота по железу, — все это подымалось к небу, преображало царствующее там безмолвие, оживляло холодную и загадочную немоту.

Николаю случалось иногда заставить себя с лицом, мокрым от слез, с сердцем, прыгающим в груди от какой-то странной радости. Тогда он сам удивлялся на самого себя, стыдился самого себя, с усилием старался вернуться на прежнее, старался думать об Огюсте Конте, о «мыслящем пролетариате», о том, как хорошо быть «трезвым реалистом», о том, что беден и несчастен русский народ. Это иногда удавалось, иногда нет. Чаще же всего от *того* настроения он переходил в настроение восторга, что так хорошо, так проторно кругом, так раздольна и красива степь. Он тихо затягивал протяжную мужицкую песню, или перекладывал на свой собственный голос стихи Кольцова, или, наконец, вынимал записную книжечку и слагал рифмы, в которых воспевались все та же степь, те же курганы, те же косари, и костры у куреней, и синяя даль, и заунывные песни. Это, впрочем, с одной только стороны, с другой же — в рифмы неизбежно вмещалась и так называемая «гражданская скорбь», без которой, по теперешнему мнению Николая, не могла существовать истинная поэзия. Правда, «гражданская скорбь» несколько затрудняла Николая; жизнь его до сих пор протекала так, что мужицкая бедность, и теснота, и обездоленность как-то проходили мимо него, не бросались ему в глаза, не врзались в воображение, — одним словом, он сам, говоря по совести, решительно не примечал, что «где народ, там и стон»... Но об этом говорили умные книжки, об этом говорил Косьма Васильич Рукодеев, об этом, наконец, с необыкновенною для Николая силой говорили стихи Некрасова. И он насильственно втеснял в свои рифмы то, что вынес из всех этих влиятельных внушений. Но все-таки ему казалось явным несообразием с прискорбием описывать гарденинских, боровских, тягулинских мужиков, то есть тех, которых он знал и в жизни которых, казалось ему, не было никаких причин припевать, как в «Коробейниках»: «Холодно, странничек, холодно, голодно, родиненький, голодно»... И вот, отвлекаясь мыслью от тех мужиков, которых он знал, он описывал воображаемых мужиков, и не здесь, а где-нибудь в неопределенном месте, в таком, которое лучше подходило бы к рифме, — на Каме, на Волге, на Оке, — и описывал уже, не жалея мрачных красок, не жалея негодующих слов, рыданий и даже крови. И, случалось, плакивал над своим воображаемым мужичком и над его воображаемыми страданиями...

Но не все лежать, нужно было ехать к рабочим. Солнце стояло высоко, роса обсохла, бабы и девки высыпали сгребать ряды, мужики метали стога, косы свистели глуше и медленнее. Николай ездил от артели к артели, просил, чтобы не оставляли высоких подрядьев, не пускали лошадей далеко от куреней, чище сгребали сено, круче метали стога. Иногда заподозревал, что на его слова не обращают внимания, замечал лениво-равнодушные лица в ответ на просьбы, небрежные улыбки и тогда вспыхивал, выпрямлялся на стременах и, до боли надсаживая себе грудь, кричал, ругался грубыми, непристойными словами. Точь-в-точь как Мартин Лукьяныч в подобных же случаях. Николай не решился бы так ругаться с гарденинскими мужиками или вообще с барскими, но с однодворцами это было можно, потому что и ему свойственно было смотреть на них как на людей враждебной народности. Так по крайней мере было с начала покоса, но потом он уверился, что это не так, и уже стыдился ругаться и кричать на них, подобно испугленному. На девок же и баб, хотя они и были «галманки», он и сначала не решался кричать и вообще, подъезжая к ним, всякий раз был обуреваем непреодолимым смущением. Они не походили

на барских еще больше, чем мужики: они были бойкие, речистые, скорые на дерзкое или насмешливое слово, на такие прибаутки, от которых барская девка сгорела бы со стыда. Особенно отличались этим солдаты. В таком обращении много было и дразнящего, но много и такого, что наводило на Николая страх.

— Стребайте чище, бабы! — говорил он умоляющим голосом.

— Каё ж мы бабы?.. Аль табе выслепило! Ты що ль вянцы-то на нас вздывал? — отвечала ему здоровенная, грудастая, с косою ниже пояса, девка Машка.

Кругом подымался смех и дальнейшие пояснения Машкиных слов.

— Пожалуйста, лучше копны делайте, — просил он в другом месте, — ваши копны черт знает что!

— Каго-о-о? — насмешливо спрашивает отчаянная солдатка Макариха. — Табе що ж, вздрать их... — и выговаривала такое словечко, что Николай торопливо отъезжал, провожаемый дружным оглушительным хохотом.

Чаще же всего они с ним заговаривали первые, говорили ему, что он «пригоженький», звали приходиться на улицу в курени, в нецензурных словах обещались, что будет весело и как весело. Они как бы спешили сорвать с него личину начальственной недоступности столь вольным и дерзким обращением.

Когда Николай ночью с высокого места смотрел на степь, его уже давно соблазняли костры в куренях, стройно-заунывные песни (одноворцы пели гораздо лучше барских), подмывающие звуки жилеек, ладный топот трепака. Кроме того, и Агафокл беспрестанно подбивал его... И, наконец, Николай соблазнился. Однажды вечером Агафокл захватил балалайку, Николай — новую гармонию, бывший поддужный Ларька — бубен, запрягли дрожки, поехали версты за три от хутора, в табор боровской артели. Ночь стояла темная, звездная, теплая. Всюду горели огни, отовсюду доносились песни, в темноте странно обозначались очертания стогов, фыркающие и однообразно хрустящие лошади. Когда подъехали к месту, в куренях поужинали, и мужики сидели и лежали вокруг костра, лениво напевая, покуривая трубки, медленно обмениваясь словами. Свет от огня падал на телеги с приподнятыми вверх оглоблями, на курени, толсто укрытые травой, с узкими отверстиями, — только чтобы пролезть человеку, — падал на смуглые и чистые, на бородатые, на молодые лица. Иногда в костер подбрасывали охапку бурьяна; люди, телеги, курени на мгновение исчезали во мраке... Но вот огонь взвивался еще выше, чем прежде; в полосе колеблющегося света неуверенно выступала белая лошадиная морда, собака, сидящая на задних лапках, блестящее лезвие косы... То, что было ближе к огню, казалось багровым, принимало какой-то фантастический вид. Из куреней слышалось однообразное убаюкиванье, плач детей; за куренями негромко пересмеивались девки, молодые бабы и солдаты.

Хуторские подошли, поклонились, им немедленно очистили место у огня, сказали:

— На улицу, що ль? Иде девки-та?.. Э! Никак, и ты, Мартиныч, пришел!.. Що ж, забавься, дело гожее.

Но девки подошли не сразу, и у мужиков опять потянулись прерванные разговоры.

— И шой-то, братцы, люди таё... озверялись, — сказал один одноворец. — Быдто и смертного часа нетути.

— Дождайся, коли ён приде, пить-есть надоть, — подхватил другой.

— Эва! Вон народ гутаря — холера... Валом валит.

— Мало ль що бают.

— Ну, не гутарь, — отозвался из темноты старческий голос, — на моей эдак памяти баял народушка — мор будя. Що ж, не сталось мимо, был!.. И-и, вспомнешь, страсти господни... Мухи... ровно мухи мерли. Эдак-то дервнюшка была... выселки... каё примерли, каё разбрелись, каё що...

Стали расспрашивать и говорить о холере. Агафокл нетерпеливо завозился.

— Ну, вот! — крикнул он. — Вот уж не люблю... Эка затеяли! Эка разговор какой нашли!.. Ну, умрешь, ну, схоронят. Ну, дальше-то что?.. Э-эх, люди тоже называются! — и вдруг тряхнул кудрями, ловко пробежал пальцами по струнам балалайки, заохал, застонал, задвигал плечами, заголосил изнеможенным голосом в лад с балалайкой: «Пить — умирать, и не пить — умирать, мы пить будем и гулять будем, когда смерть придет — помирать будем... Ох, ох, о-ох, помирать будем!» — и, сделавши костяшками пальцев какой-то изумительный треск, хлопнул Николая по плечу и воскликнул: — Так, что ли, друг разлюбезный? — Все засмеялись.

— И ловчак ты на балалайке, Агафокл Иваныч!

— Що ж! Ай даром другую бабу у нас на селе сманывае?

— Покамест не прижали в тесном месте да кишки не повыпустили! — вдруг проговорил кто-то резким, угрожающим голосом. Николай быстро обернулся и взглянул на того, кто сказал. Это был однодворец лет под сорок, с черными без глянца волосами, постриженными у самых бровей, с жидким, неестественно водянистым блеском в зрачках. Какое-то странное выражение и этих глубоко впадших глаз, и неприятного, вздрагивающего от ненависти голоса, и особенно выражение мясистых, не в меру отвороченных губ врезалось Николаю до такой степени, что он почувствовал неясный, безотчетный страх. Вероятно, что-нибудь в этом же роде сделалось и с Агафоклом; он сменился с лица, беспокойно заерзал и, насильственно улыбаясь, пробормотал:

— Ну, ну, друг Кирюша... хе, хе, хе... ты уж завсегда насмешишь!

На Кирилу зашумели со всех сторон. Он неловко поднялся, понурился и, раскачиваясь на вывернутых ногах, медленно пошел от толпы в свой курень. «Чего он злобится, чего ему нужно?.. Вот уже не люблю! — торопливо говорил Агафокл, обращаясь к мужикам. — Аль я вас обижаю? Аль когда скотину загонял?.. Приехал на село, провел разлюбезным манером время... тихо, смирно, никого не трогаю... за что? Ежели из-за баб, — что ж, я мужевых не касаюсь! Солдаточка — вольный человек, я, грешник, хе, хе, хе... к солдаточкам прилипаю... Не по-соседски так-то, херувимы мои, неладно!» Мужики дружно стали успокаивать Агафокла: «Брось, Иваныч... не сердчай! Аль мы тея не знаем? Мы от тея обиды не видали. Так он, несуразный, шут его задави! Ему бабы — що! Ен на них и глаз не подымая... А так уж... кого невзлюбя — бяда! Эдак сукновала невзлюбил... чать, знаешь, Арефия?.. Вот бреша, вот лается! Прямо — несуразный». Мало-помалу Агафокл пришел в себя и начал поглядывать в ту сторону, где были слышны женские голоса. Но Николаю очень хотелось послушать вблизи, как поют боровские.

— Нельзя ли? — сказал он однодворцу, который полулежал около него, опираясь головою на руку.

— Робя! — проговорил тот. — Вот Мартиныч послушать жалае... Сыграем, що ль?

— Да що ж, заводи, пушай послухая.

Не переменяя положения, однодворец приложил ладонь к щеке, крикнул, раскрыл, искривляя, губы... Каким-то звенящим полуговорком, полураспевом вылетели оттуда первые слова песни:

— Э-их, да и що же ты, моя степь... раздолье широкое... степь моздовска-ая!.. — и не успели еще эти слова с бархатно-голосистой оттяжкой на слове «моздовская» уплыть в пространство и замереть там жалобно погасающим звуком, как вдруг настоящий стон, многоголосый, дружный, согласный, заставил вздрогнуть Николая. Он быстро отвернул лицо от огня... и грусть, и слезы, и восторг перехватили ему дыхание. «Что ж это такое?.. — воскликнул он про себя. — Как хорошо! Широко ты, степь, протянулася... буграми, буераками... лощинами-вершинами... от города Царицына до того ли що князя Галицына!

Ах, широко!.. Ну, ну, голубчики, еще, еще... Ну, еще, тонкий, дрожащий голос... и ты, угрюмый, бархатный бас... Вот оно!.. Плывет... вот оно!» И опять дружным, артельным стоном наваливались голоса и подхватывали запевалу, опять в густых, мужественных звуках звенел, как струна, ноющий, вздрагивающий тенорок, особенно тщательно выговаривающий слова песни,— и в душе Николая какими-то волнами росло и прибывало сладкое, томительно-замирающее чувство. Прелесть уныния, прелесть тоскливой удали овладевала им.

После «моздовской» спели еще несколько песен, потом загредел бубен, затренькала балалайка, поднялся пляс. Сначала Николаю показалось смешным, что девки плясали вереницей, следуя одна за другою, точно по сигналу прихрамывая все сразу то на одну, то на другую ногу, подпираясь в бока, чинно помахивая платочками: но, присмотревшись, и это показалось ему хорошо. После девок лихо и в высшей степени непристойно плясали камаринского Агафокл с солдаткой Макарихой. Впрочем, что пляска была непристойна, казалось одному только Николаю,— бабы, девки, мужики, включая и старичка, припомнившего тридцатого года холеру, так и помирали со смеху. «Ловчай! Ловчай!» — кричали в толпе. «Жги, Макариха! Валяй!..», «Ай да Иваныч! Ай да хахыль, пес тея задави!». На хутор вернулись уже на заре.

Однажды Николай пустился в любовные приключения, но это кончилось горестно. Вот как было дело.

Девка Машка не выходила у него из головы. Она была не из Боровой, а из другого дальнего села, в первый еще раз работавшего на Гардениных. Их табор помещался почти у самого хутора, не более как в полуверсте. Николай сначала хотел было посоветоваться с Агафоклом, как ему быть с Машкой, но чувство брезгливости удержало его,— Агафокл все более и более внушал ему какое-то непобедимое омерзение,— и он придумал вместе с Ларькой пригласить как-нибудь всех девок табора к себе на хутор, в гости. А там уж дело будет видно. Так и случилось в серый, дождливый денек, когда работы приостановились и мужики по своим нуждам уехали к себе в село. Девки с готовностью приняли приглашение и среди дня пришли на хутор. На первый взгляд они неприятно удивили Николая тем, что одеты были по-праздничному, но наряды их вовсе не походили на щегольские наряды гарденинских девок: заштопанные рубахи, полинялые платки, отрепанные юбки. Старание, с которым девки прикрывали это убожество, еще более огорчило Николая; они держались в кучке, незаметно спускали шушпаны на заштопанные места, как будто от жары снимали платки с волос. Однако такое впечатление скоро почти исчезло у Николая: девки, по-видимому, были так же бойки и дерзки на слова, как и в степи и у себя в курнях. Николай и Ларька стали играть, составила пляска с обычным прихрамыванием, с обычными прибаутками и восклицаниями, с мерным хлопаньем в ладоши. Все как будто шло как следует... Но Николаю опять почудилось нечто неладное. И чем дальше, тем больше. За бойкими словами, за пляской и веселыми прибаутками он замечал какую-то странную вялость, иногда то у одной, то у другой девки выступало выражение скуки и заботы на лице, смеялись как будто только потому, что уж принято смеяться там, где молодые парни, музыка и пляска. Николай хотел обнять Машку, но та не то что вывернулась, ударила его, оттолкнула,— это было бы в порядке вещей,— но с какою-то насильственной улыбкой отвела его руки. Все это происходило в пустом амбаре. У дверей с поджатыми руками стояла кухарка Акулина и серьезно, невесело смотрела на девок. Очевидно, ей приходило в голову то же самое, что и Николаю. Когда Машка уклонилась от Николая, Акулина поманила его к себе и вызвала из амбара. Отошли. Николай с удивлением заметил, что обыкновенно самодовольное лицо Акулины являет вид возбужденный.

— Полоумные черти,— сказала она вполголоса,— аль не видите, девкам животы подвело?

— Как подвело? — недоумевая, спросил Николай.

— А так! Тоже в гости зазвали... Ты бы спросил у них, ели они ноне аль нет? Да и вчерась-то вряд ли ели.

— Ну, что ты болтаешь!

— Ишь не болтаю. Не токмо пшена,— хлебушка нет. Бо-знять чем перебиваются. Ноне мужики поехали ко двору: не то добудут, не то нет. Беднее ихнего села в округе не сыщешь.

— Как же быть, Акулина, а? Я не знал,— растерянно пробормотал Николай.

— Что ж, хлебушка отрезать по ломтику, аль щец пушай похлебают. Тогда и веселье иное пойдет... А то захотел от голодной девки толку добиться!

— Так, пожалуйста, Акулина... Я тебя прошу. Щей, хлеба... ветчины отрежь. И я уж не пойду к ним... Ты, пожалуйста, сама как-нибудь.

Акулина отправилась к девкам, а Николай ушел в конюшню, растянулся на сене и начал читать «О происхождении человека». И все прислушивался, не ушли ли девки. Спустя час в конюшню стремглав вбежал Ларька и с хохотом крикнул Николаю:

— Нажрались!.. Пойдем скорее!.. Я Машке так и сказал, чтоб во всем тебя слушалась... А то, мол, хлеба не велит давать...

Николай обернулся к нему с перекошенным от злобы лицом, с трясущимися губами.

— Убирайся к черту! — крикнул он не своим голосом.

И с тех пор не только не пускался в любовные приключения, но даже избегал приближаться к девкам того табора, а о Машке совестился вспоминать. И перестал водиться с Ларькой.

Из Анненского только пять дворов косили на хуторе: убирали исполу маленькую вершинку. К ним Николаю и незачем и некогда было заезжать: только раз был у них — делил копны. Барские они обязаны были сметать в стога, а свое прямо из копен складывали на телеги и возили домой.

Однажды в субботу, ночью, Николай верхом отправился в Гарденино. Ехал он шажком, свободно опустив поводья, покуривал, смотрел на усеянное звездами небо. Было совсем темно, и, когда Николай переставал смотреть на звезды, ему казалось, что эта темнота еще сгущалась. Версты за три от хутора он услышал впереди себя скрипение колес, прибавил шагу, догнал воз с сеном. На возу сидел мужик, рядом с ним, вверх лицом, лежал мальчик. Николай молча поехал вслед. Ему было приятно чувствовать запах сена и дегтя, слушать, как, медлительно вращаясь, поскрипывали колеса,— это как-то необыкновенно шло к темной ночи, к глухой степной дорожке и особенно к звездам, горевшим в вышине ровным, уверенным светом, как бывает в сухую, постоянную погоду.

— Батя,— спросил мальчик неторопливым, вдумчивым голоском,— отчего же она так прозывается?

— Дорога-то? — Николай узнал ласковый голос Арсения Гомозкова.— А вот отчего. Был, Пашка, в старину Батей такой... из каких, не умею тебе сказать. Вот и пошел этот Батей на Русь. Шел, шел... дорог нетути, куда ни глянет — степь, да леса, да реки... Где-то деревнюшка притулится в укромном месте. Вот он и придумал по звездам путь держать. Оттого и зовется — Батеева дорога.

— Зачем же он, батя, шел?

— А уж не умею тебе сказать. Либо к угодникам, либо еще по каким делам... Не знаю.

— А это Телега?

— Это? Телега. Ишь, Пашутка, Илья такой был, Силач...

— Вот на Ильин день?

— Ну, ну. И промышлял Илья Силач нехорошими делами — разбой-

ничал. Ну, сколько, может, годов прошло, бросил Илья Силач разбойничать, затворился в затвор, вздумал спастись. И угодил богу. И прислал бог за Ильей эдакую телегу огненную, вознес на нёбушко. Илья-то там и остался, — ну, в раю, што ль, — а телега... вон она! Видишь, и колесики, и грядущки, и оглобельки — все как надо быть.

— А как же, батя, вот гром гремит!.. Сказывают, это Илья гоняет.

— Что ж, гоняет. Значит, в те поры опять влезает в телегу.

Мальчик вздохнул.

— А это вон Петров крест, а энто — Брат с Сестрою... Вот маленько годя Стожары подымутся...

Николай увидел, как рука Арсения отчетливо выделилась на звездном небе и указывала то в ту, то в другую сторону.

— Батя, отчего они светятся?

— Как отчего? Господь устроил. Сказывают, к каждой приставлен андел. И зажигает и тушит, ровно свечки. Премудрость, Пашутка!

— А отчего, батя, то месячно, а то нет, а то еще ущерб бывает?.. Аль вот что ты мне скажи: отчего летом солнышко закатывается за нашу ригой, а зимою — за Нечаевыми, а?

Арсений тихо засмеялся.

— Ну, ну, загомозил, заторопился, — сказал он. — Это ты спрости, Пашутка, которых грамотных, которые в книжку читают. А я что? Ходил за сохой целый век, ее одной и знаю, кормилицу... Сказывают, по зимам солнышко-то на теплые моря уходит.

— Это вот куда брат Гараська?

Мальчик, очевидно, коснулся больного места.

— А кто его знает, куда он ушел, непутевая голова, — с грустью сказал Арсений, — ничего-то не слухая, ничего-то в разум не примая... — И, помолчавши, добавил: — А, может, и к добру, господь ее ведает. Гаврила-то к покрову шесть красненьких приташил, прямо на глазах у меня выложил из кошеля. Что мы знаем? Что видели?.. Век свой прожили за господами ровно в лесу... Я и в городе-то не помню когда бывал, с ратниками наряжали как быть войне.

— Вот, батя, война, — с оживлением спросил Пашутка, — из-за чего это воюют?

— Ну, как бы тебе сказать? — нерешительно выговорил Арсений. — Ну, вот, примерно, завозился там турка, али ханцуз, али вот черкес... ну, завозился, — глядь, мы на него и навалимся, усмирять, значит. Ну, вот и война.

— С чего же он завозится?

— А уж это найдет на него. Взбунтуется — шабаш! Не подходи! Ну, белому царю никак невозможно стерпеть. Вот и подымется война. Премудрость божия!

— И уж белый царь, батя, завсегда одолеет?

— Как, гляди, не одолеть, — на то поставлен.

— Я, батя, слышал... зять Гаврила сказывал, — после непродолжительного молчания выговорил Пашутка, — синее, синее, говорит... Конца-краю не видно.

— Чего... синее?

— Да море-то! — с досадою, что его не понимают, сказал Пашутка. — Эдак птица всякая... гуси, утки... эдак камыш, говорит, качается... ровно лес!.. А по-над морем все степь, все степь!.. Так, говорит, ковыл-трава и стелется, так и стелется... Издалека поглядеть — белеет, белеет... ровно туман!

— Кто ее знает! — со вздохом сказал Арсений и дернул вожжами. — Но!.. Н-но!.. Чего упираешься? — и едва слышно замурлыкал не то песню, не то так себе, простой набор слов.

— А в книжках, батя, небось все описано? — прервал его Пашутка.

— Как, гляди, не описано... На то — книга.

Пашутка опять вздохнул.

— Вот бы почитаться! — сказал он.

— Н-да, грамотные все знают,— задумчиво роняя слова, проговорил Арсений.— Оттого, сказывают, мы на них и работаем, что все знают. Оттого им и вольготно. Взять хоть бы Ерофеича нашего... Что ему? Поцарапает перышком — сыт, глянет в книжку — пьян... Беззаботной жисти человек! Эх, Пашутка, Пашутка, кабы не дрался, отдал бы я тебя к нему в выучку!

— Больно уж дерется,— тихо сказал Пашутка,— что ж, батя, до складов еще не дошли, а уж он мне голову проломил... Неспособно эдак-то.

— То-то и оно-то, парень, что неспособно!

— Гомозбк, хочешь я тебя грамоте выучу?! — вдруг весело крикнул Николай.

Арсений взгляделся в него.

— А, Мартинич! — добродушно сказал он.— А я смотрю, кто-то, никак, за телегой едет, не то, мол, из конюхов какой... А это ты! Аль ко двору на праздник?

И до самого Гарденина Николай, радостно воодушевленный, разговаривал с Арсением и с Пашуткой. Он рассказывал им, что сам знал, о звездах, о нашествии татар, о том, отчего бывает война, где лежит Азовское море, какие реки в него впадают и какие еще есть моря, и царства, и страны света. Положим, он не всегда был уверен, что то, о чем рассказывал, так и было на самом деле. Многие вопросы Пашутки ставили его в тупик, заставляли тщетно рыться в памяти... И какие простые вопросы! «Спокон веку мужики были барские,— спрашивал, например, Пашутка,— али их кто закрепостил? Отчего в иных краях зимы не бывает? Отчего убивает гром? Отчего живет спорынья во ржи? Отчего бывают росы, и заря, и радуга?» Но тогда Николай восклицал: «Этого не расскажешь. Погоди, все прочитаем»,— и беспрестанно повторял: «Ты непременно, непременно же, Паша, приходи! Вот с осени и займемся с тобою». Ночь ли была тому причиной, то есть то, что они не видели в лицо друг друга, или особое настроение снизошло на них, но разговор был оживленный, без всякого стеснения, такой, который в другое время никак бы не мог завязаться между ними. Арсений безбоязненно расспрашивал о господах, где они живут, что делают, по многу ли проживают денег, как им досталось имение, сколько получает жалованья Мартин Лукьяныч, где Николай обучался, скоро ли думает жениться, и с явным удовольствием выслушивал, как Николай в пренебрежительном и насмешливом тоне рассказывал о господах или с восторгом сообщал, что за человек Косьма Васильич Рукодеев и как он ездил в гости к Рукодееву, с кем там познакомился, сколько выиграл в карты, и о том, что теперь читает и как поедет в Петербург и сделается совсем ученым человеком. «Я, дядя Арсений, для того только и обучусь всему, чтобы быть полезным народу! — восклицал он, растроганный своими великодушными намерениями.— Вот буду ребят учить... Стану научать крестьян, как вести хозяйство... Буду помогать... хлопотать за вас!» — «Давай бог! Давай бог!» — ласково повторял Арсений. Занималась заря, в деревне кричали петухи, когда показалось Гарденино. Николаю приходилось сворачивать направо, Арсению — налево. Николай приподнял картуз, сказал: «Ну, прощайте же!» — и в безотчетном порыве протянул руку Арсению: тот неловко, с внезапно появившимся смущением, пожал ее своею корявою, мозолистою рукой. «Смотри же, Паша, приходи!» — крикнул Николай, ошарашенный этим прикосновением, и, ударив нагайкой Казачка, как на крыльях помчался в усадьбу.

Утром Мартин Лукьяныч и Николай были у обедни. Мартин Лукьяныч стоял на своем обычном месте, около правого клироса, подтягивал баском дьячкам, по временам, когда это требовалось порядком богослужения, крестился и с важностью наклонял голову, когда отец дьякон почти-

тельно махал в его сторону кадилом. Около левого клироса, тоже на своих обычных местах, стояли разряженные попадьи и поповны, дьяконица, семинаристы, дьячихи, купец Мягков, волостной писарь Павел Акимыч, целовальник, фельдшер. Служил новый поп, отец Александр. Старый, отец Григорий, подпевал на правом клиросе и то и дело оборачивался к Мартину Лукьянычу. «Каков, каков! — шептал он, мигая в сторону отца Александра, и его сморщенное, ссохшееся, закоптелое от солнечного загара лицо расплывалось в лучезарной улыбке.— Нет, вы погодите, что еще будет, когда проповедь произнесет!» Отец Александр действительно служил весьма благолепно. Это был крупный, хорошо откормленный человек, с пухлыми пунцовыми щеками, с глазами навывкате, с реденькою светло-рыжею, очевидно недавно отпущенною, растительностью на бороде. Волосы на голове были острижены так, что виднелся отлично накрахмаленный воротничок, очень красиво оттенявший темно-зеленые бархатные ризы. Вообще облачение сидело на нем точно облитое. Правда, слишком резкие движения иногда не вязались с торжественным покроем этого облачения, иногда плотные плечи отца Александра встряхивались так, как будто чувствовали на себе эполеты, а его волосатая мясистая рука не в меру свободно и непринужденно держала крест и возносила чашу с святыми дарами; но это, очевидно, было только потому, что отец Александр не успел еще приспособиться.

Кончилась обедня. Дьячок Феофилактич с трясущимися от перепоя руками и конвульсивно вздрагивающим ртом вынес налож. Из боковых дверей вышел отец Александр в лиловом шелковом подряснике. Он выпрямился, обвел пронизательным взглядом предстоящих, вынул из-за пазухи аккуратно сложенные листки, молодецкато тряхнул волосами и громко, на всю церковь, возгласил: «Во имя отца и сына и святого духа!.. — и остановился. Видно было, как ему самому понравился этот густой, вольно вылетевший звук. Затем скосил глаза на листки, облокотился слегка на налож и продолжал: — Братия! Вот еще некоторое время, и все православные христиане совозрадуются и возликуют о честном празднике пресвятыя живоначальныя Троицы. Но, радуясь и славя господа громогласными лики, спросим: что же есть пресвятая Троица?..» Затем следовало рассмотрение догмата, приводились доказательства от Ветхого и Нового завета, от разума, от предания, развивался ход мыслей, еще недавно усвоенных отцом Александром из лекций по догматическому богословию. К концу проповеди рассказано было о «приложении догмата», опять-таки нимало не отступая от семинарских «тетрадок», а в самом конце отец Александр блистательным изворотом речи в высшей степени тонко, логично и витийственно поговорил о «ниспосылаемых свыше дарованиях» и в форме гиперболы отметил деятельность выдающихся прихожан: Мартина Лукьяныча, купца Мягкова и волостного писаря Павла Акимыча. Конечно, он не называл имен, но когда дело шло о том, что «иному дарован талант надзирать за порядком, домостроительствовать, приобщать препорученное господином имение», то Мартин Лукьяныч по всей справедливости мог с достоинством выпрямиться и приподнять голову; так же как и Павел Акимыч, когда услышал: «иному — устроить суд, владеть пером, красноречиво излагать законы», и купец Мягков при словах: «а иному дарована способность производить куплю и продажу, обмен товаров, сугубое благоприобретение».

Вокруг налож теснились потные, напряженно внимательные, недоумевающие, довольные, скучные, восхищенные лица, слышались сокрушенные вздохи; в задних рядах заливалась слезами дряхлая, сгорбленная в труху погибели старушка. Там же Николай заметил насмешливое, неприятно сухое лицо Арефия Сукновала. После многолетия, когда народ стал расходиться, Николай выждал, пока Мартин Лукьяныч ушел вперед, и подошел к Арефию.

— Ты зачем здесь? — сказал он ему.— Ведь ты не нашего прихода?

— Вот пришел нового попа поглядеть,— ответил тот неожиданно громко.— Хороший, хороший поп... только бы на игрище!

Ближайшие оглянулись,— Николай не заметил, чтобы оглянулись с негодованием, но он сам очень смутился и, быстро отвернувшись от Арефия, бросился догонять отца.

Мартин Лукьяныч был в восторге от проповеди и дорогою все повторял: «Нет, как он закинул насчет домостроительства-то! Иной ведь, горя мало, скажет: «Что ж, управляющий? Поставь меня, и я буду управляющим». Нет, брат, шалдыш! На это нужен талант! Видно, видно, что умный священник».

Николай отмалчивался. Ему сегодня было совсем не по себе в церкви; он смотрел и слушал щеголеватого нового попа, а сам все с грустью вспоминал дребезжащий голосок отца Григория: «Господи, владыко живота моего! Духа праздности, уныния, любоначалия, празднословия не даждь ми... Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви даруй ми, рабу твоему...» — и ему казалось, что это было давно-давно, и он вздыхал с неопределенным чувством печали.

Подъезжая к дому, Мартин Лукьяныч сказал ему:

— Ты смотри, брат, не скройся, ты ведь сейчас в застольной или у Ивана Федотыча очутишься! Попы обещались приехать; отец Александр желает познакомиться. Надо этим дорожить. Вот обо всем отец позаботься. Тогда Косьма Васильич обратил на тебя внимание... а почему? Потому, что ты мой сын. Исай Исаяч удостоил с тобой разговаривать, господин исправник не пренебрег... Ну-ка, будь у тебя отец пастух какой-нибудь, кто бы знал, что ты есть на свете? Ах, дети, дети!

Николай был совершенно иного мнения, но оставил его при себе и ответил:

— Я, папенька, никуда не уйду. Куда же мне уходить?

— Не успели еще отец с сыном выпить чаю,— отец с романом Габорио в руках, сын — с статьей Писарева о «Мыслящем пролетариате»,— как они увидели в окно шибко подъезжавшую тройку.

— Смотри,— воскликнул Мартин Лукьяныч,— ведь это попы катят. И сбруя какая... Важно!

Действительно, на хороших лошадях в наборной с бубенчиками сбруе, в новом тарантасе ехали попы. Отец Александр в превосходной белой рясе и низенькой светло-серой шляпе сидел, широко заняв место, отвалившись к задку, играя пальцами на серебряном набалдашнике щегольской трости. Отец Григорий как-то бочком жался около него, ухватившись за край тарантаса,— казалось, он вот-вот вылетит; на нем была поношенная зеленая хламида, из-под широкополой поповской шляпы трепалась от быстрой езды жалкая, скверно заплетенная косичка. Вошел первым отец Александр; отец Григорий сконфуженно и вместе самодовольно выглядывал из-за его плеча; он утирался ситцевым платочком и говорил:

— Вот парит, вот парит... Ей-ей, быть грозе!

Мартин Лукьяныч и Николай подошли под благословение, отец Александр наскоро помотал пальцами и тотчас же поспешил пожать протянутые руки, как бы опасаясь, чтобы не последовало целования. Отец Григорий благословлял медленно, совал руку прямо к губам и затем уже здоровался. Распорядились подать новый самовар, сели. Отец Александр держал себя развязно, с шумом придвинул кресло к столу; отец Григорий скромно поместился на стуле, в некотором отдалении.

— Очень благодарю,— с первых же слов сказал Мартин Лукьяныч,— отличнейшая проповедь, отличнейшая!

Отец Александр улыбнулся.

— Чему-нибудь учили! — сказал он с притворной скромностью.

— Тон высок, высок тон! — воскликнул отец Григорий.— Хороша, не говорю. Я не спорю, Александр. Но тон высок.

Отец Александр не заблагорассудил ответить отцу Григорию.

— Вот пошлю в «Епархиальные»,— сказал он небрежно,— пусть печатают.

— Ей-ей, тонко, философии перепущено, неудобьвразумительно для простецов,— вполголоса упрямылся отец Григорий и во всю длину вытянул руку, взял к себе на колени чашку с чаем и кусочек сахара.

— Батюшка, да вы пожалуйста к столу,— засуетился Николай,— поближе, ведь так неловко. Пожалуйста, я вам кресло пододвину.

— Спасибо, свет, спасибо! Что ж, посидим... Лишь бы угощали, а то и у притолоки можно нахлебаться. Ей-ей!

— Наследник ваш? — спросил отец Александр.

— Да-с, наследник движимого имущества,— сказал Мартин Лукьяныч и засмеялся своей остроте.

Отец Александр покровительственно обратился к Николаю:

— Помогаете папаше? Хорошее дело. Лучшая наука, скажу я вам.

Николай вспыхнул.

— Есть, по всей вероятности, и более продуктивные,— сказал он.— Я думаю, естествознание или политическая экономия неизмеримо лучше содействуют цивилизации, нежели сельское хозяйство.

Отец Александр тотчас же изменил тон.

— О, всеконечно, всеконечно,— согласился он с готовностью,— наипаче взять инженерные и технологические науки. В наш век это вознаграждается благодарно. Особенно с проведением рельсовых путей.

— Я понимаю науку как могущественный двигатель прогресса. Вот, например, гениальный Бокль...

— Всеконечно! — торопливо вставил отец Александр и, тонко улыбнувшись, точно заговорщик, сказал: — Читывали. Светило первой величины.

Старики с восхищением слушали.

— Вот, подумаешь, Лукьяныч,— не утерпел отец Григорий,— а чему нас учили! Долбишь, долбишь, бывало, герменевтику да гомилетику, всыпят тебе, рабу божьему, тьмы тем язвительных лоз... Вот и вся наука. Ей-ей! Вы не поверите, по чему мы богословие зубрили,— по Феофану Прокоповичу... Да-с. А вот Александр как проходил по Макарию, сел да в полчаса и накатал проповедь. Поди-кось!

— Мой ведь нигде не учился: если что знает, самому себе обязан,— с гордостью заявил Мартин Лукьяныч и, подумав, что мало сказал лестного отцу Александру, добавил: — Но проповедь образцовая.

— Для проформы необходимо,— как бы извиняясь в сторону Николая, сказал отец Александр,— и с другой же стороны, их необходимо вразумлять. Вот вы, папаша, утверждаете: высок тон. Я же скажу: такие вещи требуют высокого тона. И притом, надеюсь, заключение соответствует...

Отец Григорий промолчал.

— Совершенно соответствует,— подхватил Мартин Лукьяныч.— Он всякий думает — управляющим быть легко. Но вы справедливо изволили сказать, что нужен талант. Да еще какой! Теперь народишко... покорнейше прошу, как избаловался!

— В высокой степени распустились! — с живостью согласился отец Александр.— Представьте себе, Мартин Лукьяныч, мы вот с папашей считали: двести рублий он выручает за исправление треб!

— Семейот, Александр, ей-ей, семейот, как одна копеечка!

— Помилуйте, папаша, кто же теперь считает на ассигнации? Стыдитесь говорить. Двести рублишек. И это ежели класть продукты по высокой цене... Помилуйте, говорю, папаша, в наш век сторож на железной дороге получает более. Возможно ли?

— Бедняет народ... народ, Александр, бедняет,— с неудовольствием сказал отец Григорий.— Придешь, отслужишь, сунет гривну,— стыдно брать... ей-ей, стыдно брать. Только трудом, только вот мозолями снискивал пропитание, ей-ей! — И он показал свои корявые, как у мужика, руки.— И благодарю создателя, не токмо пропитание, но и достаток нажил... Ей-ей, нажил!

Отец Александр презрительно усмехнулся.

— Уж лучше не говорите,— сказал он и, обращаясь к Николаю, добавил: — Червей заговаривает! Прилично ли это священнику?

— Що ж?..— выговорил было отец Григорий, но тотчас же спохватился.— Что ж, Александр, ей-ей, пропадают! Заговорю — и пропадут. Разве я виноват? Вот у них же китайского борова заговорил.

— Это точно, отец Александр,— подтвердил Мартин Лукьяныч,— червь сваливается.

Отец Александр сделал вежливое лицо.

— Ну, и что ж, беру! — продолжал отец Григорий.— Вот три осьмины ржи набрал. Ей-ей! А то все трудом, все мозолями...

— И напрасно,— сказал молодой поп, не глядя на тестя,— в наш век на это смотрится очень строго. Посудите, Мартин Лукьяныч, какое ко мне будет уважение от прихожанина, если я, с позволения сказать, буду коровьим навозом пахнуть? В Европе на это не так смотрят.

Мартин Лукьяныч внутренне скорее был согласен с отцом Григорием, но ему было неприятно, что попы начали пререкаться, и он шутливо сказал:

— Вот, батюшка, подождите: говорят, холера будет. Вам, да еще докторам, да аптекарям хороший будет доходец.

Но отец Александр отвечал совершенно серьезно.

— Я на это, Мартин Лукьяныч, смотрю рационально,— сказал он.— В военное время офицерам полагается золото. Холера ли, иная ли эпидемическая болезнь, все равно что война,— не так ли, молодой человек? Я подвергаю опасности свою личность. И по всей справедливости доход должен соизмеряться в той же прогрессии.

— Нет, нет, Александр, ей-ей, ты неправильно судишь. Бедность, бедность, воистину оскудеша. Ей-ей!

— Какая же бедность, папаша,— полторы тысячи ревизских душ в приходе! — раздражительно возразил отец Александр.— Ведь это целый полк! Да я и думать не хочу, чтоб не прожить подобно полковому командиру.

Отец Григорий обиделся.

— Ей-ей, Александр, ты в суету вдаешься,— загорячился он,— ей-ей, грешно. Зачем? Блаженни нищие, сказано, тии бо...

— Нищие духом. Вы неправильно текстом владеете,— язвительно сказал отец Александр и, желая закончить спор, с особенной внушительностью добавил: — Во всяком случае я в навозе копать не намерен,— после чего обратился к Николаю: — Принято думать, во священстве образованный человек утрачивается. Но почему, спрошу вас? Единственно потому, что беспечностью уронили сан. Между тем как в Европе...

Отец Григорий молчал, вздыхал, беспрестанно утирался платочком и вприкуску пил чай. После долгого разговора отец Александр с искательной улыбкой сказал Мартину Лукьянычу:

— Я думаю, вы не откажете, многоуважаемый Мартин Лукьяныч, в некотором одолжении вашему новому духовному отцу... хе, хе, хе!

Мартин Лукьяныч покраснел и беспокойно завертелся на стуле.

— Все, что могу, все, что могу, отец Александр.

— Вот завел лошадок, а луг-то у папаши, хе, хе, хе, и подгулял. Не сдадите ли десятин пять травы? За деньги, разумеется.

— Да, конечно, отец Александр, я отлично понимаю... конечно... Николай!

Отведи батюшке три десятины в Пьяном логу... Вот, батюшка, можете убирать... Чем могу-с.

— Премного вам благодарен, премного благодарен! Поверьте, постараюсь заслужить.

Отец Александр с видом глубочайшей признательности потряс руку Мартина Лукьяныча. Отец Григорий усердно дул в блюдечко.

Когда попы уехали,— в окно видно было, как Александр с нелюбезным и недовольным лицом что-то строго говорил Григорию, а Григорий молчал, озабоченно уцепившись за тарангас,— когда они уехали, Мартин Лукьяныч долго в задумчивости ходил по комнате; наконец остановился, почесал затылок и сказал Николаю:

— Н-да, поп-то новый тово... из эдаких! И что ты выдумал, что он умен? Ничуть не умен!..

Николай открыл рот, чтобы возразить, но Мартин Лукьяныч перебил его:

— Будешь отмерять траву, похуже выбирай, к бугорку. И достаточно двух десятин. Скажешь — больше, мол, оказалось невозможно... За день-ги! Знаем мы, как с тебя получишь! Вот и пожалеешь об отце Григорье.

— Как же можно, папенька, сравнить! — с живостью отозвался Николай, очень довольный, что и отцу не понравился новый священник.



Перед грозой.— Вечер в садике Ивана Федотыча.— Обличитель не по разуму.— О Константином соборе.— О том, можно ли убить человека.— О том, что есть смерть.— О Фаустине Премудром, бесе Велиаре и Маргарите Прекрасной.— Сладка власть греха.— Как повар Лукич прощал обидчиков.— Гроза.— Испытание Ивана Федотыча.— Утром.

Предсказание отца Григория о грозе как будто готовилось сбыться. С востока медленно надвигались тучи, доносились глухие раскаты грома. Тем не менее духота не уменьшалась. Даже в сумерки, после того как закатилось солнце, неподвижный воздух напоен был зноем, до истомы стеснявшим дыхание. Липы, цветы и травы пахли сильнее обыкновенного, точно и у них, как у людей, было раздражено то, чем дышат. Соловьи заливались в саду страстнее и нежнее. Вся природа, казалось, изнемогала в каком-то тягостном и нетерпеливом ожидании.

Чистенькая сосновая изба Ивана Федотыча, выстроенная на земле, подаренной покойному отцу Татьяны, была обращена лицом к огородам, к лозинкам, среди которых сквозила речка — приток Гнилуши, к деревенским гумнам и конопляникам за речкою. В другую сторону, к западу, зеленел около избы крошечный садик: подсолнухи, дикая мальва, липка вся в цвету, опадающая сирень, густой куст калины. Из тесовых сеней выходили двери на обе стороны; та, что к речке, была с резным просторным крыльцом; в садике не было крыльца, а лежал у дверей белый камень.

На этом камне сидел Иван Федотыч, задумчиво склонивши свою седую косматую голову. Татьяна была в избе; высунувшись по грудь в распахнутое окно, она большими печально-недоумевающими глазами смотрела вдаль. Там, за яром, где виднелась неподвижная роща, за белыми постройками усадьбы, за огромным барским садом, туманилась степь, пропадая в хол-

мистых извивах; пышно догорала заря. В усадьбе сверкали окна, обращенные к западу, вершины деревьев так и пламенели, в ясном и широком разливе пруда отражалось багровое небо. Из сада доносился многоголосый рокот. И, будто отзываясь на него, будто прислушиваясь к нему, в густых ветвях калины, совсем недалеко от избы, одинокий соловей выводил тоскливые, грустно-замирающие трели. Татьяна была точно прикована к тому, что делалось вдали,— к многоголосому рокоту, к одинокой соловьиной песне. Иван Федотыч был глубоко расстроен. Часа три тому ушел от него повар Лукич. Явился Лукич из деревни пьяный,— а он становился придирчивым и беспокойным, когда выпьет,— явился, уселся на лавку, уперся на нее ладонями, начал покачиваться, болтать ногами и приставать к Ивану Федотычу.

— Чего ты ерепенишься? Чего ты благочестием своим кичишься? — восклицал он раздражительно-сиплым голосом.— Отводи глаза другим, я тебя знаю, Иван Федотов.. Я-ста начетчик, я-ста мудрец, я-ста книги читал, учение исследовал.. Тыфу, твоя мудрость!.. О, я тебя проник, Иван Федотов, я тебя вижу насквозь. Кто ты такой? Ты спроси у меня, кто ты такой. Ты — еретик, вот ты кто такой!.. Тыфу, лизанный черт!.. Чего ухмыляешься? Чего молчишь? Видно, сказать нечего. Аль думаешь, не взвесили тебя? Ошибаешься, достаточно взвесили. Во что ты ни совался... ты хвалишься — и поварскую часть знаешь. Ха, нет, погодишь, не так-то легко. Ну-ка, отвечай, как готовится бифстек-альянглез или крападин из цыплят?.. Что, кисло? А суешься. Тут, Иван Федотов, не меньше твоего прочитано,— и Лукич ткнул пальцем в свой лоб,— не беспокойся, ничуть не меньше. Оттого я тебя всегда и поймаю, что не меньше. Ты думаешь, я не знаю — пресвятую живоначальную троицу отвергаешь? Дурак, дурак!.. Вначале сотвори бог небо и землю; дух божий ношашеся верху воды. И рече бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию... И рече бог: а Адам бысть яко един от нас еже разумети доброе и лукавое... *Сотворим, а не сотворю, от нас, а не от меня.* Эх, ты... умильное рыло!

— Я, Фома Лукич, ничего не отвергаю,— сказал Иван Федотыч.

Но это кратко возражение вывело из себя Лукича.

— Тыфу, тыфу!.. Виляешь, скобленное мурло, виляешь! — закричал он.— Не смей вилять! Вижу, насквозь вижу. Как толкуешь слова пророка Исаии: «И кости твоя утучнеют и будут яко вертоград напоенный и яко источник, ему же не оскудеет вода: и кости твоя прозябнут яко трава, и разботеют, и наследят роды родов?» Как толкуешь, подземельный ты, лукавый ты человек?

— Как написано, душенька, так и толкую.

Лукич даже привскочил от ярости. Несколько секунд он вращал своими опухшими глазками, злобно теребил седенькие, торчащие, как щетина, баки, приискивал, чем бы более уязвить Ивана Федотыча, но не приискал и только отплюнулся.

— Татьяна Емельяновна,— крикнул он,— ну, не хриstopродавец ли? Не искарיותский ли Иуда? Он и вас-то льстивым подобием замуж взял. Ну, где это видано, лизанный черт, в твои годы жениться? Ведь от тебя ладаном пахнет... Ведь она тебе в дочери годится... Обманул, провел, прикинулся... Ха, ведь ты ее у покойника Емельяна за косушку купил... У, еретик окаянный!

Иван Федотыч побледнел; его дотоле кроткие глаза сделались мутными.

— Ты вот что... вот что,— сказал он, задыхаясь,— свинья неразумна, но и ее отгоняют, коли вносит нечистое... Уйди, уйди от греха, Фома Лукич!

— А? Я свинья?.. Я нечистое вношу? — подымаясь, залогосил Лукич. — Хорошо же, хорошо!.. Я это попомню, Иван Федотов, попомню... Околеешь, в геенну будешь свергнут, а я не забуду. Не забуду, Иван Федотов!.. Тихоня... праведник... мудрец... Ха, ха, ха! — и ушел нетвердым шагом к себе на барский двор.

Вот этим и был расстроен Иван Федотыч. Во-первых, ему было неприятно, что он выгнал Лукича, обидел его сравнением со свиньей,— Иван Федотов во всю свою жизнь ни с кем не поступал так; во-вторых, пьяные слова о женитьбе взволновали его. То, что сказал Лукич, ему самому приходило иногда в голову,— не прежде, но вот за последнее время; грустное, с вечно опущенными ресницами лицо Татьяны, загадочное выражение на этом лице не раз повергали Ивана Федотыча в мучительную душевную тревогу. Он только старался не думать об этом, как стараются не думать о том, чего нельзя ни изменить, ни поправить, и становился все нежнее с Татьяной, все заботливее и ласковее.

Долго молчали. Иван Федотыч тихонько вздохнул, вкось посмотрел на Татьяну и, увидав выражение ее глаз, сказал растроганным голосом:

— Скучно, Танюшка?

Татьяна быстро опустила ресницы.

— Ну, отчего скучно? — сказала она, притворяясь равнодушной. — Нет, Иван Федотыч, мне не скучно. Соловушка больно сладко поет.

— Да, да... — задумчиво выговорил Иван Федотыч, — приятная божия тварь... Читывал я стихи, забыл уж, кто сложил... Судили еретика, Танюша. Вот такого же, как я! — и он усмехнулся, вспомнив Лукичовы слова. — И съехались на собор попы, архиереи, монахи, пустынножители; стали, душенька, уличать, кого судили. И уличили: стали придумывать казнь. Тот говорит — колесовать, тот — в стену замуровать, тот — живьем сжечь. И сидел эдак у распахнутого окошечка древний старец из пустыни. А была весна. И слышал старец, о чем говорили отцы собора; сделалось ему скучно: отвык он в пустыне от людского говора. И приник ухом к окну, слышит — заливаётся соловушко. Растопилась душа у старца, вспомнилась ему прекрасная мати-пустыня, мир, тишина... Жалко ему сделалось, кого судили. И видят отцы собора — заслушался древний старец соловьиной песни, перестали придумывать казнь, стихли. И звонко в высокой храмине разлилась песнь соловьиная. Потупились седые бородачи, любовно усмехнулись строгие люди, на глазах у жестоких засияли слезы. Всякий вспомнил свое — мать, отца, деточек, веселую молодость, неизреченную красоту божьего мира... И вспомнили, зачем собрались, отвратилась душа от того, зачем собрались, и всем сделалось жалко, кого судили. Вот что означает, душенька, сладостная тварь божия!

— Перестанут скоро, — вздыхая, проговорила Татьяна, — выведут деточек, бросят песни.

После долгого молчания Иван Федотыч сказал:

— Чтой-то Николушка не навевывается... Чай, приехал на праздник. Говорили на барском дворе, будто раза два наезжал с Битюка, а к нам не зашел. Не гневается ли?

— За что ж ему на вас гневаться? — едва слышно прошептала Татьяна и еще ниже опустила ресницы.

— А с книжками-то все носился. Дома сидит — читает, в поле — читает, к нам придет — читает. Я ему и припомни слова Нила Синайского: «Каким-то неповоротнем и связнем лени, ухватившись только за книгу, с раннего утра до захождения солнца сидишь ты неподвижно, как будто свинцом приваренный к скамье». Может, за эти слова разгневался? Или еще, признаться, заскучал я, стал он мне читать, как человек из обезьяны произошел. Книга мудреная, слова для простого человека невнятные... как было не заскучать? Да, признаться, и грешен я: что иному молотить, то мне чтение слушать. Видно, отвык, в голове кружится.

— Вы, Иван Федотыч, и почивать стали плохо.

— Да, да... бессонница, дружок, привязалась. Заснешь — необычные сны... Ну, и лучше, что не спится. Все к лучшему, Танюша, все к лучшему, а? Как, душенька, думаешь?

Татьяна не ответила.

— Вот и на Битюк давно не хаживали,— сказала она с видом упрека.

— А зачем? Все они там при делах, рыбка не клюет: глубины держится. Вот что бог пошлет на весну. Да, признаться, не люблю я, душенька, когда людно: хутор на безлюдье — приятное место весной, глухою осенью. Я так-то иной раз вздумаю, Татьянушка: будь-ка у нас детки, что же это за блаженная жизнь, ежели бы на хуторе! Такая-то тишина, так-то видно с превозвышенного места... Истинно прекрасная мати-пустыня!

Татьяна тоскливо посмотрела вдаль... Вдруг лицо ее дрогнуло, точно от испуга, глаза засияли и оживились. «Легок на помине!» — крикнула она зазвеневшим голосом. Из-за куста калины видно было, как на тропинке от барского двора к избе Ивана Федотыча, обозначаясь черным на алом небе, показался Николай. «Живому человеку рада,— с невольною грустью подумал Иван Федотыч и, ласково улыбнувшись Николаю, воскликнул: — Пора, душенька, пора глаза показать!» Татьяна поклонилась, не покидая своего места; лицо ее опять приняло свойственное ему немое и недоумевающее выражение. В воздухе становилось все душнее, липа сильно и сладко пахла, вдали глухо рокотал гром. Соловей, точно изнемогая от истомы, выводил короткие трели и замолкал, и еще нежнее и вкрадчивее выводил трели — будил в тех, кто его слушал, несказанное чувство грусти и какого-то горестного наслаждения.

Николай явился в раздражительном состоянии духа. Не обратив внимания на расстроенное лицо Ивана Федотыча, не взглянув на Татьяну, на свой лад испытывая то беспокойное чувство, которое бывает перед грозой, он в желчных и язвительных словах рассказал о новом попе, перешел от этого к бедности народной (ему вспомнились голодные девки), рассказал, как однодворец Кирила грозился убить Агафокла, и закончил:

— И поделом бы, собаку!

Иван Федотыч слушал с видом рассеянности; казалось, какие-то необыкновенно важные мысли далеко-далеко увлекли его своим независимым течением, мешали ему сосредоточить внимание на словах Николая. Но когда Николай выразил сочувствие Кириле, Иван Федотыч серьезными, затуманенными глазами поглядел на него и тихо произнес:

— Экое слово выговорил!.. Человека, дружок, убить никак невозможно.

Николай рассердился.

— Ну, уж вы, Иван Федотыч, пойдете с вашим...— он хотел сказать мистицизмом.— Я отлично понимаю, что убить человека, собственно говоря, безнравственно, но ежели такой развратник удержу не знает?.. Помилуйте, жизнь мерзавца достается ценою черт знает какой деморализации!..

— Человеческой крови, душенька, цены нету,— проговорил Иван Федотыч.

— Как так нету? Вот уж вздор!.. Вы скажете — не только развратника, но и какого-нибудь угнетателя нельзя убить? Ну, черт его возьми, Агафокла, а угнетателя?.. Прочтите-ка в Эркмане-Шатриане, как в этом смысле поступала великая революция...

— Что книжки! На книжки, душенька, нечего ссылаться. В этих делах душа на самоё себя ссылается... И ей, Николушка, ой страшно!

— Ну, кому страшно...

— Да всем, всем! — с неожиданною горячностью воскликнул Иван Федотыч.— Не только убить — обидеть страшно. Что есть всему держава? Бог, Николушка, всему держава. А бог есть любовь,— возвещает сладчайший апостол. Что же означает обида? Ой, вряд ли любовь, душенька, а наипаче погасание любви... И вот ты обидел и сдвинул державу, и развалиться тому дому... Постой, постой, друг!.. Ты скажешь — с тех пор, как стоит земля, не переставала обида... Пусть так! Пусть и процвело Каиново дело... Аль не видим?.. Может, процветет и еще того больше, а держава все ж таки тверда,

Николай Мартиныч... Чем же тверда? Чем держится?.. Только одним, душенька, держится — покаянием. Ах, какое ты слово выговорил... Коли убить возможно, значит и греха нету, значит и каяться не в чем?.. А я вот что, дружок, скажу: этим и сдвинется держава! — и, снова впадая в задумчивость, несколько раз повторил: — И сдвинется... и сдвинется.

Тем временем Николай улегся на траве и закурил. С некоторых пор разряд слов, которые он называл по примеру Косьмы Васильича «метафизическими словами», то есть: душа, грех, покаяние, ад, рай и т. п., начинал утрачивать для него всякое значение. Эти слова как-то праздно и бездейственно звучали теперь в его ушах, вяло прикасаясь к сознанию, не возбуждая в голове соответствующих мыслей. Они даже причиняли ему особый род физической усталости, — в его челюстях, чуть-чуть пониже уха, появлялось досадное ощущение, похожее на оскомину... Он вслушивался, как поет соловей в густых ветвях калины, как рокочет далекий гром; посмотрел туда, где закатилось солнце, где туманилась степь, убегающая без конца; взглянул на Татьяну... и вдруг почувствовал, что ему страшно не хочется спорить с Иваном Федотычем, что глуп и ничтожен предмет спора. То настроение, которое он принес с собою, изменилось резко, с странною легкостью... Сдвинется или не сдвинется «держава»? А, какие это пустяки в сравнении с тем, что повелительно вторгается в душу, беспокоит и волнует ее на новый лад! Гораздо важнейшее представлялось Николаю в красивом лице Татьяны, в том, что надвигается гроза, и так грустно поет соловей, и сладко пахнет липа, и широкая даль зовет куда-то...

— Я и не говорю, — сказал он после долгого молчания, — я понимаю, что гуманность против насилия, — и добавил, — а с другой стороны, что ж, Иван Федотыч, вон в газетах пишут: холера появилась, сколько народу погибнет... А за что?

Иван Федотыч не заметил внезапной уступчивости Николая, — да он и не смотрел на него, — и сказал:

— Особое дело, душенька. Он дал, он и взял, буди имя его благо-словенно! Мы же по человечеству судим... Я так тебе скажу, Ни́колушка: считай ты чужую жизнь выше всего, а свою — ниже всего. Только тогда будешь настоящий человек. И как пораздумаешь, дружок, что есть смерть... Вот шел человек, зазевался, упал в яму. И торчал куст на краю ямы. Ухватился человек за куст, посинели руки, вопит неистовым голосом, зовет на помощь. Прибежали на голос люди, заглянули в яму, засмеялись. «Ты бы чем вопить, — говорят человеку, — под ноги себе посмотрел!» Взглянул человек под ноги, видит — на пядень места твердая земля. И тому человеку, душенька, сделалось стыдно. Вот тебе и смерть.

— С этим-то я совершенно согласен, — сказал Николай, — собственно говоря, жизнь — копейка, Иван Федотыч, — и, дерзко посмотрев на Татьяну, с особенным выражением добавил: — Весь вопрос в том, лишь бы она зря не прошла, было бы ее чем помянуть. Нечем помянуть, так это положительное преступление!

Татьяна повернулась к нему. Он с трепетом почувствовал на себе ее пристальный, тусклый, странно сузившийся взгляд, услышал глухой, взволнованный голос:

— Всем можно помянуть... бывает и горькое слаще меду. Как кому!

— Как кому? — повторил Николай, не сводя глаз с Татьяны. Она покраснела и отвернулась.

Иван Федотыч не слушал. Он сидел, странно выпрямившись, согнув-ши колени прямою углом и положив на них ладони вытянутых рук. Он смотрел и будто ничего не видел перед собою, — видел что-то иное и прислушивался, казалось, к чему-то иному... Умиление проступало на его морщинистом, гладко выбритом лице, старческие глаза загорались восторгом.



На воде атели последние, прощальные лучи, гром раскатывался ближе. Деревья стояли точно околдованные, точно прислушивались, думали, соображали,— до такой неподвижности сгустился воздух, так было тихо, так все казалось таинственным.

— А не рассказывал я тебе, душенька, Николай Мартиныч, о Фаустине Премудром? — выговорил Иван Федотыч радостным, растроганным голосом.— Вот, дружок, приятная история!

— Нет, Иван Федотыч, я не слышал,— безучастно отозвался Николай.

Иван Федотыч пронзительно высморкался и начал:

— Давно это было... в незапамятные времена. Жил мудрец, ученейший человек, звали его Фаустин Премудрый. С юных лет Фаустин Премудрый возымел дерзновение к наукам, к познанию всяких тайн. Обучился на языки, произошел, как прозябает былинка в поле, как живут промеж себя звери, как растет и множится воздушная, водяная и земная тварь. Мало этого, состав человеческий разобрал: чем бывает хвор и отчего исцеляется человек; узнал, как жили и живут люди... Народы, царства и царей,— все проник, все исследовал до последней ниточки. И сделался стар...

И как сделался, душенька, стар, сказал сам себе: «Что мне из того, что узнал я все дела, которые делаются под солнцем? Что мне из того, что были прозябает так-то, а звери сопрягаются и плодятся вот эдак-то? Какая мне прибыль, что знаю, какие народы, царства и цари были, и прошли, и будут? Вот мне скучно, и я стар. К чему учился? К чему загубил годы? Все узнал, все исследовал... видно, одного только не узнал: в чем счастье для человека. Дай узнаю...» И опять зарылся в книги Фаустин Премудрый, стал доискиваться, в чем счастье.

Вот, душенька, сидит он эдак...— Иван Федотыч сделал неопределенный жест.— Эдак книги вокруг него, эдак всякая там снасть: коренья выкапывать, состав человеческий разнимать, изловлять и разбирать самомалейшую тварь, живущую под солнцем... Все-то в паутине да в пыли да раскидано: одинокий был человек, ни жены, ни деток, как перст. И сидит, склонился над книгой и думает... Вот, думает, люди сходятся друг с дружкой, общаются, беседуют, сводят дружбу. И в этом обретают веселие. Вот люди обучают людей наукам, исцеляют болезни, бывают ходатаями в судах, сражаются на войне, торгуют, наживают имение... И в этом обретают веселие. Вот люди возгораются плотскою любовью, женятся, плодятся, подрастают у них дети... великие им скорби, великие радости от детей... И в этом обретают веселие. Но я, Фаустин Премудрый, взвесил все, чем веселятся люди, и нет мне в этом приманки... В беседах человеческих — глупость, в дружбе — лесть, в брачном сожитии — горести, обман, вероломство, дети — наказание родителей, в науках — ложь, в судах — сильный пожирает слабого, на войне — зверье, спущенное с цепи, в торговле — суета и дневной грабеж... Чтó есть приятнее смерти, чтó выше счастья — не родиться вовек? И посмотрел Фаустин Премудрый и с той и с другой стороны на жизнь человеческую и сказал: «Да, поистину счастье есть смерть!»

А была, дружок Никулушка, ночь под светлый праздник. Ну, встал с места Фаустин Премудрый, взял хрустальную чашу, налил вином, насыпал яду в вино, поднял в руке высоко-высоко... «Прощай, говорит, распостылая жизнь!» — и с этим богомерзким словом принял устами к чаше... Вдруг слышит — загудел колокол. Точно кто толкнул его под руку — выпала чаша, расшиблась вдребезги. Отошел Фаустин Премудрый к окну, распахнул окно, видит — занимается зорька, звонят к заутрене, идут люди в храм божий... Пал Фаустин Премудрый навстречу солнышку, заслонился руками, захлипал, как малый ребенок, и восклицает про себя: «Где мои молодые лета? Где вера? Где простота? Нет мне радости и в звоне колокольном, потому что я искусился в познании»,— и впал в великую скорбь и плакал...

И плакал, душенька...— повторил Иван Федотыч, понижая голос и усиливаясь сдерживать дрожание подбородка. Затем помолчал, оправился, прислушался, что делалось в темнеющем пространстве, и, как будто всем этим оставшись доволен, продолжал:

— Вот, душенька, и покинул свои книги Фаустин Премудрый. Отчаялся. И пошел с учениками разгуляться за город. А было это на святой неделе. Много народу сбилось на гулянье. И видит Фаустин Премудрый, как веселятся люди: там хороводы водят, там песни играют, там пьют вино, забавляются с девицами. И всюду переливает радугой жизнь человеческая. И ходит Фаустин Премудрый по народу. Народ сторонится перед ним, шапки скидают, бьют поклоны... Тот вспоминает — тогда-то, мол, Фаустин Премудрый научил меня червей согнать с хлебного злака, тот — ключа студеного доискаться в бесплодном поле, тот — ногу залечить, — бревном отдалило в лесу. А Премудрому противно слушать, противно смотреть, как его величают... Ненавистен сделался ему человеческий род, омерзела жизнь человеческая. И вошло в него зло, друг Николушка, — искривил уста, усмехнулся, говорит ученикам: «Что следуете за мною? Чего ожидаете от моей премудрости? Нет выше той премудрости — в веселии проводить дни, пить, есть и наслаждаться. Вот я стар и знаю все, что свершается в подлунной, и мне прискорбно жить, потому что кровь моя остыла, побелели виски, ввалились глаза, как бывает у стариков. Напрасно ходите за мной, напрасно учитесь: во многой мудрости много печали, и кто умножает познание — умножает скорбь». И спросили ученики: «Какая же печаль и какая скорбь?» Отвечает Фаустин Премудрый: «Потому что вся истина в этих словах: ничего нет приятнее смерти, нет выше счастья — не родиться вовек». И послушались ученики и отхлынули от него, смешались с народом, стали пить, есть, забавляться играми. А тем местом, дружок Николушка, привязался к Фаустину Премудрому злой дух во образе черного пса. Идет Фаустин Премудрый вдоль площади — и пес за ним, пришел в свою уединенную келью — и пес в келью. И уразумел Фаустин Премудрый, что это злой дух, заклил страшными словами пса, — встал перед ним Велиар... И сказал Велиар Премудрому: «Вот ты разогнал учеников своих на путь игры и смеха; ты осрамил в их глазах всю премудрость свою, — все, чем жил, чего достиг превозвышенным разумом; и ты правильно поступил, потому что в этом и состоит высшая премудрость. Отчего же сам не последуешь трезвенному слову?» — «Я стар, — отвечает Фаустин Премудрый, — виски мои побелели, кровь остыла, глаза ввалились, как бывает у стариков». И еще сказал Велиар: «Вот ты так и этак рассмотрел жизнь человеческую, нашел, — ничего нет приятнее смерти, нет выше счастья — не родиться вовек. И это истина. Но ты вкусил истину и остался жить, не набрал дерзновения выпить яду. Отчего?» Отвечает Фаустин Премудрый: «Оттого я не набрал дерзновения выпить яду — есть во мне что-то крепче разума, и ударил колокол в церкви, и крепкое пробудилось, вытолкнуло чашу с ядом. И я живу теперь как ходячий мертвец: противно жить, нет силы предать себя смерти. Оттого я и учеников своих разогнал на путь игры и смеха, что разумнее ждать смерти, как свинья, нежели влачить дни живым покойником». — «Это можно поправить, — говорит искуситель. — Войди в согласие со мной и будешь млад, пригож лицом, пей, ешь и наслаждайся жизнью. Буду рабски служить тебе, буду преломлять естество в твою угодю... Всего достигнешь, чего не достиг; все сокровенное узнаешь, все тайное сделается явным в твоих глазах... И будет твоя жизнь как хмельное вино». Вопросает Фаустин Премудрый: «Какою же ценою совершитесь столь неестественное дело?» — «А вот какую, — отвечает Велиар. — Станешь ты жить, и дни и часы твои станут протекать, как и у всех живущих. Но вот вкусишь ты великую радость от земной жизни, и покажется тебе день твой и час твой коротки, и ты взмолишься вышнему: продли день мой и час мой! И как только возмо-

лишься — истреблю тебя, и выну дух твой, и овладею твоим духом». Усмехнулся Фаустин Премудрый, ни слова не сказал, взял перо, подписал договор с Велиаром. Ну, душенька, и превратился Фаустин Премудрый...

Иван Федотыч тем же медленным, глубоко сочувствующим голосом стал рассказывать дальше, как Премудрый тешился властью над Велиаром, «указывал ему делать то, другое из неестественного», как «Велиар раскрывал свои богомерзкие тайны, выворачивал сокровенное наизнанку».

— Вот сдернет покров с добрых дел,— говорил Иван Федотыч с такою скорбью, как будто сам сдергивал этот покров,— за добрыми делами корысть скрывается, вожделение мирской славы, алчность... Вот покажет изменчивость счастья, в любви — коварство, в дружбе — ненависть,— и с печальной усмешкой произнесил слова Премудрого: — «Без тебя давно знаю это, о Велиар! Ты мне въявь показываешь,— я провидел разумом суету и тлен здешнего мира. Тут ничего для меня нет нового. Лучше забавляй меня, потешай бесовскими шутками, пусть играет жизнь, как молодое вино в бутылке!» А другой раз задумается, скажет: «Ах, скучно, сатана! Чтой-то сколь лениво влачатся дни». И Велиар бьется, выходит из себя, лишь бы прельстить Премудрого, понудить к роковому слову.

Дальше шел рассказ, как «по некотором времени встретил Фаустин юницу, Маргариту Прекрасную. Идет Маргарита к обедне, о боге думает» и как «распалился Фаустин Премудрый красотой юницы, ее голубиною невинностью» и сказал Велиару: «Вот ты бьешься, выходишь из себя, из-за пустяков землю роешь; соврати юницу — и мне будет приятно».

История этого совращения — любовь и несчастье Маргариты — вызвали необыкновенную жалость в Иване Федотыче; он несколько раз умолкал, прерывал себя на полуслове, шумно сморкался. Только рассказывая о шкатулке и о том, как мать Маргариты позвала попа, он добродушно усмехнулся и произнес:

— А поп-то был, видно, из эдаких,— вот что ты, Николушка, об отце Александре сказывал. Посмотрел, посмотрел, «что ж, говорит, пожертвуйте на церковь: ризы у меня ветхи, закажу новые, самоцветным камнем уберу... а вам за такую жертву по крайности тыщу грехов отпустится!».

Но, до такой странной восприимчивости жалея Маргариту, Иван Федотыч не обнаруживал враждебного чувства ни к Фаустину, ни даже к Велиару. К Велиару его отношение было сдержанное, строгое; в Фаустине он с особенною выразительностью выставлял черту глубокого разочарования.

— Прельстили они ее, обморочили,— говорит он,— возгорелась она любовью к пригожему господину, отдалась в его руки... А Велиар тому рад: вот, думает, теперь-то он взмолится, чтоб продлился день, теперь-то познает земную радость! Но не так вышло... Встречает Велиар Фаустина Премудрого, видит: мрачен из лица Фаустин, невесел. И говорит Велиару: «Ах, скучно, сатана! Нонешнее подобно вчерашнему, все то же да то же, ничего-то нет нового под солнцем... Вот чаша с питьем и манит сладостью, а приникнешь устами — какая горечь!»

Пока в «истории» не появлялось Маргариты, Татьяна и слушала и не слушала. Она, так же как и Николай, любила рассказы Ивана Федотыча, любила переплетать с содержанием этих рассказов свои тайные мечты и мысли; но теперь то, что говорил Иван Федотыч, казалось ей таким ненужным... И только со слов: «По некотором времени встретил Фаустин юницу» в ней что-то встрепенулось, она жадно стала слушать. И опять засновали нити ее собственных мыслей и мечтаний по «основе» рассказа,— «история» начала переплетаться с тем, что она думала о себе, о Николае, о том, что ей нестерпимо душно и тоскливо и хочется какого-то неиспытанного, невиданного счастья...

А Николай все более и более отвлекался безотчетным подъемом, бессознательным сцеплением странных мыслей, смутных представлений... Переливы

тоски и раздражения, восторга и нежности, точно зыбь, когда «вертит» ветер, то есть дует не разберешь с какой стороны,— такие переливы появлялись и пропадали в нем, внушали ему беспокойство. Душа его вяло отзывалась на те важные вопросы жизни, которые двигали Премудрым Фаустином, от которых умилялся и плакал Иван Федотыч. Смерть, преступление, страдание, отрицание жизни... убить или не убить Агафокла, хорош ли, дурен отец Александр — все теперь казалось Николаю далеким и посторонним, одинаково мешающим чему-то действительно важному. С удивительной остротой впечатлений он впитывал в себя все, чем был полон этот тревожный вечер, эта изнемогающая природа. Он прозревал, о чем в такой истоме поет соловей, чего заслушалась будто заколдованная липа, что делается в душе Татьяны... то есть он был уверен, что знает это, потому что никогда не чувствовал за собой такой странной отзывчивости к звукам, к движению, к свету и теням, к тому, что совершалось в природе, что происходило с Татьяной. Это было какое-то очарованное состояние, какое-то восхищение духа. И то, что он подумал о Татьяне ранней весной, после соблазнительных слов Агафокла, и что думал о ней, когда ему вообще приходилось мечтать о женщинах,— не то что возвратилось к нему со всеми подробностями, а возвратилось преображенное в какое-то чувство радости и страха — в чувство трепетного ожидания. С того мгновения, как Татьяна посмотрела на него, и ответила ему, и покраснела под его восторженным взглядом, Николай знал, что это непременно должно случиться, и это-то и было «действительно важное»... И он остался холоден к «истории», не понимал, отчего так волнуется Иван Федотыч.

— И говорит Велиар Фаустину Премудрому,— продолжал Иван Федотыч, ничего не замечая вокруг себя: — «Горе Маргарите Прекрасной: понесла она от тебя ребенка, загаяли, запозорили ее в деревне, задушила она ребенка; сидит теперь в крепкой темнице, дожидается казни...» Загорелась душа Фаустина Премудрого, говорит он Велиару: «Надо мне быть в той крепкой темнице, надо повидать Маргариту». А было это, душенька, может, за тысячу верст от того места. Нечего делать, достал дьявол коней, помчался. И достигли того места. Была ночь. Пришли к темнице... Пали затворы властью Велиара, заснула стража. И указал Велиар, куда идти, остался за дверями. Спустился Фаустин Премудрый в подземелье, раскрылся перед ним вход, видит — вроде погреба каземат, сочится вода, ползают склизкие гады... И видит — горит огонь, брошена на пол гнилая солома... Остолбенел Фаустин Премудрый, не верит глазам: сидит женщина, на руках, на ногах цепи, баюкает пучок соломы, поет колыбельную песню тихо, тихо... «О Маргарита!» — воскликнул Премудрый... И что же, душенька? Улыбнулась Маргарита, приложила палец к устам, шепчет: «Тише, о мой Фаустин! Спит наш младенец, а ты его пробудишь». Содрогнулся Фаустин Премудрый, точно кто ножом полыснул его в сердце. И подошел к Маргарите, пал ей в ноги, стал лобызать цепи, плакал — не мог стерпеть. А она... А она,— всхлипывая, повторил Иван Федотыч,— она, голубка, не удивляется, что вот затворы, крепкая стража, железные двери не удержали Фаустина... Будто так и надо. Мерещится ей внешнее время, слова его прелестные, цветы-ароматы в саду, сладостный соловьиный голос... вот вспомнит игры девичьи, хороводы, пляски, заведет любимую свою песню. И бросит вспоминать — баюкает пучок соломы, грозит Фаустину, чтоб не пробудил... И обратил к ней лицо Фаустин Премудрый: где красота? где юность? где тихий разум?... И пьет несказанную горечь, смотрит-слушает безумную Маргариту...

А наутро ей казнь, дружочек... И вот загорелась заря, прибежал Велиар, распахнул двери, кричит Премудрому: «Что ты делаешь? Занимается белый день, просыпается стража, идут палачи... Покинь безумную! Сядем на коней, бежим отселе!» И увидала Маргарита лицо сатаны, вскрикнула страшным

голосом, пришла в разум. И видит — схватил сатана Фаустина, тащит к дверям, забыла Маргарита про себя, вспылала жалостью к Фаустину, вцепилась в его одежды, волочит, бьется о каменные плиты, молит: «О Фаустин! Отгони Велиара, примиришь с господом богом!» И пьет Премудрый горечь страдания, не сводит глаз с Маргариты... И вот, душенька, встревожилась стража, загремели затворы, ударили в колокол, подходят палачи... И послезился Фаустин Премудрый, поглядел ввысь, взмолился. «Продли день и час... ибо желаю выпить до дна несказанную горечь страдания человеческого!»

И возликовал Велиар, истребил Фаустина, взял его душу.

Иван Федотыч отвернулся, всхлипнул, торопливо вытер залитые слезами щеки и вдруг закончил крикливым, дребезжащим от необыкновенной радости голосом:

— И что ж ты думаешь?.. Тут-то и оказалась сладчайшая благодать божия... Посрамил господь сатану, отнял у него душу, потому не от пустой приманки взмолился Фаустин Премудрый господу богу, а растворилось его сердце, воссияла в нем искра божия — любовь... Так-тося!

Из окна послышались заглушенные рыдания: Татьяна упала на руки, спрятала лицо в ладони.

— Танюша, а? — тревожно проговорил Иван Федотыч. — Что ты, что ты, душенька? Ведь это басня... Ну, дружок, оправься, возьми себя в руки... Эка, как перед грозой разнимает, подумашь!

Татьяна быстро выпрямилась, провела рукою по лицу и сказала:

— Уж больно вы жалостливо рассказываете, Иван Федотыч.

И, точно в подтверждение этих слов, печально забормотала липа, заволновалась дружным шорохом сирень, наклонился густой куст калины. Гром проворчал совсем недалеко, поднялся ветер. Из садика еще не было видно, как омрачались небеса, надвигались тучи с угрожающе поспешностью, блистала молния... Все это происходило на другой стороне, к востоку, за деревней. И тем было страннее смотреть и слушать, как все затревожилось, заволновалось, как в ответ тихо и кротко погасавшей заре зашумел барский сад, зашаталась вершинами роща в яру, потускнел и покрылся мелкою зыбью широкий пруд, понеслись в воздухе цветы с липы, закружились оторванные листья. Дерзко и звонко защелкал соловей, качаясь на ветке калины, — он будто обрадовался, что двинулся знойный воздух, приблизилась гроза, повеяло сыростью и прохладой.

Когда Татьяна заплакала, Николай почувствовал, как что-то до боли натянулось и назрело в его душе. Он вдруг заметил в себе какую-то опрометчивую готовность на самые дикие и невероятные поступки. И испугался этого настроения, приподнялся с травы, насильственно засмеялся и сказал:

— А что я припомнил, Иван Федотыч!.. Иду я к вам, а повар Лукич сидит на крыльце, хмурый-прехмурый. Что это, Фома Лукич? А Парфентьевна говорит: «Полюбуйтесь, добрые люди, на сокровище: налил глаза, спьяну с Иваном Федотычем поругался; хмель-то соскочил, сидит теперь — кается. А кто виноват? С кем, говорит, ты не лалялся в дворне? Кого не поносил? Погоди уж, дождешься, все будут гнущаться нами...» Или и вправду, Иван Федотыч, он тут с вами полемику затеял? — Но то, что сказал один с целью нарушить свое настроение, как раз совпало с настроением другого.

Иван Федотыч быстро поднялся с места и, застыдившись от того, что готовился сделать, с несвойственной ему суетливостью сказал:

— Вот, вот, душенька... так я и знал... Экая крапива, экий банный лист!.. Напьется — на стену лезет, проспится — казнится. Ты вот что, дружок, ты останешься чайку попить?.. Танюша, изготвь-ка, душенька, самоварчик, а я добегу... я мигом к нему летаю... я ведь его знаю... двадцать лет знаю! Он теперь не заснет, уж знаю!..

И, не дожидаясь, что скажет Николай, схватив шляпенку, Иван Федотыч поспешно пошел к яру. Туча черным зазубренным краем показалась из-за избы, быстро захватывая прозрачно-золотистый запад.

Вдруг Татьяну точно кто толкнул. С видом необыкновенного страха она высунулась в окно и закричала:

— Иван Федотыч, Иван Федотыч, воротись!.. — Но тот не оглянулся. — Воротись же! — с угрозою повторила Татьяна. Иван Федотыч только махнул рукою и прибавил шагу. Он подумал, что Татьяна боится, как бы его не замочило дождем. В вышине беглым изломом вспыхнула молния, раздался треск, запахло гарью. Крупные капли дождя редко и неровно забарабанили по деревьям. Из-под густых, угрюмо столпившихся туч сиротливо светлелась полоска чистого неба. В этом неуверенном желтоватом свете было что-то похожее на крохоткую, неизъяснимо-грустную улыбку.

Николай сидел, потупив голову, чувствуя, как весь холодеет, как его сердце мучительно обмирает и падает. Вдруг что-то сильное, сильнее его воли, сильнее застенчивости, овладевшей им с ухода Ивана Федотыча, сильнее торопливых и бессвязных мыслей о том, что это нечестно, гадко, заставило его поднять глаза на Татьяну. В лице Татьяны не было страха, не было печали и недоумения; ресницы не закрывали суженных, растерянно усмехающихся глаз. Вся она до странности, до неузнаваемости изменилась каким-то страдальческим выражением счастья.

— Я войду, а?.. — бессмысленно улыбаясь, пробормотал Николай.

Она невнятно шевельнула губами.

Сделалось совсем темно. Шум ветра в барском саду и другой, поглуше, в роще сменился каким-то сплошным, подскакивающим, кипящим шумом. Дождь лил как из ведра. Яростный ветер трепал мокрые ветви, срывал листья, гнул до земли кустарники. Гнилуша вздулась, выступила из берегов, неслась стремглав, подхватывая плоты, доски, жерди, выворачивая глину и рыхлую землю, унося все это в Битюк. Ослепительный блеск беспрестанно разрывал тучи; мгновениями видно было, как они клубились подобно дыму, или выставляли свои зазубренные края, или мчались растрепанные, косматые, изодранные в лохмотья. И в этом же зеленоватом блеске внезапно обозначались деревья, плотина, мосточек в яру, белелись постройки, зловещим светом загорались волны на пруде. Непрерывно раздавался треск, точно что разваливалось, и грохотало, как будто что тяжелое катилось по железу и гремело твердым, уверенным, угрожающим звуком.

— Свят, свят господь Саваоф! — шептал Иван Федотыч, спускаясь чуть не ощупью от усадьбы в яр, — экая сила, экое могущество!.. Истинно, что вострепещет всякая тварь пред лицом бога!

Иван Федотыч не так скоро, как думал, управился с своим делом. Правда, он угадал, что Лукич не спит: по-прежнему хмурый и сердитый, Лукич сидел на крыльце своей клети и ворчал себе под нос. Но, увидав Ивана Федотыча, он еще более нахмурился, рассердился и сказал:

— Это еще чего приплелся?.. Не видали!

Иван Федотыч засмеялся, сел около него, тихо проговорил:

— Не гневайся, пожалуйста, Фома Лукич, сам не знаю, как с языка сорвалось.

— Ты все так-то, — угрюмо проворчал Лукич, — ты, Иван Федотов, всякому норовишь глаза уколоть. Я что сказал? Я правду сказал. Разве не правда, что не пара тебе Татьяна?.. Такого ли ей мужа надо? Вон хуторской приказчик болтает, управителев сын к тебе повадился... А отчего болтает? Оттого, что она тебе не пара... А ты лаешься! Видно, забыл: сучец в чужом глазу, бревно — в своем.

У Ивана Федотыча тоскливо стеснилось сердце. Тем не менее он подхватил:

— Забыл, забыл, душенька... прости ради Христа!
Лукич помолчал, смыгнул носом и, не переставая хмурить брови, сказал:

— То-то вы, праведники... Тут, брат, не меньше твоего прочитано! — И закричал, приотворив клеть: — Парфентьевна! Самовар-то не остыл еще? Вот Иван Федотов пришел!

Никак нельзя было отказаться, и Иван Федотыч вошел в клеть, посидел, выпил две чашки чаю.

— Праведники! — презрительно бормотал Лукич, подавляя улыбку. И желая скрыть от жены, зачем приходил Иван Федотыч, сказал:

— Ишь! выбрал время! Фекла, подай вон кивотик-то, расклеился... вон он, святителя Митрофана-то... Ишь нашел время! Небось успел бы, не на пожар! — и, не подымая глаз, с деловым, брюзгливым видом завернул расклеившийся кивотик и положил его перед Иваном Федотычем. Ивана Федотыча до такой степени растрогало это поведение, так умилило, что и Парфентьевна притворялась ничего не понимающей и только украдкой взглядывала на него сияющими, благодарными глазами, что он совершенно забыл жестокие Лукичовы слова.

Однако благодаря неожиданной задержке пришлось возвращаться в самую грозу. Иван Федотыч напялил пальтишко Лукича, — совсем не по росту, он был на голову выше повара, — захватил под мышку кивотик, простился. Лукич вышел было со свечкой на крыльцо, но ветер тотчас же задул ее.

— Эка, нужно было тащиться! — крикнул он в темноту.

Иван Федотыч рассмеялся про себя. На душе он все еще чувствовал радость. Шагая вдоль флигелей, он глядел, как кое-где светились огоньки, — у Капитона Аверьяныча, у Агея Данилыча, в застойной, — и прорезали мрак, падали на лужи, на скользкую тропинку, на белый ствол березы около застойной, и эти огоньки оживляли радостное чувство Ивана Федотыча, говорили ему, что везде есть люди, жилье, затишье. Но когда он спустился в яр и бурная темнота стала расступаться перед ним только при мимолетном блеске молнии, когда над его головою с каким-то стонущим и ревушим шумом закачались вершины рощи, загрохотал гром, — его радостное чувство тотчас же сменилось жалким и тоскливым чувством одиночества. Он забыл, что примирился с Лукичом, но вспомнил его слова: «Управителев сын к тебе повадился» и вспомнил, из-за чего поссорились. И мысли его опять обратились к Татьяне, и вдруг что-то засосало у него в груди, что-то беспокойное им овладело... С живейшей ясностью расслышал он в шуме деревьев сильный раздражительный голос Лукича: «Дурак, дурак, в твои ли года жениться?..» И когда расслышал это, в его ушах точно повторился крик Татьяны, когда она увидела Николая, повторился с тем же самым выражением внезапной радости. И будто какая пелена сдернулась с того, что до сих пор было скрыто от Ивана Федотыча, — та пелена, которая заслоняла от него душу Татьяны, мешала ему понять, отчего неожиданно заплакала Татьяна, отчего так смотрела, отчего с такою угрозой крикнула: «Воротись!» Мельчайшие случаи, ничтожнейшие черточки, в свое время едва замеченные Иваном Федотычем, теперь невольно всплывали в его памяти, представлялись ему в каком-то страшном и волнующем значении. Это началось с зимы. На святках вечером пришел Николай, и Татьяна, угадав, когда он стукнул наружной дверью, начал обивать снег в сенях, странно встревожилась и покраснела. В другой раз она украдкой посмотрела на Николая и смешалась, встретив нечаянный взгляд Ивана Федотыча. И по мере того как Иван Федотыч вспоминал это, перед ним обнажалось что-то дикое, нелепое, несообразное с тем, что он до сих пор думал о «Танюше и Николушке», несообразное с его мыслями о правде, о боге, о любви.

Он ускорил шаги, побежал почти рысью, придерживая кивотик под мыш-

кой. И услышал, что навстречу ему, с той стороны яра, тоже бежало что-то, стуча по колеблющимся доскам мостика, и с боязливою жадностью впился глазами в сторону того, что бежало невидное в темноте, как вдруг вспыхнул синий, ослепительный яркий свет. Какой-то человек едва не столкнулся с Иваном Федотычем, взглянул — и в то же мгновение исказилось его молодое лицо, в глазах мелькнуло выражение ужаса, стыда, растерянности. «Николушка!» — вскрикнул Иван Федотыч. Все потонуло во мраке, слышно было, как удалялись торопливо шлепающие шаги. Иван Федотыч охнул, схватился за перила. При быстром блеске молнии долго можно было видеть беспомощно согнутую фигуру старого высокого человека с копною растрепанных волос на голове, в кургузом пальтишке, с кивотом под мышкой. Он точно прислушивался, как под мостом ревели и клочотала разъяренная Гнилуша.

В избе было темно. Ветер беспрепятственно врывается в незатворенное окошко, гремел коленкорovou занавеской, вздувал ее парусом. Косой дождик какими-то ожесточенными порывами царапал стекла... Стукнула дверь, кто-то медленными и тяжелыми шагами вошел в избу, слышно было, как с одежды стекла вода. За перегородкой раздался невнятный шорох. Вошедший, смыгая грязными сапогами, ощупью, неуверенно, достиг перегородки и остановился у входа.

— Танюша-а? — тихо выговорил он. — Ты здесь, душенька, а?

Несколько секунд продолжалось мертвое молчание. Тогда послышался старчески-дребезжащий, требовательный крикливый голос:

— Ты вот что... вот что, Татьяна Емельяновна... ты скажи, правда ли?

Немного спустя из темноты отозвался страдальческий шепот Татьяны:

— Иван Федотыч, убей ты меня, ради создателя...

Иван Федотыч постоял, повернулся, молча вышел из избы, подошел к тому месту в сенях, где помещалась его кровать, одну минуту усиливался что-то вспомнить, приложил руку ко лбу — над бровями сильно ломило — и, не раздеваясь, не снимая грязных сапог, лег навзничь. И как только лег, опять почувствовал, что ему ужасно нужно вспомнить. Но боль над бровями мешала вспоминать, причиняла ему досаду. Вдруг он явственно услышал стук, в стену как будто барабанили костяшками пальцев. Иван Федотыч поднялся с кровати, отворил дверь на улицу, взглянул — от стены отделилось что-то похожее на человека. Несмотря на темноту, Иван Федотыч сразу узнал этого человека и спокойно спросил: «Что тебе, Емельян Петрович?» Тот сделал знак, как бы приглашая следовать за собой, и направился в поле. Иван Федотыч догнал его, пошел с ним нога в ногу. Гроза стихла, дождь едва накрапывал, из-за быстро бегущих туч там и сям виднелись звезды.

Вышли в поле. Иван Федотыч шагал широко, серьезно, заботливо, не обращая ни малейшего внимания на высокую и мокрую траву, засунувши руки в рукава, с опущенными глазами.

— Что, друг, видно, правда сказано у Сираха: «От жены начало греха, и тою умираем вси?» — насмешливо выговорил тот.

— Мой грех, Емельян Петрович, — ответил столяр.

— Чудак ты! Какой же грех, коли охотою за тебя шла, с тебя, старого, глаз не сводила, говорила тебе прелестные слова?.. Помнишь, на троицын день вы в барский сад ходили, ты ей историю о Руслане-Людмиле рассказывал?

— Помню... — прошептал Иван Федотыч.

— Помнишь, говорил ей о своей старости, и она засмеялась, подшутила над тобою: нарвала черемухи, кинула тебе в лицо?

Ивану Федотычу сделалось ужасно стыдно и грустно.

— Помню, друг, — сказал он, — ты мне этого не напоминай.

Тот отрывисто засмеялся.

— А говоришь — грех! — сказал он и, помолчав, неожиданно добавил: — Убить ее надо.

Долго шли молча. Ивана Федотыча все назойливее и назойливее дразнила мысль убить Татьяну; он стал дрожать с головы до ног, точно в лихорадочном ознобе.

— Возьми ножик и зарежь; у тебя есть ловкий для этого дела, каким ты сучья обрезаешь, — продолжал тот. — У ней моя кровь, порченная, бесстыдная. Ей теперь удержу не будет... Она теперь отведала сладость распутства: повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить... Эге! Ты это чего трясешься?

— Бога боюсь, — прошептал Иван Федотыч и, подняв глаза, явственно увидал «Емельяна», — будто скосоротился, прищурился «Емельян», засмеялся мелким, язвительным смешком и сказал:

— Ну, ладно, будь по-твоему. Как веруешь: бог всемогущ?

— Да.

— И всеведущ?

— И всеведущ.

— И без его воли ни один волосок не спадет с человека?

— Ни один не спадет.

— Ну, значит, по его воле ты и Татьяну зарежешь.

Иван Федотыч страшно рассердился, замахнулся на «Емельяна», закричал:

— Ты вот что... вот что... Не смей у меня кощунствовать!

— Нет, это ты кощунствуешь, — ответил тот, — вот ты был бы умен, послушался меня, убил бы Татьяну... Что же это, по-твоему? Только и всего, что бог захотел, и ты убил. Чего ж бояться-то, дурашка? Вот ты был бы хозяин, а я работник. И ты сказал мне: поди и исполни это дело; и я пошел и исполнил, как ты сказал, — и стал бы бояться тебя за то, что исполнил по сказанному... Глупо, Иван Федотов!

— От дьявола, а не от бога — резать человека, — сказал Иван Федотыч.

— Эх ты, баба, баба! Где ты его видел, дьявола-то? Да и кощунствуешь: иже везде сый господь! Где же ты дьяволу-то нашел место? В боге, что ли?

Иван Федотыч смешался и, не зная, что возразить, сказал:

— Держава сдвинется...

— Так, так. Ты вот Николая-то вразумлял, а он взял да надругался над тобой, пуще чем ножом тебя зарезал, — и с какой-то злобною радостью «Емельян» стал глумиться над Иваном Федотычем, поносить его непристойными словами, давать ему насмешливые прозвища.

— Друг! Ведь держава эдак-то сдвинется, — тоскливо прошептал Иван Федотыч.

— А ты почему знаешь, может, ей и надо сдвинуться? Кто ты такой, чтоб уследить господя? Вон в Лукутине дьякон родных детей зарезал, так и перехватил горлушки, — кто ему повелел? Я тогда барину наябедничал, высекли тебя... кто тому первая причина? Нет, Иван, первой причины еще не от господя бога!.. Значит, держава сдвинется — опять-таки от бога, — и, помолчав, выговорил: — А я тебе вот что скажу: и бога-то нет.

— Ну, ну...

— Право слово, нет. Рассуди, кто его видел? Сам апостол говорит: «Бога никто же видел, нигде же». Ему ли не знать? Ты говоришь — любовь... Где она? Сам ты рассказывал о Фаустине, как он понимал жизнь... И это истина. И премудрый Соломон так понимал, и мы с тобой понимаем, ежели не заслонять глаза. Нет, друг, бога нет.

— Кем же вся быша, коли не богом?

— Спроси! — нахально отрезал «Емельян». — Видел, в балаганах куклы

пляшут? Ну вот, скучно стало неизвестно кому, он и наделал кукол. Сидит там себе, дергает пружины, а куклы прыгают... То-то, чай, покатывается со смеху!

— А все-таки я не согласен Татьяну убивать,— с неожиданным упорством заявил Иван Федотыч и прибавил шагу, стараясь попадать ногой в ногу с быстро идущим «Емельяном». Опять долго не прерывали молчания.

— А не согласен, еще того проще,— заговорил «Емельян» искренним, растроганным голосом.— Чего тебе зря мучиться? Знаешь Черничкин омут? Пойдем туда... Кинешься с обрыва, как ключ ко дну, смерть легкая, покойная... Друг, друг! Ничего нет приятнее смерти... Ну, какая теперь твоя жизнь? То ли ты супруг, то ли ты злодей Татьянин... Что ей остается? Ей остается одно: либо обманывать тебя на каждом шагу, либо мышьяку подсыпать... «Над дочерию бесстыдную утверди стражу», сказано. И еще: «Не даждь воде прохода, ни жене лукаве дерзновения». Ах, сколь это горько, искренний мой, сколь постыло!.. Ведь ей жить хочется, ведь в голове-то у ней молодой хмель играет... А ты что? Ты не человек, ты бельмо на Татьянинном глазу. Не будь тебя, глядишь, честно выйдет замуж, обретет счастье. Обманывать никого тогда не придется, кровь моя дурная уляжется, бабьи увертки на ум не взбредут... А, друг?.. Да и любопытно же, я тебе скажу, умереть! Тут два конца: либо ничего не будет, либо все сокровенное постигнешь. Оба конца на выигрыш. А, как думаешь?

Иван Федотыч не ответил. Он заплакал; какая-то сладкая грусть им овладела... Всё шло. Стало рассветать. Ветер дул порывами. Косматые тучи мчались разрозненными стадами. Небо все более очищалось. В белесоватом сумраке уныло начинали выступать окрестности; видно было, как вздымались седыми волнами примятые хлеба, чернели зубчатые вершины леса... Совсем близко мрачным, свинцовым отливом блеснула река, зашумел камыш. Изрытые холмы нависли над водою.

Это и был Черничкин омут. Иван Федотыч подошел к обрыву, заглянул туда. Сердце его тоскливо сжалось, ему сделалось страшно этого дикого и пустынного места. Он отступил, осмотрелся... Никого не было. На той стороне реки раздался плеск, стукнуло весло о корму, охрипший со сна голос крикнул: «Савка, а Савка!.. Шут тебя знает, куда ты их поставил... Полежай! Ничего, тут не глыбко... Вот, брат ты мой, кабы полны вентеря вытащить!» Внезапно точно кто отпустил не в меру натянутые струны в душе Ивана Федотыча. Он как будто видел мучительный сон и, проснувшись, настолько овладел сбитым с толку и все еще дремлющим сознанием, что понял, что это был сон. Приятное чувство облегчения разлилось по всему его телу. Но такое чувство не успело вызвать в нем ни одной соответствующей мысли, ни одного связного представления; оно только вспыхнуло, осветило тягостную путаницу сознания и не то что погасло, а тотчас же сменилось глубокою усталостью. Он лег, где стоял, прямо на мокрую траву, и крепко заснул.

Горячий блеск пробудил его... Заливы, плесы, омут, столь угрюмой ночью, ближние и дальние извивы реки, поля и степь, обрызганные росой, удивительно прозрачное небо — все сверкало навстречу восходящему солнцу. Ветерок едва тянул... Серебристый звон жаворонков радостными и нежными переливами рассыпался в воздухе. Из ближнего леса доносилось разноголосое щебетанье. Иван Федотыч открыл глаза, быстро зажмурился от сильного блеска, потом опять взглянул... пришел в себя, узнал место,— это было верстах в десяти от Гарденина,— и пробормотал:

— Господи, господи, куда это я попал?..

Вдруг восторженная детская радость им овладела. Его душа как будто отозвалась согласными тонами на все, что делалось кругом него; в ней точно запело и засверкало, повеяло бодрою утреннею свежестью... Все происшедшее

он припомнил до мельчайших подробностей; но ни одно из прежних ощущений не возвращалось к нему, прежние мысли казались несообразными. Все теперь представлялось ему в ином свете. Мысли с какою-то даже торопливостью подлаживались к новому, *угреннему* настроению Ивана Федотыча, оживляли его бессознательную радость. «Что же это я?.. Надо идти,— сказал он громко.— Танюша теперь невесть что подумает... Ах ты, горяшечка моя милая!» — и быстро зашагал по меже к Гарденину.

Окрестности, вчера еще тусклые и печальные, истомленные засухой, с неясною и скучною далью, казались преображенными. Они точно раздвинулись, сделались шире, просторнее, светлее, заиграли свежими и сочными красками, оживотворились каким-то ликующим выражением. Потому что это было после грозы.



Как ждали и как встретили холеру в народе и в застольной.— Николай являет из себя отпетого человека.— Чем занимается Иван Федотыч.— Татьяна.— Страх Агафокла.— «Понурая женщина в черном».— Мысли старые как мир.— Убийство.— Смерть «афеиста».— Радикалка Веруся, становой Фома Фомич и следственное производство.— Встреча.

К Битюку приближалась холера. Как всегда перед каким-нибудь действительно крупным событием, в народе ходили странные слухи, рассказы и легенды. Где-то упал камень на поверхность воды и возмутил воду. И около места, где упал, дрогнула ясная поверхность воды, заколыхались вперевивку сильные волны и, все уменьшаясь и уменьшаясь, раздробились в мелкую, едва заметную зыбь. Упал камень где-то ужасно далеко, но еще весною в окрестностях Гарденина можно было приметить тихую зыбь слухов и ожиданий. В половине июня эта зыбь поднялась, в конце — превратилась в тревожное и сумрачное волнение; в начале июля появились рассказы очевидцев, как «валом валит» народ в Царицыне, Борисоглебске и еще ближе в Битюку. Погода стояла знойная, сухая, благоприятная для созревания хлеба. Урожай предвиделся изобильный. Тем не менее даже по внешнему виду тех, для кого урожай больше всего был важен, чувствовалась беда. В начале покоса еще слышались песни; затем их сменили серьезные разговоры, вздохи, тревожное настроение духа. Шутки, смех, жилейки, пляска — все исчезло. Кое-где на бабах и на девках появились темные платки. То, что называется «междупарьем» — время от первой пахоты до того, как начинают косить рожь, — обыкновенно проходит весело в деревне; вместо хороводов, конец которым на Троицу, собирается «улица», от вечерней зари до утренней поются песни, а днем бабы и девки сидят где-нибудь в тени: шьют грубое платье к страде, сучат «свясла», вяжут, чинят или копаются в огороде, поливают капусту, выбирают «посконь» из конопли; мужики отбивают косы, прилаживают к ним грабли, готовят телеги. Вся работа легкая, которая делается «спрохвалá». Но теперь именно в междупарье особенно поднялась зыбь, потому что работа не мешала сходить-ся, говорить, передавать слухи, потолковать с прохожим человеком, думать о том, что неотвратимо надвигалось откуда-то. «Улица» сначала собиралась, пробовали даже затягивать песни, но не доканчивали. Девки жались друг к другу, старались держаться потеснее и до зари говорили вполголоса о том, что

узнали за день от отцов, от братьев, от какой-нибудь странницы. А потом и совсем перестали собираться, потому что было жутко. И оттого ли, что было жутко, или от других причин хворали более обыкновенного. И хворь приходила странная: внезапно схватит, внезапно отпустит. Иногда случалось, что уж думали — с человеком холера, посылали за попом, бежали к знахарке, если была под рукою. Однако проходило несколько часов, и человек выздоравливал.

В усадьбе принимались меры. Когда появились слухи, что холера недалеко, Мартин Лукьяныч тотчас же послал телеграмму во Флоренцию, где в то время пребывала Татьяна Ивановна. Был получен ответ: немедленно купить на двести рублей лекарств и раздавать бедным. Каких лекарств — это был вопрос. Управитель снарядил Агея Данилыча в город спросить в аптеке и купить. Агей Данилыч возвратился, нагруженный каплями, порошками, микстурами, опием, горчичным и нашатырным спиртом. К сему аптекарь присовокупил наставление, как употреблять.

Рожь поспела, началась уборка; созревала озимая пшеница. Пшеница родилась неслыханной густоты, так что приходилось не косить, а жать ее. Десятого июля Мартин Лукьяныч поехал на базар нанимать жнецов. Обыкновенно с базара он возвращался поздно и всегда навеселе, потому что съезжалось много знакомых — приказчики с купеческих хуторов, торговцы, управители, — кончали свои дела и пили. На этот раз случилось не так. Еще раньше обеда Николай увидел быстро подъезжавшую взмыленную тройку и бледное, беспокойное лицо отца. Он испугался, выбежал на крыльцо, крикнул:

— Что с вами, папенька?

Мартин Лукьяныч, не отвечая, вылез из тарантаса, — движения его были необыкновенно медленны, — вошел, не снимая верхней одежды, в контору, сел и сказал:

— Ну, на базаре неблагополучно.

— Неужели холера?

— Она. Схватила однодворца из Боровой, не прошло часа — помер.

Агей Данилыч повернулся на своем стуле, заложил перо за ухо, оправил пальцами височки и спокойно проговорил:

— Теперь, сударь мой, зачет косить, теперь чернядь держись...

— Что ты толкуешь, Дымкин? — сердито проворчал Мартин Лукьяныч.

— Вон в Борисоглебске купцы мрут... Да еще какие — первогильдейские!

Агей Данилыч недоверчиво ухмыльнулся и опять углубился в свои бумаги.

— Базар-то вмиг разбежался, кто куда, — добавил Мартин Лукьяныч, потом встал и пошел к себе.

Немного спустя Николай пошел за ним. Мартин Лукьяныч стоял у растворенного шкафа и капал на сахар из темного пузырька.

— Чтой-то будто покальвает, — сказал он сыну, бросая в рот пропитанный рыжеватую жидкостью сахар, и добавил, как бы оправдываясь: — Все лучше.

Николаю был смешон этот страх. До него не достигали тревожные слухи о холере в том виде и с тем трепетно-таинственным выражением, с которым они ходили в народе. Раза два ему случилось быть в застольной, когда там рассказывали о холере. Говорили о том, что холера — женщина, что она — без носа, понурая, в черном, что где-то было видение: явился старец в алтаре, сказал попу, чтобы под престол посадили на ночь отрока, и в ночи опять явился и сказал отроку, что мор будет три полнолуния. Все это до такой степени было глупо и суеверно, что не сделало ни малейшего впечатления на Николая. Но главным-то образом настроение в застольной совсем не походило на то настроение, в котором находилась деревня. Народ здесь собирался все молодой, — или из дворни, или как-нибудь иначе оторванный от того чем жила

деревня; у всякого было свое, изо дня в день одинаковое дело; были весьма определенные заботы,— и дела и заботы, потому имеющие великую важность, что либо конюший, либо управитель считали их важными и строго взыскивали за малейшую неисправность. Тут отчасти повторялось то же самое, что и в полку во время войны: твердо натянутая узда власти как бы снимала с отдельных лиц заботу о завтрашнем дне, о действительно важных вопросах жизни; внезапная и мучительная смерть, бедствие, страдание — все это были пустяки в сравнении с тем, что скажет вахмистр Свириденко, если увидит надорванную подпругу у седла, или фельдфебель Горихвостов приметит ржавчину на ружейном замке, или Капитон Аверьяныч найдет, что плохо вычищена лошадь. Зимой в застольную заходили коротать вечера семейные, немолодые — люди, не так зависимые от начальства; эти люди могли бы теперь поднять настроение застольной, придать ему более серьезности, вдумчивости,— и более страха, разумеется,— но летом они почти не появлялись в застольной. Таким образом, когда Николай оборвал разговор о видении и сказал, что это ерунда и что холера тоже ерунда, то есть что она баба и что если придется умирать, так черт ее побери: двух смертей не бывать, одной не миновать,— то такое невозможное в деревне поведение встретило в застольной самое полное сочувствие, и рассказы о холере живо сменились смехом и шутками.

Гораздо важнейшее занимало Николая. Он не переставал думать, как бы повидаться с Татьяной. После того как он не посмел дожидаться возвращения Ивана Федотыча и все-таки встретился с ним и понял, что тот все знает; после того как он думал, что умрет от стыда и отчаяния, позорил и срамил себя самыми отборными словами; после того как стихла гроза и часы пробили полночь,— он бросился в постель, отлично выпался, с радостью вскочил, когда яркий солнечный луч упал ему на лицо, с аппетитом наелся сдобных лепешек, напился чаю и на отдохнувшем Казачке во всю прыть помчался на хутор и всю дорогу думал только о том, как красива Татьяна, как весело блестит солнце, блестит мокрая трава, колышутся освеженные нивы, звенят жаворонки в синем небе... как весело и приятно жить. После, на другой, на третий день, спустя неделю, к нему опять приходили прискорбные мысли, припадки самообличения, упреки совести, но... как тучки на лазури: покажутся и в горячих солнечных лучах растают. Потому что то, что казалось ему счастьем, подобно солнцу разгоняло то, что казалось ему злом. Он знал, что теперь уж *не может* показаться на глаза Ивану Федотычу,— ну, что же, жалко, да ведь делать нечего. Мало-помалу он даже так подстроил свои мысли, что *не хочет* встречаться с Иваном Федотычем: нестерпимо-де видеть старика, который сознательно губит молодую женщину, мешает ей любить, кого она захочет, мешает их счастью. Мало-помалу Николай, когда ему случалось думать об Иване Федотыче, начал его называть про себя «Кашеем», стал питать к нему что-то вроде ненависти. И тем с большим задором, возвратившись в Гарденино, начал искать случай повидаться с Татьяной. Долго ему не удавалось это. Ближе подходить к столярной избе он не решался, а далеко Татьяна не показывалась. Случалось, он по целым часам слонялся около овчарен и амбаров, откуда было видно, что делалось в садике Ивана Федотыча, но обычная Татьянина повязка не алелась между деревьями. Иногда Николай проезжал верхом, стараясь держаться ближе к столярной избе, разгорячал Казачку, скручивал ему шею по-лебединому, принимал живописные позы, но не заметил, чтобы Татьяна на него глядела. Раз только, когда он гарцевал в ста саженях от избы, что-то высунулось в окно, но тотчас же и скрылось. Другой раз в садике стоял сам «Кашей» и, приложив ладонь к глазам, чтобы лучше рассмотреть, повернулся в сторону Николая. Николай внезапно побагровел, ударил Казачку, погнав в поле и там добрые четверть часа громко ругал Ивана Федотыча, успокаивая тем себя и оправдывая свое малодушное бегство. Воображение его

раздражалось от этих неудач, мысли начинали принимать фантастический характер. Ему стало приходиться в голову, что «Кашей» держит Татьяну взаперти, на привязи и бьет ее. И это до такой степени овладело Николаем, что иногда вечерами он ясно слышал, стоя у конторы, болезненные стоны на той стороне яра.

Столь возмутительной жестокости никак нельзя было стерпеть. Темным вечером — это было в половине июля, когда во многих селах по Битюку уже свирепствовала холера, — Николай, сжимая пугливо колотившееся сердце, подкрался к садику Ивана Федотыча, притаился в густых кустах сирени, раздвинул листву, взглянул в открытое окно и обмер: на верстаке стоял гроб. Иван Федотыч что-то возился над ним, не то с стамеской, не то с долотом, и как ни в чем не бывало, с свойственным ему ласково-важным видом напевал: «Готово сердце мое, боже, готово сердце мое... воспою и пою во славе моей: восстани слава моя, восстани псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся тебе в людях, господи, воспою тебе во языцех. Яко возвеличится до небес милость твоя и даже до облак истина твоя...» — И перестал петь, сказав:

— Тánюшка-а! Ты не видала, душенька, аглицкого буравчика?.. Куда-то дел и сам не знаю.

К верстаку подошла женщина: Николай увидел ту же и не ту Татьяну; лицо у этой было бледное и худое, как после долгой болезни, но красивее, чем у той; повязки не было, густые косы небрежно были свернуты на затылке, в открытых глазах светилось спокойное и строгое выражение. Она порылась около верстака, нашла буравчик, улыбнулась кончиками губ и сказала:

— Тут он и лежал, Иван Федотыч, вы все забываете. — Потом спросила, показывая подбородком на гроб: — Третий?

— Третий, дружок. Надо будет завтра к Арефию отвезть. Ты, душенька, не сбегаешь утречком на деревню?.. Лошаденку бы. Гляди, Арсений Гомозков не откажет. Ты бы сбежала, а я тем местом крышечку прилажу. Экая, подумаешь, беднота есть на свете, Тánюшка! Ну, что тесина, и цена-то ей двугривенный, — тесины купить не могут, не на что.

Татьяна вздохнула.

— Утром добегу, — сказала она.

— А подбирает, шибко подбирает, — проговорил Иван Федотыч, — вчерась Арефий сказывал: в Боровой сорок две души бог прибрал... Легкое ли дело!

— Избави господи! — воскликнула Татьяна. Иван Федотыч ничего на это не заметил и опять запел вполголоса. И немного погодя спросил:

— Деньжонки-то у нас водятся, Танюша?

— Три рубля семь гривен осталось, Иван Федотыч.

Иван Федотыч с сожалением почмокал губами.

— Ах ты, горе! Как же быть-то, дружок? Ох, тяжело бедноте-то, Тánюшка!

— Что ж, Иван Федотыч, сбегаю завтра у Парфентьевны попрошу. Бывало, не отказывала.

— Сходи, сходи, душенька. Завтра, бог даст, и отвезу. Арефий Кузьмич свою линию ведет... Греха в этом не вижу: в горькие времена одно прибежище — господь да Святое писание... Убеждать убеждай, на то и разум даден, а подсобить все-таки надо. Сходи, сходи, дружок, к Парфентьевне. — И опять запел: «Готово сердце мое, боже, готово сердце мое...»

Николай возвратился домой в недоумении. Разобраться в этом недоумении, пристально подумать о том, что он видел и слышал, помешало ему то обстоятельство, что завтра Иван Федотыч уедет в Боровую и, следовательно, Татьяна останется одна. И он всю ночь проворочался с боку на бок, мечтая о завтрашнем дне, о свидании с Татьяной.

На другой день, улучив час, в который, по его расчетам, Иван Федотыч уже должен был уехать, Николай таким же воровским обычаем подкрался к садику, спрятался за кустами и увидел из-за них, что Татьяна действительно одна. Она сидела у раскрытого окна и, низко наклонившись, что-то шила. Николай собрал все свое мужество и с напускною развязностью, с полусмущенною, полуторжествующею улыбкой появился у окна; под его ногою хрустнул сучок... Татьяна быстро подняла голову, вскрикнула, и вдруг ее красивое лицо обезобразилось выражением ужаса и глубокого отвращения. «Уйди,— проговорила она побелевшими губами,— уйди, постылый!» — «Таня!..» — воскликнул Николай, растерянно протягивая руки. Она вскочила, захлопнула окно,— Николай видел, как тряслись ее нежные, нерабочие руки,— и скрылась. Вне себя от стыда, от столь неожиданно уязвленного самолюбия Николай бросился из сада, миновал гумно, овчарни и, выбравши пустынное место за овчарнями, долго ходил там торопливыми, разгоряченными шагами, говоря сам с собой, бессвязно восклицая, проклиная себя, Ивана Федотыча, Татьяну и женщин вообще. О, женщины! Все они казались теперь Николаю так же «низки, подлы, изменчивы и двоедушны», как «эта... мерзкая святоша, черт, черт, черт ее побери!».

С этого случая Николай почувствовал еще большее презрение к смерти и презрение к тем, кто боялся смерти. И почувствовал сладостную потребность везде, где можно, выказывать это, напустил на себя отчаянность, удивлял конюхов и прочий народ своими дерзкими словами и глумлением. В глубине души ему хотелось, чтобы поняли, что он не даром сделался такой отпетый, что на это есть свои тайные причины, что он носит в своей груди рану, что у него есть горе, куда поважнее какой-то холеры. Иногда он и делал такое впечатление, особенно на женский пол. Обе кухарки в застольной, Марья и Дарья, испытывали к нему даже какую-то жалостливую нежность, пригорюнивались, когда он начинал извергать «неподобные слова», провидели за этими словами то самое, что ему и хотелось, догадывались вслух, отчего он стал таким отчаянным. Николай отвечал на такие догадки горькою усмешкой, многозначительным умалчиванием или злобным и презрительным отзывом «об их сестре». Что касается молодых конюхов, они мало старались проникать в истерзанную Николаеву душу, но его дерзость внушала им некоторое уважение. Федотка так даже прельстился этою дерзостью, что и сам захотел явить вид отпетого человека. Случилось, что старший конюх Василий Иваныч зашел во время обеда в застольную. И хотя обедал дома, но соблазнился хорошими щами, взял ложку и стал есть. И Федотке пришлось в голову сказать, что ежели на том свете будут кормить такими же щами, то, черт ее побери, хоть сейчас приходи холера. Тогда Василий Иваныч, ни слова не говоря, размахнулся ложкой и звонко ударил Федотку прямо в лоб. Вся застольная так и застонала от дружного хохота. А Василий Иваныч, в виде нравоучения, добавил: «Неумыто рыло! Пристойно ли тебе с управителя сына пример брать? У него-то копыто, а у тебя — клешня, дурак!»

Когда стали жать пшеницу, оказалось, что начальства в Гарденине недостаточно. По полям ездили и ходили с бирками, с саженьями, с реестриками в руках Николай, староста Ивлий, конторщик Агей Данилыч, старший ключник Дмитрий и взятый на время сельский староста Веденей. Сам Мартин Лукьяныч раза два в день объезжал поля. Тем не менее этого было недостаточно, и Николая послали, чтоб приказал Агафоклу явиться в Гарденино. Было воскресенье, когда Николай поехал на хутор. Полдневный жар свалил, жгучее июльское солнце склонялось к западу. Табуны уже выгнали в степь, и ворота опустелых варков стояли отворенные настезь. Обогнувши ракиту, Николай увидал Агафокла: он сидел на завалинке, босиком, распоясанный, с расстегнутым воротом, и, понурившись в землю, тяжело сопел. И вдруг поднял голову на стук подков и быстро скользнул в избу. И снова появился уже в окне. Нико-

лай не узнал его: так побледнели и осунулись его румяные щеки, таким казалось встревоженным его некогда веселое, вечно подмигивающее и смеющееся лицо.

— Аль холера? — крикнул он Николаю.— Друг! Христом-богом прошу: не подходи ты ко мне, ради создателя не подходи!

— Какая, где холера? — сказал удивленный Николай.— Что с тобой, Агафокл Иваныч?

— Да в Гарденине.

— Никакой нет холеры.

— Ой ли? Побожись, милячок, побожись, желанненький!

— Право, нет.

— И на жнитве никто не помирал?

— Пока еще никто.

Агафокл несколько успокоился, вышел из избы, привязал Николаеву лошадь.

— Велено тебе, Агафокл Иваныч, приезжать на жнитво,— сказал Николай.

— Как так велено? — пролепетал Агафокл, опускаясь на завалинку. Николай пояснил и добавил:

— Чтоб завтра же явиться.

Лицо Агафокла исказилось отчаянием.

— Не поеду! — закричал он плачущим голоском.— Так и скажи: не поеду. Пушай рассчитывают! Чтой-то в самом деле: мне жисть не надоела. Согнали народ... с самых заразных мест. К чему это? Да пусть она пропадет, пшеница... К чему? Я и тут-то того только и гляжу, чтобы с заразных мест какой не проявился, а то на-кося, в самое пекло! Аль у меня две головы?.. Не поеду!

Николаю было и смешно и омерзительно смотреть на Агафокла.

— Как же так не поедешь,— сказал он,— какой же ты после этого приказчик?

— Друг! Миколушка! — жалобно заголосил Агафокл.— Уволь ты меня, старика... Соври папашеньке, скажи — невозможно отлучиться с хутора. Соври, анделочек! Я не отрекаюсь, я прямо тебе говорю, боюсь... Меня с утра до ночи лихоманка трясет. Что ж, я не отрекаюсь.

— Вот какой ты трус. Уже не говоря о том, что это вообще вздор — не двадцать раз умирать? — но холера не заразительна. Это уже доказано.

— Чего ты толкуешь, дурашка? Ну, что ты толкуешь?.. Нагрессишь с тобой, ей-богу! Выдумал — не зараза! Как не так: в Боровой не было — понесло дураков на базар, один на базаре и помер, а другие воротились да занесли. И пошло валить, и пошло... Ох, страшно, Миколушка! Ох, смерть моя, страшно!.. Вот нонче, слава богу, хоть перезвону не слышно. А то как пойдут перезванивать в колокола, как пойдут... К чему? Ну, помер, ну, зарой его где-нибудь. К чему звонить? Я-то чем виноват, что он помер?.. Ох, херувим ты мой, тошно! Ох, разнесчастный я человек!.. Миколушка! Друг! Я никак на жнитво не поеду. Эка, вспомнили... Эка, уморить захотелось!.. У меня и здесь делов достаточно — степь объезжаю, овес выдаю, продукты... Чего еще нужно? А помирать я не согласен.

— И непременно помрешь, потому что это уж доказано: кто боится, тот умирает,— с злорадством произнес Николай.

Агафокл вскочил, хотел что-то сказать, бороденка его затряслась, но вдруг он опустился, как подкошенный, и жалобно захлипал, закрывая лицо ладонями. Николай, никак не ожидавший такого эффекта от своих слов, начал его утешать.

— Ну, полно, Агафокл Иваныч! — восклицал он.— Ведь это я пошутил. Откуда зайти холере в эти места,— ну, сам подумай. Я скажу папаше: те-

бе никак невозможно явиться на жнитво... Уж я что-нибудь придумаю, отчего тебе невозможно! Перестань... лучше чаем меня угости,— страсть пить хочется.

Мало-помалу Агафокл перестал плакать, стал рукавом вытирать слезы. Странно и жалко было смотреть на него — на его седые кудри, на колыхающееся брюхо, на смятые, мокрые от слез щеки, на пухлые, сложенные сердечком губы, которые подергивались, как у детей, когда они усиливаются сдерживать рыдания. И Николай чувствовал, что ему было ужасно жалко Агафокла, но вместе с тем едва преодолевал в себе все больше и больше нараставшее отвращение к Агафоклу, какую-то дикую, необъяснимую злобу. Он, например, не только тотчас бы уехал, чтоб не смотреть на Агафокла, но с живейшим наслаждением плюнул бы ему в лицо, прибил бы его по этим противным, женоподобным трясущимся щекам... Но это необъяснимое чувство все-таки не срывалось с какой-то зарубки, и, чтобы оно как-нибудь не сорвалось, Николай старался не глядеть на Агафокла, старался как можно больше разжалобить себя состоянием Агафокла. Это оказалось легче, когда тот перестал всхлипывать и вытер слезы.

— Ну, что же, где баба-то твоя, Агафокл Иваныч? Какая теперь у тебя? — деланно-шутливым голосом спросил Николай.

— Что ты, что ты, матушка! Такие ли теперь времена! — воскликнул Агафокл и тоненьким благочестивым голоском позвал: — Ираида Васильевна, а Ираида Васильевна, поставь-ка, радельница, самоварчик.

На этот зов, кряхтя и охая, вылезла из кухни древняя, сгорбленная старушка и с ведром в руках поплелась к Битюку за водой.

Однако за чаем Агафокл мало-помалу развеселился, и до такой даже степени, что с бывалою игривостью подмигнул и сказал Николаю:

— Ну, как, друг, твои делишки с Танюшей? Ох, вы каверзники, каверзники, бог вас прости!

Но Николай вспыхнул, рассердился и грубо ответил:

— Черт знает что выдумываешь!.. Как тебе не стыдно говорить такие мерзости?

— О, аль не надо? Ну, что ж, и замолчу, голубёнок, и замолчу. Я ведь это так, к слову... А рассказать тебе, сокол мой ясный, как я Акулинушку спровадил? Ну, то-то умора с эстими бабочками. Я ее, курочку эдакую, опять возьму, хе, хе, хе... беспременно возьму, как только вот времена-то лихие пойдут. Не сыщешь, Миколушка, другой такой сударки! Чтò умильна, чтò весела...

Вдруг Агафокл глянул в степь, побледнел и торопливо отставил блюдечко с чаем.

— Что с тобой, Агафокл Иваныч? — вскрикнул Николай.

Агафокл несколько мгновений молча поводил глазами и наконец прошептал:

— Мелькнула... она мелькнула...

— Кто?

— Она... она... — лепетал Агафокл, не осмеливаясь назвать более определенным именем того, что ему померещилось,— там... за ракитой... за ракитой промаячила...

Николай с нахмуренными бровями поглядел на ракиту; там никого не было. Он только что хотел крикнуть на Агафокла: «Да ты с ума сошел, старый черт!» — крикнуть тем сердитее, что и сам почувствовал какой-то суеверный ужас, как вдруг из-за кургана показалась понурая женщина, в черном, с объяванным до самых глаз лицом, с котомкой за плечами... По спине Николая проползла холодная струя; Агафокл в мгновение ока убежал с крылечка в избу и, высунувшись в окно, испуганным голосом закричал женщине:

— Не подходи, застрелю... провалиться на сём месте, из ружья застрелю! Женщина круто остановилась.

— Что тебе нужно? — спросил Николай, не подымаясь с места.

Женщина сдвинула платок с лица, чтобы легче говорить. Агафокл свободно перевел дыхание; на измученном, усталом и запыленном лице виднелся нос.

— Где мне тут, батюшки вы мои, на Щучье пройти?

Николай растолковал с особенною подробностью; ему уж стало стыдно, что он поддался столь нелепому страху. Женщина постояла в нерешительности.

— К угоднику иду,— сказала она и неожиданно всхлипнула,— мужа, деток, невестушек, деверьев, всех господь прибрал... ржица осыпалась... убирать было некому. Я из Колена. Испить бы мне, батюшки вы мои, да хлебушка, коли милость ваша будет...

— Ах ты, такая-сякая,— заревел из окна Агафокл,— шляешься из самого заразного места, да еще корми тебя. Духу твоего чтоб здесь не пахло! Сейчас пристрелю, как собаку!.. Ах ты, создатель милостивый... Крикни на нее, Миколушка!.. Гони ее, шельму!.. Что же это такое будет? Бережешься, бережешься, а тут на-поди! Управителей сын, управителей сын, шатунья проклятая... Он тебя сейчас в стан представит!

Баба испуганно повернулась и мелкими, кропотливыми шажками потрусилась за курган. Николай одно время хотел было остановить ее, дать ей денег, но не решился так жестоко обеспокоить Агафокла.

— Ну, прощай, Агафокл Иваныч,— сказал он, быстро поднимаясь с места,— хорошо, я скажу папеньке, что тебе нельзя быть на жнитве. Куда тебе к черту!.. Ты и на хуторе-то скоро с ума сойдешь... За что бабу обидел?

И, не слушая, что говорил ему Агафокл, вновь появившийся на крыльце, он отвязал Казачка, вскочил на седло и крупною рысью погнался за богомолкой. Та шла вдоль степи, так же понурившись, теми же торопливыми, мелкими шажками. Услышав за собой стук копыт, она как-то беспомощно пригнулась, точно ожидая удара, свернула с дороги и остановилась, и робкими, покорно-боязливими глазами взглянула на подъезжавшего Николая. Николай был объят смущением; он дрожавшими руками вынул из кошелька рублевую бумажку и молча подал богомолке. Та сначала не поняла, зачем это, потом лицо ее перекосилось, она припала к руке Николая и глухо зарыдала. Николай почувствовал прикосновение шероховатых, истрескавшихся на солнечном зное губ, теплоту слез, лившихся на его пальцы, и готов был сам заплакать.

— Ну, полно, полно, голубушка... все умрем,— сказал он пресекающим голосом.

— Родименький ты мой...— вскрикивала женщина,— желанненький ты мой... Ох, горько мне!.. Ох, деточек мне моих жалко... старшенький, старшенький-то... Петю... Пет-ю-шка-то!.. Пятнадцатый годочек... Радость ты моя... друженька ты мой, Архип Сергеич... Детушки вы мои... О-ох...

И она повалилась на выжженную солнцем траву. Николай постоял, посмотрел, прикусил до крови губы и, пребольно ударив Казачка, помчался назад к гарденинской дороге. Проскакав с полверсты, он оглянулся: среди голой степной равнины, озаренной странно багровыми лучами, по-прежнему чернелась крестообразно распластанная богомолка. И эта одинокая черная фигура придавала какое-то особенное выражение пустынной окрестности,— такое выражение, от которого Николаю стало жутко. И, оглянувшись в другую сторону, он увидел Агафокла, направляющегося на своей пегашке, запряженной в дрожки, осматривать степь. «Вот испугается, подлый трус, если наедет на женщину»,— подумал Николай и проследил глазами за Агафоклом, пока тот

не скрылся в ложине, в противоположной стороне от того места, где все еще лежала богомолка. В это время густым, протяжным звуком загудел колокол в ближнем селе, потом еще и еще, медленно, мерно, печально... Видно было, как женщина поднялась с земли, перекрестилась по тому направлению, где раздавался похоронный звон, подобрала палочку, поправила котомку на спине и, быстро перебирая ногами, точно спеша куда-то, пошла вдоль степи, навстречу раскаленному западу. Николай вздохнул и с стесненным сердцем поехал в Гарденино.

Мартин Лукьяныч с несвойственной ему кротостью выслушал от Николая, что Агафокл совсем вне себя от страха и никак не может быть на жнитве. Он только легонько вздохнул, проговорил:

— Все под богом ходим, все под богом ходим,— и, заложив руки за спину, держа в углу рта дымящуюся папиросу, задумчиво стал ходить по комнате.

Вообще он часто впадал теперь в задумчивость, почти не кричал на рабочих, не говоря уже о том, чтобы драться, и стал гораздо нежнее и разговорчивее с сыном.

— Как можно раньше вставай, Никобля,— сказал он, на мгновение останавливаясь среди комнаты,— и если что, боже сохрани, случится в поле, всячески берегись подъезжать к тому, с кем случится,— и еще походил и, опять остановившись, сказал: — Будешь умываться — уксусом оботрись... да иноземцевых капель прими. Так каждое утро и принимай по пятнадцати капель. Береженого бог бережет.

Николай все время молчал, приблизивши к самому окну книгу, чтобы виднее было читать: дело происходило в сумерки.

— Что с Иваном Федотычем сотворилось? — спросил Мартин Лукьяныч.— Положим, христианская черта, но все-таки достаточно глупо эдаким манером избытка лишаться.

— Что такое, папенька? Я ничего не слышал.

— Да вот часа три тому приходил ко мне. Купите, говорит, в экономию и дом и землю. Как так, говорю, Иван Федотыч, лишаться усадьбы, прекрасной сосновой избы, есть садик, огород, и ты лишаешься? Стоит на одном: если-де не купите, продам на сторону, будет ли приятно господам, в случае поселится чужой человек? Какой — приятно! Я, конечно, не допущу до этого, еще найдется шельма — кабак откроет, станет краденое принимать. Но ты-то, говорю, где жить будешь? А мы, говорит, на квартиру съедем; где господь укажет, там и будем иметь угол. Прошу покорно! И вижу — очень серьезен, выложил доверенность от жены, все как следует. Нечего делать, купил у него за двести двадцать рублей. Надеюсь, генеральша не разгневается. Но зачем продавать? Мне еще прежде говорили, будто он ездит в заразные села, оставляет на свой счет гробы, помогает деньгами. Положим, христианская черта, но глупо!.. Про тебя спрашивал. Что, ты не ходишь, что ль, к нему? Я, брат, не запрещаю тебе ходить к таким людям. Да ты брось книгу, глаза испортишь.

Но Николай давно уже держал книгу только для того, чтобы закрыть лицо.

— Какая же, папаша, летом ходьба,— ответил он,— некогда.

— Гм... да, да, вставай, брат, пораньше. Следи, чтоб жали поаккуратнее. Я вчерась посмотрел — отвратительно жнут прокуровские однодворцы. Вот время-то страшное, а то за эдакое жнитво прямо следует нагайкой анафемов лупить.— И, спохватившись, добавил: — Но ты всячески остерегайся грубо обращаться с народом. Не такое время. Как-нибудь, лишь бы как-нибудь.

Зажгли свечи, явились начальники. Агей Данилыч записал, что следовало, в книги, Мартин Лукьяныч, между прочим, спросил, не случилось ли «несчастья» в поле или в деревне,— степенные люди уже избегали называть болезнь

настоящим именем, — и на доклад: «Пока еще все, слава богу, благополучно», с облегчением вздохнул и произнес: «Ну, слава богу!» Потом все были отпущены с приказанием, что делать завтра. Мартин Лукьяныч и Николай поужинали и разошлись спать. Были душные ночи, и Николай спал с раскрытым окном. Простившись с отцом, он потушил свечку и долго сидел у окна, бесцельно смотря в пространство. Ночь была молчаливая, даже перепела не кричали, слышно было только, как где-то вдали скрипели тяжело нагруженные телеги да изредка гудела на красном дворе чугунная доска и с той стороны яра, от амбаров, доносился протяжный голос гуменного сторожа: «Пос-ма-а-три-ва-а-ай!» Николаю сделалось нестерпимо грустно. Он думал о том, что теперь уже не будет в Гарденине Ивана Федотыча, — из слов отца ему было ясно, что не одна «христианская черта» понудила Ивана Федотыча продать дом, а и нечто иное, и, следовательно, продавая дом, Иван Федотыч хочет совсем уехать отсюда. И, думая об этом, Николай чувствовал, что ему жалко Ивана Федотыча больше, нежели Татьяну, что если Иван Федотыч уедет, что-то важное и необходимое исключится из гарденинской жизни... «Зачем он меня спрашивал? — размышлял Николай. — Или все добывается за Татьяну поругать? Что ж, я и сам себя ругаю. Подлость, подлость, и больше ничего! Да нет, не похоже на него, чтоб за этим спрашивал... Зачем же? Не сходить ли к нему?.. Не сходить ли?» — повторил он и тотчас же понял, что праздно пришло ему в голову это слово, потому что если бы даже силой стали тащить его к Ивану Федотычу, то он скорее бы умер, а не пошел. И не только сам не пошел бы, но, явись перед ним вот сейчас Иван Федотыч, он бросился бы от него и побежал куда глаза глядят, лишь бы не говорить с Иваном Федотычем, не смотреть ему в глаза. И стал думать дальше, попробовал помечтать о Татьяне, о ее красоте, о том, как странно прервался их роман, о том, как это горько и оскорбительно, что прервался роман, или, лучше сказать, так «подло» возник: можно было скрытно любить друг друга платонической любовью, хотя естественные науки и против этого, а когда Иван Федотыч умер бы — обвенчаться и жить законным браком.

Но как ни безотрадны были эти мысли, Николай понимал, что не от них ему так нестерпимо грустно. Из-за них сквозило что-то иное, не в пример более значительное и тоскливое. Это значительное подымалось из глубины его души, как подымается вода в половодье, мешало ему долго останавливаться на одном, точно понуждало, чтобы он поскорее отставал от тех мыслей, которыми был занят, чтобы не очень волновался ими, потому что на очереди есть что-то очень серьезное, о чем предстоит пристально подумать. О чем же? О том ли, что нужно прочитать вот это и еще вот это и нужно потолковать с Косьмой Васильичем о таких-то вопросах? О том ли, каким способом покинуть Гарденино, подготовиться в университет, научиться писать книжки, вроде как Омурлевский или Холодов. О том, наконец, в какую нужду и горе ввергнут народ и какая предстоит благородная задача помочь ему, осчастливить его, устроить Россию по последнему слову науки? И Николай обо всем этом пробовал размышлять и прислушивался внутри себя, и какой-то внутренний голос подсказывал ему, что он опять размышляет не о самом важном, потому что с некоторых пор это перестало быть самым важным в его жизни. И вдруг он вспомнил странно багровый закат в степи, унылую, выжженную солнцем равнину, женщину в черном, торопливо шагающую вдаль... И как только вспомнил, тотчас же понял, что это-то и есть самое серьезное и что оно совсем недавно возникло в нем и вот требует к себе внимания. В первый же раз представилось ему, что не всегда будет, как теперь, что может умереть отец, что легко и неожиданно умрут люди, о которых он привык думать, что они никогда не умрут, что, наконец, и сам он перестанет думать, чувствовать, двигаться, будет лежать в могиле и гнить. Мысли старые как мир; но Николай в первый еще раз подумал об этом, — не внешним образом, как ему и прежде случалось думать,

а всем своим существом, потому что назрел в нем тот ряд впечатлений и влияний, который, как почва для растения, необходим для старых как мир мыслей о жизни и смерти. Было похоже на то, если бы горел огонь позади стеклянной призмы и все, что освещалось этим огнем, переливало бы фантастическими красками и очертаниями, и вдруг унесли бы призму... В душе Николая совершалась именно такая перемена того, чем освещается жизнь,— перемена сознания. Полог не весь был отдернут, отворотился только край полога, юность еще не кончила свою игру, не закрыла свои чем-то сказочным дразнящие перспективы, но за всем этим уже вставало что-то суровое, внушающее заботы и беспокойство, внушающее глубокую грусть.

Просидевши у окна до того времени, когда часы зашипели, закуковали и пробили полночь, Николай уже хотел было ложиться спать, как услышал, что к едва уловимому равномерному скрипу телег присоединился новый звук: будто во весь дух мчалась лошадь по твердой дороге. Николай высунулся в окно, прислушался... звонкий топот приближался к усадьбе. У Николая так и упало сердце. «Непременно что-нибудь случилось,— подумал он,— скажут на барской лошади». Немного спустя из-за угла конюшни стремительно вылетело что-то черное, раздался удушливый лошадиный храп. У самого окна кто-то проворно соскочил с седла, подбежал к Николаю и выговорил возбужденным голосом:

— Это ты, Миколай?

Николай узнал Ларьку.

— Что случилось? — спросил он.

— Беда! Буди отца... Агафокла убили.

— Как убили? Кто? За что?

— Убили... Гоню я табун мимо Пьяного лога, а уж темно. Слышу, будто лошадь ржет. Я туда... Агафоклова пегашка стоит. По ногам спутана, морда прикручена к оглобле. Гляжу, у заднего колеса чернеется что-то. Я к колесу... глядь — Агафокл Иваныч. Уткнулся лицом в землю, за ноги вожжами привязан. Кричу: Агафокл Иваныч! Агафокл Иваныч!.. Молчит. Испужался я — страсть! Бросил табун, на хутор. Взяли фонарь, запрягли телегу, глядим — зарезан! Глотка перехвачена — ужасно посмотреть, брюхо распорото, кровяца так и стоит лужей. Щеки, щеки, Миколушка... — Ларька всхлипнул, — все щеки, злодей, ножом исковырял. Нет лица.

— Господи!.. За что же? — пролепетал Николай, не попадая зуб на зуб: его била лихорадка.

— Не придумаем. Нешто из-за денег? Барские деньги покойник при себе держал. Но поношаться-то, поношаться-то зачем?

— А деньги пропали?

— Бог его знает. Мы и не дотрогивались. Буди отца скорей!

Николай разбудил Мартина Лукьяныча, зажгли огонь. Ларька был позван в комнаты для допроса, полусонная кухарка побежала за Капитоном Аверьянычем, — во всех важных случаях управитель непременно совещался с конюшим. Скоро на конном дворе замелькали фонари, кучер Захар запрягал управительскую тройку, встревоженные люди сходились со всех сторон. Фелицата Никаноровна прислала девчонку Агашку узнать, что случилось; нарочный бежал в деревню с приказом старосте тотчас же нарядить понятых. Мартин Лукьяныч, не дожидаясь рассвета, покотился к становому. В застольную собрались конюха, наездники, кучера — все, кто только узнал о страшном деле и кому можно было отлучиться хоть на полчаса. В окнах там и сям засветились огни. Никому не хотелось спать, и всем хотелось побыть на народе. Самым степенным, самым самостоятельным людям было не по себе, было жутко. Николай тоже сидел в застольной. Он смотрел на возбужденно, беспрестанно подергивающееся лицо Ларьки, в десятый раз рассказывавшего о том, как он натолкнулся на Агафокла; смотрел, как на белых стенах прихотливо двига-

лись вскосмаченные головы, нелепо огромные тени, слушал неопишуемые подробности истязания, которому подвергся несчастный Агафокл, и дрожал с головы до ног. Он никак не мог привыкнуть к тому, что человек, с которым он так недавно говорил и пил чай, лежит теперь в степи и его нужно караулить, потому что он — *мертвое тело*.

В то время, когда Ларька в одиннадцатый раз рассказывал об убийстве и с новою, только что выдуманною им подробностью, что, когда он подошел к Агафоклу, вдруг что-то взвизгнуло около тела и клубком покатилося в степь,— фантазия, впоследствии не дешево стоившая Ларьке, но зато теперь несказанно усугубившая жуткое настроение слушателей,— в это время вошел в застольную в одном белье, в своем долгополом камлотовом пальто внакидку Агей Данилыч. Вид его был угрюм более обыкновенного. Не проронив ни слова, выслушал он рассказ, неприятно поморщился и ушел; затем опять воротился и еще послушал, что говорили об убийстве. Наконец не выдержал, презрительно фыркнул и произнес своим пискливым, на этот раз точно сдавленным голосом:

— Неужество-с!.. Все, сударь мой, поколеем. Что же касательно зверства — каждый суть отменный людоед и зверь-с. Глупости! — и, не давши себе труда выслушать дружно поднявшийся ропот, сердито хлопнул дверь и ушел.

Николай позвал к себе спать Федотку,— одному было страшно спать. Когда они вышли из застольной, небо на востоке уже белело. Огонь светился только в застольной да в комнатке Агея Данилыча. Проходя мимо последней, Николай заглянул в окно: на тускло освещенных стеклах, завешенных изнутри зеленой тафтой, как-то странно металась угловатая тень конторщика. Что он делал, нельзя было разобрать, да притом Николай, чрезмерно поглощенный другим, и не подумал полюбопытствовать, что он делает; но Федотка не утерпел, приложил ухо к маленькой скважине в раме, расслышал, что Агей Данилыч неровными шагами бегаёт по комнате и шипит кому-то:

— Дурачье-с!.. Идиоты-с!.. Прозябать не сведущи, как предписано тварям, а издыхать боятся!.. Врешь, сударь мой, Агей Дымкин не побойтся. Изрядно готов! С отменным усердием готов околеть-с!.. Ты думаешь, унижу себя, взмолюсь? Никак, сударь мой, никак не взмолюсь! Ошибаешься!.. Ничего, ничего-с... Нарочито станем противоборствовать!

Иногда тень пропадала, слышно было, как что-то тяжелое падало на скрипящую кровать, слышно было порывистое, торопливое дыхание, затем раздавался шорох, будто изо всей силы растирали суконкой или щеткой, и опять вырывалось полузадушенное шипение: «Оши-ба-а-еешься, государь мой... не... испугаюсь! Нарочито... нарочито отвергаю!.. А! Неужественные твари сколь запуганы выдумкой!»

— Миколай, чтой-то неладно с конторщиком,— прошептал Федотка,— чтой-то страшно!

— Брось, пойдем,— презрительно сказал Николай,— какого ему черта делается! — и добавил глухим голосом: — Человека убили, вот что страшно.

Не успел Николай заснуть,— так, по крайней мере, ему показалось,— как он почувствовал, что его будят. Он с усилием продрал заклеившиеся глаза, увидел, что еще очень рано, и только что хотел выругать того, кто будил, как рассмотрел, что над ним наклонилась Фелицата Никаноровна и что-то говорит ему.

— Что такое, что такое? — забормотал он, вскакивая с постели и с испугом глядявываясь в осунувшееся, измученное лицо экономки.

— Вставай, Ни́колушка... Дай ключи от лекарства. Где ключи?

— Как, что? Зачем, Фелицата Никаноровна?

— Скорей, голубчик, Данилыч захворал.

— Господи боже мой! Что с ним, Фелицата Никаноровна?

Фелицата Никаноровна хотела ответить, но вместо того губы ее жалобно сморщились и из выцветших глубоко впалых глаз так и брызнули мелкие слезинки. Она отвернулась и проворно утерлась свернутым в комочек платком. Николай, уже ни о чем не спрашивая, бросился к шкафу и отомкнул его. Фелицата Никаноровна трясущимися руками набрала пузырьков, скляночек, бутылок и побежала. Николай торопливо оделся, хотел бежать вслед за нею, но вдруг подумал, что теперь все равно, что для всех, очевидно, наступает один конец, и вместо того, чтобы бежать за Фелицатой Никаноровной, склонился отяжелевшей головой на подушки и крепко заснул.

Все произошло таким образом. На восходе солнца жена конюха Полуекта, Лукьяниха, проснулась и услышала через перегородку те же странные звуки, те же бессвязные и нетвердые шаги и полузадушенное шипение в комнате Агея Данилыча, которые так поразили Федотку. Лукьяниха встревожилась, постучала в перегородку, спросила, здоров ли Агей Данилыч. В ответ послышался глухой, точно из подземелья выходящий голос: «Око-ле-вать надо-с!» Лукьяниха бросилась к дверям Агея Данилыча, — ей еще и в голову не приходило, что это холера. Двери были заперты изнутри. «Отворите, Агей Данилыч, это я!» — крикнула она. Долго продолжалось молчание; наконец что-то болезненно простонало, и тот же странно беззвучный голос, нимало не похожий на раздражительно-отчетливый писк Агея Данилыча, произнес: «Холера, холера-с... Непристойно видеть женскому полу». Лукьяниха так и отшатнулась от дверей. Опомнившись, она растолкала своих ребятишек, девок-сестер, старуху тетку, свекровь. Все страшно перепугались видом Лукьянихи и тем, что у конторщика холера; засуетились, заспешили, натянулись спросонья на стены, на столы, на скамейки, стали метаться по избе, схватывая одежду, постели, самовар, посуду, и с руками, полными всякого хлама, в одних рубашках, растрепанные, лохматые, с тем диким и несознающим выражением в глазах, которое бывает у не совсем еще проснувшихся людей, высыпали на двор. В это самое время из управительского флигеля вышел Федотка, поспешая к своей должности. Узнав от испуганных и решительно ошалелых женщин, в чем дело, и тотчас же заразившись от них неописанным страхом, он побежал к Капитону Аверьянычу.

Спустя десять минут тот же Федотка, засучив по локоть рукава, изо всех сил растирал Агея Данилыча щетками; сестры Лукьянихи лили кипяток в бутылки, подмывали загаженный пол; сама Лукьяниха готовила горчичники, беспрестанно отрываясь, чтобы поднести чашку с водою к запекшимся, вдавленным, выпускающим холодное дыхание губам больного. А Капитон Аверьяныч сидел у изголовья, опираясь на свой суковатый костыль, и, мрачно сдвинувши брови, говорил притворно-насмешливым голосом:

— Что, фармазон, попался? Катай, катай его, Федотка!.. По животу-то!.. Икры, икры-то ловчей раздельвай. Девки, кипяток проворнее... Это тебе, афеисту, не зубы скалить!

Вид Агея Данилыча был ужасен. Когда мучительные судороги отпускали его и лицо переставало искажаться ощущением нестерпимой боли, он становился похожим на труп. Большой нос заострился, как у птицы; щеки и тусклые, без всякого выражения, глаза глубоко ввалились, вокруг глазниц образовались серые впадины; около рта и на переносице лежали нераздвигающиеся, мертвенные складки, и — что всего было ужаснее — губы, уши, веки, пальцы на руках так изменили свой цвет, что казались окрашенными в густую черносинюю краску. Федотка растирал его с таким усердием, что кожа лопалась, и у здорового человека давно бы уж появилась кровь, но здесь на поверхности ссадин ничего не сочилась, и они оставались сухими, как на коже трупа; едва заметная краснота тотчас же переходила в пепельный цвет. Тем не менее сознание не потухало. На слова Капитона Аверьяныча долго спустя последовал шипящий шепот: «Изрядно прожил, сударь мой». После этого Агей Данилыч еще

что-то сказал, но Капитон Аверьяныч не расслышал и наклонил ухо к самому лицу больного, чтобы лучше расслышать. Тогда Агей Данилыч сделал необыкновенное усилие. Мертвое, покрытое клейким потом лицо дрогнуло, губы шевельнулись, послышался деревянный, тупой, точно сломанный звук: «Невежество-с... Нарочито утверждаю, что ничего не будет-с... Баснями дурачитесь, сударь мой!» — и вслед за этими словами в его глазах мелькнуло что-то вроде прежнего язвительного выражения. Капитон Аверьяныч круто отвернулся, нервно скрипнул зубами и изменившимся, жалобно зазвеневшим голосом крикнул:

— Лукьяниха, проворней клади горчичники!

Тело больного заметно холодело, пульс ослабевал, черты лица все более и более распадалась. Он лежал как пласт, устремив глаза куда-то в пространство. Из его губ вырывалось теперь только одно слово: «Пить, пить...» Одно время Капитон Аверьяныч увидал, что глаза его совсем смежаются, схватил его за руки и не ощутил пульса, и только что хотел сказать: «Помер», как вдруг веки Агея Данилыча приподнялись, в глазах пробежало что-то живое и одинокая слезинка повисла на реснице. «Фе... Фе... Фелицатушка», — произнес он с неожиданною ясностью. Капитон Аверьяныч оглянулся: в дверях с пузырьками, со сткляночками в руках стояла Фелицата Никаноровна. Она смотрела на Агея Данилыча; ее крошечное личико, покрытое бесчисленными морщинками, смешно и жалко собралось в кулачок, увядшие губы затряслись. Еще мгновение, и она, казалось, вся превратится в живое олицетворение отчаяния. Но каким-то непонятым усилием воли она точно озарилась ласковым и нежною улыбкой, с заботливым видом подошла к столу, выложила пузырьки и бутылки и затем уже опустилась на колени, стала гладить холодные руки Агея Данилыча, целовать его ужасное лицо. К лекарствам никто не дотронулся; перестали растирать, ставить горчичники, класть горячие бутылки; все понимали, что сейчас наступит смерть.

— Старый бесстыдник, — притворно-ворчливым голосом говорила Фелицата Никаноровна, — можно ли так скрываться?.. Ведь тебя с самого вечера схватило... Как жил сиротою, так и помирать собрался сиротою... — И вдруг сухие рыдания вырвались у ней.

В глазах больного опять что-то засветилось, другая слезинка показалась на реснице, он пошевелил губами. Фелицата Никаноровна жадно вслушивалась.

— Не слышу, Агеюшко. Скажи еще... что? — спросила она.

— Пи-ить... — произнес Агей Данилыч, — душно... горит...

Ему дали воды.

— Агеюшко! Голубчик ты мой ненаглядный, — заговорила Фелицата Никаноровна, с робкою и молящею нежностью заглядывая ему в глаза, — послушай меня, старуху. Ради прежнего времечка, послушай. Слышишь, родненький?.. Вот отец Григорий сейчас приедет... прими ты его... отойди с благодарью!.. Здесь не привелось, пошлет господь милостивый, там встретимся... А, Агеюшко?

Опять шевельнулись губы «афеиста». Но никто не расслышал его слов. И он понял это, задвигал пальцами, провел ими по руке Фелицаты Никаноровны, как будто хотел погладить, и внятно, так что на этот раз все слышали, произнес: «Отчет-с... июльский отчет проверить... в балансе изрядная... ошибка!.. — и с необыкновенным выражением тоски добавил: — Пить...» Но когда поднесли воду, губы его не раскрылись; лицо исказилось мелкими судорогами, дрогнули руки, быстро согнулось колено на правой ноге, взгляд сделался стеклянным... Все разом вздохнули и перекрестились.

Дело об убийстве Агафокла велось с удивительною решительностью. На другой день после убийства уже вскрыли «мертвое тело», и становой Фома Фомич допросил конюхов. Ларька сгоряча и ему показал, что около убитого

что-то взвизгнуло и покатилося в степь. Потом струсил и сказал, что это он выдумал. Фоме Фомичу представилось подозрительным такое поведение Ларьки; он затопал на него, закричал, ударил кулаком по щеке и приказал заковать и отвезти в стан. Тем не менее являлась загадочная черта в убийстве: в одежде Агафокла барских денег нашлось именно столько, сколько и должно было быть: сорок два рубля с мелочью. Кроме того, в особом пакетце оказались завернутыми новый огненно-желтого цвета платок — очевидно, приготовленный покойником для подарка — и две ветхие трехрублевые бумажки. Таким образом, убийство было совершено не с целью отнять деньги.

Ларька сидел не более двух дней, на третий день его выпустили. На пятый день Фома Фомич прислал с десятским письмецо Мартину Лукьянычу, в котором извещал, что предварительное дознание закончено и препровождается к судебному следователю, что пусть Мартин Лукьяныч пришлет получить деньги и выдать расписку.

— Что же, убийца-то найден? — спросил Мартин Лукьяныч десятского.

— Надо быть, найден, ваше благородие, — ответил десятский, учащенно моргая и вытягиваясь; это был плюгавенький мужичок в сером армяке и в лаптишках, с выражением необыкновенной тупости и испуга на лице.

— Кто же такой?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как же ты не знаешь? Какой же ты десятский после этого?

— Мы состоим при их благородии.

— Что же ты делаешь?

— Сапожки чистим, самовары, в кучерах-с, барышням щипцы накаливаем.

Мартин Лукьяныч обратился к Николаю.

— Шесть дочерей у Фомы Фомича, — пояснил он.

Десятский вздохнул.

Мартин Лукьяныч отослал его и стал дочитывать письмо; в конце было следующее загадочное место: «...Из дела выяснилось, добрейший, что, перед тем как выехать в степь, оный Агафокл Иваныч пил чай и имел разговор с вашим сыном. Для вящего дознания надо было бы по-настоящему привлечь к оной процедуре и сына вашего в качестве чрезмерно важного свидетеля, но г-н становой пристав, памятуя вашу всегдашнюю благосклонность, сего избег и даже строжайше приказали другим свидетелям молчать, а потому надеются, что и вы, достойнейший, поспешите с своей стороны немедля прислать для получения денег и на предмет выдачи г-ну становому приставу узаконенной расписки». Впрочем, для Мартина Лукьяныча тут ничего не было загадочного; прочитавши вслух это место, он шумно вздохнул, поскреб затылок, прошептал: «Ах, народец, черт бы вас подрал!» — и сказал Николаю:

— Напишу тебе доверенность, съезди к становому. Кстати, узнаешь, кто убийца: я уверен, покойник из-за баб пострадал, — и с грустью добавил: — Вот ты все не чувствуешь, Никóля: через тебя приходится сорок два целковых в печку бросить... А почему? Потому, что ты мой сын. Ты там с Агафоклом какие-то разговоры разговаривал, а я плати.

— Но зачем же, папенька, платить? Сам же он пишет, чтобы прислать за деньгами.

— Мало ли что он пишет! Да, во-первых, и не сам, разве не видишь? Не его рука, и не подписано... Не беспокойся, не дурак. Прямо, чтобы тебя не допрашивать, желает прикарманить сорок два рубля. Известная анафема.

Николай возмутился.

— Ну, я, папаша, не понимаю, зачем поощрять такие подлости, — воскликнул он, — мне ничего не стоит фигурировать в качестве свидетеля! Неужели из-за этого покровительствовать разным гадким инстинктам и давать

взятки? Достаточно ему того, что об Рождестве два воза с провизией отсылаете.

— То-то ты много воображаешь о себе. Еще бы недоставало — сын гарденинского управляющего и вдруг на допросе! Тебе это, может, все равно, а мне не все равно. Ты, брат, глуп, а туда же лезешь рассуждать. Выдай расписку, денег же никаких не бери. Скажи: папаша, мол, приказал кланяться и нижайше благодарит. Да будь у меня повежливей... Слышишь? Ступай.

Это было утром. Николай очень скоро доехал на своем Казачке до базарного села Х., где имел резиденцию Фома Фомич. Первый попавшийся мужик указал Николаю домик станového. Николай не только не знал его квартиры, но ему не случилось видеть и самого Фому Фомича: становой заезжал в Гарденино весьма редко, а за последний год ни разу не заезжал. Приблизившись к дому, Николай увидал, что в пять или шесть окон, выходящих на улицу, разом высунулись и с дружным взвизгиванием опять исчезли молодые девицы. Все были прехорошенькие, пухленькие, розовенькие, в папилютках и белых ночных кофточках, — только одна в чем-то темненьком. Несмотря на новые серьезные мысли и впечатления, Николай приосанился, погладил усики, искоса посмотрел на окна: из-за кисейных занавесок, из-за горшков с геранью и восковым плющом светились смеющиеся, жадно любопытствующие глаза. Николай привязал лошадей, вошел в чистенькую, недавно выкрашенную переднюю и громко спросил:

— Дома господин становой пристав?

За дверями послышался шум, точно от бесчисленного множества накрахмаленных юбок, затем какая-то возня, взвизги, задушаемый смех, шепот; наконец дверь быстро распахнулась, и на пороге в светленькое, тоже недавно выкрашенное зальце появилась густо-румяная, хорошенькая девушка, с бойкими серыми глазками, с толстою светло-русою косою ниже пояса, в коричневом платице и в черном передничке.

— Вам отца нужно? Он в кабинете, — сказала она, стараясь быть серьезной.

Где-то послышался топот множества ног, звонкий хохот. Девушка нахмурилась, прикусила губы и строго взглянула на Николая. Николай сделался малиновым.

— Точно так-с, — сказал он, — я сын гарденинского управляющего... Рахманный-с.

— Вера Турчанинова, — выговорила она с необыкновенною серьезностью и крепко, по-мужски, потрясла Николаю руку. — Идите, я провожу вас.

«Какая прелестная особа!» — думал Николай, следуя за Верой и с восхищением всматриваясь, как грациозно колеблется ее тонкий стан, как густая коса красиво оттеняет беленькую, точно выточенную шейку. Фома Фомич был еще в халате. Он сидел в глубоком кресле перед столом, прихлебывал чай, курил из длиннейшего чубука трубку и внимательно просматривал какие-то бумаги. Это был тучный, большого роста человек, на взгляд лет пятидесяти, с серыми коками и приглаженными височками на круглой огромной голове, с расплывшимся геморроидального цвета лицом, с живыми, пронизательными глазами.

— Мосье Рахманный, — объявила Вера, вводя Николая в кабинет.

Фома Фомич сделал вид, что чрезвычайно обрадовался; потом сделал вид, что вот сейчас вскочит с места, бросит трубку и обеими руками потрясет руку Николая; но ничего этого, однако, не произошло, и он ограничился тем, что сказал:

— Приятно, приятно, добрейший. С вашим родителем вот уже лет двадцать знаемся. Хотя и редко вижу, но без лести скажу: достойнейший человек. Прошу покорно, — и он сделал вид, что подвигает стул для Николая. — Веруся, пришли нам чаю. Вот рекомендую: гимназистка, сорвиголова и либералка.

— Ну, уж никак не либералка,— поспешно воскликнула Вера.— Кто же нынче либерал из порядочных людей?

Николай как только увидал Фому Фомича и особенно его радость и радушие, так сразу же и расстался с тем представлением о грязном и грубом взяточнике, которое составил прежде. Он сразу почувствовал, что ему в высшей степени приятно и легко в присутствии этого благодушного толстяка, и с удовольствием подумал: как это хорошо, что у такой прелестной девушки такой, по-видимому, беззаветный добряк отец. И захотел показать, что он отлично понимает, о чем говорит Вера, что он не купчик какой-нибудь, не истукан,— и торопливо вставил, обращаясь к Вере:

— Вы, по всей видимости, радикалка-с? Собственно говоря, буржуазные идеалы действительно пахнут большою отсталостью. Последнее слово науки — социализм, я полагаю... Это уж доказано-с.

— Смешно спорить! — заявила Веруся, раздувая ноздрями.— Конечно, уж абсолютно доказано, что либералы первые враги народа. Июльская революция? Кавеньяк? Я удивляюсь, как ты, папá, до сих пор не хочешь этого понять,— и она величественно вздернула головку и вышла.

Как только затворилась за ней дверь, Фома Фомич комически развел руками и так и закатился мелким, рассыпчатым, неслышным смехом; его глазки совсем пропали в жирных складочках и морщинках, распахнутая, обросшая волосами грудь заколыхалась, точно кузнечный мех. Потом перестал смеяться и с видом бесконечнейшего благодушия воскликнул:

— Ах, молодежь, молодежь!.. Вы-то, добрейший, позвольте спросить, где получили образование?

— Я, собственно, много обязан Косье Васильичу Рукодеву-с,— скромно объяснил Николай и достал папирску.

— А! — На лице Фомы Фомича изобразилось глубочайшее уважение. Затем он сделал вид, что придвигает спички Николаю.

— Я у них частенько-таки бываю-с,— продолжал Николай,— эдакие, знаете, дружеские отношения, и притом можно встретить приятное общество. Например, Жеребцов, Исай Исаич, милейший господин, исправник Сергей Сергеич...

— Вот-с как, и Сергея Сергеича знавали! Представьте, исключен из списков. Действительно достойнейший, но вышел в тираж, исключен-с. Вчера в «Губернских ведомостях» напечатано.

— То есть как — в тираж?

— Очень просто, добрейший, очень просто,— помер. Холера. Ехал по делам службы, схватило — и готов.

— Ай, ай, ай! Так умер Сергей Сергеич... — Николай щелкнул языком и счел нужным слегка задуматься.

Фома Фомич сделал вид, что ему тоже грустно.

— Да-с,— сказал он.— Кай смертен, и все мы смертны... как, бишь? Нравоучительные времена!

Скрипнула дверь, вошла Веруся с чаем. Она с любопытством вскинула глаза на Николая и вспыхнула, сердито насупила брови, встретившись с его восхищенно-застенчивым взглядом. Он в несказанном смущении взял стакан из ее рук, расплескал его, уронил щипчики. Фома Фомич посасывал трубку и благодушно улыбался, а по уходе Веруси начал с необыкновенною подробностью расспрашивать Николая: сколько десятин земли у Гардениных и в каких местах, много ли они получают дохода со всех имений, велико ли жалованье Мартина Лукьяныча, получает ли он содержание, подарки и тому подобное. А когда обо всем расспросил, глубоко вздохнул, выпустил густое облако дыма и, как будто объятый внезапною меланхолией, сказал:

— Да, добрейший, вам с папашенькой не в пример лучше нашего брата. Ответственность, строгость, неусыпные труды, а велико ли жалованье, спрошу

вас? Вот Верусю в гимназию определил, развивается, преуспевает,— могли сами заметить,— но что это стоит? Там экипировка, там книжки, квартира, там удовольствие какое-нибудь, театр, конфетки. Нельзя же!

— О, разумеется, нельзя! — с величайшею готовностью согласился Николай.

— Ась? А их еще у меня пять штук, добрейший. Покорно прошу тянуться! Положим, две в благородном институте на счет дворянства воспитываются... Но откуда взять? — Фома Фомич вздохнул еще глубже и проницательно посмотрел на Николая. Тот сидел как на иголках; ему так и хотелось крикнуть: «Фома Фомич! Папенька приказали денег от вас не брать», — но он не смел этого сделать, боясь оскорбить Фому Фомича, и только тайне наслаждался возможностью оставить деньги в распоряжении отца Веруси, наслаждаясь мыслью, что, может быть, именно эти сорок два рубля пойдут на удовольствие «прелестной девушки». Фома Фомич помолчал, достал ключик, медлительно отомкнул стол и, вынимая оттуда пачку кредиток, с грустью и с официальным выражением спросил:

— Вы уполномочены получить, молодой человек?

— Никак нет-с, — быстро выговорил Николай, — папаша приказали кланяться и благодарить. Позвольте написать расписку.

Фома Фомич бросил назад деньги, проворно повернул ключ и с повеселевшим лицом подвинул Николаю четвертушку бумаги. «Отсюда, добрейший, — говорил он, указывая жирным пальцем, где писать, — такого-то года, месяца и числа... Передайте папашеньке — очень чувствую. «По доверенности родителя моего, мценского мещанина...» Дело пустяковое, но во всяком случае очень неприятное. «Мценского мещанина Мартина Лукьянова Рахманного...» Другой бы и с той и с этой стороны придрался, но я, добрейший, не из таких... Ну, теперь пишите...»

Николай написал расписку и, не поднимая глаз на Фому Фомича, сказал:

— Какое ужасное происшествие, Фома Фомич! Но кто же убийца, позвольте узнать?

— Ась? Вожусь теперь с одним мерзавцем. Отпирается, прикинулся дурачком, но, надеюсь, не на того напал. А позвольте, добрейший, полюбопытствовать, так, между нами, — вы там слышите, наблюдаете, эдак в разговоре как-нибудь, — не имеете подозрения на кого-нибудь?

— Нет, Фома Фомич, решительно не догадываюсь.

— Гм... конечно, конечно, трудно догадаться. Ну, а позвольте полюбопытствовать, так, между нами, какой вы имели разговор с Агафоклом? Не высказывал ли он, что замышляют на его жизнь?

В голосе и в обращении Фомы Фомича Николаю почудилась какая-то неприятная перемена, тем не менее он рассказал, что знал. Тогда Фома Фомич спросил, почему Агафокла Иванова звали «Ерником» и с какими именно бабами он водился, Николай и на это дал подробные объяснения.

— Гм... Вам желательно знать, кто обвиняется в убийстве? — Фома Фомич заглянул одним глазом в развернутые перед ним бумаги. — Государственный крестьянин села Боровой, Кирила Ферапонтов Косых.

Николай так и привскочил на месте. «Кирюшка!» — крикнул он. Фома Фомич круто повернулся в своем глубоком кресле и пристальными, острыми, внезапно потерявшими добродушное выражение глазами взглянул на Николая.

— Знаете, — сказал он. — Позвольте полюбопытствовать, добрейший!

— Но он уже уличен, Фома Фомич? — спросил Николай, начиная испытывать какую-то робость в присутствии Фомы Фомича.

— Ась? Вполне. Расскажите-ка, достойнейший!

Николай рассказал, как Кирюшка ни с того ни с сего угрожал Агафоклу, и вообще постарался описать свое странное, врезавшееся ему в память впечат-

ление от Кирюшкиных слов и от выражения его глаз и лица. Фома Фомич о чем-то подумал, побарабанил пальцами.

— Ну, добрейший...— начал было он и вдруг спросил: — А не случилось ли вам эдак приметить, чтоб Агафокл Иванов о вере толковал... ну, о разных там божественных предметах? Не случалось встречать у него — тоже из боровских однодворцев — Арефия Сукновала?

— Никак нет-с,— с внутренним трепетом солгал Николай и подумал, что правдоподобно будет спросить: «А из каких он?» — и спросил.

— Ась? Из однодворцев, добрейший, из однодворцев,— сухо ответствовал Фома Фомич и, приподнявши свое грузное тело, бесцеремонно скинул халат и начал облекаться в затасканный вицмундир.

Николай все более и более робел, нетерпеливо вертелся на месте и наконец встал.

— Позвольте проститься, Фома Фомич,— сказал он.

— Ась? Извольте подождать: имею маленькое дельце. Так вы говорите, что друзья с достойнейшим Косьмою Васильичем?

— Точно так-с,— смущенно пролепетал Николай.

В это время дверь с шумом растворилась, и на пороге показалась хорошенькая девица в кисейном платье с небесно-голубыми лентами и бантиком. Ее личико было возбуждено.

— Что же это такое, папá, мимо нас опять гроб несут! — крикнула она и, мельком взглянув на Николая, скрылась.

— Десяткой! — закричал Фома Фомич.

Моментально явился тот же плюгавенький мужичок, который привозил письмо в Гарденино.

— Сколько мне говорить, чтоб не смели носить покойников мимо дома! — сказал Фома Фомич и с особенным выражением добавил: — Смотри у меня, добрейший...

Мужичок побледнел, торопливо заморгал испуганными глазами и опрометью бросился от дверей.

— Прощу покорно,— проворчал Фома Фомич, повязывая галстук,— барышни приехали на каникулы, отдыхают, просят развлечений, а тут, не угодно ли, удовольствие: покойников на глазах таскают! Еще глупые эти перезвоны запретил.

— Ужасное бедствие! — сказал Николай.

— Ась?

— Ужасное бедствие-с,— повторил Николай громче.

— Подайте-ка, добрейший, вон платочек валяется. Вон, вон, на столе-то... Да-с, а каково, спрошу, нашему брату? С кого, позвольте спросить, взыскивать недоимки?

Дверь опять отворилась, и вкрадчивый голос позвал:

— Подите сюда, папаша...

Фома Фомич беспрекословно вышел из кабинета. Николай тоскливо поглядывал по сторонам. С тех пор как Фома Фомич приказал ему остаться, невежливо заставил повторить два раза одни и те же слова и особенно подать отвратительный, засморканный платок, Николай окончательно почувствовал к нему страх и теперь только о том и думал, как бы поскорее уехать.

Но Фома Фомич возвратился опять с прежним выражением несказанного благодушия; он смеялся своим беззвучным смехом и весело смотрел на Николая.

— Девчонки просят, чтоб вас обедать оставить, добрейший,— сказал он.

— Я с удовольствием,— пробормотал Николай,— но у нас жнитво.

— Ась? — переспросил Фома Фомич, внезапно переставая смеяться.

— У нас жнитво-с...

— Конечно, конечно... Ничего, пообедаете! Ну, а теперь прошу на минутку в канцелярию.

Николай не осмелился возразить, хотя при слове «канцелярия» даже изменился в лице, и покорно последовал за Фомой Фомичем.

Канцелярия помещалась довольно далеко. С широкой безлюдной площади, где по воскресеньям собирался базар, а теперь рылись куры в кучах навоза и уныло бродили собаки, нужно было свернуть в узенький кривой переулочек, миновать никогда не просыхающую лужу и с десятков хилых, закоптелых избушек с подслеповатыми оконцами. Вошли в большие прохладные сени; направо виднелась захватанная, обшитая грязною, измочаленною рогожей дверь в канцелярию, налево — в избу. Переступив порог, Николай невольно схватился за нос: в сенях отвратительно воняло. Запах исходил из крошечного чулана в дальнем углу сеней. Около узенькой замкнутой двери этого чулана сидели два мужика с дубинками. Когда показался Фома Фомич, они вскочили и сняли шапки.

— Просил пить? — осведомился Фома Фомич.

— Не спрашивал, ваше благородие.

Фома Фомич побагровел.

— Ась? — крикнул он. — Как не спрашивал? Сколько селедок давали?

— Пять штук сожрал, ваше благородие. Нам самим в диковину, с чего не просит.

Странный шум поднялся в чулане; зазвенело железо, кто-то завозился, застучал в тонкую перегородку, закричал хриплым, надорванным голосом: «Изжену!.. Изжену!.. Изжену!..»

Один из мужиков улыбнулся. «Ночью эдак раз десяток принимался орать, ваше благородие», — сказал он. «Я его поору, мерзавца!» — проворчал Фома Фомич и вошел в канцелярию. Николай решительно не понимал, зачем тому, кто сидит там, давали так много селедок, почему рассердился Фома Фомич, что тот не просил пить, но он не осмеливался спросить об этом, потому что теперь уже положительно трепетал перед Фомой Фомичом, начинал считать самого себя каким-то подсудимым. Кроме того, дикий крик из чулана до боли стеснил ему сердце, как-то сразу отбил всякую охоту соображать, любопытствовать и думать; из всех душевных способностей у него, казалось, сохранилась только одна: покоряться, делать то, что укажет страшный Фома Фомич.

В огромной комнате, пропитанной запахом махорки и овчин и затхлостью старых бумаг, с облупленными стенами, с заплыванным и засоренным полом, с бесчисленными циркулярами в черных, засиженных мухами рамах, с пыльными шкапами, сидел за столом благообразный старичок в очках и что-то поспешно строчил. При входе Фомы Фомича он встал, заложил перо за ухо и низко поклонился, потирая руки.

— Распорядись-ка, Орестыч, — сказал Фома Фомич, помещаясь около стола на просиженное, обтертое до глянца кресло, и небрежно кинул в сторону Николая: — Садитесь, добрейший.

Старичок высунулся в дверь, что-то приказал, — тотчас же явился здоровый малый в красной рубахе с черною как смоль бородой, с медно-красным лицом. Он подал Фоме Фомичу раскуренную длинную трубку, поставил на стол стакан чаю, ухмыльнулся в виде приветствия и отошел к дверям. «Это непременно палач», — подумал Николай, съезживаясь на стуле. Фома Фомич затянулся, прихлебнул, расстегнул жилетку, распустил галстук и сказал старичку:

— Прошу покорно: мерзавец-то ни разу не спрашивал воды!

Старичок пожал плечами.

— Закаменелый! — проговорил он.

— Гм... Эти подлецы не давали ему потихоньку? Архипка! Ты надсматривал за караульными?

«Палач» усмехнулся во весь рот.

— Никак того не могли,— сказал он,— ключ-то, чай, у меня.

— Никак не могли, Фома Фомич,— повторил старичок,— ключ у него.

Фома Фомич задумчиво побарабанил пальцами.

— Ужель отсылать? — сказал он.

— Можно еще попробовать... — пробормотал старичок.

— Ась? Смех сказать: рубаха в крови, коса в крови, где находился — не может объяснить, и вдруг не сознается, каналья! — сказал Фома Фомич, раздражительно взглянув на Николая.— По-прежнему куда такого мерзавца, ась?.. По-прежнему,— без всяких разговоров — в каторгу! Социализмы да либерализмы, психозы да неврозы... Ась?.. Книжки, книжки... книжками стали жить, ум потеряли... ась?

Николай смущенно перебирал пересмякшими губами.

— Фома Фомич,— кротко выговорил старичок,— осмелюсь доложить: господин судебный следователь все равно не удовлетворятся дознанием.

Фома Фомич пришел в еще большее раздражение.

— Кому ты говоришь! — крикнул он.— Разве я его не знаю? Оттого и добиваюсь, что тогда трудней ему будет верхолетничать. Пускай-ко он поверхолетничает, будь в деле полное сознание.

— Это хоть так,— согласился старичок и вдруг расцвел улыбкой и сказал: — А не посечь ли соленьким-с?

Фома Фомич не ответил.

— Добрейший,— сказал он Николаю,— сядьте-ка вот эдак, лицом к двери... вот эдак.

Николай повиновался.

Старичок вопросительно посмотрел на Фому Фомича и обмакнул перо в чернильницу.

— Допросик? — сказал он.

— Не надо. Архипка, ну-ка, распорядись.

«Палач» юркнул в сени.

У Николая сперлось дыхание, дикая мысль пришла ему в голову: «Ну-ка выпорют?»

В сенях послышались голоса, шорох, торопливое лязганье железа, дверь в канцелярию широко распахнулась, и на пороге в сопровождении Архипки и двух караульных появился человек. Николай содрогнулся: это был Кирюшка, но в каком виде! Закованный по рукам и ногам, в изорванной рубахе с какими-то подозрительными пятнами, босой, он выступал, как-то выпячивая грудь, откинув голову, беспокойно перебегая воспаленными неестественно светлыми глазами. Лицо его было ужасно. Белое как снег, с глубоко ввалившимися щеками, оно беспрестанно подергивалось мелкими неприятными судорогами. Он как вошел, так тотчас же и закричал каким-то сухим, однообразно-скрипучим голосом: «Ликуй, серафимы!.. Ликуй, херувимы!.. Ликуй, господства!.. Изжену!.. Изжену!..»

«Господи, да разве же они не видят, что он больной!» — внутренне вскрикнул Николай. Но никто не считал Кирюшку больным. Как только он вошел и закричал нелепые слова, Фома Фомич сначала побагровел, затем потемнел, лицо его исказилось необыкновенной злобой.

— Узнаешь ты, такой-сякой, этого человека? — выговорил он глухим голосом, указывая Кирюшке на Николая.

Николай на мгновенье почувствовал на себе страшный взгляд Кирюшки.

— Он меня не узнает, Фома Фомич,— сказал он, привстав и тщательно усиливаясь сдерживать дрожание нижней челюсти.

— Ась? Не ваше дело. Расскажите-ка, как он при вас угрожал Агафоклу Иванову.

Николай, путаясь и сбиваясь, начал рассказывать. Становой впивался в лицо Кирюшки. Тот, очевидно, не слушал Николая; стоя среди избы, он

с неувовимою быстрою шевелил губами, что-то беззвучно шептал, поводил плечом, переступал с ноги на ногу, насколько позволяли кандалы. И лицо, и особенно тревожно бегающий взгляд его являли теперь вид какого-то мучительнейшего напряжения; он будто искал чего, будто усиливался вспомнить что-то и не мог. Николай кончил рассказывать, замолчал. Все ждали. Вдруг Фома Фомич изменился до неузнаваемости; с перекосившимся лицом он вскочил, подбежал к Кирюшке, затопал ногами, закричал яростным, визгливым голосом:

— Кого ты дурачишь, мерзавец?.. Ты убил, ты, ты!.. Запорю!.. Сгною!.. Вдребезги расшибу, рракалия!.. Сознавайся сейчас... сейчас!..

Кирюшка продолжал шевелить губами с тем же видом мучительного напряжения. Тогда Фома Фомич с размаху ударил его чубуком по лицу. «А!..» — жалобно крикнул Николай, срываясь с места, и в то же мгновение в глазах Кирюшки вспыхнул сосредоточенный блеск, окровавленное лицо осветилось каким-то восторженным испуганием. Он загремел цепями, высоко взметнул руки и с диким, пронзительно-звонящим ревом бросился на станového. Все смешалось. Архипка, старичок в очках, караульные со всех сторон навалились на Кирюшку, сшибли с ног, стали бить, душить его, тискать коленками. Пыль поднялась в канцелярии. «Веровок!» — хрипел чей-то свирепый голос. Николай опрометью выскочил на улицу.

Спотыкаясь, всхлипывая, ничего не видя вокруг себя, он подбежал к своей лошади и начал трясушимися руками отвязывать ее. И увидал, что у окна столпились хорошие девицы в пышных кисейных платьицах, с бантиками нежнейших цветов, все в кудряшках, точно херувимы. Они наперерыв высовывались в окно и, перебивая друг друга, нестерпимо звонко восклицали: «Мосье Рахманый! Мосье Рахманый!.. Куда же вы, мосье Рахманый?.. Обедать!.. Мы ждем вас обедать, мосье Рахманый!» Николай вложил ногу в стремя... и злоба, и стыд, и чувство неопишемого ужаса душили его, с ненавистью взглянул он на девиц и, сам не зная как, не отдавая себе отчета, что делает, заорал нелепым, не своим голосом: «Отстаньте вы от меня! наплевал бы я на ваш подлый обед!» — и что есть духу помчался из села.

Солнце палило нещадно. Ни малейшим движением не колебался горячий воздух. Был тот час июльского дня, когда в открытом поле невозможно найти сколько-нибудь прохладной тени. Под жгучими отвесными лучами неясно различались краски, очертания казались тусклыми. Степь, курганы, леса, нивы, деревни, барские усадьбы с своими садами и далеко белеющими постройками — все будто омертвело, от всего веяло унынием. Зной был разлит, как мутная вода на свеженаписанной картине, наводил линючие, однообразные, сухие тоны. Пахло гарью, пылью и спелым хлебом. Тишина стояла до странности глубокая, точно все способное издавать звуки оцепенело. Молчали куда-то попрытавшиеся птицы, не слышно было кузнечиков с их назойливым стрекотаньем, не шевелились сонные колосья. С поблекшими листьями, печальные, одинокие, недвижно поникли ракиты близ дороги.

По этой дороге, поскрипывая немазаными колесами, медленно тащилась телега. Вслед за нею, опустив голову на грудь, плелась баба в белом платке. Высокий, сгорбленный, седой как лунь старик с огромною лысиной дергал веревочными вожжами жалкую клячку, мерно выступал около переднего колеса и что-то без умолку говорил. Баба беспрестанно вытирала опухшие глаза, невнятно всхлипывала и причитала.

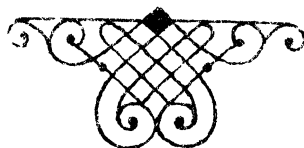
Николай давно ехал шагом. Увидав телегу, он свернул с дороги, покосился... в телеге лежало что-то длинное, с угловатыми очертаниями, накрытое полотном. Николай остановился, обнажил голову.

— Дедушка,— сказал он,— откуда везете?

— С гарденинской, родимый, с гарденинской,— ответил старик, не пово-

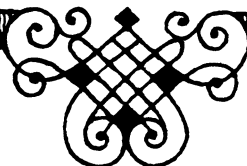
рачивая головы,— все на жнитве валит, все на жнитве... Н-но! Сердешная, но-о!..— и опять заговорил, обращаясь к бабе: — Так-то, касатка, так-тося... Значит, наказание господне... значит, претерпи... Чего тут?.. Э!.. Я сам старуху схоронил, а позавчѐра сын, болезная, сын богу душу отдал... Чего?.. Недосуг плакать-то, радельница... Смерть что солнце, сказывают, в глаза не взглянешь... Э! и не гляди, и пущай ее... Ничаво-о-о!.. Мы жнем, и смертушка, видно, жнет... чего тут?.. Божья нива, божья нива, касатка... видно, поспела, что наслал жнецов... Нича-а-во-о!.. Но!.. Н-но!.. Переводи ногами-то, дурочка, упирайся!

Николай стоял у дороги, забывая надеть картуз и не сводя глаз с печально поникших раки, вдоль бесконечного ряда которых медленно тащилась телега. Он прислушивался, как скрипели колеса, как убедительно-ласковым голосом говорил старик, как причитала и невнятно всхлипывала баба в белом платке,— звуки, странные в этой сосредоточенно-молчаливой равнине, под этим равнодушно-жестоким небом... И вдруг губы его сморщились, лицо исказилось жалкою гримасой... он закрылся руками и заревел, как маленький: «Уу... уу... уу!..»





ЧАСТЬ
ВТОРАЯ



Что случилось осенью и зимой в Гарденине и чем кончилось дело об Агафокле.— Новые песни и новые наряды.— Вечера в конторе.— Казус с приказчиком Елистратом.— Мартин Лукьяныч меняет мнение о некоторых людях.— Столичный человек, анекдоты и фортушка.— Чем занимался и в чем изменился Николай.— Поездка его в Воронеж.— Встреча с Верусей Турчаниновой.— Категорическое письмо.

В августе месяце холера стихла. Гарденинская усадьба заплатила ей дань только одним Агеем Данилычем, да в деревне прибрало семь душ. С сентября все дела приняли обычное течение, тревога мало-помалу улеглась, о холере стали говорить редко и равнодушно. Загудела молотилка в барской риге, застучали на гумнах цепи, начала собираться «улица», слышались песни, смех, шутки, все как прежде. Иван Федотыч перебрался в Боровую, жил на квартире у Арефия Сукновала и столярничал. Домик его за ненадобностью стоял заколоченный. Дело об убийстве Агафокла кончилось большими хлопотами для Фомы Фомича и даже в некотором роде переменою его судьбы. Ретивый судебный следователь «из университетских» обратил внимание на знаки жестоких побоев, оказавшиеся у Кирюшки, и возбудил новое дело. Дореформенной энергии Фомы Фомича противостала пореформенная энергия прокурорского надзора: «кляуза» вступила в борьбу с «веяниями». Пошли язвительные отношения и запросы, строжайшие предписания, освидетельствования, дознания со стороны прокурорского надзора и увертливые отписки, интимные ссылки на секретные обстоятельства со стороны «кляузы». Как всегда бывает при столкновении одинаковых сил, сыграли вничью. «Веяниям» не удалось посадить «кляузу» на скамью подсудимых, а «кляуза» не удержалась на старом месте и была причислена к губернскому правлению. Обе стороны остались недовольны: Фома Фомич роптал на провидение, на то, что «пошла галиматья — книжки, гуманности, перестали людей ценить»; прокурорский надзор негодовал на администрацию. Кирюшку тем временем водворили в желтый дом, где сразу же обнаружилось, что по ночам с ним бывают припадки. Его невменяемое состояние очень быстро перешло в настоящую болезнь с резкими и безнадежными признаками эпилептического сумасшествия.

Ближе к зиме потянулись серые дни, долгие непроглядно-темные ночи, закружились в воздухе желтые листья, уныло загудел ветер в обнаженных деревьях, полились медлительные непрерывные дожди. По дорогам стало ни пройти, ни проехать от грязи, поля сделались скучными, однообразными, мокрый бурьян сиротливо торчал на межах, вдоль степи двигалось перекаченое поле. Даль вечно хмурилась и заволакивалась туманом. С Митрева дня пошли заморозки, хрупкий ледок оковал лужи и ручейки, серебристым стеклом окаймил берега Гнилуши; грязные дороги превратились в пути невероятного истязания; на зелена выгнали скотину. По утрам вода точно дымилась, все окутывалось густым низко стоящим туманом. Солнце прогоняло этот туман; наступал неприятно ясный день с каким-то холодным блеском, с какою-то беззастенчивою прозрачностью воздуха. Голые деревья странно и грустно сквозили; пронизательный запах увядания подымался отовсюду; обнаженный, обобраный простор полей бросался в глаза с раздражающею отчетливостью.

С Михайлова дня стала зима. Повалил снег, сурки попрятались в норы, зайцы побелели, занесло лощины, яры и овраги, на дорогах запестрели соломенные вёшки, пошли ухабы, сугробы, сувои, тридцатиградусные морозы, заголосили на разные лады вьюги и метели, завирухи и поземки, загорелись багровые зори, засверкал иней на деревьях, там и сям стали ходить слухи, что замерз прохожий человек, ночевали в поле поп с попадьею, растерял лошадей и путался двое суток целый обоз, ведьма сбила портного в занесенный снегом овраг, волки ворвались на двор и передушили овец.

И дни, и дела, и слухи — все, в главных-то чертах, было похоже на прежнее, потому что и десять и двадцать лет тому назад так же проходили дни, точно такие же совершались дела и носились слухи. Тем не менее появились некоторые как будто и второстепенные черточки, производившие впечатление новизны, придававшие характер какой-то подвижности однообразному и прочному складу гарденинской жизни. Начать с того, что около «Кузьмы-Демьяны» воротились с Дону Гараська с Андроном. Денег они принесли не так чтоб очень много, но зато принесли много раздражающих рассказов «насчет земли», о городской жизни (с сентября они работали на пристанях в Ростове), о порядках, о том, что есть земляной уголь, и пароходы, и «гац» (керосин), и навигация, и немцы-колонисты, и пропавшая «черного народа», с которым не беспокойся, не шути, а то не задумается вдребезги разнести. Кроме таких рассказов, оба принесли своим бабам (а Гараська и солдатке Василисе) ситцу на рубахи, полботинки, резиновые пояса, «люстрину» на кофты. Гараська завел себе «пинжак», жилетку, яркий шарф, которым так обматывал шею, что концы развевались по воздуху, и длинную красную с зелеными полосами фуфайку. Бабы, однако, не решались одеть обнов: ситчики и люстрины пошли на ребят, полботинки и пояса попрятались в сундуки. Одна только солдатка Василиса не задумалась преобразиться: вышла на праздник в кофте и во всем прочем. С несравненно большею податливостью приняли в Гарденине песни, принесенные Гараськой: не далее как через месяц после его возвращения «на улице» вместо обычных гарденинских песен можно было услышать, как девки с живейшим удовольствием орали: «Жил я, мальчик, во Одести, много денег накопил, с Катюшею молодою в одну ночьку прокутил» и т. д.

Зимой Мартин Лукьяныч гораздо больше задерживал «начальников», когда они являлись «за приказанием». Это совершалось к обоюдному удовольствию: и управителю было приятно поразнообразить длинный зимний вечер, и «начальникам» не противно. Обыкновенно, записавши все, что надо, ключник, староста Ивлий, новый приказчик Елистрат, овчар, скотник стояли в почтительных позах; Николай сидел за конторским столом, в сотый раз расписываясь «Рахманный, Рахманный, Рахманный», изобретая все более и бо-

лее замысловатые росчерки; Мартин Лукьяныч не спеша прохаживался вдоль комнаты с заложенными за спину руками, не спеша покуривал, медленно ронял вопросы. Часто приходил в это время и Капитон Аверьяныч.

Однажды вьюга сильно бушевала, в трубе выл ветер; особенно хорошо было чувствовать себя в тепле, видеть людей, слышать человеческий голос. Мартин Лукьяныч ходил себе да ходил; Капитон Аверьяныч прихлебывал чай, «начальники» стояли в обычных позах.

— Арсюшу Гомозкова в город гоняли,— доложил дядя Ивлий.

Мартин Лукьяныч удивленно поднял брови:

— Это еще зачем?

— Ишь, по судейскому делу. Спервоначала, сказывает, под присягу погнали, а там усадили честь-честью,— судить заставили.

— А, это гласный суд! — значительно сказал Мартин Лукьяныч.— Стало быть, и Арсений попал? Любопытно, любопытно.

— Истинно чудеса пошли! — воскликнул Елистрат, встряхивая кудрявою головою и охорашиваясь.— Я, этта, жимши в городе...

— Эка, сообразили, подумаешь,— прервал его Капитон Аверьяныч,— законники!.. Какие есть законники, мозги себе повреждают, а тут — на-кось: сиволапу дают на рассуждение.

— Я полагаю, «сиволап» — такой же гражданин, Капитон Аверьяныч,— возразил Николай, отрываясь от своих росчерков,— притом уплачивает подати.

— Такой же! — с насмешливым видом воскликнул Капитон Аверьяныч.— И Любезный — лошадь, и вон старостина Чалка — лошадь. И мы с тобой... как ты сказал: граждане, что ль? А ну-кось, давай сунемся к предводителю? Аль вот господа приедут, к господам сунемся... может, нас поддадут коленкой... Знаешь как? — Капитон Аверьяныч представил, как поддадут.

— Граждан-то! — с улыбкой добавил Мартин Лукьяныч.

Все засмеялись.

— Ну уж, Капитон Аверьяныч, на смех все можно оборотить! — с досадою сказал Николай и опять начал расчеркиваться.

— Ну, и что ж? Как он там? — спросил Мартин Лукьяныч у старосты.

— Прохарчился, говорит... Нет, говорит, меры, как израсходовался.

— Город-то не тетка,— заметил ключник,— тут-то ему что? Слез с печки, брюхо распоясал, вынет баба шти — хлебай, куда утроба дозволит. Но в городе первое дело — мошну покажи.

— Нет-с, оставьте, напрасно беспокоитесь,— город требует ума! — вымолвил Елистрат, ни с того ни с сего расцветая счастливейшею улыбкой.— Я, этта, жимши в Усмани...

— Ну да, ну да, само собою,— сказал Мартин Лукьяныч, покосившись на Елистрата,— но вообще как он там? Действительно судил кого-нибудь? И действительно господа члены принимают в резон? Как, например, мужики скажут, так и случится, а?

— Точка в точку, Мартин Лукьяныч. Кабы не такой мужик, сумнительно даже слушать. Ежели скажут мужики: оправляем, мол, эфтого человека... вора, к примеру, аль какое ни на есть смертоубийство, кого бы ни было,— сичас ослобоняют. Потому член никак не может супротив присяги.

— А, Капитон Аверьяныч, какво? Вот и вспомнишь Дымкина-покойника... Помрачение умов!

— Что ж?.. Я вот посмотрю, посмотрю, да и сам эдак-то устрою. Чуть какая неисправность, соберу конюхов, судите, мол, вот Ларька али там Сидорка какой-нибудь тысячного жеребца опоил... Нельзя ли его, разнесчастного, оправить?.. А ты, Николай, в секлетари тогда ко мне, а?

Все опять засмеялись, а Николай сердито скрипнул пером и сделал кляксу.

— Ну, а еще что он рассказывает? — спросил Мартин Лукьяныч. — Как вообще, доволен?

— Никак нет-с. Очень жалко, говорит. Тоись для души, к примеру, чижало. Думаешь, думаешь, говорит, — с пахвэй собьешься.

— Еще бы! Прошу покорно, век свой в навозе копался и вдруг — судить.

— Эдак-то, говорит, судили снова!.. Глядим, вот сбивает член, вот сбивает!.. Ну и ломанули, что виновен, дескать. Обвиноватили, значит. А опосля того, глядим — подобрали члены закон: предвечная работа ему вышла, тоись на каторгу. Чисто, говорит, занапрасно упекли!.. И великое, говорит, наказание тому человеку, что малость посечь... ну, эдак, штучек тридцать — сорок сыпать. А они, не собрамшись с умом, — в каторгу. Чижало, рассказывает.

— Я думаю, — с пренебрежением воскликнул Мартин Лукьяныч, — член-то, должно быть, глупей его! Если уж член настаивал, — должно быть, господин прокурор? — значит, стоит того. Не угодно ли, Арсюша Гомозок с прокурором не соглашается, с ученым человеком, с юристом... До чего дожили! Да к чему назначают эдаких мужиков? Ужели не нашли подтверже? Староста Веденей, например... тот, по крайней мере, строг. Тот не задумается эдакому артисту какому-нибудь шкуру спустить.

— Точно так-с, — почтительно согласился дядя Ивлий, — Веденей будет посурьезней.

Николай бросил расчеркиваться и с остервенением на разные лады, разными почерками выводил одно и то же слово: «обскурантизм... обскурантизм... обскурантизм», но в разговор вступать не решался.

— А как, осмелюсь доложить вашей милости, насчет извозу? — сказал дядя Ивлий. — С нашим дурачем ничего не поделаешь.

— То есть как так ничего не поделаешь?

— Не берутся. Поговорил кое-кому, — какой ведь народец: да кто ее знает, да мы отродясь не важивали с весу, да нам в диковину... А то несообразную цену просят: сорок рублей с вагона.

— Прошу покорно! Отчего же это?

— Глуп-ат, народ-ат глуп, Мартин Лукьяныч. Вот мешки эти... теперича как, — точка в точку, чтоб пять пудов?.. А ну-кось не потрафишь? Аль ушивку взять... Прямо, пожалуй, бабье дело. Но бабы никак не согласны. И опять, сколько нужно подвод под вагон... все ведь на пуды стали обдумывать! А там, приедешь, к примеру, на возгал, — коё место сваливать? Ни то начальство какое приставлено, ни то как?

— Ты, я вижу, дурак эдакий, и сам-то ничего не смыслишь. — Мартин Лукьяныч раздражительно почесал в затылке. — Как же теперь? Ты ведь отлично знаешь: пшеницу нужно к сроку доставить. Ах, черт их возьми с этими машинами!.. То ли дело, насыпешь, бывало, двадцать мер прямо в веретье, ползи себе с богом хоть до Москвы... Пути сообщения, пар, быстрота... на кой черт нужно, желал бы я спросить?

— Точно так-с, — с готовностью согласился несколько было оробевший староста, — в прежние времена не в пример было вольготнее.

— Касающе невежественных народов теперь требуется очень даже большая сноровка-с, — с изящною улыбкой произнес Елистрат. — Я, жимши в лабазе...

— Ну, однако, надо же как-нибудь, — сказал Мартин Лукьяныч, обращаясь к Ивлию, и мимоходом пристально покосился на Елистрата.

— Коли, ваша милость, прикажете Гараську подговорить? Гараська враз артель собьет.

Мартин Лукьяныч поморщился.

— Собьет, думаешь?

— Беспременно собьет-с. Наметался по эфтим делам: как зашить, как

навалить, как что... он уже насобачился. Я, признаться, не осмелился без приказа: а то он с первого же слова выпросил с меня восемнадцать рублей.

— Вот как!.. Ладно, пришли его сюда, посмотрю.

— Староста! В какие-такие чины произошел Максим Шашлов? — спросил Капитон Аверьяныч.— Еду я ономясь к обедне, вдруг обгоняет меня Стечкин, Семен Иванович... Что он, кажись, мировой?

— Мировой судья,— сказал Мартин Лукьяныч.

— И вдруг вижу — сидит с ним бок о бок Максим Шашлов. Застегнут полостью, сидит в крытом тулупе,— ну совершенно как свой брат. В каком он чине, а?

— Уж и не знаю,— ответил Ивлий.— Говорили по лету, быдто... как бишь их?.. А шут тебя возьми со всем с потрохом!.. Болтали, быдто в согласные, что ль, какие его выбрали. А доподлинно не знаю. Обапол покрова он тоже в город гонял. По эфтим самым делам.

— Неужели Семен Иванович так и усадил его рядом? Может, на облучке? Может, вы осмотрелись, Капитон Аверьяныч? — спросил Мартин Лукьяныч.— Черт знает что! Я, кажется, не барин, а и то не позволю себе такой низости.

— А я посмотрю, посмотрю,— сказал Капитон Аверьяныч,— придет Кузька али Митрошка какой-нибудь помои у меня выносить, беспременно посажу его с собою за самовар. Что ж, всех сравнили!.. А ты как думаешь, Николай Мартиныч? — Николай сделал презрительное лицо.— Староста, чего ж ты, брат... вот кресло-то, присаживайся, требуй там себе чего хочешь, а?

«Начальники» так и покатались от этих слов. Дядя Ивлий, захлебываясь веселым смехом, только и мог проговорить:

— Ах, и шутники же вы, Капитон Аверьяныч!

Никто, впрочем, не изменил почтительной позы и почтительного выражения на лице, кроме приказчика Елистрата, который вдруг прислонился к печке и с развязнейшим видом произнес:

— Я, этта, прохожу обнаковенно по соборной площади, потому как жимши в городах...

— Ты! — крикнул Мартин Лукьяныч с перекосившимся от внезапного гнева лицом.— Кто ты такой? Где стоишь, а? Я тебе прислонюсь!.. Я тебя выпрямлю!.. Николай, подочти, сколько ему приходится по нонешнее число! Вон!.. Чтоб духу твоего здесь не пахло!.. Староста, гони его, анафему, в три шеи!

Напрасно испуганный Елистрат пытался оправдываться, вытягивая руки по швам,— его немедленно же удалили. Мартин Лукьяныч раздраженными шагами ходил по комнате.

— Я давно замечаю... — говорил он,— эдакая непочтительная харя... Прошу покорно.

— Самый пустяковый человек-с,— осторожно вставил староста.

— Язык что петля, а на деле посмотреть, гроша ломаного не стоит,— сказал ключник.

Капитон Аверьяныч с смеющимся лицом подмигивал Николаю.

Дня через три, когда на станцию недавно открытой железной дороги уже был отправлен первый «транспорт» пшеницы, Мартин Лукьяныч сказал Николаю:

— А тово... Все-таки молодец Гараська: мигом уговорил этих дуралеев, отлично зашил мешки, нагрузил, получил квитанцию. И недорого взял. Молодец! И Аношка этот... и Андронка — какой ведь был увалень, но теперь отлично справляется. Молодцы!

— Я, папенька, давно говорил, что Герасим превосходный работник. Их с Аношкой так теперь и зовут рядчиками.

— Что ж, я всегда готов отдавать им работу. Молодцы!

В другой раз Мартину Лукьянычу случилось поехать к предводителю — он же был и председатель земской управы — по какому-то делу об опеке. Приказавши из почтительности остановить тройку шагах в пятидесяти от барского дома, Мартин Лукьяныч, на особый, тоже чрезвычайно вежливый, манер запахнул свою лисью шубу и побрел пешечком к «девичьему» крыльцу и с удивлением заметил серого шашловского жеребца, привязанного у самых парадных дверей. «Вот дуралей,— подумал Мартин Лукьяныч,— заметит Тимофей Иваныч (предводитель), немудрено, что велит метлой прогнать». Затем он вошел в «черную» переднюю, попросил доложить, вошел в сопровождении лакея в барский кабинет, остановился у притолоки и... остолбенел: за столом, в таких же точно креслах, как и сам предводитель, непринужденно сидел Максим Шашлов и пил чай.

— А, здравствуй, Рахманный! Что, братец, по опекунским делам явился? — сказал предводитель, благосклонно кивнув гладко остриженной головой на низкий поклон Мартина Лукьяныча, и тотчас же обратился к Максиму Шашлову: — Ты что же, Максим Евстифеич, встаешь? Сиди, сиди, сейчас еще подадут. Пей, братец.

— Нам сидеть, Тимофей Иваныч, никак невозможно,— ответил Максим.— Что же мы будем за неучи, ежели наш управитель стоит, а мы развалимся вроде как господа?.. Нижайшее вам, Мартин Лукьяныч!

Мартин Лукьяныч с готовностью пожал протянутую Максимом руку и, самодовольно улыбаясь, сказал:

— Извините, сударь, приобькли, будучи господскими-с. Порядок-с.

— Хвалю, хвалю, братец. Разумеется, мы теперь все равны, но во всяком случае... Бери вон тот стул, садись. Эй, чаю!.. Садись, Максим Евстифеич. Да, братец, был крепостной, а теперь вот гласный, пользуется влиянием, подряды снимает... Старик небось сколько кубышку-то копил? Где-нибудь в тряпках, в подполье, а?

Максим самоуверенно тряхнул волосами.

— От невежества,— сказал он,— больше ничего, как необразованный народ. Теперь дозволейте доложить, Мартин Лукьяныч, мало ли вы учили дураков? Хуть бы и тятеньку взять... А между прочим, какая благодарность? Зачем же мне ее копить, ежели я очень даже просто свезу в банку и получу процент... А еще того превосходней — пушу в каммерцию.

— Это точно, сударь,— подтвердил Мартин Лукьяныч,— по нынешним временам капитал требует оборота-с.

— Тятенька, говорю, что есть золотой? — с горячностью продолжал Максим, главным образом обращаясь к Мартину Лукьянычу,— теперича взять хуть бы серию... Дай ей малость полежать, ухватил ножницы, чикнул — готово! Пожалуйста два рубля шестнадцать кипеечек! Но от золотого что от быка — молюка: только плесень, ежели держать в гнилом месте.

— Но ты, разумеется, убедил его? — спросил предводитель.

— Отвечай же, Максим,— сказал Мартин Лукьяныч, обеспокоенный тем, что Максим, не обращая внимания на барский вопрос, начал тянуть чай.

— Урезонил! — проговорил тот, отрываясь от блюдечка.— Случаем, купишь что,— намеднись у отца Александра туши сторговал,— так-то рассерчает, так-то раскряхтит... И сичас, это, на печку! Забормочет, забормочет... А как барыш, ему и лестно, зачнет шутки шутить,— чистый робеноч!

Все трое засмеялись.

— Вот помири-ка нас, братец,— сказал предводитель Мартину Лукьянычу.— Сдаю ему кузьминскую гать, прошу уступить сто рублей,— не хочет.

— Как же это ты, Максим? Ты должен сделать уважение! — строго выговорил Мартин Лукьяныч.

И, к его удовольствию, Максим, немножко поторговавшись, сказал:

— Ну, Тимофей Иваныч, так уж и быть... Ежели теперича приказывает

Мартин Лукьяныч и как он есть наш полномочный управитель, так уж и быть — спущаю полусотенный билет. Мы завсегда понимаем.

Кончилось тем, что, возвращаясь от предводителя, Мартин Лукьяныч сказал Шашлову:

— Ты... тово... Максим... привязывай жеребца-то к саням, садись со мною. Ничего, ничего, подвезу,— нынче, брат, все равны.

А приехавши домой и оставшись один с Николаем, выразился так:

— Шашлов этот... очень вежливый мужик, оказывается. И, видно, отлично знает все дела, снимает подряды, обнаруживает капитал... А глазам бы своим не поверил лет десять — двадцать тому назад!

Когда на станции вновь открытой железной дороги гарденинские мужики сваливали мешки, по платформе прохаживался, поглядывая на них, и прислушивался к их разговорам человек неопределенного звания и возраста с истасканным, посинелым от холода лицом, с гнилыми зубами и какою-то зеленоватою растительностью на верхней губе. Одет он был в кургузое пальтишко неопределенного цвета, на ногах болтались не доходящие до щиколоток штаны с заплатами на коленках, из-под штанов виднелись стоптанные порыжелые сапожишки, на голове торчала измятая и тоже порыжелая шляпенка. Работа была в самом разгаре, тем не менее Гараська присел, свернул сигарку, посмотрел несколько времени на суетившихся мужиков и сказал тоном начальника:

— Ну, ребята, вы прибирайтесь покудова... Смотрите, половчей бунты-то выводите. Батя! Ты эдак мешок не вали: чего ж ты зря валишь?.. А мы — квиток выправлять. Айда, Анофрий! — И, закуривая по дороге, отправился с Аношкой в вокзал.

Неопределенный человек вынул папироску, с отлётцем поклонился им.

— Дозвольте огоньку-с,— сказал он, изысканно улыбаясь.— Вы, по всей видимости, господа подрядчики?

— Надо быть, так,— важно заявил Гараська, протягивая сигарку.

— Приметно-с, сразу на опытный глаз приметно! — с восторгом воскликнул неопределенный человек.— Иному составляет трудность, но у меня, уж извините!.. Уж я взвешу настоящих людей!.. У меня — глаз!.. Дозвольте обеспокоить, не угодно ли по случаю двадцатиградусного мороза к буфету? Признаться, давно имею желание разогреть аппарат, но без компании окончательно скушно-с.

— Не стоит внимания,— сказал Гараська.— А вы из каких будете?

— Столичный-с, московская косточка... хе, хе, хе! Не угодно ли к буфету? Не сомневайтесь, мы очень понимаем сурьезное обхождение.

Гараська недоверчиво покосился на него.

— А я так полагаю: вы из гольтепы,— сказал он.

Столичный человек нимало не обиделся, сделал таинственное лицо и, значительно понизив голос, сказал:

— Каммерция!.. Как мы занимаемся каммерческими делами, нам никак невозможно содержать себя в чистоте... Дозвольте спросить, в каком виде я должен оказать себя, ежели при мне, например, состоят капиталы? Будем говорить так: разоделся я на самый что ни на есть модный фасон: при часах, в аглицком пальте, брючки, при калошах... Что соответствует эдакому парату?.. Уж не иначе, как двадцать четвертных в портуманете... Так-с? Теперь дозвольте спросить: ужли же какое-нибудь жулье не обратит своего полного внимания на мой карман, дозвольте спросить?

— Эфто хуч так.

— Уж не сомневайтесь!.. Мазурьё никак не может забыть свою должность!.. Но замест того я выезжаю с экстренным поездом по каммерческим делам и докладываю супруге: «Дозвольте, Авдоть-Ликсеевна, всякую рвань из гардиropa, потому как наша апирация требует ба-а-альшова скрытия!..»

Сделайте милость, дозвольте к буфету? Всячески могу обнаружить капитал перед серьезными людьми!

— Не стоит внимания... Ежели ты выставляешь угощение, мы, брат, никак не задумаемся порцию солянки спросить. Идет, что ль, Аношка?

— Что ж, пушай. Кабы только мужики не скосоротились.

— Ну вот, вздумал! — презрительно сказал Гараська. — Пошли и пошли за квитком, кому какое дело?.. Да кто еще осмелится рожу-то сунуть к буфету? Он, всякий, не токма к буфету, по плацформе боится ходить, — и, обращаясь к столичному человеку, со смехом добавил: — У нас, эдак, мужичок есть: завидел сторожа, сорвал тряух, тут-то кланяется. Гляжу, а эфто сторож. Ха, ха, ха!

Столичный человек так и закатился дребезжащим, искательным смехом и бросился отворять двери III класса.

В новеньком помещении, уже пропитавшемся, однако, запахом овчин, махорки и недоброкачественной провизии, компания весьма развязно подошла к буфету. Столичный человек спросил три стакана водки, причем Гараська и Аношка заметили, как он, несколько отвернувшись в сторону, вытащил из кармана брюк толстую пачку, выдернул из нее рублевку и с видом скромного достоинства подал буфетчику. После этого мужики прониклись окончательным уважением к столичному человеку. Они, в свою очередь, потребовали водки и, так как сделать солянку им отказались, спросили на закуску «московской колбасы». В промежутках выпивки курили сигарки, все трое развалившись на недавно выкрашенном диване, и говорили. А когда перед вечером порожний обоз отправился домой, в санях Гараськи полулежал столичный человек, по самый нос закутанный в полость и прикрытый ворохом сена. В ногах у него помещалась кладь: какая-то круглая вещь, завернутая в рогожу, и лубочный короб. Гараська взялся доставить его вместе с этою кладью в село Тишанку, где около того времени собиралась ярмарка, с тем чтобы переночевать в Гарденине. По дороге из Гараськиных саней часто доносился хохот, непрерывно тянуло дымком махорки и можно было слышать, как столичный человек восклицал:

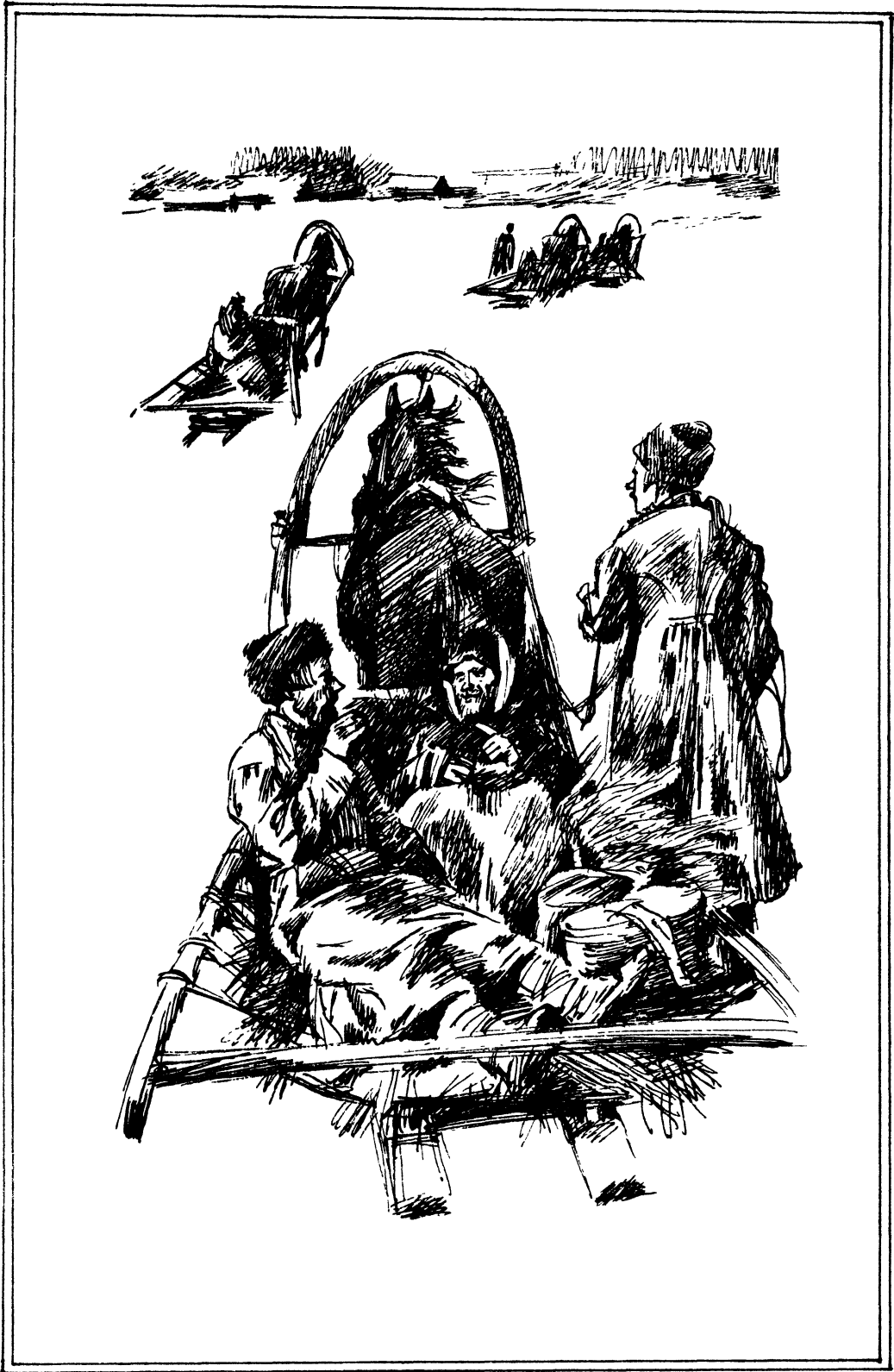
— Жги, и больше никаких!.. Не-ет-с, в нынешнее время... Дозвольте спросить, почему ж я не имею полного права учить олухов? Простенькая штучка-с, но при уме достаточно можно облапошить... Нет-с, нонче эдак нельзя... Нонче требуется ба-а-альшая развязка!

На что Гараська отвечивал:

— Вот так ловко!.. Ах, шут те подери!.. Вот так зацепка, братец ты мой... Дурачье, одно слово!.. Не стоит внимания. Я, это, как сходил, как поглядел... прямо дубьем бить нашего брата!

Когда порожняки ехали шагом, к саням собирались мужики со всего обоза. Похлопывая рукавицами, попрыгивая в закованных лаптишках, попыхивая трубками, они с хохотом, звонко и далеко разносившимся в морозном воздухе, слушали, как столичный человек, выглядывая из-под полости, рассказывал им разные столичные истории.

— Вот, господа, прогуливается, этта, по Тверской самый что ни на есть первеющий барин, — говорил он, — обнаковенно, в пальте, американского бобра воротник и эдакая, угоришь, тросточка. Потому на тросточке золотой набалдашник, примерно в сотенный билет. Дозвольте спросить, чего ему это стоит! Плюнуть и растереть! (Мужики хором отвечали: «Само собой!.. Чего ему делается!»), «Поездили, чай, на наших горбах!», «Сотенный билет барину, прямо надо сказать, — пшик!..») Не так ли-с? Ну-с, окончательно — напился, наелся в самой первой лесторации, выбросил четвертной билет: «Желательно, грит, моей асобе для ради моциёну сделать эдакий променад по Тверской улице». Очень просто. Ну-с, хорошо... Глядь, откуда ни возмись, катит навстречу, обнаковенно, «на своих на двоих», самый что ни на есть



простецкий человек: костюм — лохмотье, на ногах — опорки, веревочкой подпоясан, окончательно — голь перекатная! Но, между прочим, руки в карманах, походка хлесткая и в зубах сигарка. Подлетает эдаким козырем: «Наше вам-с! Дозвольте, будьте столько любезны, огоньку-с!» Это барину-то, при всей его великатности!.. Может, сейчас ему карету в киятер аль в благородное собрание для танцев ехать с разными там графами!.. (Мужики разразились хохотом и восторженными восклицаниями: «А ты думал как?.. Нет, брат, будя им поношаться! Наездились, помудрили!.. Холку-то осадили вó как... А вот не желаешь ли — «огоньку»... да! Хотя ж я и в лохмотье, а ты мне тьфу!.. Ах, братцы вы мои, сколь он его ловко».) Зазвонистая штучка-с! «Как мы, грит, желаем раскурить сигарку, то будьте столь приятны — приткнуть к вашей, например, папиресе... потому у нас тоже табак Дюбек, от которого черт убег...» Хи-хи-хи! Ну, само собою, барину никак невозможно стерпеть эдакого форсу. «Я тебя, грит, подлеца, сей момент в часть доставлю!» Но, между прочим, не на того наскочил-с! Простецкий человек озырнулся эдак по Тверской, — оченно просторное место. «От подлеца, грит, слышу!» (Пустынное снежное поле так и охнуло от здорovenного мужицкого хохота.) Да-с, не сомневайтесь! От точно, грит, такого же подлеца!.. И с эстим прямо марш-марш по тротуару... Ну, барин, само собою, осатанел. Глядь, тую ж секунду вывертывается великатнейший господин. Разодет — лучше не надо быть: при пальте, в резиновых калошах. «Ах, грит, такая-сякая рвань! Возможно ли слышать, как он избидел асобу? Дозвольте палочку, потому имею такое желание обломать ему бока и окончательно — измордовать в самом лучшем виде». И с эстим подает ему барин палку: «Оченно, грит, мне это приятно, потому как при моем агромаднющем чине мне никак невозможно бежать... Оченно приятно изуродовать невежу!» (Слушатели сразу пришли в уныние. «Эка рука руку-то берет!» — послышались огорченные голоса. «Чего уж, прямое дело — измордует!» «А ты как думал, со всем удовольствием исколотит, как собаку!» «Нет, брат, видно, плетью обуха не перешибешь, — силу забрали! Корень-то у яво впущен — во! Не доскребешься!») — Столичный человек с загадочным выражением на лице пыхнул раза два папироской, потом вдруг показал все до одного свои гнилые зубы и, высунувшись из-под войлока по самый пояс, закончил торопливым, захлебывающимся от восхищения голосом: — Голь, этта, удирает, господин с бариновой палкой за ним. Туда-сюда, нырнул в публику, поминай как звали. Барин надсаживается: «Дозвольте просить палку! Сделайте милость, оставьте догонять!» Но, между прочим, палка уж была в о-о-очен-но теплом месте!.. Хе, хе-хе, умственная штучка-с?

Мужики не сразу поняли, в чем дело; несколько мгновений на замирающих от любопытства лицах изображалось одно только недоумение; но, когда столичный человек напомнил, что на палке был золотой набалдашник «в сотенный билет», и, снисходя к тупоумию мужиков, объяснил, что «простецкие люди» сделали предварительный уговор и один из них нарядился «великатным господином», — самому необузданному восторгу не было пределов.

В обозе находились все «середняки» да молодежь. Стариков было только трое: Афанасий Яклич, Арсений Гомозков и запуганный, смиренный Аношкин отец Калистрат. Афанасий Яклич выразил большое неудовольствие, когда Гараська взял столичного человека.

— Я бы эдакую погань не токма ночевать, на версту не подпустил к деревне! — сказал он с необыкновенным видом презрения прямо в лицо столичному человеку. И во всю дорогу не подходил к Гараськиным саням, с величайшим раздражением вслушивался, как хохотали мужики, и бормотал себе в бороду: — Обрадовались, разинули глотки!.. Погоди, он тебе еще рано пронохает ходы-то, он повысмотрит, с какого конца ловчей в клеть-то забраться... Пого-о-оди-и! Экая сволочь полезла, прости господи!.. И откуда? Эхма! Попржнему, сунь-ка он нос-то в деревню... Сунь-кося! Как взяли бы друга милого

на барский двор, да как свели бы раба божьего на конюшню, да всыпали бы с пылу, с жару, небось бы отшибло, след-то бы забыл!.. Да и Гараське-то вско-чило бы дю-юже горячо!.. К чему? Что такое?.. Эх, плачет по вас матушка розга!

Арсений и Калистрат шагали несколько поодаль от толпы, искоса по-сматривали на столичного человека, вздыхали, слушали, с невольным сочувст-вием улыбались, но за всем тем на их лицах было написано смущение.

— А, Ульяныч,— говорил вполголоса Аношкин отец,— дела-то, дела-то, а?

— Что ж, Калистрат,— задумчиво отвечал Арсений,— стары становимся, стары...

— Нет, ты тó теперь подумай,— ведь мошенство, а? Ну, барин, ну... а ведь мошенство эфто, а?

— Полтора целковых посулил,— проговорил Арсений, отвечая этим на тайную мысль Калистрата,— что ж, утречком свезет его... Ну, меру овса стравит в Тишánке, что ж... заработок ничего себе... Бывалоче, сам знаешь, станет, господи благослови, путь, и пойдешь себе и пойдешь: то с пшеничкой, то с просцом... Обоз за обозом!.. А нонче — на-ткою: на зоре выехал, ввечеру — дома, повозился недельку — залезай на полати вплоть до весны. Какая ни доведись работишка — обрадуешься!

— Это хуть так,— согласился Калистрат, нахлобучивая свой рванный треух, и еще что-то хотел сказать, но сробел и только нерешительно пошевелил губами.

Вечером в избе солдатки Василисы было большое сборище. Ребятишки, девки, бабы, мужики окружали столичного человека. На столе возвышалась «круглая вещь», вынутая из рогожи тотчас же, как только столичный человек напился чаю и отогрел закоченевшие члены. «Вещь» оказалась так называемой «фортушкой». Из лубочного короба столичный человек вытащил сережки, бу-сы, перстни с разноцветными камешками, гармоники, трубки, кошельки, на-перстки, мыло в ярких бумажках, спичечницы, цепочки и в довершение всего «настоящий» никелевый самовар. Вся эта дрянь блестела и переливалась, и в соответствии с этим блестели жадные, восхищенные глаза зрителей. Все стояли точно оцепенелые, в поту от непомерной духоты, навалившись друг дру-гу на плечи, на спины. Иные не выдерживали: протискивались к самому столу, притрогивались концами пальцев к вещам и благоговейно или с затаенным вздохом отступали. Глазки столичного человека так и бегали во все стороны, на его истасканном лице с неуловимой быстротой сменялось выражение важ-ности, угодливости, изысканности, тревоги («как бы не украли!») и какого-то тоскливого беспокойства. Он страшно суетился вокруг стола и говорил, не умолкая:

— Дозвольте посмотреть эфту штуку-с! (Он схватывал оловянный на-персток с чернью и подносил его к глазам робко отступавших баб.) Дозвольте обратить ваше полное внимание! Аплике восемьдесят четвертой пробы... Поглядеть — невеличка, однако ж в первеющем магазине полтора рубля се-ребром заплачена. А почему? — Потому окончательно — капказской работы и притом филигрань. Дозвольте поглядеть, Герасим Арсеньич, вы достаточно сурезный человек,— какова отделка-с?

Гараська брал в руки наперсток, глубокомысленно его рассматривал и го-ворил:

— Н-да, штучка форсистая!

Таким образом столичный человек с добрый час времени расхваливал свои вещи, баснословно преувеличивая их цену и беспрестанно ссылаясь на Гарась-ку. Но больше всего потратил он красноречия на самовар.

— Дозвольте-с! Приподымите! — кричал он в каком-то исступленном восторге, вкладывая самовар в руки тяжело вздыхающего Андрона.— Како-во-с? Окончательно — двадцать фунтов первосортного аглицкого металла!..

Крантик... вензелек... дозвоьте поглядеть: государственный орел и лик! Хе, хе, хе, любопытный, признаться, скандалчик с этим самоваром. В магазине не найдешь, пройди всю Москву — не найдешь!.. Уж будьте спокойны!.. Например, белым отсвечивает... вникаете? Потому окончательно — впущено серебра фунта четыре... А как он попал в мои руки, это даже удивления достойно. Прочитываю я, эта, ведомости, вдруг вижу — сукцион. Что такое? Окончательно прогорел первеющий помещик, и в таком разе обозначена ликвидация. Балы, да танцы, да теплые воды, а тут — бац! Пожалуйте-с! Дозвольте крепостным людям вздох дать!.. Хвост-то и прищемили. Ну, нам по нашему каммерческому делу пропустить никак невозможно. Нанимаю живейного, еду... И вдруг примечаю самоварчик! Сам-де барин пользовался, и потому ба-а-альшая редкость. Туда-сюда, выкинул четвертной билет: дозвоьте, говорю... хотя ж мы и из низкого звания, но что касается, как они нас тиранили — достаточно хорошо помним... Дозвольте получить барский самоварчик! Хе, хе, хе!

Эта история произвела необыкновенный эффект, придала самовару какое-то особенное значение и в большой степени приобрела доверие к столичному человеку. Тогда он расставил вещи по кругу фортушки, стал вертеть колесо и толковать, в чем дело.

— Пятачок-с! — кричал он.— Всего только и капиталу — пять копеек серебром! Дозвольте обратить полное внимание: раз! — Пожалуйте, сережечка с эмалью. Два! — Гармония фабрики братьев Воронцовых. Три!.. Эх, и самоварчик улетел! Имеем честь поздравить (обращаясь к воображаемому счастливцу), кушайте чаек, поминайте барина... Потому как они окончательно вылетемши в трубу: ноги босы, руки голы, не в чем разгуляться! — Раз!.. Ну, сорвалось, впустую сыграли... пятак серебра нажил за самовар, гармонию да сережки, хе, хе, хе! Дозвольте, господа!.. Не лишайтесь судьбы!.. Герасим Арсеньич, почните с вашей легкой руки!

Невозможно описать, что происходило в толпе. Наверное, деревня никогда не видела столь страстно разгоревшихся вожделений, столь напряженной жадности. Томительно вздыхали, перешептывались, ощупывали карманы, нерешительно переминались с ноги на ногу. Наконец Гараська ухарски тряхнул волосами, сделал отчаянное лицо и, выбрасывая пятак, крикнул: «А! Была не была... кружи!» Колесо быстро завертелось... Вдруг единодушный вопль вырвался у толпы: столичный человек с изысканно любезною улыбкой подал Гараське гармонику.

Наутро столичный человек отправился далее, оставив за собой разбитые мечты, обманутые надежды, зависть, злобу, вновь возникшие вкусы и страсти... и десятка три грошовых вещиц. Гараська за свое тайное и явное содействие получил, кроме «выигранной» гармоники и платы за провоз, изрядное угощенье и папиросницу «на манер серебряной». Он был весьма рад и в откровенной беседе с Василисой немало глумился «над мужицкою простотой».

Николаю прибавилось дела. С соизволения барыни он повел конторские книги, за что ему было указано положить жалованье: 36 рублей в год. Конечно, Мартин Лукьяныч, получивши такое распоряжение, не преминул сказать: «Вот видишь, как об тебе заботятся... А ты все не чувствуешь, дубина. Ах, дети, дети!» Это было, однако, несправедливо: Николай очень чувствовал. С какою-то совершенно особенною радостью ощутил он в своих руках жалованье, выданное ему за первый месяц. Зелененькая бумажка показалась ему на этот раз совсем даже и не деньгами, а чем-то удивительно приятным и возвышающим его «человеческое достоинство». Впрочем, в первую же поездку на базар он истратил ее самым бесполезным образом: купил 10 фунтов мятных пряников, кольцо, которое продавалось за золотое, но на самом деле оказавшееся медным, и ни на что не нужную записную книжку в щегольском переплете.

Вот именно с такими пустяками чередовались занятия и интересы Николая

с осени и во всю зиму. То он с великим усердием учил Федотку грамоте, то чуть не со слезами на глазах выпрашивал у отца разрешения «заняться азбучкой» с Пашуткой Арсюшиным, то углублялся в чтение до такой степени, что забывал умываться, являлся на отцовские глаза нечесаный, полуодетый, так что отец кричал на него: «Ополосни рыло-то! Ты бы хоть пятерней вихры-то пригладил.. Глаза продрал, и за книгу,— лоб-то, дубина эдакая, перекрестил ли?» А с другой стороны, Николай «воровским манером» убежал с Федоткой «на вечерушки» к солдатке Василисе, играл на гармонике и плясал с девками, гонялся по степи с борзыми, не спал ночи, мечтал о Груньке Нечаевой, воображал, что безумно влюблен в нее. Он теперь редко сочинял стихи; зато написал длинейшую «корреспонденцию» о холере, об убийстве Агафокла, о том, что отец Александр много берет за требы; что в сельце Анненском, Гарденино тож, замечается вредное стремление к разделам; что волостной писарь Павел Акимыч берет взятки; что с народом везде принято обращаться точно со скотиной и как бы из-за этого не вышло «какого-нибудь аграрного потрясения». Статья через Рукодеева была отослана в «Сын отечества»; недели четыре Николай несказанно волновался, развертывая газеты и ожидая встретить вожделенный заголовок: «Мани, факел, фарес из N-го уезда». Но статья не появлялась, и он мало-помалу привык думать, что ее не напечатают.

С хозяйственной стороны Мартин Лукьяныч начинал примечать в Николае изъяны. Как вначале приходилось сдерживать его излишнюю ретивость, так теперь — бранить и даже грозить побоями «за послабление». Осенью случилось, что объездчики загнали целый табун однодворческих лошадей; по принятому обычаю полагалось взыскать штраф, по полтиннику с головы, а между тем Николай, воспользовавшись отсутствием отца, выпустил лошадей даром. Поденные под присмотром Николая работали вдвое меньше, чем бы следовало. Когда в риге, заглушая однообразный шум молотилки, слышались песни, громкие разговоры, шутки, смех,— это уже наверняка обозначало, что староста Ивлий ушел завтракать или вообще в отсутствие, а распоряжается один Николай. Мартин Лукьяныч скорбел и все придумывал способ «образумить» Николая... Впрочем, конторская часть шла удовлетворительно и даже обогатилась некоторыми весьма целесообразными нововведениями, и это несколько утешало Мартина Лукьяныча.

После того как мнение Мартина Лукьяныча о Максиме Шашлове столь круто изменилось, Максим захаживал иногда в гости к Мартину Лукьянычу. Держался он с неизменною почтительностью,— гораздо почтительнее, чем с предводителем,— и хотя первый протягивал руку, но садился только по приказанию, чаю пил очень много, однако беспрестанно опрокидывал чашку вверх доньшком, приговаривая: «Много довольны». Мало-помалу Мартин Лукьяныч завязал с ним деловые сношения. В «экономии» года четыре как лежало четвертей полтора ста лебеды, смешанной с мелкою рожью и пшеницей: это были отбросы от «подсева» и сортирования. С ними не знали, что делать. А Максим Шашлов взял да и купил, к живейшему удивлению и удовольствию Мартина Лукьяныча. После, когда Мартин Лукьяныч узнал, что Шашлов перемешал лебеду с чистым хлебом, перемолол и распродал по мелочи с огромным барышом, его мнение об «остроте» Максима еще более возросло, и опала с богачей Шашловых была снята.

Однажды Максим привел с собой сына Еремку — рыжего, как огонь, конопатого, как галчиное яйцо, остроносого мальчугана лет одиннадцати — и стал просить, чтоб Николай выучил его грамоте. «По нашим делам без грамоты совсем неспособно!» Николай было заупрямился: и самого Максима он недолюбливал, и шныряющая мордочка Еремки не понравилась. Но Мартин Лукьяныч властно сказал: «Это еще что? Коли взял Пашку учить, почему Еремку не можешь? На что Пашке грамота, спросить у тебя? Блажь. Соха и без грамоты не мудрена. А Еремка подрастет, капиталами будет ворочать, гляди,

еще в купечество запишется. Надо это понимать. Учи, учи,— лучше, чем бакули-то бить». Делать было нечего, и Николай до весны занимался с обоими.

«Изъяны» Николая по хозяйственной части происходили не столько из каких-либо вновь сложившихся взглядов, сколько потому, что летние впечатления достаточно глубоко залегли ему в душу. Он как-то стыдился теперь кричать и ругаться на рабочих, грубо обращаться с ними, понуждать, распекать или загонять скот, брать штрафы, хотя в последних случаях дело шло об однодворцах. Ему становилась все неприятнее роль неукоснительного надзирателя. Но вместе с тем он сплошь и рядом бывал непоследователен. Когда работали спустя рукава, когда, не обращая на него внимания, пускали стадо на барскую землю, когда на самых его глазах везли из барского леса похищенное дерево,— он или делал вид, что не замечает, и отворачивался, объятый смущением, или застенчиво упрасивал. Но когда ему говорили «грубости» или слишком явно давали понять, что ни чуточки его не боятся, или вообще не оказывали ему почета, как надлежит «управителю сыну»,— он оскорблялся до глубины души. Кроме того, ему пришлось совершить за зиму и такое деяние, которое совсем уж шло вразрез с его «нынешнею» совестью. Дело было так. Мартин Лукьяныч как-то сказал, что при первой «получке» за пшеницу он пошлет Николая в Воронеж перевести барыне деньги чрез государственный банк. Такое намерение Мартина Лукьяныча ужасно взволновало и обрадовало Николая. В Воронеже он бывал с теткой: два раза ходили пешком к «угоднику Митрофанию», но теперь город ему припомнился как во сне, в каких-то таинственных и спутанных очертаниях. Николай понимал, что для того, чтобы всячески изведать прелесть поездки, нужны деньги, а их у него было мало. Соблазнителем явился приказчик Елистрат, прощенный Мартином Лукьянычем и откомандированный на хутор. Приехавши однажды оттуда, он «улучил время», когда Николай один оставался в конторе, и таинственным полупшепотом, с особенною изысканностью улыбаясь, сообщил следующее: «Что я вам скажу, Николай Мартиныч! В низовом лесу оказывается порубочка — дерев с десяток... Я уж проследил, چه дельце: курлацкие однодворцы напакостили. Тепереча как? Ежели папашке доложиться — и мне влетит достаточно, и однодворцев не помилует. А я вот что удумал: накрою их, например, с поличным, поужаю, да и сорву красненьких две... Ась? Половину пая вам, половину — мне. А вы как приедете лес осматривать — молчок папашке... Идет? Мы, этта, жимши в лабазе, здорово промышляли с хозяйским сыном!» Первым движением Николая было обругать и выгнать Елистрата, но тотчас же ему вообразился Воронеж — театр, трактир Романова, о котором недавно столь заманчиво рассказывал воронежский барышник... «Ладно»,— сказал он, быстро отворачиваясь от Елистрата и притворяясь, что непомерно занят конторскою книгой.

Он ездил в Воронеж. Заняв номер в гостинице — хотя отец приказывал остановиться на постоялом дворе — и отделавшись в банке, он целый день бродил по улицам, взирал на огромные, как ему казалось, дома, на окна великолепных магазинов, на тротуары, по которым «валом валил» народ, на монумент Петра Первого, однако непривычная суета, непривычный блеск, непривычное множество людей, разодетых «как господа», в конце концов переполнили его испугом, робостью, тоскою. Впечатления ошеломили его: чувство сиротливого одиночества им овладело. Он хотел войти в трактир Романова, но в нерешимости постоял у подъезда, посмотрел на швейцара, посмотрел на посетителей в енотовых и лисьих шубах и, торопливо запахнувши свой калмыцкий тулупчик, чуть не бегом направился далее. У театра была выставлена афиша. Николай остановился, начал читать... Подошел офицер под руку с дамой,— Николай робко отпрянул. Но соблазн был слишком велик: крупные буквы на афише гласили, что будет представлен «Орфей в аду». Побродивши около театра, Николай мужественно отворил дверь в кассу, увидел окошечко, в окошечке понырливый лик с золотым пенсне на ястребином носу. Господин в шинели

с бобрами и в цилиндре брал билет и что-то внушительно басом приказывал кассиру. Николай с трепетом отступил назад. «Эй, тулуп! Куда же вы? Пожалуйте!» — послышалось из окошечка, но «тулуп», пугливо и раздражительно озираясь, улелетывал далее.

У статуи Петра было безлюдно. Николай сел на скамеечку — у него подкашивались ноги от усталости — и бесцельно устремил глаза в пространство. Внизу развевался по холмам город: пестрели крыши, толпились дома, выступали церкви; дальше обозначалась широко проторенною дорогой извилистая река, чернели слободы, еще дальше — белая, однообразная, настоящая степная равнина уходила без конца. Мало-помалу на Николая повеяло от этой равнины привычным ему впечатлением простора и тишины. Он начинал успокаиваться, приходит в себя, собирать рассеянные мысли... «Мосье Рахманный!» — внезапно раздалось над самым его ухом. Это была Веруся Турчанинова. В серой шапочке, в шубке, опушенной серым мехом, в серой муфточке, с книжками под мышкой, она стояла против него, веселая, улыбающаяся, с блестящими глазами, с лицом, пылающим от мороза. Он растерянно вскочил, зашевелил трясущимися губами.

— Зачем вы здесь? — быстро и звонко заговорила Веруся. — Вам куда нужно идти? Хотите вместе? Мне нужно на Садовую. Послушайте, вы слышали, какую мерзость устроили с отцом эти ищейки? Вот уж карьеристы!.. Читали вы Дрэпера? У нас преотвратительная публичная библиотека. Не были? О, это курьез! Мне сестры сказывали, вы тогда крикнули им ужасную грубость. Это очень странно... Я, впрочем, не имею с ними ничего общего. Какой журнал получается у вас в деревне? Не правда ли, народ ужасно бедствует? Есть ли у вас школа? Признаете вы педагогику при настоящих социально-политических условиях?

Николай отвечал сначала застенчиво, несвязно, запинаясь на каждом слове. Но понемногу оживление Веруси передалось и ему. Вместо того чтобы идти на Садовую, они, сами не замечая, ходили по дорожкам сквера, присаживались на скамейке и опять вскакивали, не удаляясь от «Петра». Ширь и простор, веявшие из-за реки, безлюдье рядом с суетою на улице, статуя железного царя, указующего властно протянутою рукой куда-то вдаль, как бы невольное удерживали их здесь, поощряли говорить и спорить.

Да, Николай пришел в такое состояние, что мог даже спорить с Верусей. В нем проснулось то впечатление, которое он вынес из первой встречи с нею; а чувство одиночества и страха, чувство язвительной обиды от той оброшенности, которую он испытывал в городе, особенно напрягло его нервы. Судорожно запахиваясь в тулупчик, пламенея и вздрагивая от каких-то нервических приступов вдохновения и раздражительности, он говорил, говорил, внутренне сам изумляясь своему красноречию. В ответ на вопросы и категорически-книжные мнения Веруси он в ярких красках изобразил ей деревенскую жизнь — закоснелое и самонадеянное невежество кругом, попрание всякого рода прав, вопиющее посрамление личности, эксплуатацию, беспомощность, свирепство, издевательство и крепостнические вождения властных людей. Разумеется, изобразил своими словами и сквозь призму своего понимания и настроения. В этих картинах никому не было пощады: припоминалась расправа Мартина Лукьяныча с однодворцами, восстанавливались «холопские разговоры» в конторе, Оголтеловка, поп Александр, «кулак» Шашлов, «мерзкий приспешник» староста Веденей, целование ручек у господ, стояние перед ними вытяжку и без шапок, «подхалимские письма» к барыне... А когда течением цепляющихся друг за друга мыслей и воспоминаний Николай пришел к холере, начал рассказывать о бабе из Колена, о том, как без всякой помощи безропотно страдал и умирал народ, он до такой степени взволновался этим, так забылся, что без малейшей жалости к Верусе со всеми возмутительными подробностями изложил ей дело Агафокла и пытки, которым Фома Фомич подвергал

Кирюшку, и сцену тонкого вымогательства сорока двух рублей. И, злобно устремив глаза на Верусю, стараясь удержать прыгающий подбородок, закончил: «А вы утверждаете — напрасно!.. Его бы, палача, повесить мало-с... папашу-то вашего!» К этому он еще хотел прибавить несколько энергичных слов, но вдруг опомнился, губы его сомкнулись. Веруся сидела без кровинки в лице, с расширенными глазами, с таким выражением, как будто ее ударили обухом по голове. Несколько секунд продолжалось молчание.

— Послушайте, Рахманный,— произнесла она хрипло и с усилием выговаривая слова,— это все, честное слово, правда?

— Как же я осмелюсь лгать? — воскликнул Николай.

Опять помолчали. На лбу Веруси обозначилась страдальческая морщинка. Вдруг она поднялась, крепко пожала Николаеву руку, с каким-то значительным выражением выговорила: «Хорошо... я вам верю!» — и торопливо пошла из сквера. Но шагов через пять приостановилась и, не оглядываясь, с странною сухостью произнесла:

— Послушайте, как ваш адрес... если бы кто вздумал написать вам?

Как-то перед весною Николаю случилось быть у Рукодеева. Там передали письмо на его имя. Письмо было от Веруси. Вот что она писала:

«Не подумайте, Рахманный, что я дорожу вашим мнением и вообще заискиваю. Такая подлость противоречит моим убеждениям. Пишу по поводу нашего разговора. Я уверилась, что отец поступил нечестно. И я не намерена жить на такие средства. Но даю вам честное слово, что ничего не подозревала. Глупо, конечно, такие ужасы, по поводу которых мы имели разговор, находили место, а мы веселились на каникулах и катались в лодке на Битюке. Я себе никогда не прощу. Я кончу курс и намерена быть народной учительницей. Это, впрочем, мой всегдашний план. Может быть, со временем мне понадобится ваш совет: у вас довольно широкий запас наблюдений из народной жизни. И вы не фразер, если не ошибаюсь. Я имею теперь частные уроки и живу своим трудом.

Вера Турчанинова».

Николай прочитал раз, прочитал другой, и вдруг ему сделалось совершенно ясно, что если уж он в кого влюблен, так это в Верусю.

Однако вскоре возникшая после этого весна показала ему, что он ошибается.



Роца и сад.— На навозе.— Свидание.— Николай «развивает» Груньку, и что из этого вышло.— Засада Алешки Козлихина.— Перспектива порки.— «Писатель» Н. Рах — и обаяние печатного слова.— Приезд «студента императорской академии».— Мать и отец.— Дворня приветствует Ефрема.— «Ау! Глебушка!» — Приезд господ.— Новые птицы — новые песни.

Отсеяли яровое. «Передвоили» под гречиху. Налаживали плуги, готовясь «метать» парь. Однодворцы возили навоз из скотных дворов и из огромной кучи позади конюшен. В усадьбе непрерывно гремели порожние телеги, скрипели тяжело нагруженные возы, с утра до ночи раздавались громкие голоса

и понуканья, стоял пронзительный запах аммиака, странно соединявшийся с ароматом цветущих деревьев, с запахом свежеразрытой земли и дегтя. Внизу, по течению Гнилуши, ветловая роща так и кишела птицами. Ничего нельзя было слышать от непрерывного грачиного крика, от треска сухих ветвей и шума бесчисленных черных крыл, от необыкновенной возни на деревьях около неуклюжих, растрепанных, похожих на мужицкие шапки гнезд. В саду природа ликовала с меньшею дерзостью. Здесь не было столь нелепых, столь раздражающих криков, не было такого шума, треска, писка. Здесь щелкали соловьи, нежно стонали горлицы, «турлыкали» иволги, пели малиновки, щуры, пеночки, дрозды, куковали кукушки и вообще хлопотала и устраивалась всякая благозвучная тварь. В роще было темно от густых ветвей; земля там никогда не просыхала; воздух был насыщен запахом сырости, прели, одуряющею вонью каких-то высоких трав с толстыми сочными стеблями. В саду все нежилось и млеало на солнце: теплый ветерок шевелил белоснежные и розовые цветочки деревьев, мягкую ярко-зеленую травку на лужайках, одуванчики, кашку, золотоцвет, лиловые колокольчики, ласкал старые липы, пахучую зелень берез, лапчатые листья кленов. С дуновением этого благосклонного ветерка все растущее как бы пронизывалось веселыми солнечными лучами, как бы впитывало в себя золотистый блеск, разлитый в воздухе. Вот почему даже в липовых и кленовых аллеях, и в беседках из густых акаций, и там, где по-над прудом возвышались старые дубы, тень была какая-то не настоящая, не такая, как в оглушительной ветловой роще, а с зеленовато-золотистыми просветами, с прихотливою игрой солнечных лучей, точно застрявших в густой листве. Гудели пчелы, пели птицы, сильный и сладкий запах насыщал воздух, в голубом пространстве отчетливо вырисовывались цветы вишен, яблонь, черемухи. Одним словом, не в пример сырой ветловой роще, все ликовало здесь чинно, красиво и благопристойно.

Навоз возили на поля, примыкавшие к самому саду. По всему пространству пестрели одинокие фигуры баб и девок, раскидывавших вилами кучи влажного и тяжелого удобрения. Работа была «издельная», от десятины, а потому над ней не требовалось постоянного надзора: нужно было только смотреть, чтобы навоз раскидывался ровно и одинаково. За этим смотрел Николай. Сидя верхом, он переезжал с десятины на десятину и уговаривал «пожалуйста, лучше работать». Его уговоры звучали особою искренностью, потому что как только наступили весенние работы, Мартин Лукьяныч все чаще и чаще начинал ему угрожать побоями «за послабление» и делать строгие внушения.

Две девки работали на десятине, ближайшей к саду. Они были в грубых посконных рубахах, в высоко подоткнутых старых юбках, с голыми выпачканными ногами; на одной был желтый платок, на другой — красный. Та, что была в красном, завидев подъезжающего Николая, перекрылась и сделала так, что платок только отчасти закрыл ее черные волосы, а необыкновенно длинная и толстая коса стала видна от самого затылка. Другая не проявила такого внимания к своей наружности и, смеясь, сказала:

— Вот Миколка-то поглядит, какие мы убранные!

— А паралик с ним,— грубым голосом ответила та, что в красном,— мы не барыни. Навоз раскидывать не станешь обряжаться.

— И-и, погляжу я, Грунька, и привередлива ты! Сама прихорашиваешься, как увидела, а сама ругаешься... Уж чего тут, сохнет сердечко по милому дружочке. Чего скрываться!

— На какой он мне родимец! Возьми его себе, пухлявого черта! Повесь на шею, коли люб. А мне хоть бы век его не видать — не заплачу... И-их, и противна ты мне, Дашка, за эти речи!

И Грунька с ужасно сердитым лицом, с блестящими от негодования глазами изо всей силы воткнула вилы в кучу и с каким-то остервенением стала расщвыривать навоз. Тем не менее опытный глаз Дашки уловил, что она

приложила особенное старание, чтобы казаться ловчее, сильнее и красивее в этой трудной работе.

— Вы чего неровно разбрасываете, черти? — с притворною строгостью сказал Николай, весь красный от радости и смущения. Он не ожидал встретить Груньку.

— А ты слезь да покажи, как надо, — ответила Грунька, не переставая работать, — больно вы умны, на шее-то на мужицкой сидючи.

Николай не нашел, что ответить, и, вынув папиросу, стал медленно закуривать.

— Ты чего ж с самого утра к нам глаз не кажешь? — спросила Дашка.

— Сердиты вы очень, — сказал Николай, не сводя восхищенных глаз с черноволосой красивой и на что-то негодующей девки.

— Поработай-ка с зари — будешь сердит! — смягченным голосом сказала Грунька. — Ты небось чаю да сдобных лепешек натрескался, а мы с Дашуткой пожевали хлебушка, вот тебе и вся еда.

— Да вы в обед приходите в сад... Вон в вишенник. Я вам лепешек принесу, говядины жареной... Право, приходите, а? Дашутка! Придете, что ль? Мы бы с Федоткой всего приволокли, ей-богу!

— Не нуждаются! — отрезала Грунька. — И без вас сыты.

— Придем, чего тут! — со смехом сказала Дашутка; как только подъехал Николай, она бросила работать и, опершись на вилы, улыбалась и смотрела на него лукавыми глазами. — Приноси лепешек поболее, я их страсть люблю. Не все равно отдыхать, — в саду так в саду.

— Кому все равно, а кому нет, — не унималась Грунька, — иди, коли охота, а я не согласна. Люди по полтиннику зарабатывают, а мы с тобой, дай бог, по четвертаку обогнать... с отдыха-ми-то!

— Экая невидаль полтинник, — небрежно выговорил Николай, — из своих собственных доплачу, ежели не обгоните.

— Подавись своими деньгами!.. Не нужны! — крикнула Грунька. — Дашка! Чего стоишь! Не рано.

Николай опять не нашелся, что сказать, и только вздохнул. Девки работали, он сидел на лошади и смотрел, как ловко и красиво управлялась с вилами Грунька. Потом он внимательно поглядел в поле и в сторону сада, не видать ли где отца или вообще кого-нибудь из важных гарденинских людей... Никого не было видно. Тогда он проворно соскочил с седла и, застенчиво улыбаясь, сказал Груньке: «Подержи Казачка, я за тебя поработаю». У той на мгновение блеснули глаза каким-то ласковым и живым весельем... казалось, она готова была засмеяться, но вдруг брови ее нахмурились еще грознее, и с прежним строгим и недоступным выражением она закричала на Николая:

— Уйди к родимцу!.. Без тебя управимся... Ишь работник какой выискался!.. Слоняешься без дела, только людям мешаешь.

Николай не обиделся; он передал лошадь Дашке и, взяв у нее вилы, начал усердно раскидывать навоз. Работа у него кипела. Уже через пять минут он весь обливался потом; еще немного спустя на его ладонях образовались мягкие багровые мозоли, лицо же так и горело. И, несмотря на такие трудности, он всем существом своим испытывал живейшее удовольствие. Дашутка держала лошадь, зорко посматривала по сторонам и делала поощрительные замечания:

— Эка мужик-то что означает!.. Где нашей сестре равняться!.. Смотри, смотри, девушка, он уж другую клетку разчал!.. Ай да Микол!

Грунька упорно молчала. Вдруг Дашка заметила вдали Мартина Лукьяныча на дрожках.

— Бросай, бросай, отец едет! — сказала она торопливо.

Но Николай увлекся.

— Пускай его! — ответил он, вонзая вилы в новую кучу.

— Ей-боженьки, увидит!.. Бери лошадь, оглашенный.. Ах, беспременно увидит!

— Пусть! — упрямо повторил Николай, хотя дрожки Мартина Лукьяныча становились все ближе и ближе.

Вдруг Грунька перестала работать и совершенно другим, до сих пор не свойственным ей голосом сказала:

— Бросай! Чего еще дожидаясь? Охота ругань принимать.

Николай отдал Дашке вилы, сел на лошадь, снял картуз и начал отирать пот с лица.

— Придете, что ль? — спросил он.

— Придем, придем, лепешек-то поболее притащи,— сказала Дашка.

Грунька ничего не ответила и, посмотрев исподлобья на Николая, звонко расхохоталась.

— Придешь, что ли? — спросил он, ужасно обрадованный этим хохотом.

— Ладно, ладно. Вон отец-то смотрит... Уезжай-ка поскорей!

Что отец видел, чем он тут занимается, это уж было несомненно для Николая и чрезвычайно беспокоило его. Тем не менее он стыдился показать девкам, что боится отца, и еще несколько времени постоял около них, прежде чем отъехать к другим работницам. Увы! Мартин Лукьяныч действительно все видел, страшно рассердился и закричал Николаю, чтобы тот подъехал. Николай притворился, что не слышит. Тогда Мартин Лукьяныч привстал на дрожках и заорал неистовым голосом:

— Тебе говорят, анафема, ступай сюда!

Но Николай и на этот раз не оглянулся и поехал дальше. Сердце у него упало.

«Ну, будет теперь!» — подумал он с тоской и, чтобы не отравить нынешнего дня, не испортить свидания в саду во время обеда, решил не показываться отцу до самой поздней ночи, а там будет видно.

Мартину Лукьянычу нельзя было на дрожках преследовать Николая, ехавшего между кучами навоза. Сообразивши это, он крепко выругался, погрозил сыну кнутом и, сказав:

— Ну, погоди ж ты у меня! — проследовал далее.

Николай подождал, пока дрожки скрылись из виду, затем помчался во весь дух домой, наскоро поел, взял тайком от Матрены сдобных лепешек и говядины и, захватив Федотку, отправился на условное место. Там они полежали, лениво перекидываясь словами, выгибаясь, как коты, под горячими солнечными лучами, а когда пришли девки, все уселись в тени развесистой черемухи. Ели лепешки, говядину; хохотали и заигрывали друг с другом. Где-то неподалеку щебетала малиновка. Цветы черемухи сильно пахли; пчелы так и гудели в них. В голубом небе плавали высокие серебристые облака.

Всем было очень весело. Николай совершенно забыл грозящие ему перспективы. Со стороны их можно было принять за пьяных,— так задорно блестели их глаза и горели лица. Но это был хмель весны, цветов, солнечного блеска, молодой крови, бьющей ключом... Дашка сорвала картуз с Федотки и закричала:

— Не пымаешь! — и с визгом пустилась бежать в глубину сада. Федотка побежал за ней. Николай остался один с Грунькой. Она засмеялась, лукаво взглянула на него и потупилась, перебирая бахрому завески. Он робко обнял ее и поцеловал в пылающую щеку... Она только слегка отклонилась. Тогда он придвинулся, еще крепче обнял ее и вдруг в какой-то странной близости от себя увидел ее потемневшие и смягченные глаза, ее смуглое, загорелое лицо с едва заметным пушком на крепких, как яблоко, щеках, ее полукруглый румяный рот с блуждающей улыбкой... ему сделалось ужасно стыдно от этой смиренной и явно подразумевающей покорности.

«Нет, надо обстоятельно переговорить,— подумал он.— Положим, я же-

нюсь... но что она подумает, если не сказать этого?.. О, конечно, женюсь! Она такая прелесть...» — но, вместо того чтоб «обстоятельно переговорить», он сказал дрожащим голосом:

— Куда они, черти, побежали?

Грунька, в свою очередь, почувствовала неловкость и, промолчав на его вопрос, спросила:

— Ругал тебя отец-то?

— Нет, он меня не видал.

— Поди, побьет.

— Ну, уж пускай не прогневаётся!

— Да что ж поделаешь: кабы чужой!

— Чужой не чужой,— это все равно. Человек — не скот, бить его нельзя. Нонче ежели и скот бьют, так и то есть такое общество, вступается и тянет к мировому судье.

— Да что ж ты ему сделаешь?

— Не дамся.

— Обдумал!.. Позовет конюхов, таких-то всыпет!.. Да и как не слухаться; чать, грех.

— Вот ерунда, какой такой грех?

— А еще письменный называешься. Чать, в книгах-то написано.

— В книгах вовсе не об этом написано.

— О чем же? По книгам... есть которые душу спасают.

— Кто спасает?

— Ну, кто... монахи, чернички, странники которые.

— Эка, сказала! Мало ли что необразованный народ делает. Душа! Ты ее видела?.. Понавыдумали, а вы верите. Душа — иносказание, я думаю!

— Что ты, оглашенный! Аль не видал — звездочка падает... Чать, это душа.

— Ну сколько в вас необразования, подумаешь! Ужели я тебе не говорил, как звезды устроены?..— И Николай с пылкостью начал рассказывать об устройстве вселенной. А отсюда перешел к иным предметам, потому что его так и подмывало поскорее опровергнуть Грунькины предрассудки, «развить» ее, внушить ей «настоящее понятие». Он ведь собирался на ней жениться, это — во-первых; во-вторых, «предрассудки» его возмущали; в-третьих, он до того был полон благоговения и веры к тому, что успел узнать и прочитать за последнее время, что никак не мог не распространять своих новых познаний, по мере возможности разумеется; в-четвертых, Грунька тем, что заговорила об отце, напомнила ему чрезвычайно неприятное чувство, оживила скверные ожидания, как-то сразу подрезала крылья его пленительным мечтам и желаниям... Что за мечты, когда приходится страдать от этой непрестанно угнетающей дикости, может быть испытать унижительное обращение, грубую ругань, побои!.. И вот с каким-то внутренним захлебыванием, с какою-то даже жадностью он, всячески изобразив, что есть вселенная, начал рассказывать Груньке, как зачиналась жизнь, как жизнь претерпевала изменения и выливалась все в лучшие и лучшие формы, как люди стали учиться, понимать, уметь, как они достигли того, что сделались совсем умными, всё узнали, всё взвесили, и теперь вся штука в том и состоит, чтоб эти совсем умные люди просветили менее умных... Кто же мешает просвещению? А вот такие отсталые, как Мартин Лукьяныч или Капитон Аверьяныч. «Ты говоришь: не слушаться — грех... Нет, потакать им, позволять, пусть измываются, вот что грех!» — горячо восклицал Николай.

Между тем, по мере того как текли Николаевы слова, по мере того как им все более и более овладевала педагогическая ревность и возрастало свое собственное негодование против отца и грозящих перспектив унижения и срама, по мере того как он, желая, чтобы все было просто и понятно для Груньки

(например, что такое орбита), приискивал слова, путался, выразительно размахивал руками, изобретал сравнения, уподобления, метафоры,— у его слушательницы потухал румянец в лице, пропадала улыбка, холодели и принимали тупое выражение глаза, голова тяжелела и склонялась на мягкую траву... И в то время, когда Николай, заметивши между деревьями красную Федоткину рубашку, приостановился говорить и посмотрел на Груньку, он увидел, что она лежит с закрытыми глазами. Он легонько толкнул ее. Напрасно: Грунька крепко спала, едва слышно посапывая носом.

Николай вскочил, как уязвленный. Не сознавая, что делает, он сорвал листочек с черемухи и, пожеывая его, быстро удалился за деревья. Он больше всего боялся, чтоб его не заметила Федотка с Дашкой. И что-то вроде зависти шевельнулось в нем, когда, притаившись за кустом бузины, он посмотрел на их разгоряченные и счастливые лица, на Дашку в венке из ярких желтых цветов, на Федотку с ее платком, перекинутым через плечо, на то, как они шли, обнявшись, тесно прижимаясь друг к другу... Он же скрылся, точно вор или человек, сделавший постыдное. И эта зависть сменилась чувством горчайшей обиды, когда он услышал и увидел следующее:

— Грунька, Грунька! — сказала Дашка, расталкивая спящую девку. — Куда же Миколка-то девался?

Та приподнялась, протерла глаза и зевнула.

— О, чтоб вас!.. Выспаться не дадут.

— Дружок-то где?

— А паралик его ведает, пухлявого черта! Лопотал, лопотал тут... Я ажно все челюсти повывихнула.

— О, разиня, лихоманка его затряси! Чего лопотал-то?

— Спроси поди. Не то земля вертится, не то ум за разум заходит... Так, непутевый черт!

Федотка и Дашка рассмеялись.

— Ну, посмотрю я, девка, вожжаетесь вы с ним, а толку у вас никакого не выходит,— сказал Федотка.

— А какой же толк-то, по-твоему, нужно? — раздражительно спросила Грунька.

— Известно, какой.

— Ну, уж это отваливай. Много вас, дьяволов.

— Так чего ж тянуть? Взяла бы да и отвадила. Никак, больше года тянете.

— Он ей подарков-то больно много покупает,— проговорила Дашка, как бы извиняя подругу. Но та вовсе не рассчитывала извиняться.

— Наплевала бы я на его подарки! — вскрикнула она. — Экая невидаль! Я сама куплю, коли пожелаю. Так вот связываться не хочется, а то бы я его скоро осадила, блаженного черта!

— Может, женится... — нерешительно заметила Дашка.

— Жениться ему никак невозможно: для них это низко,— возразил Федотка.

Грунька вспыхнула и с необыкновенною злобою закричала:

— Не нуждаются!.. Не нуждаются!.. Уноси его родимец!.. Скажи ему, окаянному, чтоб лучше и не подходил ко мне и не думал... Я ему не какая-нибудь далась... Чтой-то, всамделе, работаешь, работаешь, гнешь, гнешь хрип, а тут... и выспаться не дадут!.. Уйдите,— ну вас к лешему!

Она сердито отвернулась, натянула шушпан на голову и снова улеглась спать.

Николай в глубоком отчаянии удалился из своей засады.

На закате грачи особенно суетились и горланили. Вся роща была переполнена карканьем и непрерывным шумом крыльев. С вершины то и дело падали листья, сучья, хворост, ветви трещали и ломались. Иногда огромная стая с таким дружным натиском облепляла ветлы, так сильно принималась потря-

сать их своими неистовыми движениями, что точно дрожь пробегала по вершинам, в роще пронесся тревожный шорох и шепот... Между деревьями хотя и сквозило розовое небо, тем не менее внизу был распространен какой-то таинственный сумрак. В этом сумраке нелепыми, неправдоподобными очертаниями выделялись корявые, разодранные выпирающими ростками старые ветлы, гнилые, одетые молодой зеленью пни, высокие травы с непомерно жирными листьями, с толстыми стеблями. Дрожь, шорох и шепот, спускаясь с вершины, замирали здесь странными, едва слышными вздохами. Теплая, гораздо теплее, чем в полдень, и пахучая влага насыщала воздух. Он был похож на дыхание, как будто что живое трепетало в этой жирной, ботеющей почве, в этой чаще, в этих травах и содрогалось, шептало, испускало вздохи, переполненные блаженством своего преуспевающего существования. На размытых берегах Гнилуши длинным рядом стояли мелколистые ивы. Закат румянил их. Низко наклонившись над водою, они, казалось, пристально слушали, что болтает беспечно журчащая речонка, такая темная и мутная от недавнего весеннего разгула, такая счастливая, что ей удалось, наконец, убежать от тяжелых и неповоротливых мельничных колес в привольную степь, в тихий Битюк.

Через рощу, от усадьбы к деревне, вела тропинка. По этой тропинке давно уже расхаживал Алешка Козлихин. Он покуривал, посматривал по сторонам, посвистывал. Иногда на тропинке слышались голоса: это возвращались «с навоза» бабы и девки, по две, по три, по мере того как оканчивали работу. И как только раздавались голоса, Алешка прятался за деревья и смотрел, кто идет. Проходили — он опять появлялся на тропинке, посвистывая и поглядывая. Наконец едва не последними показались две девки. Увидав их, Алешка не спрятался, а сдвинув набекрень шапку и посмеиваясь, покачиваясь на босых ногах, помахая прутиком, пошел им навстречу. Девки шли в шушпанах внакидку, громко разговаривали и смеялись. Особенно та, что была в красном платке, смеялась звонко и с какою-то задорною раздражительностью. Алешка, ни слова не говоря, обнял ее.

— О, черт! — крикнула она, изо всей силы ударив его по спине. — Зачем тебя родимец принес?

— А ты думала зачем? — спросил Алешка, оскаливая блестящие зубы и еще крепче обнимая девку.

— А паралик тебя ведает... Знать, делов больно много!

— Делов у нас хватит, не сумлевайся... А ты вот почему не пошла-то за меня, норовистая, дьявол?.. Аль Миколка управителей присушил?

— Повесь его себе на шею! Не виновата я, что он мне проходу не дает. Его ведь по морде не съездишь, как иных прочих... Ха, ха, ха!..

— Это, тоись, нас, деревенских? Ну, смотри, девка, не обожгись! — Алешка состроил шутовское лицо и, снявши шапку, обратился к Дашке: — Дарья Василевна, сделайте такую милость, прибавьте шагу!.. А мы вот перемолвим кое о чем... с суженою со своей, с Аграфеной Сидоровной...

— Подавишься! — крикнула Грунька.

Все захохотали. Тем не менее Дашка быстрее пошла вперед. Алешка принудил Груньку идти тихо, нога в ногу с собою; она вырывалась, звонкая пощечина и звонкий визг смешались с оглушительным грачиным карканьем: это опять влетело Алешке... Потом пронесся раскатистый, захлебывающийся девичий смех, полузадушенные слова: «Уйди, лихоманка тебя...» — потом все смолкло. Только неугомонное карканье, шум крыльев, треск ветвей, журчание речки да невнятное шептанье, вздохи, сладостный трепет всюду разлитой жизни по-прежнему переполняли рощу. Дашка отошла шагов на тридцать, оглянулась: на тропинке никого не было; тогда она спокойно присела на берег, опустила ноги в воду, стала отмывать их, соскабливать прутиком присохший навоз. И только когда поднялась, нетерпение изобразилось на ее бойком,

подвижном лице. «Грунька! — крикнула она в темноту рощи. — Грунька-а-а-а!.. Идите, родимец вас затряси, матушка дожидается коров доить!»

Николай предпочел до глубокой ночи не возвращаться домой, а когда возвратился, то предварительно обошел вокруг флигеля, посмотрел в окна и, уверившись, что отец спит, снял сапоги и в одних чулках прокрался в свою комнату. Наутро было воскресенье. Николай спал всю ночь тяжелым, крепким сном, и, когда проснулся, сквернейшая мысль поразила его: «Ну, теперь начнется!» Одно мгновение он подумал опять скрыться куда-нибудь до глубокой ночи, но ему нестерпимо показалось прятаться, как преступнику, и вечно трепетать. И с стесненным сердцем он решил выждать событий. Матрена внесла самовар.

— Где папаша? — спросил Николай, с притворно равнодушным видом натягивая чулки.

— К обедне уехал. Ну, брат, начередил ты на свою голову! — сказала Матрена.

— А что?

— Вчерась, как воротился, господи благослови, с поля — и рвет и мечет! Меня так-то съездил по шее... За что, говорю, Мартин Лукьяныч. Не так, вишь, солонину разнялá... И-и-и грозён!.. Уж ввечеру дядя Ивлий сказывал: из-за тебя сыр-бор-то загорелся. И ты-то хорош: ну, статочное ли дело управителю сыну с девками навоз ковырять? Хоть Груньку эту твою взять... что она, прынчеса, что ль, какая? Эхма! Не ходбк ты по этим делам, погляжу я!

— Ну, будет глупости болтать, Матрена.

— Чего — глупости... Тебя же, дурачок, жалею.

В это время в передней кашлянули.

Матрена опасливо посмотрела на дверь и прошептала:

— Вчерась велел ключнику Антону прийти... Попомни мое слово — выпороть тебя хочет.

Николай так и похолодел. С младшим ключником Антоном действительно можно было выпороть кого хочешь. Это был отпускной гвардейский солдат, двенадцати вершков росту, придурковатый и рябой. Но делать было нечего... Николай вышел в переднюю умыться, искоса взглянул на Антона.

Тот вскочил, вытянулся, сказал невероятным басом:

— Здравия желаю!

— Ты чего здесь?

— Не могу знать, управитель приказали.

Николай посмотрел на его огромнейшие ручки, на бессмысленно-исполнительное выражение его рябого лица и вздохнул. Затем умылся, пробормотал по привычке «Отче наш» и «Верую во единого бога» и сел у окна, развернув перед собою «О подчинении женщин» Джона Стюарта Милля. Между тем соображал: «Если вправду вздумает пороть, выпрыгну в окно».

У крыльца раздался лошадиный топот. Вот затрещала подножка тарантаса, стукнула дверь... В глазах Николая зарябило. Вот он слышит голос Мартина Лукьяныча: «Ты здесь, Антон? Можешь отправляться». — «Слава богу! Значит, пороть раздумал», — пронеслось в голове Николая; за всем тем он не мог встать и идти навстречу отцу, — ноги его онемели. Отец вошел, Николай с выражением непреодолимого ужаса взглянул на него и... глазам не поверил: на отцовском лице играла самая благосклонная улыбка.

— Ну, здравствуй, писатель, — сказал он, — на вот, читай! Только что с почты получил.

Решительно ничего не понимая, Николай развернул трясущимися руками номер «Сына отечества», остановился на крупных буквах: «Из N-го уезда», прочитал две-три строчки как-то странно знакомых ему слов и выражений, посмотрел на подпись... и радостно взвизгнул: под статейкой красовалось: «Н. Рах—й». Губы задрожали у Н. Рах—го, щеки покрылись красными

пятнами. Сорвавшись с места, он схватил драгоценную газету и выбежал в другую комнату. И там читал и перечитывал статью, по временам отказываясь верить, что это его статья, что это им написано, что это напечатано с тех самых букв, которые он выводил столь рачительно месяца три тому назад. По временам ему казалось, что он спит и видит блаженный сон. Из рукописи было напечатано не более одной четверти; заглавие выброшено, подпись осталась неполная; там и сям пестрели словечки, в которых Николай решительно был неповинен; грозное заключение приняло совершенно иной характер; о Фоме Фомиче, о волостном писаре не было ни полслова; отец Александр затрагивался вскользь... Но Николай ничего не замечал. Он приближал строки к самым глазам и отдалял их от себя, любовался подписью, с каким-то сладострастием втягивал неясный запах типографской краски, не помня себя от столь необыкновенного и неожиданного счастья, и едва мог оправиться и принять скромный вид, когда услышал голос отца: «Никóла! Иди же чай пить».

С четверть часа пили в глубоком молчании. Отец просматривал газеты, сын безучастно скользил взглядом в развернутой книге. Наконец Мартин Лукьяныч отложил газету, закурил папиросу и сказал:

— Это, Николай, хорошо. Ты не думай, что я не понимаю... Описал ты правильно. Касательно разделов так уж набаловались, анафемы, из рук вон. Холеру тоже красноречиво описал. Отец Григорий весьма одобряет, хотя ты и кольнул отца Александра. Писарь Павел Акимыч штиль хвалит... Мне это лестно. Но во всяком разе, чтоб я тебя больше не видал за работой с девками... Опомнись! Управителей сын — и вдруг унижаешь себя!.. Срам, срам, Никóла! Ужели ты не можешь понимать, кто ты и кто они? Надо себя соблюдать, братец. Я понимаю, что ты в эдаком возрасте... Ну, спроси у меня четвертак, полтинник, рубль наконец. Я дам. Ну, купи там платок, что ли... Это ничего. Но ковырять с ними навоз — очень низко. Посмотри, тебя совсем перестали слушаться... Дурака Ивлия — мужика! — слушаются, а тебя нет. Почему? Ты думаешь, мне все равно? Ошибаешься. Мне обидно, когда ты себя унижаешь. Вон, скажут, у гарденинского управителя сынок с крестьянскими девками навоз разгребает... А! Каково это слышать отца?

Николай усердно пил чай, не отрывая глаз от блюбочка. Тогда Мартин Лукьяныч с ласковою укоризной посмотрел на него и, глубоко вздохнув, произнес:

— Ах, дети, дети! — Потом немного погодя: — Письмо получил от генеральши. На днях пожалуют. Юрий Константинович в корнеты произведены, в гвардию... Нонешнее лето лагеря будут отбывать... Кролика разрешено вести в Хреновое... Где эта... статейка-то твоя? Дай-ка... Пойду к Капитону Аверьянычу, надо о Кролике сказать.

В тот же день, после обеда, когда Капитон Аверьяныч по обычаю уснул «на полчаса», его разбудили и сказали, что приехал Ефрем Капитоныч. Это было совсем неожиданно для старика, — Ефрем ничего не писал о своем приезде. В первую минуту Капитон Аверьяныч совершенно растерялся, вскочил с кровати, торопливо схватил платок, потом табакерку, потом очки, — все, что попадалось под руку, — и, откинувши в сторону эти необходимые для него вещи, в одних чулках, с растрепанною головой бросился из-за перегородки. Посредине комнаты стоял молодой человек, высокий, худой, черноволосый, с суровым лицом и насупленными бровями.

— Где мать-то, где мать-то? — бормотал Капитон Аверьяныч, и вдруг нижняя челюсть его затряслась и в голосе послышались беспомощные всхлипывания. Он крепко стиснул Ефрема, начал целовать его голову, лицо, плечи.

— Ну, полно, полно, старина! — задушевым голосом сказал Ефрем.

— Вот и приехал... и приехал... — бормотал Капитон Аверьяныч, — а я думал... тово... уж... тово... и не приедешь!

Но тотчас же после этих растерянно-бессвязных слов он оторвался от сына, быстро привел в порядок лицо и сказал свойственным ему в хорошие минуты твердым и насмешливым голосом:

— Полинял, полинял, брат, в Питере-то! Чай, все с колбасы... Чай, пропах мертвечиной вокруг покойников... Ну, садись, садись. Эка я в каком виде вылетел! — и ушел за перегородку одеваться.

Минуту спустя конюх Митрошка, первый встретивший Ефрема и теперь стоявший у дверей в ожидании приказаний, услышал из-за перегородки уже совершенно хладнокровный и неторопливый голос:

— Принеси-ка, малый, воды на самовар. Да куда мать-то девалась? Разыщи-ка, позови. Ты, Ефрем, обедал али нет? Чего же не написал лошадей выслать? Охота на ямщиков тратиться. Все-то вы не подумавши делаете!

Ефрем снял запыленную сумку с плеча, снял и повесил на гвоздик выцветшее, из жиденькой материи пальтецо и, оглядывая с чувством какого-то неприязненного любопытства низенькую и душную комнату, сел у стола. «Вот и к пенатам воротился!» — подумал он. Все те же часы с кукушкой и с куском заржавленного железа на левой гирьке, тот же комодец красного дерева, облупившийся по углам и около замков, те же портреты лошадей в желтых рамках, сохранивших местами следы позолоты, та же «неугасимая» лампада перед образами, тот же засиженный мухами вид Афонской горы с богородицей на облаках... Все то же, что и семь лет тому назад, только потускнело, полиняло и уменьшилось в размерах. Но от всего этого, исстари знакомого и привычного, на Ефрема веяло холодом и отчужденностью. И когда снова вышел отец и заговорил с ним, путаясь в словах и перескакивая с предмета на предмет, когда примчалась мать и бурно бросилась к нему, оцепила его судорожными объятиями, увлажнила изобильными слезами его щеки, к которым прижималась лицом, запричитала и заголосила нежные и трогательные слова, — Ефрем еще более почувствовал эту отчужденность от прежней жизни, что-то неестественно-напряженное внутри себя, какую-то странную оцепенелость мыслей и движений.

Мать наливая чай, придвигала к нему то лепешки на юраге, то яйца всмятку, то нарезанную узенькими ломтиками ветчину... и беспрестанно поглядывала на него, а слезы сами собою текли по ее сморщенным щекам. Отец шуточно спрашивал, каково живется в столице, по сколько раз в месяц обедают студенты, чем спасаются от вони, когда режут покойников, правда ли, что едят кобылятину. («И, уж Аверьяныч! Что выдумаете!» — восклицала мать с улыбкой и тайным страхом, впиваясь в худое, зеленоватое лицо сына.) И, переставая спрашивать, рассказывал, что в заводе есть такой приплод — пальчики оближешь; что сегодня получено разрешение вести Кролика в Хреновое («Помнишь небось Витязя-то я купил в Пада́х? Ну, так от Витязя»); что и управитель жив-здоров, и Фелицата Никаноровна такая же, и кучер Никифор Агапыч по-прежнему смутьян и недоброжелатель... «А Дымкин-то Агей! Мы, кажись, писали тебе?.. Помер, помер. И какой закостенелый! На смертном одре не вразумился. Как жил афеистом, так, царство ему небесное, и прикончился. Упорный человек! Теперь уж мне управителей сын письма пишет, Николай. Тоже вот из вашего брата, из верхолетов! Нонче отец-то ведомости приносил, хвастается — сын статейку в ведомостях пропечатал... Что ж, кому дано! Только фамилию-то не вполне проставили, должно быть пороху не хватило в статейке. Своим умом, видно, не очень дойдешь». Ефрем притворялся, что все это очень любопытно ему... Но по мере разговора в выражении его лица, в звуке голоса все чаще и чаще начинало сквозить то непонимание и равнодушие, с которыми он всячески боролся внутри себя. Был момент, когда Капитон Аверьяныч смутно почувствовал это, и сердце его сжалось от какого-то горького и боязливого ощущения, но опьянение радостью еще сильно волновало его и тотчас же заслонило трезвый просвет мысли. Увидавши большой Ефремов чемодан,

крепко, в несколько узлов связанный веревками, он весело подмигнул Ефрему из-под очков и сказал:

— Небось гардиропец-то у вас жидковат, — книжки одни?

— Книжки, — неохотно ответил Ефрем.

— Все по лекарственной части?

— Да, больше медицинские.

— Господи! Экую прорву заучить! — с ужасом и негодованием взглядывая на чемодан, воскликнула мать.

— А ты как думала? Тяп да ляп, матушка, не состроишь *карап*, — сказал Капитон Аверьяныч. — Небось одну стантовую жилу выследить — книжек пятнадцать надо прочитать (он немножко мараковал по коновальной части).

Мать взглянула на испитое лицо Ефрема... слезы так и брызнули из ее глаз.

— А где же вы меня устроите? — спросил Ефрем, подумав, что хорошо бы теперь остаться одному.

— Да где же... — выговорил Капитон Аверьяныч и, значительно посмотрев на жену, сказал: — Вот что, мать, перетаскивай-ка перину-то в клеть, нам все единственно... А ты, брат, здесь устроишься.

— Но зачем же? Я ведь тоже могу в клеть.

Но мать так и привскочила.

— Что вы, что вы, Ефремушка! Да там ни столика, ни кровати, крыша без потолка — еще глазки засорите... пол земляной — голыми ножками наступите, распростудитесь!

— А вы-то как же?

— Вот уж выдумали — мы! Нам все равно, мы привычны. Да там и оконцато нет, и хлев рядом...

Ефрем упорствовал.

— Ну, чего еще толковать! — строго выговорил Капитон Аверьяныч. — Сказано, чтоб перетаскать перину, вот и все. А ему приготовить. Да столик к окну, чернильницу... Пошли в контору перьев и чернил взять. Книги можно в шкапчик, посуду-то выбери. Замкнут, что ль, чемодан-то? Она бы тут разобрала.

— Это я сам... Я разберусь ужо... Пожалуйста, не надо!

— Ну, что ж теперь?.. Не желаешь ли завод посмотреть? Теперь, брат, не узнаешь: скоро на всю Расею загремим... Пойдем-ка, прикажу выводку сделать... А мать тем местом уберется.

Ефрем надел широкополую шляпу. Мать тревожно взглянула на него, посмотрела на передний угол и нерешительно произнесла:

— Ох, Ефремушка... вы бы шапку-то...

Отец нахмурился. Ефрем с неловкой улыбкой снял шляпу и, по примеру отца, лишь выйдя в сени, накрыл голову. Пошли на конный двор. По дороге встречались знакомые Ефрему лица, странно изменившиеся за эти семь лет; к нему подходили с искренне и притворно-радостными улыбками, здоровались, спрашивали; почетнейшие протягивали руку, соболезновали, что он «так заучился» — худ и бледен. Ефрем с любопытством осматривался, видел все те же конюшни, флигеля, барский дом, мимо которого пробежал, бывало, в страхе и трепете с шапкой в руках... те же зеленые вершины сада, деревню вдаль, ясное и широкое зеркало пруда... и думал о том, как все это поразительно уменьшилось и потускнело за семь лет, как мало соответствовало его воспоминаниям. И с каждым шагом, с каждой новой встречей он все более и более чувствовал, как утолщалась преграда между тем, что было *прежде* и что — *теперь*, и как не в его силах сломить эту преграду. А Капитон Аверьяныч шел впереди, выпятив грудь, гордо подняв голову, и с восхищением размышлял, как он поразит Ефрема детьми Недотроги 3-го и Витязя и вообще всем, чем он за это время так усовершенствовал завод.

Тем временем мать, вместо того чтобы перетащить в клеть перину, сбросила с нее одеяло из ситцевых клочков, засаленные, без наволочек подушки, грубую холстяную простыню, отправила все это в свое новое убежище, а сама сбегала к Фелицате Никаноровне, принесла оттуда барский графин, два барских подсвечника с розетками, две стеариновых свечи, старый, измызганный барскими ногами коврик и кое-где продырявленное, но снежной белизны постельное белье и пикейное одеяло. Затем торопливо разулась, скинула платье и, высоко подоткнув юбку, стала мыть полы. Пот лил градом с ее морщинистого и точно закоптелого лица, по ступням и худым икрам струилась грязная вода, вдавленная грудь дышала часто, с каким-то непостоящим хрипением, тем не менее вся она сияла и счастливая улыбка не сходила с ее губ. Вымывши чисто-начисто полы, она разостлала дорожки и принялась убирать за перегородкой. Задыхаясь и покраснев от усилия, перетащила туда чемодан, взбила перину, покрыла ее барским пикейным одеялом, положила у кровати старательно вычищенный коврик, придвинула стол к окну и, постлавши заветную «камчатную» скатерть, симметрично расставила барские подсвечники, чернильницу и графин с свежей водою; над изголовьем прибила трясущимися от усталости руками маленький образочек — «ангел Ефремушкин». Потом заботливо осмотрелась, поправила завернувшийся край одеяла, подняла соринку с пола, надела опять платье, причесала спутанную голову, умылась... и, опустившись на колени перед «Ефремушкиным ангелом», долго молилась, беззвучно всхлипывая, быстро шевеля увядшими губами, вытирая обильно лившиеся слезы уголками платка.

Когда возвратились с конного двора, самовар снова появился на столе. Один за другим приходили почетные люди дворни приветствовать Ефрема, расспросить о питерских новостях и житье. Тут были и кучер Никифор Агапыч, и повар Фома Лукич, и старый наездник Мин Власов, и конюх Василий, и ключник Дмитрий, и много других; забегала на пять минут и Фелицата Никаноровна, несмотря на свое скрытое недоброжелательство к Ефрему за его «самоволие» и поступок с дворецким. Большинство приходивших никогда не бывали «в гостях у конюшего»: их общественное положение было слишком низко для этого, но теперь все сгладилось, всякие различия потеряли смысл. Кто ни приходил — смело садился к столу и брал как должное стакан чаю из рук сияющей «матери». И спрашивали Ефрема: почем говядина в Питере, хороши ли лошади, сколько получают жалованья кучера, часто ли он видел государя императора, как широка Нева, много ли поместится народу в Исаакиевском соборе, правда ли, что есть такие дома, в которых жителей больше, чем в городе Боброве? Из всех присутствующих один только повар Лукич был в Петербурге, да и то тридцать пять лет тому назад.

— Ну, что вы его спрашиваете? — шутил Капитон Аверьяныч. — Потрошил покойников, выслеживал, какие есть суставы в скелете, — вот и вся его питерская жизнь. Захотели толку от студента императорской академии! Ты, Ефрем Капитоныч, видал ли Исакий-то?

— Что уж выдумаете, Аверьяныч! — застенчиво улыбаясь, возражала мать. — Ужель уж они божий храм пропустят?

Но все понимали, что за такими шутками Капитона Аверьяныча скрывается твердая и горделивая уверенность, что Ефрем все видел и все знает.

Наконец часов в одиннадцать ночи Ефрема оставили одного. Как только затворилась дверь за матерью (она ушла последняя), он с облегчением вздохнул и потянулся. Та необыкновенная усталость, которая происходила от непрестанного напряжения, от мучительного старания быть внимательным, искать недающиеся слова, показывать интерес к чуждым и решительно неинтересным вещам, — усталость от усилия казаться своим человеком среди этих людей исчезла в Ефреме и он, отгоняя неприятные мысли, назойливо прихо-

дившие в голову, осмотрел свое помещение, открыл чемодан, начал выкладывать оттуда книги... Впрочем, вынул только часть книг; остальные же — тоненькие брошюры на манер лубочных — оставил в чемодане; потом замкнул его, попробовал, не отпирается ли замок, и с заботливым видом спрятал ключ. После этого нечего стало делать; одну минуту Ефрем подумал было написать письмо, сел за стол, положил перед собою листочек почтовой бумаги, но, вместо того чтобы взять в руки перо, потрогал пальцем граненые розетки на барских подсвечниках, презрительно усмехнулся и задумался. Мысли его невольно прицепились к тому человеку, к которому он хотел писать, и вообще к той, покинутой им теперь жизни. Воспоминания, точно обрывки разорванной картины, лениво двигались перед ним. Споры, сходки, кружки, партии, фракции... Разгоряченные лица, заунывный напев «Дубинушки», смелые слова, бесповоротно-дерзкие решения, широкие планы... «Граждане сего скопища! Торжественно провозглашаю: все ваши планы и дебаты суть ерунда без господина народа!» — покрывая шум, кричит огромный человек в красной рубахе с золотыми кудрями на голове. Кто это? Он сильно упирает на «о», размахивает руками, добродушно подмигивает, когда ему кажется, что сказал остроумно. По лицу Ефрема пробегает ласковая, такая же застенчивая, как у матери, улыбка, и пленительно изменяет суровое и твердое выражение его губ. Он решительно схватывает перо, пишет острым, странным, каким-то готическим почерком: «Ау, Глебушка! Где ты? Ужель не протурили тебя с того вождельного седалища, откуда ты мечешь громы на кулаков, кабатчиков и всякого сорта кровопийц? Ужели не поссорился еще с волостным старшиной и ладишь с посредником и, безбоязненно посрамляя свое человеческое достоинство, вытягиваешь руки по швам перед исправником и предводителем?.. Не особенно надеюсь на это, а потому пишу окольным адресом, «между нами говоря», как выразился бы враг наш по политике и друг по темпераменту, — Михей Воеводин. Кстати, не встретил ли ты его где-нибудь по лицу земли русской? Не вверг ли в подведомственную тебе кутузку сего подвижника «государственности», вечного зоила наших культурных, «безгосударственных» планов? Что касательно меня, — на перине, друг, сплю! Отец и кстати и некстати величает «студенком императорской академии». Бедняжка мать говорит мне «вы». Попечений — масса; всяких бушменских и трогательно-глупых разговоров несть числа! А ежели серьезно-то говорить — ах, друг, как горько и какая тоска! Мы, дети «разночинцев», принуждены, кажется, испить чашу еще прискорбнее, нежели «сыны так называемого народного бича»... Те все-таки переходили к «сливкам-то» знания не прямо от «трех китов», а ведь наш-то брат именно, именно от «трех китов» переходил. У тех — «совесть» разных калибров с «отцами», а у нас — все, вплоть до физиологических и анатомических различий... Полюбуйся-ка на моего отца: что за богатырь! А твой покорнейший слуга... сам знаешь, к какому приведен остатку греческими кухмистерскими, наукой, уроками, кондициями, всякими вольными и невольными истязаниями плоти и духа... Да, так я на родине. Приветливо шумят дубы и липы... правда, не мои, а господ Гардениных. Что еще написать? Со дня на день ждут «господ». В сущности, пренеприятнейший сюрприз этот приезд, боюсь — не стерплю и удеру. И без того все чаще и чаще мелькает мысль: зачем я здесь? Стариков ужасно жалко... особенно мать: такая она беспомощная, забитая, так страдальчески и самоотверженно любит... Друг, друг! А все-таки прав Гуски у Шпильгагена: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Некогда нам любить, некогда нам жалеть, некогда щадить семейственные крепки... Вперед!.. А впрочем, это уж, кажется, пошла лирическая материя... Знаешь ли, какой вопрос самой огромной важности в здешних местах? Аграрный? Экономический? Школьный? Отнюдь. Самый важный вопрос: выиграет или не выиграет приз сын Витязя и Визапурши? Впрочем, все уверены, что выиграет. Это — в усадьбе. Какие фигурируют вопросы в деревне, не успел еще узнать; да боюсь, и трудно мне

будет в положении «сынка» конюшего и отдыхающего на вакациях «студента». Ты не поверишь, тут все поведение под стеклом; я же намерен всячески остерегаться и никого не беспокоить. «Литературу» из Питера взял, вон лежит под кроватью, но в дело вряд ли пущу. Отдам «долг природе», проживу, сколько хватит сил, с моими первобытными стариками и тогда уж — «Смело, братья! Туча грянет, закипит громада волн»...

Вдруг к стеклу неосторожно приплюснулся чей-то нос. Стекло затрещало. Ефрем быстро распахнул раму... мелькнули испуганно-любопытные лица, тени трех или четырех человек пересекли светлый четырехугольник, послышались торопливо удаляющиеся шаги, шептанье, сдержанный смех... «Однако любознательный здесь народец!» — пробормотал Ефрем и, спрятавши недописанное письмо, потушил свечи.

Спустя несколько дней в Гарденине наступила живейшая суматоха. С раннего утра мыли экипажи, с особенною тщательностью чистили выездных лошадей, поденные бабы разравнивали дорогу на плотине, посыпали песком дорожки и площадку перед домом; балкон убрали цветами, на парадном крыльце разостлали ковер; повар Лукич выкупался, облекся в белую куртку, фартук и колпак, растопил плиту, затребовал провизию; лакей Степан выветрил слезавшийся и отдававший камфорою фрак, вычистил сапоги, надел белый галстук; конюший, управитель, экономка в свою очередь прифрантились; зато Николай и Ефрем казались особенно угрюмыми и прилагали возможное старание не попадаться на глаза старикам. Пришла телеграмма о приезде господ. Вечером, когда по расчету вот-вот должны были показаться барские экипажи, у парадного подъезда собралась большая толпа. Впереди стояли конюший и управитель — оба в сюртуках солидного покроя, с торжественными лицами; за ними — заслуженные, старинные дворовые; дальше — кто помоложе и женщины. Фелицата Никаноровна бегала с подъезда в дом, из дома опять на подъезд, беспрестанно всматривалась своими подслеповатыми глазками, не виднеется ли карета. Наконец от плотины вихрем промчалась толпа ребятишек с криками: «Едут, едут!» Все обнажили головы. Четверня рыжих подкатила к подъезду. Мартин Лукьяныч ринулся к карете, отворил дверцы. Капитон Аверьяныч неловко сгорбился, помогая соскочившему с козел Михайле откинуть подножку. Показалось томное лицо Татьяны Ивановны. Дворня с приветствиями, с низкими поклонами, с радостными лицами окружила ее. «Очень рада... очень... рада. Как ты постарела, Фелицата!» — устало улыбаясь, говорила Татьяна Ивановна, в то время как управитель и конюший целовали ее руку, а экономка, всхлипывая, но с сияющим лицом, прикладывалась к плечу. Вслед за матерью, отстраняя управителя и конюшего, выпрыгнула Элиз. «Здравствуйте, Мартин Лукьяныч!.. Здравствуйте, Капитон!..» — выговорила она, пряча руки, застенчиво улыбаясь и краснея. «Царевна ты моя ненаглядная!» — ринулась к ней Фелицата Никаноровна; Элиз обняла ее и, глубоко растроганная, крепко, в обе щеки поцеловала. Старуха так и залилась слезами. Из подъехавшей затем коляски вышел Раф с гувернером, и его окружила дворня; расточали лстивые слова, ловили и целовали руки... «О, русски мужик — чувствительни, деликатни мужик! — внушительно говорил Рафу немец Адольф Адольфыч, — русска дворянин имеет обязанность благодеть на свой подданный!» Тем временем Татьяна Ивановна благосклонным мановением головы раскланялась с дворней и в сопровождении управителя, конюшего, экономки, лакея Степана и еще трех-четырех почетнейших лиц вошла в дом; в передней она остановилась, снимая перчатки, милоство посмотрела на предстоявших, поискала, что сказать... Вдруг грустная улыбка показалась на ее губах:

— Бедный Агей... умер? Неужели нельзя было помочь? Надеюсь, ты, Лукьяныч, выписал медикаменты? — Личико Фелицаты Никаноровны искажилось, она хотела что-то сказать и не могла и, чтобы скрыть свое волнение, бросилась к Рафу, с которого по крайней мере полдюжины рук стаскивали

шинельку: «Ангелочек ты мой!.. Красавец ты мой!.. Уж и вы, батюшка, в казенном заведении!..» На Рафе была пажеская курточка.

— Все меры прилагали, ваше превосходительство,— с прискорбием отвечал Мартин Лукьяныч,— воля божья-с!

— Да, да...— Татьяна Ивановна легонько вздохнула.— Ну что, Капитон, к тебе сын приехал? Очень рада. Вот отдохну, можешь привести, посмотрю.

— Слушаю-с, ваше превосходительство. Он по глупости неудовольствие вам причинил... Простите-с. Молод-с.

— Ничего, ничего, я не сержусь. Очень вероятно, что Климон неудачно исполнил мое поручение. Не беспокойся, Капитон. В Хреновое отправил эту лошадь?

— Никак нет-с. Послезавтра думаем.

— А!.. Ну, можете идти. Да, Лукьяныч! Обед по случаю нашего приезда, угощение, награды — все как прежде.

— Слушаю-с. С докладом когда прикажете являться, сударыня?

— Как всегда, я думаю... И ты, Капитон, являйся. Утром. Идите с богом.

Дворня тем временем кишела у девичьего крыльца, куда подъехал тарантас с тремя петербургскими горничными: Амалией, Христиной и Феней. В кухне отчаянно барабанили ножи.

Управитель и конюший медленно возвращались домой. Оба они были довольны встречей, но им предстояли всякие заботы, и потому оба были задумчивы.

— М-да... Хреновое...— бормотал Капитон Аверьяныч,— если бы только Цыган этот...

— Э! Охота вам опять о Цыгане! Поверьте, отличнейший наездник,— утешал Мартин Лукьяныч, сам думая совсем о другом.

По дороге из степи показались два человека: один размахивал каким-то листом, другой шел, потупив голову.

— А это ведь наследники наши,— сказал Мартин Лукьяныч.— Чем бы госпожу встретить, они, покорно прошу, где прохладяются!

— М-да,— пробормотал Капитон Аверьяныч, угрюмо сдвигая брови,— новые птицы, новые песни...— и неожиданно добавил,— а все оттого, что пороли мало!

Шли действительно «наследники». Они познакомились только вчера. Ефрем держал в руках «Сын отечества» с статьей Н. Р—го и говорил:

— Семейные разделы, поборы попа,— вы думаете, это очень важно? И вам представляется — будут всякие блага, если поп станет брать меньше? И в разделах, значит, усматриваете прискорбный факт? Вы сами-то с удовольствием бы очутились в шкуре детей этого Веденя, о котором рассказываете?

— Но ведь разор, Ефрем Капитоныч...— робко возражал Николай.

— А кто виноват? Вы разве не думали об экономических условиях? Разве не лучше бороться с общими причинами разорения?.. Мы с вами, например, фактически отделены от наших родителей. Но представьте, что какой-нибудь досужий корреспондент скорбит об этом, рекомендует навек закрепостить нас вот тут, в этом благословенном болоте,— Ефрем махнул рукою по направлению к усадьбе,— потребует, чтобы мы повиновались «главе семьи», встречали бы без шапок какую-нибудь госпожу Гарденину... Что бы вы сказали досужему корреспонденту?

— М-да... об этом придется поломать голову,— отвечивал Николай, стыдясь за свою статью и за свои «дикие» мнения, но вместе с тем не решаясь сразу согласиться с Ефремом.



Что чувствовал Капитон Аверьяныч к Ефиму Цыгану.— Как он проверял свои чувства.— Ефремова несостоятельность.— Сборы на бега.— Кузнец Ермил.— Степь и странности Ефима Цыгана.— «Зовет!» — Лошадиный город.— Новости.— Княжой наездник Сакердон Ионыч.— Хреновская Далила.

Ефим Цыган был превосходный наездник; Кролик сделал под его руководством невероятные успехи; а между тем Капитон Аверьяныч мало того что не любил Ефима, но чувствовал к нему какое-то отвращение, смешанное с странною и необъяснимою боязнью. Главным образом это началось с зимы и все увеличивалось по мере того, как наступала весна, приближалось время вести Кролика в Хреновое. Да и все чувствовали страх перед Ефимом. Это по преимуществу было заметно, когда запрягали Кролика. Цыганские глаза Ефима загорелись тогда каким-то диким огнем, синеватые губы твердо сжимались, все лицо получало отпечаток мрачной и сосредоточенной остервенелости. Он не волновался, не кричал, у него не тряслись руки, как у Онисима Варфоломеича, но вид его был настолько выразителен, такой запас неистовой страсти чувствовался за его наружным хладнокровием и размеренными движениями, что конюха ходили около него, как около начиненной бомбы. И, разумеется, все делалось быстро, отчетливо, в гробовом молчании. Один держал повод, двое затягивали дугу, четвертый продевал ремни сквозь седёлку, пятый раскладывал по сторонам оглобель вожжи и подавал их концы Ефиму, чтобы тот самолично пристегнул пряжки к удилам; Федотка, в качестве поддужного, как врытый сидел в седле, затаив дыхание, впиваясь широко открытыми глазами в Ефима, чтобы, чего боже сохрани, не пропустить знака, вовремя приблизиться к дуге. Капитон Аверьяныч восхищался таким порядком, говаривал, что «у них» запрягают по «нотам», но вместе со всеми не осмеливался даже звуком голоса нарушить стройность этой отчетливой, лихорадочно-быстрой и молчаливой работы, потому что боялся Ефима.

Разумеется, об этом и не подозревали в Гарденине. Да и самому себе Капитон Аверьяныч ни разу не сознавался, что чувствует страх перед «каким-то наездником», тем более что не мог объяснить себе, что именно в Ефиме возбуждает такой страх. Когда Ефим напивался, становился буен, дерзок, лез в драку, когда его несчастная жена с окровавленным лицом выбегала из избы, оглашая всю усадьбу воплями и причитаниями, Капитон Аверьяныч совершенно безбоязненно брал свой костыль и шел усмирять Ефима или приказывал связывать его и собственноручно замыкал в чулан. Но именно во время «трезвого поведения» Ефима, когда дело у него великолепно спорилось, когда конюха в рысистом отделении ходили «по струнке», лошади блестели как атлас, Кролик «бежал» удивительно, — в Ефиме появлялось что-то такое, чего Капитон Аверьяныч не мог объяснить себе. Мало-помалу мысли об этом положительно стали мучить Капитона Аверьяныча и даже повергать его в какую-то неопределенную тоску. Он заговаривал о Ефиме с тем, с другим, с третьим, разумеется всячески стараясь не выказывать своих опасений и своей безотчетной тревоги, потому что это было бы очень уж смешно и унижительно.

Так однажды, сидя дома за вечерним чаем, он ни с того ни с сего покинул недопитый стакан, торопливо оделся, взял костыль и, ни слова не говоря изумленной жене, направился к Мартину Лукьянычу. Там тоже пили чай.

— Вот и я,— с некоторым замешательством объявил Капитон Аверьяныч,— нацеди и мне, Николай Мартиныч! Чтой-то у нас вода ноне плоха... не то самовар давно не лужен?

Долго говорили о совершенно посторонних предметах,— даже о политике и о том, могут ли обретаться мощи ветхозаветных пророков, или это им не дано. Вдруг Капитон Аверьяныч, как-то потупляя глаза, спросил:

— А что, Мартин Лукьяныч, насчет Ефима Цыгана... как думаете?

— Что ж, кажется, отличнейший наездник: Кролик бежит на редкость.

— Да, да... бежит в лучшем виде.

Разговор опять начался о другом. Но через десять минут Капитон Аверьяныч спросил снова:

— Ну, а вообще насчет Ефима... как он на ваш взгляд?

— Что ж и вообще... Да вы, собственно, о чем?

Капитон Аверьяныч решительно не мог объяснить, о чем он, в сущности, спрашивает.

— Ну, насчет поведения... и тому подобное,— выговорил он, запинаясь.

— Вот поведение... Груб он, кажется, и пьет.

— Он, папаша, пить совершенно бросил,— вмешался Николай,— с самых сорока мучеников.

— Видите, и пить бросил? Что ж, Капитон Аверьяныч, на мой взгляд, он и поведения достойного. Народ держит в струне, это я отлично заметил, лошади в порядке, не пьяница, не вор, не смутьян.

— Да, да...— задумчиво подтверждал Капитон Аверьяныч и, помолчав, нерешительно добавил: — Вот пить... Отчего он пить бросил? Это хорошо, что об этом толковать, но отчего? Вдруг взял и сразу кинул!

Мартин Лукьяныч засмеялся.

— Не понимаю, Капитон Аверьяныч, решительно не понимаю! — воскликнул он.— По-моему, образумился человек, вот и все.

Капитон Аверьяныч покраснел: он терпеть не мог, когда над ним смеялись; кроме того, почувствовал нелепость и несообразность своих слов.

— Ефим — нехороший человек,— решительно заявил Николай.

— Чем нехороший? — с живостью спросил Капитон Аверьяныч.

— Как чем?! Вы посмотрите на его обращение с народом... Например, с Федотом. Ведь он решительно не признает в них человеческого достоинства. Ругается, дерется!.. А с женой что делает?..

— Ну, понес! — воскликнул Мартин Лукьяныч.— У конюха достоинство, брат, одно: ходи по струнке. Без этого ни в одном деле порядка не будет. А не ходит по струнке, поневоле морду побьешь анафеме. Что же касательно жены, так это, брат, люди поумней нас с тобой сказали: их не бить — добра не видать.

— Подлинно пальцем в небо попал,— сказал Капитон Аверьяныч, с видом разочарования отворачиваясь от Николая.

Опять заговорили о другом. Однако через час Капитон Аверьяныч возвратился к Ефиму:

— Чтой-то есть в нем как будто...

— Да что же вы замечаете?

— Есть эдакое... дух эдакий... Какое-то такое, как будто бы... эдакое!

— Грубит?

— Ну, вот еще! Посмотрел бы я, как он мне согрубит,— и Капитон Аверьяныч выразительно постучал костылем.— А зазубрина какая-то в нем... язва какая-то.

— Разве вот зол он?

— Что мне за дело, зол он али нет? Лишь бы обязанность свою соблюдал.

— Но тогда, позвольте-с, чего же еще требовать от человека? — с досадою

воскликнул Мартин Лукьяныч и, сжавши в кулак все пять пальцев, сказал: — Наездник отличнейший! — и разогнул мизинец.

— Нечего и говорить,— согласился Капитон Аверьяныч и с любопытством начал смотреть на пальцы Мартина Лукьяныча, точно ожидая, что вот тут и выяснится таинственная причина его беспокойства и страха.

— Не вор,— отсчитывал Мартин Лукьяныч,— не смутьян; не пьет. Коныхов держит в ежовых рукавицах... Да позвольте-с, чего ж вы еще хотите от человека? — И, разогнув все пять пальцев, он с торжеством показал Капитону Аверьянычу чистую ладонь. Тот посмотрел на ладонь, вздохнул и стал прощаться.

— Нет, нет, это вы напрасно, Капитон Аверьяныч,— провожал его хозяин,— я так думаю, что нам решительно сам господь послал такого наездника.

— Да, да...— безучастно согласился Капитон Аверьяныч и, ощупывая костылем дорогу, постукивая в стены, около которых приходилось идти, замурлыкал себе под нос тот напев, который обозначал тоскливое и недоумевающее настроение его духа.

Когда волнение от приезда Ефрема улеглось в Капитоне Аверьяныче,— что, кстати сказать, случилось на другой же день,— он попытался привлечь и сына к разрешению мучительных своих недоумений. Медлить было некогда, ибо на днях предстояло послать в Хреновое.

— Поговори-ка с ним... Вглядись в него хорошенько, в идола,— сказал Капитон Аверьяныч,— может, тебе со стороны-то будет виднее.

Чтобы сделать удовольствие отцу, Ефрем сходил в рысистое отделение, посмотрел на Цыгана при запряжке и, пожимая плечами, сказал отцу:

— Я на твоём месте сейчас же бы прогнал его.

— А что?

— Да так... Возмутительно разбойнику давать власть. Холоп, который ценит лошадей выше человека.

— Ты вот о чем! — с неудовольствием проговорил Капитон Аверьяныч. — Умны вы, погляжу...

— А я уверен, что ты в душе согласен со мною,— настаивал Ефрем, — ведь наездник он хороший, говоришь? А между тем неприятен тебе. Почему же? Ясно, потому, что возмутительно обращается с народом. Ты не хочешь сознаться, но это так. Самое лучшее — уволить его.

Капитон Аверьяныч насупил, скрипнул зубами,— то, что говорил Ефрем, было, по его мнению, ужасно глупо,— он стерпел, оправдывая Ефрема неопытностью, и спустя четверть часа сказал:

— Да ты видал ли его на дрожках? Сходи-ка на дистанцию, посмотри, что он, окаанный, выделяет.

Ефрему не хотелось отрываться от книги, которую он тем временем только что развернул; однако пришлось идти. Сели в беседке, дождались Ефима. Федотка скакал под дугою. Кролик совершал обычные чудеса в железных руках Ефима. Капитон Аверьяныч так и пламенел от восторга. «Каково, каково! — с несказанным видом возбуждения восклицал он, беспрестанно подталкивая скучающего и равнодушно смотрящего Ефрема.— Сбой-то... сбой-то каков!.. Тьфу ты, канальский человек!.. Так прогнать? Так уволить?.. Эх вы, верхолеты!..» В это время Федотка как-то не справился и отстал от дуги. Оливковое лицо Ефима исказилось невероятною злобой; яростным голосом он изругал Федотку. Капитон Аверьяныч в свою очередь закричал на Федотку и погрозил костылем. Ефрем покраснел, глаза его загорелись недоумением; ни слова не говоря, нахлобучил он шляпу, круто повернулся и быстрыми шагами ушел с дистанции. Когда Федотка опять летел около дуги, Капитон Аверьяныч оглянулся и увидал уходящего сына. «Эхма!» — произнес он и мрачно загудел «Коль славен...»

Кролика снаряжали в Хреновое. Надлежало быть на месте недели за две до бегов. Кроме наездника, решено было отправить поддужного Федотку и кузнеца Ермила. Сам конюший предполагал поехать позднее.

Накануне отправки Капитон Аверьяныч призвал Федотку, выслал из комнаты «мать»,— Ефрема на ту пору не было,— и, прежде чем заговорить, долго сидел за столом, с угрюмым видом барабанил пальцами. Несколько оробевший Федотка переступал с ноги на ногу, мям в руках шапку.

— Ну, вот, едешь...— с расстановкою выговорил Капитон Аверьяныч. — Был ты обыкновенный конюшишко, но теперь на тебя обращено внимание. Можешь ты это понимать?

Федотка с напускною развязностью тряхнул волосами.

— Мы завсегда можем понимать, Капитон Аверьяныч.

— Ты не очень языком-то лопочи. Знаешь, не люблю этого. Я говорю: вот на тебя обращено внимание. Будешь ли скакать под дугою, нет ли, с каждого приза полагается тебе десять целковых. Это ежели первый приз. Что же касательно второго или, чего боже сохрани, третьего, будешь награждаться по усмотрению.

— Мы завсегда, Капитон Аверьяныч... Как вы сами видите наше старание...

— Я что сказал? Не лопочи! Что ты, братец, языком-то основу снуешь? И то я замечаю, ты что-то развязен на слова становишься. Остерегайся, малый, я этого не люблю.

— Слушаюсь-с, Капитон Аверьяныч.

— Так вот... Но старайся заслужить. Ночей недосыпай, хлеба недоедай, блюда за Кроликом, как за родным отцом. Подстилка, чтоб завсегда была свежая; после езды вываживай досуха; чисти, чтоб обтереть белым платком и на платке чтоб пылинки не было. Слышишь?

— Слушаю-с, Капитон Аверьяныч.

— Воды и корму никак не моги давать без наездника.

— Слушаю-с.

— Гм... Но это все последнее дело. Первое же твое дело вот какое: никак не отлучайся от лошади. Наездник пойдет туда-сюда или там с гостями... ну ты издыхай в конюшне. И тово...— Капитон Аверьяныч понизил голос,— следи за Ефимом.

— Ужели я не понимаю, Капитон Аверьяныч? Как мы исстари гарденинские...

— Вот то-то, что не понимаешь! Ты не возмечтай, что я тебя старшим становлю. Что наездник будет тебе приказывать и что относится до дела, ты пикнуть против него не смей. Понял?

— Точно так-с.

— Но ежели...— Капитон Аверьяныч опять понизил голос,— ежели приметишь за ним что-нибудь эдакое... ну, что-нибудь в голову ему втемяшится... дурь какая-нибудь... ты никак не моги ему подражать. И доноси мне.

— Будьте спокойны, Капитон Аверьяныч,— отвечивал польщенный Федотка.

— Что случится с Кроликом — с тебя взыщу. Ты это намотай. Лошадь дорогая, лошади — цены нету. Вот я прикидывал и вижу — обойди все заводы, нет такой резвой лошади. Денно и ночью помни об этом. Приеду в Хреновое, увижу, какой ты будешь старатель. Ступай, позови Ермила. Да смотри, чтоб не болтать. Если наездник спросит, зачем, мол, призывал, скажи: тебя, мол, называл слушаться.

Пришел кузнец Ермил. Впрочем, о нем непременно надо сказать несколько слов. Это был низенький, широкий, на вывернутых ногах человек с угрюмым и недовольным лицом, обросшим по самые глаза красными, жесткими, как щетина, волосами. Он обладал даром сквернословить с необыкновенною изыс-

канностью, «переругивал» даже мельника Демидыча, тоже великого мастера по этой части. Первенство Ермила было утверждено года два тому назад, когда в застольной, при громком хохоте и одобрительных криках всей дворни, он имел состязание с Демидычем. Состязание происходило по всем правилам: разгоряченные слушатели бились об заклад; для счета и наблюдения были избраны почетнейшие лица из присутствующих: конюх Василий, старший ключник Дмитрий и кучер Никифор Агапыч. Нелицеприятные судьи с серьезнейшим видом взвешивали каждое сквернословие, обсуждали его со стороны едкости, силы, оригинальности, отвергали, если оно не соответствовало назначению; состязание происходило в форме ругани между Демидычем и Ермилом, имело личный, так сказать, полемический характер, требовало язвительных и верных определений. В конце концов Ермил обрушил на Демидыча сто тридцать восемь безусловно сквернейших ругательств, между тем как Демидыч мог возразить ему только девяноста тремя, да и то не безусловно сквернейшими.

Но, будучи таким победоносным в непристойных выражениях, кузнец Ермил совершенно не умел говорить обыкновенным человеческим языком. О самых простых вещах он принужден был изъясняться скверными словами. Но так как запаса их все-таки не хватало на выражение всех понятий, свойственных кузнецу Ермилу, то он ухитрялся придавать одному и тому же ругательному слову многообразнейшее значение: в одном случае оно означало негодование, в другом — презрение, в третьем — нежность, похвалу, лести-вость и так далее без конца.

— Ну, Ермил, посылаю тебя в Хреновое, — сказал Капитон Аверьяныч. — Смотри, брат, не ударь лицом в грязь.

Кузнец молчал, приискивая в голове такой ответ, который не состоял бы из скверных слов.

— Поедет еще Федотка-поддужный, малый молодой. Ты всячески наблюдай за ним.

Кузнец опять поискал, что сказать, и опять предпочел оставаться безгласным. Его начинал прошибать пот.

— Наездника слушайся. Но твои с ним дела небольшие: нужно подко-вать — подкуй, нужно копыто расчистить — расчисть. Конечно, и Федотке подсобляй. Одним словом, я на тебя надеюсь. Понял?

Кузнец отчаянно зашевелил губами, но продолжал молчать.

— Во всяком же разе это твое последнее дело. Первое же — ты тово... — Капитон Аверьяныч понизил голос, — послеживай за Ефимом... Ежели заметишь что-нибудь эдакое... необнаковенное... ну, что-нибудь в голову ему взбредет... шаль какая-нибудь... ты всячески мне докладывай. Федотка малый молодой, но на тебя я надеюсь. Ефимом я доволен, а ты все-таки послеживай в случае чего. Лошади цены нету... Понял, что ль?

Кузнец понял только одно, что теперь уж необходимо отвечать. В отчаянии он бросил искать пристойные слова, поспеел, тряхнул своими огненными волосищами и вдруг разразился самою неистовою и сквернейшею тирадой, приблизительный смысл которой был таков:

— Расшиби меня гром, ежели оплошаю. Федотка такой-то и такой-то... молокосос! А Цыгану в рот пальца не клади, потому что и мать его, и бабка, и прабабка были такие-то и такие...

Капитон Аверьяныч вскочил и замахал на него руками.

— Шш... замолчи, рыжий дурак!.. Али забыл, с кем говоришь?.. Вот я тебя костылем!

Ермил умолк с видом подавленного страдания.

— Смотри же, старайся, — добавил Капитон Аверьяныч, — да зря никому не болтай. Ступай, срамник эдакий!

Ермил хотел сказать «слушаю-с», но побоялся, как бы опять не выскочило

чего-нибудь неподходящего, неуклюже поклонился, сердито крикнул и, не говоря ни слова, вышел. И до самого дома отводил себе душу отборнейшим сквернословием, ругая себя, Капитона Аверьяныча, Кролика, Хреновое, Федотку, Ефима Цыгана. За всем тем внутренне он был сильно польщен и доволен.

Ефиму выдали на руки деньги и аттестат Кролика, сказали, чтобы ждал к бегам Капитона Аверьяныча, и, дабы хоть чуточку растрогать и умилить его, объявили, что за каждый первый приз ему будет выдаваться в награду сто рублей. Но Ефим хотя бы бровью шевельнул: на его дерзком лице не изобразилось даже тени благодарности.

— Экий столп бесчувственный! — проворчал Капитон Аверьяныч и скрипнул зубами от сдержанного негодования.

Ранним майским утром запрягли телегу с «креслами», вывели Кролика, облачили его совсем с головою в щегольскую полотняную попону с вышитыми гербами господ Гардениных, привязали к «креслам»; на пристяжку к коренному пристегнули поддужного мерина. Вся дворня собралась около телеги; помолились; Капитон Аверьяныч взволнованным голосом сказал последнее напутствие, нежно потрепал Кролика, обошел еще раз вокруг высоко нагруженной телеги и, наконец, выговорил: «Ну, с богом!» Когда выехали со двора, показалось солнце. Ослепительные лучи брызнули на толпу, на высоко нагруженную телегу, на Кролика, принявшего какие-то странные очертания в его белом футляре, — на всю эту серьезную и торжественную процессию. И Кролик, точно понимая, что он составляет центр процессии, что на нем покоится множество упований, надежд, расчетов, что с ним связаны заветнейшие мечты и перспективы этого благоговейно следующего за ним люда, высоко поднял голову навстречу восходящему солнцу, заржал звонким, как труба, протяжным и переливчатым ржанием. В каменных конюшнях за маленькими полукруглыми окнами тотчас же отозвались десятки голосов. Жалкая мужицкая клячка, влачившая соху на ближнем пригорке, и та не выдержала: не обращая внимания на удары кнута, она остановилась, откинула жиденький хвост, втянула в себя костлявые, изъязвленные бока, приподняла шершавую морду и слабеньким дребезжащим голоском откликнулась на могучий и радостный призыв жеребца в гербах.

В полуверсте от усадьбы толпа остановилась, а Кролика повели дальше. Народ мало-помалу разбрелся по своим делам. Один Капитон Аверьяныч долго не сходил с места, долго с сосредоточенной и заботливой задумчивостью смотрел вдаль, где едва мелькало белое пятнышко, иногда вспыхивал на солнце лакированный козырек Федотки, сидевшего на возу, и краснелась его рубашка.

Так как ехали тихо, то в дороге предстояло провести три дня. Путь лежал почти все время степью. Ехали больше ночью и ранним утром; среди дня останавливались кормить. Погода стояла великолепная. По ночам весь горизонт облегал огонь, в теплом душистом воздухе непрерывно звенели заунывные песни, потому что это было время покоса. Утром заливались жаворонки, поднимался туман с ближней степной речонки, пронзительно посвистывали сурки, широко развевалось зеленеющее и цветущее пространство, сверкающее росой, пустынное, с «кустами», синеющими в отдалении, с островерхими стогами, с одинокими курганами, с разбросанными там и сям гуртами, около которых точно застывшие виднелись чабаны с «ярлыгами» в руках. Отчетливо выделялись косари в рубахах, вздутых ветром, блистали и звенели косы. Коршун плавал в небе, высматривая добычу... Вдали мчался верховой, пригнувшись к луке... На ровном, как ладонь, месте выглядывал купеческий хутор с обширными кошарами, загонами и варками, с прудом, сияющим как полированное серебро.

Но особенно-то хорошо все-таки было ночью. Какой-то необъятный простор чувствовался тогда. Курганы, кусты, хутора, лощины, извивы при-

хотливой степной речонки — все исчезало, одна только безвестная даль синела со всех сторон, уходила, казалось, туда, где светились яркие звезды. Пахло сеном, пахло камышами с реки, где-то однообразно стонала выпь, у самой дороги перекликались перепела, и протяжная песнь тянулась, тянулась, наполняя пространство бесконечным унынием...

Обыкновенно Федотка лежал вниз брюхом на телеге и, преодолевая дремоту, что-нибудь мурлыкал; кузнец и наездник мерным шагом шли позади, в гробовом молчании посасывая трубки. В ночи видно было, точно два огненных глаза неотступно следовали за телегой. Иногда то одна, то другая трубка вспыхивала с легким треском, разгоралась искрами и неуверенно освещала то высокую сутуловатую фигуру с потупленным лицом, с руками точно у обезьяны, то приземистую, коренастую, на вывернутых ногах, без шапки... Утром не было видно огненных точек, но так же неотступно следовали за телегой две струйки голубоватого дыма и две молчаливые фигуры, шагающие нога в ногу.

О кузнеце давно было известно, что он тогда лишь переставал молчать, когда ругался, и Федотка вовсе не удивлялся, не слыша по целым дням его голоса. Но Ефим несколько удивлял Федотку: чем далее они подвигались в степь, тем угрюмее и сосредоточеннее становился Ефим, тем чуднее казались Федотке его цыганские глаза. С первого же дня пути он точно забыл о Кролике, как-то сразу прервалась его непомерная и ревнивая внимательность к лошади. Федотка чистил Кролика, поил, засыпал ему овса; кузнец аккуратно осматривал его ноги, ощупывал подковы, смазывал копыта мазью. Ефим же только говорил: «запрягай», «отпрягай» — и больше не говорил ни слова с своими спутниками, если не считать кратких и неохотных ответов на их деловые вопросы. Он шел позади телеги, невольно стараясь попадать в ногу с кузнецом, но едва замечая его, шел и курил и молча прислушивался к звукам степи, молча всматривался в даль. Трубка погасала, он на ходу вынимал кисет, набивал другую, высекал огонь и опять шел, попадая в ногу с кузнецом и всматриваясь в даль. Что-то точно манило его к этой дали, и особенно ночью, когда степной простор казался таким безграничным, таким таинственным... Что-то странное наплывало в его цыганскую душу с отзвуками унылой песни, с отблеском далеких костров, с мерцающим светом синего звездного неба... Им овладевала тоска, какое-то смутное желание волновало и тревожило его. Под мерный стук колес и лошадиный топот, когда слабый ветерок веял ему в лицо свежестью и запахом степных трав, странные и неопределенные мечты приходили ему в голову, точно неясные тени тех мечтаний, которые были свойственны его полудиким предкам. Временами ему мерещилась какая-то небывалая воля, какой-то неслышанный простор, неопиcуемый разгул... и в его крови загоралось точно от вина, грудь начинала мучительно сжиматься. Когда такое случается с человеком, в народе говорят: *его зовет!* — и стерегут, чтобы человек не наделал какой-нибудь беды.

Беда едва не случилась верстах в двадцати от Хренового. Ехали селом. Наездник с кузнецом по обыкновению шли сзади. Вдруг Федотка был испуган неистовым голосом Ефима: «Стой!» Он остановил лошадей и увидел, что около кабака. Одна и та же мысль пришла в голову и ему и кузнецу: «Запъет!» Они тревожно переглянулись. Тем временем Ефим подумал, полез в карман... и с внезапной злобой бросился к Кролику, начал крепко, новым узлом привязывать его, закричал на Федотку: «Черт!.. Чего смотришь? Не видишь, еще бы немного — развязалось... Тоже поддужный называется, сволочь эдакая!.. Пошел!» Кузнец, обрадованный, что благополучно отъехали от кабака, в свою очередь сквернейшим образом изругал ни в чем не повинного Федотку. Впрочем, и сам Федотка был доволен.

На третий день к закату солнца показалось Хреновое. Лишь только забелелись огромные постройки завода, заблестели на солнце зеленые и красные

крыши, у Федотки стали вырываться восторженные восклицания, а кузнец начал изрыгать непристойные слова в знак удовольствия. Оба они ни разу не были в Хреновом. Федотка же кроме того до сих пор не отъезжал дальше тридцати верст от Гарденина. Когда подъехали ближе, он то и дело спрашивал Ефима:

— Это что ж такое будет, дяденька?.. А это что за хоромы?.. А это какая штуковина торчит?

Ефим тоже изменился, завидевши Хреновое, сделался словоохотлив и весел. Здесь всякий камешек был ему известен и пробуждал в нем приятные воспоминания. Так, проезжая мимо бегов, он по-волчиному оскалил зубы, засмеялся и сказал:

— Видите вон дальний поворот... вон, вон татарка-то краснеется? Ну, об этом месте будет меня помнить Семка Кареевский. Мы, этта, едем на большой приз, и вдруг вижу, этта, забирает, забирает Семка вперед. На полголовы забрал. Постой, думаю, конопатая сопля, я тебе ужогу... А я на Внезапном еду — строгости необыкновенной лошады! Ну, этта, загибаем поворот, изловчился я... да эдак кэ-э-эк поддам! Внезапный одним махом на голову. А я изловчился, да заднею осью, да за Семкино колесо... трах!.. Он, сволочь, как покатится вверх тормашками. Уцепился, подлец, за вожжи, да волоком, волоком... вся морда в крови... колесо вдребезги! Не забывай, говорю, друг задушевный, с кем тягаешься!

Федотка так и визжал от восторга. Кузнец с остервенением приговаривал: «Эдак его!.. Так его!.. Эдак его!..»

— Что ж, дяденька, ничего вам за эсто не было? — подобострастно спросил Федотка, отдохнув от смеха.

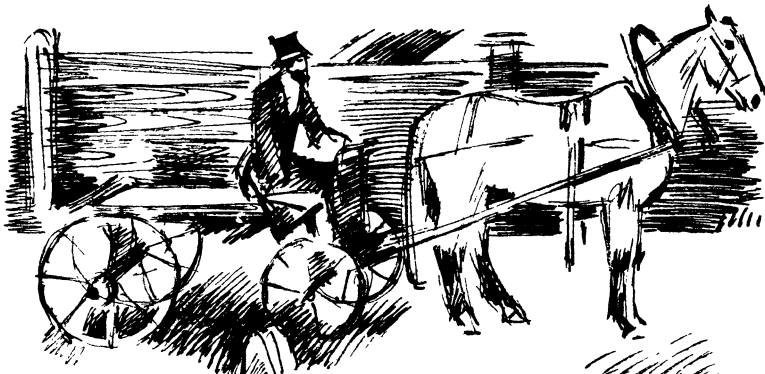
— Понятно, ничего. Какой-то сопляк из беседки в трубу заприметил: ты, говорит, мерзавец, будто зацепил? И Семка, этта, стоит, скосоротился, рожа в крови, поддевка расплосована, в грязи весь... «Зацепил, говорит; его, говорит, такой умысел был: живота меня лишить». — «Воля ваша, говорю, ежели у него дрожки рассыпались, я в эфтом не причинен, надобно прочнее делать. Но только я никак не зацеплял». Ну, этта, поговорили промеж себя, выдали первый приз.

Федотка опять помер со смеху; кузнец хохотал хриплым басом... И их восхищение еще более увеличилось от дальнейшего рассказа:

— Опосля того собрались на вечеринке у Молоцкóва наездника, Семка и ну ко мне присыпаться: такой-сякой, ты, кричит, судьбы меня лишил... Как так, судьбы? На каком таком основании, конопатая гнида? Размахнулся да кэ-э-эк тресну его по морде... да в другой... да за волосья!.. Сколько тут было народу — животики надорвали. Само собою, всякий понимал, что я его с умыслом скovyрнул с дрожек. Ионыч тут был, княжой наездник, — патриархальный старик! Ты, говорит, парень, мог его до смерти зашибить... Беззубый черт! Разве я этого не понимаю? Тут одно: либо дуга пополам, либо хомут вдребезги. Тут — рыск! Не сделай я настоящей переборки на вожжах, Внезапный прямо мог подхватить от эдакого треску и прямо свели бы с круга за проскачку. Но замест того он сделал отличнейший сбой и на рысях к столбу пришел. Господа, этта, платками, картузами махали!

В таких разговорах достигли обширного выгона перед заводом и поехали к так называемой «Солдатской слободке», где по преимуществу останавливались с своими лошадыми наездники и жокеи. Сначала Ефим приказал Федотке править к своей прежней квартире, но там уже было занято; тогда поехали улицей и стали спрашивать, где свободно. В одном месте все крылечко было облеплено народом; когда гарденинские поравнялись, оттуда послышались голоса: «Э! Никак Ефим Иваныч?.. Здорово, Ефим Иваныч!.. Ефиму Иванычу наше нижайшее!.. Ба, ба, ба, кого мы видим!»

Федотке приказано было остановиться. К подводе вереницей подходили



наездники, старые знакомые Ефима, пожимали ему руку, спрашивали, с любопытством косились на Кролика. Ефим степенно отвечал, узнавал о квартирах, о ценах на овес, на сено, на харчи, осведомлялся о новостях.

— Иван Никандров здесь? — спрашивал он.

— Эге, хватился! Иван Никандров в кучера, брат, ударился, в гужееды!

— Как так? Куда?

— К Губонину, в Москву, четвертной в месяц околпачивает!

— А Яким Ноздря?

— И Якима нету — к фабриканту поступил. Тут из наших видели его которые: пузо, говорят, отпустил — во!

— А с Калошинского завода кто приехал?

— Ау, брат! Калошинский завод поминай как звали: весь с торгов пошел...

А ты знавал Ерему Кривого? У купца Ведеркина теперь. Лоньсь в Воронеже три приза взял. И умора, Ефим Иваныч! Взял он это призы, пондравилась лошадь какому-то офицеру... Офицер-то и говорит купцу Ведеркину: «Продай, вот тебе не сходя с места две тыщи целковых». Купец разгорелся на деньги, возьми да и продай прямо с дистанции. Ерема в голос заголосил... «Что ж ты, толстопузый идол, делаешь? — говорит прямо при всей публике.— Мы, говорит, только было, господи благослови, в славу зачали входить, а ты на деньги польстился...» А купец Ведеркин тоже ему при всей публике: «Я, говорит, на славу-то на твою...», да такое сделал, все, кто тут был, так и грохнули!

— Ну, не на меня наскочил! — воскликнул Ефим, делая свирепое лицо.— Я бы ему... Что ж Ерема-то остался у него?

— Да как же не остаться? Сорок целковых жалованья одного. Нонче, брат, только и места, что у купцов.

— От Мальчикова привели? — небрежно спросил Ефим.

— Как же, как же! Наум Нефедыч нонче утром объявился. Грозного привел... Экий конь, господи мой милостливый! Двадцать два приза!.. Три императорских!.. Прямо надо сказать — умолил создателя Наум Нефедыч. Недаром и название дано — Грозный!

— Грозён, да может не для всех,— презрительно сказал Ефим и взглянул на Кролика.

— О! Аль не боишься? Ты, значит, тоже «на все возрасты»? Давай бог, давай бог! — восклицали наездники с недоверчивым и сдержанно-насмешливым видом.

К толпе подошел седенький тщедушный старичок в валенках, с старомодным пуховым картузом на голове. Все почтительно расступились и пропустили его к Ефиму; Ефим с отменной вежливостью поклонился. Старичок прищурил глаза, всмотрелся из-под ладони и прошамкал:

— А, это ты, необузданный человек? Давненько, давненько не видать. У кого теперь живешь-то?

— У Гардениных, Сакердон Ионыч.

Ионыч пожевал губами, усиливаясь припомнить:

— Капитон Аверьяныч конюший? Так, так... Сурьезный, твердый человек... Слуга!.. Таких боле нет рабов верноподданных... Ты с чем же: с пятилетком? На все возрасты?

Ефим ответил.

— Вот, Сакердон Ионыч, говорит: Мальчиков мне не страшен! — сказал один наездник, улыбаясь.

— Вот как, вот как!.. Ну, что ж, друг, бывает. И юнец Давыд Голиафа победиша. Бывает! — Старичок обошел вокруг Кролика, внимательно посмотрел на него, приподнял попону, чтобы оглядеть закрытые «статии», ощупал грудь и «под зебрами»... Все смотрели на Ионыча с любопытством и уважением. Собственно говоря, никто бы не осмелился делать такой осмотр чужой лошади, да еще без разрешения. Но Ионычу позволялось все. Это был старинный наезд-

ник князей А***. Он побрал на своем веку множество призов, ни разу не проигрывал и теперь жил себе на покое, окруженный внуками и правнуками, и каждый год непременно появлялся в Хреновом во время бегов.

— А порода? — спросил он, осмотревши Кролика.

Ефим сказал. Ионыч опять пожевал губами, припоминая и соображая, и вымолвил:

— Ну, что ж, держись, Ефим! Обеими руками держись за счастье... Охо, хо, хо, человек-то необузданный!.. Кровь-то, кровь-то у тебя... А коли выдержишь, сусстоишь — Наум тебе не страшен. Подь-ко сюда... — Он взял Ефима под руку, отвел его от толпы и спросил шепотом: — Без секунд?

— Прикидывали: без сорока приходил, Сакердон Ионыч¹, — также шепотом ответил Ефим.

— Ой, врешь? — сказал старик, и глазки его загорелись.

— Не сойти с места! — побожился Ефим.

— Да ты, дурной, знаешь ли, что я отродясь не видывал, чтоб пятилеток без сорока приходил!.. Я!.. Я!.. Никак, более ста призов побрал на своем веку!.. Восемьсот лошадей выездил!.. — Он помолчал и, возвращаясь к толпе, добавил с раздражением: — А и то сказать, дистанции были длинные, трудные. Ноне все пошло короткое: и дистанции короткие и лошади... да и людишки-то короткие!

— Надо полагать, резвый конь, Сакердон Ионыч? — вкрадчиво спросили из толпы.

Но старик еще больше рассердился.

— Эка невидаль — резва! Да насколько резва-то? Бывалоча, господа соберутся промеж себя: тридцать верст отмеряют дистанцию!.. Ну-тко вы, нонешние! Ну-тко попытайтесь!.. Дрожки!.. До какого разврата дошли — за дрожки по двести, по триста целковых отваливают! Ни то ехать на них, ни то ребятам на игрушки отдать... Нет, нет, погибает старый орловский рысак!.. Эка, лошадь какую обдумали: клин не клин, ходули не ходули... Ах, батюшка граф Алексей Григорыч! Встать бы тебе, голубчику, да орясиной хорошей... А! Из дворянской потехи игру сделали, торговлю, на деньжонки лъстятся... Погодите ужо, всех вас купец слопают... Тьфу! Тьфу!.. — Сакердон Ионыч погрозил кому-то кулаком и быстро удалился, шаркая валенками и глубоко надвигая на уши свой бархатный картуз, похожий на раздутый шар.

Пока старик говорил, его не прерывали; но как только он скрылся, Ефим тотчас же выругался и сказал: «Въявь из ума выжил, старый черт!» Другие наездники согласились с этим. Тем не менее, им запало в душу то, что сказал Ионыч, когда осмотрел Кролика, и в тот же вечер все Хреновое обошел слух, что Ефим Цыган привел необыкновенно резвого пятилетка и что «Наум ему не страшен». Это произвело большое волнение в кругу наездников, конюхов и поддужных.

Гарденинские двинулись далее. Солнце уже закатилось, и стояли светлые сумерки. С полей гнали скотину: рев, мычанье, хлопанье кнутов, пронзительно-звонкие голоса баб доносились из села.

Ефим, с кнутиком в руках, заходил едва не в каждый дом слободки, спрашивая о квартире. Наконец с одного крылечка его окликнули:

— Хватеру, что ль? К нам пожалуйте! Доколе некуда останетесь довольны.

Он подошел. Девка лет двадцати пяти с несоразмерно высокою грудью, с ручищами, как ведра, одетая «по-городски», посмотрела на него какими-то шныряющими, нагло и насмешливо скользящими глазами и, хихикая, повторила:

— Останетесь довольны покуда некуда.

¹ То есть 3 версты в 5 мин. 20 сек. (Примеч. А. И. Эргеля.)

— Конюшня-то хороша ли? — угрюмо спросил Ефим.

— Конюшня?.. Господи боже мой! Поищите — не найдете другой такой конюшни. У нас бесперечь князя Хилковы стаивали... Уж будьте спокойны. Супротив наших харчей, супротив нашей хватеры, а пуще всего супротив нашего обхождения, ей-боженьки, нигде не сыщете!

— Это какое же такое обхождение?

Девка захохотала и, заигрывая глазами, произнесла:

— Известно, какое бывает обхождение с тем, кто ндравится!

— Ну ладно, ты балясы-то кому-нибудь разводи. Мы вас, сволочей, довольно понимаем. Почем харчи-то? Кто хозяин-то в дому?

— Что у хозяйка, что тятенька хозяин, с кем хотите рядитесь. Только со мной лучше... хи, хи, хи... очень уж я простоты непомерной! Нас и в дому-то всего трое: я с тятенькой, да тятенька безродная замест куфарки... И, к тому же, тятенька день-деньской при заводе... старшим конюхом... — И, понизив голос, добавила: — Помехи ни от кого не вижу, хи, хи, хи...

Этот мелкий и раскатистый смешок начинал раздражать Ефима; глаза его, искоса устремленные на девку, налились кровью, точно у Кролика, когда тот шел на острых удилах. Он придвинулся к крылечку и больно ущипнул девку. Та притворно взвизгнула, отскочила и, беспечно покачиваясь с ноги на ногу, вздрагивая всем своим жирным телом от смеха, воскликнула: «Однако вы скорохват!»

— Чего еще притворяешься, кобыла нагайская? — шепотом прохрипел Ефим.

— Вот уж ошибаетесь! Притворства во мне нисколько нет... Кого люблю, того дарю.

— А на кой же дьявол ты заигрываешь-то?

— Может, вы мне ндравитесь!.. Ступайте на хватеру; право, останетесь довольны...

— Бреешь, чертова дочь!.. Эй, Федотка! Заворачивай сюда, — крикнул Ефим и, еще раз окинув девку плотоядным взглядом, прошипел: — Ну, смотри же...

Скоро пришел человек с седыми усами и бакенами, одетый в потертый и поношенный солдатский мундир. Это был «тятенька». Ефим без особых затруднений сторговался с ним. Цена оказалась недешевая, но Ефим утешался тем, что конюшня была светлая, просторная, с полами, на три денника... А на самом-то деле посулы и заигрывания хозяйской дочери до какого-то даже неистовства распалили его воображение.

Хозяин всячески силился быть любезным:

— Ну, вот... ну, вот... князя Хилковы стаивали! — бормотал он смешною и невнятною скороговоркой. — Харч у нас первый сорт, первый сорт... А это дочка моя, Маринка... Маринкой звать. Бельмы-то, бельмы-то!.. Вся в мать, вся в мать, паскудница... Вот живем себе!.. Ничего!.. Живем!.. А на ночь-то я ее на ключ запираю... хе, хе, хе... это уж не беспокойся... не прогневайся... на ключ! Надо мне до брака ее соблюсти, ась? Какой народ-то у нас? Военный-ат народ-то! Что скалишь зубы?.. Так вы будете гарденинские? Хороший, хороший завод!.. Ну, собрались... уж собрались. Мальчикова Грозный шибко бежит... ой, шибко!.. А меня вот Филатом звать... Филат Евдокимов Корпылев... отставной фитфебель гранадерского Фанагорийского полку... Так-тося!

Дело происходило за чаем. Маринка все время посмеивалась и, когда отец отворачивался, лукаво подмигивала на него, касаясь своей здоровенною ногой ноги Ефима.



Письмо к другу

«Обстоятельства бегут с быстротою курьерского поезда», как где-то и когда-то провозгласил Михей Воеводин, если не ошибаюсь... Да-с, Глеб Андреич, или как вас теперь звать: удостоились, представлялись, имели аудиенцию-с! Да что — аудиенцию, не в этом суть!

Получил ли ты первую мою цыдулу? Изобразил я ее впопыхах, в день приезда, отослал «с оказией»: привозили телеграмму от «ее превосходительства»,— следовательно, протекло с тех пор более двух недель. Сия тоже идет «с оказией»: завтра отец собирается в Хреновое (нечто вроде коннозаводской Мекки) и оттуда отправит. Так вот насчет первой-то цыдулы: там я, между прочим, ударяюсь в меланхолию по случаю ожидаемого «приезда господ» и даже изъявляю намерение удирать по сему случаю... А теперь принужден заявить тебе, что именно этот приезд и удерживает меня здесь. Вот какой с божиею помощью оборот!

Начнем с яиц Леды.

Дело в том, что повелительница сего болота изъявила благосклонное желание посмотреть, какие написаны узоры на «сыне конюшего Капитона» академическим образованием и сладостными перспективами XII класса. Надо тебе сказать, что к «приезду господ» между мною и родителем уже успела образоваться некая тень — зловещая тень «трех китов», коллега! — но об этом после. Чувствуя, вероятно, мою непокладливость кое к чему, отец ни слова не сказал мне о желании «барыни», а предпочел донять меня террором: два дня хранил угрюмое молчание, гудел в бороду, поскрипывал зубами; уходя из избы, грозно стучал костылем... Тебе, может быть, смешно, а между тем это действительно террор. Мать в такие времена поистине мученица: растерянно улыбается, с испугом и мольбою взглядывает на меня, беспрестанно выбегает за перегородку будто бы за делом, а в сущности, чтобы всплакнуть и возвести взоры на икону... Всячески безобразный пейзаж! Крепился я елико возможно, пустился даже на подлости, чтобы смягчить отца: похвалил однажды образцовое благоустройство рысистого завода, ругнул тех помещиков, которые сию отрасль ликвидируют,— ничто не помогло. К счастью, как и всегда, выручил случай. У меня уже с первых дней образовался обычай: совершив, что требуется отеческим режимом,— ну, там, чай, сдобные лепешки, извержения ни на что не нужных слов, щи «с свежиной», оладьи и тому подобное,— брать книгу и уходить в сад. Что, друг, делать: скучно, тускло и скверно в родительском доме, да к тому же ты знаешь, я теперь особенно занят «мортирами» Воеводина: штудирую Маркса, Лассалья перечитываю... Когда «пожаловали господ», в сад ходить уже не приходилось, и я удалялся в степь. Кстати насчет степи. Для тебя не секрет, конечно, до какой степени я презираю всякие там «поэзии», «эстетики» и «беллетристики», но нужно сознаться, что здешняя степь хороша и красива. Какая-то в ней особенная, я бы сказал — гигиеническая поэзия... Так вольготно дышится, такой изобильный запас кислорода!

Благодушествую я таким манером в лощинке, услаждаюсь Марксом, вдруг слышу — скачет лошадь. Еще мгновение — пронзительный крик, оборачиваюсь — барышня верхом, лошадь испугалась, по-видимому, моей особы, взвилась на дыбы... Я ничего не имел против того, чтоб нервическая юница получила надлежащую встрепку,— терпеть не могу этого истерического

визга! — но при взгляде на амазонку что-то сочувственное во мне шевельнулось. Я ее знал еще девчонкой; видел, разумеется, только издали, в обществе разных англичанок и немок; теперь лишь по догадкам мог заключить, что это Лизавета Константиновна Гарденина. Тем не менее такое, брат, славное, такое интеллигентное лицо! Одним словом, «невежа» и «медведь», как величала меня наша общая знакомая Анна Павловна (вот соединение краснейших убеждений с невероятнейшим «цирлих-манирлих!»), — невежа и медведь, говорю, весьма изрядно сыграл рыцаря, укротил лошадь, помог амазонке сойти с седла, — седло-то свернулось, — и, вероятно, опешенный проявлением столь чуждых ему свойств, стоял перед нею олух олухом. Она первая нашлась, поблагодарила меня, — ведь этот народ куда запаслив по части разных условий! — и затем, поколебавшись, спросила:

— Вы, вероятно, господин... Капитонов?

— То есть, вы хотите сказать, сын ли я конюшего Капитона? Да, я его сын, Ефрем.

Она смутилась, пролепетала что-то невнятное. Мне ее стало жаль.

— Как же быть? — сказал я. — Искусство оседлывать мне незнакомо. При вас, если не ошибаюсь, полагается особый раб, где же он?

Оказывается, хотелось быть одной, и «раб» оставлен дома. Это было подчеркнуто (с раздутием ноздрей, добавлю) и затем спрошено:

— Вы, вероятно, хотите меня уколоть, называя рабом кучера Антона?

— Да, мол, и уколоть... отчасти.

— Напрасно. Можно возмутительность некоторых вещей понимать и не знать из них выхода.

Можешь вообразить, как мне сделалось не по себе!.. Отсюда пошло дальнейшее:

— Что вы читаете?

— Маркса.

— Что это такое?

— Великий экономист.

— Что такое значит «великий экономист»?

Я не мог сдержаться, — подобная наивность меня взорвала: я знал, что в этом «их» кругу и так называемых «образцовых хозяев» величают «экономистами», и ответил:

— Все не в том смысле, как ваш управитель Рахманный.

Но тут мне уже сугубо сделалось неловко. Она вспыхнула, губы ее задрожали. Поверишь ли, даже слезы выступили на глазах у нее!

— Простите! — поспешил я сказать и пустился самым наисерьезнейшим тоном изъяснять, что есть Маркс и что означается словом «политическая экономия». От Маркса перешли и к иным материям. Время летело незаметно. По совести говоря, заинтересовал меня этот цветок крепостнический теплицы. Оригинальный, брат, цветок! Много прочитано и подумано... Пути не наши, «не разночинские», — о, совсем не наши! Тут Диккенс, и кое-что из Жорж Занд, и отрывки из Мюссе, из Гейне, и «Мизерабли», и Ламартин, и ямбы Барбье, — все, брат, в подлинниках! И, вообрази, кто еще? Достоевский. А между тем, эдакий-то проселок, сильно похоже, выводит и ее все на тот же разночинский «большак». Не смей ухмыляться, рыжий фанатик плебейства. Очевидно, твоя теория «дворянской несостоятельности» требует больших поправок. Нет слов, тут пропасть неизвестного нам романтизма, слащавого извращения действительности, институтского непонимания. Мы отправляемся от жизни, — с «проселка» исходят от мечты; наша совесть пробуждена знанием, ихняя — воображением, чувством. Факт же, как его ни поверни, все один и тот же: совесть просыпается, утраченный некогда стыд овладевает сердцами. Ты знаешь, я всегда претендовал на прозорливость; в силу этой претензии полагаю, что наиболее фантастические деятели выйдут у нас именно с выше-

упомянутого «проселка», то есть не те только, что воспитались на «Мизераблях», Ламартинах и тому подобном, а и те, которые так ли, иначе выросли в крепостнических оранжереях. Воеводин... он ли не фантазер? — и вспомни — он плебей только по имени, отец его — управляющий вельможи, детство — экзотическое, вместо суровой действительности призмы и формулы. Разумеется, могут быть исключения, но я говорю о «типе» и твердо держусь своего мнения, с которым, впрочем, ты, по всей вероятности, согласишься. Но это — между делом, главное же — установим факт: стыд просыпается там, где, казалось, блудница-история совершенно его вытравила. Вот хотя бы взять Лизавету Гарденину... И, конечно, тебе не придет в голову, как какому-нибудь барчонку Предтеченскому, — несмотря на его честное, бурсацкое имя, — заподозрить меня в каких-нибудь глупостях. Нет, я скажу, положи руку на сердце: злобная, плебейская радость охватывает меня, счастлив я до мозга костей, но не тем счастлив и не оттого моя радость, что она мне лично нравится и что мне легко и хорошо с ней, а что из растленной среды «праздно болтающих», «умывающих руки в крови», может быть, перейдет хоть один человек «в стан погибающих за великое дело любви...».

Впрочем, я сильно забегаю вперед... Пока мы говорили, пока я проводил ее до усадьбы, — лошадь пришлось вести в поводу, — протекло часа три. Я чувствовал себя с этою «генеральскою дочкой» так же свободно... ну как с тобой, например... почти так же, — столь обаятельно действовала ее простота, ее замечательная искренность. Пришло время проститься.

— Вы не намерены прийти к татам? — спросила она. — Матам просила вашего отца передать вам, что желает видеть вас.

Меня тотчас же осенило: так вот почему папахен терроризировал нас с матерью!

— Зачем же? — говорю. — Мы недостаточно знакомы, чтобы делать визиты.

— О, конечно, я понимаю вас... Может быть, вы и правы... Разумеется, правы! — торопливо подхватила она. — Но если бы вы решились... если бы вы согласились на мой проект, ваш визит был бы для меня, например, великим одолжением.

— Какой проект?

— Мне бы хотелось убедить вас... Могли бы вы заниматься со мной политической экономией... и вообще всем этим, о чем говорили? Я решительно, решительно ничего не знаю!.. С своей стороны я бы могла предложить вам... уроки английского языка... Хотите?

— А для этого необходимо сделать визит?

— О да! Мне будет легче убедить татам.

Я с великим удовольствием согласился на проект и скрепя сердце — на визит.

За обедом говорю отцу:

— Как думаешь: может, мне нужно явиться к Татьяне Ивановне?

— Насилу-то услышал умное слово!.. Еще бы не нужно, коли сама наказывала.

— Так я ведь не знал, что наказывала.

— Полагаю, самому следует догадаться! Отец является, а тебе стыдно? Образованными стали, нос воротим! Тебе, значит, горя мало: посмотрят, посмотрят, да в шею отца-то... Эхма! Мало вас драли во время оно. Собирайся-ка, да не забудь в глупости-то своей повиниться: вдруг уважаемого барского слугу и столь обидеть!

Последнее касается весьма старой истории. Помнишь, являлся ко мне некий великолепный холуй и повелевал от имени «их превосходительства» перебираться в барский дом? Кажется, и ты горланил у меня во время этого посещения. На отцовскую предіку я смолчал, как агнец, — к великому счастью

бедняжки матери, — обрядился в свой знаменитый «компанейский» сюртук, тот самый, который так уморительно сжимал твои дебелые тела, когда ты с обычною остервенелостью принимался с бою доставать уроки. Отправились. В передней какой-то Антиной в ливрее встретил нас.

— Доложи, Михайлушко, конюший, мол, с сыном, — попросил отец.

Антиной критическим оком обвел меня, однако пошел без лишних фамильярностей. Мы остались в передней.

— Руки-то, руки-то не растопыривай! — шепчет мне отец. А я думаю: что, если изволит выйти в переднюю и примет стоя?.. Скверные, брат, мысли приходят, когда дожидаясь в барской передней! Однако возвратился Антиной и пригласил в залу. Там никого не было. Тем не менее отец вошел на цыпочках и почтительно вытянулся у притолки.

— Разве садиться не полагается? — спросил я. Он только метнул на меня искры из-под очков и прошипел:

— Опомнись!..

Чтобы не убить его, я выбрал середину: не сел, но, сделавши несколько шагов, остановился около одной картины; она изображала какую-то странно разодетую куклу в санках. Я принялся рассматривать куклу с таким видом, как будто ничего любопытнейшего не видел в моей жизни. Не пожелаю лиходею такой четверти часа!.. Вдруг отворилась дверь, вышла Лизавета Константиновна. Я упорно посмотрел на нее... что-то вроде нерешительности скользнуло по ее лицу. Затем она подошла к отцу, протянула ему руку, — вероятно, с таким же чувством Муций Сцевола протягивал свою в огонь, — сказала: «Садитесь, Капитон... Аверьяныч, папап сейчас выйдет» — и обратилась ко мне. Отец приложился к ее руке и остался стоять; на него жаль было смотреть, особенно когда я, вместо того чтобы последовать его примеру, пожал руку Лизаветы Константиновны. Впрочем, и на нее было жалко смотреть: она сгорала от смущения.

— Вы любуетесь картиной? — сказала она. — Для меня всегда было загадкой, как зовут эту лошадь. А между тем лошадь здесь главное. Вы, конечно, помните, Капитон Аверьяныч?

— Барс-Родоначальник, ваше превосходительство. А в санках его сиятельство граф Орлов-Чесменский.

— Почему «родоначальник», Капитон Аверьяныч?

— С него род начался. Сперва был Сметанка-с — выведен из Аравии его сиятельством. От Сметанки — Полкан, от Полкана и Голландки — Барс. С Барса и пошла вся орловская порода-с.

— А!.. Значит, и наши лошади от Барса.

— Точно так-с. Ежели какой приплод нельзя протянуть до Барса, та лошадь не чистокровная. У нас эдаких нет-с, окромя упряжных.

Как видишь, недурно для начала... Мы все трое продолжали стоять: отец у притолки, мы — у картины. Раздался шелест... Отец как-то неестественно вытянулся, грозно взглянул на меня.

Мелочи! Игра самолюбия! Недостойно развитого человека! — скажешь ты по поводу всех этих кропотливых подробностей приема. Ах, ошибаешься, друг! Эти мелочи бьют, как кнуты, наводят на горькие и злые мысли.

Однако все обошлось как нельзя лучше. Во-первых, эта Татьяна Ивановна хотя и посмотрела на меня в лорнетку, зато обнаружила бездну того, что «у них» слывет за ум, — бездну такта.

— Очень рада, — проговорила она в мою сторону, — очень рада видеть вас, Ефрем Капитонович (руки, однако, не подала).

— Вот, ваше превосходительство, лично приносит вам повинную-с, — сказал отец охрипшим от волнения голосом.

— А! Это о Климоне? (Снисходительная улыбка.) Мне кажется, я сама виновата. Климон, вероятно, не совсем точно исполнил мое поручение.

Я молча поклонился.

— Мне бы хотелось посмотреть лошадей,— обратилась она к отцу,— нельзя ли распорядиться?

— Сейчас прикажете, ваше превосходительство?

— Да, пожалуйста: Раф в нетерпении. Вы останетесь, Ефрем Капитонович? Скажите, пожалуйста, когда вы предполагаете кончить курс? Диплома ожидаете с восторгом, не правда ли?

Отец еще раз взглянул на меня — как красноречив был этот взгляд! — и, низко поклонившись, удалился: ему нужно было спешить в конюшню. Признаюсь, я вздохнул свободно, — я был благодарен Татьяне Ивановне за ее маневр. Не прошло пяти минут, она села, указала мне на стул и, пронизательно взмахивая на меня глазами, повела разговор. Дочь тут же сидела, можно добавить: сидела как на иголках. Она вступала в разговор, кажется, с единственной целью всячески отметить перед матерью мою блистательную ученость, мои «резвые» мнения, мои благопристойные взгляды. А я между тем бровью не шевелил, в совершенстве изображая ученого и скромного мужа... Что делать? Мысль о занятиях с барышней не выходила у меня из головы. Необходимо добавить, что «сама» как бы чутьем угадывала, о чем можно говорить в моем присутствии и о чем нельзя. Тонкая бестия! Так, очень подробно расспрашивая о студенческом образе жизни, о «круге» моего знакомства, о «женщинах, которые слушают курсы», — она, несомненно, имела язвительные мысли, но вместе с тем ни одним звуком не позволила себе выдать их и якобы совершенно верила моим кратким и простым ответам. Только эдакая скверная, едва уловимая тень мелькала на ее лице... Ну, да черт с ней, с тенью-то!

Выбежал мальчишка лет пятнадцати, в пелличках, в выпускках, все как следует. Скорчил вежливую физиономию, шаркнул по всем правилам, стукнул каблучками. Мордочка замечательно красивая, но с несомненными признаками неврастении.

— Узнаете? — благосклонно спросила Татьяна Ивановна.

— Рафаил Константинович?

— Вот поступил в пажеский. Другим отдых, а мы теперь серьезные люди, нам придется поработать. Не правда ли, Раф?

— Знаете, я ужасно слаб по математике,— с внезапною искренностью заявил мальчуган и взглянул на меня. Глаза очень напоминают сестру: такие же правдивые и, я бы сказал, мечтательные.

— Мне говорила Элиз... — перебила его мать, — кстати, я должна вам быть благодарна: вы, кажется, избавили ее от опасности... хотя не понимаю, что за фантазия ездить одной... мне говорила Элиз, вы могли бы давать уроки. Я очень рада. Раф, ты желаешь заниматься с Ефремом Капитоновичем?

— Да, татапа. Я ведь очень слаб по математике.

Выходило нечто неожиданное. Однако я подумал (и не без основания, как оказалось), что все делается в соответствии с нашими планами, и поспешил выразить полнейшую готовность. Имел удовольствие видеть после этого, как благодарно посмотрела на меня Лизавета Константиновна... Бедная птичка в золотой клетке!

Ну, что еще добавить?.. Все, брат, прекрасно в этом прекраснейшем из миров! Вот десятый день даю уроки Рафаилу Константиновичу. Странная башка! Математика, очевидно, не его фах; какие-то затаенные всполохи сбивают его с логической колеи, какие-то неожиданные фантазии... Сидит за извлечением кубического корня, вдруг: «Ефрем Капитоныч, как вы думаете... мышь, для чего она сотворена? Или еще есть разные мерзости — гремучая змея, например? Или блохи, Ефрем Капитоныч?» Черт знает, что за нелепости! Впрочем, заниматься с ним интересно; особенно когда не торчит гувернер, — пружиной- и дубинообразный немец с лошадиным лицом. «Сама» присутствовала на двух

уроках и, кажется, осталась довольна; по крайней мере я мало-помалу начинаю достаиваться великой чести: меня приглашают за господский стол.

Центр тяжести, однако, не в том. Свободно вижусь, дружище, с Лизаветой Константиновной! Свободно говорим, свободно даю ей книжки. Невежество по некоторым частям изумительное,— поверишь ли, имени Добролюбова не знает, не говоря уж об иных прочих! Но вместе с тем изумительная жадность узнать все это, изумительная впечатлительность. Субъект всячески недюжинный. От нее перенимать мне труднее: насчет аглицкого языка совсем оказалось неудобно. Помимо аглицкого, у ней и еще есть кое-какие таланты, но те совсем уж не с руки нашему брату: хорошо поет, хорошо играет, рисует акварельками. Пленительно оно, что и говорить, да как-то совестно... очень уж не по времени! При случае намерен сказать ей это. Держусь я, разумеется, весьма политично, чистый Конрад Валенрод! Компанейский сюртучок,— ау, брат! — не слезает с плеч, даже по швам забелелся, разбойник... Ношу галстуки... Прости для-ради высших целей!.. По многим признакам заключаю, что ко мне привыкли, как привыкают к мебели. Татьяна Ивановна только скользнет иногда взглядом, желая, вероятно, убедиться, не оброс ли я волосами и не разрываю ли мясо ногтями, да процедит два-три «условных» словечка и затем не обращает на меня ни малейшего внимания. Конечно, тут играет большую роль, что я «сын крепостного» (недостает решимости написать «бывшего»). Говорят, средневековые дамы раздевались при своих пажках. Вот нечто вроде этого и здесь происходит: то есть не раздеваются, конечно, а смотрят на меня как на некоторую домашнюю вещь. Благодаря этому же Антиной просит у меня книжечек,— доброжелательный малый, скажу я тебе! Все мечтает купить билет, выиграть двести тысяч и открыть ресторацию на Невском; горничная Феня пристаёт написать ей письмо какому-то двоюродному брату; шведка Христина каждый раз приседает с дружескою улыбкой; немка Амалия просит лекарства от зубной боли,— закатил ей салицилового натра! Только одна старушенция, идеал добровольной и самоотверженной рабы, смущает меня несколько. Она старинная экономка и нянька и наперсница Гардениных... Тихонья, скромненькая, смиренная, неслышно скользящая, она так иногда взглянет своими выцветшими заплаканными глазами (о чем она плакала на своем веку, желал бы я знать?), так страдальчески вздохнет, так покорно сложит губы, что у меня кошки заскребут. Предлагал медицинские советы,— у ней, кажется, застарелый ревматизм,— отвергает, маслом от раки святителя Митрофания мажется... Ах, помню с малолетства, она величала меня «самовольником» и раз пребольно отодрала за уши, захватив в кустах какой-то особенной, поспевавшей исключительно для барских желудков смородины...

Перечитал последние строки, и самому сделалось как-то неловко... Черт возьми! Попадись это письмо иному, проницательному читателю,— ведь, немудрено, подумает: хорош-де Ванька Каин! Влезает в дом под видом благочестия, таит злостные умыслы, притворяется паинькой... Тьфу! А что поделаешь? — *à la guerre, comme à la guerre*¹, — это раз, а во-вторых, не под шкатулку же я, в самом деле, подбираюсь? Уворовать «душу живую», извести ее из плена предрассудков, крепостничества, гнили, развязать крылья связанной птице, дать народу лишнего радельца, свободе — нового приверженца, посеять семена добрые на той почве, которая до сих пор выращивала только чертополох,— полагаю, не одно и то же, что приобрести капитал. Ты как, друже, думаешь, а? Рассуди-ка, прикинь на свою мерку,— ты ведь Баярд в некотором роде... В случае чего, конечно, можно и поворотить оглобли. Хотя, откровенно сознаюсь, мне было бы это чересчур больно. У меня ведь старые счёты с Гарде

¹ На войне как на войне (*фр.*).

ниними — разумею «гардениных» с маленькой буквы, то есть в смысле широко собирательном.

Ах, какие старые счеты!.. Я уже упомянул, что с отцом у меня не тово. Началось это, кажется, на третий либо на четвертый день приезда. Началось с пустяков, о которых не стоит рассказывать, — с моего мнения о некоем Ефиме Цыгане. Но, в сущности, не столько это причиной, сколько какая-то органическая наша враждебность друг к другу, обозначившаяся весьма быстро. Отец очень умен, но страшный деспот. Он до смешного гордится мною — и мучится моею самостоятельностью. Бесконечно любит меня — и возмущается мною. Весьма высокого мнения о моем уме — и глубоко презирает мои суждения. Вместе с тем чуток до какой-то даже прозорливости. Стоит мне нахмурить брови, усмехнуться, пожать плечами, как уж он догадывается, что я не с ним и не за него, что и враждебен ему, — и он тотчас же ожесточается, уходит в себя, облачается трагическою угрюмостью. До больших откровенностей еще не доходило, взрыва еще не было, но, уверяю тебя, по временам мне кажется, будто я стою на пороховом погребке. И, что всего страннее, он ведь, в сущности-то, и не знает моего мировоззрения; убеждения мои для него «темна вода во облацех», ибо не стал бы он писать мне тех «увещаний», которые и тебе приходилось просматривать, если бы знал *все*. Но он чувствует *общий* смысл моих убеждений, угадывает скрытый во мне «сеничкин яд», чует «дух», столь противный рабьему обонянию, и это напрягает его подозрительность, бессознательно накапливает вражду. Ах, тяжело, друг, подводить итоги, больно разрывать связи, корни которых столь далеко проникают в глубь истории.

Впрочем, теперь мое положение, кажется, изменяется к лучшему. То есть с формальной стороны изменяется к лучшему, с той стороны, что сноснее становится жить здесь, претерпевать прелести родительского очага. Прежде, бывало, стоит мне взять книгу и направиться из избы, стоило опоздать к обеду, обмакнуть хлеб в солонку, облокотиться на стол во время еды, не выразить надлежащего внимания к успехам Кроликов, Любезных, Атласных, не вовремя улыбнуться, не вовремя нахмуриться, не вовремя надеть шляпу, не сделать почтительной физиономии, когда это требовалось предметом родительского разговора, — как наступал вышеописанный террор, и мать начинала потрясать вздохами больную грудь свою... Теперь же у меня есть основание как можно меньше бывать дома и даже не присутствовать за трапезой. Курьезные вещи говорятся иногда по этому поводу. Сидит у отца управитель.

— Что ж, Ефрем, — с притворною скромностью говорит отец, — дома нонче обедаешь аль с господами?

— Сегодня у них.

— То-то. Надо знать. Мать! Ефрем Капитоныч опять с господами будет обедать.

Управитель являет вид благоговения и скрытой зависти.

— Что означает образованный человек! — говорит он. — Нас с вами, Капитон Аверьяныч, не пригласят!

— Чего захотели! — посмеивается отец. — Не то что нас, а пожалуй, и дворянина иного не допустят. Ему вон, пожалуй, генеральша руку подает, — ну-кошь — сунься иной благородный!.. Как, Ефрем, обучаешь барчука-то, понятлив?

— Понимает.

— А! Время какое, Капитон Аверьяныч! — восклицает управитель. — Дворянские дети у нашего брата уму-разуму набираются!

Отец делает многозначительное «гм» и с дьявольским торжеством кривит губы наподобие улыбки. Мать с умилением, как на икону, смотрит на меня из-за перегородки...

Возмутительно, возмутительно, возмутительно!

Я тебе писал, кажется, о «сыне Витязя и Визапурши»? Так вот этого самого сына, — его звать Кролик, — повели в Хреновое, на бега. Трудно вообразить, каким душевным истязаниям подвергает себя отец по этому поводу. Во-первых, он сомневается в наезднике, не пойму хорошенько почему. Во-вторых, Кролик есть как бы результат бесконтрольного управления заводом: с самой смерти старика Гарденина отец задался целью улучшить завод и на так называемое «освежение кровей», то есть на покупку новых жеребцов и кобыл, ухлопал тысяч до десяти. В-третьих, никогда гарденинские лошади не появлялись на ристалищах, и это будет первый дебют. Нам-то органически невозможно понять всей этой чепухи, но несомненно одно, что отец теперь настоящий мученик, что для него наступает теперь — «быть или не быть». Мать втихомолку передавала мне: не спит по ночам, крихтит, ворочается, задремлет — вскрикивает, а то оденется и середь ночи уйдет в степь, напевая «Коль славен наш господь в Сионе» и постукивая костью. Как-то потемнел, осунулся... Такова, брат, заразительность этого Бедлама, что, сознаюсь, меня самого начинает беспокоить мысль: а что, как осрамится «сын Витязя и Визапурши»?.. Счастливец! Ты не испытываешь таких доисторических беспокойств.

Нужно рассказать тебе кое-что о матери. Едва ли это не самая мучительная сторона здешней моей жизни. Я не знаю женщины, к которой бы более подходили слова: «Ты вся — воплощенный испуг, ты вся — вековая истома». Отчего же? С внешней стороны она ведь, казалось бы, поставлена вовсе не в такие жестокие условия. Гнет крепостного права не коснулся ее. Отец всегда стоял в фаворитах и скорее давил других, чем сам находился под прессом. Работой мать не имела нужды обременяться, на барщину не хаживала, в господские «глазки» не засматривала. Напротив, ей самой услуживали, в ней самой готовы были заискивать. А между тем эта ровная, наружно-благоденственная жизнь весьма исправно разбила ей грудь, искалечила душу. Весь секрет в том чувстве неугасимой любви, которая снесла ее и не находила достаточного отклика. Отец, замкнутый в своем величии, в своих высоких «коннозаводских» идеях, в своей страсти к рысистым лошадям, в своей фантастической приверженности к «господскому делу», не имел досуга подумать о том, какое горячее, какое самоотверженное сердце бьется и изнывает около него. Нельзя сказать, чтобы он не любил ее, но любил по-своему, не роняя слов, не находя нужды раскрывать перед нею душу; любил сверху вниз, если можно выразиться, — любил, снисходительно и шуточно насмехаясь, презирая в ней «бабу», не допуская и мысли, что она «ровна» ему. Что поделаешь, такой уж характер, или, лучше сказать, таковы уж традиции. Он этим ужасно напоминает русских «сурьезных» людей, прототип которых пресловутый поп Сильвестр. Затем личная его особенность: он *физически* не может выдавить из себя нежного слова, искренне стыдится таких слов, в буквальном смысле страдает, если не успеет подавить в себе чувствительности, наверстывает такие «промахи» превеличленной суровостью, намеренною недоступностью. Ты со свойственной тебе пронизательностью увидишь, может быть, в этих чертах и мои черты... Увы! Отчасти это будет правда: аз есмь плоть от плоти... Но все ж таки я избегаю «традиций» и в этом, думается мне, имею преимущество над родителем.

Мать, замораживаемая непрестанным холодом «главы», томилась, увядала, сжималась, как мимоза. Мучительный дар любви требовал исхода. К счастью, или, скорее, к несчастью, пошли дети. Их до меня было трое: мальчик, девочка и еще мальчик. Все умирали, и к довершению ужаса, умирали пяти, шести, семи лет. Что она передумала, в каком огне перегорела — легко представить. Недаром же у ней порок сердца и в легких неладно. Вырастила, наконец, меня, — отец на двенадцатом году отвез в школу, потому что «господам никак невозможно без хорошего коновала». Дальше пошло тебе известное: институт, академия... Что было делать источнику любви? Он не иссяк, он направился в область мечты, мистики, гаданий, чудес, в область фантастических надежд

и баснословных упований. Как себя запомню,— вспоминаю возню матери с какими-то таинственными пузырьками, сосудцами, кусочками ваты, узелочками земли, кипарисовыми стружками, просвирками, крестиками, ладанками... Помню вечное шептанье в уголке клетки, трясущиеся руки, благоговейно разбирающие разный чудодейственный скарб... Своеобразная замена спиритизма, как видишь. Великий урок, друг! Недаром сказано,— у Шпильгагена, если не ошибаюсь: «Кто ставит свое счастье в зависимость от личности, тот преследует тень: найти удовлетворение можно единственно в службе великому, всеобъемлющему». Мать весь свой горький век ставила свое счастье в зависимость от личности и жестоко просчиталась.

Тем хуже для меня, разумеется. За эти семь лет семейственная драма как-то стерлась из моей памяти, или не то что стерлась, а осталась в том виде, в каком представлялась мне, когда я еще сам мало смыслил. И только теперь я понял эту драму во всем ее угрожающем значении, в ее сложности, в ее роковой непоправимости. Мало того, только теперь я понял, что за мной считают неоплатный долг, что ко мне предъявлен огромный вексель, одни проценты с которого я не в состоянии заплатить. Да, нечем мне платить, дружище, и в этом вся суть... Кто виноват? Не знаю. Отказываюсь думать, что виновата правда, в свою очередь требующая устами миллионов,— их стонами подавленными, их вздохами, затерянными в равнодушном пространстве, чтобы я спешил к ним, ибо настало великое время освобождения. Отказываюсь верить, что виновата правда.

А пока что — вот тебе пейзажик. Рассветает. Слышу сквозь сон, кто-то возится у кровати... Немного спустя — какое-то смурганье за печкой, чье-то уторопленное дыхание. Встаю, заглядываю — мать в затрапезной юбчонке, засучив выше локтей тонкие, как спички, руки, обливаясь потом, чистит мои сапоги... «Пожалуйста, оставьте, маменька!» С невероятным испугом опускаются руки, на ввалившихся щеках вспыхивает румянец.

— Ну, уж, Ефремушка, как вы меня настращали! Что выдумаете — оставить! Вдруг пойдете к господам, а сапожки не чищены.

— Ради бога!.. Я сам, сам.

— Господи батюшка! Когда-то привел создатель свидетелься, и допущу вас до черной работы. Аль уж я окаянная какая... Что выдумаете!

— Хорошо, сделаю вам удовольствие, сам не буду, попрошу конюха Митрофана... Оставьте!

Мать страдальчески улыбается.

— Что ж,— с усилием выговаривает она,— видно, Митрошка-то милее родной матери... видно, конюх-то приятнее... Ах, Ефремушка, Ефремушка!

Да одни ли сапоги! Умолчу, что еще делается вокруг моей кровати... Не распространяюсь, как я нахожу ладанки и амулеты под подушкой, как, в чайнии, что я сплю, нашептывается вода в моем графине, как иной раз я слышу в темноте задыхающиеся звуки молитвы, сдержанные всхлипывания, поклоны, вздохи, биение в перси: «Спаси!.. Не погуби!.. Наставь *его* на путь истинный!.. Изжени лукавого духа!.. Ослобони от напасти змеинной!»

А! Какая невыносимая, какая дремучая тоска, Глеб Андреич!

Из всего изложенного ты поймешь, конечно, что первоначальные мои планы насчет здешней глуши остались втуне. Я решительно избегаю сближаться с народом. «Литература» крепко-накрепко замкнута: очевидно, ей суждено узреть свет в иных местах. Тихо, смиренно, благородно — вот все, что можно сказать о моем «тутошнем» поведении. Тем не менее объективным-то оком кое-что наблюдаю. Странное, брат, получается впечатление... Во-первых, вздор, что крепостное право отменено: в Гарденине оно действует на всех парах. Не только слова остались прежние: «на барщину!», «как господа прикажут!», «как управитель повелит», но и дела, соответствующие словам, и понятия. Вот хоть бы управитель... Он как был, так и остался с неограниченною властью.

Если из его лексикона вытерто классическое «на конюшню!», то кулаком, палкой, плетью или «записочкой к волостному», то есть розгами, он, говорят, владеет вполне по-прежнему. Протестов нет, чувство личности отсутствует, как и до реформы; о гласном суде, о возмездии, о том, что все будто бы равны перед законом, ходят только неуверенные и сбивчивые слухи. Одним словом, самая погибельная первобытность.

А все-таки вертится! — скажу словами Галилея. Поверишь ли, та атмосфера всякого рода освободительных идей, которой мы дышали в столицах, проникает и в эту вопиющую глушь, — и какими невероятными закоулками, зигзагами, какими мудреными путями! Жизненная сила свободы что весна: даже на камнях вызывает растительность. Я познакомился с любопытным пареньком. Мне как-то сказали, что «управителей сын» написал что-то такое в «ведомостях». Это меня заинтересовало. «Автор» в свою очередь с некоторою даже страстностью искал увидеть меня: звание «студента» подействовало на него импонирующим образом. «Я до сих пор не видал, какие бывают студенты!» — сказал он мне, с восхищением дикаря рассматривая мою физиономию. Курьезнейшая голова! Образования ни малейшего: обучался у какой-то ханжигетки; в губернском городе в первый, кажется, раз побывал нынешнюю зиму; о существовании таких вещей, как журналы, узнал тоже недавно. И вообрази, этот-то «сын природы» с самым горячим видом заявляет мне: «У нас такая происходит эксплуатация народа, что никакое гражданское чувство не может этого стерпеть!» Откуда сие? А от какого-то купца Рукодеева, тоже, судя по рассказам, курьезного человека. Купец пьянствует, ведет свое торговое дело, дуется в карты, безобразничает, а тем временем почитывает, снабжает книжками, изрекает вольнодумные слова, втихомолку и в пьяном виде призывает даже революцию! Подумай, для чего понадобилась революция купцу Рукодееву? Что касается книжек, мой новый знакомец успел поглотить их груды, но какие! — Рокамболь и Дарвин, Майн Рид и Писарев, Поль Феваль какой-то и Бокль... чего хочешь, того просишь. А все-таки в результате — совесть пробуждается, голова привыкает думать, утраченный человек восстанавливается. Я его, признаться, несколько сконфузил по своему обыкновению. Нужно было сбить с него спесь: глупенькая статейка в «Сыне отечества» сильно вскружила ему голову. Он возмечтал нечто совсем неподходящее о могуществе типографской краски. Нужно добавить, что и в других отношениях он мне не совсем по вкусу. Решительно нет в нем той горячности к планам, того беззаветного увлечения, которых мы с тобой не раз бывали свидетелями, имея дело в студенческих кружках. «Говори, мол, я послушаю, а все-таки это не тово!» — вот какое делает впечатление его лицо, когда я пробовал раскрывать перед ним программу действий. Давал кое-что читать ему — из народной жизни. В двух случаях изволил возразить так: «Этого не бывает-с, Ефрем Капитоныч, хуже бывает и даже гораздо хуже, но чтоб эдак, вот в эдаком самом смысле — нет-с!» Пока разговор держится в области теорий, — все равно каких: философских, политических, нравственных, — он жадно слушает, переспрашивает, часто и горячо соглашается, а как только дойдет до того, «что же делать?» — или понесет гиль, или молчит с упрямым лицом, с потупленными глазами.

Я, впрочем, и описал тебе этого захоластного протестанта с целью показать, какими изумительными путями достигает сюда «царица свобода». Что-нибудь особенное вряд ли из него выйдет: подозрительна эта ранняя «резвость», эти благоразумные апелляции к тому, что «бывает» и что «не бывает». Вдобавок, вижусь я с ним довольно редко, а в последние дни и совсем не вижусь: его услали на хутор надзирать за покосом. Да если бы и не услали, сам можешь судить, есть ли у меня время: гораздо важнейшее стоит на очереди. О, гораздо важнейшее!»



Федоткин рай.— Федоткино искушение.— Конспирация.— Сакердон Ионыч о добром старом времени.— Отчего была дурная кровь в Ефиме Цыгане? — Лошадиная психология.— Апофеоз крепостного права.— Кузнец-тайновидец.— Маринкины чары.— Карьера Наума Нефедова.— Засада.— «Без сорока шести!»

Жизнь Федотки в Хреновом была самая обольстительная. Раз в день запрягали Кролика, и Федотка отправлялся с наездником либо на дистанцию, либо в степь. Там он слезал, празднично сидел где-нибудь в сторонке, пока Ефим проезжал лошадь. Иногда Ефим заставлял его скакать под дугою. Затем оставалось воротиться на квартиру, отпрячь, выводить, вычистить. Остальное время Федотка мог безвозбранно напиваться новыми впечатлениями. По правде сказать, он плохо исполнял наказ Капитона Аверьяныча «издыхать в конюшне», тем более, что кузнец решительно никуда не отлучался. И вот Федотка, распутив огненный шарф и заложив шапку набекрень, бродил по заводу и по слободке, знакомился с конюхами, с поддужными, уходил на дистанцию посмотреть чужих лошадей. Все для него было любопытно и все ужасно нравилось ему.

Много раз Маринка пыталась заигрывать с ним: то взглянет свойственным ей наглым и что-то обещающим взглядом, то прижмет ногу под столом, то как будто нечаянно столкнется в темных сенях или в ином тесном месте. Но Федотка оставался равнодушным; его отвращали такие откровенные подвохи, такая чрезмерная развязность. Да и самая девка, на его деревенский взгляд, казалась ему «перестарком». Гораздо приятнее было посидеть на крылечке с конюхами, поглумиться над проходящим жокеем, над «скаковою» лошадей с ногами, тонкими, «как шпильки», поиграть на гармонике, или в почтительном отдалении послушать разговоры наездников, или поглазеть на великолепие заводских конюшен, манежей, варков. Перед наездниками Федотка положительно испытывал какое-то благоговение, особенно перед такими знаменитостями, как Сакердон Ионыч или наездник купца Мальчикова Наум Нефедов. Ионыч квартировал недалеко и частенько захаживал посмотреть на Кролика, которым очень интересовался, сказать два-три слова с Ефимом; замечал и Федотку и однажды даже сказал о нем Ефиму: «Проворный это у тебя малый, почтительный». Но, скитаясь по слободке, вступая в разговоры и в знакомства с чужими людьми, Федотка твердо памятовал, что ему надлежит «держаться язык на привязи» и всячески соблюдать господские интересы. Так, когда Наум Нефедов, — маленький и пузатенький человек с лукаво прищуренными глазками и с усами, как у таракана, — узнавши, что Федотка гарденинский поддужный, с дружественною улыбкой ткнул его однажды в живот и как бы мимоходом спросил:

— Что Кролик-то ваш, поди, ковыляет минут шесть с небольшим?

Федотка хотя и был осчастливлен вниманием столь славного человека, тем не менее, не обинуясь, ответил:

— Не могу знать, Наум Нефедыч. Наше дело подначальное-с.

В другой раз, — это было вечером, дня за четыре до бегов, — Наум Нефедов оказал Федотке непомерную честь: позвал к себе на крылечко и протянул ему окурочек собственной своей сигары. Федотка осторожно, кончиками пальцев взял сигару и, из почтительности отвернувшись несколько в сторону, затянулся.

— Давно, парень, поддужным-то? — с видом необыкновенного добродушия спросил Наум Нефедов.

— Да вот с год уж, Наум Нефедыч.

— А жалованье какое?

— Шесть рублей-с! — Но тут Федотка врал: жалованья ему полагалось три рубля тридцать три с третью копейки в месяц.

— Гм... маловато. У меня Микитка восемь получает да подарки, — и, помолчавши, добавил: — Я Микиту в наездники определяю. К купцу Веретенникову. Вот опять мне поддужный понадобится... У меня ведь как: два-три года прослужит парень в поддужных, я его сейчас на место ставлю, в наездники. Вот Микита теперь прямо двести целкачей будет огребать.

Федоткино сердце так и растворялось от этих соблазнительных намеков. Однако он молчал.

— Ты, кажется, малый тямкий, — продолжал Наум Нефедов, — тебе бы к нам поступить. У нас что? У нас, прямо надо сказать, — воля! Разве купеческую жисть возможно сравнить с господской? Слава тебе господи, сам, будучи барским человеком, изведал, сколь солоно! И опять, конюший ваш... Я ведь его знаю, достаточный истукан рода человеческого! Сколько раз бил-то тебя?

— Мы эфтого от них не видали, — отвечивал Федотка, беззаботно потряхнув волосами.

— Ой ли? Ну, не бил, так побьет. Эти старинные ироды куда как драться здóровы. Али насчет сна... Ведь сна у них совсем нет... Ты спишь, а он, окаянный, ночью приволокется в конюшню, разбудит тебя, на шумит. Потому у них сна нету, они — двужильные.

— Это хуть правильно, — согласился Федотка, — у нас Капитон Аверьяныч неведомо когда и спит.

— Ну вот. Но у купцов совсем на иной лад. У купцов так: сдадена тебе лошадь, чтоб была в порядке; спишь ты, с девками гуляешь — это дело твое. Али харчи взять. У нас в конюховской прямо полагается фунт говядины на человека. Ну-кося, у господ-то дадут тебе фунт?

— Куда! У нас полфунта солонины, и больше никаких. Опять же едим — и конюха и простые рабочие — все вместе.

— Эва! Нет, уж у купцов конюха с мужиком не станут равнять! Али теперь посты... Что вы по средам, по пятницам-то трескаете, — щи пустые? Но у нас не токма среды-пятницы, а и петровками молоко. У нас, брат, постов не разбирают.

— Такой ли теперича век, чтоб посты разбирать, — сказал Федотка, вспоминая свои разговоры с Николаем, — достаточно хорошо известно, кто их обдумал.

Но Наум Нефедов не обнаружил склонности к вольнодумным соображениям.

— Там кто ни обдумал, а у нас сплошь молоко, — сказал он. — Али насчет страху... Живут, примерно, господа в вотчине. Сколько ты напримаешься испугу по случаю господ? Мороз ли, дождь ли, ты всегда должен без шапки. Идешь мимо барского дома — опять шапку долой. Так ли я говорю?

— Точно так-с, Наум Нефедыч. Насчет шапок у нас ба-а-альшая строгость!

— Ага! Но у купцов и в заводе нет без шапок стоять. Али насчет веселья молодого человека... Что у вас в Гарденине? Монастырь! Но у нас с самой ранней весны и до поздней осени не переводится народ на хуторе. Начнется полка, одних девок сот до семи сгонят. Тут, брат, умирать не захочешь от нашей хуторской жизни... Вот ты и подумай об эфтом.

Наум Нефедов пристально взглянул на Федотку и, заметив, что тот

достаточно раскис от его искусительных речей, многозначительно крикнул и спросил вполголоса:

— А что, парень, дюже строг Кролик? На вожжах не зарывается? Не пужлив?.. Как, примерно, сбой... не сигает, прямо становится в рысь, аль с привскоком?

Но Федотка тотчас же спохватился.

— Не могу знать, Наум Нефедыч, наше дело подначальное-с,— ответил он с обычным своим скромным и почтительным видом.— Скажут запрягать — запрягаем, а насчет чего другого прочего мы неизвестны-с.

Наум Нефедов незаметно поморщился.

— Гм... известно, что подначальное твое дело,— сказал он,— я ведь это, парень, так себе... больше от скуки спрашиваю. Мне все равно. Ты там в случае чего не болтай Ефиму Иванову... Мало ли о чем говорится! — Он потянулся, зевнул с видом ранодушия и встал, чтобы идти в горницу. И уж вполоборота спросил Федотку, плутовски подмигивая глазом: — А у вас на хватере... тово... приманка есть ловкая!

— Маринка? — догадался Федотка, в свою очередь ослабляясь.

— Маринка, что ли. Ты как насчет ей... не прохаживался? Аль, может, Ефим Иваныч старину вспомнил? Он ведь, не в укор ему будь сказано, ходок был по эфтим делам.

— Похоже как быдто... Похоже, что прилипает.

— Ой ли? Хе, хе, хе, знай наших... Ну, да ведь и девка же язва.

Федотка, поклонившись Науму Нефедычу, тоже отправился домой. А Наум Нефедов как вошел в горницу, так и сделался сумрачен. И велел позвать своего поддужного, запер за ним дверь на крючок и шепотом сказал:

— Ну что, малый, как Маринка?

— Что ж, Наум Нефедыч, Маринка за четвертной билет удавиться готова.

— Гм... Ох, не по нутру мне эти каверзы! Вот что, Микитушка, переговори с ней, с собачьей дочерью: покамест ничего не нужно, только чтобы дала слушок, как Ефим на проверку поедет. До тех пор опаслив, цыганская морда, никаких нет сил! Вчерась вижу — поворотил на дистанцию... стой, думаю, будет прикидывать. Побежал я, вынул часы, а он уже шагом пустил!.. Экий разбойник!.. Но эдак на глаз — крупнейшая рысь!.. И чего он не проверяет, чего на часы не прикидывает... аль уж вполне надеется? Ах, грехи, грехи!

— А Маринка здорово его обвела! Сулил платье ей шелковое...

— Шелковое? Ах, пес тебя задави... значит, много надежды в человеке!

— Но к лошади, говорит Маринка, подступу нет. Тоись на тот случай, ежели срествия какого... Поддужный, говорит, еще отлучается, а кузнец у них есть, так этот кузнец словно гвоздем прибит,— так и околеваает в конюшне.

— Отлучается он, закарябай его кошки! Пытал, пытал, хоть бы словечко проронил какое. Твердый народ подобран. Да что к лошади подступаться... я греха на душу не возьму. Приедет хозяин, пускай как хочет, а я греха не возьму. Только чтобы проверки не прозевать, только увериться, сколь он страшен, а уж там хозяйское дело. Скажи ей, паскуде: подаст слушок — прямо зелененькую в зубы, а уж в рассуждении, что будет дальше — что господь. Да смотри, Ефима-то опасайся! Дознается — сохрани бог.

Федотке приходилось идти мимо домика, в котором квартировал Сакердон Ионыч. Старик был один и тоже сидел на крыльчке, от времени до времени понюхивая табачок и задумчиво смотря в сторону степи и завода. Федотка поздоровался с ним.

— Где был? — спросил Сакердон Ионыч.

Федотка сказал. Ионыч возгорелся любопытством:

— Это зачем?.. Подь-ка, друг, сюда.

Федотка почтительно остановился у ступенек.

— Иди-ка, иди,— прошамкал старик,— присаживайся. Вот на лавку, на лавку-то... Рассказывай, что тебе пел Кот-ат Котофеич?

Федотка сел и с полною откровенностью передал Ионычу весь свой разговор с Наумом Нефедычем. Старик выслушал внимательно, пожевал губами, запустил здоровенную понюшку в правую ноздрю,— левая уже не действовала,— и сказал:

— Ишь ведь пролаз! Не мытьем, так катаньем норовит... А ты молодец, хвалю. Понимаешь, к чему он клонил, иродова его душа?.. Ох, грехи, грехи! Будь поопасливей, друг. Зря не якшайся с кем попало... сказано — береги честь смолоду. Ведь ишь обдумал, окаянник... прельщать! Ну погоди, ужо я с тобой поговорю, с искариотом... Купцы, купцы! Сам-ат продаяся и думает, что все деньгами достается. Ой, врешь, Наумка! Ой, не всё! То ли — честь, то ли — барыши, смекни-кось, взвесь, ан, глядишь, и навряд барыши перетянут. Вот он, завод-то! — Ионыч указал на постройки, облитые розовым огнем заката,— соблюдал ли его сиятельство батюшка граф барыши? Нет, не соблюдал. Господи боже! Сколько было душ крестьян, сколько земли, лесов, денег! Сколько было расточено на сиятельного милости монаршей... Но у него одна была утеха: взденет соболью шубку на один рукав, заломит бобровую шапочку, да в санки, да своими вельможескими ручками за вожжи, на Барсе, например, али на ином рысаке собственного завода. А то — купцы! Да скажи ты мне на милость, что такое купец? Мы их в старину алтынниками называли,— алтынники они и есть, ежели не говорить худого слова. Какое у него понятие? К чему охота? Вот к лошадям пристрастились которые... завели заводы, сманивают у господ наездников, берут призы... Хорошо, положим так. А ежели завтра арфянка объявится аль протодьякон с эдаким голосищем, ужель, думаешь, не перекинется купец с рысаков на арфянку и протодьякона? Ой, перекинется!

— Он говорит — по фунту говядины на человека,— вставил Федотка.

— Вот, вот! Из этого и выходит изъян по рысистому делу! — с живейшим раздражением воскликнул Ионыч.— Фунтами-то этими, алтынами-то собьют господского человека да рысака-то и исковеркают! Прежде, бывалоча, какой у них скус был: чтобы лошадь была огромная, косматишшая, сырая. От эфтого большая пошла замешка в заводах... Вот ваш покойник барин прельстился,— как омужичил завод! Теперь же новую моду затеяли: налегают на резвость. И опять во вред рысистой породе. Рысистая порода, она, друг, двойственная; как за нее приняться. Есть в ней сырая кровь, голландская, с низменных мест; есть азиатская кровь, сухая, горячая, от Сметанки! Вот ты и рассуждай. Батюшка граф Алексей Григорыч умел рассудить!.. И другие господа по его стопам. Взять бы хоть нашего князьку,— царство ему небесное!.. аль Шишкина, Воейковых господ, Тулинова, Николая Яклича. Как же так? А очень просто, друг любезный: за лошадью гнались, а не за призами, не за ценами, алтыном-то пренебрегали. Ну, а теперь... на резвость поперли. И помяни мое слово — собьют лошадей на нет!

— Вот вы говорите, Сакердон Ионыч,— грахв... Какой это грахв? Ведь Хреновое-то казенное?

— Граф Орлов-Чесменский, дурашка. Эка, чего не знаешь! Сметанку вывел из Аравии, рысистую породу обосновал... Помер, дочь осталась, графиня Анна Алексеевна. Ну, при графине крепостные люди руководствовали; сама-то хладнокровна была к рысистому делу, все больше насчет монастырей, все душу спасти охотилась. Крепостные же люди опять-таки твердо наблюдали заводское дело. Ну, померла графиня — все в казну отошло: и Хреновое, и Чесменка, и завод, и сколько десятков тыщ земли... Ох, и перемены! Все-то на глазах у меня, все-то в памяти. Самого батюшку графа как сквозь сон помню, не больше эдак было мне десяти годочков — наезжал он в Чесменку, у нашего князя в гостях был. А графинюшку словно вчера видел. У, красота! У, лик милостивый!.. А было это еще задолго до первой холеры! Охо, хо, хо.

— А что, осмелюсь вас спросить, Сакердон Ионыч... одолеем мы Грозного али нет? — полюбопытствовал Федотка, ободренный словоохотливостью старика.

Ионыч подумал, понюхал и сказал:

— Видел я вашего Кролика. Намеднись Ефим позвал меня с собой в степь... Смотрел. Ну, что ж, по статьям не любя мне лошадь, — никак не похвалю Капитона Аверьяныча за его слабость, — но бежит... чести надо приписать. Далеко Наумке с Грозным, даром что он императорские брал.

— Значит, дело наше — лафа!

Но Ионыч принял таинственный вид и сказал вполголоса:

— За Ефимом надсматривайте.

— Разве какая опаска? — с испугом спросил Федотка.

Ионыч одно мгновение казался в нерешительности, потом нагнулся к Федотке и прошептал:

— Опаска одна — кровь в нем дурная. Вся его порода с дурной кровью. Я вчера смотрю — увивается он вокруг девки. Смотрю — и глазница эдак у него, и как будто почернел из лица... Неладно. В оба надо приглядывать. Наздников таких — на редкость, но боже упаси — с зарубки соскочит!..

И, помолчав, добавил обыкновенным голосом:

— А ты и впрямь не говори ему об Науме. Человек он необузданный, затеет скандал, драку. Куда не хорошо! Держись, друг, твердо, соблюдай себя, не прельщайся, но смутьяном никак не будь.

— Я и то, Сакердон Ионыч... Я страсть не люблю переносить речей. — И добавил, сненаемый любопытством: — С чего же у него кровь такая, Сакердон Ионыч? Испорчен?

Старик долго молчал. Темнело. Над степью гроздились синие тучи. Едва заметно мерцали далекие костры.

— Охо, хо, как время-то летит! — с глубоким вздохом произнес он, смотря куда-то вдаль своими выцветшими, тусклыми глазами. И, точно не замечая Федотки, вдумываясь, часто прерывая себя, повел рассказ. — Батюшки, посмотришь, давно ли то было!.. И нет никого... и померли... и прошли! Ну, словно тень, аль иной раз промаячит перекасти-поле вдоль степи... али во сне померещится. Были... знаю, что были!.. И сгнули, и нет никого. Куда девались, господи?.. Куда скрылись?.. Ведь знаешь, что непостижимая премудрость, а жалко, жалко... Вот, помню, господу Рыканьевы были — в соседях нашему князю. Давно... лет семьдесят, чай, минуло. И жили их два брата: старшой — Андрей Елкидыч, меньшой — Иракл Елкидыч. Иракл Елкидыч во флоте служил... Года этак за три, как умереть амператору Павлу, взял абшид, поселился в деревне. Был сад у них, в саду хижина особая, так вроде беседки, но с печками и со всем, чтобы можно было зимовать. Вот он и жил в этой хижинке. И был он барин тихий, понурый, мало его кто и видал из людей. Все, бывало, норовит уйти и спрятаться... Раз, на первой неделе великого поста, еду я мимо ихнего сада, смотрю — промеж деревьев человек в тулупчике, так сгорбился. Расчищен снежок в березках, он и гуляет себе. «Кто это?» — спрашиваю. «Барин, Иракл Елкидыч». Только я его и видал. Сказывали тогда, привелось ему на своей флотской службе при одном государевом деле находиться: матроса, что ль, до смерти засекали, не умею тебе рассказать, и вот с того государева дела Иракл Елкидыч впал как бы в повреждение ума. Старшой же, Андрей Елкидыч... Эх! Про старшова к ночи и рассказывать нехорошо! Прямо как есть воплощенный изверг рода человеческого... И воплотился и спущен был с цепи на пагубу крепостных людей. Были такие-то, нечего греха таить, были!.. Графов Девиеровых помню, — господу, но прямо ночным разбоем промышляли. Али около Тамбова один... забыл уж прозвище. Али княгиня Кейкуатова... вот недалеко отсюда: молится, молится, бывало, положит поклон владычице, да вспомнит, призовет какую девку, снимет башмак, да башмаком-то по лицу... бьет,

бьет... Еще норовит, чтоб гвоздями пришлось. А потом опять поклон владычице, опять молится... Были, друг, звери! Но что касательно Рыканьева, Андрея Елкидыча, он, кажись, всем зверям был зверь. Не та беда, что был он жестокости непомерной, строг, немилостив... Князьинька наш, не в осуждение будь ему сказано, тоже не из мягких был помещиков. Бывалоче, дня того не проходило, чтоб на конюшне не драли. Розги, бывало, так и распаривались в чану. И из своих ручек бивал, царство ему небесное... Где она у меня шишка-то? Вот, вот гляди на скуле-то! Памятку мне оставил сиятельный... Но во всяком же разе видно было, за что карал. Пожалует, эдак, на конный двор, повелит выводку делать и как выведут лошадей, вынет батистовый платочек и оботрет; чист платочек — промочит, запылится — драть. Так у нас и полагалось пятнадцать розог, чтоб прачки за княжеский платочек не обижались. И был порядок, был страх!.. И меня-то за что повредил его сиятельство. Вот едем в село Анну, к графу Раstopчину, шестериком. Зима. Как сейчас помню, на Касьяна-мученика... Мороз непомернейший. А я в фалетурах. Ну, чего там! Мальчонка молодой, жидкий... застыл я и свалился с лошади. Уносные подхватили, да в сугроб... возок-ат княжеский и накренился набок. Ну, прямо их сиятельство выскочили и прямо тростью меня по скуле. Так что ж ты думаешь, я как встре-паный на седло-то вскочил! Приехали в Анну, кучер хват, ан пальцы отморозил... У меня же все горит. Вот что значит вовремя побей человека!.. О чем, бишь, я?.. Да, так вот!.. Рыканьев же был совсем неподобный. За дело не истязал, — бывалоче, попадетя его крепостной в воровстве, в драке... Да что в драке! Прямо в смертоубийстве попадались которые, — и доложат ему: только усмехнется. Такая усмешечка у него была тонюсенькая, с оскальцем, тихонькая... Но вот очень уж он любил разрывать душу человеческую. Наипаче по женскому полу... И опять скажу — по женскому полу много было тогда охочих господ, но... как бы тебе сказать?.. попросту этим занимались, смирно, благородно, а иной раз с большою наградою. Скажут, бывалоче, шепотком: ноне, мол, в ночи, князю из Самошкина двора девку Палашку приводили... А там, глядишь, Самошке — дары: лошадь, клеть... Палашку за хорошего мужика замуж выдадут, и опять дары. Вот оно соблазну-то большого и не было. А то некоторые разгул любили: сгонят девок, баб в хоромы... песни, шум, музыка, водкой поят... Ну и, само собой, все случалось под пьяную руку: удал, друг, препон не ведает! Андрей же Елкидыч ни с чем несравнимо поступал. Стоило ему только узнать: вот муж жену из ряда вон любит, али мать-отец не нарадуются на дочку... шабаш! Волокут в барский дом жену и волокут девку. И еще что я тебе скажу: главное свое внимание обращал, чтобы девка была подросточек... страсть, злодей, любил робких... чтоб пужались, чтоб тряслись со страху!.. Ну, и что ж ты думаешь, в свою угоду он, изверг, творил такие дела? Ничуть!.. Допрежь того были у него во дворе женщины набраты, так, голубушки, за железными решетками и имели свой приют, — и были дети от женщин. Подрастали дети — селили их в особый поселок... и теперь деревня Побочная прозывается. Но случилась на ту пору война; поехал Андрей Елкидыч на войну — решетки поломал, женщин разогнал по домам. С войны же и вселился в него дьявол. Набрал он неведомо где особых неистовых людей, был грузин, был из казанских татар человек, был неимущий дворянчик Петушок... Но наипаче был цыган, по прозванью Чурила, в кучерах с ним ездил. Вот, гляючи на их-то богомерзкие дела, Андрей Елкидыч и распался. Сидит, пес, и смеется... и была такая у него гданская водочка — все пьет глоточками, все пьет! Ах, что же и творилось тогда в Рыканьева!.. Али вот еще диво какое: найдет стих на Андрея Елкидыча, укажет пригнать в хоромы самого что ни на есть простого хохла, — ну, чабана от овец, повелит чабану песни играть. Ну, какие у хохла песни? Заведет, заведет... «та степы мои, та широки... ge!.. ge!.. та степы мои, та широки...» А Андрей Елкидыч разливается-плачет... Неподобный человек!.. Да... о чем, бишь?.. Цыган Чурила, говорю, был. Силищи непомерной... Вот как

я тебе скажу: загогочет жеребец, и это ничто, как загогочет Чурила. Подковы ломал! Карету четверней за колеса останавливал! А что, проклятый, творил на потеху Андрея Елкидыча, того и выговорить невозможно... Одно скажу: попи-рал человеческое естество до таких даже делов — в пору самому дьяволу. Да про него так и говорили в народе, что это нечистый... Ну, рано ли, поздно, про-слышал Андрей Елкидыч — живет на селе девка Степанида, имеет прибуд-ную дочь по пятнадцатому году, величается, что ее прибудная дочь — барское отродье. А это и на самом деле была истина. Надо же тебе сказать, Андрей Елкидыч, окромя как на охоту с гончими, не выходил из хором. Человеческого лица не любил. Когда и выйдет, бывало, все в землю смотрит или эдак вкось, из-под бровей поглядит... Бровищи были косматые, сам — желтый, испитой, левая щека дергается... Ужасно посмотреть!.. Бывалоче — среди дня, а барский дом точно слепец при дороге: все ставни наглухо. И в каждой ставне про-рез... и как ненароком глянешь в прорез: словно тебя обожжет... барин гла-зом своим высматривает оттуда. Само собой, со страху мерещилось: может, он и к окну-то не подходил. Помню, беда ехать мимо Рыканье-вых, оторопь берет. А по ночам — песни, крик, Чурила гогочет, кудах-танье, визг... сатанинские дела! Раз едем с князинькой... Ночь... «Стой!» — го-ворит... — придержали эдак лошадей около сада. Тишина словно на погосте... только птишка свиристит да лягушки квакают. А в доме огни, видно в прорезы-то. И вдруг загоготал, загоготал цыган. И крик... ну, точно птица какая кри-чит, — нечеловеческий голос. У меня так и побежало по спине: сижу в седле, бьет меня лихоманка. А в доме тем местом как рассыпится смешок, тонюсень-кий, мелконький, так и захлебывается, так и подвизгивает... Как заревет наш князинька: «Пошел! Пошел во весь дух!» Я-то сам не слышал, — где уж слы-шать: накаливаю уносных изо всей мочи, — а кучер Пимен рассказывал после: мечется его сиятельство, всплеснет, всплеснет руками, а сам кричит: «Позор дворянству! Позор, позор!..» А вот я опять, никак, отбился в сторону. Да... Так вот Андрей Елкидыч никуда не показывался. Но имел таких особенных у себя людей, на манер соглядатаев. И вдруг докладывают ему о Степаниде. Точно, говорит, это моя у ней дочь. И говорит цыгану: хочешь моим зятем быть — поступи ко мне в крепость. А тот разгорелся: хочу, говорит, пиши меня в кре-постные. Надо же тебе сказать, он еще раньше Степанидину дочь заприметил: девчонка беленькая была, нежненькая. Ну, взял ее в дом, отдали за цыгана. И сделали приказные так: стал вольный цыган крепостным человеком господи-на Рыканьева. В тогдашнее время было все возможно... Но с этих самых пор пошло худое на цыгана. Лишился он милости в барских глазах. А с чего? Вот с чего. Доложили барину: очень Чурила к жене привержен. А барин и так уж приметил — есть перемена в Чуриле: от богомерзких делов уклоняется, ска-зывается больным, и прочее такое. Ну, говорит, коли так, волоките ее на распра-ву... это кровь моя у ней дочь. Схватился за нее татарин, по-волоку. Цыган разъярился да польсни ножом татарина. И пошло!.. Господи, что делали над цыганом... Секли его, прямо надо сказать, не на живот, а на смерть. И кнутьями-то, и розги в соленой воде распаривали, и шиповником. Секут, секут, прислушаются — нет дыханья, отволокут на рогожке, бросят... отдышится, затянет раны — опять сечь. Но такая была силища в том челове-ке, — не могли из него душу вынуть. Вот поглядел, поглядел Андрей Елкидыч, возьми да и забрей его в солдаты. Как теперь помню, везли его мимо нас. В це-пях, глазищи неистовые, морда в подтеках, в синяках, человек двадцать наро-ду вокруг телеги, — боялись, не сбежал бы. Ну, нет, не сбежал, так без вести и сгинул в солдатах. Должно быть, истинно сказано: и погибнет память его с шумом. Охо, хо, хо, дела-то какие бывают на свете!.. Ну, вот, сколько време-ни прошло, докладывают Андрею Елкидычу: Чурилова жена родила мальчика. «Не хочу, говорит, видеть сатанинское отродье: продать обоих». Так их и про-дали господам Воейковым. Говорили тогда, будто правов таких нет солдатку

продавать, однако ничего, продали... И теперь смотри: Чурилова сына Григорием звали, — Григорий Чуриленок, — Григорий-ат и доводится дедом вашему Ефиму... То ли еще не дурная кровь!

— Вот так штука! — вскрикнул Федотка, ошеломленный неожиданным заключением рассказа, и, помолчавши, сказал: — Как же, Сакердон Ионыч, эдак, выходит, и Ефим Иваныч — сатанинское отродье?

— Замолено, — ответствовал Ионыч, — рыканьевская дочь замолила. Было ей виденье, чтоб семь разов в Киев сходить. Вот она за семь-то раз и упростила угодников. Потому все нечистое с них снято. А ежели я теперь рассуждаю — в Ефиме дурная кровь, я беру пример с конного дела. Вот у нас в заводе был жеребец Визапур... давно... как бы тебе сказать?.. эдак до первой холеры. И ку-сался и бил задом. Двое конюхов из-за него жизни решились, — замял. Ну, хорошо, пошли от Визапура дети. Кобылки ничего, а коньки с тою же ухваткой. Был от него Непобедимый — человека убил. От Непобедимого был Игрок — поддужному коленный сустав зубами измочалил... И вот слышу, в прошлом году, праправнук Игрока, Атласный, — в заводе Телепневых теперь, — бросился на конюха, смял, изжевал нос и щеки. Вот оно кровь-то дурная что обозначает!

— Ну, а с барином с эстим, Сакердон Ионыч, — спросил Федотка, — было ему какое наказанье?

— А какое наказанье? Тут как раз амператор Павел скончался, пошли слухи — волю, волю дадут... Он и притих, да вскорости и помер. Исповедался, причастился... честь-честью. Потому, друг, истинно сказано в книге праведного Иова: «В день гибели пощажен бывает злодей и в день гнева отводится в сторону». — И с оживлением добавил: — Но меньшой, Иракл Елкидыч, не избеги!.. Тот потерпел наказанье: пришли раз поутру, а он висит на отдушнике! Приехал суд, стали допытываться, глядь, а у него полны сундуки книг масонских. Вот какой был тихоня!

— Это что ж такое будет?

— А то! Не мудри! Господа бога не искушай, чего не дано — не выслеживай!.. Оттого и окаанная смерть. Андрей Елкидыч как-никак все ж таки удостоился христианской кончины, а этого, Иракла-то Елкидыча, сволокли, да за садом во рву и зарыли, словно падаль какую-нибудь.

Федотка ничего не понял из слов Ионыча, но переспросить не осмелился и, помолчавши довольное время, сказал:

— И мучители были эти господа!

— Вот уж врешь! — внезапно рассердясь, воскликнул Ионыч. — Вот уж это ты соврал! Устроители были, отцы, радетели — это так. Чем красна матушка Расея? Садами господскими, поместьями, заводами конскими, псовою охотой... Вот переводятся господа, — что же мы видим? Сады засыхают, каменное строение продается на слом, заводы прекращаются, о гончих и слухом стало не слышать. Где было дивное благолепие, теперь — трактир, кабак; замест веселых лесов — пеньки торчат, степи разодраны, народ избаловался, — пьянство, непочтение, воровство. Это, брат, ты погоди говорить! Была в царстве держава, — нет, всем волю дадим!.. Ну, и сдвинули державу... Сказано — *крепость*, и было крепко, а сказано — *воля*, и пошла вольница, беспорядок. Ишь, обдумал что сказать — мучители! Вот смотри, — Ионыч опять указал в сторону завода, — голая степь была... Сурки, да разное зверье, да коршунье. Леса были дикие, дремучие, — весь Битюк в них хоронился. Я-то не помню — родитель мой отлично помнит, как в этих самых местах пугачевский полковник Ивашка рыскал. Пустыня! А теперь проезжай вдоль реки: все отпрыск графа Алексея Григорыча, все позастроено, заселено, уряжено, и славен стал Битюк на всю Расею. А то — мучители!

С этим Федотке решительно не хотелось согласиться, — он гораздо охотнее слушал, как прищалили господ и толковали о том, что «их время прошло», —

но он снова предпочел смолчать, подумавши про себя: «А и впрямь из ума выжил, старый черт!» И, наскучив сидеть с стариком, сказал:

— Ну, я пойду, Сакердон Ионыч, надо еще Кролика убрать.

— Иди, друг, иди,— добродушно прошамкал старик с внезапным выражением усталости.— Охо, хо, хо, а мне уж на покой пора... А Наума я побраню,— эка, что обдумал, бесстыдник!

Были густые сумерки. Федотка шел и все вспоминал Чурилу, и проникался каким-то суеверным страхом к Ефиму. И вдруг в самых воротах натолкнулся на него. Ефим стоял спиной к улице и что-то шептал сидевшей на лавочке Маринке. Маринка хихикала, взвизгивала, но отмалчивалась.

Услыхав шаги Федотки, Ефим круто повернулся к нему.

— Где шатался? — спросил он угрюмо и в упор остановил на нем свои блестящие, беспокойные глаза.

— Я... я, дяденька Ефим...— коснеющим языком залепетал Федотка, воображая видеть самого Чурилу.

— Хи, хи, хи, Федотушка языка решился! — насмешливо воскликнула Маринка.— Говорила: Федотик, полюби... Ты бы у меня живо смелости набрался... Хи, хи, хи, правда, что ль, Ефим Иваныч?

Ефима взорвало.

— Таскаются, черти! — закричал он.— Чтоб ты у меня околевал в конюшне! — и с этими словами так толкнул Федотку, что тот на рысях и с распростертыми руками вскочил в ворота. Маринка разразилась хохотом. Оскорбленный Федотка хотел изругаться, но побоялся и молча пошел в конюшню. Кузнец Ермил сидел на пороге и праздно смотрел в пространство. Федотка взял гарнец, зачерпнул овса и остановился в нерешимости.

— Аль спроситься? — сказал он.

— У кого? — осведомился кузнец.

— Да у Ефима-то. Все задаешь, задаешь без него, а глядишь, найдет на него стих и рассерчает.

Кузнец саркастически усмехнулся.

— Ефима теперь не отдерешь от этой... С утра до ночи убивается вокруг ей,— сказал он.

Федотка поставил наземь овес, присел к кузнецу и стал свертывать сигарку.

— А что, дядя Ермил,— сказал он,— ведь дело-то табак.

— А что?

— Ефим-то наш... не то колдун, не то проклятый.

— Это ты откуда?

— Мне вот старик, княжой наездник, порассказал про него.

Кузнец глубокомысленно подумал и с решительностью потрянул своими огненными волосищами.

— Я в колдунов не верю,— выговорил он с прибавлением крепкого слова.

— А в ведьмов веришь?

— Ведьму я видел. Я ее по ляжке молотком ошарашил. Опосля того замечаю — Козлихина старуха прихрамывает. Эге, думаю, такая-сякая, налетела с ковшом на брагу!

— Какая же она, дяденька, из себя? Белая?

— Обнаковенно, белая.— И неожиданно добавил: — Вот Маринка — ведьма.

— Ты почем знаешь?

— Видел. У ней ноги коровьи.

Федотка только раскрыл рот от изумления.

— Когда в башмаках — незаметно,— с непоколебимую уверенностью продолжал кузнец,— а я раз заглянул — она спит, тулупом накрылась... а из-под тулупа ноги: одна — в чулке, а другая — коровья.— И после недолгого молчания равнодушно добавил: — Она и оборачивается.

— Во что? — шепотом спросил Федотка.

— Прошлую ночь в свинью обратилась.

— Это вот в огороде все хрюкала?

— А ты думал как? Отец только слава, что запирает ее: придет полночь, шарк! — и готова... Сам видел, как белым холстом из окошка вылетела. Я вот посмотрю, посмотрю да Капитону Аверьянову доложу. Нечисто. Позавчера я запоздал в кузнице, — гвозди ковал, — иду, а она с поддужным купца Мальчикова у трактира стоит. Присмотрела — я иду, зашла за угол, трах! — в белую курицу оборотилась. Думала, я не вижу. Придет Капитон Аверьянов — непременно надо съезжать с этой хватуры.

— А вот домового нет? — неуверенно вымолвил Федотка.

— Домового нет, — твердо ответил кузнец и сплюнул на далекое расстояние.

Федотке вдруг сделался страшен и неприятен разговор о нечисти. Чтоб заглушить этот страх, он заговорил о другом.

— А что, дядя Ермил, и мучители были эти господа! Вот мне княжой наездник рассказывал — оторопь берет, как они понашались над нашим братом.

— А ты думал как? — и кузнец с величайшею изысканностью обругал помещиков.

— Вот у купцов много слободнее.

— Тоже хороши... — Кузнец обругался еще выразительнее.

Федотка помолчал, затем меланхолически выговорил:

— Тут и подумай, как жить нашему брату. Господа — плохи, купцы...

— А наш-то брат хорош, по-твоему? — с презрением перебил его кузнец и так осрамил «нашего брата», в таком потоке сквернословия потопил его, что Федотка не нашелся, что сказать, вздохнул и пошел засыпать овес лошадям. Кузнец отправился в избу крошить табак.

Оставшись один, Федотка прилег на сене около растворенных настежь дверей конюшни и хотел заснуть. Но в его голову лезли неприятные мысли; не спалось. Ему было как-то жутко, холодно от неопределенного чувства страха. В двери видно было, как по-над степью трепетали зарницы. Где-то едва слышно рокотал гром. В душном и тяжелом воздухе сильно пахло травами... За воротами непрерывно дребезжал соблазнительный смех Маринки, басистый голос Ефима произносил какие-то мрачные и угрожающие слова. Лошади фыркали, однообразно хрустели овсом, звенели кольцами недоуздрков. Вдруг Федотка увидел две фигуры недалеко от конюшни и явственно услышал вкрадчивый и жеманный голос Маринки:

— Я бы вас, Ефим Иванович, на бегу посмотрела. То-то вы, небось, нарисованный на Кролике!

— Бреши, бреши, чертова дочь!

— Ужели вы об нас так понимаете?.. Хи, хи, хи... Нет, на самом деле хотелось бы поглядеть. Вы еще не прикидывали Кролика на здешней дистанции?

— Нет.

— Вот! А все говорят, ежели прикидывать дома и в Хреновом, большая будто бы разница.

— Не сумлевайся. Ты-то, не виляй, язва сибирская!.. Я тебе прямо говорю — всех за флагом оставляю... разве, разве Наум Нефедов второй возьмет. Чего ты, подлая, томишь? Чего дожидаться?

— Хи, хи, хи, призов ваших, Ефим Иваныч! Вдруг вы нахвастаетесь, а к чему дело доведись — в хвосте придете: где тогда мое платье-то шелковое? На посуле как на стуле? Вы вот прикиньте Кролика хоть завтра — все я буду поспокойнее. Может, у вас дистанция-то неверная, может, в минутах какая ошибка? Что же вы меня, бедную девушку, будете проманывать... Хи, хи, хи!

- У, ира-а-ад! Вот сцапать тебя в охапку...
 - Ей-боженьки, на всю слободу завизжу!
 - Дура! За проверку призов-то не дают. Ну, прикину ежели,— аль мне трудно, прямо вот на заре прикину,— легче, что ль, тебе будет?
 - Все мне спокойнее, все я буду знать, на что мне надеяться...
- Дальнейший разговор стал невнятен.

Науму Нефедову тоже не спалось; он вздыхал, охал, кряхтел, ворочаясь на своей мягкой перине.

Купец Мальчиков взял за долги от одного разорившегося помещика маленький завод рысистых лошадей. Нужно было нанять наездника; знаменитости казались купцу дёроги. «Что без толку деньги-то швырять? — размышлял он.— Сперва посмотрю, стоит ли овчинка выделки»,— и проехал к соседу-коннозаводчику попросить совета. «Да ты возьми у меня Наумку поддужного,— сказал тот,— дай ему рублей семьдесят в год, он будет предволен. А тем временем увидишь». Наумка действительно с великою радостью согласился идти в наездники. Поступил, «заездил» без особенных затруднений трехлетков, быстро отпустил животик. Однако с течением времени стал примечать, что купец Мальчиков хмурится, глядя на лошадей, начинает поговаривать: «Продам я их, чертей! Ни чести от них, ни барыша!» Наум с прискорбием видел, что придется ему возвращаться в первобытное состояние. Тогда он стал мечтать о призах: призы только и могли поправить дело. Выбирал то одну, то другую лошадь, выдумывал особые приемы упряжки, пробовал так и сяк действовать вожами, кормил и поил на тот и на другой манер,— авось! Но ничего не выходило. По складу, например, такой-то лошади непременно нужно было предположить, что она резва; затем по книгам значилось — ее предки брали призы и вообще славились резвостью. Но когда Наум добивался от нее рыси, он видел, что лошадь бежит вяло, как-то бестолково «перебалтывает» ногами, совершенно не чувствует вожжей. И «самодельный наездник», как его называл купец Мальчиков, приходил в уныние.

Но тем временем случилось вот что. Запрягали молодую лошадь. Конюх, — из простых однодворцев («подешевле»), — схватил первую попавшуюся узду и надел на лошадь. Наум не заметил. Но как только выехал в степь и пустил рысью, так сейчас же заметил, что лошадь упорно тянет на себя вожи, очень чутка к их движению и бежит быстро. «Что такое значит? — думал Наум, намеренно подавляя свою радость.— Чтоб не слазить». Воротился, осмотрел упряжь и — так и ахнул. Конюх, вместо обычной для рысистых лошадей узды с толстыми, круглыми и полированными удилами, схватил узду для рабочих, в которой удила были тонкие, четырехгранные, грубой домашней поделки да еще вдобавок разорванные и связанные бечевой. Это было целое открытие. Не проронив никому ни слова, Наум съездил в город, накупил разного сорта удил и принялся за опыты. Клал немного потоньше первых — лошади бежали резвее; еще тоньше — еще резвее, и, наконец, когда положил так называемый трензель — род цепочки с острыми краями,— эта мудреная порода проявила необыкновенную резвость. Отсюда и началась Наумова карьера. В несколько лет он побрал множество призов и сделался знаменитостью. В устах купца Мальчикова превратился из «Наумки» и «самодельного» в «Наума Нефедыча» и «благодетеля». Жалованья ему полагалось 600 рублей, за каждый приз давалось особо. Завелись у него золотые часы, сапоги из лаковой кожи, бархатные поддевки, шелковые рубахи. Но что было обольстительнее всего, это — всеобщий почет, веселая и привольная жизнь на «бегах». Несколько месяцев в году проходило у Наума в разъездах по России — в своего рода триумфальном шествии от одного ристалища до другого.

Вот что припоминал Наум Нефедов, ворочаясь с боку на бок на мягкой

перине, сташенной с хозяйской постели для столь славного постояльца. И в связи с этим вспоминал, что начинали говорить в Хреновом о гарденинском Кролике, какое мнение выразил непогрешимый Сакердон Ионыч. «Неушто проиграю? — размышлял он с прискорбием.— Господи, господи! И что ж это за жисть, коли вся, можно сказать, судьба человеческая на трензеле висит?.. Вот узнал, что трензель — хорошо, и катаешься как сыр в масле, а оборвалось, не выгорело,— ну и полезай из сапог в лапти и хлебай серые щи... Ох, грехи, грехи!» Вдруг он услышал шепот Никитки:

— Наум Нефедыч... а Наум Нефедыч...

— Что, что, что?..— Наум так кубарем и скатился с перины.

— Маринка прибежала... На заре прикидывать поедет...

— Ой ли? Ну, малый, давай сапоги... тащи зипун проворнее... надо бежать...— И он торопливо оделся, положил в карман секундомер, накинул на плечи зипун из простой сермяги, вышел на цыпочках из избы и, наказав Никитке шагу не отлучаться от Грозного, скрылся в темноте, по направлению к дистанции. Там на одной стороне круга была высокая двухъярусная беседка. Наум пробрался наверх, спрятался за глухие перила и, посасывая сигару, терпеливо стал дожидаться рассвета. Одно время он думал, что напрасно проведет бессонную ночь: над степью громоздились тучи, сверкала молния, гремел гром. Но ближе к утру тучи рассеялись, и заря зажглась на совершенно чистом небе. Было так хорошо смотреть на степь с вышины беседки, такую прохладой и таким приятным запахом веяло оттуда, такой необозримый и зовущий к себе простор открывался глазу, что Наум едва не позабыл, зачем пришел сюда. И только легкий треск беговых дрожек привел его в себя. Это подъезжал Ефим с Федоткой. Тогда Наум вынул машинку, приготовился подавить пуговку и жадно приник глазом к расщелине перил.

Ефим отдал Федотке часы и приказал стоять у столба. Затем подъехал к столбу, немного постоял, как бы дожидаясь сигнального звонка, и вдруг шевельнул вожжами. Кролик ринулся, как из лука стрела, и пошел и пошел... Спицы лакированных колес переливались по заре точно искрами... Наум смотрел прикованными глазами... В груди у него сильно стучало. Вот перед концом первого круга Ефим сгорбился, перевел вожжами — Кролик сердито тряхнул мордой, сделал огромный прыжок... другой... третий... четвертый... ровно столько, сколько полагалось по правилам. Наум только ахнул: он и во сне не видывал такого изумительного сбоя. И на каждой версте это повторялось с отчетливостью и аккуратностью заведенной машины.

— Тпррр!

Три версты были кончены. Кролик стоял, слегка поводя боками.

— Много ли, Федотка? — крикнул Ефим.

— Ловко, дяденька! — с восторгом ответил Федотка,— секунт в секунт без сорока шести!

— Ха! Ну, пускай-ка теперь Наумка попрыгает,— злобным и дрожащим от скрытого волнения голосом сказал Ефим.

Наум давно уже сосчитал на своей машинке пять минут четырнадцать секунд и страдальчески промычал. Все было кончено. Наибольшая резвость, которую мог развить Грозный, была пять минут сорок секунд, да и то при всех благоприятных условиях. «Нет, видно, придется взять грех на душу,— подумал Наум,— видно, надо перетолковать с чертовой девкой... Да и то сказать: не согрешишь — не покаешься!» — и с невольным восхищением еще раз посмотрев на Кролика, прошептал:

— Ишь, какого дьявола вырастили, пусто бы вам было там, в Гарденине!



Ярмарка.— «Столичный человек».— Куклы, патриотическая пляска и девица Марго.— Мытарства Онисима Варфоломееча.— По адресу железной дороги.— Сонное царство.— Дети и маляр Михеич.— Знакомство Николая с Ильёю Финогенычем.

В городке была ярмарка. Обыкновенно ежегодно посылался Агей Данилыч в сопровождении трех-четырех подвод и закупал для экономии метлы, лопаты, хомутины, клещи, оглобли, колеса и тому подобный скарб. Теперь Мартин Лукьяныч заблагорассудил послать Николая. Приехав в город рано утром, Николай остановился с своим обозом на выгоне, где огромным станом раскинулась ярмарка, очень скоро управился с покупками, нагрузил подводы и, пока мужики кормили лошадей, отправился слоняться по рядам. День стоял жаркий, пыль так и клубилась, отовсюду в невероятном смешении неслись звуки. Николаю спешить было некуда. Одно время он подумывал сходить в город, разыскать Ильёю Финогеныча, о котором с таким благоговением говорил ему Рукодеев, но, по своему обыкновению, не решился «обеспокоить». Кроме того, ярмарочная суета, оглушительный шум, волны туда и сюда снующего народа как-то странно привлекали его к себе, дразнили его любопытство. Вот длинный ряд дрянных холщовых и рогожных навесов; толпятся бабы со свертками холста; мелькают мускулистые, выше локтя засученные руки; точно частая барабанная дробь шлепают и стучат «набойки»; белый холст выскакивает синюю и коричневою пестрядью; крупные остроты, смех, звяканье медных денег, острый запах скипидара... Это красильщики. Вот шумный и пьяный говор, столы, облепленные народом, шипят оладьи на сковородках, чадит подгорелое масло, дымятся на скорую руку сбитые печки... Это обжорный ряд. А из трактиров вырывается неистовый визг скрипиц, угрюмо бухает турецкий барабан, грохочет бубен... тянет сивухой, селедками, паром, дребезжит посуда, раздаются нестройные голоса. У самой дороги расположились слепцы; сидят на земле, поют заунывным хором про Лазаря богатого и Лазаря бедного, про Егория храброго, про Алексея божьего человека; плачет, слушая их, старуха с кузовком в руках, молодлица грустно подперла щеку, равнодушно взирает босоногий мальчуган, пьяный мужик форсисто вынимает кошель, собирается бросить семитку. Рядом точно живой цветник волнуется... Это красный ряд. Желтые, зеленые, алые, пестрые, малиновые, голубые платки то отливают, то приливают в просторные и прохладные балаганы, где прилавок гнется под грузом ситцев, где рябит в глазах от «узоров» и «рисунков», где до хрипоты, до ярости выбиваются из сил краснорядцы, обольщая добротой, дешевизной и модностью своего товара. Такой же цветник переливается и в галантерейном ряду; иголки, булавки, зеркальца, перстеньки, бусы, мыло, румяна, белила, всякая дрянь, столь соблазнительная для женского пола, раскиданы на столах, разложены в скверно сбитых лавчонках. В панском ряду меньше шума и меньше яркости; там продавцы учтивые, благоприятные, гибкие и скользкие, как линии, с манерами; там сукна, шелки, драп, кашемир, бахрома, стеклярус; там попы и попадьи с озабоченными лицами, волостные писаря, степное купечество, управители и приказчики с супругами, целые выводки барышень в барежевых, кисейных и муслиновых платьицах. А в десяты шагах — гроыхание железных полос, лязг жести, удары молота, пронзительный звук пилы, брошенной в воздух, божба, ругань, крики. Квас, сбитень, груши, селедки, лук вопиют о себе нестерпимо-звонкими голосами. Дико взвизгивая, летит цыган на кауром жеребце,— народ едва успевает давать дорогу; слышен

выстрел... это, впрочем, не выстрел, а барышник торгует кобылу у дьячка, хлопают друг друга по рукам; дребезжащий голосок выводит: «Без-рука-аму, без-но-о-га-аму... Христа ради-и-и!» Седой мужик, с медною иконкой на груди и с блюдом в руках, басисто причитает: «На построение храма божия...» Лошадь заржала, корова мычит, гремит пролетка с купчихой в два обхвата... У торговли опрокинули лоток с рожками: неопишущая брань сверлящею нотой врывается в общую разноголосицу.

А вот еще толпа; стеснились так, что Николай едва пролез в середину. Слышны возгласы: «Была не была, обирай яшшо пятак!», «Ах, в рот те дышло!», «Стой, выгорело!.. Ну-кошь что? Тыфу ты пропасть — копаушка!.. На кой она мне дьявол!» Тут действовал знакомый нам «столичный человек». С зимы он успел приодеться: шляпа новая, люстриновый пиджачок, на животе мотается цепочка. Самый лик его налился и подернулся румянцем, только зубы по-прежнему остались гнилые да глаза поражали тою же неопределенностью выражения.

— Пожалуйте, господа! — покрикивал он.— Обратите ваше полное внимание!.. Самоварчик!.. Серебра одного впущено... Пожалуйте-с!

Николай, усмехаясь, выбросил пятиалтынный, выиграл какую-то дрянью и повернулся, чтобы уходить.

— Господин купец,— остановил его столичный человек,— не угодно ли театральное представление?.. Куклы балет танцуют-с... Опереточные куплеты-с... Малолетняя девица Марго из Питербурха... Патриотическая пляска по случаю взятия Самарканда... Пожалуйте-с!.. Все одной и той же фирмы-с!

Столичный человек указал на соседний балаган, откуда доносились жалобные звуки шарманки.

— Почему же Самарканд, коли он взят уж давно? — осведомился, улыбаясь, Николай.

— Все единственно!.. Пожалуйте-с! Вам не иначе как в первом ряду? Четвертак. Эй, старушка божия, билет в первом ряду господину купцу!.. Ужели мы не можем разбирать людей?..

Столичный человек так увлекся, что даже на мгновение отбежал от фортуны и, вежливо придерживая Николая под локоть, направил его в рогожную будочку около балагана. Николай подчинился, вынул деньги; старушка в заштопанном и полинялом платье протянула ему клочок бумажки.

«Чтой-то как будто знакомое лицо?» — подумал Николай, но старуха быстро юркнула в будочку. Он подошел к балагану.

— Варфоломеев,— закричал от фортуны столичный человек,— господина купца впусти! — Из-за занавески высунулось торопливое, испуганно-вкрадчивое лицо с пухом в волосах, с отеками щеками.

— Пожалуйте-с... Представление... тово... только зачалось!

— Батюшки мои, зачем вы сюда, Онисим Варфоломеевич? — вскрикнул Николай.

Мгновенно лицо Онисима Варфоломеевича преобразилось: и радость, и стыд, и какая-то ошалелая растерянность промелькнули в нем. Он был в том же голубом сюртуке с буфами, но сюртучок полинял, поизносился, потерялся на локтях; знаменитая некогда атласная жилетка вся была в жирных пятнах, с отрепанными краями, с разнокалиберными пуговицами. Публика хлынула к занавеске, совали медяки, билетки.

— Коловращение-с, Николай Мартиныч... Игра судьбы-с! — успел только пробормотать Онисим Варфоломеевич.

Николай вошел и сел на доску, изображавшую первый ряд. В каком-то ящике плясали куклы, разодетые по-бальному, во фраках, в платьях декольте. Зрители так и гоготали от восторга. Действительно, было смешно. Неведомый распорядитель бала распорядился весьма бесцеремонно: жантильная барышня отплясывала трепака, уморительно вскидывая ногами; тонконогий щеголь

прыгал, как козел, потрясая фалдами фрака; важная толстая дама отжаривала вприсядку; солидный барин в бакенах и с брюшком мелко семенил ножками.

— Жарь! — орали зрители. — Ходи козырем, шут вас изломай!.. Ого-го-го!.. Вот так барыня! Братцы, ну чистая наша Андросиха, провалиться! А, такие-сякие!..

Мальчик лет восьми с синеватым заостренным носиком, худой, бледный, вертел шарманку; пот лил с него градом. Пляска кончилась. Выскочила девочка лет девяти с оголенными костлявыми плечиками: кисейное выше колен платье, кое-где оборванное и заштопанное, все было усеяно блестками из фольги и золоченой бумаги. Она притворно завела глаза, сложила сердечком губы, раскланялась, приседая, и, прикладывая руки к груди, игриво вскидывая худыми, в заштопанных чулках ногами, подмигивая, приподымая юбку в соответственных местах, запела пронзительно-тонким голосом:

Всех мужчин люблю навсегда дурачить,
Правду скажу вам, нисколько не тая!
Как лавиласов люблю я озадачить,
За нос водить их — эфто страсть моя!
Тру-ля, ля, ля, ля, ля!
Пой, кружись, веселись,— эфто мой девиз!

Шарманка подвывала что следует. Николай опустил глаза.

Вдруг он услышал шепот:

— Вы... тово... Николай Мартиныч... обратите полное ваше внимание... все семейство орудует!.. Марфутка-то, а?.. Тово... она-то и есть девица Марго... Ловко выделывает! Вот сейчас патриотический танец, Алешка с Никиткой!.. Поверите ли, Зинаидка — что ведь она? Сопля! Но и Зинаидка куплетцы разучила. Талант-с, талант даден!..

— Как это вас угораздило, Онисим Варфоломеич? — шепотом же спросил Николай.

— Талант-с! — упрямо повторил бывший наездник. — Не иначе как объявился талант в семействе... Дозвольте спросить, каким же бытом я могу воспрепятствовать? Известно, жимши в захолустье, пенькам богу молились... Прямо — не понимали своей пользы!.. Коленцо-то, коленцо-то, обратите ваше внимание! — Он вскочил и суетливо побежал отгонять любопытных, заглядывавших в дверь. Начался «патриотический танец». Николаю делалось все стыднее и неприятнее. Публика гоготала, обменивалась остротами, плевала друг на друга скорлупой подсолнухов, иной раз взвизгивала девка, которой становилось тесно от предприимчивых соседей, одного чересчур предприимчивого «съездили по шее», здоровенный хохот покрыл плачевные звуки шарманки, потряс утлые стены «театра». Представление кончилось; Николай направился к выходу. Онисим Варфоломеич остановил его за рукав.

— Тово... не желаете ли парочку пивца, Николай Мартиныч,— робко пробормотал он,— как мы старые знакомые... Или побрезгаете?

— С чего вы взяли? — вспыхнувши, ответил Николай. — Я никогда не брезгаю простым народом. Пойдемте!

Онисим Варфоломеич радостно засуетился, бросился к столичному человеку, что-то пошептал ему с униженным выражением на лице и отправился с Николаем в ближайший уакир. Николай спросил пива.

— Что я вам осмелюсь доложить,— умильно сказал Онисим Варфоломеич,— вы... тово... сделайте милость — водочки... Хе, хе, хе!.. Потому мы водку потребляем... патриотический... тово... напиток-с!

Подали пиво и водку. К сему, уж по собственной инициативе, Николай приказал сготовить солянку. Онисим Варфоломеич с жадностью набросился на еду, выпил несколько стаканов водки. Робость сбежала с его лица, язык и жесты сделались развязны. Покончивши солянку, он развалился, закурил свою хитро изогнутую трубочку и с важностью погладил тощий живот.

— Этта, представляем мы в Тишанке,— говорил он,— и вдруг... тово... влезает купец Мягков. Ну, я мигнул Марфутке — тово, мол... Выкинула она эдак коленцо, свернула листик, будто с нотами, к нему. Он эдак посмотрел, посмотрел, гляжу — вытаскивает синенькую... Пожалуйста-с, потому, говорит, желаю поддержать в рассуждении таланта!.. Каково-с? У иных прочих дети без порток бегают, в бабки, в чехарду... Но у нас не беспокойтесь — все добычники. Что такое Алешка? Клоп! Но, между прочим, вчерась целковый выплясал в трактире. Никитка? В его пору иные возгрей не могут утереть. А Микитка повертелся колесом, и... тово... полтинник! Как это нужно понимать, Николай Мартиныч?.. Не прогневайтесь, у нас хватит!.. Вот маленько погода в столицах развернемся... Как насчет этого? (Он щелкнул по опорожненной бутылке и подмигнул Николаю; тот спросил еще.) Сами не потребляете патриотической?.. По случаю престол-отечества? Слава тебе господи, мы завсегда можем предоставить себе удовольствие. Ну, что у вас, как? Все, как бишь его, Капитон орудует? — он снисходительно улыбнулся.— И цыган все? В Хреновое-то поехали? Задаст им там Наум Нефедов!.. Я сказал... не брать призов... сказал... тово... и шабаш! Мне наплевать... как господь вознаградил мое семейство... и как такие я вижу таланты в ребятах — мне наплевать!.. Но Капитон попомнит меня, попомнит!.. Я по своей теперешней судьбе так рассуждаю: валяйся у меня в ногах Капитон Аверьянов, золотом осыпай — и не подумаю идти в наездники!.. К чему? Маменька вроде как кассир, видели, в будочке сидит? Старушка, но, между прочим, ежемесячно огребает красный билет. Марфутка по оперетошной части, Алешка с Никиткой ногами рубли куют... Позвольте спросить: ужели я лишусь ума — пойду в гужеды?

Водка и в другой бутылке близилась к концу. Онисим Варфоломеич быстро пьянел. Николаю совестно было смотреть, и он сидел потупившись, изредка отпивая глоток пива, из приличия роняя слова. Но похвальба Онисима Варфоломеича вывела его из терпения.

— Ну, что вы толкуете? — сказал он, разгорячаясь.— Приучаете детей черт знает к чему да еще хвалитесь! Их бы грамоте учить, а вы скверность какую-то заставляете петь, колесом вертеться!.. Я не понимаю,— у вас жена была, кажется, порядочный человек, как жена допускает такое безобразие?..— и с негодованием взглянул на своего собеседника. Того точно прихлопнули. Вмиг смешное высокомерие исчезло с его лица, глазки заморгали, губы сморщились в жалкую улыбку.

— Скончалась...— прошептал он,— скончалась Анфиса Митревна...

— Когда? — вскрикнул Николай, охваченный внезапною жалостью к своему собеседнику.

— В холеру-с...— прошептал тот еще невнятнее,— и тово... и меньшенькие померли... Боречка... Машечка... три гробика упоместили в одной могилке-с...

Он закрыл руками лицо, начал весь подергиваться, усиливаясь сдерживать рыдания. Николай в смущении поднес стакан к губам. Все вокруг них шумело, орало песни, дребезжало посудой, призывая половых, вдали бухал барабан, заливались неистовые скрипичи.

Наконец Онисим Варфоломеич оправился, смахнул слезы, проговорил: «Эхма-а!» и дрожащею рукой поднес рюмку ко рту.

— Зачем вы так много пьете? — тихо сказал Николай.

Онисим Варфоломеич забормотал было какую-то дрянь, потом виновато улыбнулся и отставил рюмку.

— Тово... тово... не иначе как по случаю сиротства, Николай Мартиныч,— произнес он упавшим голосом.— Ужели я не могу понимать?.. Две полбутылки кряжовского завода... солянка московская... (он всхлипнул) но, между прочим, мне нечем заплатить-с!.. Удар судьбы, Николай Мартиныч!.. Хорошо, согнали меня... Я на вашего тятенку не серчаю... Капитон Аверьяныч тоже... И на Капитон Аверьяныча не серчаю!.. Что ж, я бедный человек. Николай

Мартыныч, я убитый человек. Сызмальства приставлен к рысистому делу, ну, и тово... и убит. Сделайте такое одолжение — где рысак?.. Дозвольте, сделайте милость, рысистую лошадь! Имею наградные часы... в журналах пропечатан... А вместо того — в шею!.. То, другое, третье, — не угодно ли? Да не умею-с!.. К вожжам приспособлен!.. Способов нет, окромя вожжей!.. Можете вы это понимать?.. Живем, эта, у просвирни... небиль... тувалет... комодик красного дерева... все проели! Туда-сюда, нет местов!.. Заводы посократили, господа сжались... как объявится местишко, сядет человек, вцепится зубами — не оторвешь!.. Куда деться? В кучера?.. Ведь срам, Николай Мартыныч!.. Ведь последняя степень, можно сказать!.. Всплакнули, эта, мы с покойницей, — сем, говорит, Онисим Варфоломеич, в кучера вам определиться?.. Ладно, говорю, Анфиса Митревна, — как вижу я семейство мое в убогом положении, дай наймусь в кучера. Ищу. Но что же вы думаете? Туда-сюда, поглядят эдак на мое обличье: ты, мол, обрати свое внимание, какой ты есть плюгавый человек... Возможно ли такого человека на козлы посадить?.. Что ж, и точно — осанка у меня... тово... не вполне. По кучерской части не вполне достаточная осанка. А, между прочим, самовар продали, перину продали, подушечки на муку променяли... Маменька ропщет... каково при ихнем понятии и не иметь чашки чаю?.. В первых домах живали! Сколько числились вроде как экономка у своих господ!.. И тово... и пошло. Ну, я, признаться, сделал тут промашку... нечего таиться, сделал. Случилось раз столкнуться с наездником одним... то да се, вспомнили прежде... наездник тоже без места, — я и закури!.. Что ж, Николай Мартыныч, горько! Сосет! Имею наградные часы, пропечатан в журналах — и вдруг эдакое унижение... семейство чаю не имеет... маменька... Обидно-с!.. А мы тем местом от просвирни удалились... признаться... тово... потасовочка маленькая вышла! Переехали в Тишанку, к мужику... Глядим — мор пошел. Туда-сюда, Анфису Митревну схватило... Боречку... Машечку... все прикончились. Ах, что было, Николай Мартыныч!.. Ну, положим, нищий я человек, положим, не мог пропитать своего семейства... но за что же-с? Ползаю на коленках, кричу: приberi и меня туда же!.. Приberi, владычица!.. — У нас большое уважение к тихвинской... — Приberi, нет моих способов мотаться на белом свете!.. А маменька в голос: на кого же я-то, мол, останусь?.. Ребята своим чередом: не покидай, мол, сирот неповинных... Ловко? — Онисим Варфоломеич схватил рюмку, выпил и с прискорбием поморщился. Впрочем, несмотря на то, что рюмка была, наверное, двенадцатая, опьянение его скорее уменьшалось, нежели увеличивалось. — Ну, и тово... три гробика. Справили все честь-честью, панихиду, сорокоуст... свояк, признаться, подсобил. Спыхватились — куда деваться?.. Что ж, прямо нужно сказать, до такой низости дошли — в конюха хотел наниматься... Одно уж, думаю. Глядь, на ярмарке объявляется Коронат. Веду я Марфутку за руку, вижу — фортушка. Дай, думаю, обрадую девчонку, — висят на фортушке бусики, дай, думаю, попытаю счастья. Ну, покружил эдак, слово за слово с фортушником... вижу — очень промысловый человек. Туда, сюда, пошли в трактир, разговорились. Вот, говорю, обременен семейством, ищу перекладыны, какая потолще... Шуткой эдак загнул ему!.. Нет ли каких способов, ежели, например, пробраться в Москву! Имею наградные часы и все такое. А сам вижу — нет-нет и глянет он на Марфутку... Спрашивает то да се. Голос, говорю, необнаковенно звонкий. Пошли на квартиру, раздобылся я чайку, сели чай пить... Ну, видит, каких мы понятий... бедность, но видно же! И на ребят посмотрел... Апосля того — ждите, говорит, через месяц, сделаю я оборот в городе Воронеже, может, и устрою вашу судьбу. — Каким, мол, бытом, Коронат Антоныч? Однако при маменьке не открылся. Вышел я его проводить. «Одно, говорит, господин Стрекачев, внушайте ребятам пляску, а Марфутка чтобы песни играла». — «Но по какому случаю?» — «А по такому, говорит, что в рассуждении судьбы оперетошная часть нонче очень уважении». Потолковали. Вижу — и чудно как будто, и тово...

местов нету! Ну, вверился в него. Гляжу — не больше недель через пять приходит, и эдакий парень с ним годов семнадцати, по кукольной части... Что такое? — Театр, представление. Маменька вроде кассирши, ну, и тово... стирать, стиркой чтоб заниматься... Марфутку по куплетошной части... Алешка с Никиткой в плясуны... Что ж, не помирать же... надо же как-нибудь... Поплакали мы с маменькой, что ж, говорит, Онисим, видно, тово... видно в бесталаный час родились... Ну, и тово... и принялись муштровать.. Ужель я не понимаю, Николай Мартиныч?.. Обратите ваше внимание... Дети возросли в нежности... рукавички, пояски, костюмчики... ведь праздника без того не проходило, чтоб покойница не обряжала их!.. Там помадки, там воротничок накрахмалит, там бантик какой-нибудь... Никакой отлички от господских детей!.. А замест того сиволап выкинет пятак серебра, и ломайся и кланяйся ему!.. Изволили поглядеть? Мужичье-то — вона как гогочет! Вона пасть-то как разевает!.. Вы говорите — заставляю... А чем же пропитаться-то, пропитаться-то каким бытом-с!.. Коронат мошенник (Онисим Варфоломеич сказал это шепотом), вижу, что мошенник. Меня не проведешь, не-э-эт!.. Я его достаточно взвесил... Но, между прочим, нечего кушать-с!..

— Стрекачев! Чего прохлаждаешься,— крикнул, подходя к столу, малый лет семнадцати с характерным лицом карманника или питомца исправительного заведения,— ведьму-то твою публика с ног сбила!.. Поворачивайся!

Онисим Варфоломеич как-то съезжился, испуганно заморгал глазами, потом вскочил, торопливо пожал руку Николаю и с необыкновенным выражением тревоги, стыда и сильнеешего желания поддержать свое достоинство пробормотал:

— Оченно приятно... за канпанию!.. Нижайший поклон папаше... Капитону Аверьянычу такожде... Их превосходительство не изволили приехать?.. В случае чего, заверну-с... и тово... тово...

— Энтово! — передразнил малый, с дьявольскою насмешливостью искривив губы.— Иди-ко, иди, а то он тебя, Коронат-то... энтово!

Вышедши из трактира, Николай уже не нашел прежнего удовольствия в ярмарочной суете. Все как-то стало раздражать его, за всем ему чудились горе и нищенство с одной стороны, надувательство и «эксплуатация» — с другой. И пыль досадно лезла в ноздри, и солнце пекло, и водкой пахло нестерпимо... С трудом пробираясь сквозь толпу, он вдруг заметил какое-то волнение в народе, все поспешно сторонились, снимали шапки. Впереди показались красные и желтые околыши с кокардами, заблестели пуговицы, засверкали на осанисто выпяченных животах золотые цепочки, печатки, брелоки. «Кто это?» — спросил Николай мещанина, с учтивостью снявшего картуз. «Сонм уездных властей, во главе с предводителем, совершает прогулку по ярмарке». Николай хотел уже скрыться, ему противно было снимать картуз при встрече с властями, а не снять — он чувствовал, что не хватит мужества... Вдруг самая толстая и самая важная власть воскликнула: «Ба, ба, Илья Финогеныч!» Николай с любопытством остановился. Высокий, худой старик с ястребиным носом, с козлиною бородкой, с необыкновенно сердитым и как-то на сторону свороченным лицом подошел к властям, перехватил левой рукой свой огромный белый зонтик, независимо обменялся рукопожатиями и желчным голосом проговорил:

— Мало поучительного, господа, мало-с!

«Так вот какой Илья Финогеныч! — подумал Николай.— Ну, к этакому не подступишься...» — и еще решительнее оставил первоначально мелькавшее намерение познакомиться с Ильею Финогенычем.

Ярмарка решительно опротивела Николаю, и он повернул в город. Город начинался в версте от ярмарки. В противоположность ярмарочному шуму и многолюдству там стояла какая-то оцепенелая тишина. Улицы точно вымерли. Пыль спокойно лежала толстым, двухвершковым слоем. Николай шел и

разглядывал, что попадалось на пути. Город ему был мало знаком. Однако же ничего не встречалось интересного. Вырос собор с голубыми маковками; облупленные дома выглядели со всех сторон, дохлая собака валялась на площади, где-то раскатисто задрезжал старческий кашель, заспанный лик высунулся из окна и бессмысленно уставился на Николая, где-то задушенный голос прохрипел: «Квасу!» Николай остановился посреди «большой» улицы, посмотрел и в ту и в другую сторону и отчаянно, так что хрястнули челюсти, зевнул. С «большой» улицы он направился в другие места. Пошли дрянные, покосившиеся домишки, крыши с заплатами, изрытые тротуары с гнилыми столбиками, ямы на дороге... И та же мертвая тишина. Казалось, все население погружено было в сон или выселилось на ярмарку. Вдруг послышалось дикое, раздирающее мяуканье. «Что такое? — подумал Николай. — Должно быть, кто-нибудь на кошку наступил». Но мяуканье продолжалось, становилось нестерпимо пронзительным, резало ухо. Николай быстро завернул за угол. За углом тянулась уже совсем глухая улица. Из ближнего окна высунулся заспанный мещанин.

— Да будет вам, Флегонт Акимыч, — сказал он, — эдак ведь душу вытянешь у непривычного человека!

— Что это такое? — спросил Николай, подходя к окну.

— Ась? Да вон все чиновник Селявкин блажит.

У соседнего домишка, в тени запыленной рябины, сидел сморщенный, курносый человек в замасленном халате и в картузе с кокардой. От него только что вырвалась и стремглав спасалась через забор пестрая кошка. Курносый человек тихо и самодовольно улыбался.

— Уж полно бы шутки шутить, Флегонт Акимыч! — укоризненно продолжал мещанин.

— Ну, что... ну, что пристаешь? — сердито пробормотал курносый человек. — Трогали, что ль, тебя? Трогали?.. Захотел и придавил... не шляйся, шельма, не шляйся!

— Что он тут делает? — спросил у мещанина ничего не понимавший Николай.

— Хорошими делами занимается!.. Сидит день-деньской у ворот да приманивает кошек. Как подойдет какая-нибудь дура, он ее цап да на хвост и наступит. В эфтом все его и дела.

— Рассказывай, рассказывай! — проворчал чиновник, отворачиваясь в сторону. — Я ведь тебя не трогаю.

— Да ведь, братец ты мой, невперенос! Я как очумелый с кровати-то свалился.

— А я тебя не трогаю!

— Ведь ты по целым часам эдак-то... ажно в ушах звенит.

— А ты не слушай!

— Ну, что тебе за радость? Вон мужичишки таскаются, некому прошенья написать, глядишь — написал, ан и есть полтинник, ась? А ты с кошками...

— А я тебя не трогаю!

— Ну, заладила сорока про Якова... Тоже чиновник называется, кошачий мучитель!.. — Вдруг мещанин толкнул Николая и с живостью указал на беленькую кошечку, подозрительно пробирающуюся по ту сторону улицы. — Гляди, гляди, — прошептал он, — непременно приманит! — Чиновник Селявкин действительно привстал, запахнул халат, как-то весь съезжился, насторожился и умильным голосом позвал: «ксс... ксс... ксс...» — Эка, эка, — бормотал мещанин, с пожирающим любопытством следя за подвохами чиновника, — обманет... ей-ей, обманет, ишь, ишь замяукала... идет, идет, ей-богу, идет!.. Вот-то дура!..

— И он каждый день так-то? — спросил Николай.

— Ась?.. Смотри, смотри — поймал!.. Ей-боженьки, сграбастал!.. Ах ты, пропасти на тебя нету!.. — Мещанин весело рассмеялся и тогда уж ответил Николаю: — Каждый божий день мучительствует!

Дальше одна избенка привлекла внимание Николая. Выбеленные стены избенки все были разрисованы углем. Рыцарь с лицом, похожим на лопату, и с длинной алебардой в вывихнутой руке стремился куда-то; о бок с рыцарем красовалась дама с претензией на грацию, в мантии и с короной на голове; рядом мужик с огромной бородой и свирепо вытаращенными глазами. Причудливым и наивным изворотом рук он как бы выражал изумление и даже застенчивость от столь важного соседства. Поверх фигур, буквами, раскрашенными в порядке спектра, было изображено: «Вывесочный живописец». Николай постоял, посмотрел... В это время за низеньким забором послышались детские голоса:

— Синюю, Митька, синюю... Мазни синей! — оживленно произнес один.

— Эко-сь ты ловкий! — возразил другой. — Вот вохрой, так подойдет! Аль мумием. Ну-ка, Митюк, мумием жигани!

«Что они делают?» — заинтересовался Николай, подошел к забору, облокотился и стал смотреть. На крошечном дворике, сплошь заросшем густою и свежю муравой, столпились дети. Их было четверо. Трое сидели на корточках и с напряженным оживлением следили, как четвертый, рыжеволосый, конопатый мальчуган лет девяти серьезно и основательно водил кистью по железному листу, прислоненному к стенке. На листе так и горели три разноцветные полосы: желтая, красная и голубая. Около них густо ложилась из-под кисти четвертая, коричневая.

Наконец Митька мазнул в последний раз, крикнул и посторонился. Лицо его выразило заботу. Зрители несколько помолчали.

— Синей бы ловчее, — нерешительно вымолвил меланхолический мальчик с вялыми и бледными чертами лица. Двое других — мальчик и девочка — продолжали сосредоточенно всматриваться.

Митька как будто что вспомнил. Он торопливо схватил кисть и, воскликнув: «Погоди, ребята!» — скрылся в сенях. Через минуту он выскочил оттуда, прикрывая ладонью кисть, и, повернувшись к зрителям спиной, напряженно мазнул по листу. Затем отошел и с торжествующим видом посмотрел на них. Девчонка радостно ахнула, мальчики одобрительно промычали. На листе темно-малиновым бархатом горела четвертая полоса. Но восторг ребятишек прервался самым неожиданным образом. Из тех же сеней стремительно выскочил тщедушный взъерошенный человек и с быстротою молнии влепил Митьке затрещину. Дети с визгом рассыпались. Николаю особенно врезалось, как девочка зацепилась подолом рубашонки за плетень, который хотела перескочить, и долго мелькала загорелыми ножками, усиливаясь одолеть препятствие.

— Ах вы, щенки! — как будто притворяясь, сердился тщедушный человек, затем поднял брошенную Митькой кисть и принялся соскабливать краску с листа. — Ишь, намазали!.. Ишь ведь, баканом-то мазнул, чертенок... а?.. Вот тебе и соснул!.. Вот тебе и понадеялся!.. Ах, оголтелые дьяволята... Митька!

Рыжий мальчуган тотчас же появился из-за угла.

— Ты чего тут, а? — закипел человек (опять-таки как будто не серьезно). — Тятка уснул, а ты вздумал краску переводить, а? Ты бакан-то покупал, а? Ты его не покупал, а он кусается... Вот возьму тебя...

— Ну, черт!.. Ты и так затылок мне расшиб... Чего дерешься, черт? — сказал Митька.

— Поговори, поговори у меня!.. — Человек оглянулся и увидел Николая. — Вот, милый ты мой, художники-то у меня завелись! — сказал он, весело подмигивая на грозного Митьку.

— Я давно смотрю, да никак не пойму. Что они тут делают? — спросил Николай.

— Художники!.. Я ведь маляр... Я вот маляр, а пострелы и вертятся вокруг краски. Бакан-то почему? Бакан дорогой, а они не понимают этого, изводят.

— Разорили тебя, черта! — проворчал Митька, соскабливая краску.

— Поговори, поговори! — Маляр вынул кисет и, свертывая сигарку, подошел к Николаю. — Ты посмотри, — сказал с добродушной улыбкой, — все уйдут по моей части. Им часть эта по душе, веселая часть. Он мазнет теперь, к примеру, хоть баканом и рад. Ему весело... Он того не понимает, что дорогой товар. А то на стене... видел, стена-то испорчена? Все вот этот чертенок.

— А вам жаль краски?

— Мне-то? — Маляр внезапно рассмеялся и махнул рукою. — Пушай их!.. Я ведь это так... чтобы попужать, к примеру. Я ведь люблю этих ребят. Особенно Аксюшку. Вот какая — не оттащишь ее от краски... художница! Кабы не девка, прямо в маляры. Я, милый человек, примечал: ежели тянет ребенка к краске, тут беспрерывно что-нибудь по малярной части. И опять как тянет. Вот тут Федька есть один: тому ежели ляпнуть медянкой, а рядом вохрой мазнуть — первое удовольствие. Но по нашей части и ежели я, к примеру, настоящий мастер, никак невозможно медянку подле охры положить. Несообразие!

— Отчего же?

— Такие уж краски несообразные. Что возле которой требуется.

— И всякий может с толком расположить краски?

— В ком есть понятие, всякий может. Я вот господский бывший человек, но я имею понятие. Меня сызмальства отвращала несообразная краска. — Маляр совсем оживился и, наскоро пыхнув сигаркой, продолжал: — Я тебе так скажу: кому дано. Возьмем, к примеру, забор. Забор я раскрашу... Поглядеть всякому лестно, но чтобы понять, может не всякий. Я его могу так расцветить: тут зéлено, а рядом желто, около желтой лазурь и прочий вздор. В ком есть глаз, он сразу увидит и сразу, можно сказать, харкнет на рисунок. Но который незнающий, тому все единственно... лишь бы в глазах рябило. Есть даже такие: небо понимают за зеленое, а дерево? — спросить у него, — тоже, говорит, зеленое! Даже такого у них нет различия — синее от зеленого не разбирают. Глаз, брат, он ухода требует!

— Вам бы следовало сына-то учить, — сказал Николай, — не в маляры, а есть вот настоящие художники. Чтоб картины писал.

Маляр сплюнул и сделал огорченное лицо.

— Не умею, милый ты мой, не обучен я эфтому делу. В красках мне дано, а к рисунку нет, нету внимания. Он-то и охотится, да что толку?

— Отдали бы кому-нибудь.

— Хе, хе, хе, эка, что сказал! Кому отдать? Да и денжат-то не припасено. Ну, будь живописец под боком — отдал бы, перебил бы как-нибудь с хлеба на воду. Я ведь охоту понимаю, милый человек. Но вот беда, некому отдать. Ну-кось, зашевелись у нас денжата!.. Эге! Мы бы с Митькой знали, куда махнуть: вон машина-то посвистывает!.. Выкинул красненькую — Питер! А уж в Питере не пропадешь, сыщешь судьбу! А то свистит, окаянная, а у нас с Митькой карманы худы. Ничего! И малярная часть — веселая... Так что ль, Митюк?

— Михеич, — послышалось с той стороны избы, — ужели дрыхнешь, мазилка? Выскочи-ка на секунду! — Николаю показалось, что он уже где-то слышал этот желчный и сердитый голос. Не успел маляр плюнуть на сигарку и придать своему беззаботному лицу самое деловое выражение, как из-за угла показался тот, кому принадлежал голос.

— А! Вот где ты? — сказал он. — Царство сонное!.. Черти!.. Кто это у тебя стены-то разрисовал?

— Наше нижайшее, Илья Финогеныч. Да вот сынишка все озорничает... Митька. Чуть недоглядишь — схватит уголь и почнет разделявать.

Илья Финогеныч пристально взглянул на Николая. Тот раскланялся, весь пунцовый от неожиданности, и поспешил вставить свое слово:

— Очень немудрено, что будущий талант относительно живописи и вот погибает-с.

— Кто погибает? Почему? Как?

Николай, путаясь от застенчивости, но вместе и ужасно счастливый, что говорит с самим Ильёю Финогенычем, рассказал, как он подошел к забору и чем занимались дети. Маляр повторил прежнее свое рассуждение о красках, о «деньжатах» и о том, что кому дано. Митька с любопытством выглядывал исподлобья.

— Обломовщина, а легко может быть — новые силы зреют, — добавил Николай не без тайной цели щегольнуть, что он знает про «обломовщину».

Илья Финогеныч еще пристальнее взглянул на него, и, казалось, лицо его стало еще сердитее.

— Ну, брат Михеич, ты болван, — сказал он маляру. — Сколько раз в году видишь меня, а? Амбар красил, ворота красил, вывеску малевал для лавки... Сколько ты меня раз видел?.. Болван!.. У тебя нет денег, думаешь, и у других нету, а?.. Шут гороховый!.. Нечего ощеряться, с тобой дело говорят. Краски! Веселая часть!.. Такой же пьяница будет, как и ты. Митрием, что ль, звать? Митрий! Вымой рожу-то хорошенько да дня через три... фу, черт! Завтра же, — слышишь? — завтра же приходи. И девчонку эту — чья девчонка? Еремки кошкодера? Хороший тоже санюлот! и девчонку с собой приводи. Посмотрим, какие ваши таланты... Мазилка эдакая — не к кому отдать! Да они грамоту-то знают ли? Карандаш, карандаш-то, болван, умеют ли в руках держать? Эй, Митрий, подико-сь сюда. Да ты не бычись, не съем, — никого еще не слопал на своем веку. — Митька подошел, еле передвигая ноги. Илья Финогеныч запустил пальцы в его красную гриву и пронизительно посмотрел ему в лицо. — Хочешь учиться, а? Ученье — свет, пащенок эдакий. Был в Острогоске мещанский сын, а теперь академик, знаменитость, — да это черт с ним, что он академик и знаменитость, — сила новая! Русскому искусству пути указывает!.. Ну, что с вами, с бушменами, слова тратить, — и он оттолкнул Митьку, — завтра же приходи. А я рисовальщика подговорю. Посмотрим, какие ваши таланты, да в училище, за грамоту. Талант без азбуки — Самсон остриженный, нечего тут и толковать.

Несмотря на то, что слова Ильи Финогеныча так и кипели негодованием, а свернутое на сторону лицо было просто-таки свирепо, даже Митька начал глядеть веселее, а Михеич блестел, как только что отчеканенный пятак. Он кланялся, смыгал носом и усмехался до самых ушей. Один Николай продолжал еще испытывать страх, хотя желание познакомиться с Ильёю Финогенычем разгоралось в нем все больше и больше. Вдруг тот обратился к нему:

— Обломовщина!.. Вы читали или только понаслышке говорите эдакие слова? Чтой-то не знакома мне ваша физиогномия...

— Я сын гарденинского управителя, Илья Финогеныч.

— Вот как! Настоящий ответ, если бы вас спросили: «Чьих вы будете?» Не об этом спрашиваю: сами-то по себе кто вы такой?

— Николай Рахманный. Еще моя статейка напечатана в сто тридцать втором номере «Сына отечества»...

— Не читал-с, — с необыкновенной язвительностью отрезал Илья Финогеныч, — не читаю таких газет-с.

— Я наслышан об вас от Рукодеева, Косьмы Васильича... Косьма Васильич очень настаивал, чтоб я познакомился с вами... Мы большие приятели

с Косьмой Васильичем... — лепетал Николай, чувствуя всем существом своим, что куда-то проваливается.

— Кузьку знает! Очень рад, очень рад! — Илья Финогеныч изобразил некоторое подобие улыбки. — Что он там — испьянствовался? Исскандальничался? Жена его по-прежнему жила?.. Отчего же не зашли ко мне?

— Признаться, обеспокоить не осмелился.

— Вздор-с. Экое слово глупое!.. Беспокойство — хорошая вещь, благородная вещь. Свины только спокойны. Нам великие люди преподали беспокойство. Читывали Виссариона Григорьевича? Сгорел, сгорел... не спокойствие завещал грядущему поколению!.. Вот-с, — он махнул зонтиком и сухо засмеялся, — все в покое обретается... Домишки развалились, дети гибнут в невежестве, речонка гнилая — рассадница болезней... богатые утробы почесывают... Мостовых нет, благоустройства нет... Банк завели, а о ремесленном училище и не подумали... Вот спокойствие... Михеич, завтра же чтобы приходили, слышишь? Нечего ощеряться, я с тобой дело говорю. Пойдемте.

Николай с удовольствием последовал за ним. Направились к центру города. Спячка, обнимавшая обывателей, понемногу начинала спадать. К воротам выползали люди, усаживались на лавочки, зевали, грызли семечки, смотрели все еще ошалелыми глазами на улицу, перебрасывались словами. Многие шли на ярмарку. Илье Финогенычу низко кланялись, но вместе с поклонами Николай заметил какие-то двусмысленные улыбочки, раза два услышал смешливый шепот: «Француз, француз идет...»

В углу обширной площади стоял длинный низенький дом. Ворота были открыты; виднелся чистый, вымощенный камнем двор, обставленный амбарами и кладовыми. У одного амбара стояла подвода, на которую грузили полосовое железо. За крышами возвышались тополя, липы и вязы. Не подходя к подводе, Илья Финогеныч с досадою закричал:

— Опять приехал двор навóзить. Ужель расторговались?

— Расторговались, Илья Финогеныч, — ответил приказчик, — полосовое ходко идет. Да и все, слава тебе, господи. Ярмарка редкостная.

— Редкостная! Весь двор испакостили... — и кинул в сторону Николая: — Железом торгую. Из всех коммерций возможно благопристойная.

— От нонешней ярмарки, вероятно, будет большой барыш? — спросил Николай.

— Не знаю-с, — с неудовольствием ответил Илья Финогеныч, — не ка-саюсь. Доверенный заведует, — и опять обратился к приказчику: — Гаврилыч! Бабы дома?

— Сичас только на ярмарку уехали-с. Велели вам сказать — оттуда в клуб, в клубе нонче музыка-с.

Илья Финогеныч что-то проворчал.

— Жена и две дочери у меня, — кинул он Николаю. — Гаврилыч! Съедешь со двора, непременно подмети. Город в грязи купается, так хоть под носом-то у себя чистоту наблюдайте!

Николаю показалось, что и на лице приказчика играет что-то двусмысленное.

В окно выглянула опрятная старушка в чепце.

— Почтва пришла, — сказала она Илье Финогенычу, — малец говорил, — книжки тебе из Питера. И куда уж экую прорву книг!

Илья Финогеныч преобразился, мгновенно лицо его засияло какою-то детскою улыбкой.

— Пора, пора... давно жду! — проговорил он, почти рысью вбегая на крыльцо.

Николай шел медленнее и потому слышал, как приказчик, бросив со всего размаху полосу железа, пробормотал:

— Эх!.. Купец тоже называется!..

В доме Николай подивился необыкновенному порядку и чистоте. Всюду стояли цветы; некрашенный пол белелся, как снег; отличные гравюры висели на простых сосновых стенах. И так кстати расхаживала по комнатам опрятная старушка, мягко ступая ногами в шерстяных чулках.

— Власьевна, самовар,— сказал Илья Финогеныч и опять кинул Николаю: — Нянюшка наша.

При входе в кабинет Николай даже затрепетал от удовольствия. До самого потолка тянулись дощатые полки, сплошь набитые книгами. На большом дубовом столе тоже лежали книги; стулья и табуреты были завалены газетами.

— Присядьте,— буркнул Илья Финогеныч, сдвигая с ближайшего стула груды печатной бумаги, и с жадностью стал распаковывать посылку.

На него смешно и весело было смотреть. Каждую книжку он вынимал с каким-то радостным благоговением, влюбленными глазами рассматривал ее, раскрывал, нюхал, прочитывал то там, то здесь по несколько строчек и, еще раз обзрев со всех сторон, бережно подкладывал Николаю.

— А! Давно до тебя добираюсь, господин Иоган Шерр! — бормотал он, с восхищением искривляя губы и проворно перелистывая книгу.— Гм... так комедия? Гм... воистину, воистину комедия!.. И Верморель!.. Деятели?.. Наполеонишку проспали!.. Деятели!.. Эге! Вот и Ланфре... ну-кося, как ты идола-то этого?.. Ну-кося!.. Пятковский: «Живые вопросы»... Гм... прочтем и Пятковского.

Когда книги были просмотрены, ошупаны и обнюханы, Илья Финогеныч пригласил Николая в сад. Это было тенистое, прохладное и благоухающее место. Так же, как и в покоях, во всех уголках сада замечался изумительный порядок. Красивый парень в ситцевой блузе поливал цветы. На столе под развесистой липой уже блестел кипящий самовар, стояла посуда, лежали яйца под салфеткой. Илья Финогеныч принялся хозяйничать. День склонялся к вечеру. Густой благовест мерно разносился над городом. Со стороны ярмарки доносился однообразный шум. Соловей щелкал в кустах пышной сирени. Высоко взлетали ласточки, разрезая ясный воздух своими острыми крылышками. На деревьях алыми отблесками ложились косые солнечные лучи. Николай чувствовал себя все лучше и лучше. Гневное лицо хозяина уже не внушало ему ни малейшего страха. «Вот это так человек!» — думал он, и чай ему казался особенно вкусным, и яйца всмятку превосходными, и городок прекрасным городком, и садик не в пример милее старинного гарденинского сада. Точно на духу открыл он Илье Финогенычу свое положение, свои планы, свои неопределенные виды на будущее. Рассказал об отце, о гарденинской жизни, о том, как познакомился с Рукодеевым, о своих отрывочных и кратких разговорах с Ефремом. Илья Финогеныч слушал внимательно, спрашивал, задумчиво пощипывая свою козлиную бородку, иногда смеялся, хотя по-прежнему сухо, но так, что Николай искренне был уверен, что не над ним смеется Илья Финогеныч и что не злоба движет его смехом.

— В двадцать один год да с эдакой подготовкой поздно об университетах думать,— говорил Илья Финогеныч,— вздор-с. И столицы вздор, нечего туда тянуться. Работы здесь много. Почему университет? Диплом нужен? Специальность желательно изучить? Нет? Ну, и незачем. Читай, трудись,— Илья Финогеныч постепенно перешел на «ты», и это тоже доставило удовольствие Николаю,— приобретай навык к серьезному чтению. С толком берись за книжку. Почему иные скользят о том о сем, а в башке пусто? Потому — за ижицу ухватились, «аз-буки» просмотрели. С фундамента начиная, с основы. Что есть основа?.. По истории — Шлоссер, Соловьев, Костомаров, по критике незабвенного Виссариона Григорьича затверди, он же и историк словесности нашей. Пушкин!.. О Пушкине Кузьма глупости тебе наврал,— вот уж ижицато! — Пушкин — великий поэт, заруби!.. Кузьма хватил вершков, а подкладки-

то не уразумел. Как понимать Писарева, Митрь-Иваныча? Так и понимать, что разные баричи эстетикой все дары норовили заткнуть: свободы нет — вот вам эстетика! Невежество свирепствует, произвол, дикость — вот вам эстетика! А коли так, ну-ось, рассмотрим, что она за птица! Ну-ось, давайте сюда идола-то вашего! И пошла писать. Вот я как понимаю Митрь-Иванычевы статьи. А Пушкин как был велик, так и остался великим. Кто из вавилонского плена словесность нашу извлек? Пушкин. Кто ее спустил с высей-то казенных, с мундирных парнасов-то? Опять-таки Пушкин. Это историческая заслуга. А прямая заслуга? А красота во веки веков живая? Болваньё!.. Надо понимать, какого имеем великана...— Илья Финогеныч поднял руку и вдруг глубоким, трогательным голосом,— таким трогательным, какого и не подозревал за ним Николай,— отчетливо проговорил:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст.
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего...
и т. д.

Потом опустил загоревшийся взгляд и начал пить чай.

— Работы много,— сказал он после непродолжительного молчания.— Некогда баловаться. Кому возможно — стремись в университет. Университет — тот же арсенал: выбирай арматуру, рази невежество! А нельзя — не мудри. Вникай в книги, в дела, в жизнь. Острые отточись хоть куда... Теперь можно. Стыдно малодушничать. Ну-ось, в старое время! Читывал Никитина, Ивана Саввича? Хороший мне был приятель. Как выбивался из потемок? Не жизнь — стезя мученическая. А Кольцов, Алексей Васильич? Болваньё! Столько бы ему жить, если б не изуверы проклятые! Изуверы доняли. А какие у нас книжки были, окромя «Отечественных записок» да великана Гоголя? Что мы знали европейского? Вон у меня целый подвал нагружен тогдашними книжками... полюбуйся. А солдатчина? А полицейщина? А казенщина? Знаешь ты, что такое был городничий? Вот то-то, что не знаешь. Было мне девятнадцать лет; сочинил я стихи на городничиху,— разумеется, пасквильные. Дознались. Разыскать мещанского сына такого-то! Отдать не в зачет в солдаты! Заковать, дабы не ушел! Спрятали меня в погреб, три недели в погребке жил, ночью выпускала матушка воздуху глотнуть. Пришла зима — в мужицкий тулуп нарядили, в треух, в лапти, да под видом извозчика в Тулу, к знакомому купцу... Там я и пребывал, покуда не окошел городничий. Хорошо говорить!.. Нет, поживи-ось с наше, перетерпи,— узнаешь разницу. А семейное невежество? — ад! Помню, Ролленя я читал историю,— папенька-то ничего, кое-что понимал, а дяденька у меня был, тот меня Ролленем этим чуть вдребезги не расшиб. Томищи были толстые, в кожаном переплете. А знаешь, чей перевод? Тредьяковского. Вот как мы в Европу-то заглядывали. Ныне читаешь «Мертвый дом», читаешь «Очерки бурсы» — оторопь берет, а что тогда? Что делалось в казарме, в остроге, в школах кантонистов? И въявь, на всю улицу, на весь город? На выгон пойдешь прогуляться — солдат бьют... и прикладом, и тесаком, и шомполом, и под живот, и в зубы! А то сквозь строй гоняют... Ударит барабан, меня и теперь лихорадка трясет! Веселое время, хорошее время, будь оно трижды проклято! Бывало, обыкновенное зрелище — эшафот, позорная колесница, плети. Губители, губители! Кого они научить хотели?.. Должно быть, вместо театров увеселяли. Начальство в гости пожалует — весь дом обмирает, унижение, поклоны, взятки. Недаром бабка-покойница святою водой кропила после гостей-то эдаких... Хорошо хулить нынешнее.

Николай воспользовался паузой и рассказал случай с Кирюшкой, сообщил о «кошачьем мучителе», о злосчастной участи Онисима Варфоломеича.

— Не хвалю, не подумай, что хвалю, — воскликнул Илья Финогеныч, — но способá дадены, отдушины открыты. Долби невежество! Долби его, подлое, куда сил хватит!.. Сынам нашим просторнее будет. Способá всюду. Вот холера была... ну, что толковать: стихия, пагуба, руки опускаются... Отнюдь не опускай. Полаялся я тут кое с кем, пристыдил, усовестил — составили комитет, по избушкам ходили, помогали. Капля в море, однако ж приобрели навык. Ведь что у нас поощрялось-то? Какое сообщество терпелось? Подумай-ка. Все врознь, все врассыпную. Разве ограбить кого, или напиться, или в карты поиграть — артелью промышляли. Комитет — маленькое дело, но гражданственность развивается, привычка, сноровка — вот что большое дело. Во всякий час нужно будоражить обывателя. Просьба не выгорает — ругай, срами, книгой-то, книгой-то ему в морду, наукой-то, Европой-то долби! Манерам некогда обучаться, перчатки напяливать недосуг!.. Ты рассказываешь про студента этого... Судить не берусь. Дело свежее, нежное, молодое. Только вот мой совет: земли держись, к родным местам прилепляйся. В земле — крепость. Чай, знаешь сказку об Антее?.. Но тут вот какая штука: что есть земля? — Само собою, иносказательно говорю. — Земля хитра, с ней сноровку надо. Боже упаси пятым колесом объявиться! К жизни прицепляйся, к делу; избери возможно благопристойное и сражайся. Другой разговор пойдет. Чем простолюдин меряет нашего брата? Ведешь свое дело изрядно, значит, и человек ты изрядный, и слова твои не на ветер. Здесь-то вот ты и надуй простолюдина. Будь торговцем, будь хозяином, мельником, дворником, ремесленником, отведи глаза, да словами-то простолюдина... да книжкой-то... да наукой... по лбу, по лбу, по лбу! Хитрить надо. Вчерашний день того наварил, не то что мы — внуки наши вряд расхлебают. Надо по совести своей пай расхлебывать. Отец, говоришь, у тебя... Ничего! Расхлебывай и отца. Он не виноват, виноват опять-таки вчерашний день, будь он навеки проклят! Должность твоя скверная, это я соглашусь. Ты не уговоришь отца, чтоб отпустил годика на два, а? Иди-ко в лавку ко мне. Приучисься, дам товару в кредит, открывай лавочку где-нибудь в селе, а? Железная торговля все-таки пристойна. Притом в самое нутро вдвинешься, в самый центр: товар подлинно крестьянский. Подумай об этом. С Кузькой не вожжайся: ты с него свое взял, будет. Он добрый малый, я его люблю... но беспутник и бесстыдник. Одним словом, брось. Книг бери сколько хочешь, дам. Далекое хоть, ну, я тебе и книги отпущу основательные, сразу не проглотишь, не беспокойся. Только вперед говорю: запачкаешь, изорвешь, изгадишь — лучше на глаза не показывайся. У меня подковы, топоры, вилы — товар, а книги — друзья. Ущербу не потерплю.



Богобоязненный патриот Псой Антипыч Мальчиков.— Капитон Аверьяныч в Хреновом.— Ефим Цыган грубит.— Доклады кузнеца и Федотки о сверхъестественном.— Как провел Капитон Аверьяныч время накануне бегов.— Бега.— Праздник и трагедия во дворе отставного фельдфебеля Корпылева.

Псой Антипыч Мальчиков был человек решительный. Нелепый и несоразмерно огромный, как слон, с необъятною утробой, с лицом, похожим на красную сафьянную подушку с пуговкой посередине, с вечною отрыжкой, с вечною хри-

потой в голосе, он тем не менее отличался гибким и замысловатым умом, был способен прельщать людей. В его заплывших жиром глазках беспрестанно сквозила какая-нибудь тайная мысль. Проекты и комбинации непрерывно роились в его крепко сбитой башке. К сожалению, и проекты, и комбинации, и тайные мысли устремлялись только к одной цели: как бы кого «облопошить». Дерзок он был безгранично. Выдравшись на поверхность из смрадной пучины откупов, он еще в начале пятидесятых годов прогремел на всю губернию. Самые разнообразные слухи ходили об его обогащении: говорили о фальшивых деньгах, о том, что Псой в минуту расплаты выхватил у кредитора вексель на знатную сумму и тут же проглотил его, о том, что Псой кого-то отравил, кого-то поджег, кому-то продал свою жену, — на время, конечно... Что было правда в этих слухах и что — плоды обывательского досуга, неизвестно; о всяком внезапно разбогатевшем купце рассказывают уголовные казусы; но странность-то заключалась в том, что о других и верили и нет, а о Псое Антипыче верили безусловно и непоколебимо. Впрочем, слухи не могли бы повредить Псою Антипычу, но он до того стремительно совершенствовал дальнейшую свою карьеру, с такою беззаботностью опровергал всякие препоны, что устыдились даже те, которые, казалось бы, весьма основательно утратили стыд. Натиск, необузданность, откровенность, какая-то бесшабашная удаль грабежа отвращали от него не только богобоязненных человекоек первой гильдии, но и тех коммерческих стервятников, которые чуть не ежедневно ухитрялись снимать рубашку с своего брата во Христе. Дело в том, что стервятники, снимая рубашку, все-таки бормотали: «Ничаво!.. Чать, бог-то один у нас!.. Ежели в случае за упокой помянуть аль милостыньку — мы завсегда с нашим удовольствием...» А Псой Антипыч налетал с наскоку, с размаху, с «бацу», обдираал совсем с мясом и вместо всяких благожелательных словес только урчал да позевывал, крестя свою широкую пасть. Мало-помалу всюду ославили его непомерным плутом. Дела с ним вели с обидными предосторожностями. Кредита не давали. Знакомство вести гнушались.

Тогда Псой Антипыч придумал устроить набег в иные сферы.

Была севастопольская война. Солдаты изнемогали в борьбе с интендантами и союзниками, государственное казначейство — в расходах, патриоты — в усилиях распалить общественное сочувствие. Псой Антипыч держал в аренде небольшой клочок земли, принадлежавший одной высокопоставленной патриотке. И вот, вместо того чтобы по обычаю внести деньги в графскую контору, он снарядил рогожную кибитку, дождался первопутка, захватил с собой молодца и тронулся в Москву, а там по чугунке в Питер; в Питере с чисто разбойничьей дерзостью проник «к самой», поверг на ее благоусмотрение пятьсот, будто бы «первейшего сорта», полушубков. Одни полушубки, может быть, и не обольстили бы патриотическую даму, — мало ли их жертвовалось в ту годину! — но обворожил ее настоящий, коренной русский мужичок, который наговорил ей настоящим русским языком целую уйму простых русских, младенчески-душевного слов. Слова эти были немудреные: «Престол атечества... Русь-матушка... до издыханья крови... Как мы ест теперича дураки, а вы, прямо надо сказать, — стратиги наши и промыслители... во как!.. Не то што капитала — живота решусь... Грудь... подоплека... люд православный... душа» и т. п. В сущности-то, пожалуй, глупые даже слова, но, видно, так уж повелось, что в патриотических салонах эти слова присуждены изображать настоящий русский патриотизм. Во всяком случае, высокопоставленная дама увлеклась Псоем Антипычем. Карета целые дни развозила ее по Петербургу. В гостиных на самых изящных диалектах говорили о «мужичке», явившемся откуда-то из степи принести лепту на алтарь отечества. Видели в этом признак всеобщего подъема духа, что-то providенциальное, что-то угрожающее растленному Западу, какое-то мистическое знамение. Нашелся еще Псой Антипыч, — не наш, а другой, великосветский, с камер-

юнкерским шитьем на мундире,— который переложил событие в патриотические стихи; нашелся третий Псой Антипыч, напечатавший стихи в своем журнале... и другой и третий узрели за это вновь отверстые перспективы милостей, протекций, связей. А настоящий Псой Антипыч сидел тем временем в комнате графского дворецкого, уплетал за обе щеки утонченные яства с барского стола, почесывал утробу, рыгал и шуточки ради говорил дворецкому:

— Вот ссориться-то с тобой не хочется, Гаврило Егорыч, а по-настоящему, как я теперича взыскан самой, стоило бы доложить их сиятельству, сколько ты за доступ-то слимонил. Сотенный билет сцапал, легкое ли дело!

— Ну, ну!.. Не плюйте в колодезь, господин Мальчиков, годимся еще с течением времени,— деликатно отвечивал дворецкий, поглаживая баки.

— Про то же я и говорю.

Наконец Псой Антипыч был представлен свойственникам, родственникам и единомышленникам патриотической дамы. Псой Антипыч чутьем разгадал каждого. Перед одним он прикинулся дурачком, ибо тот только в виде дурачка представлял себе настоящий русский народ; другому развил весьма дельно, как выгоднее продавать спирт и пользоваться бардой,— у того были огромные винокуренные заводы; третьему тонко намекнул, что управляющий его обкрадывает,— несомненная истина, потому что Псою Антипычу случалось воровать с этим управляющим сообща; четвертому так подал мысль усугубить доход с имений, что тот моментально вообразил, будто это его собственная мысль; пятому грубо польстил, сказавши, что «Расея вот как чувствует — по гроп жизни!» государственные заслуги его превосходительства. И все это с русскими прибаутками, с русскими поклонами в пояс, с теми бесхитростными русскими словечками, от которых иногда закрываются веером высокопоставленные дамы, но которые, в свою очередь, присуждены изображать настоящий русский патриотизм,— разумеется, если выпадают из уст такого бесхитростного мужичка, как Псой Антипыч.

Игра кончилась тем, что Псой Антипыч снял в аренду («урвал!») чуть не целое немецкое королевство со всевозможными льготами, послаблениями и попущениями и вернулся домой в качестве патентованного патриота. С тех пор он настойчиво удерживал эту позицию. Возвращалось ли «православное воинство» из похода,— Псой Антипыч первый выставлял бочку полугара, жертвовал воз ржавых селедок, бил себя в грудь, говорил «речь», уснащенную крупную патриотическою солью. Везли ли пленного Шамиля,— Псой Антипыч и по поводу Шамиля совершал торжество, извергал бесхитростные слова и бил себя в грудь. Посылался ли складень графу М. Н. Муравьеву,— Псой Антипыч и по случаю складня ударял в свои жирные перси, хрипел: «Разразим!» и предлагал последнюю «каплю крови» на «престол атечества».

Однако спустя десять лет ненасытный азарт Псою Антипыча опять повредил ему. Вырубил он «невзначай» какие-то высокопоставленные леса, распахал, «забывшись», степи, продал «по ошибке» овец, выкрал «по глупости» зеркало из заброшенного палаццо... Несмотря на все уважительные причины, от аренды ему было отказано. Как на грех, и с патриотизмом стало тише. Тогда Псой Антипыч волей-неволей погрузился на дно, купил «вечность», скромно начал хозяйничать, безвыездно жил на хуторе, только изредка высовывая свою чуткую картошку и обнюхивая: не тянет ли благоприятный ветер, не пришло ли время снаряжаться и выплывать на поверхность?

В последнее время, выражаясь его разбойничьим жаргоном, «быдто стало поклевывать», хотя и не в смысле патриотизма. Имя его все чаще и чаще повторялось среди коннозаводчиков. Раза два на его хутор заезжали важные особы посмотреть лошадей. Псой Антипыч не упустил поднести особам суздальские иконки с изображением их «ангела»,— конечно, сославшись на свою «глупость», «подоплеку», «душу», «простоту» и тому подобные принадлежности истинно русского человека. Жеребцы его завода щеголяли в княжеских

и графских запряжках,— штуки четыре из них щеголяли без всякого права, ибо были простые битюги, снабженные фантастической родословной.

Но все это пустяки. За самое последнее время отверзлись еще лучшие перспективы: Псою Антипычу стало известно, что одна очень значительная особа намеревается купить целиком весь его завод. Вся штука заключалась в том, чтобы как-нибудь не охладить вельможеских намерений — не уронить славу завода до тех пор, пока не удастся «облапошить» его — ство.

Вот какой был человек Псой Антипыч Мальчиков.

На другой день после того, как проверяли Кролика, Наум Нефедов вытащил из утробистого тарантаса своего рыгающего, урчащего и рассолодевшего от жары хозяина, отпоил его ледяным квасом, собственноручно почистил щеточкой и, оставшись с ним наедине, подробно изложил положение дел.

— Ну? — прохрипел Псой Антипыч, с недоумением смотря на наездника.

— Что ж — ну! Проиграем, вот и все. По-моему, не пускать, не срамиться.

— Обдумал! Девка-то, девка-то что говорит?

— Девка на все готова, да что толку?.. Испортить лошадь, это уж как угодно, не возьмусь. Да к тому же, как зеницу ока стерегут. Нарвешься на такой скандал,— призам не обрадуешься. Вы как хотите, а я не возьмусь.

— И не берись. Зачем ее портить? А девка-то, девка-то... — Псой Антипыч всхрапнул, шевельнул ноздрями, что-то неуловимое пробежало в его глазах,— и, не дожидаясь ответа, круто закончил: — Ладно. Сосну малость... Скажи, благодетель, чтоб в сумерках девку привели. Сюда-то незачем, пушай на задворках подождет.

Если бы кузнец Ермил не торчал день-деньской в конюшне да разумел что-нибудь в обыкновенных житейских делах, а Федотка не увлекался бы до такой степени новыми знакомствами и гулливым треньканьем балалайки на соседнем крыльце, они бы заметили, вероятно, что Ефим однажды отлучался в село, и когда вернулся, от него пахло водкой, а губы беспрестанно кривились наподобие улыбки, что он ни разу после этого не заглянул в конюшню, что взгляд его сделался каким-то торопливым и мутным. Они бы и в Маринке заметили странную перемену. В сумерках Маринка по-прежнему вертелась у ворот и шепталась с Ефимом; но смеялась не прежним, а каким-то расслабленным, кротким смехом, не задирала Ефима, не дразнила его, не отшучивалась и целомудренно, точно невеста, потупила глаза, когда Федотка, возвращаясь домой, взглянул на нее.

— Чтой-то на Ефима Иваныча добрый стих напал,— сообщил Федотка кузнецу, по обыкновению сидевшему на пороге конюшни.— То, бывало, слова не скажет в простоте, все лается, а тут я иду, норовлю кабы прошмыгнуть в калитку, а он хоть бы что. Словно притупился.

Кузнец хладнокровно сплюнул и обругался.

— А ты, дядюшка, в случае чего, не говори Капитону Аверьянычу... отлучался-то я. Авось... Что же, все, кажись, в порядке,— продолжал Федотка.

Кузнец сплюнул в другую сторону и выразился еще изысканнее. Впрочем, добавил:

— Стану я наушничать! Вот Маринка — ведьма, это уж скажу, это уж не беспокойся, чертова дочь.

— Что ж — ведьма, дядя Ермил... Вон и об Ефиме Иваныче болтают, а смотри-кось, Кролик-то! По мне, дьявол их побери, абы призы были наши... А вчерась купец Мальчиков приехал... пузо — во!.. Сидит на крыльце — на все крыльцо растопырился... И что ж ты думаешь,— Наум Нефедов стоит перед ним? Как же! Покуривает себе, как с ровней. Поддужный, и тот сидит, эдак, на ступеньках. Ну-кось, у нас попробуй!.. А еще я видел, дядя Ермил, ноне мужицким лошадям выставка была. Шукавский мужик жеребца привел... О господи!.. Косматишший, дядя Ермил!.. Гладченный!.. Копытища — во!.. Госпо-

да — и те диву дались. Медаль ему выходит золотая. Вот-те и мужик!.. Эх, дядя, огребем призы — наворочаем делов! Прямо, господи благослови, безрукавку плисовую... — Федотка ударился в мечты, кузнец слушал, покуривал и плеывал.

Вдруг за воротами загрели колеса. Маринка промчалась в избу, неистово шурша юбками.

— Ты, что ль, Ефим Иваныч?.. Ну, как тут у вас? — слышался голос Капитона Аверьяныча.

Федотка замер на полслове. Если бы не темно, можно было бы заметить, как внезапная бледность разлилась по его лицу, и опрометью бросился открывать ворота. Кузнец не спеша спрятал трубку, хотел тоже идти, да раздумал и остался на своем бесшумном посту. Во двор въехал тарантас; в темноте едва обозначались закрученные головы пристяжных, виднелась высокая дуга; управительский кучер Захар восседал на козлах.

— Как у вас тут? — повторил Капитон Аверьяныч, вылезая из тарантаса.— Это ты, Федот? Ну, что?.. Как?.. Что, Ефим Иваныч, не осрамимся?.. Где кузнец-то?.. Это хозяева?.. Ну, здравствуйте, здравствуйте.

Целый хор отвечивал Капитону Аверьянычу:

— Слава богу!.. Слава богу!.. Никто как бог... Все благополучно-с... Князя Хилковы ставили, князя Хилковы... так-тося!... Прикидывали, позавчера — ничего, слава богу.

Маринка вынесла огонь, заслоняя его ладонью от ветра. Капитон Аверьяныч, ощупывая костылем дорогу, взошел на крыльцо, посмотрел на Маринку и шутиливо сказал:

— Как тебя — Дарья, Лукерья, Аграфена! Ну-ка самоварчик, матушка... — и тотчас же, изменяя шутиливый тон, заботливо произнес: — Кто на конюшне-то, кузнец? Не отлучайтесь, ни на секунду не отлучайтесь. Пойдем, Ефим Иваныч.

На другой день, едва взошло солнце, Капитон Аверьяныч был уже в конюшне. Со всех сторон осмотрел он Кролика, поковырял костылем в его деннике, суха ли подстилка; взвесил на ладони, понюхал и даже попробовал зубами овес из его корыта; потрогал все винтики, гайки и гвоздики и пошатал колеса на призовых дрожках; обревизовал хомуты, седелки, уздечки, вожжи; спросил, где берут воду для лошадей, и воду попробовал. Кузнец являл вид обычного равнодушия, Федотка был неспокоен и все почему-то ждал грозы. Однако грозы не последовало. Только после того, как все было осмотрено, Капитон Аверьяныч испытующим оком посмотрел на кузнеца и сказал:

— Язык-то свой поганый держи на привязи. Сквернословить небось, а тут женский пол. Что об нас скажут? — и затем посмотрел на Федотку испытующим оком и Федотке сказал: — Чего шарф-то распустил по спине, аль мода вышла? Смотри, кабы и виски по моде не расчесали.

Но так как вслед за этими угрожающими словами на лице Капитона Аверьяныча появилась милостивая улыбка, то струхнувший было Федотка сразу понял, что все найдено в порядке, и сразу воспрянул духом. Кузнец же и не падал. Он лишь потому удержался заявить, что «Маринка — ведьма, а не женский пол», что тут же был Ефим, все время безучастно стоявший у притолоки и гораздо более обращавший внимание на воробьев, копошившихся в застрехе, чем на Капитона Аверьяныча. От Капитона Аверьяныча, конечно, не ускользнула такая странная небрежность: скашивая глаза из-под очков, он несколько раз взглянул на Ефима, но сдержался и не сказал ему ни слова по этому поводу.

— Дозвольте мне в гости сходить, — угрюмо пробурчал Ефим, когда Капитон Аверьяныч собрался идти из конюшни, — нонче княжой наездник Сакердон Ионыч гостей созывает.

— Гм... это когда же?

— Чего когда?

— Пойдешь-то?

— Известно, в сумерках. Время свое знаю,— грубо ответил Ефим, глядя куда-то в сторону.

У Капитона Аверьяныча задергалась щека. Он судорожно стиснул костыль, готов был прикрикнуть на Ефима, но тотчас же спохватился и сказал:

— Сходи, сходи, что ж... Я, может, и сам наведаюсь к старику. Что он, как? Лет двадцать я его не видал. Пойдем, Ефим Иваныч, чай пить.

Во время чая Ефим опять-таки проявлял странное и дерзкое безучастие и, казалось, нимало не было тронут милостивым обращением Капитона Аверьяныча.

— Так шибко бежит Грозный? — спрашивал Капитон Аверьяныч, отрываясь от блюдечка.

— Бежит,— нехотя цедил Ефим.

— Не осрамит он нас, а?

— Ну, я не ворожейка.

— Да как думаешь-то?

— Это уж вы думайте, коли охота.

В груди Капитона Аверьяныча так и kloкотало от подобных ответов, багровые пятна выступали на его щеках, казалось, вот-вот терпение его лопнет. Но он крепился, сдерживался и только изредка поскрипывал зубами да раздражительно шмыгал ногами. А Ефим как ни в чем не бывало сидел себе с скучным и упрямым лицом и тупо смотрел в угол. Наконец Капитон Аверьяныч достал из-за пазухи Ефремово письмо и, тоже не глядя на Ефима, попросил его снести письмо на почту. Одно время казалось, что Ефим и на это ответит какую-нибудь грубостью,— по крайней мере он медленно и неохотно взял письмо, но тотчас же оживление мелькнуло в его тусклых глазах, и он проворно вышел из избы. Он не успел еще скрыться за воротами, как по направлению к огородам прошумела своими юбками Маринка.

Спровадивши наездника, Капитон Аверьяныч по очереди призвал Федотку и кузнеца и подверг их самому щепетильному допросу.

— Чтой-то от него вчерашь будто водкой разило? — спрашивал он.

Но и кузнец и Федотка стояли на одном: хмельного Ефим не касается. Капитону Аверьянычу оставалось убедиться в своей ошибке и успокоиться на этот счет.

— Ну, а вообще, что он, как? Не примечали вы за ним чего-нибудь эдакого... особенного? — допытывался Капитон Аверьяныч. На это кузнец с величайшими потугами набормотал с десятков слов, из которых можно было разобрать, что «Маринка — ведьма, и хотя же ейный отец замыкает ее на ночь, но он своими глазами видел» и т. д.,— одним словом, набормотал таких глупостей и завершил эти глупости таким непристойным выражением, что Капитон Аверьяныч вскочил, плюнул, зашипел: «Ах ты, сквернословец окаянный!» — и прогнал его с глаз долой. Не лучше было и с Федоткой.

— Что я вам хотел доложить-с, Капитон Аверьяныч,— проговорил Федотка, откашливаясь в руку и таинственно понижая голос.

— Ну, ну? — нетерпеливо торопил его Капитон Аверьяныч, даже приподымаясь с лавки.

— Теперича княжой наездник-с... Как он есть уважаемый человек-с...

— Ну?

— И теперича касательно купцов-с...— Федотка начинал путаться под пристальным и страшным взглядом конюшего.— Тоись, к примеру, не-ежели, говорит, фунт говядины на человека-с...

— Чего ты канителишь?.. Ну?

— Я иду-с, а Сакердон Ионыч зовет-с... велели сесть-с.

— Черт! Что ты за душу тянешь,— загремел Капитон Аверьяныч.

— Больше ничего, как они есть дьяволово отродье-с,— торопливо сказал опешенный Федотка.

— Кто?

— Они же-с... Ефим Иваныч!

— Тьфу, тьфу!.. Да вы белены, что ль, объелись с кузнецом? Эдакого чего-нибудь не замечал ли? Как он, эдак... Девка тут... Что за девка такая? Федотка вытянулся, выпучил бессмысленно глаза.

— Никак нет-с, ничего не примечали,— ответил он.

Капитон Аверьяныч помолчал и затем произнес в раздумье:

— Рожа-то, рожа-то отчего такая?.. И грубит... явное дело — грубит! Ну, а как он с Кроликом?

— Обнаковенно-с...

— Ну, а что говорят? Сакердон Ионыч не говорил ли чего?

— Точно так-с. Сакердон Ионыч прямо говорит — Грозный не годится супротив Кролика-с.

— О!.. Когда же он говорил? — Федотка сказал. Капитон Аверьяныч развеселился.— Ну, ступай,— вымолвил он благосклонно,— ни на секунд не отлучаться из конюшни! Господь пошлет — завтра красненькую получишь.

Несмотря на такое милостивое заключение, Федотка вернулся в конюшню сам не свой от злости.

— Ах, дьявол тебя побери! — ворчал он, изо всей силы отбрасывая ногой какую-то щепку.

— Аль влетело? — в один голос осведомились кучер Захар и кузнец Ермил.

— Ну, обожрется,— окрысился Федотка,— у нас тоже права!

— Так что ж ты словно из бани?

— А то, вот уйду к купцам, больше ничего!.. Черти, идолы!.. У людей-то жалованья сотенный билет да еда, а тут... Дай-кось затянуться, дядя Захар!

Время тянулось для Капитона Аверьяныча с убийственной медленностью. Волнуемый мыслями о завтрашних бегах, он то выходил за ворота, и рассеянно смотрел, как на выгоне толпился народ, виднелись телеги с лошадьми,— там происходил конкурс битюгов; то опять возвращался во двор, шел с новым вниманием осматривать Кролика, то отправлялся бродить по заводу. Но и в огромных казенных конюшнях ничто не занимало его. Свысока поглядел он на казенных рысаков, о которых и всегда был невысокого мнения; с величайшим презрением постоял минуты две у денника только что выведенной из Англии скаковой знаменитости, за которую отвалили что-то около двадцати тысяч рублей; равнодушно прошел через великолепные манежи; невнимательно скользнул взглядом по той комнате, где, бывало, прежде на особенный лад билось его сердце, где помещался скрепленный на шарнирах скелет Сметанки, где висели портреты старых орловских рысаков — всех этих Полканов, Барсов, Добрых, Любезных, Лебедей, Голландок, Купчих, Баб, столь дорогих истинным ревнителям заводского дела. Там и сям с Капитоном Аверьянычем встречались знавшие его наездники, барышники, коннозаводчики. Наездникам он отвечал на поклоны едва заметным наклонением головы; барышникам — иному протягивал палец, иному — два, крупным всю руку; когда его подзывал к себе значительный помещик, он неизменно снимал шапку и почтительно вытягивался. Но лицо его во всех случаях хранило одинаково важный вид достоинства и независимости. Некоторые наездники познаменитее и барышники помельче приглашали его в гости, но он отказывался: частью из гордости, не желая вступать в фамильярные отношения с этим людом, частью оттого, что ему было не до гостей. И опять шел к себе на квартиру, потупив голову, задумчиво постукивая костылем, напевая «Коль славен». «Вон идол-то гардинский!» — шептались наездники, уязвленные гордостью Капитона Аверьяныча. Перед вечером «идол» сходил к Сакердону Ионычу, напился у него

чаю и, когда к тому стали собираться гости, вернулся домой. Боясь уронить свое достоинство, Капитон Аверьяныч не спрашивал у старика ни о Кролике, ни о том, как ему кажется Ефим, а Ионыч, в свою очередь, только вскользь похвалил ход Кролика и вскользь упрекнул Капитона Аверьяныча, что и он «погнался за скоропихами». Все остальное время они побеседовали о прежних временах, пестря разговор лошадиными именами, вспоминая старинных помещиков и старинные заводы, негодую на нынешнее, прискорбно вздыхая о невозвратном.

Ночь была душная. В отдаленье слышались неясные раскаты грозы. Капитон Аверьяныч тяжело вздыхал, ворочаясь на перине, никак не мог заснуть. То ему чудились подозрительные звуки — половица скрипнула... дверь отворилась в конюшню... лошадь загремела копытом... Несколько раз он босиком выходил из избы, пристально и тревожно всматривался в темноту, шел в конюшню... Голос кузнеца неизменно окликал его: «Кто тут?» — все было благополучно. Правда, Ефим воротился очень поздно, но, как бы в доказательство своих чистых намерений, спокойно храпел рядом с Федоткой.

Промаявшись, пока забрезжил рассвет, Капитон Аверьяныч решительно поднялся с перины, оделся и вышел на крыльцо. Лицо его страшно осунулось и побледнело, по всем членам ходил какой-то неприятный озноб. Напрасно он старался думать о другом — о сыне, о том, что теперь делается в Гарденине, о старине, про которую говорил вчера с Сакердоном Ионычем, — мысли его неотвязно обращались к Кролику. Петухи перекликались. Густые облака покрывали небо; из-за них медным светом сквозила заря, придавая какой-то рыжий оттенок мало-помалу выступающим очертаниям. С степи тянул влажный ветер. Дождик накрапывал.

К десяти часам установилась самая благоприятная погода. Дождик прибил пыль; облака косматыми прядями заслонили солнце; сделалось прохладно. С утра все село, вся слободка, почти все население завода высыпали на дистанцию. Туда же стремились помещики и купцы в колясках, в шарабанах, в широких степных тарантасах; в щегольском фаэтоне четвериком проследовало начальство, блистая орденами и эполетами; с квартир один за другим, шагом, в сопровождении поддужных, выезжали наездники, набожно крестясь в воротах; поджарые грумы и жокеи вели в поводу поджарых и короткохвостых скаковых лошадей.

Капитон Аверьяныч отправился на бега тоже в тарантасе. Тройка плелась шагом. Волосатый Захар, имевший обыкновение вполголоса беседовать с лошадьми, сидел теперь как врытый и упорно молчал: торжественность минуты сковала ему язык. Позади тарантаса ехал на Кролике Ефим; застывший и съездившийся Федотка растерянно выглядывал из-за его спины... Лицо Ефима сделалось из оливкового каким-то шафранным, глаза были не то пьяные, не то бешеные. Никогда еще Федотка не чувствовал такого страха перед наездником, он даже на его понурую спину не мог смотреть без содрогания. Ефим рвал и метал, когда запрягали Кролика; не говорил, а рычал; ни за что ни про что сунул Федотке в зубы и на осторожное замечание Капитона Аверьяныча: «Не туго, Ефим Иваныч, чересседельник-то?» — так крикнул: «Знаем!.. Указывай кому-нибудь!» — что все присутствующие оторопели, особенно когда Капитон Аверьяныч внезапно посинел и с перекосившимся лицом приподнял костыль. К счастью, Ефим не заметил этого, а Капитон Аверьяныч молча повернулся и пошел садиться в тарантас.

Беседка сплошь была занята господами и купцами-коннозаводчиками. Бок о бок с самым «генералом» краснелась лоснящаяся подушка Псоя Антипыча; выпяченная грудь его сияла, как иконостас, многочисленными медалями. Генералу не особенно приятно было такое соседство: от патриота несказанно разило потом, но приходилось поневоле подчиняться. Псой Антипыч не отставал от него ни на пядь. Вокруг беседки и дальше, почти наполовину обнимая

ипподром, толпился народ. В середине круга стояла небольшая кучка наездников, поддужных, жокеев, конюших,— всех, кто для беседки не вышел рангом, а между тем так или иначе был свой человек. Тут же, рядом с Сакердоном Ионычем, превышая всех головою, стоял гарденинский конюший.

Состязание было в полном разгаре, но Капитон Аверьяныч рассеянно следил за ним. Бежали в три заезда трехлетки, затем четырехлетки с поддужными и без поддужных. Публика шумела и волновалась. В беседке махали платками, фуражками, раздавался гул поздравлений. Разгоряченные, растерянные, торжествующие лица мелькали перед Капитоном Аверьянычем, а он ничего не видел. Сакердон Ионыч был в раздражительном настроении: призы все попадали купцам. Нифонтовы, Пожидаевы, Веретенниковы, Синицины оставляли за флагом Молоцких, Ознобишиных, Храповицких... «Ах, пусто б вам было! — бормотал старик, сердито сверкая глазками и топчась на месте.— Ах, пусто б вам... ах, раздуй вас горой!.. Ах, батюшки вы мои, старинные рысачки! — и вдруг с угрожающим видом повернулся к Капитону Аверьянычу: — Смотри! Не осрами и ты своих господ!» Капитон Аверьяныч криво усмехнулся и еще крепче стиснул пересмякшие губы.

— На все возрасты! — раздалось из беседки.

Трое подъехали к столбу: Наум Нефедов на Грозном, Ефим на Кролике и наездник-любитель на приземистой кобыле темно-серой масти. Как и подбает человеку, выдавшему виды, Наум Нефедов сидел весело, самоуверенно, молодецки растопырив нафабранные усы, хватом откинувшись назад, точно играя синими шелковыми вожжами. Ефим сгорбился, понурился, нехорошо глядел исподлобья, руки его заметно дрожали. Любитель был бледен, как бумага. Грозный всем поведением своим подражал Науму Нефедову: он так же самоуверенно и весело посматривал по сторонам, играл удилами и, точно наперед зная все порядки, так и застыл у столба, чутко насторожив уши, рисуясь своей лебединой шеей. Кролик же ничего не понимал. Недоумевая, косился он огненным глазом на непривычное скопище народа; на человека с красным околышем, который суетился у столба и, прищуривая глаз, покрикивал: «Еще на полголовы!.. Еще подайся!.. Назад!.. Вперед!» Кроме того, Кролик чувствовал, как совершенно зря шевелились удила в его губах, и опять не понимал, что это значит. Он весь как-то собирался, поджимал хвост, неуверенно переступал с ноги на ногу... А тут еще глупая серая кобыла выставилась на целую голову вперед, и растерявшийся любитель поворотил ее перед самой мордой Кролика... Кролик даже содрогнулся от изумления и широко раздул ноздри... «Динь-динь-динь!» — загремело над самым его ухом. Грозный точно стрела вылетел на добрую сажень. Даже кобыла показала Кролику сначала хомут свой, унизанный блестящими пуговками, а потом и седелку с голубою подпругой... И только в это мгновение Кролик почувствовал, что Ефим на особый лад шевельнул вожжами. Он стремительно влег в хомут, ринулся вперед... Вдруг удила больно рванули его. Сбитый с толку, он не в очередь взмахнул ногами, надал, перевалился, запутался, злобно взглянул на кобылу, судорожно махавшую хвостом перед самой его дугой, и, приложив уши, сделал отчаянный прыжок. Кобыла осталась назади. Тогда Кролик справился, вытянулся и, не чувствуя мешавших ему почему-то вожжей, спорым, низким ходом поравнялся с Грозным.

— Живота аль смерти, толсторылый черт? — прошипел Ефим.

— Не плый в колодец, Ефим Иваныч... Авось, годимся,— умильно ответил Наум Нефедов, не поворачивая головы.

— То-то!

Капитон Аверьяныч, не отрываясь, не мигая, напряженно расширенным взглядом смотрел на Кролика. Вот Кролик запоздал у столба, отчего-то замялся, сделал неудачный сбой... Капитон Аверьяныч простонал.

— Эх!.. — отозвался Сакердон Ионыч... И оба разом воспрянули.

— Ого! — с величайшим возбуждением восклицал княжой наездник.— У заднего колеса!.. У переднего колеса!.. В хвосте!.. На полголовы вынес!.. Ой, наддай!.. Ой, голубчик, наддай!.. Держись, Наумка!.. Знай, купеческий выкормыш, какова настоящая барская лошадь!

Капитон Аверьяныч гордо выпрямился. Так продолжалось с полминуты. Вдруг Наум словно толкнул Грозного... Кролик сразу очутился в хвосте.

— Ничего, ничего... — бормотал Сакердон Ионыч, впиваясь своими старческими глазами, — ничего... Сколь у него пороху хватит... сколь пороху...

Однако чем дальше, тем шло хуже. На втором повороте Кролик был у заднего колеса, когда бежали мимо беседки — отстал на сажень и скоро поравнялся с кобылой, которая несомненно готовилась остаться за флагом.

— Вперед можно было предсказать, — произнес генерал, когда Грозный второй раз приближался к беседке.

— Исполать, Нефедов, — прохрипел Псой Антипыч, махая картузом, — и в сторону генерала: — Радуюсь, ваше-ство... взыскан... первый завод имею в Расее, окромя казенных!.. С казенными не равняюсь, ваше-ство, потому как ты есть колдун по эфтой части!

Генерал ослабился и крикнул: «Браво, браво!», ударяя в ладоши. С беседки послышался гул.

— Ой, лихо! — шептал Ионыч, нервически перебирая губами. — Ой, не чисто, Аверьянов!.. Ведь задерживает Июда... убей меня бог, задерживает... — и, не в силах больше топтаться на месте, подбежал к самой дорожке. Капитон Аверьяныч посинел, как чугуны, углы его губ отвалились, он как-то неестественно вытянулся, вздрогнул и вдруг покачнулся набок. Кто-то бросился поддерживать его.

— Мм... — промычал Капитон Аверьяныч и сразу оправился.

— Не тронь! — сказал он строго.

В это время Ефим поравнялся с Ионычем, — в это же время Наума приответствовали из беседки. Ефим взглянул вперед — что-то неопишное мелькнуло в его глазах.

— Я думал, ты наездник, — гневно крикнул Сакердон Ионыч, перегинаясь всем корпусом в сторону Ефима, — а ты... — и он прибавил скверное, презрительное, позорное слово.

Вслед за этим все ахнули. Кролик сердито рванулся из хомута, сделал великолепный, полный сбой, вытянулся, распластался по земле... Наум Нефедов почувствовал за собой шумное дыхание.

«Что за диковина!» — подумал он, холодея, и, не оглядываясь, ударил Грозного вожжою.

— Вре-е-шь! — раздался за ним сиплый голос. — Рано в ладошки забили!

Все смотрели, затаив дыхание. Без понуканья, без ударов, с свободно опущенными вожжами, с гордым и спокойным сознанием своей силы Кролик мчался к столбу. Очевидно было, что не только брошенная в полуверсте темно-серая кобыла, но и знаменитый Грозный останутся за флагом. Однако Наум Нефедов нашелся: только что Кролик миновал флаг, Грозный прыгнул раз, два... десять... двадцать раз. Псой Антипыч сделался из красного коричневым, даже крякнул от удовольствия.

— Ваше-ство! Ваше-ство! — хрипел он, — Грозный-ат не проиграл... с круга сведен... за проскачку!.. Вели записать, что с круга сведен!

Но его никто не слушал. Толпа оглушительно ревела. Генерал, окруженный господами, подошел к Ефиму, похвалил его, подарил двадцать пять рублей, с восхищением осмотрел лошадь... Кто-то из помещиков указал на конюшего:

— Вот таких бы нам людей, ваше-ство! Завод единственно ему обязан.

— А! Благодарю, благодарю, старик, — благосклонно произнес генерал, — ну, что, рад? Порода какая?

Капитон Аверьяныч страдальчески улыбнулся, разжал губы, выговорил:

«Ра... ваш... Ви... сын... Витязь...» — язык его заплетался. Генерал вопросительно оглянулся.

— Ошалел от счастья, ваше-ство,— снисходительно посмеиваясь, пояснил помещик.

— Да, да... Ну, спасибо, спасибо. Неслыханная резвость, неслыханная.

Спустя час Кролик свободно, «спрохвала», без соперников, прошел двухверстную «перебежку», и Капитону Аверьянычу вручили оба приза. Капитон Аверьяныч уже оправился к тому времени и, весь сияя от затаенного торжества, весь переполненный обычным своим достоинством, стоял без шапки в кругу господ и спокойно излагал генералу происхождение Кролика. Генерал полез было за бумажником,— ему хотелось поощрить столь образованного конюшего, но посмотрел, посмотрел на обнаженный череп Капитона Аверьяныча, на гордое и важное выражение его лица и вдруг отстегнул свои великолепные часы и протянул ему:

— Спасибо, вот тебе на память.

Капитон Аверьяныч, нимало не утрачивая своего достоинства, наклонился, сделал вид, что хочет поцеловать руку его превосходительства. Генерал быстро спрятал руку.

Вечером гарденинские праздновали. Ефима и Капитона Аверьяныча приходили поздравлять.

На столе стояла закуска, кипел огромный самовар, возвышалась четвертая бутылка с наливкой. Генеральские часы производили ошеломляющее действие. Их с жадностью разглядывали, взвешивали на руке, угадывали, сколько за них заплачено, говорили Капитону Аверьянычу льстивые слова.

— Я что!.. Я — пятое колесо в эфтом деле! — уклонялся Капитон Аверьяныч.— Вот кому слава — Ефиму Иванычу!

Сакердон Ионыч так и дребезжал от радости; он суетливо шмыгал своими валенками, выпил две рюмочки наливки, раскраснелся, посасывал беззубыми деснами тоненький ломтик колбасы и беспрестанно покрикивал:

— На императорский веди, Аверьянов!.. В Москву!.. В Питер!.. Пушай потягаются с настоящим рысаком!.. Пушай потягаются, алтынники!.. А! Вот как по-нашему!.. Вот что означает истинная охота!

Ефим, в свою очередь, был награжден с избытком: кроме того, что накидали в его шапку генерал и господа, Капитон Аверьяныч подарил ему сто рублей. Тем не менее выражение торжества мешалось на его лице с выражением какого-то подмывающего беспокойства. Злобно оскаливая зубы, он повествовал, как с умыслом дал Наумке уйти вперед, чтоб затем осрамить его «не на живот, а на смерть».

— Ха, стерва! Ефима собрался обогнать!.. Ефима удумал за флагом кинуть!.. Нет, видно, погодишь, толстомордый... видно, не на того наскочил! — куражился Цыган и хлопал рюмку за рюмкой.

Капитон Аверьяныч на все смотрел снисходительно.

«Дай срок,— думал он,— воротимся домой — подтяну! Ты у меня смягчаешь!»

За перегородкой пили чай и водку «молодые люди»: все гарденинские, фельдфебель Корпылев, два-три конюха, пришедшие с поздравлением. Федотка в каком-то торжественном упоении в десятый раз рассказывал о событиях. И он, и Ефим, и даже Захар — все получили награду, все плавали в блаженстве. О том, что делалось в конюшне, никто и не думал, потому что Кролик был вывожен, вычищен и всем лошадям задали корму. Теперь уж прошла необходимость «издыхать у денника». Капитон Аверьяныч иногда заглядывал за перегородку, милостиво оскаблился, шутил,— даже непристойности, часто срывавшиеся у кузнеца, теперь не вводили его в гнев. Он только осведомился у Корпылева:

— А где эта... как ее — Дарья? Марья? Лукерья? — дочка-то твоя где?

Пьяный фельдфебель лукаво рассмеялся.

— Уехамши! — коснеющим языком пролепетал он. — К тетке отпросимши... в Чесменку!.. А я и рад!.. Военного народа в Чесменке-то — ау!.. Не прогневайся!.. Шалишь!.. А я и рад... хе, хе, хе!

Было около полуночи. Кузнец обругался, вместо того чтоб проститься, и пошел спать. Гости тоже начали расходиться. Вдруг кузнец просунулся в окно и торопливо позвал Федотку. Спустя пять минут Федотка ни жив ни мертв прибежал из конюшни.

— Неблагополучно, Капитон Аверьяныч! — крикнул он не своим голосом.

— Что? Что?

— С Кроликом неблагоприятно-с!

Все, кто был в избе, бросились в конюшню. Зажгли фонари. Капитон Аверьяныч пошел в денник... Кролик лежал, вытянувши шею, тяжело водил потными боками... Хриплое дыхание вырывалось из его широко раздувавшихся ноздрей.

— Батюшка... что с тобой? — дрожащим голосом проговорил Капитон Аверьяныч.

Кролик взглянул тусклым, слезящимся глазом на фонарь, рванулся, встал на передние ноги. Но колени подгибались; он шатался; мускулы его так и вздрагивали от непосильного напряжения. Подсунули вожжи под его брюхо, кое-как приподняли, вывели народом на двор... Там он так и упал на траву. Сакердон Ионыч сидел возле и пьяненьким, плачущим голосом шамкал:

— Кровь пусти, Аверьянов... Пусти кровь!

Капитон Аверьяныч не слушал.

— Запрягать! — загремел он и сам бросился к дрожкам.

В несколько минут лошадь была готова. Захар трясущимися руками схватился за вожжи, Капитон Аверьяныч как был, без шапки и сюртука, повалился сзади, и во весь дух помчались к генералу. Случай был чрезвычайный. Генерал искренне огорчился и сказал, что сейчас же пришлет ветеринара.

Ветеринар застал странную, фантастическую картину. Фонари неумеренным светом прорезали мрак ночи. Отовсюду выступали ошеломленные лица. Тени черными силуэтами качались на стенах, мелькали на траве... Кролик лежал, растянувшись во весь рост, судорожно вздрагивал ногами, от времени до времени порываясь встать, дыша с каким-то журчащим, захлебывающимся шумом. Над ним стоял огромного роста человек, в одной жилетке, в очках, с седыми волосами, всклокоченными с затылка. Старичок в валенках, с головою точно в белом пуху, сидел возле и всхлипывал, что-то бормоча и неутомимо быстро шевеля губами.

Ветеринар осмотрел лошадь, кое о чем спросил, в недоумении развел руками, однако же приказал втирать мазь, влить в рот бутылку какой-то микстуры. Все пришло в движение. Кузнец и Федотка засучили рукава, взяли щетки, изо всех сил принялись растирать Кролика. Другие разжимали его стиснутые зубы, вливали микстуру.

— Дюжей!.. Горячей!.. Досуха втирай! — отрывисто приговаривал Капитон Аверьяныч.

— Кровь киньте, дурачки — и-и!.. Кровь киньте! — шамкал Сакердон Ионыч и, путая во хмелю нынешнее с невозвратным, прибавлял: — Ой, быть вам под красною шапкой!.. Ой, задерут вас на конюшне!..

— Прямо — с глазу случилось, — шептали в толпе.

— А где же Ефим Иваныч? — спросил кто-то.

Но Цыган исчез.

Ни мазь, ни микстура не оказывали действия.

— Что ж, можно попробовать и кровь, — равнодушно сказал ветеринар и достал ланцет.

На рассвете сын Витязя и Визапурши пал. Желтые пятна фонарей печально мигали в волнах сероватой утренней мглы. Измученные, бледные, молчаливые люди были угрюмы. В конюшне беспокойно всхрапывали лошади. В воротах сидели на задних лапах неизвестно откуда явившиеся собаки и облизывались на падаль, на лужу черной запекшейся крови.

Капитон Аверьяныч долго смотрел на Кролика. Ни одна черта не шевелилась на его застывшем лице. Но вот выдавилась слезинка, повисла на реснице, поползла по щеке, нервно дрогнули крепко сжатые губы... «Подай!» — глухо сказал он Захару и торопливо ушел в избу. Спустя десять минут тройка стояла у крыльца. Капитон Аверьяныч вышел, ни на кого не глядя, сел в тарантас; пристяжные, пугливо озираясь и прижимаясь к оглоблям, натянули постромки... Вдруг из конюшни раздался отрывистый, сиплый, полужадушенный лай: это рыдал Ефим Цыган, скорчившись в углу, где стояли мешки с овсом, где было темно, где никто не мог увидеть Ефима — его искаженного отчаянием лица.

— Пошел! — злобно крикнул Капитон Аверьяныч.



Прерванное свидание.— Николаев проект.— Первая жертва на гарденинскую школу.— Что услышала Элиз из окна своей комнаты.— Что обдумала Фелицата Никаноровна.— Управитель в гневе от двух неприятностей.— О неуместном вмешательстве Ефрема в Федоткины дела.— Ссора, смерть, похороны.— Как отец с сыном простились навсегда.

— Вот и расстаемся, Лизавета Константиновна!

— Почему?

— Как почему?.. Вы — направо, я — налево. Вам предстоит балы, выезды, театры, мне — тоже, пожалуй, выезды, но в ином смысле...

Элиз задумчиво чертила зонтиком. Августовское солнце пронизывало разреженную листву аллеи. Мягкие узорчатые тени пали на светлое платье Элиз, на ее потупленную голову... Вдруг она выпрямилась.

— Послушайте... — Все было тихо, так тихо, что было слышно, как падал лист, как где-то вдали сорвалось подточенное червяком яблоко, как на той стороне, за гумнами, мерно и дружно стучали цепи. — Послушайте, Ефрем Капитоныч, — нерешительно повторила Элиз, — будто это так необходимо?

— Не знаю-с.

— Вы долго пробудете здесь после нас?

— О, нет! Неделю, я думаю.

Элиз помолчала. На ее лице, не успевшем загореть от деревенского солнца, изображалась странная борьба; глаза вспыхивали и погасали.

— Как ваши отношения с отцом? — спросила она таким голосом, как будто это и было то важное, что ей хотелось сказать.

— Вооруженный нейтралитет, — ответил Ефрем, сухо засмеявшись. — Отец... я не знаю, что с ним, но с самых этих дурацких бегов он страшно замкнут, зол и мрачен. Я не говорю с ним десяти слов в сутки, — невозможно говорить. Каждое слово мое он рассматривает как непомерную глупость. К счастью, мало бывает дома: с зари до зари в своем лошадином царстве. Вы знаете, у не-



го новая idée fixe: сестра покойного Кролика...— видите, какое я питаю уважение к вашим лошадям! — Так вот эта сестрица тоже проявила рысистые таланты. Наездника отец воспитывает теперь из «своих» — Федота, и вот...

— Зачем вы говорите о таких неинтересных вещах? — нетерпеливо прервала Элиз.

— О чем же прикажете?

Элиз покраснела, с досадою прикусила губы и, опять придавая какую-то ненужную значительность своим словам, спросила:

— Что сделалось с этим несчастным?

Ефрем не понял.

— Ну, с тем, с прежним наездником?

— А! Ей-богу, не могу вам доложить. Он ведь остался в Хреновом, пьянствовал, буянил, бегал с ножом за некоторою девицей... Кстати, кузнец Ермил утверждает, что девица эта — ведьма. Как же, говорю, так ведь это, мол, предрассудок? Сам, говорит, видел: у ней нога коровья. Чем не средние века? — Ефрем опять засмеялся нехорошим, натянутым смехом.

— Вы раздражаетесь. Я не люблю, когда вы раздражаетесь, — прошептала Элиз, и вдруг в ее глазах мелькнула решительность. — Послушайте... это вздор, что вы говорите... то есть о том, что я — напрова... — выговорила она торопливым, внезапно зазвеневшим голосом. — И вы сами знаете, что это вздор. Зачем?.. Разве нужно играть в слова?.. Выезды, балы!.. Зачем это нужно говорить?.. О, как я ненавижу, когда говорят не то, что думают, и несправедливо! Прежде, давно, это было справедливо, но я много передумала... я вам очень благодарна... Я вижу, какой ужас и какая неправда жить так — что я говорю — жить! — так прозябать, так влачить жизнь. Впрочем, это неважно... и я не об этом... я о том, что так не должно кончиться. Вы уедете, а дальше? Что мне делать? Неужели вы не видите, что я решительно, решительно... не знаю, что мне делать? Читать? Развиваться?.. Ах, может быть, это и хорошо, — и, конечно, хорошо! — Но я-то не могу... Как! Изо дня в день читать, до какой степени все несчастно, унижено, забито... до чего торжествует ненависть, кипит злорада, царит неправда — и сидеть сложа руки? Ехать на бал к князьям Обрезковым? В оперу, к модистке?.. О, какая низость, какая гнусность!.. Помните, мы читали об этих несчастных — Пила, Сысойка и так далее... Ведь поразительно?.. Ну, хорошо, поразительно, — а дальше? Что же дальше-то, вы мне скажите, — неужели делать визиты и слушать комплименты?.. О, какая гнусность!

— Лизавета Константиновна, вы не одна. Всегда помните, что вы не одна... — Голос Ефрема дрогнул. — Глупости! — воскликнул он сердито. — Я не в любви вам изъясняюсь... И, пожалуйста, пожалуйста, не заподозрите во мне селадонишку какого-нибудь... я только об одном: слово, одно слово скажите, — товарищи, друзья, все явится на помощь. Я раздражен, я злюсь — это верно, да отчего?.. Эх, что пустое толковать!.. Готовы ли вы, вот в чем вопрос. Шутки плохие, шаг решительный... Помните, мы с вами о красивом сюжете-то говорили? И теперь повторяю: экая важность очертя голову в пропасть ринуться! Гвоздь в голове, нервы взвинчены, подмывающая обстановка, особенно ежели на заграничный манер с знаменами да с музыкой — вот тебе и красивый сюжет! Нет, ты попробуй претерпеть шаг за шагом, пядь за пядью, вершок за вершком!.. Попробуй обуздать мелочи, ничтожности; приучи себя к тысячам булавочных уколов, к тысячам микроскопических неудобств, к самым прозаическим жертвам, к самым будничным мукам — вот подвиг!

— Вы меня запугать хотите?

— О, нет! Я хочу, чтобы вы, прежде чем отрезать якорь, приготовились хорошенько... Напрасно хмуритесь, — вас жалеючи говорю. Бросить терем красной девице по «нонешнему» времени ничуть не мудрено. Некоторые так

даже основательно бросают — фиктивно замуж выходят. Все можно, да что толку? Лучше всего поприглядеться да подготовиться. Вот у вас разные есть таланты...

— Ах, вы опять о моих талантах!

— Нет, я серьезно говорю. Есть много талантов, а таких, чтобы к делу приспособить,— таких нету. Легко сказать: «Иду!», да с чем? Умеете ребят учить? Не умеете. Хворая баба придет за советом, рану нужно перевязать — опять-таки не умеете. А письмо написать солдату? А указать закон? А пояснить права? То-то вот... Штука нехитрая, но надо же заняться этим, а в Питере и возможно и доступно.

— Вы думаете? — сказала Элиз, горько усмехаясь.

— Я уверен.

— А что скажет на это татап?

— Я уверен, что возможно,— упрямо повторил Ефрем.— Надо бороться — и уступит. Есть ведь на курсах и настоящие барышни, добились же! А не так, опять повторю: только слово скажите.

— Не знаю... не знаю,— печально прошептала Элиз. Что-то еще просилось на ее губы, какие-то действительно важные слова, но она не могла их выговорить и вдруг заплакала.

Ефрем вспыхнул и невольным движением схватил ее руки, беспомощно раскинутые на коленях.

— Друг мой... милый мой друг! — вырвалось у него.

— Прочь!.. Прочь, хамово отродье! — раздался визгливый, старчески-разбитый голос, и из ближайших кустов выскочила растрепанная, разъяренная Фелицата Никаноровна.

Ефрем вздрогнул, выпрямился, необыкновенная злоба исказила его лицо. Но глаза его встретились с испуганными, детски-растерянными глазами Элиз, уловили жалкое выражение ее губ, он услышал ее шепот: «Ради бога, уходите поскорей!», тотчас же потупил голову и с кривой усмешкой, с видом неизъяснимой презрительности быстро удалился в глубину сада.

— Ах ты, разбойник! — кричала ему вслед Фелицата Никаноровна.— Ах ты, холопская морда!.. Ах ты, самовольник окаянный!.. — И затем накинулась на Элиз: — Прекрасно, сударыня!.. Куды превосходно!.. Генеральская-то дочь, да с дворовым! С крепостным!.. Ступай, сейчас ступай, негодница, в покой!.. Давно провидела... давно чуяло мое сердце... Святители вы мои! Чья кровь-то, кровь-то у тебя чья?.. Аль уж не гарденинская?.. Аль уж ты выродец какой?.. Сейчас ступай, пока мамаше не доложила!..

Элиз сидела бледная до синевы, с неподвижными бессмысленными глазами, судорожно стиснув губы. Фелицата Никаноровна грубо рванула ее за рукав... и вдруг опомнилась.

— Матушка! Что с тобой? — вскрикнула она.

Элиз молчала. Только в горле у ней переливался какой-то всхлипывающий звук. Тогда старуха совершенно растерялась, схватила ее за руку,— рука была тяжелая и холодная как лед,— стала расстегивать платье, дуть в лицо, крестить, распускать шнуры.

— Угодники божи!.. Святители отче Митрофане!.. Лизонька!.. Ангел ты мой непорочный,— причитала она, трясясь с головы до ног, обливаясь слезами, покрывая горячими поцелуями руки, платье, волосы и щеки Элиз.— Что я натворила-то, окаянная!.. Очнись, рѳднушка... Очнись, лебедушка... Взгляни глазками-то ясенькими... Ведь это я... я... раба ваша... Фелицата... Прогляни, дитятко!.. Усмехнись, царевна моя ненаглядная... Побрани хрычовку-то старую... По щеке-то, по щеке-то меня хорошенько.

Губы Элиз начали подергиваться, подбородок конвульсивно задрожал, в глазах мелькнуло сознание. С выражением ужаса она оттолкнула Фелицату Никаноровну и разрыдалась. Та, как подкошенная, бросилась на колени,

вцепилась в платье Элиз, ловила ее руки, заглядывала ей в лицо умоляющими, страдальческими глазами.

— Прости меня, глупую! — восклицала она. — Вижу, вижу, чего надеялась... Эка, взбрело в башку!.. Эка, что подумать осмелилась!.. Да кто ж его знал, мое золото?.. Не гневайся... иди, моя ненаглядная, иди... я сама доложу их превосходительству... Уж я ж его, злодея!.. Уж я ж его!.. Эка осатанел! Эка замыслил, хамово отродье, птенчика беззаступного обидеть!.. Да его и род-то весь помелом из Гарденина!.. И отцу-то припомнится, как он барскую лошадь...

— Что ж это такое? — крикнула Элиз и с негодованием вскочила с скамейки. — Не смейте так говорить о нем!.. Слышите? Не смейте, не смейте!.. Я люблю его... я его невеста!.. Злая, бессердечная старуха... ступайте, донесите матери; она вас поблагодарит... она вам подарит свои обноски за шпионство!.. А я сейчас же, сейчас же уйду за ним... На край света уйду!..

Каждое слово Элиз било Фелицату Никаноровну точно дубиной. Не вставая с колен, она после каждого слова как-то вся содрогалась и прикивала, клонилась все ниже и ниже. Личико ее совсем собралось в комочек и морщилось, морщилось точно от нестерпимой и все возрастающей боли.

— Вставайте же. Я не икона — стоять передо мной на коленях! — презрительно добавила Элиз и, отвернувшись, с чувством живейшей душевной боли, с чувством несказанного стыда и обиды за Ефрема пошла по направлению к дому.

— Доносчица!.. Наушница!.. Из обносок стараюсь... — шептала Фелицата Никаноровна. — Матерь божия! Где же правда-то?.. Вырастила... взлелеяла... душу положила... Ох, нудно жить!.. Ох, святители вы мои, нудно!.. — Она с усилием поднялась и, пошатываясь, как разбитая, волоча ноги, добралась до скамейки... И много передумала, много разбередила старых ран, полупозабывших страданий, — вспомнила свою долгую рабью жизнь и короткий, точно миг, просвет счастья. — Друженька ты мой!.. Агеюшко! — думала она вслух. — Не за то ли и карает господь — душу твою одинокою забыла, окаянная?.. Мало молюсь... мало вызволяю тебя от горькой напасти... Ах, тленность суетливая, сколь ты отводишь глаза, прельщаешь разум!

Ефрем далеко ушел в степь. Он был мрачен. В его ушах так и звенели оскорбительные слова Фелицаты Никаноровны. В его глазах так и стояло растерянное лицо Элиз. «А! Видно, мы смелы-то лишь под сурдинку!.. Видно, барышня всегда останется барышней! — восклицал он, шагая вдоль степи, устремляясь все дальше и дальше от усадьбы, и глумился над собою, с каким-то жгучим наслаждением унижал себя. — Да и точно... какая глупость втемяшится в голову!.. Хлоп, хам и вдруг возомнил... Ах, глупо, Ефрем Капитоныч!.. Ах, мальчишески глупо!.. И что означали эти слезы? С какой стати я приписал их... Поделом! Не смей мечтать!.. Не смей миндальничать!.. Дожил!.. Додумался!.. Сцену из романа разыграл!»

Но мало-помалу вместе с усталостью от ходьбы мысли его приходили в порядок, чувство оскорбления погасло, тихая грусть овладела им. День за днем он вспоминал все эти три месяца, проведенные в Гарденине, постепенное сближение с Элиз, задушевные разговоры, мечты вслух... Любил ли он ее? О любви они никогда не говорили. Они говорили о Спенсере, о Луи Блане, о Марксе, о том, что делается на Руси и что нужно делать тем, в ком не пропала еще совесть, не истреблен стыд... Чувство нарастало само собою: без слов, без сознания, украдкой. Оставаясь наедине, они радовались, — им казалось, что радовались поговорить без помех о последней журнальной статье, о последней прочитанной книге. Никогда они не смотрели друг на друга с выражением влюбленных; никогда в их отношениях не было тех едва уловимых подразумеваний, тех пожатий руки на особенный лад, тех вздохов томных и улыбок сияющих, которые вечно сопутствуют любви. Что-то

назревало, что-то волновало душу, что-то заставляло щеки вспыхивать румянцем, глаза — блестеть, речь — переполняться страстным оживлением. Но что же? Об этом не только избегали говорить, а избегали и думать. И лишь накануне разлуки *она* с такой властью напомнило о себе — принудило Элиз расплакаться, а Ефрема — произнести те слова, которые он произнес.

Тихая грусть им овладела. Ему было ясно теперь, как он любит Элиз, и было ясно, как робка и неустойчива, как позорно малодушна ее любовь, — если даже это любовь, а не экзальтация, не игра праздного и взволнованного воображения, не вспышка благодарности. Прежде он вечно спорил с Глебом, утверждая, что не только народу, не только разночинцу, но и барству русскому свойственна беззаветная дерзость в искании правды, независимость от традиций, решительная свобода от всякого «средневекового» хлама. Да, прежде... А теперь он по совести не мог бы это утверждать... То, что произошло в барском саду, под тенью барских лип, пожалуй, и мелочь, но какая характерная мелочь, как она говорит за Глеба!.. Дряхлый мир не помолодеет, старые мехи не вместят вина нового, Гарденины так и останутся Гарденинами... «Уходите!..», да еще «поскорее...», да еще «ради бога, поскорее!..» Еще бы! Ведь в лице разъяренной старушонки разъярились все предки, вся родня, старые и новые Гарденины, — еще бы не испугаться и не отступить!.. Ах, видно, родословное дерево сильнее правды, условная мораль могущественнее свободы, традиции крепки, средневековый мрак далеко отбрасывает свою тень на грядущее!..

И по мере того как он убеждался, что «с этим все покончено», что Фелицата Никаноровна не замедлит поставить на ноги весь дом, всю дворню, «всех явных и тайных гарденинских рабов», а Лизавета Константиновна смирится и, может быть, даже ужаснется тому, что наделала, — по мере того как Ефрем убеждался в этом, в нем подымалось какое-то брезгливое отвращение к Гарденину, ему нестерпимо хотелось бежать отсюда. Никогда он не сознавал с такою очевидностью, что он лишний здесь, что его связи с Гарденины столь слабы, столь надорваны... И что-то вроде угрызений совести шевельнулось в нем, когда он подумал, как, в сущности, «пóшло и буржуазно» протекли эти три месяца. Он стыдился за то, что сыт, за то, что лицо его теперь румяно, за то, что в его стареньком, потертом кошельке лежало полтора рубля, полученных сегодня за репетиции с Рафом... между тем сколько голодных, сколько не имеющих пристанища, сколько таких, которые из-за двугривенного надрывают грудь в работе!

— Ефрем Ка-пи-то-ны-ич! — крикнули с дороги.

Ефрем оглянулся: по направлению к усадьбе ехал на дрожках Николай. Одно время Ефрем подумал сделать вид, что не слышит: ему страшно не хотелось говорить с кем бы то ни было, но он чувствовал усталость, а до Гарденина было не меньше десяти верст; кроме того, ему хотелось поскорее вернуться домой и сейчас же укладываться и, кстати, поскорее узнать, какая буря разыгралась дома, — по мнению Ефрема, родители, конечно, уже были осведомлены, что «натворил окаянный самовольник».

— Эка вы куда забрели! А я с хутора еду, — сказал Николай. — Не хотите ли, подвезу? — И как только Ефрем сел, он тотчас же обернулся к нему и с оживлением, с сияющими глазами начал говорить:

— Чтó я надумал, Ефрем Капитоныч... Знаете столяров домик? Ну, Ивана Федотыча, столяра? Заколоченный-то?.. Так чтó я надумал... вот бы хорошо школу в нем открыть! Средства нужны решительно ничтожные. Смотрите, я все уже высчитал: столы заказать, скамейки, закупить книжек... Ну, на пятьдесят целковых можно оборудовать!.. И есть уже план насчет этих-то денег... план такой, чтобы выпросить кой у кого. Я первый у Рукодеева выпрошу, еще тут у одного купца... Одним словом, пустяки!.. Но вот штука — с учительницей как быть? Положим, и это прекрасно можно бы устроить...

Я знаю одну... Превосходный человек! И даже принципиальный человек вполне... я недавно получил от нее великолепнейшее письмо. Она только в августе экзамен сдала — расстроилась на скверной пище и весной не могла сдать. А теперь кончила и имеет диплом. Но какая штука,— ей никак невозможно без жалованья... Она уж рассчитывала и так и сяк,— ну, буквально невозможно. И вот тут-то огромная загвоздка. Где взять? Шутка ли — десять целковых в месяц? Видите ли, ей никак нельзя меньше десяти. И это уж я знаю, наверное знаю, что нельзя меньше. Ну, на каникулы она уж решила, чтоб не брать: значит, июнь, июль, август, половина мая и половина сентября... Вот уже вам экономия сорок целковых... А восемьдесят-то, а? И что я надумал, Ефрем Капитоныч... Вот вы теперь вхожи к господам... И во всяком случае Лизавета Константиновна, должно быть, принципиальный человек... Нельзя ли, Ефрем Капитоныч, устроить, чтоб жалованье учительнице шло из конторы, а? И, разумеется, столяров домик чтоб разрешили. Там две половины, Ефрем Капитоныч. Одна пусть будет школа, другая — для учительницы. О, тогда будет прекрасно, Ефрем Капитоныч! Ведь школа такая полезная, такая удивительно превосходная вещь!

Настроение Ефрема решительно изменилось от этих планов. Точно свежая струя ворвалась в его душу и смяла все, что там было злого, грустного и тоскливого. С горячностью он принялся расспрашивать, что за человек учительница, и сколько, примерно, в Гарденине ребят школьного возраста, и велик ли размер избы, и кому можно заказать столы и парты. Вожжи были брошены, лошадь шла, переступая с ноги на ногу, благодушно помахивая головой, а Николай и Ефрем, заражая друг друга каким-то торопливым увлечением, проверяли смету, считали, соображали, говорили, какие книжки нужно достать, где купить грифели, перья, чернильницы, карандаши.

— Ну, вот что, дружище,— стыдливо краснея, сказал Ефрем,— так как я теперь в некотором роде Крез... и так как капиталы эти все из того же мужицкого кармана, то...— Он неловко вытащил из кошелька скомканные бумажки, не считая отделил половину и сунул Николаю.

— Зачем же-с? — пролепетал Николай, в свою очередь сторяя от смущения.— Ведь вам самим...

— Хватит... не стоит об этом толковать! Лучше вот о чем потолкуем: как быть с жалованьем? Крестьяне не дадут?

— И думать нечего!.. А господа-то,— ведь вы же объясните им, как это прекрасно?

— А отца вашего нельзя будет уломать? — продолжал Ефрем, будто не замечая вопроса.

— Что вы, что вы! — Николай даже руками замахал.

— Да я не о деньгах,— пояснил Ефрем.— Нельзя ли будет убедить его дать избу?

— А деньги-то?

— Соорудим бумагу в управу. Хотя земство-то у вас и не того...

— Земство не вполне...— согласился Николай и начал соображать.— Вот кабы Капитон Аверьяныч на нашу руку,— сказал он, подумавши,— пожалуй, папашу и можно бы сбить. Да ежели Фелицата Никаноровна...

— Охота связываться с этой дрянью! — вспльчиво крикнул Ефрем.

— С Фелицатой Никаноровной? — спросил Николай, удивленно расширяя глаза.

— Да, с этой противной ханжой.

— Чем же дрянью?.. Разве вот отсталых убеждений, а то она хороший человек.

Ефрем усмехнулся.

— Ну, хороший и хороший. У меня свое мнение о ней... Но это в сторону. Значит, ежели уговорить отца, Мартин Лукьяныч согласится?

— Пожалуй что... Да вы, Ефрем Капитоныч, самое бы лучшее Татьяне Ивановне?..

— Гм... как бы вам объяснить?.. Ну, одним словом, нельзя.

— Эх, а господа-то завтра уезжают! — с сожалением воскликнул Николай.

— Так вы поговорите сами с Лизаветой Константиновной.

— Что вы! Что вы!.. — Николай опять замахал руками. — Да отчего вам нельзя-то?

Ефрем поморщился и круто изменил разговор.

— Ну, а вы что намерены делать с собою? Так и останетесь киснуть в Гарденине и наблюдать господские интересы?

Николай вздохнул.

— Легко вам говорить, — ответил он, почесывая в затылке, — вон вы уйму какую заработали в три месяца!.. Будете доктором... Да и теперь — куда ни явитесь, все на своем месте... А я что? Мещанин полуграмотный... Куда я гожусь? Что я знаю? А потом, взять вашего папашу и взять моего. Вы отвоевали себе... Вы свободный вполне... А мне вот купец один — да какой купец! — предложил в лавку поступить... ну, привыкнуть к торговле, самому заняться впоследствии времени... Я и скажи папаше: вот цыкнул, не помню, как я уж ноги унес! Ты, мол, своим счастьем должен считать, что живешь у Гардениных!.. Легко вам говорить, Ефрем Капитоныч.

— Да разве вы не видите, что, служа Гардениным, необходимо теснить крестьян?

— Достаточно вижу!.. — подхватил Николай. — Поругание личности чрезвычайное!.. И со стороны эксплуатации ежели разобрать...

— Ну, вот.

— Но что же-с? Куда деваться?

— Ах, как жалко, что мы редко виделись...

— Ведь вы у господ все пребывали, Ефрем Капитоныч... — как бы оправдываясь, заметил Николай.

— Ну да, ну да, и у господ, — торопливо перебил Ефрем, — но, поверьте, я очень вам сочувствую... Вы говорите — уйму я заработал... буду доктором... Не в том сила, дружище! Вы все как будто на карьеру сворачиваете... Вот торговать собираетесь... Между тем, поверьте, не в карьере наше назначение!.. Мы ведь сами вчерашние рабы, Николай Мартиныч. Мы знаем, как сладко это состояние... Что же, неужели равнодушно взирать, как братья наши все по-прежнему рабы, по-прежнему задыхаются? Хорошо ли, честно ли? А сообразим: кто нас кормил, поил, одевал, давал нам средства читать книжки, учиться, развиваться? Все он же, Николай Мартиныч!.. Все брат наш! А мы плюнем на него, будем торговать, станем карьеру устраивать? Еще и еще тянуть с него? Эх, стыдно, Николай Мартиныч!

— Вот, бог даст, школу образуем, — вполголоса проговорил Николай.

— Хорошо, отлично, что и говорить. Я очень рад, что совсем, совсем с новой стороны узнал вас... Но все-таки вашего-то, личного-то вопроса школа ведь не решает... Вы об учительнице рассказываете, об этой Турчаниновой... Вот решение личного вопроса!.. Она уж будет стоять на одной стороне, на крестьянской. Она уж ихняя. Ей компромиссы не понадобятся. А вы к чему готовитесь? Одною рукой грабить, а другою раздавать по грошику? Печальный пейзажик, Николай Мартиныч.

— Но куда деться? — еще тише проговорил Николай.

— Я вам повторяю... помните, мы говорили с вами? — и Ефрем с тем восторженным выражением, которое так изменяло иногда его угрюмое лицо, повторил Николаю свои планы и предназначения. Николай слушал, задумчиво произносил: «Н-да... об этом придется поломать голову...» но если бы Ефрем не был так увлечен предметом своей речи, он мог бы приметить, что его

слушатель по-прежнему не согласен с ним, по-прежнему таит про себя какие-то упрямые замыслы.

Элиз стояла в своей комнате перед окном, открытым на балкон, и нервно кусала платок. Она была в мучительном раздумье. После сцены с Фелицатой Никаноровной первым побуждением Элиз было сказать матери, что она любит Ефрема и что уйдет куда глаза глядят, если станут препятствовать ее любви. Но аллея, где все произошло, находилась в конце сада, Элиз пришлось идти почти с версту, и побуждение замирало, тускнело, сменилось беспокойною и тоскливою нерешительностью, когда она подошла к дому. Не смелость шага останавливала Элиз,— она даже не думала об этом,— но ей все настоятельнее приходило в голову, что ведь, в сущности-то, она и не знает, любит ли ее Ефрем... А если не любит? А если вырвавшиеся у него слова означали простое участие? Если он был растроган ее положением «беспомощной барышни»? Ведь сказал же он, что не в любви изъясняется... Имеет ли она право в таком случае говорить все? Имела ли право заявить Фелицате Никаноровне, что она его невеста? Что, если такая откровенность страшно повредит ему и действительно выгонят из Гарденина его родных?

В задних комнатах шли спешные приготовления к отъезду. Горничные гремели барскими накрахмаленными юбками, укладывали баулы, бегали в прачечную, шепотом перекорялись, считали белье, гардероб, ботинки, туфли... Но этот хлопотливый шум едва достигал до Элиз и совсем не был слышен с балкона, где в глубокой качалке сидела Татьяна Ивановна и читала французский роман. Дикий виноград золотисто-прозрачными шпалерами оплетал балкон со стороны юга и до половины закрывал окно Элиз. Он был еще густ и зелен, несмотря на то, что через пять дней наступал сентябрь. Солнце сквозило там и сям, играло на сером сукне, разостланном во весь балкон, на сосредоточенном лице Татьяны Ивановны, на ее седых волосах, видных из-под черной кружевной наколки, на зеленоватых страницах книги.

Вдруг Элиз вздрогнула, схватилась за грудь и замерла... На балкон утропленными шажками всходила Фелицата Никаноровна.

— Что тебе, Фелицатушка? — ласково произнесла Татьяна Ивановна, и тотчас неприятное удивление изобразилось на ее лице: Фелицата Никаноровна повалилась ей в ноги.— Что с тобой? Чем ты расстроена?

— Матушка, сударыня! — прерывающимся голосом воскликнула Фелицата Никаноровна,— не слуга я вам... Невмоготу... Отпустите вы меня...

— Что это значит?.. Куда отпустить?

— В монастырь, ваше превосходительство... От мира хочу удалиться... по́стриг принять... о душе подумать, сударыня...

— Как же это, Фелицата?.. Ты меня очень удивляешь... Сколько лет служишь нам, все у тебя на руках, я так привыкла — и вдруг... Встань, пожалуйста. Я не понимаю, что за мысли. Надеюсь, ты всем довольна?

— Помилуйте, сударыня, мне ли быть недовольной?.. До гробовой доски буду за вас бога молить.

— Но в таком случае я должна сказать, что решительно не понимаю тебя.

— Ах, сударыня!.. — личико Фелицаты Никаноровны вспыхнуло, несколько мгновений она нерешительно перебирала губами и, наконец, с усилием выговорила: — Ах, сударыня, вы — млада, вы всего не изволите знать... Истосковалась я, матушка Татьяна Ивановна!.. Измучилась!.. Не извольте гневаться, сударыня... я как на духу перед вашим превосходительством... Агеюшка-то... Агей-то Дымкин... ведь он, сударыня, без причастия, без покаяния помер,— Фелицата Никаноровна всхлипнула,— в отчаянность впал... в госпде боге усомнился...Что же, матушка, не стать мне скрывать в такой час — мой грех, мой грех... Вы изволили шутить иной раз: вот-де старик Агей

в Фелицату влюблен... И Константин Ильич, царство ему небесное, шучивали... А за шутками-то правда: крепко любил меня покойник Агей Данилыч...

— Да, я слышала что-то такое,— сказала Татьяна Ивановна, нетерпеливо повернувшись на кресле,— Илья Юрьевич не согласился на твое замужество, кажется... Но я удивляюсь...

— Господь с ними! — с живостью перебила Фелицата Никаноровна.— Я на них не ропщу, сударыня... Да и как бы осмелиться на такую дерзость?.. Захотели — воспретили, вздумали наказать Агея — наказали... Барская воля. Но вот уж бог им судья: убили они его, душу из него вынули... А все я, окаянная, причинна... мой грех!

— Что же такое? Кроме того, что Агей был наказан, я не слыхала...

— Ах, сударыня... Вспоминать-то — душа томится. Не хороши они были по женскому полу... Илья-то Юрьевич! Сослали Агея с глаз долой, ну, и... Что ж, барская воля... я не ропщу... Пятьдесят лет таила... Сколько времени спустя воротили Агея, определили в конторщики... Глядишь, поклониться бы господам — и сняли бы препоны. А я, мерзкая, сама не похотела: духу не набрала открыться Агею Данилычу, в нехорошем деле повиниться... Убоялась стыда! Убоялась попреков!.. Ах, сколь велик грех, сударыня!.. Мне-то ведь с полагоря, у меня радости были... Барские детки подрастали, нянчила их, нежила... Привел господь дожидаться — вы изволили за Костеньку замуж выйти... Сергей Ильич на баронессе Фонрек женились... Лизавета Ильинишна за Голоушева, Петра Петровича, вышла... Тут ваши пошли детки... Взыскал меня господь!.. А Агеюшко все-то один, все-то в горестях да в сиротстве... Мудреное ли дело с пути сбиться? И сбился... Поди-ка, сколько окаянных книг нашли у покойника!.. Начала я их жечь — дымище-то смрад смрадом... А все читал горюшечка, все доискивался, все бунтовался, бог ему судья... Кому же умолить-то за него? Кто за сироту ходатай? Для кого он потребен?.. Отпустите, сударыня! Видно, я уж не жилица в Гарденине... Да и что... стара ведь я, ваше превосходительство... О земном ли думать?

Татьяна Ивановна была тронута.

— Жаль,— сказала она,— искренне сожалею, милая Фелицата! — и поискавши, чем бы утешить старуху, добавила с тою улыбкою, с которой говорят детям, когда хотят их развеселить: — Я надеялась, что ты дождешься свадьбы Элиз... Помнишь твои планы о графе Пестрищеве?

— Да-с... точно так,— пробормотала Фелицата Никаноровна, потупляя глаза, и вдруг изменилась в лице и, задыхаясь, произнесла: — Увольте, сударыня... я уж пойду-с... лягу-с... неможется что-то... — и, не дожидаясь, что скажет Татьяна Ивановна, хватаясь за перила, за стены, прижимая руки к груди, быстро сошла с балкона.

Татьяна Ивановна встревожилась, на мгновение даже приподнялась с качалки. Однако ограничилась тем, что позвонила и, приказав позвать Ефрема Капитоныча, а горничной Амалии — разузнать, что такое с Фелицатой Никаноровной, снова углубилась в чтение романа.

Элиз прежде Амалии примчалась к Фелицате Никаноровне. С бурною нежностью она осыпала старуху поцелуями, принудила лечь в постель, называла самыми милыми именами. Обе плакали, не говоря ни слова о том, что произошло в саду и на балконе; обе страстно жалели друг друга и вместе ясно понимали, что ничем, ничем не могут помочь друг другу, потому что нет истинной связи между таким старым и таким новым.

Когда Ефрем, с решительною готовностью выдержат бурю, явился в барский дом, ему пришлось только изумляться. Татьяна Ивановна с обычною своею благосклонностью попросила его навестить Фелицату Никаноровну. У Фелицаты Никаноровны он застал расплаканную, умиленную и сияющую от какой-то внутренней радости Элиз.

— Что случилось? — сурово спросил Ефрем, подходя к кровати, — он никак не мог переломить враждебного чувства к Фелицате Никаноровне.

Старуха, в свою очередь, сразу изменилась, как только он показался в дверях; личико ее точно застыло, сделалось тупым, холодным, губы сжались с твердым и упрямым выражением; она смотрела в стену и, свернувшись в комочек, лежала точно каменная. Однако и не противилась тому, что делал Ефрем. Он сосчитал ей пульс, выслушал сердце, — болезнь оказалась неважной: род нервного припадка.

— Ну, что? — тревожно спросила Элиз, все время не сводя с него глаз.

— Пустяки, — пробормотал Ефрем и, рассказав Агашке, как надо поступать, а Фелицате Никаноровне преподав совет заснуть, вышел из комнаты.

Элиз догнала его.

— Хотите ехать со мной в шарабане? Погода такая прелесть! — сказала она.

— Не желаю-с. Позвольте узнать, старушка смилостивилась, мамаше не доложила, и вы от этого так счастливы?

Элиз с удивлением взглянула на него и вдруг засмеялась.

— Едем, едем... Все вздор!.. То есть все отлично, и вы глубоко неправы. Фелицата Никаноровна такая прелесть... такая великая душа!.. Ах, я не знаю, как все прекрасно и как хорошо жить!

Ефрем стоял перед нею, смотрел в ее лучистые, счастьем зажженные глаза, в ее лицо, в котором с такою ясностью отражалось что-то доброе, открытое, искреннее... улыбнулся, покраснел и торопливо пробормотал:

— Да, да, я вспомнил. Мне нужно переговорить с вами об одном деле... Я, оказывается, ужасно ошибался относительно молодого Рахманного.

— И тем более, завтра ведь мы едем! — подхватила Элиз, не слушая, что он сказал о Рахманном, но вся вспыхивая от его намерения переговорить с нею. — О, какой удивительный день!.. как прозрачен воздух!.. До чего хорошо поют на гумне!.. Послушайте, послушайте... боже, как весело!

Вечером Мартин Лукьяныч был позван к барыне, довольно долго находился там, и когда пришел в контору, где его ждали «начальники», Николай понял, что самое лучшее углубиться в «книгу материалов» и уперно молчать. Мартин Лукьяныч был жестоко расстроен. «Начальники» ушли; Мартин Лукьяныч кричал, вздыхал, жег папиросу за папиросой и, наконец, заговорил как бы сам с собою: «С ума спятила, старая дура!.. («Кто бы это? — подумал Николай, сгорая от любопытства. — Неужто Татьяна Ивановна?») Покорно прошу, что выдумала — в монастырь!.. Эдак и я уйду в монастырь, и другой, и третий, — что же с экономией-то станется? В аренду, что ли, сдавать?»

Николай понял, что не только можно, но даже нужно спросить, в чем дело.

— Кто это, папаша, в монастырь?

— Да вот надумалась с большого-то ума... Фелицата Никаноровна!

Николай так и привскочил.

— Не может быть!

— Значит, может, коли я говорю. Велено экономку приискать. А где ее, анафему, взять? Где они, старинные-то слуги!.. Обдумала, убила бобра, в монастыре ее не видали.

Мартин Лукьяныч сердито засопел, походил по комнате и сделался еще раздражительнее.

— Затеи! — воскликнул он. — Тут старушонка баламутит, а тут затеи!.. Мужичких ребят учить!.. (Николай насторожил уши.) К чему это-с? Для какой надобности? В писаря им, что ли?

— Что же, папаша, насчет школы что-нибудь? — трепещущим голосом осведомился Николай, низко наклоняясь над бумагами.

— Школы, школы! — передразнил его отец. — Да на кой черт школы-то?

Ты, гусь лапчатый, смотри у меня... У тебя тоже всякая дрянь в голове заводится! Я говорю — вздор, а ты, кажется, радоваться изволишь?

— Что же мне радоваться? — пробурчал Николай.

— Деньгами, словно щепками, кидают!.. Покорно прошу — сто двадцать целковых!.. За что? С какой стороны?.. Я понимаю еще в прежнее время: пустил грамотного на оброк, он точно шпанская овца супротив простой — вдвое, втрое принесет. Но теперь-то? Эхма, тыщу раз покойника Дымкина вспомнешь!.. И откуда узнали — ума не приложу. Девчонка... чья... имеет ли родителей... достойного ли поведения, ничего неизвестно. Вот адрес, смотри не затеряй, завтра же велено написать. Что за Турчанинова такая?.. Удивительно!

— Да ведь это, папенька, Фомы Фомича, станowego, дочь! — воскликнул Николай.

— Ну, что ты врешь? Пойдет тебе Фомы Фомича дочь мужицких ребят учить!

— Да верно-с. Я знаком с Верой Фоминишной.

— Как так?

Николай, путаясь и краснея, сказал, что познакомился у Фомы Фомича и виделся затем в Воронеже. Мартин Лукьяныч хотя и покачал головою, но несколько успокоился.

— Ну, все-таки хоть не с ветру, — проговорил он и тут же помянул добрым словом Фому Фомича: — Эх, не нажить нам, видно, такого станowego! Что ж, что был взяточник? Брал, да по крайней мере дело делал, внушал страх. Прошу покорно, какого орла сместили!.. Дочь-то не сказывала, где он теперь? Уж, должно быть, бедствует, коли она на такую низость пошла!

Николай отозвался незнанием, хотя из последнего письма Веруси ему было известно, что Фому Фомича сделали смотрителем острога.

На другой день господа уехали. В доме, в кухне, в девичьей, в прачечной водворилась мертвая тишина; мебель облеклась в чехлы; повар Лукич, прибрав свои белоснежные одежды иakraхмаленные колпаки, засел за творения блаженного Феодорита; лакей Степан пересыпал камфорой фрак, скинул перчатки и белый галстук и в нанковом пиджачишке отправился с ружьем на куропаток. Почти совсем отстала от дела и Фелицата Никаноровна; она только поджидала новую экономку, чтобы честь честью сдать должность и удалиться в монастырь. Напрасно и Мартин Лукьяныч и другие почетные люди дворни уговаривали ее остаться; напрасно сам отец Григорий покушался вразумить ее: «Ей-ей, свет, не дело затеяла; ей-ей, спастись на всяком месте возможно!.. Что твоя жизнь? Твоя жизнь воистину благоденственная. Индюшечки, уточки, курочки; помещикам — прибыль, тебе — приятность, душе — отрада. И в трудах непрестанно обретаешься, и душеспасительное под рукою: храм-ат божий близехонько, лошадка всегда готова... Ей-ей, пустое, свет, затеяла!» Фелицата Никаноровна только глубоко вздыхала на эти увещания, иногда плакала и говорила: «Нет уж... Что уж, милые... о земном ли думать? Не тревожьте меня, ради Христа-создателя!» — и продолжала укладываться, часто и подолгу молилась, запершись в своей комнатке. Почти каждую ночь сторож видел в барском доме огонек, мелькавший то в одном окне, то в другом. Это Фелицата Никаноровна, измученная бессонницей, зажигала свечу и бродила, как тень, по гулким, опустелым покоям. Скользя неслышными шажками, она присматривалась, вздыхала, подолгу останавливалась в портретной, в комнате Элиз, проходила в мезонин, где прежде была детская, и, утомившись, ставила свечу, присаживалась где-нибудь на краешке кресла и погружалась в глубокое раздумье, не замечая слез, буквально заливавших лицо, то безотчетно улыбаясь, то являя вид необыкновенной грусти.

Из всей дворни только Ефремова мать вполне одобряла намерение Фелицаты Никаноровны, благоговейно сочувствовала ей и с великим рвением

принялась было навещать ее и помогать ей укладываться, но скоро перестала. Фелицата Никаноровна и всегда обходилась с нею как-то несерьезно, а теперь с особенною жестокостью отнеслась к ней. «Ты бы, мать, не совалась в чужое дело,— сказала однажды Фелицата Никаноровна, когда та, что-то таинственно шепча, рылась в ее сундуке,— сиди-ка лучше дома. Я и с Агашкой управлюсь. Егозишь тут... только мне мысли разбиваешь!» Впрочем, и к самому Капитону Аверьянычу Фелицата Никаноровна обнаруживала недоброжелательство: хмурилась и поджимала губы в его присутствии, упорно молчала, потупляла глаза, с Ефремом же совсем избегала встречаться и, когда случалось увидеть его издали, быстро отворачивалась и прибавляла шагу.

Ефрем провидел, что совершается в душе старухи, и ему было грустно. После того, что рассказала ему Элиз, он невольно проникся уважением к Фелицате Никаноровне. Он уверился, что она подвигнута была вовсе не холопством, когда подслушала его разговор с Элиз и набросилась на него с такими ругательствами. Затем ему стал ясен весь тот мученический процесс мысли, который понуждал Фелицату Никаноровну идти в монастырь, искать полнейшего отрешения от жизни. Но ему было грустно от этой странной логики, оттого, что человек, чья жизнь с такою жестокостью была извращена «господами», решался извратить ее до конца уже по собственной воле, потому только, что этим же «господам» грозило в некотором роде отмщение. Прежде он думал, что такая логика невозможна и что вообще у всех людей одинаковые посылки порождают одинаковые умозаключения.

Жилось Ефрему с каждым днем тягостнее. Все, что показалось ему таким чуждым, тусклым и неприятным, когда он явился в Гарденино, и что отступило куда-то в сторону, благодаря знакомству с Элиз и вновь нахлынувшим мечтам и мыслям, теперь опять обнажилось во всеоружии своей унылой пошлости. Интересы барского двора с прежнею назойливостью мучили душу Ефрема,— ими полон был Капитон Аверьяныч, о них говорили в конторе, в конюшне; с точки зрения этих интересов рассматривали поведение Фелицаты Никаноровны, рассуждали об урожае, о ценах, о погоде, о людях... Ах, до чего казались дики Ефрему такие рассуждения, какую тоску они наводили на него!.. И напрасно было искать отдыха, ну, хоть в книгах, как в начале лета, или в живых, как представлялось Ефрему, интересах деревни. Читать он не мог, потому что был неспокоен и беспрестанно волновался, от деревни же по-прежнему чувствовал себя отрезанным. Как он завидовал Николаю, который решительно утопал в восторге от ожидания открытия школы и приезда Веруси! Как он завидовал, когда тот ходил с ним по гумну, где молотили гречиху, заговаривал и шутил с крестьянами, и видно было,— так по крайней мере казалось Ефрему,— что деревня считает его своим человеком, относится к нему запросто, без всяких задних мыслей, без подозрительности и скрытой вражды. «Микола,— говорили девки,— смотри на вечерушки-то приходи... Отчего вчера с на улице не был? Мы уж ждали, ждали!..» — «Мартыныч,— спрашивали мужики,— правда ай нет гурторят, что с нового года нарезка будя? Как в ведомостях насчет эфтого?» Как завидовал Ефрем, когда Грунька Нечаева, проходя мимо, пребольно ударила Николая кулаком и с веселым смехом крикнула: «Ай не любишь? Подсобил бы мне лукошко поднять»,— и Николай хотя отвечал, что «пусть ей Алешка подсобляет», однако с удовольствием помогал девке, и никто не смеялся над этим, никто не находил это странным... И так славно сияло солнце в прозрачном сентябрьском воздухе, так ослепительно блистали своими крыльями голуби, с шумом переносясь с места на место, так весел и наряден был народ, так дружно кипела работа... А на Ефрема смотрели как на чужого, никому и в голову не приходило, что он такой же бывший крепостной, как и они, и что душа его сгорает желанием быть среди них своим человеком.

Тому, что откроется школа, Ефрем, конечно, тоже радовался, но радовался принципиально, если можно так выразиться, радовался отнюдь не похоже на Николая, который видел в школе какое-то чудодейственное обновление и своей и гарденинской жизни. «Нет, лишний я здесь, лишний!» — думал Ефрем, возвращаясь с гумна, и грезилась ему иная деревня, где-нибудь далеко-далеко от Гарденина; вот там-то уж не будет никаких препон, там зловещая тень барской усадьбы не омрачит его в глазах народа, там не потребуется осторожной политики, не нужно будет соображать, что понравится и что не понравится Татьяне Ивановне, отцу, управителю, эконолке... «Ах, скорей бы отсюда!» — восклицал про себя Ефрем.

Но это было легко сказать. При мысли о том, что, в сущности-то, он уезжает навсегда, сердце его тоскливо сжималось. Не Гарденина было ему жаль. Его чувству ничего не говорили эти старые ветлы на плотине, эти постройки, приветливо белевшие на полугоре, огромный сад, точно застывший в ясном воздухе, тихие воды, степь, видная далеко, поля просторные, благовест, долетавший из села. Но он вспоминал мать, жалел отца. Мать таким подозрительным и таким страдальческим взглядом впивалась в него, когда он начинал помаленьку укладываться, отец, не изменяя своей суровости, по временам глядел таким несчастным. А между тем *всего* ведь они не знали, мучились только от временной разлуки, на год, на два.

И Ефрем со дня на день откладывал сборы, медлил говорить об отъезде.

Все случилось само собою, необыкновенно быстро и необыкновенно жестоко.

Раз Ефрему пришлось пойти в конюшню. Еще не доходя до рысистой, где он предполагал застать отца и осторожно поговорить с ним, что пора, наконец, уезжать, ибо в академии скоро начнутся лекции, он услышал, что отец не кричит, а рывкает каким-то ужасным голосом и что вообще происходит какой-то странный переполох. Ефрем прибавил шагу, вбежал в сени и остолбенел.

— Я тебе дам права! — гремел Капитон Аверьяныч. — Я научу послушаться!.. Кролика недосмотрел, думаешь и Визапуршу изгадить!..

Перед ним с вскосмаченными волосами, с окровавленным лицом стоял Федотка и, напрасно усиливаясь сдерживать всхлипывания, кричал:

— Пожалуйте расчет!.. Расчет пожалуйста!.. Ноне драться не велено!..

— Что-о?.. — заревел Капитон Аверьяныч и, изо всей силы ударив Федотку костью, замахнулся еще.

Ефрем бросился к отцу, схватил его за руку, диким голосом крикнул:

— Не смей!.. Что ты делаешь?..

Отец взглянул на него, попытался выдернуть руку; оба задыхались, оба были охвачены неизъяснимою ненавистью друг к другу. Наконец Ефрем разжал пальцы.

Капитон Аверьяныч пошатнулся, пошевелил мертвенно-бледными губами и вдруг, круто повернувшись, пошел домой. Ефрем набросился на Федотку.

— Сейчас подавайте к мировому! — кричал он, не помня себя от жалости и негодования. — До чего дошли, бьют, как скотов, и терпят!.. Как он смеет?.. Что вы смотрите на безобразника?.. Сейчас пойдемте прошение писать!.. Кто свидетели?

Конюха, дотоле выглядывавшие из дверей, быстро попрятались.

— Ах, рабы! — разразился Ефрем, содрогаясь от ярости. — Ах, предатели!.. Ведь завтра же вас точно так же исколотят!.. Ведь это брат ваш, брат обижен!..

Федотка, размазывая по лицу кровь и слезы, рыдающим голосом бормотал что-то о правах, о том, что он достаточно понимает, что наплевал бы, если

его и уволят из наездников, что их, идолов, время прошло и что он вовсе не виноват в хромоте Визапурши. За всем тем он не изъявлял готовности следовать за Ефремом и писать прошение. В сущности, он смертельно боялся лишиться столь блистательно начатой карьеры, и если о чем сожалел, так единственно о грубых словах, вырвавшихся у него в минуту нестерпимой боли, и о том, что так легкомысленно потребовал расчета.

Ефрем скоро понял это, заскрежетал зубами, плюнул и, весь переполненный гневом, в свою очередь направился домой, чтобы серьезно и «раз навсегда» объяснить с отцом. Но объясняться не пришлось. Увидав его, отец вскочил из-за стола, выпрямился во весь свой огромный рост и с перекосившимся, страшным лицом крикнул:

— Вон!.. Чтoб духу твоего здесь не пахло... змееныш!..

Ефрем презрительно усмехнулся. Все, что произошло вслед за этим, представлялось ему впоследствии точно в тумане. Отец разразился грубыми ругательствами, хотел ударить Ефрема. Ефрем отстранился и тоже закричал на отца. Что-то маленькое, тщедушное, подавленное ужасом, с выражением невероятного испуга металось то к Ефрему, то к Капитону Аверьянычу, обнимало их ноги, билось головою об пол, испускало пронзительные вопли... Капитон Аверьяныч торжественно простер руку. Мать взвизгнула, вцепилась в эту руку, повисла на ней.

— Замолчи... замолчи, изверг! — кричала она в исступлении. — Измотал!..

Всю душеньку измотал, светлого часа с тобой не видела... Доброго слова от тебя не слыхала... Ефремушка!.. Дитятко ненаглядное!.. Проси прощения!.. Умоли жестокосердого!..

— Проклинаю! — прохрипел Капитон Аверьяныч, отталкивая жену; та жалобно ахнула и повалилась без чувств.

Ефрем бросился к ней.

— Что ты наделал? — прошептал он. — Ведь это смерть.

Капитон Аверьяныч бессмысленно взглянул на него, отошел к стулу, сел, закрылся руками и глухо зарыдал.

— Умерла... умерла... с отчаянием повторял Ефрем, разрывая платье матери, прикладывая ухо к ее груди, прислушиваясь, не вылетит ли вздох меж полуоткрытых губ, в углу которых сочилась теменькая струйка крови. Вздоха не было, сердце перестало биться навсегда.

Ефрем поднял до странности легкий труп, положил его на кровать, опрavit платье на груди, прикоснулся губами к лицу, начинавшему уже принимать спокойное и важное выражение, свойственное мертвецам, и, не оглядываясь на отца, вышел из избы.

Через десять минут вся изба наполнилась народом. Фелицата Никанорова вынимала из сундука платье, уже давно приготовленное покойницей на случай смертного часа; какие-то старушки хлопотали над мертвым телом. Мартин Лукьяныч утешал Капитона Аверьяныча. Впрочем, тот, казалось, не особенно нуждался в утешении. Лицо его хранило недоступный и непроницаемый вид, глаза были сухи, в слегка охриплом голосе звучала суровая важность.

А Ефрем пластом лежал в это время в Николаевой комнате и, крепко вцепившись зубами в подушку, усиливался преодолеть мучительную боль, точно сверлящую в его груди, в голове, в сердце.

Спустя три дня «мать» торжественно похоронили. Вся дворня шла за гробом. Отец и сын следовали молча, с потупленными лицами, с одинаково замкнутым выражением. Ни слова не было произнесено ими между собою, ни одним взглядом они не обменялись со смерти матери.

Только после похорон, когда Ефрем совсем уже оделся, чтобы садиться и ехать на станцию железной дороги, в нем что-то сочувственное шевельнулось.

— Прощай,— выговорил он дрогнувшим голосом и подошел к отцу, намереваясь обнять его.

— С богом,— произнес тот, сухо отстраняя сына.

Ефрем с досадой смахнул слезинку и торопливо пошел к тележке, на которой уже дожидался Николай, вызвавшийся проводить его до станции.



Ненастье, скука и удручающие предчувствия в Гарденине.— В ком разочаровался Николай.— Чем кончился его роман с Грунькой.— «Все льет!» — Солнечный луч.— Дебют Веруси Турчаниновой.— Управитель поддается влияниям.— Ошеломляющее событие и Григорий Евлампич.— Смерть Капитона Аверьяныча.

С половины сентября погода резко изменилась. Потянулись дни, которые, по справедливости, можно было назвать сплошными сумерками. Угрюмые тучи двигались непрерывно. С утра до ночи моросил мелкий дождь. Деревья быстро желтели и обнажались. Далеко слышный рев молотилки в барской риге, дружный стук цепов, веселый говор народа на гумнах, журавлиные крики в высоком небе — все прекратилось. Наступила какая-то унылая, серая, свинцовая тишина.

Никогда Николаю не было так скучно, никогда погода до такой степени не совпадала с его настроением. Школа могла только открыться с пятнадцатого ноября, к тому же времени обещалась приехать Веруся. Но тот восторг, с которым Николай ожидал этих событий, решительно не в силах устоять под напором последних гарденинских происшествий и столь восторженных, столь медлительных, тихих, бесконечных дождей. Нельзя было восторгаться, когда всюду господствовало уныние, когда люди в соответствие сумраку, висевшему над землей, ходили беспросветно-мрачные, с каким-то томительным и угрюмым выражением на лицах. Конный двор был угнетен зловещим видом Капитона Аверьяныча, который теперь почти совсем не посещал своей опустевшей избы, неведомо когда спал, вечно бродил по коридорам и варкам, целые часы простаивал где-нибудь у ворот, не то надзирая за порядком, не то отдаваясь течению горьких дум и не менее горьких воспоминаний. Отъезд Фелицаты Никаноровны еще более усугубил всеобщее уныние. Вся дворня была охвачена беспокойным предчувствием какой-то беды; все смутно догадывались, что гарденинская жизнь выбита из колеи и что-то трещит, что-то распадается в ее вековечных устоях. Конечно, не самые факты смущали: ведь и прежде случалось — удалялись в монастырь, помирали, ссорились,— да еще как ссорились! — но дело-то в том, что столь обыкновенные факты совершались теперь под покровом какой-то тайны, и никто не мог в эту тайну проникнуть... Внезапно удалась экономка, внезапно умерла Ефремова мать, внезапно поссорились отец с сыном... А почему? Где корни и нити? В чем настоящая причина? Ответа не было. Получался самый широкий простор для созидания слухов, предположений, подозрений, и все неотразимее и неотразимее овладевал трепет гарденинской дворней, все беспокойнее становились умы.

Конечно, Николай находился в совершенно иных условиях. Ему не было резонов ни трепетать, ни беспокоиться. К тому же он знал и закулисную сторону загадочных событий; по дороге на станцию Ефрем рассказал ему, из-за чего поссорился с отцом, при каких обстоятельствах умерла мать, что побу-

дило Фелицату Никаноровну идти в монастырь. Но общая атмосфера безнадежности, убийственное настроение отца, опустелый домик экономки, трагический вид Капитона Аверьяныча отзывались на Николае какими-то приступами удушливой, мертвящей тоски. Вдобавок осень принесла и личные горести. Во-первых, он решительно разочаровался в Федотке; во-вторых, Грунька Нечаева поразила его своим беспримерным коварством. Федотка не только не подал просьбу мировому судье, как убеждал его Ефрем, но даже и не расцелся, а, улучив благоприятный момент, пал в ноги Капитону Аверьянычу, вымолил прощение «за дерзкие слова» и, как ни в чем не бывало, остался наездником.

С Грунькой вышло еще обиднее. Необходимо сказать, что, как ни увлеклся Николай разнообразием своих впечатлений за этот год, ни переписка с Верусей, ни разговоры с Ефремом, ни знакомство с Ильей Финогенычем, ни даже предстоящее открытие школы, мечты о совершенном переустройстве своей и гарденинской жизни, замыслы о самостоятельности не погашали давнишней его мысли о непрременном достижении Грунькиной любви. Мало-помалу он даже привык считать Груньку своею неотъемлемою собственностью... ну, вроде такой собственности, которою хозяин все не пользуется, за недосугом, но, как только выберет свободное время, придет, возьмет и станет пользоваться. Такому представлению даже сцена весною в саду не воспрепятствовала, тем более что Николаю за лето еще раза три случилось поговорить с Грунькой, и девка была ласкова с ним, охотно шутила и вообще видно было, что ее характер значительно изменился к лучшему, что она сама все больше льнет к нему. Николаю оставалось лишь решить: действительно ли он любит ее или только влюблен и, если любит, должен ли жениться на ней или все предоставить стечению обстоятельств... Об этом он собирался как-нибудь переговорить с Ефремом, написать Верусе, посоветоваться с Ильей Финогенычем, вообще крепко и серьезно подумать, но как-то не собрался и все утешал себя: «Успеется! Не уйдет!» Правда, до него достигали слухи, что Грунька «гуляет» с Алешкой Козлихиным, но, ввиду ее все возрастающей ласковости, он не верил этим слухам и только самодовольно усмехался да притворялся, что ревнует... И прелесть надежд даже выигрывала, осложненная такою притворною ревностью.

Вдруг он услышал, что Козлихины снова заслали к Нечаевым сватов и Грунька согласилась, хотя и говорили, что причитала сверх всякого обычая и даже билась головой об стену. Николай так и закипел. Спустя несколько дней после сватовства в риге сортировали пшеницу. В числе поденных были Грунька и Дашка. Грунька казалась грустною и особенно была ласкова с Николаем. Но его возмущало такое вероломство. Когда после обеда девки легли отдыхать, он подошел к ним и, запинаясь от невероятного чувства обиды, сказал Груньке:

— По-настоящему, застрелить тебя мало.

— Что так, миленький? — ответила Грунька, нежно заглядывая ему в глаза.

— А то!.. Мне черт с тобой, что ты замуж выходишь, но зачем обманывать?.. Сама с Алешкой гуляешь, а сама... — и он затруднился, что добавить.

Грунька вспыхнула, вскочила и с видом самого уничтожающего презрения посмотрела на него. Как ни странно, но Николай обрадовался: он подумал, что Груньку оболгали и она рассердилась на клевету. Увы, его радость оказалась преждевременною.

— Ворона!.. Два года с тобой маюсь! — заговорила Грунька, отчеканивая каждое слово и все сердитее и презрительнее сверкая глазами. — Жевали дураку... в рот клали!.. Нет, хрустко! Еще пожуйте!.. Ты вспомни, олух, чего тогда, по весне-то, набормотал?.. У, ворона! Ну, гуляю, — тебе что за дело? Ноне с Алешкой, завтра с Митрошкой, а ты гляди да облизывайся. Убирайся к родимцу... не торчи... и без тебя тошно! — и, круто повернувшись, она легла, закрывшись совсем с головою.

Рано наступившее ненастье застало экономию врасплох. Скирды были не

накрыты, гречиха недомолочена, хлеб невянный лежал в воротах; не успели нарубить хворост, взметать под яровое, вымочить коноплю. Все это приходилось делать урывками, ловить часы, когда затихал дождик, управляться кое-как, суетливо, беспорядочно. Мартин Лукьяныч выходил из себя, злился, довел до совершенной растерянности всех своих начальников, так что, когда по возможности прибрались и ненастье пошло уже беспромежуточное, а вместо всяких хлопот наступила сплошная скука, многие вздохнули свободнее.

Но зато ах какая беспросветная, гнетущая, удручающая скука!.. «Ну, погодка!» — восклицали во всех концах усадьбы, и в это восклицание вкладывалось столько посторонних погоде соображений, столько трепета перед грядущим, что казалось — Гарденино накануне погибели.

Два часа. В доме управителя пасмурно, неуютно, сыро. Николай читает, близко нагнувшись к страницам, и все думает: «Не бросить ли?» Маятник тоскливо повторяет «тик-так... тик-так...». Мартин Лукьяныч храпит в соседней комнате. Но вот кровать скрипит, слышится заспанный голос: «Квасу, Матрена!» — и спустя несколько минут, с измятым лицом и причесываясь на ходу, появляется Мартин Лукьяныч.

— Все льет? — спрашивает он сердито.

— Все льет, — отвечает Николай со вздохом.

Мартин Лукьяныч ходит, курит, вздыхает, глядит в окно, как надвигаются бесконечные вереницы сизых, синих и серых туч, как моросит мельчайший дождик. Бывало, в такое ненастье то завернет Фелицата Никаноровна и побеседует о старине, о божественном, о том, задалась ли капуста и отчего бахчевый огурец не в пример слаще огородного; то придет Капитон Аверьяныч, пошутит, ежели в духе, и, во всяком случае, поговорит о лошадях, спросит, что пишут в газетах, посоветуется, то, наконец, развеселит Агей Данилыч каким-нибудь чудачеством... Теперь же — никого, кроме Капитона Аверьяныча, да и тот сделался таким, что лучше его не видеть.

— Что ты читаешь, Николья? — спрашивает Мартин Лукьяныч, накурившись и наглядевшись в окно до одури.

— Всеобщую историю, папаша.

— Это для какой же надобности?

— Как для какой?.. Чтобы знать.

— Ну-кошь, прочитай вслух.

Николай начинал о гвельфах и гиббелинах. Мартин Лукьяныч, однако, скоро прервал его.

— Черт знает что! — восклицал он сердито. — Гвельфы! Какое кому дело до них, анафемов?.. Лучше бы путным чем занялся. Вон Ефрем начитался дурацких книг, да и поднял руку на отца. Смотри, брат... — Мартин Лукьяныч искал, к чему бы придраться. — Выборку для отчета начал составлять?

— Нет-с.

— А отчего?

— Успеется еще, папаша.

— Так. Дурацкие книги не ждут, а барская работа успеется?.. Болван! За что тебе жалованье дают? Ведь не щепки, дубина эдакая, — деньги, деньги получаешь!.. Отец трудится, хлопочет, ночей не спит... Все наперекор! Все наперекор норовишь... Ты думаешь, я не видел — у вас с Ефремом-то печки-лавочки завелись? Аль Илья Финогенов... Как ты смел в знакомство-то вступить без моего разрешения? Что такое Илья Финогенов? Весь свой век блаженным слывет, — недаром и прозвание ему «француз», а ты, дубина, в приказчики к нему просишься! Видно, Илья-то Финогенов тебе дороже отца! Ты что, тоже собираешься убить меня, подобно как Ефремка убил родителей?

Мартин Лукьяныч мало-помалу впал в лирический тон.

— Погоди, — говорит он, — может, господь даст, скоро и сам уберусь. Может, придется идти к сестре Анне да приюта просить на старости лет...

романы с ней читать! Тот в монастырь, того сын введет в повреждение ума... Ноне Ефремку к барскому столу приглашают, завтра Еремку какого-нибудь. То на мужицких ребят деньги швыряем, а то, может, и Гарденино в сиволапое царство отдадим... Погоди, и сам уберусь.

Николай кусал губы, проклинал свою разнесчастную жизнь, готов был крикнуть: «Замолчите вы, Христа ради! Уйду куда глаза глядят»... А сумрак в комнатах сгущался, половицы поскрипывали под тяжелыми шагами Мартина Лукьяныча, и маятник с неумолимою безотрадною отчеканивал: «тик-так... тик-так».

Вечер. Пришли начальники, — больше по обычаю, потому что приказывать решительно нечего. Все молчат, переминаясь с ноги на ногу; то один вздохнет из глубины сердечной, то другой. Мартин Лукьяныч ходит, ходит, обволакиваясь облаками дыма... Бывало, староста Ивлий хоть деревенские новости сообщал, а теперь и тех не оказывается: такое уж промежуточное время.

— Что, не заметно, чтоб распогоживалось? — спрашивает Мартин Лукьяныч.

— Все льет-с.

— И ветер не поворачивает?

— И ветер с гнилой стороны-с.

— Эхма!.. О, господи!.. Доколе будя!.. — слышится прискорбный шепот. Наплывшая свеча трещит, стекла плачут, ненастная ночь заглядывает в окна, маятник отбивает с неумолимою безнадежностью: «тик-так... тик-так...».

И вот в один из таких томительнейших вечеров в усадьбе зазвенел колокольчик. Мартин Лукьяныч моментально остановился. У Николая застыло перо в руке. Унылые лица начальников оживились. Все насторожили уши и слегка наклонили головы, жадно прислушиваясь. Колокольчик побрякивал все ближе и ближе.

— Староста, узнай, — приказал Мартин Лукьяныч.

Дядя Ивлий опрометью выбежал на крыльцо и спустя несколько секунд появился сияющий.

— Надо быть, к вам, Мартин Лукьяныч. Поворачивают!.. И колокольчик ямской-с, — доложил он с возбужденным видом.

Вслед за этим у крыльца раздался топот.

— Матрена, самовар! — крикнул Мартин Лукьяныч добрым и довольным голосом.

Староста, ключник, овчар, садовник, мельник, а вслед за ними и Николай гурьбою бросились на крыльцо.

— Боже мой, какая отвратительная погода!.. Это вы, Рахманный? Здравствуйте, здравствуйте. Как вам не стыдно, до сих пор не знаете, что «прогресс» пишется вовсе, вовсе не через *ять*! — защебетал в сенях звонкий, веселый, свежий голос. — Ну, что в школе? Надеюсь, все готово? Пожалуйста, скажите накормить и согреть ямщика. Он так озяб...

Через минуту в комнату входила Веруся Турчанинова.

Право, точно солнечный луч ворвался в пасмурное обиталище управителя. Скуки как не бывало, уныние исчезло, мысли о грядущем прекратились. Самый маятник и тот застучал как-то веселее. Вносили вещи, подавали самовар, гремели посудой, двигали стульями. Матрена разводила плиту, начальники перешептывались и с любопытством выглядывали из передней, Николай суетился в каком-то радостном опьянении... Мартин Лукьяныч тщетно силился сохранить свое достоинство: лицо его невольно ослаблялось. Живая, как ртуть, румяная, добрая девушка ходила туда и сюда, заглядывала в книги, мимоходом прочитывала заглавия, посмотрела в конторский настель открытый шкаф, вырвала полотенце из рук Николая, вымыла и вытерла посуду и непрерывно звенела своим низким контральтовым голосом, засыпала вопросами, говорила о Воронеже, о литературных и политических новостях, о ямщике, у которого, ока-

зывается, пятый год болеет жена, о том, какие возмутительные беспорядки на железной дороге и как грубы кондуктора с народом.

Мартин Лукьяныч хотел отпустить начальников, позвал их... Но Веруся перебила его, осведомилась, что это за люди, и, узнав, в чем состояла должность каждого, тотчас же попросила старосту, чтобы завтра же повести о приезде учительницы и что она ждет ребят в школу. Потом принялась расспрашивать начальников, есть ли у них дети и каких лет, и мальчики или девочки, и тоже просила проводить в школу.

— Вы только посмотрите,— убеждала она,— скверно буду учить — назад возьмете... Только посмотрите! Вы скажете: я и молода, и глупа, и обычаев ваших не признаю... то есть сечь, например, или вообще наказывать... Но это все вздор, и лучше всего попробовать: может быть, и прекрасно пойдет дело?

Одним словом, Веруся произвела полнейший переполох и не то что понравилась,— в Гарденине насчет этого были туги,— но возбудила приятное и глубокое любопытство. А Мартину Лукьянычу она решительно нравилась. В первый же вечер он выслушал от нее несколько странных замечаний: «Послушайте, как же вам не стыдно! Тридцать лет живете здесь и до сих пор не завели школы!», «Что вы читаете? Как не совестно не выписывать журнала!», «Правда ли, я слышала, что вы очень строгий? Вот уж не поверю: строгость гнусна, когда прилагается к беззащитным!», «Надеюсь, вы не берете штрафов и вообще не тесните крестьян? Это такая мерзость!» Николай не знал, куда деваться, и делал Верусе таинственные знаки. Но, к его удивлению, Мартин Лукьяныч оставался благодушным, относился к Верусе почтительно и с особым расположением. Конечно, тут много значило, что она была «настоящая барышня», дворянка, да еще образованная, одета хотя скромно, но все-таки видно, что не чета какой-нибудь поповне или даже купчихе. Конечно, и то много значило, что она явилась так кстати, рассеяла удручающую скуку, внесла столь приятное оживление. За всем тем Мартину Лукьянычу становилось как-то непривычно хорошо и от беззаботного смеха Веруси, и от ее прямых, искренних и, если можно выразиться, столь внезапных слов, и от ее лица, пышущего какою-то красивою и веселою отважностью.

К полнейшему удовольствию Мартина Лукьяныча, Веруся согласилась столоваться у него. С тех пор в жизни управителя наступили маленькие, но опять-таки приятные реформы. Матрена хотя и ворчала, однако подчинилась Верусе. За обедом появились салфетки, скатерть без пятен, ножи и вилки без грязи, суповая чашка,— прежде Матрена приносила горячее прямо в тарелках, на которых неизменно отпечатлевались ее сальные пальцы. Пища стала вкуснее и разнообразнее. Чай тоже сделался вкуснее и перестал отдавать венниками, как прежде. И, кроме того, так приятно было пить из чистого, незахвачанного стакана, так приятно было смотреть, с какою ловкостью управлялись пальчики Веруси с чайником, с посудой, с чистым полотенцем. И теперь обеды не проходили в молчании, за чаем не сидели, уткнувшись в книгу. Веруся беспрестанно находила, о чем говорить. Она спорила с Мартином Лукьянычем, горячо возмущалась его взглядами, вмешивалась в его распоряжения, произносила иногда такие вещи, что Николай только изумлялся ее смелости и еще более изумлялся тому, как относится к этой смелости отец. Скажи Николай одно такое слово, и невозможно описать, до какой степени разгневался бы Мартин Лукьяныч. А ей он отвечал: «Молоды, Вера Фоминишна! Проживете с наше, по-нашему и делать станете!» — и, как ни в чем не бывало, просил налить еще полтарелочки «щец».

Впрочем, однажды произошла размолвка. Как-то в глухую осень — уже начались заморозки — объездчики загнали огромный однодворческий табун. По обычаю, однодворцам такие вольности не прощались, и Мартин Лукьяныч потребовал с них штраф по рублю с лошади. Толпа человек в сорок уныло слонялась по усадьбе, заглядывая на варок, где стояли на одной соломе

и под крепким караулом их лошади, по целым часам дожидаясь у конторы,— в дом их не допускали,— дружно снимая шапки и падая на колени, лишь только управитель появлялся на крыльце. Но Мартин Лукьяныч был беспощаден и все больше раздражался назойливыми мольбами и тем, что однодворцы не уходят из усадьбы.

В первый же раз, как Веруся увидела толпу, поразившую ее своим нищенским и сиротливым видом (в этих случаях и так называемые «богачи» надевали всякую рвань), и узнала, в чем дело, она стремительно вбежала в контору и, задыхаясь от негодования, вся в слезах, потребовала, чтоб Мартин Лукьяныч отпустил лошадей.

— Нельзя-с,— сухо отвечивал Мартин Лукьяныч,— этак избалуешь, хозяйничать невозможно.

— Но ведь это возмутительно, бессовестно! — кипятилась Веруся.— Они говорят: и трава-то теперь мерзлая.

— Мало ли что они говорят, анафемы. Я должен экономический интерес наблюдать. Двести двадцать шесть голов! Шутка сказать-с: вам жалованье за два года.

— Как! Чтоб я взяла эти деньги?.. С нищих?.. С вымогательством?.. Никогда, никогда! — Веруся топнула ножкой и убежала к себе в школу. Самые безумные планы роились в ее голове. Она даже поссорилась с Николаем, когда тот не согласился с одним из таких планов: пойти ночью на варок и выпустить лошадей.

На другой день однодворцы опять сгрудились у конторы и всякий раз, как только появлялся управитель, падали на колени, умоляли его отпустить лошадей. Но он оставался непреклонен и, дабы понудить однодворцев к скорейшему соглашению, велел прекратить выдачу соломы лошадям. Такая жестокая мера была в обычае.

Пришло время обедать. Веруси не было.

— Почему Вера Фоминишна не идет? — спросил Мартин Лукьяныч у Николая.

Николай покраснел и опустил глаза.

— Они сердятся...— пробормотал он,— за однодворцев... Сказали: больше не будут у нас обедать.

— А!..

И Мартин Лукьяныч с вызывающим видом приказал подавать. Однако вызывающего вида хватило ненадолго. Все казалось Мартину Лукьянычу не вкусно и не так. Раза три он прикрикнул на Матрену. Подали самовар. Николай, обжигая губы, выпил стакан и взялся за шапку.

— Ты куда? — спросил Мартин Лукьяныч, взглядывая на него исподлобья.

— Так-с... На овчарню хотел пройти.

— Дураки эти всё у крыльца?

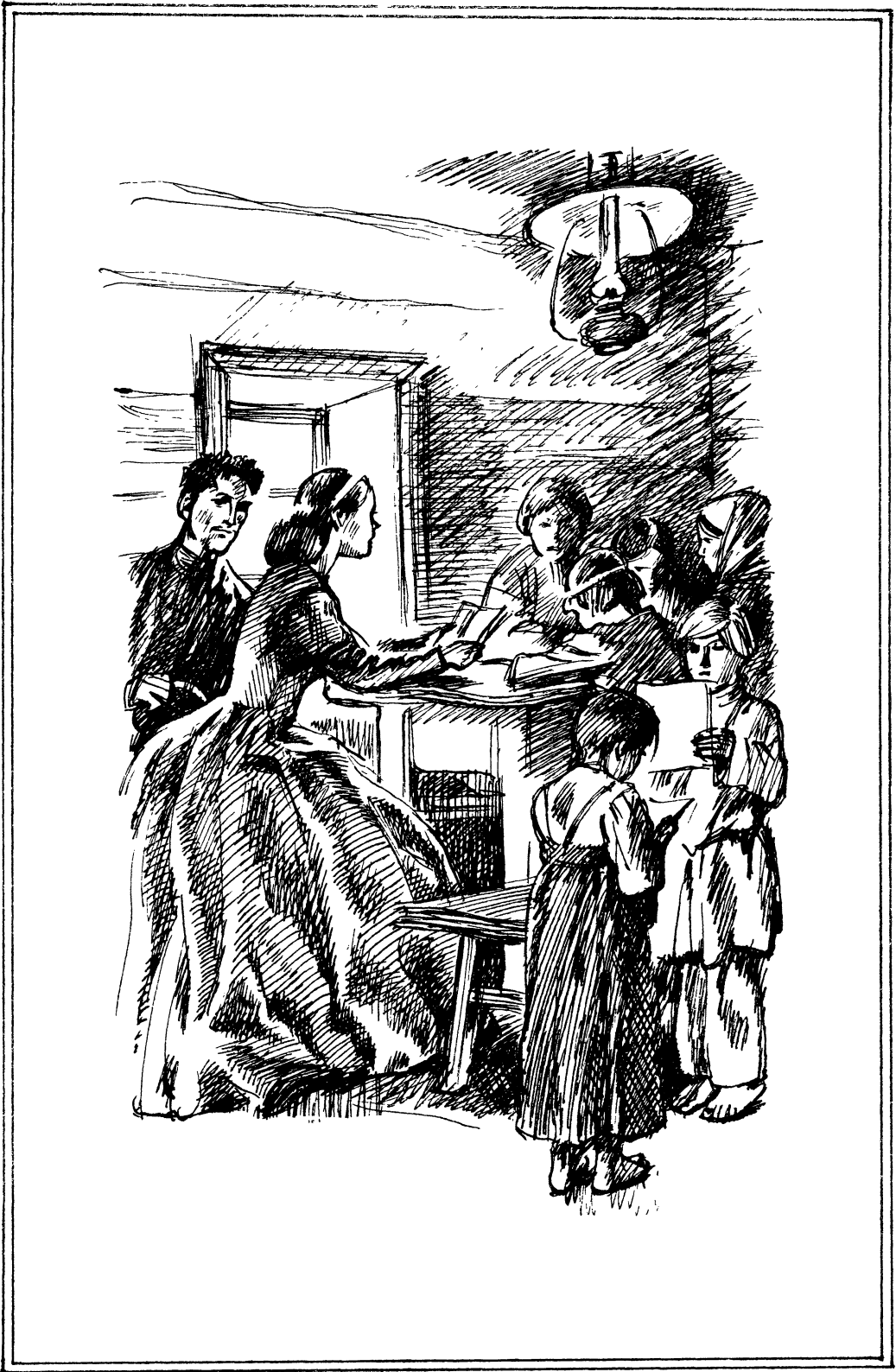
— Всё у крыльца.

Мартин Лукьяныч сердито засопел и вдруг крикнул:

— Скажи им, чтоб забрали своих одров!.. Да боже сохрани, в другой раз попадутся!.. Шкуру сдеру, с анафемов!..

Вечером, за чаем, опять звенел беззаботный смех Веруси, и опять она в чем-то обличала Мартина Лукьяныча, в то же время проворно действуя своими маленькими пальчиками, наливая ему точно так, как он любил: не слишком крепко, не слишком слабо, вровень с краями, но чтобы ни капли не проливалось на блюдечко.

Нечего и говорить, что Николаю стало не в пример легче жить с отцом. Мартин Лукьяныч в присутствии Веруси решительно избегал обращаться с ним грубо, да и наедине как-то помягчел, чаще вступал с ним в серьезную беседу, мало-помалу отвыкал видеть в нем безответного и малосмысленного под-



ростка. Тут влияние Веруси сказалося двояким образом. Во-первых, Мартин Лукьяныч невольно подчинился ее «обличениям» и взглядам; во-вторых, так, в сущности, любил сына, так в глубине-то души гордился, что тот и до книг охотник, и знакомство имеет не какое-нибудь, и в газетах отличался, что всячески желал выставить его в глазах нового человека и умницей и деловым человеком. Признаки вновь наступавших отношений выражались в мелочах, черточках, в пустяках, но в конце концов складывалась иная жизнь. Так, Веруся, возмущенная тем, что Николай курил украдкой, добилась разрешения курить явно. Кажется, ничтожная реформа, а между тем вот именно такие пустяковые новшества снимали путы с Николая, побуждали его быть более смелым, более искренним, незаметно развивали его характер.

Первыми явились в школу прошлогодние ученики Николая: Павлик Гомозков и Еремка Шашлов. Затем привели своих ребят еще пять-шесть домохозяев да из двора ключник Дмитрий. Веруся и Николай были в отчаянии: школяров набиралось не более десятка. Зато скука и атмосфера уныния, пространенная на ту пору в усадьбе, загнала в школу столько зрителей, что негде было повернуться. Прошла неделя. Ребятишки распустили слух, что в школе весело и занятно, что «учительша» ласкова, а чего не смыслит, так ей управителей сын подсказывает. Ученики стали прибывать. Во время классов взрослые перестали ходить, но когда, несколько осмотревшись, Веруся затеяла по вечерам читать вслух, народу набиралось много.

Но вдруг произошли такие потрясающие события, что и Веруся, и школа, и чтения надолго были оставлены без внимания.

Николай боялся, что отец будет распечатывать его письма, и вел свою переписку окольным путем: прежде на Рукодеева, а теперь на Верусю. И вот как-то в конце февраля, когда Николай по обыкновению пришел за Верусей обедать, она подала ему только что привезенное со станции письмо, с надписью: «для N. N.». Рука была Ефремова. Николай распечатал, прочитал первые строки и так и ахнул.

— Что такое? — спросила Веруся, обеспокоенная его видом.

— Ума не приложу... Лизавета Константиновна ушла из дому и повенчалась с Ефремом Капитонычем!

Веруся в восторге захлопала в ладоши.

— Какая прелесть! — закричала она. — Как я люблю эту милую Лизавету Константиновну!

Но Николай не находил в себе радостных чувств.

— М-да... — пробормотал он, — об этом придется поломать голову... Что теперь разговоров подымется! — и добавил: — Смотрите, что пишет: «...Надеюсь, дружище, вы отпишете мне, как поживает мой старик и все ли он в прежнем настроении. Мучительно жаль, но придумываю, придумываю и не обретаю способов смягчить его, сделать так, чтобы он по-человечески отнесся ко мне, не могу найти общую с ним почву. Ах, что за истязание, если бы вы знали, это отсутствие одинаковой почвы! Решительно не умею вообразить, как он примет мою женитьбу на Лизавете Константиновне. Прибавил ли я этим горечи в его жизнь или наоборот? Судя по тому, что в Петербурге решено скрывать эту новость, яко государственную тайну, думаю, она не скоро дойдет до вас. Ввиду этого вот моя убедительная просьба: передайте, дружище, старику, и как он поступит, что скажет, немедля отпишите мне. Мы с женою на днях выезжаем из Питера: приятели устроили нам местешко в С*** губернии. Сообразно с таким маршрутом и направьте ваше уведомление...» — Дальше следовал адрес. — М-да... придется поломать голову, — в раздумье повторил Николай.

— А что?

— Помилуйте-с!.. Легкое ли дело подступиться к Капитону Аверьянычу! Веруся хотела было сказать: «Вот вздор! Хотите, я передам?» — но по-

думала и промолчала: Капитон Аверьяныч был единственным человеком в Гарденине, перед которым пасовала ее смелость; угрюмый его вид решительно подавлял ее.

Пока молодые люди придумывали, как лучше исполнить поручение Ефрема, и с такою выразительностью хранили тайну, что даже Мартин Лукьяныч начал подозрительно на них поглядывать, в усадьбе опять зазвенел ямской колокольчик, и в контору ввалился откормленный среднего роста человек в елотке, с видом отставного военного.

— Вы будете управитель? — фамильярно спросил он, снимая елотку и обнаруживая под нею коротенький кавалерийский полушубок, крытый синим сукном.

— Я-с... Что угодно?

— А вот письмецо к вам... От его высокородия Юрия Константиныча.— Незнакомец подал конверт и развязно уселся.

Мартин Лукьяныч растерянно повертел конверт,— буквы прыгали и сливались в его глазах.

Письмо было следующего содержания:

«Рахманный! Уполномоченный матерью, приказываю тебе немедленно по получении сего уволить конюшего Капитона с истребованием от него надлежащей отчетности. В должность заведывающего конским заводом имеешь ввести подателя сего, отставного гусарского вахмистра Григория Евлампиева. Юрий Гарденин».

Внизу стояло: «Ежели Капитон вздумает поселиться в нашей деревне или вообще слишком близко к Анненскому, найти средство в том воспрепятствовать. Впрочем, можешь подарить ему лошадь, однако не дороже 150 рублей, корову и лесу на избу».

Мартин Лукьяныч прочитал раз, прочитал другой... Грубый тон письма, неслыханное распоряжение ошеломили его.

— Как же это... — бормотал он,— такого слугу... известного на всю губернию знатока... И за что?.. За что?

Бывший швейцар снисходительно усмехнулся.

— Надо понимать так, что дело господское,— сказал он, закидывая нога за ногу.

Управителя взорвало.

— Знаю, что господское!.. Нечего указывать — возрос на барской службе!.. Но почему? Чем заслужил? Мне сама генеральша так не писала!.. Тридцать лет живу... От покойника генерала не видал такой обиды!.. — кричал он, сердито потрясая письмом, и, обратившись к Николаю, давно следившему за этою сценою, сказал: — Прочти, каково со старыми слугами обращаются.

Григорий Евлампич сразу утратил развязность, вытянулся, сделал почти-тельное лицо. Гнев управителя напомнил ему, что все-таки начальство существует и субординацию забывать не следует.

Николай, прочитав письмо, страшно оскорбился за отца и возмутился «бесчеловечным» распоряжением.

— Я не понимаю, папаша, чего вы терпите! — воскликнул он дрожащим от негодования голосом.— И какая низость: как будто Лизавета Константиновна не вольна выходить замуж за кого хочет!

— Какая Лизавета Константиновна? Что ты городишь?

— Понятно, самая гнусная месть! Лизавета Константиновна обвенчалась с Ефремом Капитонычем...

Мартин Лукьяныч побагровел и тупо переводил глаза с Николая на Григория Евлампича.

— Точно так-с,— подтвердил Григорий Евлампич,— хотя же и велено соблюдать секрет, но в рассуждении того, что им известно (он кивнул на Ни-

колая), их превосходительство в великой горести. Стало быть, эфот самый студент воровским манером обвенчались.

— Все не воровским манером!..— горячо возразил Николай.

Вдруг Мартин Лукьяныч опомнился.

— Молчать! — крикнул он на сына.— Что такое? Почему? Светопреставление, анафемы, затеяли!.. Вон! Я еще допрошу, брат, откуда у тебя эти новости... А! На что осмелился... куда проник... это из крепостного-то состояния!.. А!.. Конюший Капитон Гардениным в сваты попал... Что ж такое?.. До чего дожили? — и, круто повернувшись к Григорию Евлампичу, сказал: — Хамье-то столичное, холопы-то чего глядели?

— Осмелюсь доложить, всего не доглядишь. В дом был принят, Рафаилу Константинычу уроки давал... Потом что-то вышло,— Юрий Константиныч прямо крикнули на него... по-гусарски! А замест того, глядим — Лизавета Константиновна вышла пешечком и скрылась... Опосля слышим — обвенчались... в адмиралтейской церкви. Помилуйте!

— Гм... Ну, завтра вступишь в должность. (Мартин Лукьяныч понял, что новому конюшему можно говорить и «ты».) Жалко Капитона Аверьяныча, да, видно, не под стать с суконным рылом в калачный ряд лезть... Ах, дети, дети!

Наутро Мартин Лукьяныч призвал конюшего и, без свидетелей, в присутствии одного только сына, прочитал ему господский приказ. Капитон Аверьяныч хотел было усмехнуться, губы его презрительно сморщились, но усмешки не вышло, весь он как-то съежился. Его огромная согнутая фигура приняла странный и жалкий вид беспомощности. Николай бросился за водой.

— Батюшка! Капитон Аверьяныч!..— возбужденно заговорил управитель.— Плюньте на них, анафемов!.. Испокон века помыкали нашим братом... Нонче — вас, а завтра, глядишь, и меня пинком поддадут... Плюньте, батюшка!

— Но за что? За что? — пробормотал Капитон Аверьяныч, отстранив Николая с водой, и вдруг всхлипнул.

Мартин Лукьяныч сердито засопел, крикнул, закурил было папиросу, отбросил.

— Эх,— крикнул он,— мало пороли!.. Ефрема мало пороли!.. До чего дожили!.. Родитель сном-духом не ведает, а сынок-то чередит... А он-то чередит, анафема, на погубу отцу!.. Ведь что он натворил-то!.. Страшно вымолвить, что натворил... Сманил Лизавету Константиновну да, не говоря дурного слова, повенчался с ними!..

Капитон Аверьяныч медленно начал приподыматься: каждая черточка затрепетала в его осунувшемся лице.

— Когда? Где? Кто осмелился повенчать? — проговорил он, задыхаясь.

— Там же-с... в столице. Нашли этакого отчаянного попа и вот-с... Сами посудите, Капитон Аверьяныч, какой поступок... Что же остается делать господам?.. Я вас не виню... но сами посудите.

Совсем неожиданно Капитон Аверьяныч сухо и злобно рассмеялся.

— Ловко! — произнес он.— Ай да сынок!.. Исполать... Залетела ворона в высокие хоромы, а отца-то в шею!.. В шею!..— и деловым тоном добавил: — Принимайте завод! Что же касательно отчетности, я не воровал. Так и доложите, не воровал, мол.

— Само собой! — заторопился Мартин Лукьяныч, избегая смотреть ему в лицо.— Насчет коровы или там лошади, Капитон Аверьяныч... опять же лесу...

— Не надо,— отрезал конюший,— мне ихнего ничего не надо. Доволен. Имею золотые часы от генерала... за Кролика... Ежели угодно, пусть берут. Мне ничего не надо.

— С какой стати? Вам пожалованы и вдруг отдавать... С какой стати, Капитон Аверьяныч?

— Пусть берут! — визгливо крикнул Капитон Аверьяныч и стремительно пошел из конторы.

Николай бросился за ним. Старик шагал широко, твердо, с неопишным выражением какого-то недоступного, сатанински-гордого величия. Николай догнал его, тронул за рукав.

— Капитон Аверьяныч!.. Капитон Аверьяныч!.. Я получил письмо от Ефрема Капитоныча, он ужасно мучается, что вы сердитесь... И ведь это такой прекрасный брак, Капитон Аверьяныч!

Тот, не останавливаясь, повернул голову, скопил глаза на Николая и не проговорил, а как-то прошипел сквозь зубы:

— Проклинаю!.. Слышишь? Так и напиши, что проклинаю!

У Николая и руки опустились.

До позднего вечера совершался осмотр лошадей. Напрасно Мартин Лукьяныч, желая всячески облегчить Капитона Аверьяныча, говорил, что это лишнее. Капитон Аверьяныч настоял на своем. Весь конный двор был в тревоге. Конюха бегали по коридорам, гремели засовами, примачивали гривы, надевали недоуздки, шепотом спрашивали друг у друга, кого выводить, куда девалось зеленое ведро, где наборная уздечка, но решительно избегали говорить о том, что произошло. Только одинаково сосредоточенное и серьезное выражение на лицах, одинаковая печать заботы, недоумения, растерянности показывали, что у всех одно и то же на уме, все в равной степени потрясены неожиданным событием. Капитон Аверьяныч, управитель и новый конюший стояли посреди двора. Выводка давно уже утомила Мартина Лукьяныча. Григорий Евлампых сначала делал вид знатока, притворялся удивительно проникательным, заходил сзади и спереди лошадей, поглаживал и ощупывал их, но все это вмиг слетело, когда он вздумал посмотреть в зубы знаменитому Витязю.

— Эй!.. Не ярмарка! — грубо осадил его Капитон Аверьяныч.— Лета в книге записаны... В заводах по зубам не считают.

Конюх улыбнулся. Управитель насмешливо помычал. Бывший швейцар, не помня себя от стыда, отошел к сторонке и по старой привычке вытянул руки по швам. Сердитое гарденинское начальство положительно напоминало ему полузабытые порядки эскадрона.

А выводка все продолжалась. Каракровые, темно-гнедые, темно-серые, вороньи рысаки один за другим ставились в позицию, блестели безукоризненным атласом своей кожи, отчетливо выделялись благородными ладами, всхрапывали, косили огненным глазом, с любопытством озирались и исчезали, уступая место: производители — ставочным, ставочные — трехлеткам, жеребцы — кобылицам, старые — молодым. Когда вывели более осьмидесяти одиночек, стали выводить маток с сосунками; медленно продефилировали табуны отъемышей, стригунов, холостых, жеребых... Солнце закатилось; румяный отблеск на железных крышах потухал; ручейки и капли сковало морозом. Наступили светлые, прозрачные, бесшумные сумерки.

— Ну, кажется, все? — осведомился Мартин Лукьяныч, с облегчением вздыхая.— Можно идти?

Капитон Аверьяныч не ответил. Лицо его приняло выражение тихой грусти. Около стояла толпа наиболее почетных и заслуженных конюхов, с участием смотревших на старого конюшего.

— Федотик... — произнес Капитон Аверьяныч упавшим голосом,— Федотик... выведи, братец, Любезного.

Федотка с радостною готовностью устремился в конюшню. В толпе послышались вздохи. Скоро раздался мерный звук подков, и из темных сеней вылетел красавец Любезный. Казалось, и лошадь и Федотка одинаково понимали, кто с таким чувством смотрит на них прикованными, влажными от за-

таенных слез глазами. Федотка, длинно распустив поводя, сначала сделал полукруг, дал Любезному свободу стать в рысь, расправить могучую грудь, широко раздуть ноздри. Потом перехватил рукою под уздцы и, сдерживая разгоряченного жеребца, упираясь ногами, с нахмуренным от наслаждения лицом приговаривая «ну... ну...», поставил его так, что изумительная красота точно застыла перед зрителями. Капитон Аверьяныч подошел, долго смотрел, словно запоминая в отдельности все стати лошади, погладил лебединую шею... Любезный ласково заржал. «Эхма!.. Скот, а тоже понимает!..» — прошептали в толпе.

— Ну, что ж... — начал было Капитон Аверьяныч, но запнулся, усиливаясь сдержать трясущуюся нижнюю челюсть, махнул рукою и, ни на кого не обращая внимания, торопливо пошел со двора.

Мартин Лукьяныч был и растроган и страшно злился. «Ах, анафемы!.. Ах, болваньё!» — ворчал он неизвестно по чьему адресу. В тот вечер даже Веруся примолкла, не решаясь нарушать его угрюмое настроение; Николай держался тише воды ниже травы.

Когда ушли начальники, а вслед за ними собралась к себе и Веруся, Мартин Лукьяныч сказал Николаю:

— Проводишь Веру Фоминишну, зайди-ка к Капитону Аверьянычу... Тащи его сюда... Чтó он там словно кикимора какая сидит... Видно, ничего не высидишь.

Николай давно не был у конюшего, и после всего, что произошло сегодня, ему как-то неприятно и жутко было идти к нему. С робостью отворил он дверь. В избе было темно и тихо; только маятник однообразно отбивал такт, да серыми четырехугольниками обозначались окна. «Капитон Аверьяныч!» — позвал Николай. Ответа не последовало. У Николая тоскливо стеснилось в груди. Он чиркнул спичкой, оглянулся — в избе никого не было. Спичка быстро сгорела. Тогда он зажег еще и, думая, что Капитон Аверьяныч лежит на кровати, просунул за перегородку... Капитон Аверьяныч не лежал: с бесильно вытянутыми руками, с странно и грузно свалившеюся на грудь головою, с согнутыми ногами, ступни которых упирались в пол, он висел на скрученном полотенце, и страшен был вид его мертвого лица...

Николай пронзительно вскрикнул и бросился из избы.

Мартин Лукьяныч сидел у стола и, барабаня пальцами, обдумывал, что бы такое утешительное сказать Капитону Аверьянычу... Вдруг в сенях хлопнула дверь, раздались торопливые шаги.

— Что такое? — вскрикнул Мартин Лукьяныч, вскакивая навстречу белому, как мел, Николаю.

— Капитон Аверьяныч... Капитон Аверьяныч... — пробормотал тот трясущимися губами и вдруг как подкошенный опустился на стул и разрыдался. — Повесился! — взвизгнул он.



Что натворила самовольная смерть.— Одинокие.— Об Иване Федотыче и о любви.— «Угадайте!» — Объяснение.— Кляузы.— Брат с сестрою.— Интимные прожекты.— Чтение своих и чужих писем.— Отъезд Николая.— Внезапная новость.

Март начался, как всегда в тех местах, теплый, ясный, солнечный, с легкими морозцами по ночам. Показались проталинки, с крыш капало, по дорогам появились зажоры, там и сям зазвенели ручейки. Ждали, вот-вот тронутся

лога, лед на пруде взбух и посинел, дали выделялись с особенною отчетливостью, леса покраснели. В роще завозились грачи, воробьи весело чирикали по застрехам, пошли слухи, что прилетели жаворонки.

Как вдруг зима точно спохватилась. В день сорока мучеников, утром, похоронили искромсанное уездным лекарем тело Капитона Аверьяныча, а с вечера подул суровый «московский» ветер, заклубились тучи, повалила метель. В одни сутки намело сугробы, сковало зажоры, занесло дороги. Леса переполнились унылым шумом; разыгралась такая погода, хоть бы в филипповки, закутила на целые двенадцать дней.

И никогда такой страх не охватывал Гарденина. Все связывали внезапную перемену погоды с нехорошей кончиной Капитона Аверьяныча. Нашлись очевидцы самых странных вещей. Кому-то привиделся конюший в коридоре рысистого отделения, кто-то «своими глазами» видел, будто мертвец ходил в манеже, кузнец Ермил встретил его на перекрестке, в деннике Любезного в самую полночь слышали тяжкие вздохи. На дежурство отправлялись по два, по три человека. Даже старики испытывали приступы лихорадки, ночуя в конюшнях. Ночью ни один смельчак не решался ходить в одиночку. Страшно гремели крыши; протяжный гул, треск и стоны доносились из сада и рощи. В избах было не менее жутко. В окна точно кто царапал когтями, из трубы слышалось завыванье, временами плакал пронзительный, визгливый, надрывающий голос.

Вообще время наступило такое, что Николай и Веруся чувствовали себя заброшенными в какой-то дремучий лес. Отовсюду поднялась такая непролазная чаща нелепого, баснословного, невероятного, что пропадала решимость продирается сквозь нее, опускались руки. На Верусины вечера совсем перестали ходить; ученики и те сделались невнимательны, впадали в какую-то странную одеревенелую рассеянность, таинственно перешептывались между собою, замолкая каждый раз, как только подходила к ним Веруся.

— Знаете что, Вера Фоминишна,— сказал однажды Николай,— не будь вас, сбегал бы я отсюда куда глаза глядят!

— Да... я должна признаться...— медленно выговорила Веруся,— страшно делается по временам... Ну, хорошо, вы здесь... Вот читаем, говорим... Но без вас?.. И так странно,— я положительно сознавала себя счастливой вот до этого ужаса... Все казалось так легко и так просто... Ну, суеверия там, первобытные понятия и прочее. Так ведь легко казалось все это опровергнуть, разъяснить, доказать... И вдруг совсем, совсем нелегко!.. Павлик, Павлик! Ведь это такая прелесть... но и он замкнулся, и у него, когда я заговорила, такое сделалось упрямое, такое неискреннее лицо... Ах, тоска!.. Послушайте, ужели вот у нас так-таки и нет ничего с ними общего? То есть я не говорю о пустяках — о том, что они понимают, например, пользу грамотности почти одинаково со мной,— нет, а в важном? В основах-то? Ужели ничего нет общего?

— Вы насчет нелепостей и тому подобное?

— И об этом и вообще. Я насчет того говорю, что сидим мы точно Робинзоны на необитаемом острове, и никому нет дела до наших интересов, никто не разделяет наших убеждений,— все слились в одно и отстранились от нас... Нет общей почвы, как пишет Ефрем Капитоныч.

— Обойдемся!.. Очнутся, и опять явится понимание.

— Ах, я знаю, но вот в эдакие-то минуты чувствуешь себя каким-то ненужным придатком! Скажите, встречали вы из них, ну, хоть одного, с которым можно было бы обо всем, обо всем говорить и он бы понимал, одинаково с вами рассуждал бы?

— Как вам сказать?.. Ежели взять до известной степени, встречал такого. Вот чья была эта изба, столяр один... Собственно говоря, тоже пропасть мистического, однако же редкий, удивительный человек! Я вам вот в чем

должен признаться... Коли я теперь таков, каким вы меня видите, то есть достаточно понимаю, где правда и кого по справедливости нужно сожалеть,— я этим весьма обязан столяру. Ну, конечно, и Косьма Васильич,— я вам рассказывал о нем,— и Илья Финогеныч: сами знаете, сколь горячи его письма,— и Ефрем Капитоныч отчасти, и вас я никогда не забуду... Все так. Но первое-то зерно — столяр.

— Где же он?

— А тут, верст за сорок. Признаться, я потерял его из виду. Из того села у нас больше не работают, спросить не у кого, так и потерял.

— Отчего же? Разве нельзя съездить, узнать?

Николай покраснел до ушей.

— Как бы вам разъяснить? — проговорил он в замешательстве.— Жена у него была... Ну, и вообще вышла подлость с моей стороны... Мне трудно рассказывать, Вера Фоминишна.

Веруся, в свою очередь, вспыхнула и внезапно потемневшими глазами взглянула на Николая.

— Расскажите,— повелительно произнесла она.

Николай долго не решался, хотя в то же время ужасно желал открыться именно Верусе. Наконец осмелился и с мучительными усилиями начал и договорил до конца. Веруся слушала с опущенными глазами. Какая-то жилка едва заметно трепетала около ее губ.

— Вот и все-с,— заключил Николай, робко взглядывая на девушку.

— Вы ее любили? — спросила она после долгого молчания.

— Не знаю... — прошептал Николай.— Был эдакий подлый порыв, но любил ли — не знаю.

— Я слышала, у вас еще происходил роман... с женою Алексея Козлихина... Правда?

— Вот уж никакого!.. Она мне давно нравилась, но романа не произошло. Ежели говорить по совести, я даже ее обвиняю.

— За что же?

— Как же-с... сама всячески кокетничала, а вдруг узнаю — у ней интрига с Алешкой!

— С Алексеем,— с гримасой поправила Веруся.

— Ну, да, вот с Алексеем-то этим... Я в ней сразу разочаровался.

— Вы говорите, она нравилась вам... Вы ее любили?

— То есть как сказать... Ей-богу, не знаю!

— Ну, вообще любили вы кого-нибудь?.. Вот так, как в романах? У Тургенева, например?

Николай взглянул на Верусю; у него так и застучало в груди: лицо ее являло вид какого-то раздражительного возбуждения, на губах бродила неловкая, насильственная улыбка.

— Не знаю-с.

Веруся звонко расхохоталась.

— А я так люблю! — крикнула она с вызывающим видом.

— Кого же?

— Угадуйте! — и вдруг встала и сделалась серьезна.— Ну, пора, однако. Мне хочется спать. Идите, затворю за вами.

И когда Николай, совершенно ошалелый от каких-то блаженных предчувствий, но вместе с тем смущенный, растерянный и робкий более чем когда-нибудь, вышел на улицу, Веруся еще раз крикнула ему вдогонку:

— Угадайте же!

Однако между ними больше не возобновлялось такого разговора. Напротив, с этого вечера они как-то отделились друг от друга, стеснялись оставаться наедине, говорили только о делах да гораздо реже, чем прежде, о книгах. Тон дала Веруся: она все точно сердилась. Николай же не мог не подчиниться,

хотя в душе мучился и недоумевал, а в конце концов, в свою очередь, начал злиться на Верусю, намеренно стал показывать необыкновенную холодность.

Через одну гимназическую подругу Веруся нашла себе на лето урок, где-то за Воронежем. Мартин Лукьяныч благодушно отговаривал ее:

— Ну, охота вам, Вера Фоминишна,— убеждал он,— жили бы себе в Гарденине да отдыхали. Дались вам эти анафемы-уроки! Все равно жалованье будете получать.

Но у Веруси были особые планы: на зиму она мечтала выписать журнал, купить глобус для школы, да, кроме того, деньги постоянно требовались в сношениях с деревенскими людьми.

Николай, обескураженный ее сборами, решил, во что бы то ни стало переговорить с ней и объяснить, в чем же, наконец, причина их натянутых отношений. До самого отъезда это не удавалось.

Подали тарантас к крыльцу.

— Знаете что, Вера Фоминишна,— с дерзостью отчаяния произнес Николай,— я... я провожу вас до станции.

Веруся молчаливым наклоном головы изъявила согласие. Дорогой говорили о погоде, о хлебах, несколько пострадавших от засухи, о том, что в «Отечественных записках» недавно появилась замечательная статья и нужно бы достать эту книжку... Вдруг Николай осмелился.

— А я ведь угадал! — воскликнул он, натянуто улыбаясь.— Помните, вы задали мне задачу, Вера Фоминишна?.. Я угадал.

Веруся притворилась, что припоминает, потом сердитая морщинка показалась на ее лбу.

— Ну, и поздравляю вас,— сухо ответила она.

Николай опустил голову. Долго ехали молча, только Захар бормотал с лошадыми и почмокивал, шлепая кнутиком.

— Срам! — неожиданно вскрикнула Веруся, смотря куда-то в сторону и нервически кусая губы.— Слов нет, какой срам!.. Думать о пошлостях, когда столько работы... когда ничего еще не сделано... и вдобавок, когда только что наступает серьезный труд!.. Презирать кисейных барышень и вдруг самой, самой... О, какой срам! — и, с живостью повернувшись к Николаю: — Пожалуйста, забудьте! Пожалуйста, ни слова об этом... если хотите, чтоб я вас уважала.

Гарденино понемногу успокоилось, хотя, ошеломленное столь жестоко, и не входило в свою прежнюю колею. Особенно не ладилось по конному заводу. Григорий Евлампич мало смыслил в рысистом деле, но, как человек себе на уме, ломать старинные порядки избегал; быть строгим, подобно Капитону Аверьянычу, он и подавно боялся. Тем не менее трое коренных гарденинских людей потребовали увольнения: наездник Мин Власов, кучер Василий и маточник Терентий Иванович. Всех троих уже давно сманивали воронежские купцы.

— Что за причина? — спрашивал управитель.

— Причины, Мартин Лукьяныч, нисколько нету,— степенно и почтительно докладывали старые дворовые,— а уж так... неспособно-с.

— Но почему?

— Всячески неспособно-с. Новые порядки, изволите ли видеть... К примеру, Григорий Евлампов... то он швицаром, а то в конюшие... Несообразие-с.

— Да вам-то что? Стало быть, барская воля конюшим его, анафему, поставить.

— Известно, барская. Мы это завсегда готовы понимать-с. Ну, только, воля ваша, пожалуйста расчет-с.

Мартин Лукьяныч для приличия ругал их, стыдил, усовещевал, но в душе совершенно соглашался с ними. Он глубоко презирал Григория Евлампича

и был убежден, что рано ли, поздно гарденинский завод утратит всю свою славу с таким конюшим.

Григорий Евлампич понимал, что не угоден управителю. Думал он сначала понравиться тем, чем привык нравиться начальству в эскадроне и господам, когда был швейцаром. Изъявлял отменную почтительность, вытягивался в струнку, поддакивал, был покладлив, сыпал льстивые слова. Ничто не помогало. Тогда Григорий Евлампич серьезно встревожился за свое благополучие и начал составлять кляузы. Не проходило недели, чтобы Юрий Константиныч не получал из Гарденина серого, самодельного пакетца, а в пакетце такие извещения:

№ 1. «Имею честь рабски доложить вашему высокородию, как будучи вашего высокородия по гроб верный слуга и как разрывается душа при беспорядках в здешней вотчине, что управитель Рахманный неизвестно зачем ездил на базар и, воротимшись столько пьяный, даже икал, и бымши вытащен под мышки, все видели и смеялись. Тройка уже носила животами и вся страдала по случаю загона».

№ 2. «Управителев сын Николай без перерыва скитается в школу в той придирке, будто помогает учительнице. Но это одни шашни, и даже жаль, куда расточаются господские деньги, а между тем отец собственному сыну беспрепятственно выдает жалованье».

№ 3. «Забыл своевременно рапортовать. Оный же управителев сын имеет злокачественную переписку с Ефремом Капитоновым и распустил по вотчине такие дерзкие слухи, что вы изволили приказывать как секрет».

№ 4. «И еще забыл доложить, как получимши ваше распоряжение и имея долг службы наблюдать субординацию перед господами, управитель неоднократно провозглашал по направлению вашего высокородия отчаянные слова. И еще: упокойник Капитон, самовольно задушимшись, оставил часы, и при оных золотых часах с золотой цепочкой сыскалась записка в рассуждении того, что часы вручить господам; а управитель распорядился, что он-де в исступлении ума позабыл, и продал часы купцу Мягкову за низкую цену, будто на помин души. Но, между прочим, часы стоили верных двести целковых, и сколь видна придирка, ежели все известно, сколь строго воспрещено умолять за удавленников и, притом, упокойниково отродье нанес такой ущерб».

№ 5. «Прискорбно глядеть, как расточается барское добро. Посеяна яровая пшеница, и из оной пшеницы не возшло две десятины от управителева упущения. Потому семена подмокши и крыша дала течь, но управителю дела нет и только преследует верных господских слуг, которые слуги и от вашего высокородия обиды не видали. И мужикам поблажка в смысле потрав и тому подобное, а земля сдается на три рубля серебром дешевле людей, и опять же покос сдается почти даром. Удивительно видеть огромный ущерб, жестокосердие и поблажку. Но все молчат».

№ 6. «Учительница вошла в союз с управителевым сыном и нет, чтоб чувствовать и благодарить, как живут на всем господском и без труда, но всячески проповедают разврат по мужицкому направлению. Именно: мужа жене, а отцы детей чтоб не били; старосту учсть и сместить; на священника отца Александра, будто дерет с живого и мертвого, жаловаться по начальству; шапки перед старшими не ломать; и еще читали по зловредной книжке мораль на господ, будто один мужик двух генералов прокормил... Хотя же генералы, как я слышан, выставлены в штатском виде, однако и тому подобные ихние злодейства достаточно известны по газетам и из того что в бытность мою в Петербурге доводилось слышать».

№ 7. «Управитель продал ставку купцу Лычеву и говорит 450 р. за голову. Но я спица в ихнем глазу, и при том, как торговались, — не был, и истинно душа болит в рассуждении того, что управитель продешевил. А почему — всем известно, хотя же и молчат».

№ 8. «Управителей сын загнал лошадь, пала на передние ноги. Но между прочим утверждает, будто давно попорчена».

№ 9. «Учительница гоняла тройку барских лошадей на станцию».

№ 10. «Управитель был в гостях, без внимания, что начинается покос».

№ 11. «Николай Рахманный сказал: я-де кляузников не боюсь и господа-де нам не страшны. И склонился в мою сторону, потому всем известно, каков я есть верный слуга и им вострый нож».

№ 12. «По случаю управительской сестры зарезан первосортный экономический теленок. Приехавши на паре. Лошади поставлены без зазрения совести на барский овес, и кучер имеет харч на застольной. Истинно в прискорбии замечаю господские убытки!»

Наступил июнь. Мартин Лукьяныч с сестрой сидели вдвоем у окна и медленно, с расстановками, беспрестанно вытирая изобильный пот, пили чай. В окно виднелись поля,— пшеница колосилась и переливала рябью, белела благоухающая гречиха; в тумане знойных испарений едва сквозили стога, перелески, синела степь.

— Налить, батюшка-братец?

— Видно, наливай, сестра Анна! Охо-хо, какая теплынь... Или уж с телятины гонит на пойло?.. Как яровые-то у тебя?

Анна Лукьяновна Недобежкина была весьма дородная женщина, с седыми буклями, с тройным подбородком и лоснящимися щеками, с меланхолическою улыбкой.

— Яровые? Вот уж не знаю, батюшка-братец... Мужик Лука у меня верховодит. Все мужик Лука.

— А сама-то? Неужто по-прежнему романы глотаешь?

— Уж и глотаю! — Анна Лукьяновна засмеялась и вздохнула.— Слепа становлюсь, вот горе! Бывалоче, Николушка читывал, а теперь вожусь, вожусь с очками... Да и что!.. Какие пошли книжки, батюшка-братец! Какие романы. Намедни сосед привез, очень, говорит, увлекательно. Гляжу, и что же? Все сочинитель от себя, все от себя сочиняет! Штиль самый неавантажный, разговорных сцен очень мало. И какие персонажи!.. Я после уж говорю соседу: «Ну, батюшка, удружил! Ужли же на старости лет прикажешь мне знать, чем от лакея воняет?» А заглавие придумал самое обманное: «Мертвые души»... Подумаешь, невесть какие страсти, ан не то что страстей, но и любовной интриги не представлено. Позволяют же морочить публику! Прежде бывало обозначено: «Удольфские таинства», так и на самом деле: читаешь — дух захватывает. Или «Бедная Лиза»... И подлинно бедная через измену вероломно-го Эраста... А нонче все пошло навыворот, все на обман!

— Н-да... Вот Николай, должно, в тебя уродился — не отдерешь от чтения... — Лицо Мартина Лукьяныча выразило заботу.— Ах, дети, дети! — сказал он со вздохом.

Анна Лукьяновна задумалась, пожевала нерешительно губами, хотела вымолвить что-то затаенное по поводу Николая, но предпочла сделать предисловие:

— А я гляжу на вас, батюшка-братец, чтой-то сколь вы поседели, сколь изменились в лице...

— Жить невесело! Жить скучно, сестра Анна! — отрывисто и сердито перебил Мартин Лукьяныч.— Та в монастырь, тот в петлю, дворянки за вчерашних холопов выходят, кляузы, неприятности... Что такое? Почему? По-неволе поседешь.

— Вот бы Николушку-то и женить!

— Эге! Аль невесту нашла?

— Сыщется,— уклончиво ответила Анна Лукьяновна.

— Богатая?

— И-и, батюшка-братец, в деньгах ли счастье?.. Приятная, нежная, субтильная... А что до денег — верный Алексис и в хижине обрел блаженство.

Мартин Лукьяныч окончательно рассердился.

— Ты дура, сестра Анна! Хуже не назову — непристойно твоим сединам, но всегда повторю, что дура! Хорошо тебе говорить: оставил муж землишку, все свое, сиди да почитывай. А у меня что за душой? Есть, пожалуй, две тысчонки, да надолго ли их хватит по нынешним анафемским временам?

Старушка даже рассмеялась.

— Ну, братец, чего наговорили! У вас такое место — помещики завидуют... Шутка сказать — гарденинский управитель!

— Место? А ты не ждешь — ночью завтра в три шея меня погонят? — Мартин Лукьяныч вскочил, раздражительно выдвинул ящик, выкинул оттуда пачку писем с шифром «Ю», начал трясушимися руками разбирать их и искать нужные строки. — Смотри: «До сведения моего дошло... гм... гм... что ты публично замечен в нетрезвом виде»... Ловко? Или еще: «До сведения моего довели, что сын твой загнал верховую лошадь»... Так помещики завидуют?.. «Удивляюсь твоему нерадению»... «Принужден требовать строгого отчета»... «Строжайше ставлю тебе на вид»...

Мартин Лукьяныч побагровел и отбросил письма.

— Сорок лет служу! — взвизгнул он, ударяя себя в грудь. — Жизнь положил на анафемов! И чего добился? Кляузники в честь попали, шептуны! И кто же выговаривает? Молокосос! Мальчишке волю дали!

— Ах, ужаси какие!... Ах, какие ужаси! — повторяла Анна Лукьяновна, решительно не ожидавшая ничего подобного. — Что ж генеральша-то, батюшка-братец? Такая деликатная особа... так были милостивы...

— Милостивы они, анафемы! Вот вчера перед твоим приездом письмо получил... Доняли меня кляузы, я и докладываю: так и так, мол, ваше превосходительство: не понимаю, за что подвержен гневу... Слушай, какой ответ. — Мартин Лукьяныч достал еще письмо и с ироническим видом начал читать: «Почтенный Лукьяныч! («Хоть вежливо!») Я тебе очень благодарна за усердие и за твои труды... Но молодое вино горячится, Лукьяныч, и, надеюсь, ты, как испытанный слуга, дашь ему перебродить... («Это насчет Юрия Константиныча!») Я слышала, тебе известно наше несчастье. Прибежище мое есть господь. С благоговением принимаю испытание, которое ему угодно было послать нам... Молиться, молиться нужно и, смилив гордыню, взирать на того, кто был весь смирение. Убеждаюсь, что бедная Фелицата избрала благую часть. Припадай и ты к его святым стопам, а все, что касается до имения, докладывай Юрию Константинычу. Я решила по мере слабых моих сил удалиться от земного, по мере возможности приобщиться небесному и так как на днях уезжаю в Биариц, то выдаю полную доверенность Юрию Константинычу. Затем советую тебе, не как госпожа, но как истинная христианка, строго запретить своему сыну вредные знакомства, о которых дошли до меня слухи. И советую внимательно следить за школой. Я даже думаю, не удалить ли учительницу и не поручить ли местному пастырю отправление ее обязанностей? Впрочем, Юрий Константиныч сделает соответственное распоряжение». Ловко? А ты говоришь: Алексис и прочие нелепости! — заключил Мартин Лукьяныч.

Анна Лукьяновна молчала с убитым видом.

— Я хочу посоветоваться с тобой, сестра Анна, — спустя четверть часа произнес Мартин Лукьяныч более спокойным голосом. — Дела, сама видишь, какие. Со дня на день жду новых придинок... Ну, да обо мне что толковать! Прогонят — поступлю к тебе в чтецы, буду вместо Луки хозяйством твоим заниматься... Ведь дашь угол, а? — Он насильственно улыбнулся.

— Бог с вами, батюшка-братец! — вскрикнула Анна Лукьяновна со слезами на глазах.

— Ну, вот. Но как быть с Николаем? Женитьба — глупости, то есть на бедной-то. Сама видишь, что глупости. А богатая не пойдет. Как же быть? Думал, что и он свекует у Гардениных, ан не тем пахнет. Отдать его в приказчики к купцу, то есть по земельной части, — низко и притом слаб с народом. Пустить по конторской части — опять-таки зазорно. Здесь он на положении моего помощника, конторой занимается между прочим, ну, а в чужих-то людях? Одним словом, как ни кинь, все клин. Хорошо. Посылал я его прошлым летом на ярмарку. Приезжает, — отпустите, говорит, папаша, в приказчики к железнику, к Илье Финогенычу. Слышала, чай? (Анна Лукьяновна молча кивнула головой.) Ну, само собою, дал нагоняй... С тех пор ни гугу. Хорошо. Я тебе рассказывал про учительницу? В голове — то, сё, разные эдакие новейшие глупости, но золотая девка. Однако я на нее сердит... И по какому случаю! Иду намедни с гумна, вижу — едет мужик. Откуда? С вокзала, картошку возил продавать. И спрашивает: «Есть учительше письмоцо, куда деть?» Ну-ка, мол, давай... Сём, думаю, прочту, с кем она там переписывается. Распечатал — что за черт! «Любезнейший Николай Мартиныч»... Эге! Посмотрел на адрес, а там эдакая приписочка: «Для Н. Н.». Значит, для моего анафемы! Взглянул, от кого бы? Подписано: «Илья Еферов», то есть железник. Ловко нашего брата надувают? Вижу теперь, каким бытом он узнал, что Лизавета Константиновна сбежала... Но не в этом дело. Слушай. — Мартин Лукьяныч вынул из кармана письмо. — «Любезнейший Н. М.! Чего ты ожидаешь в этом омуте кляуз, интриг и всяческого оголтения умов? Ужели думаешь в кандалах свободно ходить и с связанными руками — плавать? Мечта! Ввиду твоих сообщений опасуюсь и за девицу Турчинову, хотя трогает меня некоторое просветление твоего отца. Во всяком случае вот мой старый совет: напруги усилия, долби отца («Дурак! — проворчал Мартин Лукьяныч, — дерево я, что ли?»), поступай ко мне в приказчики. Дело немудрое; повторяю: по возможности честное. Жалованье — двести рублей. Приобьнешь, дам товару, открывай лавку в базарном селе и с богом на путь борьбы! Не смущайся скромным поприщем. И в скромной доле возможны подвиги, между тем как иные и в широком круге действия дрыхнут бесстыдно, беспощадно и беспробудно...» Ну, дальше пошла чепуха — все о книжках! — сказал Мартин Лукьяныч. — Так вот, сестра Анна... двести целковых и обещает кредит, а?

— А может, и с господами оборотится на хорошее?.. — робко заметила Анна Лукьяновна. — Все как-то, батюшка-братец, неавантажнo: от таких важных особ и вдруг ведрами торговать...

Мартин Лукьяныч нетерпеливо пожал плечами.

— А чердак у тебя тово, сестра Анна... Пустой чердак! — выговорил он, опять начиная сердиться. — Ведь все тебе выложил, ужели не можешь обнять умом? И притом разве не видишь, до чего Николай образовался? Избави бог, Юрий Константиныч самолично пожалует: разве его заставишь шапку снять? Он и прошлое лето от генеральши волком бегал, а теперь, замечаю, еще пуще развилось его высокомордие... Какой он барский слуга? Да и понятно. Малый любой разговор поддержит, имеет знакомство, пропечатан в газетах — и вдруг обращаются подобно как с конюхом! Не спорю, может, и мой недосмотр: когда успел набаловаться — ума не приложу! Однако ж не стать его теперь переучивать: в виски не полезешь, коли вытянулся в коломенскую версту... Хорошо, Илья Финогенов как-никак, но прямо считается во ста тысячах... Ужели захочет — не устроит судьбы, а? И ежели говорить все, — ты, разумеется, не болтай, — меньшая-то дочь у него невеста, а? Расположение его к Николаю сама видишь, а, между прочим, сыновей нет... Как ты насчет этого, а? Отпускать, что ль? Шути, шути, а, глядишь, пройдет годов семь, ан до Николая и рукой не достанешь, а?

Соображение о невесте и о будущем богатстве племянника подкупило

Анну Лукьяновну. Она расцвела улыбкой и сказала, что непременно надо отпустить. Мартин Лукьяныч тоже повеселел.

— Ну, стало быть, нонче и объявлю ему, — сказал он и начал подсмеиваться над сестрою. — Так как, невеста-то? Чьих она? Уж открывайся.

— И-и, батюшка-братец, пойдете теперь шпынять!.. Право же, деликатная девица. Что интересна, что приятна, что мечтательна... Ну, вполне Аглая из романа!

— Так, так. Да кто она?

— Зачем же вам?.. Фершелова дочь, ежели хотите. Но не подумайте — без образования: прогимназию кончила. Что смеетесь? Конечно, как такие открываются надежды, — я не говорю. Но девица очень авантажная!

Странным охвачен был чувством Николай, когда отец объявил, что отпускает его к Илье Финогенычу, а тетка принялась укладывать в сундучок его имущество. Первым движением была радость, вторым... так стало жаль расстаться с Гардениным, таким новым и ласковым выражением засквозили гарденинские поля, степи, леса, люди... И сад любовно кивал своими вершинами, и в роще веяло какою-то нежною прохладой, и знакомое местечко на берегу пруда казалось особенно пленительным: как хорошо сидеть тут в полдень, читать, грезить наяву или раздеться — и бух в воду!.. Покос был в полном разгаре. Ночью опять загорались костры, и далеко-далеко звенели унылые песни... А не песни — шли разговоры вокруг котелка, сказывали сказки, припоминали старину... И так было славно лежать на пахучей траве, слышать говор и песни, лениво следить, как улетают искры в темное небо, или в свой черед рассказывать что-нибудь из прочитанного, поговорить о мирских делах, о старосте, о попе, о школе.

Школа!.. При взгляде на этот веселый домик, видный за яром как на ладони, Николаю становилось еще грустнее покидать Гарденино. В домике слагались его первоначальные мечты, роились планы, пленительно разгоралось воображение... Там жила Веруся; там с осени опять закипит жизнь, зажужжат веселые детские голоса, засветятся бойкие детские глазки навстречу славным, умным, пытливым глазам учительницы... А его не будет! И серую, неприятную, скучную пустыней представлялась ему жизнь за пределами Гарденина, когда он вспоминал, что там нет Веруси.

Но довольно! Захар дожидается у подъезда. Пристяжные нетерпеливо грызут удила. Колокольчик побрякивает под дугой. Отец делает пространное и трогательное вразумление. Присели, помолились. «Ну, Николья...» — произносит дрогнувший голос. Николай крепко обнимается с отцом, чувствует слезы на его щеках, с внезапным умилением целует его волосатую руку, переходит в пышные объятия тетки, и опять слезы... «С богом, Захар!» Николай оборачивается и глядит назад. Вот без шапки стоит отец, ветер развеивает его сивые волосы; тетка машет платком... дворня собралась в кучу и глазеет... Вот уже и не видно никого, и едва белеются постройки, сверкают крыши на солнце, сад зеленеет, пруд сквозит за деревьями. «Прощай, Гарденино!» — шепчет Николай, и в горле у него щекочет, на глаза выступают слезы. Вот и постройки не видны, и крыши померкли, только сад выделяется островом на бледной зелени полей, издалека дает приметку старинного дворянского приволья. Наконец и сад потонул в пространстве. Пошли поля, да степь, да перелески... и речки с отраженным в них камышом, и ряд курганов на берегу долины, и клехт коршуна в высоком небе... запах цветущей ржи, подобный запаху спирта, однообразный звон колокольчика, печальные ракиты, пыль и важная, сосредоточенная тишина.

Верст за шестьдесят от Гарденина приходилось переезжать Битюк. Свежело. В селе благовестили к вечерне. Отраженный гул протяжно разносился по воде. Тарантас, подпрыгивая, въехал на паром. Николай с удовольствием потянулся, вылез, расправил одеревеневшие члены и стал помогать паромщику.

— Работником аль от артели? — спросил он, перехватывая канат.

— В работниках.

— Откуда будешь?

— Мы дальние, боровские...

— Скажи, пожалуйста, столяр у вас живет один...— торопливо спросил Николай, понижая голос.

— Федотыч?

— Да, да.

— Как же, живет! Суседи. У Арефия Сукновала хватуру сымает... Живет! — Паромщик усмехнулся.— Все новую веру обдумывают!.. Как же, ходят к ним иные... стихиры поют... чтение... У меня тоже баба повадилась. Ну, признаться, пощупал ей ребра да вожжами поучил,— ничего, отстала.

— А жена его... Что жена делает?

— Что ж, знамо, что делает... Либо по хозяйству, либо шьет,— девкам кохты шьет: у нас мода на кохты вышла... Либо с мальчонкой тетешкается. Ничего, баба важнец.

— С каким мальчонкой?

— А с ейным, с Ваняткой. Здоровый пузан. Даже диво, что от такого хрыча.

— Да когда же она родила?

Паромщик подумал.

— Как бы тебе не соврать?..— пробормотал он.— Летом, значит, приехали... филипповками он мне раму связал... да, да, а в мясоед она и роди! Хлесткая баба, это нечего сказать. И об столяре не скажешь худого,— копотлив, но работа твердая, на совесть. А насчет веры ежели... Что ж, ничего, безобразиев неприметно, народ справедливый... ничего!

Николай не слушал больше. Бросив канат, он быстро отошел в другую сторону парома и в невероятном состоянии стыда и каких-то волнующих и дразнящих ощущений стал глядеть на ясную гладь реки...



Яков Ильич Переверзев.— Как проводил время Мартин Лукьяныч в ожидании своего увольнения.— Новый управитель принимает вотчину.— Его переговоры с крестьянами.— Бунт и усмирение.— Дневник Веруси.

Осенью рухнул последний оплот гарденинской старины... Из Петербурга был прислан новый управитель, Яков Ильич Переверзев.

Странный был человек этот господин Переверзев! Случалось ли вам, читатель, проводить по несколько суток в вагоне? Если случалось, вы непременно встречали господина Переверзева. Вот он вошел и выбрал свободную лавочку против вас и тотчас же обратил на себя ваше раздраженное и негодующее внимание. Еще бы! У вас и спину-то ломит, и ноги отекли, и бока болят от жесткого сиденья, от мучительных попыток уснуть на короткой лавочке, оттого что тесно, душно и во всех отношениях нестерпимо. Вы сгораете желанием поскорее доехать, выспаться на свежей постели, привести себя в человеческий вид, отдохнуть от назойливой дорожной суеты, шума, шарканья, звонков, грохота, ото всех этих смертельно скучных, отрывочных и удручающих впечатлений... Не таков господин Переверзев. Ваши чувства непонятны

ему: он торчит перед вами каким-то апофеозом благополучия, раздражает ваши истерзанные нервы своим основательным видом и не менее основательными поступками. На первой же станции он какую-то особенную штучку стащит с себя сапоги и наденет туфли; вместо шляпы накроется легкою шелковою фуражкой; достанет занавеску из чемоданчика, прицепит ее к окну, чтоб не мешало солнце; надует каучуковую подушку, с удобством усядется на нее, возьмет в руки неразрезанную книжку, вытянет по мере возможности ноги и с досадным спокойствием, с видом человека, чувствующего себя дома, погружится в чтение. Придет час, он не спеша сходит в буфет, выпьет рюмку горькой, пообедает, аккуратно спрячет пятак сдачи, не спеша займет свое место, запишет изящным карандашиком в изящной книжечке расходы и снова углубится в чтение. Настанет вечер, он приклеит патентованный подсвечник к стенке вагона и продолжает читать, как у себя в кабинете. Ночью аккуратно расстелет толстый плед, обвяжет голову фуляром, оденется другим пледом, полегче, и спит как праведник. А наутро, несет образцовый свой чемоданчик в уборную и возвращается в вагон расправленный, умытый, причесанный, в свежем белье... И все-то образцово, аккуратно, основательно у господина Переверзева, все сбивается на самую настоящую Европу — и движения, и спокойно-самоуверенное выражение лица, и жакетка из английской материи, и чемоданчик, и ремешки, и пледы, и хитрые штучки, машинки и приспособления. Вы готовы принять его даже за иностранца, если бы не этот нос картошкой, не рыхлые черты да не полнейшее отсутствие любознательности.

Но вот вы притерпелись и мало-помалу привыкли к соседству такой отчетливой, самоуверенной и самодовлеющей аккуратности; вы пожелали вступить в разговор с господином Переверзевым... Это трудно. Господин Переверзев не податлив на знакомства. Он не принимает ни малейшего участия в жизни вагона. Пассажиры огулом ругают железнодорожное начальство за тесноту и неурядицу; кто-то возмущился грубостью кондуктора; баба плачет — недостает двугривенного на билет; толстый купчина вваливается в вагон и безцеремонно сгоняет с места хворого и оборванного мужичонку, — господин Переверзев бровью не шевельнет. Какой-то бывалый человек собрал слушателей и рассказывает о своих похождениях... Взрывы смеха, остроты, шутки... Господин Переверзев даже не покосит глазом в ту сторону. В разных концах вагона говорят об урожае, о торговле, о политике, иногда даже о литературе, — господин Переверзев нем и безучастен, отчетливо действует костяным ножиком, купленным где-нибудь в Лондоне, не спеша переворачивает страницы.

Но с некоторыми усилиями вам удастся завязать с ним разговор. И все, что ни произносит господин Переверзев, все так же, как и его вещи, образцово, отчетливо и аккуратно. Круг его знаний довольно обширен; видел он много; действительно бывал за границей, читал и то и сё; знает два иностранных языка; специально изучал молочное хозяйство... Но странное дело, спустя какой-нибудь час вам становится нестерпимо скучно с господином Переверзевым, — вам все кажется, что вы уже слышали его, встречались с ним и он вам еще тогда, еще очень давно, успел надоесть до пресыщения, до оскомины. Он еще тогда опротивел вам и солидностью своих суждений, и вескостью взглядов, и безукоризненно вежливыми словами, и убийственно справедливыми мыслями, и тем, что все у него так прибрано, размерено, расчислено, все являет вид благопристойной гладкости и неукоснительного порядка. Подавляя зевоту, вы бормочете: «Да, да... Совершенно верно... Совершенно справедливо...» — и, в душе посылая господина Переверзева ко всем чертям, кое-как заминаете разговор и тихонько пробираетесь в тот угол вагона, где бывалый человек рассказывает, как он воочию видел дьявола и даже держал его за хвост. «Любопытно, однако, что он там врет...» — думаете вы, придвигаясь к бывалому человеку.

А господин Переверзев, нимало не обращая внимания на ваше бегство,

снова погружается в свое аккуратное, отчетливое и основательное времяпрепровождение.

Мартин Лукьяныч еще до приезда Переверзева получил уведомление, что Юрий Константиныч в услугах его больше не имеет нужды и просит приготовиться к сдаче имения. Новость тотчас же стала всем известна, однако дворня отнеслась к ней гораздо равнодушнее, чем к смерти Капитона Аверьяныча и удалению Фелицаты Никаноровны в монастырь. Дело в том, что самые закоренелые приверженцы старины к тому времени уже покинули Гарденино; другие, как например, кучер Никифор Агапыч, повар Лукич, лакей Степан, думали, что это их не касается; наконец третьи настолько уж уверились в неизбежности распада прежних порядков, что перестали толковать об этом, а каждый в одиночку изыскивал способы, чтоб примениться и к новым порядкам, сохранить во что бы то ни стало «угол», «мещину» и с детства привычное дело.

Сам Мартин Лукьяныч как-то тупо встретил перемену своей участи. Отчасти он ждал ее, отчасти утратил обычную свою энергию и на все махнул рукой. С отъезда Николая, а затем и сестры он сильно охладел к гарденинскому хозяйству, редко объезжал поля, неохотно ходил по экономии, все больше и больше уединялся в своих горницах и скучал. Прежде ему редко случалось пить, — только на базаре да с гостями или в гостях, — но, оставшись в одиночестве, он чаще и чаще стал напиваться. Начиналось это с утра. За чаем он еще брал какую-нибудь книгу и лениво ее перелистывал, просматривал газеты. После чая ходил по комнате, курил, кряхтел или садился у окна, праздно смотрел в пространство, играл пальцами, сложивши руки на животе; потом отворял шкафчик и проглатывал четверть рюмки. Такие дозы повторялись раз десять; затем наливалось по полрюмке; ближе к вечеру Мартин Лукьяныч приказывал Матрене подать графин на стол и пил целыми рюмками. Поведение его изменялось сообразно дозам: проглатывая маленькие, он прискорбно вздыхал, страшно морщился и кривил ртом; средние — только крякал; когда наступали большие дозы, им овладевала говорливость и странная склонность к откровенности и самому бесшабашному хвастовству.

— Матрена! — кричал Мартин Лукьяныч, неистово теребя бороду.

Матрена являлась сумрачная и, спрятавши руки под фартук, останавливалась у притокола.

— Что вам?

— Гм... Анна Лукьяновна приказывала тебе заштопать Николаевы чулки... Заштопала?

— Который раз спрашиваете... Известно, заштопала.

— То-то!.. Гм... У меня, брат, Николка далеко пойдет... не беспокойся!.. Ты, дура, думаешь, я его спроста отпустил к Еферову? Ан врешь, не спроста... Умен, умен, анафема... потому и отпустил, что умен! Сколь ловко втерся к этому болвану: одного жалованья шестьсот целковых и притом полное содержание. А? Каково?.. Отец тридцать три года лямку трет, вотчиной управляет, однако ж — молокосос, и сразу положили одинаковую цифру с отцом. А почему?.. Ты глупа, ты не можешь рассудить... Ум — вот почему. Ну-кошь, дворянин какой-нибудь сунется — пропечатают его в газетах? Дождись!.. А Николка достиг, пропечатан. У, тонкая бестия! Ко всякой бочке гвоздь... Конторская ли часть, по хозяйству ли... не говоря уж, что прочитал такие книги — иной помещик и в глаза таких книг не видывал... А насчет вашей-то сестры... Эге! Не зевал, не прогневайся!.. Ты думаешь, он, анафема, спроста пропадал у Веры Фоминишны? Как бы не так! Очень ему нужно!.. Но я все спускаю, потому — умен. Вера Фоминишна — золотая барышня... А ты, канальская дочь, опять перестала салфетки подавать, а?

— Эка беда! Все забываю.

— То-то, забываю! Смотри, как бы я тебе не напомнил... (Мартин

Лукьяныч проглатывал рюмку.) Гм... да вот и дворянка, а кивнет Николка пальцем, сейчас под венец пойдет! Однако он не таковский... Он и там не прозеваает... шалишь! Как сцапает этакую первогильдейскую дочь да слимонит приданого тыщ пятьдесят, вот пускай дураки поломают головы!

И до поздней ночи тянулась несвязная похвальба, а Матрена, проклиная свою участь, стояла у притолоки.

Получив уведомление о расчете, Мартин Лукьяныч стал пить меньше, решительно никуда не показывался, составлял отчеты и приводил в порядок книги. Хозяйство шло заведенным колесом под наблюдением старосты Ивлия и других начальников. Вечером в контору по-прежнему собирались «за приказанием», но все чувствовали, что это только так, для проформы, что, в сущности, отлетел строгий и взыскательный дух-устроитель Гарденина. У подначальных людей появилась не мыслимая прежде развязность, в их разговорах с управителем засквозили самостоятельные слова, самые голоса их приобрели какое-то независимое выражение. Мартин Лукьяныч отлично видел это, но только сопел да вздыхал. Между тем начальники отнюдь не радовались увольнению управителя, — напротив, искренне огорчились и беспокоились, но так уж устроен русский человек, любит он показать свое достоинство задним числом.

Гораздо яснее обнаруживалась эта черта в тех, кто радовался уходу управителя.

Однажды Мартину Лукьянычу понадобилось для отчетности перемерить хлеб в закромах. Вечером он забыл об этом сказать и потому на другой день самолично отправился в амбары. По дороге ему встретились Гараська и Аношка; оба, поравнявшись с ним, не сняли картузы... Вся кровь бросилась в лицо Мартину Лукьянычу.

— Эй, анафемы! — загремел он. — Шапки долой!

Аношка съежился и продолжал идти, как будто не слышит, Гараська же с наглым, смеющимся лицом посмотрел на Мартина Лукьяныча и сказал:

— Будя, Мартин Лукьяныч... Попановал — и будя! Кто ты есть такой, чтоб ерепеньиться? Остынь.

Мартин Лукьяныч бросился к нему с поднятыми кулаками, но Гараська стоял так спокойно, так выразительно выпятил свою широкую, богатырскую грудь, что Мартин Лукьяныч тотчас же опомнился, круто повернул домой, послал Матрену к ключнику, а сам лег в постель и пролежал ничком добрых два часа, задыхаясь от ярости и мучительного стыда.

Междуцарствие продолжалось недели две. Мартин Лукьяныч решительно не знал, когда же пришлют нового управителя. В его голову начала даже закрадываться сумасбродная надежда: «авось...». Как вдруг Матрена, — в последнее время единственный источник, из которого он почерпал новости, — с убитым видом доложила ему, что Гришка-конюший получил какую-то депешу и высылает коляску за новым управителем.

— Что ты, дура, врешь? — усомнился Мартин Лукьяныч. — Статочное ли дело под управителя господский экипаж.

Но вскоре убедился. В окно было видно, как в коляску запрягли рыжую четверню и сам Никифор Агапыч влез на козлы. И язвительная обида засочилась в сердце старика. «Вот так-то, — размышлял он, — в коляске!.. Четверней!.. А я целый век в тарантасе развезжал... с бросовым конюхом, с Захаркой... И известить не удостоили... Охо-хо-хо...» Весь день не мог ничем заняться Мартин Лукьяныч, даже не подходил к шкафчику и, как растерянный, бродил из угла в угол да украдкой выглядывал в окно. Наконец четверня пронеслась по направлению к барскому дому, — Мартин Лукьяныч мельком увидел, что в коляске сидят двое, — лакей Степан торопливо рысцой побежал встречать, в кухне забарабанили поварские ножи. Мартин Лукьяныч горько засмеялся. «Вон как новые-то! — восклицал он про себя. — В господских покоях!.. Повар обед готовит!.. Эх, дурак ты, дурак, Мартин!»

Несколько минут спустя лакей Степан доложил Мартину Лукьянычу, что его требует к себе управитель.

Вся прежняя гордость проснулась в Мартине Лукьяныче.

— Скажи, мне ходить незачем... Слышишь? — крикнул он надменным голосом. — Пока что я здесь полномочный управитель! Если угодно, пусть в контору является.

— Слушаю-с, — почтительно ответил Степан.

На этом пункте Рахманный преодолел: новый управитель сам пришел в контору. За ним следовал его неизвестный спутник. Оба были тощие, поджарые, в рябых жакетках, в макферланах. Спутник нес под мышкой портфель. Мартин Лукьяныч поднялся навстречу... Странно было смотреть на этого крупного, седого, красного от волнения человека в длинном старомодном сюртуке лицом к лицу с вылощенными и во всех отношениях утонченными гостями.

— Имею удовольствие рекомендоваться, — провозгласил один из тощих, — Яков Ильич Переверзев. Имею честь рекомендовать — господин бухгалтер Венчеслав Венчеславич Застера. Покорнейше прошу извинить меня: я действительно не имел права просить вас пожаловать ко мне... то есть до предъявления узаконенной доверенности. Господин Застера, предъявите господину Рахманному узаконенную доверенность.

Господин Застера щелкнул замочком портфеля и подал аккуратно сложенный лист бумаги. Мартин Лукьяныч отмахнулся. Изысканный вид тощих смутил его.

— Что же-с? — пробормотал он. — Я из господской воли не выступаю... Угоден им — служил, не угоден — ихняя воля-с. Не прикажете ли чайку-с!

— Очень благодарен. В это время дня я не пью чаю. Если не ошибаюсь, и господин Застера.

— Я по мере возможности избегаю этого напитка, ибо имею несчастную склонность к простудным болезням, — убийственно правильным языком объявил Застера.

— Итак, с вашего позволения, приступим к отчетности...

— Желаете осмотреть вотчину-с? Прикажете лошадей заложить?

— О, нет! Осмотр — вещь второстепенная. Будьте любезны предъявить книги, оправдательные и иные документы и так далее.

— Что ж предъявлять?.. Вот шкаф-с. Какая есть контора, вся в этом шкафу. Вот отчеты-с...

Тощие люди переглянулись, едва заметно пожали плечами. Затем Застера снял очки, аккуратно сложил их в футлярчик, оседлал ястребиный свой нос черепаховым пенсне и с выражением какой-то жадной проницательности приступил к осмотру шкафа. Переверзев разбирал портфель. Мартин Лукьяныч с унылым лицом поглядывал на них, не решаясь сесть.

Прием именя совершался медленно. Несколько дней подряд бились над конторскими книгами, хотя книг было и весьма немного, но Застера приходил в отчаяние от их первобытной формы. Оправдательных документов не только не оказалось, но Мартин Лукьяныч даже и не понимал, что это такое значит, а когда ему объяснили, жестоко оскорбился.

— Я не вор-с, — проговорил он, задыхаясь, — тридцать три года служу-с... Барскою копейкой не пользовался. Ежели угодно придирки делать — как угодно-с, но я не вор.

Вообще чем дальше, тем больше раздражался Мартин Лукьяныч и настолько возненавидел тощих, что мало-помалу начинал грубить им.

— Разрешите полюбопытствовать, — спросил однажды Переверзев, заглянув в записную книжечку, — чем вы изволили руководствоваться, сдавая крестьянам землю дешевле рыночной цены? Затем у вас значатся взыскания за порубки и потравы с государственных крестьян таких-то. Чем объясняется

факт, что таковых же взысканий ни разу не поступало с крестьян сельца Анненского?

Мартин Лукьяныч в кратких и отрывистых словах изложил свою систему хозяйства.

— У вас, конечно, имеются обязательства, обеспечивающие допущенный вами кредит? — спросил Переверзев, просматривая долговую книгу.

— Нету-с, никаких не имею обязательств. Все на чести держится, если хотите знать-с.

— К сожалению, я должен этот факт довести до сведения доверителя.

— Как угодно-с. Не воровал-с. С мужичишками не якшался, чтобы обидеть господ.

— Но, может, крестьяне не откажутся выдать установленные документы?

— Это уж ваше дело. Я здесь больше не хозяин-с.

Тощие безнадежно пожимали плечами, не выходя, однако, из пределов самой безукоризненной вежливости.

Мужики несколько раз то полным сходом, то группами в десять — пятнадцать человек являлись к новому управителю. Даже приносили хлеб-соль. Но хлеб-соль принял от них лакей Степан, и он же каждый раз объявлял, что Яков Ильич говорить с ними теперь не может. Мужики, потупивши головы, выслушивали лакея Степана, с ожесточением вздыхали, почесывали затылки и медленно возвращались в деревню, рассуждая, что бы это значило. Наконец человек пять наиболее уважаемых стариков придумали сходить к старому управителю и попросить совета, а чтоб не обиделся новый управитель, пришли ранним утром, когда тот еще спал.

— Зачем? — сердито крикнул на них Мартин Лукьяныч. — Я теперь последняя спица. Вот уж с новым поживете, анафемы... с новым поживете!.. Сунулись? Хлеб-соль притащили? Перед старым и шапку не ломаете, а?

Напрасно старики смягчали его раболопными изречениями, умоляли подсобить советом, говорили, что им такого уж не нажать благодетеля, как Мартин Лукьяныч.

— Про меня что толковать — я вас притеснял, — глумился Мартин Лукьяныч. — Я и по морде, случалось, колотил, и порол, и в солдаты отдавал... Ну-ка вот, подумайте теперь, с какой ноги к новому-то подойти!.. А я погляжу, каков у него будет до вас мед... Погляжу, старички! Что ж, теперь, слава богу, дождались: старого-то, плохого-то, в шею, а приехал такой — мухи не обидит... Погляжу!

Истомленная недоумением деревня ужасно была обрадована, когда дядя Ивлий оповестил домохозяев, чтоб собирались в контору. Толпа долго стояла без шапок, дожидаясь выхода управителя. Наконец на крыльце показались и новый и старый. Раздался гул приветствий. Переверзев вежливо поклонился и прежде всего попросил надеть шапки. Картузники тотчас же и с видимым удовольствием исполнили просьбу. Треухи упорствовали и наперерыв произносили раболопные слова.

— Я должен поблагодарить вас за хлеб-соль, — провозгласил Переверзев, — хотя считаю своею обязанностью предупредить вас, что смотрю на это как на простую вежливость. Крепостное право, слава богу, отменено, вы давно свободные люди и своим бывшим господам обыкновенные соседи. Я уполномочен владельцами управлять Анненскою экономией. Желаю, чтоб отношения наши были благоприятны. Вот в систему моего предместника, господина Рахманного, входило оказывать вам безвозмездный кредит. Я с этою системой не могу согласиться. Не согласна она и со взглядами моего доверителя. Вследствие того приступим к проверке... Господин Застера, предъявите список дебиторов.

Бухгалтер начал выкликать должников и говорить, сколько кто должен и за что...

— Так точно... Должен... Брал... Было дело...— слышалось из толпы.

— Господин Застера, ввиду полного признания дебиторов, предъявите к подписи долговые обязательства... Сельский староста, покорно прошу засвидетельствовать.

Толпа находилась в состоянии странного оупения. Наиболее сметливые, и те не поняли, что говорил новый управитель. О долгах и расписках думали, что это нужно «для учета» Мартина Лукьяныча и что вообще, когда кончится эта скучная и непонятная канитель, новый управитель заговорит «настоящее». Один за другим «дебиторы» с покорными лицами подходили к столику, где заседал Застера с целой кипой заранее приготовленных расписок, совали в знак доверия руку писарю Ерофеичу; Ерофеич подмахивал обычную формулу: «А за него, неграмотного, по личной его просьбе» и т. д.; вспотевший староста коптил и прикладывал печать.

— Ввиду значительности долга,— сказал Переверзев,— я буду ходатайствовать перед владельцами о рассрочке уплаты.

Мужики встрепенулись: начиналось «настоящее».

— На этом благодарим! — раздались голоса.— Век не забудем вашей милости... В долгу, как в шелку, а из нужды не выходим... Не в обиду сказать Мартину Лукьянычу, не покладая рук работали на господ... Воли все равно что и не видали... Какая воля! — и т. д.

Переверзев поклонился и повернулся, чтоб идти.

— Ваше степенство! — остановил его стоявший впереди Ларивон Влагов.— Осмелюсь доложить твоей милости: как же теперь насчет земельки?

— Какой земельки?

— А касательно того, как мы теперича берем землю под посев... Яви божескую милость, спусти хоша по рублику! И опять насчет уборки... Теперь ли повелишь записываться али к Кузьме-Демьяне?

— Какой уборки?

— Хлебушко убирать, отец... Больно уж нужда-то у мужиков: вот-вот подушное зачнут выбивать... Повели теперь записываться. Яви божескую милость! Али еще насчет покосу хотели мы погудорить... Мартин-ат Лукьяныч давал нам урочище,— что ж, мы на него обиду не ищем,— ну, только самая поганая трава!.. И насчет хворосту... хворост — прямо надо сказать — ледащый. Гневись не гневись, Мартин Лукьяныч, надо прямо говорить.

Толпа молчала, затаив дыхание. Все были без шапок, даже картузники, и не сводили выжидающих взглядов с нового управителя. Тот пожал плечами.

— Вы меня не поняли,— сказал он, стараясь говорить громко и отчетливо.— Экономическое хозяйство будет вестись отныне совершенно на других основаниях. Нанимать под уборку не буду. Аренда покосов, выпасов и распашной земли прекращается. Продажа леса тоже прекращается ввиду предполагаемой постройки винокурного завода. Весь экономический посев будет обрабатываться собственными работниками с помощью машин. Затем принужден добавить: вверенная мне собственность господ Гардениных будет строго охраняться от всяких на нее посягательств. Ясно? Старик, ты понимаешь меня? Разъясни односельцам. Прощайте!

Переверзев еще раз поклонился и ушел. За ним поднялся Застера с портфелем, распухшим от мужицких расписок. Мартин Лукьяныч последовал за ними.

Мужики стояли в каком-то оцепенении... Вдруг Гараська надвинул картуз и закричал:

— Братцы! Старички! Что ж это будя?.. Один аспид отвалился, другой присасывается!.. Где же нам земли-то взять?.. С голоду, что ль, издохнуть по их милости?.. Ходоков, ходоков посылать к господам!.. Ишь, тонконогая цапля, насулил чего!.. — «Раззор!..», «Денной грабеж...», «Ходоков!», «Коли на то пошло, нам старый управитель милее!» — подхватили картузники. Напрасно тре-

ухи уговаривали: «Остыньте, ребята!.. Поттишай!.. Нехорошо эдак на барском дворе галдеть... Помягче, ребяташки!» — шум все возвышался.

Управитель с бухгалтером, вошедши в контору, принялись было за обычные свои занятия: щелкали на счетах, отмечали в записных книжечках, обращались с изысканно вежливыми вопросами к Мартину Лукьянычу. Но шум начинал их беспокоить. Застера зеленел, зеленел и, наконец, выразительно взглянул на Переверзева.

— Это не бунт, господин Переверзев? — спросил он по-немецки.

— Господин Рахманный, вы не предполагаете враждебных намерений со стороны крестьян? — спросил Переверзев.

— А уж это не знаю-с, вам лучше должно быть известно-с, — насмешливо ответил Мартин Лукьяныч. После объяснения с крестьянами Мартин Лукьяныч не обинуясь решил, что новый управитель «круглый дурак», и утратил всякий респект к его «благородному» происхождению и изысканному виду.

Шум принял оглушительные размеры.

— Но куда же обратиться в случае опасности? Далеко ли становой пристав? — спросил Переверзев, в свою очередь меняясь в лице и тревожно подымаясь.

Взгляд Застеры сделался мутным, его выхоленная бородка затряслась... Мартин Лукьяныч с неизъяснимым презрением посмотрел на них, распахнул окно, высунулся и закричал:

— Эй, Ларивон Власов!.. Веденей!.. Афанасий Яковлев!.. Что за сходка? Почему глотки разинули? Где вы, анафемы, находитесь? Пошли вон!.. Что такое? Светопредставление затеяли на барском дворе? Введете в гнев господ, думаете, лучше вам будет, дураки? Расходитесь, нечего галдеть!

Треухи с новым усердием принялись увещевать картузников, шум малопомалу стихал, отдалялся... Щеки Застеры покрылись прежним румянцем. Переверзев спокойно углубился в просмотр каких-то ведомостей.

Как раз к покрову Мартин Лукьяныч освободился, получил по особой инструкции Татьяны Ивановны сто рублей награды и переехал на жительство к Анне Лукьяновне Недобежкиной.

Зимой Николай получил от Веруси длинное письмо — род дневника; первая страничка была помечена ноябрем, последняя — двадцать пятым февраля. На первой страничке было написано вот что:

«Ах, эти ночи долгие, эти дожди без умолку, эти хмурые, бесконечные тучи!.. Вы не поверите, Николай Мартиныч, до чего тоскливо думается, горько чувствуется... И правду скажу: трудно мне одной, нет союзников, не с кем слова сказать, одиноко стало в Гарденине. Приехавши в половине октября, я застала здесь полный разгром, и хотя уже знала об этом из ваших двух писем, но все-таки грустно мне сделалось. На первый раз, впрочем, еще не так грустно: начались занятия в школе, нужно было показывать глобус, — я таки выписала от Фену! — читали новые книжки, обменивались впечатлениями, затем хлопоты по хозяйству — я ведь теперь обедаю у себя... Но как вошло все в колею, я и почувствовала одиночество. Вот и журнал получаю, да что толку? Не с кем читать, не с кем поговорить о прочитанном...

Однако что же это я хандрю? Села ведь за письмо вовсе не с тем, чтобы жаловаться. Мне рассказать вам мои мысли хочется и в связи с тем, что происходит теперь в Гарденине. Все здесь новое, всё пошли перемены да реформы... Ах, бедный народ! Несладко ему было и при отце вашем, — какой Мартин Лукьяныч был крепостник, для нас с вами ведь не секрет, — но теперь, при новых-то порядках, кажется, еще горше. Вообразите, не дают земли, прекратили раздачу денег под работу, не делают ссуд, не продают лесу! О, как я была возмущена такую бессердечностью... И, разумеется, искала случая

повидать этого господина Переверзева, высказать ему все, все... Но не тут-то было. Он решительно нигде не показывается. Лакей Степан вечно дежурит в передней и о каждом, кто придет, докладывает. А на доклад вечный ответ: «В контору!» — в конторе же сидит бухгалтер с двумя писарями и препровождает просителей к ключнику, к приказчику, смотря по надобности. Одним словом, между новым управителем и деревней протянута некая сеть, сквозь которую никакой нет возможности пробраться. Затем, Переверзев постоянно в разъездах. Знаменитая рыжая четверня и высокаторжественный Никифор Агапыч то и дело снуют со станции на станцию; говорят, что к весне придут бог весть какие машины, наедут разные специалисты и закипит самое образцовое хозяйство...

Вот факты. А мысли... Господи боже, не умею я разобраться в них! Надо сказать, что деревня переживает странное состояние. Ну, точно ребята, у которых родители внезапно исчезли. Больно писать такие вещи, однако надо же... Ведь что они вздумали: посылают в Петербург ходоков: Герасима Арсюшина и Анофрия... А зачем? Просить Гарденина, чтобы все оставалось по-прежнему... Друг мой! Что же это такое? Я понимаю тягость их положения, но прежнего, прежнего просить!.. А с другой стороны, Максим Шашлов по-своему относится к новым порядкам,— он рад. Вот недавно ссужал деньги под расписки, — вы не поверите: за десять рублей отдать к покрову пятнадцать или заработать по цене, которую он сам положит, «по-божьи». Слышала еще, что в союзе с волостным писарем он хлопочет открыть кабак, так как знают — усадьба умыла руки и вмешиваться не станет.

Ну, что еще?.. Взрослые мало ходят ко мне по вечерам, — вероятно, не до чтения. Да читать нечего, так ограничен выбор книг, так все наше мало доступно их пониманию. Бабы посещают меня по-прежнему; жалобы, пересуды, болезни, семейные неурядицы — все по-прежнему... А знаете что: с ужасом начинаю замечать, что я-то не прежняя! Нервы притупляются, чувство жалости оскудевает... Господи, как я боюсь сделаться деревяшкой!

Перечитала и что заметила в сравнении с прежним: и слог-то у меня изменился; говорят — верный признак, что ломается характер... Ну, пусть его ломается!»

Спустя две недели Веруся приписала:

«Удостоилась! Сам, сам посетил школу, слушал, следил, пересмотрел книжки, пособия одобрил, похвалил и, вообразите, пожертвовал на волшебный фонарь из своих собственных средств!.. Нет, не шутя, Николай Мартиныч, я ведь решительно, решительно сбита с толку!.. Что он за человек? Каких убеждений? Я не встречала таких людей и совсем недоумеваю. Имел со мной продолжительный разговор... Господи, как мне стыдно, когда вспомню, что собиралась обличать его! Да разве эдакого можно обличать, разве он похож на Мартина Лукьяныча?.. Я все время чувствовала себя девчонкой,— так он подавил меня ученостью, цитатами, ссылками на Европу и пуще всего своим видом. Да нет, я не сумею передать его слов, их надо было записать; это не простой разговор, а передовая статья, ясная и до жестокости убедительная. Вот то-то и горе мое, что убедительная... Нужно добавить, что он очень вежлив, очень приличен и в вопросах общих, ну, философских, что ли, самых передовых мыслей. Однако попытаюсь изложить, что он мне говорил по поводу своих отношений к деревне.

Начала, разумеется, я первая и, нужно сказать, резко высказала все, что накипело на сердце. Это уж после того, как он побывал в школе: я его пригласила к себе и сразу все выложила. И что же, нимало не оскорбился, попросил начала позволения поговорить о школе, объяснил мне, что имеет инструкции от Татьяны Ивановны следить за моим преподаванием, тут же сказал, что, по его мнению, преподавание превосходно и что он убедился, как неосновательны сведения г-жи Гардениной, и выложил вышеупомянутые деньги на волшебный

фонарь. Все это очень меня подкупило, не могу не сознаться. Еще бы, я ведь ожидала встретить в его лице какого-то закоснелого кровопийцу!

Ну, потом он высказал свою программу. Так и выразился: «Во избежание недоразумений считаю долгом изложить вам свою программу». Боюсь напутать, но я совершенно его поняла. Прежде всего он очень строго относится к своим обязанностям: раз, говорит, я принял место управляющего, я должен наблюдать интересы владельцев, а не Петра, не Ивана, я должен извлечь из имени все, что оно может дать. Значит, эксплуатировать? — сказала я.

Он сейчас же объяснил, какое неправильное толкование даем мы этому слову (и действительно неправильное!), и вслед за тем развернул свои планы. Они широкие. Требуется изменить основы хозяйства. Будет введен «рациональный севооборот», и вообще должно быть все рациональное и как в Европе.

Я рассказала ему о Шашлове и вообще о том, как нуждается деревня и что пока все-таки необходимо помогать и непременно вмешиваться, если вздумают открывать кабак.

Но и тут он меня опроверг. «Вы, говорит, все мечтаете о возвращении патроната, о крепостном праве (каково?). Шашлова можно обезоружить отнюдь не филантропией, а открытием ссудо-сберегательного товарищества, о чем я уже и спрашиваю разрешения. Кабак — как хотят, потому что они люди свободные. Помогать из чужих средств не могу, потому что если дам копейку без соображения о выгодах владельца, значит, я украл копейку... А впрочем, — добавил, — я коснулся отношений моих к деревне лишь потому, что вас это интересует. Я явился сюда управляющим Гардениных, представителем гарденинских интересов, а не деревенских; я имел честь изъяснить вам, что правильно поняты интересы владельцев отразятся и на деревне благотельно».

Тут перешло вообще на принципы. Я очень возмутилась последними его словами. «Мне кажется, всякому порядочному человеку должны быть дороги именно деревенские интересы!» — сказала я и подумала: ну, теперь-то непременно рассердится... Не тут-то было! «Я, к сожалению, смотрю на это не одинаково с вами, — спокойно ответил он. — Всякому порядочному человеку должны быть дороги интересы прогресса; а в чем они заключаются, совпадают ли с интересами Гардениных или деревни, это вопрос второстепенный». Я возразила, что могла и что запомнила из прочитанного и продуманного мною, но должна сознаться, у него больше, гораздо больше нашлось аргументов, и — что хуже количества — аргументы-то эти как-то застыли в его голове, окрепли, точно железные, и ясны, ясны... как полированная сталь! Он говорит, что жизнь есть результат исторически сложившихся норм и отношений; что есть нормы жизненные и присужденные к вымиранию; что только жизненные нормы содействуют прогрессу; что между бесчисленным количеством всякого рода норм он, по своему образованию и склонностям, обратил преимущественное внимание на экономические, или, вернее сказать, сельскохозяйственные; что увидал жизненную норму в типе большого рационального хозяйства с оборотным капиталом, с разными промышленностями, с дисциплинированными рабочими, и, наоборот, вымирающую норму — в типе хозяйства мелкого, без денег, без скота, без кредитоспособности, — одним словом, в типе крестьянского хозяйства. Отсюда выходит ясно, что он посвятил себя первому потому, что первое — синоним прогресса, второе — реакции, отсталости, застоя.

Я написала это почти его словами, потому что был он в школе тому назад неделю, а с тех пор я говорила с ним еще два раза и все о том же. Вообразите, меня он принимает теперь даже без доклада, хотя и относительно доклада у него, оказывается, есть теория, в значительной степени понятная. Он очень не любит бесплодных разговоров и говорит только с теми, с которыми надеется прийти к соглашению; а сверх того, с крестьянами потому избегает сноситься лично, чтобы напрасно не раздражать их отказами, и вообще избегает недоразумений.

Ах, боже мой! Совсем, совсем убедил он меня в своей правоте, а как вспомню, что мужики сидят без земли и закабалились Шашлову, все существо мое бунтует... Отчего это?»

Спустя месяц:

«Яков Ильич уехал в Москву, а оттуда, кажется, к Верещагину и еще в Смоленскую губернию к какому-то скотоводу. Выхлопотал разрешение устроить ссудо-сберегательное товарищество; оно будет помещаться во флигельке Капитона Аверьяныча. Не правда ли, как это хорошо со стороны Якова Ильича?»

Затем до февраля Веруся описывала свои школьные дела, наблюдения над детьми, разговоры с бабами и ни разу не упомянула имени Переверзева. Последняя же страничка была такого содержания:

«О, друг мой! Пожалейте меня... Такая я стала слабая, расшатанная, такая малодушная... И чего недостает мне, спросите? Здоровья девать некуда: даже совестно в зеркало смотреться... С ребятами лажу. Деревня? Помогаю, чем могу... Зимой были большие заработки: рубили и возили лес, со станции тоже был извоз — пока отлегло и нужды особенной нет... А между тем так взвинчены нервы, так временами хочется плакать... Ах, уйти бы на край света!.. Дни уж очень похожи один на другой, жизнь серенькая!.. А тут потянуло теплом, солнце яркое светит, даль манит, с крыш каплет... Ну, что я за дурной человек, посудите, пожалуйста!.. Когда мы увидимся? Отчего пишете так редко? Как мне хочется познакомиться с вашим Ильёю Финогенычем... Вспоминаете ли вы меня? Я вас часто, слишком часто вспоминаю... Помните наш разговор тогда, зимою? Господи, как мы были молоды, что могли говорить о таких пустяках... Влюблен — не влюблен, не все ли равно? Жизнь бежит одинаково у всех и так сбивается на одинаковую скуку, одинаковую тоску... Все то же да то же, вчера точно сегодня, слева посмотришь — истина, справа — ложь... фу, какая скука!.. Знаете что: до боли иногда хочется поступить в рабство, в самую беспощадную зависимость... И знаете, к кому поступить? К такому человеку, у которого все было бы размерено и расчислено, все было бы ясно и без всяких туманных пятен... Табличка умножения бывает иногда так привлекательна, столько посылает отрады уму, измученному разными вопросами... Однако что за вздор я пишу!..

На каникулы непременно вырвусь к вам. Ведь увидимся же? Ведь переговорим же? Ах, как много нужно сказать, что не упишешь и не напишешь!.. Старосты Ивлия, конечно, давно нет, конный завод думают продать; кажется, его торгует какой-то купец Мальчиков. Ходоки в Петербург ездили и, разумеется, воротились ни с чем: Юрий Константинович пригрозил отправить их в полицию... Ну, кажется, ответила на все ваши вопросы.

Вот вышло какое письмо, целая стопа! Все почему-то не решалась отсылать... Иногда мне казалось, что вы так отошли от Гарденина, так прилепились к иным интересам, так далеки те времена, когда мы читали вместе и слушали вьюгу — помните?.. Мне жаль того времени... А вам?.. Ну, все равно, читайте, отвечайте, буду ждать.

А вы слышали о Ефреме Капитоныче и Лизавете Константиновне? Яков Ильич как дважды два доказал мне, до чего наивны и вредны эти фантазии. Пожалуй, он и прав, но опять все существо мое бунтует против его аргументов. Что же это за мучительный человек со всеми его цитатами, ссылками на Европу, ученостью и благоразумием!.. Ну, а посмотрим, кто кого...

Вот и обмолвилась глупым словом. Не думайте обо мне худо, дорогой Николай Мартиныч,— я просто неопытная, невежественная девушка, которая вдобавок блажит и которой очень, очень нужно дружеское, искреннее, горячее участие».



Как Николай ответил Верусе.— Его жизнь у купца Ефрова.— «Утописты».— Предприимчивая девица.— Николай в силках.— Свидание его с Верусей, и кулак ли Переверзев.— Илья Финогеныч разрубает узел.— Веруся замужем.

С трепетным чувством прочитал Николай письмо Веруси. Первым движением его было изъясниться в любви, убедить Верусю, чтобы она покинула Гарденино, предложить ей «союз на жизнь и смерть». Но скоро ему показалось, что грубо начинать прямо с *этого*, что другие, «принципиальные», вещи в ее письме требуют ответа, что нужно доказать ей, какой «софист» господин Переверзев и какая возмутительная «передержка» скрывается за его теориями. А чтобы доказать, нужно было обстоятельно переговорить с Ильєю Финогенычем, порыться в книгах и вообще хорошенько обдумать. Разоблачение «софиста» и потому еще казалось необходимым Николаю, что совпадало с его тайным намерением щегольнуть перед Верусей, представить ей, как сам-то он вырос за эти восемь-девять месяцев, как много узнал нового и «подвинулся в развитии» и как, следовательно, достоин, чтобы именно ему, Николаю, а не кому-либо другому, Веруся «отдалась в рабство», то есть, иными словами, вышла бы за него замуж.

К сожалению, обдумывать оказалось некогда. Торговля железом требовала внимания; потом необходимо было написать корреспонденцию о злоупотреблениях в городском банке; потом пришлось ехать в Тулу за товаром. Поездка в Тулу вдобавок принесла много новых впечатлений, в которых тоже нужно было разобраться. Кончилось тем, что Николай написал Верусе письмо без всяких излишних, очень подробно изобразил свою жизнь, вскользь выразил негодование на «софизмы» Переверзева, просил непременно приезжать на каникулы и, в свою очередь, обещался переговорить обо всем, обо всем. Долго спустя Веруся ответила, что приедет во время ярмарки, что осталась на лето в Гарденине и готовит в гимназию племянника управляющего (это неприятно кольнуло Николая), а что касается «софизмов», то она будет очень рада, если ей докажут, что это софизмы.

Николай оказался хорошим приказчиком. Дело было ему по душе, «чистое», как говорят о торговле железом, поставленное действительно очень «добросовестно», привык он к нему быстро. Через год уже не было никаких препятствий, чтобы осуществилось обещание Ильи Финогеныча: Николай мог взять в кредит товар и открыть свою лавку где-нибудь в селе. Но Николай медлил. В сущности, ему чрезвычайно нравилась новая жизнь: он так привязался к Илье Финогенычу; так было приятно изучать незнакомое дело, нисколько не становясь в зависимость от барышей и убытков; так было хорошо чередовать это дело разговорами, книжками, знакомствами. Старик, в свою очередь, молчал: ему жаль было расстаться с Николаем, он любил его, он отводил с ним душу. Кроме Николая, конечно, находились еще люди, льнувшие к Илье Финогенычу, жаждавшие его речей, его наставлений, но никто из них не возбуждал в нем таких родственных, таких теплых чувств. И не мудрено: в семье Ильи Финогеныч не обретал участия; он давно уже убедился, что «бабы его тянут не туда»: у дочерей женихи да наряды на уме, а у жены наряды, сплетни да стучалка. Приказчики, и те относились к нему как к «блаженному», не прочь были поглумиться за его спиной. И вот Николай был единственный человек в доме, понимавший Илью Финогеныча, любивший его, благоговевший перед ним. «Он мне очаг мой унылый скрасил!» — говорил о нем старик.

Стояли знойные июльские дни, и в городе опять собралась ярмарка. Все городские лавки перебрались на выгон, в том числе и лавка Ильи Финогеныча. Николай с раннего утра уходил туда и возвращался в город вечером, весь в пыли, усталый, охрипший, со звоном в ушах от непрерывного грохота и стука железа. Зато хорошо было вечером в тенистом хозяйском саду...

Высоко-высоко на совершенно черном небе сверкали звезды. Шум улегся; воздух был тепел и неподвижен. Под густыми ветвями липы горела лампа, сидели люди вокруг стола. Искривленное лицо Ильи Финогеныча выделялось своими характерными, сердитыми чертами; младшая его дочь, Варя, разливала чай; дальше размещались: румяный юноша с большими восторженными глазами, в светлом пиджачке и цветном галстуке, — сын богатого бакалейщика; учитель географии из уездного училища, Дмитрий Борисыч; прасол Федосей Лукич в поддевке и высоких сапогах, весь черный от загара и знойных степных ветров... Все эти люди, с легкой руки остряка-нотариуса, известны были в городке под именем «утопистов».

В матовом свете лампы зелень казалась какою-то фантастической. Зато несколько шагов в сторону стояла непроницаемая темнота: глаз едва различал густую толпу деревьев, кустарники, дорожки, дом, притаившийся в купах сирени. Пахло липой, цветами из ближней клумбы, свежестью. Издали долетали звуки музыки, странно и страстно оживляя немую тишину ночи, — это играли в городском саду какой-то модный вальс.

— Едете в клуб, Варвара Ильинишна? Нонче ожидают чрезвычайного оживления-с, — произнес юноша.

Варя презрительно пожала плечами.

— Ужасное оживление? — сказала она. — Я и вообще равнодушна к подобным удовольствиям, а с этими наезжими кавалерами и вовсе я не желаю встречаться. Только и разговору — каков урожай да почему рабочие руки!

— Н-да-с... это точно-с... развязки мало-с, — пробормотал юноша.

— Ох, Варвара, — сказал Илья Финогеныч, морщась, точно от боли, — с которых это пор? Неделю сидишь, это верно, а то ведь ни одного танцевального вечера не пропустишь.

— Ну, папаша, вы уж всегда... Конечно, приятно поплясать и послушать музыку... И тем больше — Надя с мамашей настаивают, но ежели вы воображаете, что для меня танцы составляют важность, — ошибаетесь!.. Я нонче, сами знаете, каталог вам переписывала.

В это время в доме открылось окно, и послышался слащавый, но вместе с тем и раздражительный голос:

— Варя, так ты решительно не поедешь?

— Ах, Надя!.. Ведь я уж сказала.

— Бессовестная! Сама Филиппу Филиппычу кадрили обещала, а сама фантазия теперь затеваешь.

Варя вспыхнула до ушей.

— Сделайте милость! — крикнула она. — Можете оставить ваши наставления при себе.

Казалось, ссора готова была вспыхнуть между сестрами. Илья Финогеныч опять болезненно сморщился, гости потупились... Вдруг Надя вкрадчиво произнесла:

— Милочка, я твою брошку надену... Можно?

— Сколько хочешь.

Окно захлопнулось, и вскоре послышался треск экипажа, съезжавшего со двора. Несколько мгновений длилось неловкое молчание...

— Так вот, Митрий Борисыч, — сказал Илья Финогеныч, — на чем, бишь, мы остановились?.. Да, Спенсер к тому и ведет, что в басне Агриппы представлено. А короче сказать: всяк сверчок знай свой шесток и с суконным рылом в калашный ряд не суйся.

— На этот предмет ловкая статейка в «Отечественных записках», — робко вставил юноша.

— Вот вы говорите — Спенсер, Илья Финогеныч, — сказал прасол, — а я по зиме гонял быков в Питер, так мне попался человек один, из раскольников... Знаете, из новеньких, в кургузом платье... Имели мы с ним разговорец в Палкином трактире. Царство, говорит, что снасть: есть махонькие колеса и есть побольше, и винты разные, и рычажки, и зубья, и вроде как передаточные ремни... Беднота, говорит, в то же число входит, без нее вся механика прекратится. И без торгового человека прекратится, и без судьи, и без воина... Мало того, вор, говорит, и тот нужен, и тот обозначает вроде, как бы сказать, гайки али винтика. Все одно к одному цепляется: звено в звено. А я спрашиваю: ну, как же, умный человек, кровопролитие понимать и тому подобное? Это, говорит, нужно понимать на манер подмазки: как снасть на масле, так всякое, говорит, общежитие на крови держится... Вот какой философ!

— Ты бы спросил у него, какая снасть-то сему подобна? Разве толчея?.. Дурак! Сравнял мертвую махину с человечеством.

— А ведь так оно и выходит-с на самом-то деле, — заметил сын бакалейщика.

— Вот, вот, — подхватил Федосей Лукич.

— А какой вывод? — крикнул старик, осердясь. — Ты, Харлаша, вызвался, — ну-кося, докажи, какой вывод?

— Дозвольте рассмотреть, — мягко сказал Харлаша и шероховатым, гостинодворским языком, тем более странным, что ссылаясь на Бокля и Маколея, начал объяснять, почему сравнение кажется ему «похожим».

— А какой из этого вывод? — повторил Илья Финогеныч.

— Вывод один-с: противоборствовать, — ответил Харлаша.

— Вот то-то!.. В смысле картины похоже, но отнюдь не в смысле того, что так и быть надлежит. Бывают времена, подлинно ужасаешься, когда видишь махину общежития, — ужасаешься за мечту о благе... Махина сильна, крепка, жестока; мечта без союзников, без власти... Ну, что же — руки покласть? Гасить мечту? Идти по стопам Молчалиных?

Старик помолчал и злыми, блестящими глазами обвел гостей. Одинокая виолончель рыдала где-то вдали, наполняя пространство тоской, негой, страстью, звала куда-то, пела о чем-то мучительно-сладком и недоступном.

— Никак! — продолжал Илья Финогеныч, и голос его дрогнул, проникся каким-то торжественным выражением. — Малый желудь дает рост и становится ветвистым дубом. Вот в этом прозревай подобие. Вряд ли кто надеется, сажая дуб, укрыться под его тенью, а сажают же. Кому же готовили прохладу? Потомству. Так и с мыслями добрыми... Нет той мысли, которая не возросла бы и не дала плод. Обратись к истории, вспомни Новикова и Радищева... То ли была не страшна махина крепостного права? Однако не усомнились, дерзали противупологать махине мечту, сеяли... И мы пожинаем плоды! Теперь, слава Александру Второму, пути открыты, нива вновь вспахана, способа даны... Подражай доблестным людям, долби невежество — и вперед!.. Лелей мечту о благе человечества... Воссияет, воссияет! — Он высоко откинул руку и, театрально, по-старомодному выговаривая стихи, произнес:

...Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

— Совершенно правильно, Илья Финогеныч! — с необыкновенным возбуждением крикнул Харлаша. — Эх! Ежели неправильно — как жить?.. Каким

манером жить, спрошу я вас?.. Сидишь теперь в лавке. Тягенька барыши наблюдает... Дома — картеж, скучища... Что я надумал, Илья Финогеныч, и вы, Митрий Борисыч, и вы, Федосей Лукич... Хочу я экзамен на народного учителя сдать... Ась?.. Тишком да тайком авось подготовлюсь. А там... там видно будет! — Он отчаянно махнул рукой.

Все с оживлением заговорили о проекте Харлаши. Одна Варя имела вид скучающий, презрительно поводила своими пухлыми, румянными губами, с нетерпением поглядывала в глубину сада. И вдруг преобразилась: стукнула калитка, послышались торопливые шаги, на свет лампы вышел Николай. Со всеми он поздоровался, как с старыми знакомыми, шумно вздохнул, бросаясь на стул, и с жадностью начал пить чай. Варя с похорошевшим лицом, с какою-то заornoю и обеспокоенною улыбкой смотрела на него.

— Измаялся, Николушка? — ласково спросил Илья Финогеныч.

— Пустяки!.. Тысячу триста сегодня выручили!

— Но зато какой труд! — с участием воскликнула Варя, и в ту же минуту Николай почувствовал, что под столом прикоснулись к его ноге. Он покраснел, отодвинулся. Вскоре снова начался общий разговор: о земстве, о городской думе, о выборах, о последнем произведении Щедрина, о том, что затевает Бисмарк. Николай говорил самоуверенно, бойко, вступал в шуточные пререкания с Ильею Финогенычем, покровительственно относился к тому, что высказывал Харлаша. И прекрасная ночь, и то, что выручили тысячу триста рублей, и томные звуки вальса, прерываемые одинокою виолончелью, и влюбленная девушка с такою волнующей улыбкой, и ожидание другой девушки, Веруси,— все это точно подмывало Николая, подсказывало ему удачные, смелые слова, внушало приятные мысли о том, что он умен, и привлекателен, и вообще достоин отмеченного внимания. «Ах, как хороша жизнь!» — восклицал он про себя, и чувство наслаждения жизнью, точно музыка, отзывалось в его душе, совпадая с отдаленными звуками вальса, все существо повергая в какой-то сладкий и беспокойный трепет.

— Николай Мартиныч! — позвала Варя и решительно поднялась с места.— Подите сюда... на два слова.

Николай с недоумением взглянул на нее, отставил стакан. Светлое платье девушки быстро исчезло в глубине сада. Учитель и прасол переглянулись, Харлаша стыдливо опустил глаза.

— Николушка, когда Вера Фоминишна приедет? — значительно спросил Илья Финогеныч.

— Идите же! — крикнула Варя.

— Не нонче завтра, Илья Финогеныч,— торопливо ответил Николай, скрываясь в темноте.

Старик еще хотел что-то сказать, но только с озабоченным видом вынул табакерку и понюхал.

— Молодость! — снисходительно пробормотал прасол.

Илья Финогеныч точно встрепенулся.

— Да, молодость... — сказал он каким-то особенным, грустным голосом.— Хмель... Всполохи... Ах, сколь тяжела бывает расплата за твой пир! — Потом, как будто спохватившись, что говорит несообразные и странные для гостей слова, добавил: — Вот жалел я, что сына у меня нет,— роднее сына нашел человека!.. В год, в один год, а какая перемена, как добропорядочно текут мысли, как здраво научился судить!.. Полезен, полезен будет родному краю.

Гости тотчас догадались, что Николай женится на Варваре Ильинишне и что пришло время решительного объяснения. Прасол и учитель начали расхваливать Николая; Харлаша радостно улыбался, не сводя с Ильи Финогеныча влюбленных глаз. Немного спустя все простились, не желая мешать семейному событию.

Илья Финогеныч остался один. Горькое выражение появилось на его лице.

— Садитесь,— повелительно сказала Варя, указывая Николаю на едва заметную в темноте скамейку.

— Но какое дело, Варвара Ильинишна?

— Ах, садитесь же, несносный человек!

Он сел поодаль.

— Слушайте!...— прошептала девушка, придвигаясь к нему так, что он почувствовал ее платье на своих коленях, опьяняющую близость ее тела.

— Что же слушать? — пробормотал он дрожащим голосом.— Музыку отсюда не разберешь... Кажется, все тот же вальс играют... Далеко.

— А отчего у вас руки холодные?

— Сердце горячее...

Вдруг он очутился в объятиях, поцелуй обжег его губы... Он хотел отстраниться, бежать... На мгновение вопрос Ильи Финогеныча вспомнился ему, мелькнуло лицо Веруси... но только на мгновение... Музыка, звезды, цветы, кровь, стучащая в висках, сердце, замирающее в истоме, густым туманом заслонили его сознание, все существо подчинили своей жестокой власти.

— Ах, как хороша жизнь! — шептал он точно пьяный, и счастливая, бессмысленная улыбка бродила по его лицу.

Вместо того чтобы бежать, он обнимал девушку так, что она задыхалась в своем корсете, целовал ее плечи, щеки, платье, ее влажные, полуоткрытые губы. Страстные слова сами собой срывались с его языка, без размышления, без смысла, лились необузданным потоком,— так же, как и у ней, впрочем, потому, что и она была во власти этой июньской ночи.

— Любишь ли? — спрашивала она.

— О, люблю, люблю!.. Ты моя жизнь, счастье, радость...

— Ах, я тебя ужасно люблю!.. Я тебя давно люблю!.. Милый, красавец!.. Жених ты мой!..

— Невеста моя ненаглядная!..

Порою, однако, пробегали мимолетные просветы, то у ней, то у него возникали какие-то подспудные, посторонние мысли. «Боже! Да ведь она, говорят, и Каптюжникову вешалась на шею... Ведь она неразвита, тщеславна, груба...» — мелькнуло у него. «Ах, сколько-то даст приданого папаша?.. Не стала бы Надька интриговать...» — думала она. Но такие мысли быстро исчезали в волнах молодого, свежего, пьяного счастья, и опять лилась с языка очаровательная ложь, сладкая и вкрадчивая бессмыслица.

— Варвара! — сердито позвал Илья Финогеныч.

Звук этого голоса точно пробудил Николая: он быстро вскочил, взглянул в ту сторону и с ужасом прошептал:

— Батюшки мои... все разошлись! Илья Финогеныч один сидит!..

— Ну, что же? — спокойно сказала Варя, оправляя спутанную прическу; потом встала и спокойно обняла и поцеловала Николая.— Ну, что же? Тем лучше, что один. Пойдем и все скажем.

Николай похолодел. Посторонние мысли выскакивали одна за другой и без всякой помехи строились в отвратительные умозаключения.

— Пойдем же,— повторила Варя и твердым, самоуверенным шагом, с видом победительницы, пошла на свет лампы. Николай следовал за ней, как на привязи, понурив голову, держась в тени.

— Непростойно, Варвара! — сказал Илья Финогеныч.— Против моих правил вмешиваться, но вольность имеет пределы. Ты заставляешь меня испытывать стыд...

— Простите, папаша,— с необыкновенною кротостью ответила Варя,— но я надеюсь, вы не будете препятствовать: Коля мой жених.

Лицо Ильи Финогеныча дрогнуло.

— Вот как! — выговорил он с притворным видом равнодушия. — Так, Николай Мартыныч?.. Подходи, подходи, чего прячешься?

— Так-с, Илья Финогеныч... Покорно прошу ихней руки-с.

Илья Финогеныч побарабанил пальцами; лицо его становилось все сердитее и неприятнее.

— Варвара, — сказал он, — завтра с утра отправляйся к бабушке, — и, точно боясь, что его перебьют, крикнул: — Решу, решу, на днях решу!.. Препятствий не будет!.. Соображу по книгам, сколько могу дать тебе, и скатертью дорога... Слышишь? Соображу. Ступай.

Кроткое выражение быстро исчезло с Вариного лица.

— Надеюсь, вы не поставите меня в фальшивое положение, — заговорила она торопливым, раздраженным голосом, — вы отлично понимаете, что могу стать сказкой города через ваших приятелей!.. Конечно, Надя всегда готова интриговать... И, разумеется, у меня не хватило благоразумия...

Последние слова Варя произнесла сквозь слезы. Николай почувствовал, что обязан говорить.

— Илья Финогеныч, и я прошу решать поскорее... Я себе никогда не прошу, если о Варваре Ильинишне пойдут сплетни... Я так вам обязан... Боже меня избавь оскорбить вашу дочь...

— Сама заслужила! — взвизгнул старик. — Сплетни!.. Экая невидаль — девка с парнем целуется! Все целуются!.. Я тебя не узнаю, Николай Мартыныч. Сказал — решу, и дождайтесь... Ступайте, ступайте!

Варя поняла, что больше ничего не достигнешь, сделала опять кроткое лицо, поцеловала у отца щеку, выразительно улыбулась Николаю и, сказав:

— Ну, хорошо, папаша, я завтра на всю ярмарку уеду к бабушке, — удалилась в дом.

Николай, простившись, поплелся в свое помещение, — он побоялся остаться наедине с Ильей Финогенычем: так лицо старика было строго, гневно и недоступно.

Долго сидел в эту ночь Илья Финогеныч, — сидел понурившись, без гнева, с горькою складкой на губах, смахивая от времени до времени одинокую слезинку.

«О, сколь непрочны привязанности, сколь сложен и обманчив человек! — думал он. — Мечтал найти свежесть, непочатость, идеализм, а что вышло?.. Отводил глаза, показывал мне письма — ясна была чистая, честная к достойной девушке любовь... и вот развязка!.. Что такое? Ужели соблазн денег? И что, кроме соблазна, могло бы заставить таиться, молчать?.. А Варвара?.. Ах, каких детей вырастил... какое отмщение за то, что хотел достичь блага!» — И мысли его улетели далеко-далеко, облекая то, о чем он думал, грустью и безнадежностью.

Николай тоже просидел в своей каморке до рассвета, не отходя от окна, сжигая папиросу за папиросой. Он ни о чем не думал, потому что голова его была тяжела, точно после угара, мысли распадались, не успевая сложиться, крутились каким-то беспорядочным вихрем... И не мыслями, а чем-то другим, — всем существом своим он сознавал, что нет выхода, что судьба устроила ему такую засаду, из которой не спасешься, что остается замереть в тупом и бессильном отчаянии и ждать конца.

И чем яснее представлял он себе Варвару Ильинишну, не там, не на скамейке, — то, что совершилось там, он не мог себе представить, — а в ее настоящем, *дневном*, виде, — тем больше было ему вспоминать Верусю... И даже те, что сквозили теперь уже в неясном тумане, заслоненные ярким образом Веруси, — Грунька Нечаева, Татьяна, — и те казались ему несравненными с Варварой Ильинишной. Особенно Татьяна.

И на мгновение он вообразил лицо Татьяны в ту грозовую ночь, вспомнил зимние вечера, однообразное жужжание прялки, запах стружек, вспомнил

разговор на пароме. И хотя было еще темно и он был один — закрылся руками от стыда, ахнул, точно уязвленный, от внезапного сознания, какой он мерзкий и глубоко испорченный человек.

А наутро, после короткого и тяжелого сна, он встал в новом настроении. Вместо всяких терзающих мыслей, чувств и воспоминаний он испытывал какую-то сосредоточенную беспредметную злобу, да в голове лежала ясная, точно на табличке написанная, бесспорная и безапелляционная, как дважды два — четыре, мысль: «Я скомпрометировал дочь благодетеля, — я *должен* на ней жениться. Долой все мечты и привязанности! Не имею права на них. Никто по крайней мере не посмеет сказать, что я снова поступил бесчестно».

И в таком настроении, с таким решением в голове он ушел в лавку.

Варя уехала к бабушке, за семь верст от города. Она решила безропотно подчиняться «капризам» отца в ожидании скорой свободы и богатого приданого.

Илья Финогеныч днем приходил в лавку, но даже не посмотрел на Николая, а с другими приказчиками был раздражителен свыше всякой меры. И не мудрено: за ночь у него разлилась желчь.

В тот же день приехала Веруся. Она никогда не видала Илью Финогеныча, но, по отзывам Николая, составила о нем самое красивое представление: он ей воображался чем-то вроде Тургенева на портретах — копна седых волос на большой голове, крупные и мягкие черты, мечтательный взгляд... И до такой степени она была уверена, что Илья Финогеныч похож на Тургенева, что и не подумала признать его в старом, сгорбленном человеке, который столкнулся с ней в калитке еферовского дома. Этот человек ужасно ей не понравился своим злым, скривленным на сторону лицом лимонного цвета и особенно язвительным выражением в глазах. Она посторонилась, чтобы дать дорогу.

— Вам кого? — спросил старик.

— Позвольте узнать, дома ли господин Еферов?

— Я господин Еферов-с. Что вам требуется?

Верусе даже больно сделалось от разочарования.

— Мне нужно видеть Рахманного, — сказала она.

— Госпожа Турчанинова, что ли? Идите, идите, Рахманный скоро явится. Может, чаю?.. Пойдемте в сад. Баб моих уж, извините, нету... В гостях. Да небольшой и ущерб оттого, что их нету-с...

За чаем разговор плохо вязался. Илья Финогеныч то вскакивал из-за стола и, бормоча сквозь зубы, принимался поливать цветы на ближней клумбе, то прерывал себя на полслово, то вдруг, с видом напускной любезности, осведомлялся о самых ничтожных обстоятельствах. Но всего неприятнее Верусе был его ядовитый и резкий тон и то, что он беспрестанно фыркал носом, почти к каждому слову прибавлял «слово-ерс». А дальше она совсем закипела негодованием.

— Слышал, слышал-с, — сказал Илья Финогеныч, — просветители завелись у вас в Гарденине!.. Что же-с, кулак, вооруженный наукой, — явление отрадное-с... Прогресс! Движение вперед...

— Если вы имеете в виду управляющего, я думаю, что вы неправы, — краснея, возразила Веруся.

— Может быть-с. С точки зрения нонешной правды, может быть-с.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать: в наше время правда уповалась наподобие солнца неподвижною, а нонче и ей указано круговращение-с. Все условно-с. Вчера — душегубец, а сегодня — герой?.. Не знаю-с. Остарел-с.

— Но вы, значит, слышали что-нибудь превратное о Переверзеве? Какие у вас данные, что он кулак? С ним можно не соглашаться, но как же так голословно обвинять?

— Не знаю-с. Верить кому — не знаю-с... Впрочем, прошу прощения: действительно незнаком с господином Переверзевым.

— Мне очень жаль... Я так надеялась... Мне столько говорили о вас, — дрогнувшим голосом произнесла Веруся.

— Да-с, говорят много — делают мало-с. Не угодно ли еще чаю?

— Благодарю... Не надо.

Илья Финогеныч фыркнул, сорвался с места, хотел что-то сказать Верусе, но вдруг побежал к калитке и закричал кому-то:

— Эй! Сбегай в лавку, пошли Николая Мартинова... Скажи — гостья приехала из Гарденина. Сейчас же! Сейчас...

Веруся презрительно усмехнулась.

«Хорош либерал! — подумала она. — Приказчика величает «Мартинов», кричит на прислугу, точно крепостник...»

Спустя полчаса Верусе пришлось испытать еще бóльшую неприятность: посланный вернулся и объявил, что Николаю Мартиничу теперь некогда и он придет, когда запрут лавку. У девушки даже слезы проступили на глазах. Настроение, с которым она подъезжала к городу и уже испорченное Ильёю Финогенычем, совсем сделалось мрачным. Она приподнялась и, не смотря на Илью Финогеныча, сказала:

— В таком случае...

— Ничего, ничего! — закричал старик. — Все объясняется тем, что он боится обязанностями манкировать... Служба-с! Жалованье получает!.. Сидите, я сейчас сам схожу!

Веруся взглянула, и вдруг ее поразило новое выражение в лице Ильи Финогеныча — выражение какой-то мягкой и ласковой жалости.

— Сам схожу, — повторил он почти нежным голосом, — погуляйте пока: в тени-то хорошо! — и скрылся.

«Странный человек... — подумала Веруся и тотчас же добавила: — Но все-таки неприятный человек».

Николай скоро пришел. Перед калиткой он на секунду остановился: сердце забилось так, что трудно сделалось дышать. В саду никого не было видно. Николай прошел к тому месту, где густою толпою стояли клены, где вчера так горестно решила его судьба... На скамейке, задумавшись, сидела Веруся. Руки ее неподвижно лежали на коленях, на лице, на складках простенького платья сквозили золотистые тени. Николай опять остановился. Веруся похудела с тех пор, как он расстался с нею; пышный румянец исчез... Но что за пленительное выражение появилось в этом похудевшем лице? Какая трогательная и влекущая прелесть!

Под его ногою хрустнул сучок. Веруся вздрогнула и с легким криком бросилась ему навстречу. Сами не зная как, они обнялись и крепко поцеловались. Но тотчас же мучительная мысль, что дважды два — четыре, овладела Николаем. Он отвел руки Веруси, с растерянным видом усмехнулся.

— Что с тобою? — спросила она, широко открывая затуманенные глаза.

— Видите, Вера Фоминишна... — проговорил он с усилием, — такие тут подошли обстоятельства... Мерзости разные... Одним словом, все кончено: я связан... женюсь на дочери Ильи Финогеныча.

Веруся села как подкошенная, закрыла лицо... плечи ее вздрогнули раз, другой.

— Ах, зачем вы не приехали вчера? — вырвалось у Николая.

Но она ничего не ответила. Длилось тягостное молчание. Николай стоял, прислонившись к клену, отчаянно ломая руки, не сводя налитых слезами глаз с Веруси, не зная, что сказать.

Вдруг его как ножом резнуло: Веруся сухо и презрительно рассмеялась.

— Поздравляю! — воскликнула она, открывая лицо. — Образцовая карьера!.. Он ведь очень богат, этот Еферов? — И вся вспыхнула от вне-

запного прилива как будто сейчас только сознанной обиды.— Но с чего же вы взяли, что я претендовала выйти за вас? Как вы смели сказать, что если б я приехала вчера — вы бы меня осчастливили?.. Успокойтесь! И не думала выходить!.. Мне только жаль, что я заблуждалась, что считала вас таким... О, как вы далеки от того, чем я вас считала!..

— Но почему же, Вера Фоминишна?.. Разве выполнить свой долг бесчестно?

— Какой долг?

— Если я имел подлость скомпрометировать девушку, да еще дочь человека, ближе и выше которого не знаю?

— А!.. Скомпрометировать!.. Вы иначе рассуждали, когда дело шло о столярной жене или о крестьянской девушке... Впрочем, мне стыдно и говорить-то об этом... Ваше дело... С какой стати мне вмешиваться? — И Веруся с лихорадочною поспешностью начала подбирать слова, которые могли бы убедить Николая, что ей все равно; изменила тон, усиливалась придать лицу спокойное выражение.— Простите, пожалуйста,— говорила она,— мне просто сделалось обидно, что вы женитесь на богатой... Конечно, это пред-рассудок: Лизавета Константиновна тоже была богатая... Пожалуйста, извините!.. Я очень нервная стала... и вообще неладно себя чувствую... В сущности, я очень рада вашему счастью.

— Счастье! — горько проговорил Николай, и ему ужасно захотелось плакать, броситься к ногам Веруси, рассказать ей все, все... испытать если не прелесть любви, так прелесть жалости от той, которая любила его. Он теперь знал совсем наверное, что она любила его.

— Послушайте, вы что-нибудь говорили Еферову о Якове Ильиче? — спросила Веруся, помолчав.

— О каком Якове Ильиче?

— Ну, о Переверзеве?

— Ах, да!.. Я показывал часть вашего письма.

— Напрасно. Вы были не вправе делать это.

— Но почему же? Илье Финогенычу да не показать?

— Не понимаю, чем он заслуживает такое доверие.

— Илья Феногеныч?

— Да, господин Еферов. Он уж мне сообщил, что Яков Ильич кулак. Как это похоже!

— Что вы, Вера Фоминишна?.. Конечно, кулак!.. Только с иностранным клеймом.

— Не знаю... не вижу.

— Да помилуйте!.. От вас ли я слышу такие слова?.. На мужицкие деньги образование получил, да мужика-то этого под гнет!

Девушка скептически пожала плечами.

— В этом надо еще разобраться,— холодно возразила она,— деньги с крестьян он не тянул на свое образование, работать на себя не заставлял... Вообще с ним можно спорить, но все-таки не кулак же он.

— Кулак!

У Веруси затрепетали углы губ.

— Мы не согласимся, и лучше не говорить об этом,— сказала она.— Оскорблять легко, оспаривать трудно. Он очень, очень порядочный человек.

— Однако перемена произошла в ваших мыслях! — насмешливо воскликнул Николай, чувствуя, что снова овладевает им какая-то угрюмая злоба.

— Может быть.

— Прежде вы были не такая.

— Вероятно.

— Что ж, Вера Фоминишна, остается радоваться, что так сложилось.

Пути наши не только снаружи раздвоились, но и внутри: разным богам молимся!

— О, конечно, разным! — значительно сказала Веруся. Голоса у обоих все повышались, лица загорались негодованием, взгляды становились неприязненными и чуждыми. Вдруг Веруся точно спохватилась, усталая, печальная улыбка появилась на ее губах. — Знаете что? — сказала она. — Полно говорить об этом. Давайте поговорим лучше о прошлом... Ведь так было хорошо, не правда ли? Вообразите, кабак-то все-таки открыли, и Шашлов Ерема преисправно помогает отцу... Вот мы научили грамоте-то на пользу!.. Но зато Павлик... помните, сын Арсения?.. прелестный, удивительно прелестный мальчик.

— Но я всячески скажу, что господин Переверзев софист, — упрямо продолжал Николай, — об этом нужно подумать... Вот и кабак открыли!.. Разве вы не видите, что он самый отчаянный эксплуататор? Ведь это видно-с. И Илья Финогеных...

— Николай Мартиныч! — с особенным выражением сказала Веруся. — Оставьте... Я прошу вас... Ах, сколько загадок, сколько проклятых вопросов на свете!.. Оставьте! Я думала... — Губы ее сморщились, голос дрогнул. — Я думала, что вы... что мне... Ну, все равно, разберусь сама, а не разберусь — туда и дорога... — и вдруг опять закрыла лицо и прошептала: — Боже, как я одинока!.. Как мне жить хочется!

Прошел еще час, томительный, тоскливый. Слова выговаривались с усилием, потому что ими все больше и больше старались скрыть истинные мысли, истинные чувства, затушевать то, о чем действительно хотелось говорить. Наконец Веруся вздохнула, пристально и печально посмотрела на Николая и стала прощаться.

— Да где же вы остановились? Разве не у нас?

— Нет... Мы едем в ночь.

— С кем?

— Я здесь с Яковом Ильичом. Он завез меня и сам отправился по делам. Мы условились встретиться у следователя, это его товарищ. Кстати, где живет следователь?

— Вот как! — насмешливо воскликнул Николай. — Мудреного нет, что вам нравятся софизмы господина Переверзева! Следователь имеет квартиру на Соборной площади-с.

Веруся стояла, понурив голову. Она точно не слыхала, что и каким тоном сказал Николай, думала о своем. Потом тихо спросила:

— Послушайте, не могу я видеть вашу невесту?

— Она у бабки, за городом... Оставайтесь!

На мгновение девушка выразила колебание. Но только на мгновение. Они стояли друг против друга все под теми же кленами, вершины которых так и рдели теперь в огне заката.

— Ну, все равно, прощайте! — Глубокая тоска изобразилась на лице. Веруси, голос ее содрогнулся и зазвенел жалобным, надтреснутым звуком. — Прощайте!.. Не судите, коли что услышите... Простите, если сказала что лишнее. Ах, боже мой, какая я глупая!.. — Она насильственно засмеялась сквозь слезы, пожала его руки и торопливо сделала несколько шагов. Потом обернулась, прежняя шаловливая улыбка, как луч, проскользнула по ее лицу. — А помните, я крикнула вам, угадайте, кого люблю? Это ведь я про вас крикнула.

— Веруся!.. Друг мой хороший! — горестно воскликнул Николай, протирая руки.

— Да, да, про вас. Не правда ли, как глупо? Ну, прощайте. Не провожайте меня. Не надо.

Николай беспомощно опустил на скамейку и заплакал, как ребенок.

Прошло пять дней. Ярмарка кончилась. Николай несколько успокоился за хлопотами по торговле и внутренне на все махнул рукою. И как только успокоился — заметил то, что другие давно уже замечали, что Илья Финогеныч не по-прежнему относится к нему: суров, раздражителен, называет его «Николай Мартиныч», избегает говорить с ним. «Что бы это значило?» — размышлял Николай и терялся в догадках. Одна была самая правдоподобная: старик сердился за то, что он в ту ночь, при чужих, ушел вдвоем с Варей. Ну ведь то покрыто? Ведь он же приносит себя в жертву? Раз случилось, что Илья Финогеныч особенно грубо и оскорбительно обошелся с Николаем. Тот не вытерпел:

— Илья Финогеныч! Я так не могу... — сказал он. — У меня только и людей осталось на свете, что вы... За что такое отношение?

Старик даже почернел от злости.

— Будет-с! — крикнул он, задыхаясь. — Достаточно-с!.. Чего хитрить? Все равно добился своего!..

— Чего добился? О чем вы говорите?

— Богатой невесты, Николай Мартиныч, невесты-с!.. Умницу, сердце горячее отринул, дуру бессердечную добыл!.. И не сделали ошибки-с!.. Тирана изображать собою не буду!.. Блаженству вашему мешать не стану!.. Давно отчислено за Варварой двадцать тысяч, до копейки получайте-с!

У Николая вся кровь бросилась в лицо, необузданная кровь Мартина Лукьяныча Рахманного. Отца она побуждала драться, когда ему казалось, что он оскорблен, — сыну подсказывала необдуманные и жестокие слова.

— Ошибаетесь, — проговорил он, усиливаясь сдержать трясущийся подбородок. — Не только-с двадцатью-с тысячами-с, миллионом не польстился бы на Варвару Ильинишну!.. Что в петлю, то на ней жениться!.. Имею одно утешение: исполню долг-с. Не хочу, чтоб о вашей дочери сплетни распускали... хотя сама же она силки расставила!

— Как так — силки? Говори толком.

— Очень просто: первая поцеловала, первая завлекла. Прежде, сами знаете, я внимания на нее не обращал... Разве эдак можно губить человека?.. Вы говорите — умницу отринул... Разве мне легко?.. А тут еще вы осмеливаетесь заподозривать... Ни копейки не возьму! Не нужно. Эх! — Он махнул рукою и, чтобы не разреветься в присутствии Ильи Финогеныча, быстро убежал в свою каморку.

Оставшись один, Илья Финогеныч с удовольствием крикнул, рассмеялся и не спеша стал играть табакеркой.

Вскоре в доме купца Ефорова разыгралась драма. Весь город звонил о бессердечии, скаредности и самодурстве Ильи Финогеныча: Илья Финогеныч торжественно объявил дочери Варваре, что лишает ее приданого... за что? За то, что простерла свободу свыше пределов. «Это вольнодумец-то о пределах заговорил!» — вопияли кумушки мужеска и женска пола. Один Харлаша заступался за старика, хотя в глубине души и был смущен. Варя впадала в истерику, «кричала на голоса», кляла свою судьбу и тирана родителя, однако без приданого не решалась выходить за Николая. Дело кончилось формальным отказом. Николай, не помня себя от радости, тотчас же все описал Верусе, заключив письмо робкими словами: «Простит ли? Полюбит ли снова? Согласится ли связать свою судьбу с его судьбою?»

На другой день после размолвки с Варварой Ильинишной Илья Финогеныч позвал Николая к себе в кабинет.

— Ну, Ниолушка!.. — сказал старик, и глаза его засияли лукавым блеском. Николай, в порыве неизъяснимой признательности, бросился целовать его.

— Полно, полно!.. И я тебя узнал лучше, и ты меня. Выгода обоюдна. Сядь, выслушай... — Илья Финогеныч выпрямил сутуловатую свою спину,

принял важное и строгое выражение и взволнованным голосом продолжал: — Урок тебе, Николушка... Та комедия, в которой имел ты ролю, смешна, но и постыдна. Как-никак совесть твоя не должна быть успокоена. Ты радуешься — и я за тебя рад, однако ежели размыслить глубже — Варвару жалко. Что ты сказал о силках — верно, но взрослому стыдно и грех слышаться на это.

— Я сам понимаю, Илья Финогеныч... У меня невольно вырвалось,— пробормотал Николай.— Не упрекни вы приданым, я бы никому на свете не сказал. И, конечно, я сам виноват...

— И чувствуй свою вину. Я, брат, чувствую... Но это уж мое дело. Пустозвоны болтают то, сё... но в душе у меня никто не был. Одним утешаюсь, Варвара доказала, что не любит тебя,— найдет одинаковое счастье и с другим... Словом, это мое дело. Ты же памятуй: бойся того состояния крови, при котором разум бездействует. Ежели этот урок забудешь, вспоминай более жестокий: мою семейную жизнь... Не распространяюсь, сам видишь, сколь я блажен.

Илья Финогеныч тяжело вздохнул и задумался.

— Никогда этого больше не будет! — твердо заявил Николай.— Имею две подлости на душе,— вы знаете о первой,— достаточно. Зарублю по конец жизни.

— Друг мой! Недаром говорят, что добрыми намерениями ад выслан... А вот что я тебе скажу: больше заботы нагружай на себя; забота, что броня, оберегает душу от постыдного. И в этом смысле вот тебе мой совет: сдавай свою теперешнюю должность, бери товару на две, на три тысячи и открывай лавку в селе. И помни: я тебе говорю не токмо о семейных заботах, в них тот же омут,— я говорю о мирских, потому и посылаю в село. Впрочем, об этом мы с тобой достаточно беседовали... Ничего не скажешь против?

— О, с живейшим удовольствием. Как мне благодарить вас, Илья Финогеныч!..

— Жизнью, Николушка, делами на пользу страдающего брата. Иной благодарности не ищу. Поцелуй меня, дружок!.. Благословляю тебя на подвиг добрый!

Илья Финогеныч всхлипнул и стыдливо отвернулся в сторону.

Николай решил открыть лавку в базарном селе Ш... А пока, сдав должность, отбирал товар и со дня на день собирался ехать, сначала к Мартину Лукьянычу на теткин хутор, а потом и в село, где нужно было строиться или снимать готовое помещение,— в сущности, он медлил в городе без нужды: с страстным нетерпением ждал ответа Веруси.

Ответ пришел странный, ошеломляющий.

«По моей подписи вы поймете,— писала Веруся,— что я теперь уже не имею права говорить вам все... Ах, с какими мыслями я ехала к вам,— с какими чувствами возвращалась! Кончена юность, друг далекий, все кончено. Вот уже неделю я замужем. Я дала слово на третий день, как виделась с вами. Теперь не знаю даже, чего я достойна: жалости ли, презрения ли, или зависти... И последнее вероятно: муж мой во всяком случае не кулак, человек очень честный и очень последовательный. Учительницей остаюсь по-прежнему. Ну, все!.. Будьте счастливы, если можете. Не помните лихом прошлого, не забывайте меня... Господи, как мы были глупы!

Вера Перверзева.



«Не стоит жить!» — Что об этом думал Иван Федотыч. — Его исповедь. — Театральный поступок Николая. — Гарденинские новости. — Татьяна. — «Братья». — Душеполезный подвиг. — Еще сын на отца. — Конец.

Николаю казалось, что солнце его жизни погасло.

Правда, и прежде ему случалось мучиться ощущением душевной темноты, но тогда просто мимо бегущие тучки заслоняли солнце, в душе точно проходила некая тень и исчезала бесследно. Еще недавно это происходило с ним и, казалось, исчезло бесследно. Но теперь совсем, совсем не такая была темнота.

Напрасно он пытался забыть, усиленно работая, «обременяя себя заботами». Съездил к отцу, выпросил у него денег на постройку, купил лес, возился с плотниками и печниками, посылал корреспонденции в газеты, уговорил тетку подписать ему землю для ценза, посещал очередное земское собрание, — пока в качестве постороннего человека, — знакомился к гласными из крестьян, убеждал их класть шары такому-то направо и такому-то налево, составлял прошения безграмотным, проник в дела Ш — го училища, сбил «стариков» сделать учет волостному старшине.

И за всем тем чувствовал то же самое, что чувствовал бы художник, заброшенный на необитаемый остров. Скучно художнику жить в одиночку, и принимается он за свое мастерство, пишет картину. И пока пишет, как будто не замечает скуки, любит свою работу. Но вот картина кончена, покрыта лаком, вставлена в раму. А дальше что? Зачем?

«К чему? Зачем?» — вот что отравляло все Николаевы заботы. Ту бессмыслицу, которую он находил в своей жизни, он переносил и на людей и, подставляя вместо «я» — «мы», совершал самые мрачные обобщения.

К зиме лавка была готова, и Николай открыл торговлю. Мартин Лукьяныч переехал к нему. В будни сидел в лавке, читал газеты, празднично смотрел на народ, заводил поучительные разговоры с знакомыми мужиками; в воскресенье, базарный день, удалялся с купцами и управителями в трактир, раз по десяти пил чай, закусывал и угощался водкой, а в пьяном виде хвастался «своим Николкой», ругал «нонешние времена», «гвардейцев» и «агрономов». Помощи от старика было очень мало, и Николай взял себе в подручные Павлика Гомозкова, от которого имел частые сведения, что делается в Гарденине. Впрочем, такие известия сообщали и гарденинские мужики, бывая на базаре. Новостей было много. Конный завод продали купцу Мальчикову, степь вспахали, землю разбили на бесчисленное множество полей, завели племенной скот, в овчары выписали немца из Саксонии, безостановочно производили постройки.

Версуня продолжала быть учительницей, хотя не ходит в школу, а ездит в саночках, с кучером. Управителя видят мало, да и то издали; по делам обращаются к приказчикам, которых шесть человек, да в конторе два писаря, не считая старшего. «Начальства у нас сколько хошь!» — посмеивались мужики, к явному удовольствию Мартина Лукьяныча.

Раз, в базарный день, в лавку вошел сгорбленный человек в пальто, подпоясанном веревочкой, в валенках, в глубоком треухе, надвинутом на густые седые волосы.

— Нет ли у вас, душенька, сверла получше? — сказал он Павлику, стоявшему у прилавка.

Николай так и вздрогнул, услышав этот голос. Наскоро отпустив покупателя, которому продавал в это время пару подков, он бросился к старику:

— Здравствуйте, Иван Федотыч!.. Или не узнаете?

Иван Федотыч приложил козырьком ладонь, всмотрелся, и вдруг его сморщенное, дряхлое, обросшее белою бородою лицо дрогнуло и озарилось радостною улыбкой; на мутных, выцветших глазах показались слезы.

— Николушка! — воскликнул он. — Как возмужал, душенька! Как изменился!..

— И вы постарели, Иван Федотыч.

— Ах, друг, года подошли... Вот ослеп почти. Прихварываю малость. Ну, что об этом... Ты-то как? Ай, ай, как возмужал, до чего не узнать тебя?.. А у нас сказывали мужички, будто гарденинский управитель лавку открыл: я и думал, что Мартин Лукьяныч... О тебе же слышал, будто в городе живешь, у купца... Ну, рад, рад, душенька, что свиделись!

Николай был рад не менее. Давно истребилось в нем то чувство, которое мешало ему встречаться с Иваном Федотычем, и с неожиданною силой вспыхнуло старое, хорошее чувство, возникли воспоминания о хорошей и светлой поре, о невозвратном. Оставив лавку на Павлика, он ввел Ивана Федотыча в горницу, принялся хлопотать о самоваре. Старик разделся, сел и все следил ласковыми, слезящимися глазами, как с возбужденным видом суетился Николай: собирал посуду, накрывал на стол, бегал в кухню.

Разговор настроился, когда сели пить чай. Иван Федотыч стал быстро расспрашивать Николая о делах, о торговле, о том, как ему живется теперь и жилось у купца, и т. п. Но Николай еще не чувствовал потребности рассказывать о себе. Он только знал, что все, все расскажет, — не сейчас, а немножко после, — и о Татьяне расскажет, если окажется нужным... И сознание, что он все расскажет Ивану Федотычу, раскроет ему душу, доставляло Николаю какое-то радостное утешение.

— Вы-то как поживаете, Иван Федотыч? — спрашивал он, ответив краткими словами на вопросы старика.

— Я-то?.. Все плачу, душенька, все слезами исхожу.

Иван Федотыч грустно улыбнулся.

— Лекарь смотрел, говорит — глазная болезнь, а мне, признаться, иное приходит в мысли: не настало ли время не мне одному, а всем плакать?

— Вот, Иван Федотыч, а прежде у вас не было столь мрачных мыслей!

— Ах, душенька, не говори о прежней жизни!.. Слыхал ли сказание, как Иустин Философ бога разыскивал? Скитался Иустин в пустыне, на берегу морском, и возносился мыслями ввысь, искал господа. А был он язычник... И болел душою, потому что в разуме утвердил, что бог есть, сердцем же своим не постигал его, не имел веры. И пустыня не давала ответа Иустину, волны морские праздно касались его уха. И встретил он человека, старца... Старец Христово учение ему преподал, послал в мир. И уверовал Иустин Философ... Я к чему веду, душенька: жил я в Гарденине словно на острове. Слышал — бурлит где-то житейское море, а сам тихую пристань не покидал... Углублялся в книги, в мечты, вел разговоры о превозвышенном, шнырял мыслями то в одну, то в иную сторону, а как люди живут, как свыше всякой меры гибнут страждущие, сколько беды на свете, велика ли пучина скорбей человеческих — и думать забыл.

— Все равно, веков не хватит исчерпать эту пучину... Да и что такое скорбь? Страх смерти — вот что скверно. Одолей страх смерти, не будет и скорби никакой.

— Вот и неправильно, дружок. Я про себя скажу... Поверишь ли, что не солгу? Ей-ей, Николушка, со дня на день жду смерти и не имею страха. Да, признаться, и никогда не страшился... И это великое дело: благодарю бога, что открыл мне глаза, научил не бояться смерти. Но вот, душенька,

какая притча: пока человек жив, он живет жалостью к людям, и ноет, ноет его душа... Мне ничего не надо; я сыт, обут, одет. Я провижу разумом суету благ, к которым стремятся люди. Мне не жаль — богач обанкротится: значит, лишился тленного, небесное приобрел. Но у богача-то — душа, и впадает он в скорбь, как будто лишился подлинного блага... Вот, значит, мне и его, выходит, жалко!

— Арефий говорит: надо бороться, надо словом пронимать людей,— продолжал Иван Федотыч, немного помолчав.— Само собою! Хотя и нет моего согласия нахрапом спасать... Но как оглянешься вокруг, как окинешь глазом юдоль-то эту мирскую, ах, изойдешь слезами!.. Тот же Арефий сочиненьице списал у одного мужичка... Может, слыхал: Трофим Мосоловский? Так вот что утверждает Трофим Поликарпыч: «Живем хуже, нежели язычники, утопаем в скверне... Правда, у нас, в тесноте, злочестивая ложь великое пространство имеет, любовь злонравием больна... Вера раздробляется, покаяние страждет, грех нераскаянием прикрылся, истина осиротела, правосудие в бегах, благодеяние под арестом, сострадание в остроге сидит и дщи вавилонская ликует...» И ежели вдуматься, душенька, как правильно описано!.. Я, конечно, отшибся от иного-то мира: сужу по крестьянству, по тому, что на глазах мелькает, но вот что скажу, друг: ой, сдвигается держава!.. Шит нужен крепкий навстречу Велиару, оплот твердый!

Действительно ли от болезни глаз, или так уж одряхлел Иван Федотыч, но он несколько раз прерывал себя всхлипываниями и слезами. Он еще долго говорил... все о том, как дурно живут люди, как всюду проникает расстройство, как преуспевает вражда, делает успехи ненависть, свирепеет корысть и тяжело изнемогает беднота под гнетом невнимания. Память его была удручена картинами деревенского горя; однообразно настроенная мысль с трудом отрывалась от прискорбных соображений, неохотно витала в области личного и «превозвышенного» — в той области, которую некогда так любил Иван Федотыч.

Николай слушал. Сердце его стеснялось все более и более,— не столько от слов Ивана Федотыча, сколько от того, что старик беспрестанно плакал, что лицо его так изменилось и обросло бородою, что какое-то неизъяснимо-печальное выражение сквозило в его дребезжащем голосе.

— Ну вот, душенька, я тебя и расстроил! — воскликнул Иван Федотыч, заметив, что Николай смотрит на него в упор тоскливыми, отуманенными глазами.

— Нет, что же...— Николай усмехнулся и тряхнул волосами.— То ли мы в книгах читаем, Иван Федотыч!.. А я вам вот что скажу... видите: своя лавка, торговля, есть знакомство всякое... через два года в гласные попаду... молод... здоров... Видите? Ну, вот что я вам скажу, Иван Федотыч: я застрелюсь,— и, как будто сказав что-нибудь необыкновенно веселое, засмеялся.

Иван Федотыч пристально посмотрел на него.

— Что ж, Николушка, бывает...

— Вы думаете, я шучу?

— Нет, друг, я не думаю этого.

— И разве стоит жить, когда, сами же говорите, нет правды или как там.

— Жизнь — не товар, душенька, я не купец; что она стоит, пускай оценивает тот, кто дал ее.

— А если она в тягость? Ежели смысла в ней не видишь? Вы вот плачете, я же проще на это смотрю: пулю в лоб — и шабаш!

По лицу Ивана Федотыча пробежал какой-то трепет, он точно хотел что-то сказать и колебался.

— И нахожу поддержку в великих умах,— продолжал Николай, все делаясь беспокойнее, все более возбуждаясь.— Сами читали Пушкина. Это ли не высокий ум? А что сказал о жизни? Вы говорите, кто-то дал ее...

А я словами Пушкина спрошу: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал?.. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум...» Или вы когда-то о Фаусте рассказывали, я после в подлиннике прочитал,— все то же! Все одинаковый вывод, хотя и замаскировано вторю частью.

Николай помолчал и вполголоса добавил:

— Вся правда в этих словах: «Все мы — игрушка времени и страха»... Знаете кем сказано? Целая Европа увлекалась... Пушкин «властителем дум» называл... Был поэт такой — Байрон.

— Байрон,— шепотом поправил старик, и вдруг самая веселая улыбка мелькнула на его губах. Потом он испугался, что обидел Николая этой улыбкой, и торопливо сказал:

— Прости, душенька... Старое вспомнилось... Бедовали мы в городе Париже с князем Ахметовым,— князюшка все тот Байрона этого читывал. «Иван! — крикнет, бывало, а сам лежит на канаве с книжкой,— вот истинное понимание жизни, будь она проклята!» Ну, после, как воротились в Россию, дорвались до пищи-то сладкой,— куда тебе Байрон. Все у цыганок пропадал, в Яру...

Этот нехстат рассказанный анекдот поразил Николая даже до странности. Он с немым укором взглянул на старика, горько усмехнулся и, проговорив: «Стало быть, думаете, и я подобен вашему князьку?» — быстро ушел за перегородку и лег. Вскоре оттуда послышались заглушенные рыдания.

Иван Федотыч на мгновение задумался, потом встал, поднял ввысь глаза, они сияли каким-то твердым и восторженным блеском,— и тихо прошел за перегородку. День склонялся к вечеру; зимнее солнце печально отражалось на бревенчатых стенах, умирающими лучами озаряло комнатку. Николай лежал ничком, уткнувшись в подушку, содрогаясь от невыносимых приступов отчаяния. Вдруг он почувствовал, что прикоснулись к его плечу, обернулся... Иван Федотыч стоял над ним, но с каким-то странным, не прежним выражением.

— Никто нас не услышит, Николай Мартиныч? — спросил он шепотом.

— Никто.

— Ну, душенька, слушай. Пришел час воли божией... Хочу тебе рассказать историю...

Николай вскочил. Его встревожила необыкновенная торжественность вступления, взволновал вид Ивана Федотыча, глубокий и таинственный звук его голоса. Вскочил... но ничего не сказал и, как прикованный, с легкою дрожью во всем теле, стал смотреть на старика и ждать. Из-за окна едва достигал шум базара, слышались отдаленные голоса, скрипели полозья по морозу. И эти спутанные, невнятные звуки, этот печальный свет заката, проникавший сквозь обледенелые стекла, и выделявшееся до мельчайшей черточки лицо старика чем-то особенным наполняли душу Николая, каким-то смутным воспоминанием... Он будто видел давно-давно такой же точно сон, и вот этот сон повторяется и захватывает его в свою власть, уводит куда-то, томит неизъяснимым предчувствием.

— Был старый человек,— тихо выговорил Иван Федотыч,— и имел старый человек единое благо на свете: молодую жену... И еще имел благо: книги, мечты о превозвышенном, красоту божьего мира да юношу-друга... И возомнил старый человек: «Я ли не счастлив? Я ли не блажен в своей жизни?...» Слушаешь, Николушка?

— Да... — прошептал Николай, леденя от внутреннего холода.

Иван Федотыч страдальчески усмехнулся.

— И пришло время,— продолжал он таким же тихим голосом,— ополчился Велиар на старого человека... отуманил молодую жену... сладостью греха плотского соблазнил друга... Слышишь?

— Слышу, Иван Федотыч.

— Случилось, заметил старый человек некоторую печаль в супруге... думал рассеять темные женские мысли сказанием, подбирая мудрые слова из книг, рассказывал, что есть страдание и что есть смерть... А был вечер, и прекрасен божий мир казался человеку... и сгорало его сердце любовью ко всякой твари... — Иван Федотыч всхлипнул и помолчал, точно собираясь с силами. — И пришел друг... и в друге заметил старый человек некоторую скорбь... и захотел восхитить дух его от земного, возжечь огнем любви ко всему живущему: раскрыл свою душу старый человек... выложил все заветное на поучение жене и другу... И отвел Велиар слова любви от друга и от жены, влил в них постыдный яд желаний... соловьиною песней отнял у них разум...

— Отнял разум... — повторил Николай как во сне.

— Помнишь ли, душенька?

— Помню, Иван Федотыч... Говорите...

— Тем временем послушался старый человек влечения любви, спохватился, что есть у него враг, поспешил испросить прощения у врага и оставил дом свой... оставил жену и друга, как сестру с братом.

Несколько секунд длилось молчание. Николай слышал, как билось его сердце, и этот тревожный звук странно сливался и совпадал с его беспокойными и фантастическими ощущениями. Смеркалось. В углах выростали таинственные тени.

— Узнал старый человек свою беду, узнал скоро... — продолжал Иван Федотыч. — Изведал, что есть дружба и... что есть горького во лжи вкусил... И заскорбел, смутился духом... Велиар нашептывал дурные мысли... учил взять нож и заколоть жену... насытиться отмщением. Отринул старый человек наветы Велиара!.. И обратился сатана в старинного друга, который помер, и повел человека в поле, водил в буре и молнии всю ночь.

— Иван Федотыч...

— Не веришь, душенька? Знаю, что не веришь... И привел к омуту... Понимай горечь жизни, — говорил сатана, — в дружбе — ненависть, в любви — коварство, и правда в неправде, и нет истины под солнцем, и все до единого исполнены обмана и скверны... Истреби себя... утопись!.. В этом только и есть благо... Все забудешь, все погибнет с шумом... и прекратятся муки проклятой жизни... И жене будет лучше, и юный друг возрадуется твоей смерти... Совершенное во грех увенчается законом, и не станешь помехой на их пути...

— Ах, какой ужас, если бы случилось это! — вырвалось у Николая.

— Человеческий голос спас... крикнули из-за реки, очнулся старый человек, опомнился... И пошел... и принес покаяние... За струпом греха обрел чистую душу в жене, сердце, очищенное страданием, просветленный разум... Но не уставал Велиар тревожить человека, подсказывал ревновать, напускал тоску... И случилось тем временем бедствие в народе, зачала ходить лютая смерть... расплодилось сырых и страждущих, что песку морского... Напал на разум старый человек, роздал имение, покинул привольную жизнь, подвигся жалостью к людям даже до мучительной скорби... И отошел от него Велиар!..

Иван Федотыч опять всхлипнул и вдруг возвысил радостно зазвеневший голос:

— Притупился соблазн на старого человека. Отпала похоть... И возлюбил он жену, как брат сестру... ребеночка она родила — принял, как сына... и всему радуется в своей жизни, потому что воссияла его новая жизнь, как свеча перед богом! — И вслед за тем добавил, не возвышенным тоном «истории», а простым, обыкновенным тоном: — Вот, душенька, Николай Мартиныч, каким бытом некоторый человек препобедил Велиара!.. — и застенчиво улыбнулся.

И эта застенчивая улыбка переполнила все существо Николая давно не испытанным чувством умиления. Странное ощущение сна сменилось в нем каким-то распаленным, восторженным состоянием, — тем состоянием, в котором искренне говорят высокопарные слова, совершаются театральные поступки — поступки и слова, делающие впечатление искусственности на тех, кто остается холоден и благоразумен. Быстрым движением Николай опустился наземь, обхватил ноги Ивана Федотыча и поцеловал край его грязного, затасканного пальто.

— Прости меня, святой человек, — выговорил он запекшимися губами, — безмерно я виноват пред тобою!..

— Что ты? Что ты, душенька?.. — залепетал Иван Федотыч, растерянно простирая руки. — Разве я к тому... разве я к тому веду?.. Бог через тебя жизнь мне истинную указал... обратил на путь разума...

Когда совсем стемнело и зажгли свечи, пришел Мартин Лукьяныч. Николай с Иваном Федотычем сидели за столом и с оживлением разговаривали, лица у обоих были веселые. Мартин Лукьяныч, по обыкновению, находился под хмельком, но сразу узнал столяра, который при его появлении почти-точно поднялся с места.

— А, старичок божий! — крикнул Мартин Лукьяныч, останавливаясь среди комнаты. — Откуда?.. Эка волосом-то оброс... Видно, и ты забыл господские порядки?.. Похож, похож на бывшего княжеского слугу... нечего сказать — похож!

— Садитесь, Иван Федотыч, — с особенною ласковостью проговорил Николай.

— Да, брат... что уж... садись! — вздыхая, сказал Мартин Лукьяныч. — Нонче все сравнялись, все господами поделались... — и с строгим и озабоченным видом обратился к сыну: — Как вырочка?

— Не знаю еще, папаша. Завтра сочту.

— То-то завтра! Ты, брат, все на Павлушку оставляешь, а он, анафема, заслонку продешевил. Я иду по базару, вижу — попов работник заслонку несет. «Где купил?» — «У Рахманного...» (Не знает, дурак, что я Рахманный и есть!) «Сколько отдал?» — «Два двугривенных». — «А хозяйский сын сидит в лавке?» — «Нет, не сидит...» А! Разве эдак торгуют?.. Что ж, мне самому остается не отходить от прилавка?.. Эх, плачет по тебе матушка плеть!..

Николай улыбнулся.

— Да не горячитесь, папаша, — сказал он мягко, — заслонка стоит себе тридцать пять копеек, пяточок пользы. Чего ж вам еще?

— Пяточок! — презрительно воскликнул Мартин Лукьяныч. — С эдакими барышами скоро, брат, в трубу вылетим... — Потом закурил и с небрежною снисходительностью обратился к столяру: — Сиди, сиди, Иван Федотов... (Тот на этот раз и не думал вставать.) Ну, как?.. Что жена?.. Как бишь ее...

— Татьяна Емельяновна, — торопливо вставил Николай и с беспокойством взглянул на Ивана Федотыча.

— Благодарю покорно, Мартин Лукьяныч, — ответил тот, — Татьяна моя ясна, как день. Ничего, слава богу, живем-с...

— На квартире?

— На квартире, Мартин Лукьяныч.

— То-то вот умен-то ты некстати!.. Как тогда уговаривал тебя? «Опомнись, Иван Федотыч, будешь жалеть, да не воротишь!..» Не на мое вышло? Вы все думаете — управитель, так ему и верить не надо... А теперь поживи-кось в чужом углу!.. Ну, на что продал, спросить тебя? Я-ста христианин! Я-ста душу хочу спасать!.. Так разве сосновая связь да усадьба помешали бы тебе? Вот у меня лавка, товару одного наберется тысяч на семь (Николай поморщился), пара лошадей — пятьсот целковых, дом — две тысячи... Что ж я,

по-твоему, и во Христа не верую?.. Эх, ты!.. Удивляюсь Татьяне: умная баба и решила тебе потворствовать... Здорова она?

— Слава богу, Мартин Лукьяныч.

— Кого вы сегодня видели, папаша? — спросил Николай, желая отвлечь внимание отца на другое. Это удалось как нельзя лучше.

— Да! Я и забыл... — с живостью сказал Мартин Лукьяныч. — Иду я по базару, гляжу — Лукич встречается, повар... И с ним еще человек. «Чей такой?» — спрашиваю. «Мальчикова приказчик». Ну, познакомились, пошли чай пить... То да сё... Вообрази, Лукич к Мальчикову поступил! Переверзев уволил его... Вот, Иван Федотов, нынешние управители-то как... Не по-нашему! А завод купец Мальчиков прямо за шаль купил, голова в голову за сорок две тысячи... Эх, содрогаются косточки покойника Капитона Аверьяныча!.. Любезный-то, Любезный-то, а?.. На царские конюшни пошел! Пять тысяч за одного Любезного отвалили купчине!.. Ну, что еще?.. Да! Фелицата Никаноровна схиму приняла... Мать Илария теперь... Вот, Иван Федотов, как душу-то спасают, а ты усадьбу спустил!.. А приказчик Мальчикова мне говорит: «Что ж, Мартин Лукьяныч, дело прошлое, взял наш хозяин грех на душу: Кролик ваш погиб занапрасно»... Каков подлец!.. Федотка теперь в подручных у Наума Нефедова. Но всего чуднее у Гардениных пошли порядки... хомуты, сбруя, телеги, лопаты — все под номером. С утра особый приказчик на руки сдает, вечером принимает. Как не хватит номера, сейчас работнику в книжку, штраф!.. Но это бы еще ничего, а вот потеха: приказчику лень всякую малость в книжку вписывать, так он что, анафема, обдумал, — по морде! Как недостает номера или там порча выйдет — бац в ухо... бац в другое!.. Работники так и говорят: бить морду по номерам...

— Но что же смотрит Переверзев?

— А почему он знает? У него, брат, не по-нашему: всё приказчики, всё на докладе... Недаром же три тысячи жалованья получает!

— Однако работники могли бы жаловаться...

— Сказал умное слово!.. Они, анафемы, рады — вместо штрафов мордой отдуваться!.. Но это вздор, а вот порядки-то, порядки-то... Номера!.. На хомутах!.. На лопатах!.. Ха, ха, ха!..

Мартин Лукьяныч так и закатился.

Иван Федотыч остался ночевать у Рахманных. Когда Мартин Лукьяныч улегся, Николай начал вполголоса рассказывать Ивану Федотычу обо всем, что произошло в Гарденине, о Ефреме, о Лизавете Константиновне, о страшной смерти Капитона Аверьяныча. До столяра и прежде доходили слухи из Гарденина, но он любопытствовал узнать «сущую правду». Потом перешли к иным материям: что за человек купец Еферов, как жилось у него Николаю. И Николай с мельчайшими подробностями описал Илью Финогеныча, его характер, его образ мысли, свою жизнь при нем... Иван Федотыч молчал, внимательно слушаая. Один только раз, когда Николай, желая яснее познакомиться Ивана Федотыча с убеждениями своего «благодетеля», распространился о том, что есть свобода, Иван Федотыч прервал его:

— Понимаю, душенька. Еще у апостола сказано: «Иди же дух господен, ту свобода».

Обнаружь такое своеобразное понимание политических учреждений кто-нибудь иной, Николай непременно прекратил бы разговор или пустился в дальнейшие разъяснения; но в устах Ивана Федотыча его все приводило в умиление. Тихо улыбнувшись, он пропустил «свободу», как будто совершенно соглашаясь с толкованием Ивана Федотыча, и перешел от Ильи Финогеныча к своим собственным взглядам на земство, на народ, на книги, на обязанности образованных людей... Потом разыскал с полдюжины старых газет и прочитал все свои корреспонденции Ивану Федотычу.

После, когда улеглись спать и свечи были потушены, Николай не утаил и остального из своей жизни, рассказал о Верусе, о Варваре Ильинишне,— о своем «огромном несчастье». Ему было горько и больно вспоминать это, сердце его опять тоскливо зануло. Но все-таки он не посмел заключить свою исповедь давешними словами, не выговорил того, что назойливо просилось на язык: «Не стоит жить!»

Старик молчал по-прежнему. В темноте не видно было, слушает ли он; одно время Николай подумал, не заснул ли Иван Федотыч, и в свою очередь замолчал, отчасти сожалея, что рассказывал в пространство... Вдруг Иван Федотыч вздохнул и сказал растроганным голосом:

— Ах, душенька, сколь много перемены, сколь суетливо колесо жизни!.. Мятется, пестрит, переливает из цвета в цвет... А как посмотришь в глубь веков — все одно и то же, все одно!.. Что же, дружок, не из новой чаши вкусил... Питье давнишнее, чаша вселенская: все отведали... Премудрый царь Соломон и тот не уклонился!.. А ты вот о чем подумай, душенька: надо жить. Ой, не велика заповедь, да смысл-то в ней пространный!.. Надо обдумать, надо по совести в хомут впрягаться... подымать свою борозду вплоть до новины!.. Ты вот и обдумал, что повелела твоя совесть, и наметил дорогу,— сколь пряма, не мне, простецу, судить, так и бреди во славу бога!.. Прелесть женскую забудь, Никулушка!.. Игру крови звериной укроти... Что толку?.. И поверь мне, старику: потерянное найдешь, погашенное возгорится!.. Так-тося, дружок. Ну, спи, Христос с тобою... Охо, хо, хо, когда-то заснем на покой вечный!

Утром проснулись рано. Еще не взошло солнце, как успели напиться чаю. Один только Мартин Лукьяныч мирно похрапывал за перегородкой. После чая Иван Федотыч стал прощаться.

— Где же ваша подвода, Иван Федотыч? — спросил Николай.

— Подвода! — с шутливою высокомерностью воскликнул старик.— Парой, душенька, покачу, в дышле!.. В старину, бывалоче, на запятках ездая, а теперь не тут-то было: сам себе вельможа!

— Нет, в самом деле?

— В самом деле, дружок, пешком побреду. Вчерась с боровским мужичком дополз, думал и в обратный сыскать попутчика, как с базара станут разезжаться. Ан господь-то все к лучшему устроил!

— Знаете что, Иван Федотыч... Сам я вас на своих лошадях доведу! — сказал Николай, и как только сказал, внезапная мысль пришла ему в голову и заставила сгореть со стыда: «Ведь там Татьяна!..»

Подумал ли об этом и Иван Федотыч — неизвестно, но он с радостью принял предложение.

В янтарном свете выступали снега, морозило, дым кольцами взвивался к небу, когда тронулись в путь. Долго молчали. Иван Федотыч кутался в свое пальтишко, Николай тревожно смотрел вдаль... Ему не давала покоя мысль о Татьяне, тень какой-то неискренности в отношении к Ивану Федотычу.

— Знаете что, Иван Федотыч?.. — проговорил он нерешительно. — Я въеду в село и ссажу вас... а?

— Что так, душенька?.. А погреться?

— Нет, я вам вот что должен сказать... Я давеча предложил вам лошадей, а потом спохватился... Мне не резон видеть Татьяну Емельяновну... Да и к чему?

Иван Федотыч весело рассмеялся.

— Не оглядывайся назад, гляди вперед,— сказал он.— Я так рад, душенька, что Танюшу увидишь... и не одну Танюшу (Николай густо покраснел). А тому, что ты в сомнение впал да слово искреннее вымолвил,— во сто крат радуюсь. Погоняй, погоняй!.. Эка, морозец-то какой знатный!

В белой избе, один угол которой занят был верстаком и столярною работою, а другой отделялся тесовою перегородкой, жужжали, как пчелы, деревенские ребятишки. За чистым сосновым столом сидела Татьяна с шитьем в руках. Девка лет восемнадцати внимательно следила за движением ее пальцев. «Аз, буки, веди... Глаголь-он — го, добро-есть — де... Ангел, ангельский, архангельский... Царю небесный, утешителю душе истины... Аз есмь бог твой, да не будет тебе бози иние разве меня...» — выводили ребятишки на разные голоса.

— Тетка Татьяна,— сказала девка,— ты мне вот рубчики-то, рубчики-то укажи, как подметывать.

Татьяна улыбнулась.

— Голубушка ты моя, глазом не научишься... Ты возьми вон лоскуток-то и шей... Смотри на Настюшку: от земли не видать, а не то что рубчики — всякий шов знает. Настя! Покажи-ка, милая, свою работу... Вот, девушка, гляди. Эта подрастет — не будет чужими руками обшиваться!.. Срам ведь, желанная ты моя, сколько вы мне денег за кофты одни переплатили! Митюк, ты опять букварь щиплешь?.. Ой, батька за виски отдерет... Ваня! Ваня! Уймись, брось кыску, не мучай... ей ведь больно, касатик!

Последние слова относились к мальчугану лет трех, который, примостившись к окошку, дергал за хвост огромного пестрого кота. Он, впрочем, и сам бросил свою забаву: что-то за окном привлекло его внимание.

— Батя приехал!.. — вскрикнул он спустя минуту и затопал босыми ногами.— Мама, гляди, гляди... на двух лошадаках... в санях!..

Татьяна взглянула в окно. Вдруг лицо ее вспыхнуло и тотчас же покрылось восковой бледностью. Она выпрямилась, оперлась рукою на стол и широкими блестящими глазами стала смотреть, кто войдет в дверь. Первым вошел Иван Федотыч.

— Ну, Танюша, угадай, какого гостя привез! — воскликнул он с сияющей улыбкой.

— Зачем, Иван Федотыч?.. — тихо сказала Татьяна.

— Ай, душенька, что вздумала!.. Клад приобрел драгоценный... утрату воротил!.. Поехал за сверлом, а вместо того алмаз купил... Ну-ка, дружок, самоварчик поскорее... Где Арефий-то Кузьмич? Лошадок надо прибрать... У, да и морозец же!

Когда, прибравши лошадей, Николай вошел в избу, ребята уже разошлись по домам. Татьяна накрывала стол скатертью. Иван Федотыч с заботливым видом возился у верстака. Николай взглянул и опустил глаза: на мгновение он встретился взглядом с Татьяной, увидел ее трепетом исполненное лицо, вздрагивающие полуоткрытые губы... Невольно слова Ивана Федотыча пришли ему в голову: ясна, как день. Какой тут день! Какая ясность!.. И он стоял, охваченный мучительным чувством стыда и счастья.

— Здравствуйте, Николай Мартиныч,— дрожащим голосом проговорила Татьяна и протянула руку. Николай пожал,— рука была холодна, как лед.

— Ай да встретились после долгой разлуки! — вскрикнул Иван Федотыч, быстро отходя от верстака.— Чтой-то, други... разве так? Николушка... Танюша... разве так встречаются?.. Волна к волне, юность к юности, тем и течет река жизни... Ну, давайте чаевничать. Э! Вот память-то... про Арефия Кузьмича и думать позабыл... — И он в каком-то возбужденном состоянии выбежал из избы.

Татьяна покраснела до слез.

— Вот, всегда начудит Иван Федотыч,— проговорила она.— Садитесь, пожалуйста.

— Он ужасно изменился... Как постарел! — сказал Николай.

— Господи, еще бы не постареть!.. Если б вы видели его жизнь... Работника где недостает — идет, хворый лежит в каком доме — сидит у постели...

Все ему нужно, до всего дело. Вот осенью с Арефием Кузьмичом в Саратовскую губернию пешком ходили... Воротился, разнемог, так и думала — богу душу отдаст. Трудна его жизнь.

— А вы не одобряете, Татьяна Емельяновна?

— Я-то? — Татьяна усмехнулась. — Как же я могу не одобрять.

— Ну, а вам как живется?

— Очень хорошо, — твердо ответила Татьяна. — Да мне, правда, и думать некогда. Вот шью, учу ребят. — Она сделала усилие и добавила: — Маленький много времени берет...

— Вы по старой методе обучаете: аз, буки? — стремительно спросил Николай, тотчас же догадавшись, о каком маленьком идет речь.

Вошел Иван Федотыч с Арефием.

Николай пробыл до поздней ночи. Смущение его мало-помалу улеглось... и до такой даже степени, что, когда после обеда Иван Федотыч ушел за перегородку вздремнуть, он тихо попросил Татьяну показать «мальчика». Та подумала и нерешительно вышла из избы: Ваня все это время был у Арефия. С странным чувством Николай приласкал ребенка — более всего с чувством жалости. Особенно поразили его босые, исцарапанные ножки, нежный лобик с синей опухолью над переносицей и только что разорванная рубашонка. Николаю почудилось, что это несчастный, забитый, заброшенный ребенок: ему никак не приходило в голову, что ребенок растет в обычной деревенской обстановке и что тут нет еще беды... Да! Нет беды для других, но видеть этого ребенка в обычной деревенской обстановке значило для Николая видеть нечто ужасное.

— Отчего он у вас не в сапожках? — спросил Николай, не поднимая глаз на Татьяну. — И вот рубашечка... и синяк...

Татьяна застенчиво улыбнулась: ее тронуло и развеселило участие Николая.

— Мы ведь его просто водим... Как прочие дети, так и он. Разве почище, да вот в штанишках... Рубашонку только сейчас разорвал... Лобик зашиб — за котом погнался. Ваня! Что же ты закрываешься?.. Поговори с дядей... Он ведь решительно все говорит.

Николай несколько успокоился объяснением. И ему захотелось почувствовать себя ближе к Татьяне, устранить условность, которая, как стена, стояла между ними.

— Вы сказали — с дядей... — произнес он, любуясь ею. — Разве я дядя ему?

Татьяна вспыхнула и, схватив на руки ребенка, отвернулась к окну. Мальчуган смешно закартавил, рассказывая матери о каком-то происшествии с теленком.

— Видите, видите... все говорит! — не утерпела Татьяна и нарочно стала расспрашивать Ваню, заставляя его произносить побольше слов. От окна она давно уже отошла и стояла перед Николаем с ребенком на руках, радостная, гордая, ослепительно красивая.

Вечером в избу собрались мужики и бабы. Это были точно на подбор все степенные, строгие люди, с благолепными лицами, с серьезными словами на устах. Все говорили друг другу «брат» и «сестра». Окна закрыли ставнями. Иван Федотыч сел за стол, в передний угол, благоговейно раскрыл Евангелие и слабым, как будто усталым голосом начал читать. Слушатели сидели молча, с глазами, потупленными в землю. Вдруг все точно встрепенулись... Голос Ивана Федотыча дрогнул, повысился и зазвенел каким-то нервным, за сердце хватающим звуком. Там и сям послышались всхлипывания. После чтения Иван Федотыч начал говорить, что есть любовь, которую разумеет апостол.

Николай сидел вдали, в темном углу, и не спускал глаз с Ивана Федотыча.

Таким он никогда не видел столяра. Дряхлое, изможденное лицо странно оживилось, глаза горели каким-то болезненным восторгом, речь текла взволнованная, пылкая, с внезапными паузами от слез, с трогательными обращениями: «друзи мои возлюбленные», «родненькие», «душеньки» и т. п. Заклучил Иван Федотыч опять чтением, но, прочитав несколько стихов, заплакал навзрыд и не мог продолжать: это была великолепная 13-я глава из первого Послания апостола Павла к коринфянам. Настроение Ивана Федотыча передалось почти всем. Слезы текли по самым строгим, самым холодным лицам, просили прощения друг у друга, предлагали помощь, пошли разговоры, как бы собрать ржи на бедных, купить бревен какой-то вдове, послать «братьям» в село Лебедянку воз муки.

Николай был больше заинтересован, нежели тронут. Правда, и он поддавался общему возбуждению: щеки его были мокры от слез; но какой-то червяк непрестанно шевелился в нем. Урывками он вспоминал прежнее время, ласковый и спокойный вид гладко выбритого Ивана Федотыча, его истории и рассказы, запах стружек, мерный визг пилы, вьюгу за окнами... Нет, то было гораздо, гораздо лучше! Здесь веяло чем-то больным, там — здоровьем, свежестью; здесь — отречение и жертва, там — самодовлеющая и благосклонная полнота жизни.

И Николай с тайным удовольствием наблюдал за Татьяной: ему казалось, что их мысли совпадают. Татьяна сидела в какой-то мягкой задумчивости, кроткая, немножко печальная, глаза ее были влажны, но за всем тем она как будто была безучастная, думала о чем-то своем, прислушивалась внутри себя, а не к словам «братьев» и «сестер». Раз или два она нечаянно встрети-лась взглядом с Николаем и неловко усмехнулась.

Позднее началось пение псалмов. Пели очень хорошо: стройно, с необыкновенным выражением. Около полуночи простились «братским целованием» и разошлись. Николай уснул. Душа его была полна какими-то смутными надеждами, интерес к жизни начинал возникать снова...

За зиму Мартин Лукьяныч почти окончательно рассорился с сыном. Началось дело с лошадей. Старый гарденинский управитель ничего, конечно, не имел, когда Николай ездил в город («господам поехал что-то советовать, без него-то — клин!»), или собрался как-то к Рукодееву, или посетил недавно выбранного мирового судью из университетских и познакомился с ним. Но когда лошади гонялись в Боровую, «к какому-то столяришке», и это едва ли не каждую неделю, Мартин Лукьяныч не мог стерпеть. Затем Мартин Лукьяныч захотел и дома обставить Николая «порядочными людьми», нарочно сблизился для этого с станovým приставом, с отцом благочинным, самолично съездил к купцу Мальчикову и того привлек. Николай же отнесся к этим отцовским заботам с самым обидным равнодушием, а когда приехал Псой Антипыч Мальчиков, скрылся к учителю и пропадал там до поздней ночи.

Мартин Лукьяныч все чаще и чаще стал напиваться и в пьяном виде читал сыну строжайшие внушения, раза два грозился даже по старой памяти побить. Николай изо всех сил старался ладить, молчал, но обоюдное раздражение все накоплялось. На беду, Мартин Лукьяныч узнал еще, что Варвара Ильинишна Еферова была формально невестой Николая и что брак расстроился по вине ее отца, — и возгорелся страшною ненавистью к Илье Финогенычу. Приказчики с купеческих хуторов, управители, лавочники, прасолы, посевщики, отцы благочинные и просто отцы досконально узнали от Мартина Лукьяныча, что за изверг купец Еферов, как он «облапошил» Николая, как, чтобы отвязаться, заткнул ему глотку дрянным железишком на какую-то тыщонку, да и ту исправно выбирает обратно... Николай терпел скрепя серд-

це и только ждал случая серьезно объясниться с одуревшим от безделья стариком.

Случай представился весною.

Если бы спросить Николая, как он проводит время у Ивана Федотыча, он затруднился бы ответить. Ведь странно было отвечать, что он сидит и смотрит на Татьяну или помогает ей учить ребят по новой звуковой методе, играет в лошадки с Ваней, перенимает у Ивана Федотыча, как вязать рамы, делать столы, чинить самопрямки. Впрочем, иногда он брал с собою книгу и читал вслух Татьяне, — это когда не было учебы. Иван Федотыч мало бывал дома. Обыкновенно поработавши час-другой, он уходил в село искать себе иного дела, «трудиться на ниве господней», как говорил. Кроме того, несколько раз в зиму куда-то отлучался вместе с Арефием и, возвращаясь, казался особенно рассеянным, вздрагивал, когда к нему внезапно обращались, по ночам плакал. К Николаю он относился с каким-то спокойным, всегда одинаковым и ласковым чувством, но больше уже не заводил с ним особенно значительных разговоров, избегал расспрашивать и давать советы. И не потому, что как-нибудь иначе стал думать о Николае, а просто все было переговорено и все, что хотел сделать Иван Федотыч, сделано. По крайней мере, ему так казалось. У него вообще явилась теперь удивительная способность вовремя отрешаться от людей, относиться к ним в меру, не предлагать им, чего они не желают и в чем не имеют нужды, не навязываться. «Хорошо, душенька, играть на скрипке, коли струны натянута», — говаривал он, заимствуя выражение из далекого прошлого, когда еще по барской воле учился «тромбону».

В душе Николая струны были натянуты, но не в тот лад, который разумел Иван Федотыч.

Сближение с Татьяной совершалось так спокойно, чувство между ними возрастало так естественно, что никаких не было поводов натягивать душевные струны свыше меры. Условность отношений исчезала незаметно, стена разваливалась сама собою. Когда Николай приехал в третий раз, Татьяна, оставшись с ним вдвоем, свободно говорила о мальчике, как о его сыне, рассуждала с Николаем о будущем, как жена с мужем. Оба знали, что теперь уже они не обманывают Ивана Федотыча, «не совершают греха», как мысленно говорила себе Татьяна, «не делают подлости», как думал Николай.

Когда вешние воды затопили поля и разлился Битюк, Николаю нельзя стало бывать в Боровой. В лавке тоже не было дела: торговля на время распутицы прекратилась. Николай читал, начал составлять обширную корреспонденцию «о способах кредита в N-м уезде». Но и чтение и статья подвигались туго. Весенний воздух, звон и журчание воды, журавлиные крики в синих небесах — все это подмывало Николая, подсказывало ему волнующие мысли, внушало странные мечты. Мир точно сузился теперь в его представлении, перспективы необходимо замыкались образом Татьяны. Николай скучал по ней, рвался ее видеть.

На страстной неделе, — через Битюк только что навели паром, — к лавке подъехал верховой мужик, весь обрызганный грязью, и подал Николаю клочок бумажки.

— Кому это?

— Стало быть, Иван Федотыч наказывал тебе передать. Мы боровские.

Николай ужасно обеспокоился, развернул четвертушку, исписанную крупными каракулями с титлами без всяких знаков препинания, и кое-как, с помощью догадок, разобрал следующее:

«Милостивый государь мой. Приспел час воли божией, друг Ни́колушка. Бремя легкое возлагает на себя раб Иван, из плена суеты удаляется на сладкий и душеспасительный подвиг. Приемлю посох страннический, стрем-

люсь угобжать ниву господню. И как отдаст тебе мужичок посланнице сие, не медли, душенька, и не поленись, поспешай, ради Христа, в село Боровое, ибо готово сердце мое и путь открыт».

— Не болен Иван Федотыч? — спросил Николай, догадываясь по степенному и благолепному выражению мужика, что он из «братьев».

— Спаси господи!.. Здрав и весел духом. В дальнюю дорогу собираются.

— Но куда же?

— А уж не сумею тебе сказать, милый человек!.. Стало быть, какие ни на есть дела объявились... стало быть, дела! — уклончиво ответил мужик.

— Верхом, значит, можно проехать к вам?

— Куда зря, милый человек. Инде по пузо, а инде ничего, сухо. Слава госпуду, можно проехать!

Николай тотчас же оседлал лошадь и по топкой дороге через лощины и поля, сверкающие озерами застоявшейся воды, отправился в Боровое.

Иван Федотыч действительно собрался уходить по каким-то делам, о которых знали лишь Арефий да старший из «братьев»; первоначальный путь предстоял ему на Борисоглебск, в Землю войска Донского и на Царицын. Николай застал в избе Арефия и еще человека четыре. Все были растроганы и держались с какою-то особенною торжественностью. Иван Федотыч сидел между ними, совсем готовый в дорогу, в своем истрепанном пальтеце, подпоясанном веревочкой, в простых мужицких сапогах: он что-то говорил, беспрестанно всхлипывая и вытирая слезы. На столе лежала сумка с крестобразно пришитыми к ней покроями и маленькая книжка в переплете. Татьяна, сложив руки на груди, стояла в дверях перегородки и сквозь слезы с выражением глубокого умиления, не отрываясь, смотрела на Ивана Федотыча.

Когда вошел Николай, на лице Ивана Федотыча, до тех пор хранившем вид совершенного отрешения от всего земного, мелькнула какая-то забота. Он рассеянно проговорил: «Приехал, душенька?» — потом поздоровался и, обратившись к мужикам, попросил их «на секундочку» удалиться. Те вышли, скромно потупив взгляды. Некоторое время длилось тягостное для всех троих молчание.

— Вот, душенька, иду... — произнес, наконец, Иван Федотыч с какою-то стыдливою улыбкой и сказал, куда и зачем идет.

Николай с горячностью принялся уговаривать его остаться, указывал и на его недуги, и на раннее время года, и вообще на фантастичность предприятия. Иван Федотыч снова впал в рассеянность, думал о чем-то другом, куда-то далеко улетел мыслями.

— Мало ли я его умоляла... — сказала Татьяна, закрываясь передником и вся подергиваясь от усилия сдерживать рыдания.

— Други мои возлюбленные! — воскликнул Иван Федотыч, и глаза его опять засияли болезненным восторгом. — О чем ваша печаль?.. Не плачьте, миленькие, не горюйте... Воистину, не слез, а зависти достоин мой жребий... Ах, сколь ты благ, господь человеколюбец, сколь щедр!.. Танюша!.. Друженька!.. И ты, Никулушка... не смущайтесь... Юность — юности, и чистому принадлежит чистота... Вот верстачок, инструменты, — все продай, Танюша, ради убогих... Книжечку себе возьми... Ну, простите бога для!..

Иван Федотыч встал, сделал несколько шагов и поклонился Татьяне в ноги. Та с воплем стала поднимать его, жадно целовала его седые, вскосмаченные волосы, морщинистую шею. Николай кусал себе до крови губы, чувствуя, что еще мгновение — и он разрыдается.

Весна была в полном разгаре, цвели сады, в полях нежно зеленелись всходы. По вечерам в селах собиралась улица, звенели песни. Обновленная жизнь снова торжествовала свою победу.

Однажды Николай, оставшись наедине с отцом, смущенно сказал:

— Папаша, мне бы нужно поговорить с вами...

— Что еще такое? — ответил Мартин Лукьяныч, с неудовольствием отрываясь от книги. Он был трезв и вот уже неделю с пожирающим любопытством следил за судьбою Рокамболя.

— Видите ли, в чем дело... У вас имеются разные предрассудки, а потому...

— Предрассудки!.. Не мешало бы с отцом-то быть почтительнее.

— Простите, пожалуйста... Но уверяю вас, что дело идет о моем счастье... — он запнулся, но тотчас же решительно добавил: — Я женюсь.

— Вот как! Очень благодарю. На ком же это, дозвоьте узнать?

— На Татьяне Емельяновне.

— На какой Татьяне Емельяновне?

Николай сказал. Мартин Лукьяныч побагровел так, что на него страшно было смотреть, но все-таки преодолел себя и притворно равнодушным голосом спросил:

— Значит, овдовела?

Но ответ Николая переполнил меру его терпения, с грубыми ругательствами он набросился на сына, оглушительно закричал, затопал ногами. Одним словом, совершенно вообразил себя пять лет тому назад. Николай молчал, стиснув зубы, бледнея, страшаясь и в самом себе подъема такой же злобы. И не выдержал. От ругательства Мартин Лукьяныч перешел к тому, что такое Татьяна, и столь позорными словами начал изображать ее качества, что Николай затрясся от бешенства.

— Замолчите! — крикнул он. — Стыдно вам на старости лет клеветать!

Мартин Лукьяныч так и опустился на стул. Несколько мгновений бессмысленно поводил глазами, потом поднялся во весь рост, пошатнулся, с ненавистью поглядел на сына и, прошипев: «Подобно Ефремке, захотел отца убить!» — вышел из комнаты.

В тот же день, вечером, он опять уехал к сестре, а неделю спустя в дом Николая вошла хозяйкою Татьяна.



Десять лет спустя

Прошло десять лет. Стоял сентябрь. Был базарный день, и в лавке Николая Мартиныча Рахманного бойко шла торговля. Самого хозяина не было. За прилавком в суконной «корсетке» и в платке, повязанном, как обыкновенно повязываются крестьянские молодухи, распорядилась Татьяна. Ей помогал русоволосый мальчик лет двенадцати. У конторки сидел седой, облысевший старик с красным носом и щеками, по которым сквозили багровые прожилки. Это был Мартин Лукьяныч. С свойственною ему важностью он принимал деньги за товар, отсчитывал сдачу, отмечал карандашом выручку или заговаривал с покупателями, внушал мальчику быть попроворнее, играл пальцами на толстом своем животе. Татьяна мало изменилась, только лицо покрылось каким-то золотистым загаром и приобрело твердое и самостоятельное выражение, да глаза были ласковы и ясны... Товар спрашивался однообразный: десяток-другой гвоздей, ведро, вилы, топор, железо на обручи, заслонка для печки... Видно

было, что покупатели привыкли к лавке: мало торговались, без особенной подозрительности рассматривали покупки. Часто спрашивали, дома ли Мартиныч.

— Он в городе, милые,— неизменно ответствовала Татьяна,— по земскому делу отбыл... На что нужен-то?

Мартин Лукьяныч отвечал иначе.

— В земском собрании заседает,— говорил он с особенным видом достоинства,— господам советы преподает...— А иногда прибавлял: — Хотя и господа, однако без Николая дело-то, видно, тово... Николай везде нужен. Вам на что потребовался?

Боровские приехали посоветоваться, как «покрепче» написать контракт с арендатором мельницы; тягулинцы судились с барином из-за земли и хотели «обдумать с Мартинычем, кое место утрафить на барина бумагу»; малый лет двадцати пришел спросить, где бы достать книжку «насчет солдатских законов»; молодой бледный попик, с каким-то страдальческим выражением в глазах, просил последнюю книжку журнала да кстати хотел поговорить, «из каких преимущественно брошюр» составить школьную библиотеку, которую он за-теял.

Вдруг толпа раздалась, в лавку ухарскою походкой вошли два мужика, в шапках набекрень, с сигарками в зубах, распространяя запах водки.

— Наше вам, Амеляновна! — воскликнул один, весело оскаливая зубы.— Аль не узнаешь?.. А это зять мой, Гаврюшка. Мартиныча аль нету?

Татьяна сказала.

— Фу-ты, пропасть!.. А как было приспичило... Ну, черт ее дери, давай, видно, спишешницу... Поглянцевитей чтобы была... Первый сорт!.. Эх, в рот те дышло, разорюсь на двугривенный!..

— Чай, попроще можно, Герасим Арсеньич,— улыбаясь, сказала Татьяна,— есть в пяточок... Смотрите, какие крепкие.

— Никак тому не быть, Амеляновна, никак не могу попроще. Потому развязка, значит... Окончательно невозможно... так, что ль, зять Гаврюшка?

— Не стать перетакивать, елова голова. Звенит в мошне — форси на все, а и пусто — головы не вешай. Повадка и без алтына скрасит, понурая голова с рублем пропадет... Запиши — Гаврюшка сказал!..

Оба расхохотались.

— Что, Амеляновна, ловок брехать зять Гаврюшка,— сказал Гараська.— Небось недаром по этапу из города Баки гоняли... Недаром!.. Э, подтить к старичку погуторить, чать, в силе был — драл меня, доброго молодца... Тоже аспид был не из последних... Здорово, Мартин Лукьяныч! — Гараська подошел к старику и с насмешливым унижением поклонился.

— Здравствуй,— сухо ответил Мартин Лукьяныч.

— Что, аль прошло твое времечко? — сказал Гараська.— Бывалоче, тройка — не тройка, а теперь сидишь, как сыч...

— Ну, ну, ты не заговаривайся, грубиян!

— Вот чудачина! Разве я тебе грублю?.. А что время твое прошло, это верно. Ездил на наших горбах, да будя... Посиди-кось теперь, поклоняйся нашему брату... Вот не куплю, к примеру, спишешницу, ты окончательно долгон в трубу вылететь! Эх вы, белоручки, пропадать вам без мужика!..

Мартин Лукьяныч тяжело засопел, побагровел. Татьяна нашла нужным вмешаться.

— Герасим Арсеньич,— сказала она внушительно,— вы бы не слишком...

Гараська сразу изменил тон.

— Да что же я?.. Аль уж со старичком и словечком не перекинуться? — сказал он шутливо.— Мы, чать, завсегда с нашим уважением... Дай-кось закурить, Лукьяныч... Эх, в рот те дышло, и управитель ты был сурьезный... Зять Гаврюшка! Вот был управитель, в рот ему малина!.. Ты, Лукьяныч, не сердчай,

потому развязка и все такое... Не сердчай на меня. Окончательно ты из первых — первый был!

Мартин Лукьяныч смягчился.

— Я был не мил, теперь-то лучше стало? — спросил он, протягивая Гараське папиросу.— Ты вот, дурак, говоришь неподобные слова, а жить-то лучше вам? Посидел в даровой квартире?

Гараська засмеялся и ухарски сплюнул.

— Хватера нам нипочем! — воскликнул он.— Хватеру я так понимаю, хоть и вдругорядь!.. Хлеба вволю, а случается — и калачами кормят; водки даже, ежели гроши есть, и водки ливвалид приволокет... Черт ее дери, видали!.. А ты вот скажи, Лукьяныч, скотину-то мы всю перевели.

— А, перевели! — с злорадством сказал Мартин Лукьяныч.

— Окончательно перевели... Потому нет кормов, прищемил нас ирод — вздоху не дает. За что, хучь бы меня в острог посадил? Только и всего, что, признаться, мы с Аношкой стог сена почали... Так ведь, аспид он тонконогий, надо скотине жрать-то аль нет?

— Не воруй. Сено барское, не твое. Это, брат, и я бы посадил на его месте.

— Экость что сказал! При тебе-то что мне за неволя воровать?.. Ты разоч-ти, сколько кормов, сколько покосу у нас было... Сколько ты нам вольготы давал!..

— Ага! — произнес Мартин Лукьяныч, с самодовольством поглаживая живот.

— Что ж? Я завсегда скажу: отцом ты был для нас, дураков... Во как тебя понимаем!..

— Эге! Ну, а теперь-то... припеваючи живете?

— Припеваем, в рот ее дышло!.. Ты вот подумай, Лукьяныч: иди, говорит, в батраки. Ну, ладно, пошел я. Стало жнитво, посадили меня на экую махину... На жнейку, значит. Сижу окончательно словно идол, действую. Трах! — окончательно вдребезги... Туда-сюда, штраф!.. Трешница!.. Ловко... Земли не дает, лесу — прутика нету, из кормов хоть кричи... Что же это за жисть?

— Зато банк завели!

— Банка!.. Ты спроси, кто в ней верховодит-то: Шашлов Максимка да Агафوشка Веденеев... Эх, что мы теперь надумали, Лукьяныч: окончательно на новые места хотим удалиться!.. Вот с Миколаем с твоим хотели потолковать... Пропадай пропадом Переверзев со своими машинами! Ударимся в Томскую аль на Амур, поминай как звали!

— Обдумали!.. Мало вас нищими-то оттуда приходят?

— Мы окончательно ходоков снаряжаем, Лукьяныч... Понимаешь? Вот прямо, господи благослови, пойдем с зятем Гаврюшкой, все приволья осмотрим. Из Гарденина двадцать три двора охотятся в переселенцы, тягулинских — двенадцать; мы с Гаврюшкой по трешнице с двора просим — была не была!.. За сотенный билет всю Расею насквозь пройдем, коли на то пошло... А на стари-не не жить, в крепость к купцам да господам не поступать сызнова!..

— Глупости, Герасим! — авторитетно вымолвил Мартин Лукьяныч.— Держитесь старины, вот что я вам скажу. Жить можно, это ты врешь. То есть с умом. Вот хоть Николая моего взять... Видишь? Товару одного, может, тысячи на четыре, гласным состоит в земстве, в ведомостях печатается, а? То-то и оно-то. Почему новые места? Баловство. Пороли вас мало. Вас не в острог, а именно драть нужно. Я, брат, Николая драл... Вот и вышел человек. Теперь он женился, например (Мартин Лукьяныч понизил голос), то, сё, из простых, дескать, из дворовых... а тут купец Еферов с дочерью навязываются, приданого пятьдесят тысяч... Другой бы разве не польстился? Но Николай умен. И я ему говорю: «Никóля, Татьяна Емельяновна хотя, мол, из простого звания, но ты взглядишь...»

— Королева — одно слово! — подтвердил Гараська.

— Ты взглядишь, говорю. Неописанной красоты, умна... Да пропадай они, пятьдесят тысяч!.. Я знаю, болтают разные там анафемы (Мартин Лукьяныч еще понизил голос), будто от живого мужа... будто не венчаны... А, что придумает народ!.. Иван Федотов помер, прямо говорю, что помер. А венчание было в Воронеже... Ха, не венчаны!..

— Да мы разве сумлеваемся, Лукьяныч?.. Опять же ежели и без венца... — Гараська еще хотел что-то добавить, но поостерегся и только помычал.

— А новые места — вздор! — заключил Мартин Лукьяныч громко.

В это время молодой попик, облокотившись на прилавок, отрывочно разговаривал с Татьяной: ее беспрестанно отвлекали покупатели.

— Изрядно торгуете, Татьяна Емельяновна?

— Как сказать, батюшка... Да вот живем. Оборот хотя и велик, но мы пользу берем небольшую, сами знаете.

— Да, да, хорошо у вас поставлено... Истинно по совести. Равно избегаеи и скудости и стяжания... Хорошо. Слышали, отец Григорий скончался?

— Слышала... Добрый был священник, старинный.

— Да, да... И при конце жизни жестоко оскорбил отца Александра. — Попик усмехнулся.

— Чем же так?

— Были распущены долги отцом Григорием... Ну, и были расписки... Все по мужичкам, конечно. И, говорят, на знатную сумму: будто бы на пятьсот рублей... Вот при конце его жизни отец Александр и начал понуждать относительно расписок. Где спрятаны, да сделайте, мол, передаточную надпись и тому подобное... Слушал, слушал старик, — зажги, говорит, свечку, подай шкатулку. Зажгли, подали... И, вообразите, достал умирающий расписки и все до одной в огонь вверх... а сам лепечет: «Отпустите должником вашим!» Вообразите гнев стяжателя-зятя!

— Ах, как прекрасно!..

— Да, да... Деток-то много ли у вас?

— Пятеро, батюшка. Меньшенькой с покрова годик пойдет... А это вот первенец, помощник. — Она указала на русоволового мальчика.

Попик вздохнул.

— Была у меня девочка — схоронил, — сказал он. — Грустно не иметь детей. Ищу прибежища в книгах, вот школой занимаюсь.. Но сердце болит.

— И-и, батюшка! — ласково проговорила Татьяна. — Вы молоды, будут и детки, господь захочет. А не будет — детей много в мире. Лишь бы любовь не погасла.

— Блажен, кто верует, — тихо возразил священник и, как будто испугавшись своих слов, быстро добавил: — Конечно, конечно, все от господа. Не знаете, Татьяна Емельяновна, брошюры фирмы «Посредника» имеются еще у Николая Мартиныча?

— Есть, есть. Пять сотен из Москвы прислали.

— И новенькие?

— И новые есть. Толстого вышла очень уж трогательная. «Два старика». Да вы пожалуйста в горницу, там в шкафчике лежат... И журнал там. Кажется, последнюю книжку фельдшерница назад отдала. Пожалуйста в горницу!

— Амельяновна! Гвоздочков бы мне, однотесу...

— Умница! Почему у тебя железо полосовое?

— Хозяюшка! Покажь-ка чугунок, эдак в полведерки...

— Здравствуй, обворожительная женщина! — раздался нетвердый, сиплый голос, и Косьма Васильич Рукодеев крепко пожал Татьянину руку. Он едва держался на ногах; вид его был совершенно лишен прежнего великолепия: опухшее лицо, мутные глаза, спутанные, с сильною проседью, волосы, — все говорило о беспробудном пьянстве. Рядом с ним, улыбаясь гнилыми зубами, стоял человек с какою-то зеленоватою растительностью на лице, с бегаю-



щими неопределенного цвета глазами, в прекрасном пальто нараспашку, в шляпе котелком, с толстою золотою цепью на животе.

— Коронат Антонов! — кричал Рукодеев, патетически размахивая руками. — Всмотрись! «Есть женщины в русских селеньях с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой, со взглядом цариц...» Понимаешь, о ком сказано?.. Вот она!.. А, впрочем, ты не можешь этого понимать, ты — свинья... Извините великодушно, Татьяна Емельяновна: свинье красоту вашу хвалю, непотребному пройдохе стихи декламирую... Ах, пал, пал Косьма Рукодеев!..

— Это вы напрасно-с, Косьма Васильич, — с слащавою улыбкой возразил Коронат, — что касательно в отношении прекрасного пола...

Татьяна строго сдвинула брови.

— Стой, молчать! — возопил Рукодеев и даже погрозил пальцем на своего спутника. — С кем говоришь? Где находишься? Вот рекомендую, Татьяна Емельяновна... Двенадцать лет тому назад явился наг и гладен в наши палестины. Фортушкой народ обманывал. На станции трактир держал и вдобавок известное заведение. Теперь богат, блажен и в первой гильдии... О, времена! О, нравы!.. Коронатка, много ли ты по миру сирот пустил? Много ли загубил душ мужеска и женска пола?

— Ежели вы так желаете тлетировать, Косьма Васильич... И притом в публичном месте... — Коронат сделал оскорбленное лицо.

— Ну, и что же?.. От задатку откажешься?.. Врешь!.. В морду наплюю — и то не откажешься. Вот полюбуюсь, Татьянушка, продал имение этому бестии... Вожу его с собой... Срамлюсь... На мерзопакостную рожу его, так сказать, смотрю круглые сутки!.. (Коронат отвернулся и с видом человека, уязвленного в своем достоинстве, но стоящего выше подобных пустяков, стал смотреть на улицу.) Зачем продаю, спрашиваешь? — продолжал Рукодеев и вдруг заплакал. — Ах, обидел, обидел меня Володька!.. Прискорбно, Танюша, тоска!.. Юноша семнадцати лет, кончает гимназию, так сказать, и вдруг — бац! Двойка в латыни, револьвер, выстрел, и все кончено... Зачем имение, спрашивается? Кому хозяйничать?.. Анна — колотовка, это верно, но, однако, родной ведь сын... По крайней мере, продать, жить на проценты... «Кто виноват, у судьбы не доприснешься, да и не все ли равно?» А?.. Ах, Володька, Володька!.. Все опротивело, Танюша, все!.. Были, так сказать, помыслы... были чувства. Очень благородные чувства!.. Но для чего? К чему? Муж твой... я его понимаю. Я уважаю твоего мужа... И хвалюсь, что первый заметил в нем искру... Но мне все опротивело!.. А было, было время... Вот Илья Финогеныч помер, Володька застрелился... Ах, Татьяна, жизнь есть океан бедствий!.. Ба, ба, ба! Мартин Лукьяныч! Старче крепостниче!.. Что, брат, пали стены Иерусалима? Воздыхаешь о старине?.. Да, брат, ау!.. «Порвалась цепь великая»... Ну, что там толковать, пойдем-ка выпьем!.. Эй, Коронат, покупатель, веди нас в трактир!.. Шампанского выставляй, исчадие века сего!.. Так, Николай Мартиныч в собрании? Действует?.. Ну, пускай его действует!.. «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано!» До свидания, русская женщина!.. Простите великодушно падшего... Коронатка, веди!

Мартин Лукьяныч, притворяясь, что уступает только из любезности, и избегая смотреть на Татьяну, последовал за Рукодеевым и Коронатом. На мгновение лицо Татьяны омрачилось и сделалась грустным; но ей некогда было вдаваться в посторонние мысли: базар был в полном разгаре, и покупатели не уставали прибывать.

В городке N только что кончилось очередное земское собрание. Перед этим все шли дожди, и гать под городом превратилась в настоящее болото. Крестьянские клячки с трудом выволакивали из этого болота громоздкие те-

леги с лыками, кадушками, лопатами и иным хозяйственным скарбом, закупленным на базаре. Разряженные и раскрасневшиеся бабы сидели на возах, ели калачи, грызли подсолнухи, орали песни; мужики немилосердно нахлестывали лошадей, шумно разговаривали. Яркое солнце покрывало блеском мокрые деревья с пожелтевшей листвой, огромные лужи, жидкую грязь, пестрые городские крыши и главы церквей. Все как-то было обнажено, все отчетливо и резко выделялось в прозрачном воздухе. На краю гати, по утопанной тропинке, шел человек лет тридцати пяти, в калмыцком тулупчике, с узелком в руках. Он по временам останавливался, внимательно вглядываясь в проезжавших мужиков. Вдруг четверка рослых, породистых лошадей, дружно шлепая по грязи, обогнала обоз и поравнялась с человеком в тулупе.

— Стой! — крикнул из коляски молодой человек в военной шинели и белой конногвардейской фуражке. — Зачем вы здесь, Николай Мартиныч?

— Да вот знакомых мужичков посматриваю-с, Рафаил Константиныч... Не подвезут ли.

— Не угодно ли со мной? Доедем до Анненского, там переночуете, а завтра вас доставят. У меня подстава на половине пути. Садитесь, пожалуйста.

Николай поблагодарил и, запахнувши свой тулупчик, влез в коляску.

— Прекрасно вы сказали вчера о школах, — заговорил молодой человек, закуривая сигару и предлагая другую своему спутнику. — Прекрасная речь!

— Что ж, Рафаил Константиныч, как хотите, но пора же ведь и честь знать-с, — ответил тот. — В иных земствах шибко подвинулось это дело, особливо в северных, но у нас... Вы не поверите, восемь лет я гласным состою, одолевает черноземный элемент! То есть старичье, крепостники-с...

— Ну, а молодые?

— Все как-то не оказывается, Рафаил Константиныч... Оно, конечно, есть, да уж не знаю, кто лучше-с. Вы не изволили обратить внимания на список гласных по нашему уезду?.. Двенадцать штаб-ротмистров одних, помилуйте-с! — Николай спохватился, что говорит с военным, и быстро добавил: — То есть я, конечно, не порочу военного сословия, но сами посудите... В ус не дуют, что касается народных интересов...

— Да, да. Я вполне с вами согласен, — успокоил его Гарденин, мягко улыбаясь, и, подумав, повторил: — Прекрасная, прекрасная речь!

— Надо долбить-с!.. Вам большое спасибо: ваша поддержка и сильна и как снег на голову... Рафаил Константиныч, извините, если скажу: благое дело вы задумали, что пошли в земство.

— Да?.. Но у вас есть сочувствующие, насколько я мог заметить?

— Есть-с, как не быть. От города один, из дворян двое, мужички... Это есть-с.

— Зачем же вы находите нужным благодарить меня за поддержку?

— Так ведь это особая статья, Рафаил Константиныч!.. Без вас разве мы поставили бы такую карту? Школа двухклассная, склад книжек, три тысячи прибавки!.. Помилуйте, да нам и не подумать о такой страсти...

— Но почему же?

— Как же можно-с!.. А ваш гвардейский мундир? А богатство? А связи?.. Штаб-ротмистры и то нашу руку потянули! Непременный член Филипп Филиппыч Каптюжников направо положил!.. Неужто, вы думаете, ради народного просвещения? Эх, Рафаил Константиныч, как вы еще плохо в черноземную политику проникли!

— Но как это грустно.

— Чем же-с?

— Значит, все зависит от случая, от личности, от мундира?

— Как сказать?.. В нынешнее переходное время, точно, многое от случайности зависит... Но подождите-с!.. Тем местом создается сознательная сила-с, понятия крепнут, головы привыкают размышлять-с!.. Погодите, Рафаил Кон-

стантиныч!.. Возьмем город... Купец Еферов, например, был: лет семь как помер... Вот еще дочь его Варвара, за Каптюжниковым, Филипп Филиппычем... Замечательный был покойник... Ум, развитие, дух общественности — все!.. Много он на свой пай правде послужил... Но что же-с? В общественных делах был одинок, сочувствие находил весьма мизерное... Вы не поверите, в гласные ни разу не выбирали, а кого выбирали, те только к подрядам принюхивались... Однако с тех пор произошла перемена. И знаете, что я вам доложу? Посодействовала война-с...

— Что вы говорите! Добро от такого злого и жестокого дела! — воскликнул Гарденин, и его задумчивые, меланхолические глаза на мгновение вспыхнули чем-то похожим на негодование.

— Именно жестокое и злое, — подхватил Рахманный, — но оборот таков-с!.. То есть для городских, для наших... сами посудите: реки крови! Плевна!.. Шипка!.. Интенданты!.. Продрал обыватель глаза да за газету... А от газеты в разговоры пустился: как? что такое? почему?.. Политическое развитие в некотором роде-с!.. Перестановка интересов!.. Туда-сюда, и кровопролитие прекратилось, и интендантов в Сибирь посослали, то есть некоторых, а уж навык-то остался... То есть рассуждать-то, из хлева-то своего выглядывать приобретен навык. Я помню, в рядах только и получались «Губернские ведомости», — полиция настаивала... А теперь позвольте... раз, два, три... семь экземпляров выписывают и из них пять безусловно честной газеты!

— Я слышал, вы многое делаете в этом отношении? — спросил Гарденин с прежним полупечальным, полудумчивым выражением, следя за дымом сигары.

— Это статейки-то помещаю о наших туземных делах? Не знаю, как вам сказать... Но дело не в том-с... Молодое растет, свежие побеги дают отпрыск, — вот в чем дело, Рафаил Константиныч!

— А! Что за дряблость в молодом, если б вы знали!..

— Совершенно верно-с, но мы говорим о разном. Вы разумеете, надо полагать, свой круг, столицы, города? Ежели судить по тому, что доводится читать, — совершенно верно. Но я не об этом-с. Деревня дает ростки, в селах, в уездных городишках возникает новое... Нужно брать его в расчет-с! Ах, что говорить!.. Поверите ли, Рафаил Константиныч, кажется, уж на самом дне живу... Вижу, что совершается... Не буду спорить: избыток всякой гнусности чрезмерный... Нищета, пьянство, нравственное оскудение... все так. Со всем соглашусь. И, однако, за всем тем, поверьте, вырастает здоровое, крепкое зерно. Случалось ли вам встретить деревенского парня, — ну, эдак, кончившего хорошую школу и приобикшего к книжке? Ах, боже мой, какая это прелесть!.. Да недалеко ходить, у вас посельным писарем теперь Павлик Гомозков.

— Вы меня интересуете. Я ведь очень мало знаю людей в Анненском. Где же он учился? В земской школе?

— Не в земской, но это все равно: прелесть была учительница... Жена вашего управляющего.

Гарденин с удивлением поднял брови.

— Переверзева? — спросил он. — Странно. Правда, я ее знаю очень мало, но она произвела на меня впечатление очень нервической и довольно пустой особы... Наряды эти... Ездит в Ялту... Говорит о чувствах, о прекрасном... Как странно!

Николай вздохнул.

— Давненько я с ней не встречался, — проговорил он. — Ведь вы знаете, Рафаил Константиныч... сколько? Да вот лет двенадцать я не был в Гарденине!.. Что у вас делается, слышу, — недаром на тычке живу! — и он усмехнулся, — а самому не приходилось заглядывать. Говорят, большие перемены!..

— О да... Помните, мы с вами рыбу ловили?.. Как это давно... Действи-

тельно большие перемены. Мне не все нравится. Например, винокуренный завод... Но брат говорит, что Яков Ильич прекрасно хозяйничает.

— Да-с... Вот Юрий Константиныч... где они теперь? Я слышал, блистательную карьеру делают?

Насмешливая улыбка мелькнула на лице Гарденина и тотчас же сменилась сдержанным, серьезным выражением.

— О да! — сказал он.— Ведь вы знаете, Юрий женился? На княжне Дорогобужской. Это страшно богатые люди. К новому году, вероятно, дадут бригаду... Он идет, идет... Матан очень счастлива.

— Татьяна Ивановна все по-прежнему-с?

— То есть как?.. Да, все по-прежнему.

— А в Гарденино уж не ездят!

— У жены Юрия имение в Крыму: матан там живет. Или за границей... Зимую в Петербурге. Действительно, здоровье ее плохо.

Рафаил Константиныч произнес последние слова особенно внушительно: точно Татьяна Ивановна нуждалась в оправдании и вот он оправдывал ее. Несколько времени ехали молча.

— А позвольте спросить...— нерешительно выговорил Николай, понижая голос почти до шепота,— позвольте спросить, Рафаил Константиныч... где теперь Лизавета Константиновна?

Лицо Гарденина омрачилось, его темные глаза сделались еще более печальными.

— А, бедная Элиз! — воскликнул он как бы про себя и, помолчав, добавил растроганным голосом: — Вы ее помните?

— Еще бы-с!.. Луч просиял в темноте,— вот как я ее помню!

— Все там же... все там...— Гарденин сказал, где сестра.— О ее муже, конечно, слышали?

— Слышал, слышал-с... Слишком всем известно. И зачем?.. Зачем?..

Оба задумались. Четверня однообразно шлепала по грязи. Во все стороны простирались обнаженные обобранные поля, особенно печальные в этом прозрачном воздухе, под этим ярким осенним солнцем. Там и сям пестрели деревушки, желтели увядшие леса.

В молчании доехали до подставы. Лошадей перепрягли, и свежая четверня быстрее понесла коляску. С тою внезапностью, которая так свойственна осени, погода стала изменяться. Нависли тучи, пасмурный воздух окутал дали. Поля, деревушки, леса — все приобрело какую-то неприятную и злоеущую унылость.

— Вы говорите — зачем? — вдруг произнес Гарденин.— А зачем все это? — и он неопределенно махнул рукою.— Зачем вот мы едем, говорим, думаем?.. Нет, право, Николай Мартиныч, не приходило вам в голову?.. Ну, хорошо, земство, школы... буду в предводители баллотироваться... Или у вас: семья, лавка, в газетах пишете, общественная деятельность... Юрий командует гвардейским полком, сто тысяч дохода... Но зачем? Вы понимаете меня? — Он застенчиво улыбнулся и, точно возбуждаясь от этой застенчивости, продолжал: — Я воображаю иногда белку в колесе... Дайте ей разум... Пусть спросит себя, зачем она вертит колесо? Какой смысл? К чему все это?.. Вам не приходило в голову?

— Как сказать, Рафаил Константиныч?.. Было и со мной... Только я так понимаю: первое лекарство от этого — хомут... То есть от мыслей от таких лекарство.

— Какой хомут?

— То есть жизнь, Рафаил Константиныч... образ жизни-с. Тяготу нужно брать на себя; не баловаться. Собственно говоря, выражение принадлежит одному замечательному человеку... Ваш бывший крепостной, столяр... Он жизнь с нивой сравнивал; всякий человек пусть, дескать, свою борозду проводит...

И вот как вляжешь в хомут-то по совести, ан и не полезет в голову «зачем» да «для чего»... И это правильно, Рафаил Константиныч. Я про себя скажу: не было на мне хомута — куда как шнырял мыслями!.. Не поверите, застрелиться хотел!.. Вот забыл-то теперь, а то даже аргументы такие подобрал — нужно-де застрелиться... Ну, а потом и ничего-с.

— Влезли в хомут? — с слабою улыбкою заметил Гарденин.

Это улыбка раззадорила Николая. Он покраснел и с оживлением воскликнул:

— Да-с, Рафаил Константиныч, думаю, что по совести запряг себя!.. Не хвалюсь, что сам,— отчасти и обстоятельства тому посдействовали, но какие-с? Самые обыкновенные. Поставьте себе в необходимость думать о куске хлеба... Женитесь... Имейте, как я, пятерых детей... Будьте в касательстве с темным и бедным людом, да притом не забудьте откликаться и на общественные вопросы... Вот вам и хомут-с!

— Это хорошее слово,— проронил Гарденин, снова впадая в задумчивость.— Вы говорите, столяр... Какой? Я не помню.

— Иван Федотыч. Он на барском дворе редко показывался...

— Он жив?

Николай отвернулся.

— Не могу вам доложить,— сказал он с неохотой,— лет десять потерял его из виду...— и с внезапным видом умиления добавил: — Святой целовек-с!.. Вот подлинно «заглохла б нива жизни», если б не появлялись такие люди...— и, помолчав, еще добавил: — Хотя, конечно, простой человек, полуграмотный... Мистик, к сожалению.

Гарденин почувствовал, что коснулся какой-то интимной стороны, и переменял разговор. Снова заговорили о земстве, о том, что необходимо привлечь хороших учителей, хороших докторов, переменить состав управы, о том, что в губернском собрании нужно всячески поддерживать статистику, провалить затеи сословной партии, заняться страховым делом, хлопотать о переустройстве сумасшедшего дома, настаивать на переоценке земли...

Анненское показалось к вечеру. На собственный лад забилося сердце Николая при виде усадьбы. Воспоминания беспорядочно просыпались и волновали его. Но когда подъехали ближе, странное чувство им овладело — чувство жалости и какой-то нестерпимой тоски о прошлом. Жадно, влажными от слез глазами, он смотрел на все, что ни попадалось на пути, и не узнавал Гарденина. С гумна доносился рев паровой молотилки; на берегу пруда виднелась винокурня с высокою трубой, с подвалами для спирта и амбарами для муки; где прежде был конный завод, вытянулись в нитку какие-то постройки казарменного стиля; все крыши были выкрашены в однообразный цвет аспидной доски, белые некогда стены превратились в темно-коричневые. Все приняло иной вид, все стало необыкновенно солидным и мрачным. Даже веселенький домик Ивана Федотыча возымел характер той же внушающей и однообразной солидности: он раздвинулся глаголем, украсился крытою террасой, накрылся толем того же цвета аспидной доски, высматривал с убийственною серьезностью и аккуратностью.

Все было прочно, крепко, просторно. Все, вероятно, в превосходной степени было приспособлено к экономическому хозяйству, а домик Ивана Федотыча — к школе и ссудо-сберегательному товариществу, которые в нем помещались. Николай понимал это и... с стесненною и опечаленною душой смотрел на все это крепкое, просторное и целесообразное. И какая-то трогательная радость шевельнулась в нем, когда коляска, быстро миновавши отличную, высланную камнем плотину, въехала на красный двор и остановилась у подъезда. Тут прежде оставалось неизменным: господский дом, кухня, флигелек Фелицаты Никаноровны, белая сквозная ограда. Подле развернулся старый сад с желтыми и багряными деревьями, с поблекшими газона-

ми, с кустарниками, на которых там и сям виднелись одинокие листочки. Осенний закат, странно пробивавшийся сквозь тучи, всему придавал какую-то особенную прелесть. Николаю казалось, что гарденинская старина с ласковою грустью улыбается ему, что багряные дубы и золотые липы невнятно шепчут о прошлом, о невозвратном... Он медлил идти в дом, стоял на ступеньках подъезда и, не отрываясь, смотрел на позлащенные вершины сада.

— Мне напоминает это одну картину,— сказал Рафаил Константиныч,— на передвижной выставке... Какое чувство вызывает!.. Какие мысли будит!.. Сколько лиризма в содержании!.. Молодой еще художник... Как его?.. Да! Михеев!

— Не Митрий ли Архипыч? — с живостью спросил Николай.

— Не знаю. Может быть. Многообещающий талант.

— Он, он!.. Вот я вам рассказывал о купце Еферове. Купец Еферов, можно сказать, на улице его нашел, ход ему дал, умер — отказал деньги на академию. Вот бы теперь порадовался покойник!.. Живо помню этот случай. Митя — сын маляра... Я иду, а он красками балуется... И я заинтересовался, и Илью Финогеныча судьба натолкнула на эту сцену. Отсель благотворное для меня знакомство, для Мити — полная перемена судьбы. Ах, какой человек был, какой человек!.. То есть я о купце Еферове говорю.

Вошли в дом. Опять пошло новое. Ни одного знакомого лица не попалося Николаю. В кабинет подали чай, ужин, вино. Прислуживал лакей, вероятно столичной школы, важный, внушительный, с холодным достоинством в манерах. Звали его Ардальоном. Раза два появлялась экономка и что-то спрашивала по-немецки. Рафаил Константинович называл ее «Гедвига Карловна». Позднее пришел Переверзев. Николай видел его и прежде, но издали, не был с ним знаком и теперь с особенным любопытством посматривал на него. Это был тот же спокойный, тощий и самоуверенный человек, как и много лет назад, в просторном и пестром платье заграничного покроя, в очках. Николай начал спрашивать его о хозяйстве, о крестьянах, о ссудосберегательном товариществе, о школе. Ответы получались обстоятельные, но не поощрявшие к разговору. Хозяйство интенсивное, с батраками и машинами; сыроварение, винокурня, молочный скот; лес вырублен, но есть признаки, что можно найти торф; крестьяне в высшей степени распущены «прежним режимом», но непрестанно «вводятся в нормы действующего права посредством процессов и домашних взысканий»; их благосостояние, несомненно, подрывается упорною неспособностью к правильному труду, пьянством и отсутствием порядка; школа, судя по количеству посещающих, идет сносно; ссудное товарищество исчерпало наличные средства и принуждено переписывать векселя и ограничивать операции,— в настоящее время пользуются кредитом не больше десяти домохозяев из семидесяти.

— Нужна сильная и рационально установленная власть,— авторитетно закончил Переверзев и на мгновение утратил спокойствие. Потом стал прощаться.

— Жена ваша? — с притворно-любезным лицом осведомился Гарденин.

— Благодарю вас,— отвечал Переверзев, притворяясь, что принимает за серьезное эту любезность.— Завтра хотела ехать в Петербург. Ялта много помогла ей, но доктора все-таки советуют развлечения.

Не прошло четверти часа после ухода Якова Ильича, как явился посланный с запиской. Вера Фоминишна узнала от мужа, кто приехал с Гардениным, и просила Николая навестить ее, «вспомнить старую дружбу». Николай не сразу решил, что ему делать: он несколько испугался этого свидания, в груди у него застучало, как много лет тому назад.

— Вы, Рафаил Константиныч, не намерены пройтись к Переверзевым? Вот зовут...— сказал он, смущенно улыбаясь и вертя в руках записку.

— Собственно говоря, я избегаю бывать у них... Яков Ильич, конечно,

очень порядочный человек, но, признаюсь... Впрочем, если вы хотите...— Гарденин опять сделал любезное лицо и приподнялся.

Николай поспешил остановить его и направился один в дом управляющего. Дом этот был выстроен на месте прежнего обиталища Мартина Лукьяныча и, как все новое в усадьбе, был просторен, крепок и скучен. В передней дремал Степан, облысевший и седой, но с тем же непроницаемо-почтительным лицом и по-прежнему гладко выбритый. При входе Николая он вскочил, на мгновение утратил свой официальный вид и даже осклабился, когда Рахманный сказал: «Здравствуйте, Степан Максимыч! Узнаете?» — однако, ответивши: «Поми-луйте-с, как же не узнать-с!» — тотчас же вошел в свою лакейскую колею, принял тулупчик и почтительно доложил:

— Барыня приказали просить вас в гостиную.

— Вы, значит, Якову Ильичу теперь прислуживаете? — спросил Ни-колай, вскользь оглядывая себя в зеркало.

— Да-с... Барин из Петербурга привозят... Их превосходительство гене-ральша и совсем перестали заглядывать в вотчину-с.— В лице Степана опять мелькнуло что-то неофициальное.— Большие перемены, Николай Марти-ныч! — заключил он со вздохом.

Николай, в свою очередь, вздохнул и, подавляя волнение, направился в гостиную. Там было тесно от мягкой мебели, не слышно было шагов на пушистом ковре. Лампа с разрисованным абажуром разливала тусклый, бледно-розовый свет.

— Боже, как вы изменились, Николай Мартиныч! — послышался взвол-нованный голос.

Перед Рахманным стояла и протягивала ему руки очень красивая, очень бледная женщина, с каким-то тревожным блеском в глазах, с нервическою полуулыбкой. Она была стройна, нарядно одета, с золотую цепью на белой, как алебастр, руке, с вьющимися волосами на лбу.

— Да-с... Извините, пожалуйста, Вера Фоминишна, я вас и не разгля-дел, — пробормотал Николай. — Да, давненько-с не видались...

Они стояли друг против друга, пожимали друг другу руки... и не узнавали друг друга. Прежнее едва сквозило в том чудом и незнакомом, что наслои-лось за эти годы. Ей было странно, что этот неловкий, сутуловатый человек с худым лицом, давно потерявшим румянец, с клочковатою бородкой, с рас-трепанными усами, побелевшими от солнца, в каком-то смешно собравшемся пиджаке, — что это тот самый человек, который доставил ей некогда столько волнений, столько горя... О, неужели вот его, именно его, она любила?.. Неужели это и есть герой ее юности, ее девичьих грез, ее пленительных мечта-ний?.. А он усиливался восстановить образ прежней Веруси за чертами кра-сивой бледнолицей барыни с вьющимися волосами на лбу и никак не мог восстановить его.

Вера Фоминишна оправилась первая, усадила Николая, приказала подать чай, стала расспрашивать, как Николай живет, что делает, отчего не бывает в Гарденине... Про себя сказала, что страдает нервным расстройством, что несколько лет подряд ездит в Крым купаться, что несколько зим жила в Пе-тербурге с родными Якова Ильича, что школу давно принуждена была бро-сить, но все равно — учитель прекрасный и, конечно, гораздо лучше ее знает всякие педагогические приемы... Впрочем, о школе сказано было мимоходом и с какою-то странною торопливостью,— казалось, Вере Фоминишне не-приятно было говорить об этом; несравненно с большими подробностями она стала рассказывать, как великолепно и море, и Чатыр-даг, и Алупка, какие хорошие были картины на выставке, какая восхитительная опера «Евгений Онегин», хотя и об этом говорила точно по обязанности, притворно оживляясь, уснащая речь условными выражениями, являя вид искусственной развязности.

Николай слушал, опустив голову, смущенно перебирая пальцами, чувствуя, что попал совсем, совсем не на свое место... Иногда он цедил сквозь зубы: «Да-с... Это так... Надо полагать-с...» — и думал про себя: «Ах! сколь много утекло воды!.. Как изменилась Веруся!..» Его настроение действовало на хозяйку удручающим образом; она, в свою очередь, сознавала, что надо говорить о другом, о настоящем, и не могла переломить себя, начинала раздражаться, сердилась на Николая, что он не видит, как ей тяжело болтать всякий вздор, и не хочет помочь ей перейти к настоящему.

— Что ж это я?.. Кажется, вам слишком чужды такие темы! — дрогнувшим голосом воскликнула она, внезапно прерывая свой рассказ о том, как в лунную ночь прекрасна Алупка...

— Отчего же-с?.. Напротив... Мне очень любопытно-с... — солгал Николай. Правда была в том, что ему не были чужды такие темы, но не теперь и не в устах «Веруси».

— Ах, я решительно забыла, с кем говорю! — продолжала она, и губы ее сложились в саркастическую улыбку. — Вы по-прежнему верите в мужика, по-прежнему возводите его в перл создания?.. Не правда ли?.. О, как это далеко от лунных ночей и красоты Крыма!.. Вы говорите — школа! (Николай ничего не говорил.) Я ли не покладала в нее душу?.. Да одна ли школа?.. Вы знаете, вы сами подсмеивались над моим горячим отношением к дубу... Я ли не желала им добра?.. И что же, стоило мне выйти замуж, все, все изменилось!.. Скольким лицемерия хлынуло наружу!.. Скольким самого отвратительного холопства!.. Сплетни, гадости, интриги... Помилуйте, жена управителя!.. От нее все зависит!.. Она все может!.. О, тут-то я разгадала этого сфинкса, этого идола вашего!..

— Что вы!.. Бог с вами, Вера Фоминишна! — воскликнул Николай. Он никак не ожидал ни таких слов, ни таких признаний. Лицо Веры Фоминишны пылало, губы вздрагивали, глаза были наполнены слезами, вся она, казалось, была охвачена приступом какого-то горького и негодующего отчаяния. — Бог с вами!.. — повторил Николай, с невольным порывом жалости простирая руки.

— Погодите... Дайте мне высказаться... — Она приложила платок к губам, едва слышно всхлипнула и торопливо перевела стесненное дыхание. — О, я вижу, вижу!.. Осуждать легко, Николай Мартиныч, но понять... Ох, как немного охотников понимать!.. Я не ожидала вас встретить... Я слышала о вас и думала: зачем нам встречаться?.. А иногда думала: он все поймет!.. И вот битых два часа вы сидите с таким прокурорским лицом... Но раз уж свела судьба, я все скажу, Николай Мартиныч!..

— Это вы напрасно насчет прокурорского-то лица...

— Напрасно? Ну, хорошо. Значит, вы меня одобряете? Значит, довольны происшедшей во мне переменой, да?.. Эх, Николай Мартиныч, столько лжи, столько лжи на свете, что хоть на минуточку, на четверть часика погодим лгаты!.. Слушайте!.. Вы помните, какая я была?.. О, с каким умилением, с какою любовью вспоминаю я ту, прежнюю, наивную гимназисточку Верусю!.. И вы, конечно?.. И вы?.. Куда же она сгинула, Николай Мартиныч?.. Отчего сгинула?.. Давайте-ка разберем... Да по совести, по совести!.. Легко теперь швырять камнями... что ж, снаружи и действительно выходит, что променяла Веруся благородные мечты на обстановку да на красоты Крыма... Однако так ли, справедливо ли это? Справедливо одно, что я не смогла быть подвижницей... Да и где они, подвижницы-то? Разве Элиз Гарденина, которую я никогда не встречала? Вместе с честною работой я жаждала счастья, друга, я думала — жизнь не полна без этого... Ужели незаконная жажда, преступные мысли? Ужели счастье несомненно с честною работой?.. А вышло, что несомненно... Но поверьте, я не ожидала попасть в нервных барыни, поверьте!.. Вы скажете — в выборе я ошиблась? Вышла замуж не подумавши?.. Но кого я видела? В каких условиях выросла?.. Вы знаете, кроме вас, у меня не было героев... Что

уж, дело прошлое, все буду говорить... О, этот вечер в саду купца Еферова! О, этот разговор, от которого и теперь щемит сердце!.. А в мыслях Якова Ильича так все было ясно, его взгляды на жизнь так были убедительны... И вот что я еще думала: ежели без союзников, без силы, без власти я полезна в деревне, что же будет, когда явится сила?.. И думала: будет хорошо... Жизнь осмеяла мои расчеты... Людей я узнала лучше, это верно... я узнала, сколько таится подлости, лжи, притворства за этою маскою непосредственности, за этою патриархальной простотой... О, я хорошо узнала, Николай Мартиныч!.. Я знаю, что вы думаете иначе, — по глазам вашим вижу это... Пусть, я стою на своем. Нет эгоиста бессердечнее мужика!.. Отдайте ему все, все, сделайте нищим, ходите в лохмотьях, посвящайте ему безраздельно знания ваши, мысли, чувства, — он останется чужд признательности, он только скажет: «Так и следует!» Но если вы вздумаете совместить жизнь для него с жизнью для себя, — о, как он будет презирать вас, расточая льстивые слова, как будет пользоваться вашею силой, вашим влиянием, вашим положением в обществе и лгать без конца!.. Не думайте, что мне было легко сделать это открытие... Прежде чем убежать, я билась два года... Я вмешивалась в распоряжения мужа, ссорилась с ним, критиковала со слов прибегавших ко мне крестьян его реформы, его лояльность, его неукоснительность... И вообразите мой ужас: он всегда оставался прав, я — всегда виновата. Меня просили или о невозможном, или о том, что выгодно Андрону и невыгодно Агафону. Каждый просил за себя и клеветал на другого. Андрону нужно поместить сына в работники, — он докладывал, что нам нужно уволить Агафонов сына, потому что Агафонов сын украл барские вожжи. И во всем, во всем так!.. Сколько гадостей и сплетен я наслушалась!.. Сколько увидела вражды!.. Ах, лучше не вспоминать, лучше не говорить об этом... Я заболела... Муж услали меня на воды... Ну, что ж, Николай Мартиныч, бросайте в меня камень!

Она закрыла лицо и тихо заплакала. Николай не находил, что сказать. Почти каждое слово Веры Фоминишны возмущало его до глубины души; неправда этих слов, по его мнению, была такова, что даже возражений не стоило придумывать: язвительные, резкие, доказательные как дважды два — четыре, они составляли сами собою в голове Николая. Но он не произносил их; у него не доставало решимости «бить лежачего»; он видел, что перед ним глубокое и непоправимое несчастье.

— Голубушка, — сказал он растроганным голосом, — а наверху-то, в вашем-то мире, ужели хорошо, ужели по правде живут люди?

— Ах, как все противно, друг мой! Как все постыло... — тихо ответила Вера Фоминишна. Вызывающее выражение ее голоса и лица давно уже сменилось какою-то неизъяснимою печалью. — Но что делать? Куда деться?.. Во что уверовать?.. Вместо мыслей — чревоуращения какие-то, от праздных слов — претит, воздух напоен предательством, чувства заменились ощущениями и... глупость, глупость повсюду!.. Господи боже, не то мне не удается настоящих людей-то встречать?.. Деловитости куда как много, — вот хотя бы мой муж, — дряблости еще того больше, — и тоска, тоска!..

— Вот сынок у вас растет...

Она горько усмехнулась.

— Да... растет... Отец хочет за границей его воспитать... Специалист, говорит, будет хороший... Растет! А! Какой все вздор, если посмотреть глубже...

Николай только вздохнул, но опять не нашел, что сказать. Ему становилось все тяжелее сидеть в этой гостиной, слушать странные признания, ловить тень прошлого. Прошло еще полчаса. Возбуждение Веры Фоминишны сменилось усталостью: она едва разжимала губы; разговор опять пошел о посторонних вещах; фразы составляли трудно и медлительно. Наконец Николай поднялся и стал прощаться. Они расстались дружески, долго и крепко сжимали друг другу руки. Вера Фоминишна просила не забывать ее, Николай обещался.

В сущности, оба знали, что это их последнее свидание, и про себя радовались, что оно кончилось.

Как только Николай вышел, Вера Фоминишна в каком-то изнеможении упала в кресло и долго сидела, не двигаясь, с задумчивым лицом, с бессильно опущенными руками.

— Вера!.. — осторожно позвал Яков Ильич, просовывая голову в двери. Вера Фоминишна вздрогнула и рассеянно взглянула на него.

— Что вам нужно?

— Вы не сядете в винт? Винокур Карл Карлыч, Застера, я... Если не хотите, мы пошлем за сыроваром.

Вера Фоминишна подумала.

— Хорошо, — сказала она, делая страдальческую гримасу, — приду. Позовите, пожалуйста, Дашу. Мне нужно переодеться.

Ранним утром — в господском доме все еще спали — Николай пошел в деревню. Туман только что поднялся с земли и густою пеленой висел еще над тихими водами Гнилуши. Небо заволакивалось точно дымом. Серые кровли и коричневые стены усадьбы сливались в какую-то унылую гармонию с этим пасмурным утром. Было холодно, какая-то пронизывающая сырость насыщала воздух. Однообразный стук поршня доносился из винокурни. Охрипший свисток паровой молотилки призывал на работу.

Ближе к деревне Николай встретил оборванного человека, в картузе, заломленном набекрень, с синяком над бровью.

— Ваше степенство! Господин купец!.. Охмелиться мастеровому человеку! — провозгласил оборванец, с комической ужимкой вытягивая руки по швам. Николай дал. Оборванец рассыпался в благодарностях.

— Мы — медники, — говорил он, снова возвращаясь в деревню, — четвертой в месяц огребаем... Ловко-с?.. За всем тем Еремка Шашлов бреет нас со лба, солдатка Василиса — с затылка!.. Ха, ха, ха!.. Еремей — по кабацкой части, солдатка — по девичьей... Я теперь, например, закутил — все спущу, четвертой пополам расшибу: половину пропью, половину женский пол слопают... Ловко-с?.. Потому мы — медники. Прощенья просим! — Он свернул в переулочек.

В деревне выгоняли скотину. Длинная цепь стариков, ребятишек и баб стояла на меже, отделявшей барский выгон. «Что это значит?» — спросил Николай. Оказалось, выгон давно перестал быть «нейтральным» и цепь стерегла скотину. Какая-то не в меру бойкая коровенка успела прорваться... Невообразимый крик поднялся вдоль цепи... За коровой помчались и старые и малые... Но их уже предупредил верховой с зелеными выпушками на кафтане: размахивая нагайкой, он погнал корову на барский варок. Ругань, проклятия, божба так и повисли в мгlistом воздухе. «Чистая война!» — подумал Николай.

Во внешнем виде деревни не произошло особых перемен. Только прибавилось с десяток новых дворов да большинство старых покривились и почернели. Зато три-четыре избы резко выделялись своим великолепием. Одна была даже каменная, с фронтоном, с железной крышей, с ярко раскрашенными ставнями. Она принадлежала Максиму Евстифейчу Шашлову. Пунцовый кабацкий флаг победоносно развевался над нею. Отлично также отстроилась солдатка Василиса с помощью своего нового ремесла. Мужик Агафон, единолично захвативши отцовскую кубышку, воздвиг «связь» из соснового леса и в черной половине поселил брата Никитку, а в белой жил сам и принимал волостных, урядников, фельдшера и другую сельскую знать. По примеру покойника отца, Агафон ходил старостой. Павлик Гомозков, ныне поселенный писарь Павел Арсеньич, жил на задворках в новой избе, впрочем нисколько не походившей на «хоромы». Старик Арсений умер три года тому назад, и Павел тогда же разделился с Гараськой. Вопреки обычаю, Гараська остался жить в старой избе, меньшей брат выстроил себе новую с помощью Николая.

Николай довольно часто виделся с Павликом и главным образом от него узнавал гарденинские новости. Теперь ему хотелось посмотреть, как живет сам Павлик. Парень не жаловался на свою жизнь, за всем тем она показалась Николаю какою-то бесприютной. Повсюду заметно было отсутствие того порядка, который приносится в дом женскими руками и женским глазом.

— Жениться тебе надо, Павлик! — шутливо сказал Николай.

— Девки не найду по душе, Николай Мартиныч! — в тон ответил Павел, усердно раздувая покоробленный самоварчик и гремя посудой. — Всех наших девок винокурня попортила... — и добавил серьезно: — Такая мерзость пошла, не приведи бог!..

За чаем Павел с великою заботой сообщил Николаю, что чуть не половина деревни хочет идти на новые места.

— Так что же? Пожалуй, и дело задумали, — сказал Николай.

— Деваться, точно, некуда, это так. Мало того, в земле теснота — для души, по мужицкому выражению, тесно стало... Да кто сбивает-то? Брат Герасим да зять Гаврила. Они же и в ходоки называются. Рассудите-ка!.. Брат до того набаловался, столь остервенел, — я всего боюсь... — Павлик опасливо оглянулся и начал говорить вполголоса: — Слышали, об Иване Постном у отца Александра тройку лошадей увели?

— Ну?

— Сильное у меня подозрение, не миновала тройка брата Герасима да зятя Гаврилы...

— Не может быть!

— Право же, так!.. И деньги у них проявились, и, жаловалась невестка, купил брат Василисе шелковый сарафан... Откуда?.. Еще кое-что я заметил... Одним словом, их дело.

— Но куда сбыть? Тройка пропала со всем, с сбруей, с тарантасом. Кажется, кнут, и тот украли.

— Эге! Разве не знаете Гаврилу? Малый пройди свет! Всем штукам обучился в низовых городах. Ну, а теперь вот еще какой дошел до меня слухок, тоже невестка сказывала... Затесалось брату в башку братское гумно поджечь... Каково?.. И, право слово, подожжет!.. Ему что?.. Отчаянный!.. Хорошо. Вот, значит, эдакие-то молодцы и пойдут ходоками... Как полагаете, не порешат они мирские денежки в первом трактире?

— Конечно, порешат!

— Видите! А между тем мне никак не возможно противоборствовать... Кто я такой? Во-первых, брат, а тут еще и богачи-то наши тянут за них же... Еще бы! Чай, Максим-то Евстифеич ночей не спит из-за брата Герасима... Бойтся он его — страсть!.. С другой же стороны, и так сказать: будь они потверже, захоти по совести послужить миру — ходоки и впрямь на редкость. Особливо зять.

Николай задумался.

— Знаешь, Павлик, — сказал он, — тебе надо самому идти. И мой совет: бери с собой зятя. Переговори со стариками, да и приезжай ко мне: составим маршрутик, в книжках пороемся... Одним словом, ступай!

Павлик покраснел.

— Эх, Николай Мартиныч, меня-то давно манит! — воскликнул он. — Сплю и вижу пошататься по белу свету... Аль, думаете, сладко в яме-то сидеть? И притом, что говорить — одиночество больно наскучило. Но вот притча: стариков не уломаешь. Вот я и посельный писарь, да что толку? Человек-то я не бывалый.

— Ладно. Ты так старикам скажи: объявляется, мол, человек, дает мне денег на проход. Понял? От вас, мол, копейки не надо: давайте приговор, вот и все.

— Да где же человека-то такого сыщешь?

— Сыщу, не твоя забота. Вы тут живете впотьмах, не видите ничего.— Николай рассказал Павлику о своем знакомстве с Рафаилом Константиновичем, о том, что это за человек, с какими мыслями, с какими стремлениями, и сообщил, что думает достать у него денег на изыскание новых мест.— Непременно даст! А ежели и нет, во всяком разе найду: займу, да найду. Понял? Толкуй со стариками насчет приговора.

Радости Павлика не было границ. Он насилу овладел собою, когда разговор перешел на другое — о земском собрании, о книжках, об общественных гарденинских делах.

Воздух, казалось, насквозь был пронизан солнечным блеском; ни одно облачко не омрачило прозрачной лазури. В полях было пустынно и странно тихо. Редко-редко раздавались в вышине журавлиные крики. Даль развертывалась шире, чем всегда, горизонты открывались просторнее.

Что-то величавое было в этой тишине, что-то печальное в этом просторе. Курганы, степь синеющая, леса, одетые пестрою листвою и неподвижные, как во сне, журавлиные крики, тягучие и торжественные,— все внушало важные мысли; все отвлекало мечты от обыденных забот, от суетливой и беспокойной действительности.

Николай выехал из Гарденина, переполненный впечатлениями. Он думал о прежнем и о том, что видел теперь, думал о Верусе, о Рафаиле Константиновиче, о Павлике и, в связи со всем этим, вспоминал свою юность, свою судьбу, свою жизнь... Но мало-помалу степь завладела им, и то, что окружало его в степи, повелительно настроило его душу на иной лад. И с какой-то прежде не доступной ему высоты он стал думать не о своей жизни, а о жизни вообще, стал смотреть на события и на людей, которых вспоминал, как смотрит человек с берега на быстрые и однообразно убегающие воды... Все течет... Все изменяется!.. Все стремится к тому, что называют «грядущим»! И все «вечности жерлом пожрется», где нет никакого «грядущего»!.. И по мере того как Николай представлял себе эту беспрестанную смену жизни, эту беспокойную игру белого и черного, эту пеструю и прихотливую суматоху и это безразличие в загадочном «устье реки», — в нем затихало то ощущение горести, с которым он выехал из Гарденина, и вместе исчезало то радостное ощущение, с которым он думал о Павлике, о Рафаиле Константиныче, о том, что вот приедет домой, а у него жена, дети и все прекрасно.

А журавлиные крики раздавались ближе и торжественнее, и душа странно трепетала в ответ этим звукам. Что-то давно забытое мерещилось, даль манила к себе каким-то волнующим призывом, плакать хотелось, мучительная и беспредметная жалость загоралась в сердце...

Николай мокрыми от слез глазами посмотрел ввысь...

У, какой нестерпимый блеск и как жутко в этой беспредельной лазури!..

26 августа 1889 г.

Воронежский у., хутор на Грязнуше





ОБ А. И. ЭРТЕЛЕ И ЕГО РОМАНЕ

В конце минувшего века и начале века нынешнего имя писателя Александра Ивановича Эртеля пользовалось не меньшей известностью, чем имена таких его современников, как Глеб Успенский, В. Г. Короленко и даже А. П. Чехов и молодой И. А. Бунин. Его творчество и особенно роман «Гарденины» очень высоко ценил Лев Толстой.

В феврале 1901 года Горький, стремясь привлечь Эртеля к участию в одном из сборников, писал Бунину: «Сего — очень хотел бы просить, ибо — очень его ценю и люблю»¹.

В наше, советское время Александр Фадеев писал о лучшем эртелевском романе «Гарденины»: «Прекрасная книга! Почти вся пореформенная Россия дана в разрезе. Какой язык! У нас (Эртеля) не считают классиком, а так — писателем третьего, а может быть, четвертого ряда, — Мамин-Сибиряк считается повыше. И мало кто у нас знает Эртеля. А между тем такой книги, как «Гарденины», у Мамина-Сибиряка нет. Да что, — такой книги нет, например, у Золя. А сей уж куда превознесен!»²

Перечитывая роман Эртеля сегодня, убеждаешься в правоте Толстого, отметившего в своем предисловии к «Гарденинам», что каждая страница этого произведения дышит правдой и любовью к народной жизни, и что читателя не может не порадовать «удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык романа»³.

Характеризуя деятелей отечественной литературы, подобных Эртелю, Горький указывал, что «так называемые... «второ- и третьестепенные писатели» были велики своим честным и сердечным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе — святому делу их жизни»⁴. Бесконечно преданным родине, правдивым, честным писателем-народолюбом был и Александр Иванович Эртель.

Родился он в 1855 году в деревне Ксизово Задонского уезда Воронежской губернии, где его отец в течение 20-ти лет управлял помещичьим имением. Фамилию свою писатель получил от деда — Людвиг Эртеля, принадлежавшего к разорившейся берлинской бюргерской семье. 16-летним подростком попал Людвиг Эртель в армию Наполеона и в сражении под Смоленском был взят в плен. Русский офицер завез его в воронежскую деревню. Позднее Людвиг перешел в православную веру и назван был Александром Михайловичем. Побыв некоторое время домашним учителем в одном дворянском се-

¹ Горьковские чтения 1958—1959. М., Советский писатель, 1961, с. 19.

² Фадеев А. За тридцать лет. М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 857.

³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное изд.), т. 37. М., Гослитиздат, 1956, с. 243.

⁴ Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29. М., Гослитиздат, 1955, с. 88.

мействе, дед Эртеля затем стал управляющим помещичьими имениями. Эту «специальность» унаследовали у него сын, а затем и внук.

Мать Эртеля — Авдотья Петровна — выросла в барском доме (она была «незаконной» дочерью помещика и крепостной нянюшки). Она очень хотела, чтобы сын получил образование и по ее настоянию его готовили к поступлению в гимназию. Но как? «...Один раз, — рассказывает Эртель, — меня чему-то учил пьяный конторщик, другой раз... «гувернантка», девица из крепостных, но почему-то с институтским образованием; третий раз, когда я гостил у бабушки по матери, со мной занимались барчуки-правоведы».

Трудно сказать, удалось бы или нет Эртелю после такой «подготовки» выдержать вступительные экзамены. Отец круто изменил судьбу сына, решив сделать его своим помощником по управлению имением, находившимся в степной глуши. Так и не довелось будущему писателю где-либо поучиться — он не был ни школьником, ни гимназистом, ни студентом. «Для меня, — писал он, — книги были и низшим, и средним, и высшим учебным заведением...» Книги и — добавим мы — школа живой жизни, общение со множеством самых разных людей, близость к «простому» народу. «Я, — вспоминает о своих молодых годах Эртель, — был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах — везде, где собирался молодой деревенский народ. Я был в их глазах «Шаша» и «Сашка», но отнюдь не сын управителя и не Александр Иванович».

Скоро молодому Эртелю удалось освободиться от тяжелой отцовской опеки: он переехал в другое помещичье имение, заняв там место конторщика. Отсюда было недалеко до города Усмани, привлекевшего Эртеля обширной библиотекой и возможностью общения с интересными, культурными людьми. Библиотекой управляла дочь богатого усманского купца Федотова — Мария Ивановна. Эртель в нее страстно влюбился. Ему не минуло и двадцати лет, когда он стал женатым человеком.

Через полгода Эртель оставил место конторщика. На приданое жены и на деньги, которые дал отец, он арендовал участок земли. Эта затея оказалась, по его словам, «в высшей степени убыточная». «Приходилось жить бедно и в долг, продавать и закладывать вещи», — пишет Эртель об этой поре своих первых неудач. За ними последовали беды еще более серьезные и опасные.

В Усмани молодой Эртель встретился с известным писателем-народником П. В. Засодимским, приехавшим на время из Петербурга. «С первого нашего свидания, — вспоминал Засодимский, — можно сказать, с первых же слов, — он (Эртель. — К. Л.) внушил мне доверие к себе, и я близко познакомился с ним»¹.

Знакомство с П. В. Засодимским, перешедшее в дружбу, побудило Эртеля сделать первые шаги на писательском пути. Он послал своему другу в Петербург рассказ «Переселенцы» (назвав его в автобиографии своим «первым рассказиком») ² и «Письмо из Усманского уезда»³.

В 1878 году П. В. Засодимский открыл в Петербурге библиотеку для писателей и общественных деятелей. Он предложил Эртелю переехать с семьей в столицу и принять на себя заведование библиотекой. Принимая это предложение, Эртель не знал, что библиотека вскоре станет местом встреч революционных народников, которые будут хранить в ее шкафах запрещенную литературу. Не мог знать он и связанных с этим опасностей, которые его подстерегают.

Работа в библиотеке не только «свела», но и сдружила Эртеля с такими людьми, как Гл. И. Успенский, Вс. М. Гаршин, Н. Ф. Бажин, Н. Н. Златовратский. Зимой 1879—1880 года он «был представлен Гл. Успенским Тургеневу» и затем встречался с ним в «тесном кружке писателей», собиравшемся у Гл. Успенского.

Весной 1880 года Эртель тяжело заболел: сильнейшее кровотечение из легких заставило его более месяца пролежать в постели. В ту пору он узнал, что значит писа-

¹ З а с о д и м с к и й П. В. Из воспоминаний. М., 1908, с. 438.

² Он был напечатан в еженедельном журнале «Русское обозрение», 1878, № 3—4.

³ Впервые опубликовано в журнале «Слово», 1879, февраль.

тельская солидарность. И. С. Тургенев прислал к нему знаменитого терапевта С. П. Боткина. У его постели по очереди дежурили Гл. Успенский, П. Засодимский и другие литераторы.

По настоянию друзей Эртель уехал из Петербурга сначала в Усмань, а затем к матери на хутор, стоявший на речке Грязнуше. Здесь он стал быстро поправляться и снова смог работать с той страстностью и самозабвением, которые заставляли его забывать о постоянной нужде в деньгах, о жажде успеха и славы. «Когда я садился писать, — говорит Эртель, — все это уходило на задний план, и передо мною действительно вставала моя родина, сердце мое действительно горело любовью к ней и ненавистью к ее утеснителям и порабощателям. Мне не раз случалось и плакать с пером в руках, и переживать минуты глубокого умиления».

Три года выздоровевший Эртель живет в провинции и усиленно работает над продолжением цикла очерков и рассказов «Записки Степняка», изданного в 1883 году в двух томах.

В том же году осенью Эртель возвращается в Петербург и видит, что многое изменилось в среде народнической интеллигенции, с которой он сблизился до отъезда из столицы. Писателя охватило чувство разочарования, когда он увидел измелчание народничества, отступничество его лидеров от героических традиций «семидесятников», замену их теорией «малых дел» и все большее сближение со сторонниками буржуазного либерализма.

За связь с участниками политических кружков Эртель в апреле 1884 года был арестован и заточен в Петропавловскую крепость. Его пребывание в тюрьме сильно отягчали два обстоятельства: он ничего не знал о судьбе семилетней дочери, заболевшей дифтеритом (девочка умерла во время заключения Эртеля), и был совершенно не подготовлен к допросам. «Я, — вспоминает писатель, — не будучи посвящен во внутренние отношения революционеров, в их планы, в их положение, в их средства, не знал, что отвечать на допросах, и после такого-то ответа мучился, нужно ли было так отвечать».

В крепости к Эртелю вернулась и обострилась его старая болезнь — чахотка. Власти вынуждены были перевести его из каземата в дом предварительного заключения. Затем писателя выпустили на поруки, и он некоторое время жил в Москве, где познакомился с Л. Н. Толстым, до конца дней сохранив с ним добрые отношения.

Эртель очень дорожил доверием Толстого, его поддержкой в трудную пору жизни. С 1885-го до начала 1888-го года он отбывал ссылку в Твери, находясь под гласным полицейским надзором. В письме в Ясную Поляну, датированном 10 сентября 1885 года, прося Толстого прислать его сочинения, запрещенные цензурой, Эртель сообщает о себе: «...Дело в том, что мне лично в Москву «пути заказаны».

Как только истек срок ссылки, Эртель отправился в родные воронежские места и поселился на перешедшем к нему по наследству хуторе на Грязнуше. Здесь он отдает много сил и времени работе над художественными произведениями.

Весной 1890 года Эртель едет с семьей в Крым, чтобы приостановить легочный процесс, обострившийся у него после пребывания в «сыром каземате Петропавловки» и в ссылке. По возвращении из Крыма Эртель арендовал имение Емпелево в Воронежской губернии и прожил в нем с семьей шесть лет, близко наблюдая и изучая пореформенную деревенскую жизнь.

В 1891 году центральные губернии России постигло бедствие: засуха погубила посевы, в крестьянские избы пришел голод, а с ним — эпидемии. Вслед за Толстым, Чеховым, Короленко Эртель принял живое участие в сборе средств для помощи голодавшим крестьянам. Придавая большое значение культурно-просветительной деятельности среди народа, Эртель выстроил в селе Макарьеве школу, в которой обучалось 120 детей.

Быстро ухудшавшееся состояние здоровья заставило Эртеля несколько раз выезжать за границу для лечения. К этому времени все сильнее давала о себе знать материальная необеспеченность писателя и его семьи.

В 1896 году он принял на себя управление несколькими крупными помещичьими имениями, находившимися в разных губерниях. Для писательского труда у него оставалось все меньше времени.

Это была пора, когда Эртель окончательно определяет свои отношения с народниками: «...А народнические грезы,— писал он в 1898 году,— грезы, и больше ничего. У меня их очень-то много никогда не было, а теперь я излечился и от тех немногих, которые были».

Писатель отвергал и толстовское учение о личном нравственном самоусовершенствовании как пути к всеобщему освобождению. «...Приходится искать еще третьего пути,— писал он В. Г. Черткову в апреле 1895 года,— и пока я его еще не вижу, не нашел. Не могу также уйти и в искусство, что для некоторых тоже выход. Я его люблю лишь относительно, как средство, а не как цель».

Исключительной важности признание! Оно дает ключ для ответа на вопрос о том, почему Эртель в последнее десятилетие своей жизни перестал выступать в печати. Достаточно подробно он говорит об этом в письме к П. Ф. Николаеву, относящемся к началу марта 1897 года: «Писать потому, что *хочется*, потому, что требует того непобедимый художественный инстинкт, а иногда столь же непобедимый литературный зуд, я никогда не мог. Помимо сей слепой силы, мне всегда была нужна сознательная уверенность, что то, что я пишу,— ново и интересно, по крайней мере, для меня самого. И вот такой-то *уверенности* у меня теперь решительно нет».

За несколько лет до этих признаний — в письме к В. Г. Черткову от 22 августа 1891 года — Эртель рассказал о том, что его более всего тяготило: «То, что видишь вокруг и что читаешь в газетах, до такой степени надрывает сердце, до такой степени возбуждает жалость к одним, гнев к другим, что просто беда. Руки отваливаются писать что-нибудь, кроме одного, голова отказывается думать о чем-нибудь, кроме одного... Это одно — бедствия народа, равнодушие и неумелость тех, кто руководит и правит народом».

К надрывающим сердце писателя бедствиям народным прибавились его личные невзгоды: тяжелая болезнь, долги, тяжбы с кредиторами. Эртель рвался, боролся, страдал и — угасал.

17 февраля 1908 года Эртель скончался от паралича сердца в Москве. Его похоронили на старом кладбище Новодевичьего монастыря, рядом с могилой А. П. Чехова.

...Почти в каждой из серьезных работ, посвященных Эртелю, написанных и до Октября и в советское время, непременно говорится о душевной драме писателя. Смысл ее чаще всего видят в том же, в чем и смысл душевной драмы Глеба Успенского: в глубоком разочаровании народническим учением.

Однако смысл драмы, пережитой этими писателями, был глубже, шире, сложнее, чем разочарование в тех или иных идейных течениях 70—80-х годов. Его надо искать в поистине трагическом положении тех представителей русской разночинной интеллигенции, кто, живя в эпоху безвременья, не находил применения своим силам, испытывал жестокое разочарование в различных учениях, теориях, философских школах, стремившихся тогда завоевать место под солнцем.

Преодолев увлечения идеями народничества, толстовства, религиозных искателей истины, Эртель сохранил верность общедемократическим позициям, но уже не смог найти для себя место и дело, когда начался третий этап русского революционно-освободительного движения. Это не вина его, а беда, принесшая ему немало душевных мук, ставшая главной причиной его драмы.

Знакомство с творчеством Эртеля во многих отношениях интересно и плодотворно. Это не только путешествие в прошлый век, имеющее большое познавательное значение. Это и приобщение к образцам великолепного художественного мастерства: многокрасочному слову «Записок Степняка», ярким полотнам, запечатлевшим бурные годы пореформенной жизни России, и пластично вылепленным характерам в романах «Гарденины» (1889) и «Смена» (1891), чудесным картинам русской природы, придающим эртелевским произведениям лирический настрой, берущий читателя за душу в «Волхонской барышне» (1883) и других повестях.

Эртеля менее всего смущали упреки критиков в том, что он открыто выступал как тенденциозный писатель. Однако каждая идея, которую он защищал в своих произведениях, была не заимствованной, а соответствовала, как он говорил, его «собственному пониманию жизни». Прямым свидетельством этого служит история возникновения и разработки замысла крупнейшего произведения писателя — романа «Гарденины».

«Мне хотелось, — рассказывает о нем писатель, — изобразить в романе тот период общественного сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки новое мировоззрение, почти противоположное первоначальному».

Обдумывая способы развертывания фабулы романа, Эртель решил, что ему «придется представить длинный ряд бытовых картин из крестьянской жизни, из жизни дворни, купечества и, отчасти, духовенства и дворянства. Все вместе связано так называемым «героем» из разночинцев и судьбою помещицкой семьи Гардениных»¹.

Своеобразие главного героя, каким он виделся автору будущего романа, определяло и жанровую природу произведения. «...Роман непременно должен быть *политический*, — записывает Эртель в дневнике 1881 года. — Он *должен* иметь значение. И для этого в нем должны изображаться судьбы нашей интеллигенции. Главный герой — *Евдоким Николаич Рахманин*. И главная в нем задача»².

Уже в этой ранней характеристике замысла романа писатель подчеркивал, что его более всего занимала задача изображения новых явлений в социальной и идейной жизни русского общества на перевале его истории в пореформенную, предреволюционную эпоху.

...Нарушается привычный распорядок в доме генеральши Гардениной: каждый из членов ее семьи стремится жить по-своему. «Ну, времечко наступило!» — сокрушается старый дворецкий Климон. И этот мотив, прозвучавший в самом начале романа, проходит через многие его сцены и картины, в которых запечатлен «процесс ухода старых времен», прослеживаемый романистом на «отношениях и судьбах людей». Рухнула деспотическая власть старого управляющего именем Гардениных Мартина Лукьяныча — убежденного крепостника. Покончил с собой верный раб Гардениных конюший Капитон. Ушла в монастырь старая экономка, наушница и доносчица Фелицата Никаноровна.

Пришедший на смену Мартину Лукьянычу новый управляющий Переверзев заводит в барской «экономии» буржуазные порядки. Над похожим на крепость каменным домом кулака Максима Шашлова взвился кабацкий «флаг». Солдатка Василиса заводит в селе публичный дом.

История распадающейся семьи зажиточного крестьянина Веденя свидетельствует о быстрой гибели не только экономических, но и нравственных основ патриархальной деревни.

Кого из персонажей романа можно назвать его главным героем? О Николае Рахманном справедливо говорят исследователи творчества Эртеля: «Это был «не-герой», вернее — «герой безгеройного времени», в котором отразились черты интеллигенции, не связанной с революционным народничеством, «культурнической» и одновременно демократической по убеждениям»³.

В романе «Гарденины» смело противостоит старым порядкам и их защитникам разночинец-революционер Ефрем Капитоныч — студент петербургской медико-хирургической академии, проводящий в Гарденине всего несколько месяцев. Ефрем завидует близости Рахманного к крестьянам и к барским слугам. И в то же время Ефрем

¹ Русская мысль, 1911, № 9, с. 61.

² Там же, с. 52. Позднее, уже в пору создания романа, автор переименовал главного героя в Николая Рахманного.

³ История русского романа, в двух томах, т. 2. М.— Л., Наука, 1964, с. 494.

осуждает его за склонность к компромиссам, к постепенновским способам борьбы за свободу.

«Вы разве не думали об экономических условиях? — спрашивает Рахманного Ефрем. — Разве не лучше бороться с общими причинами разорения?..» Николай Рахманский уходит от ответа на прямо поставленный вопрос. Но из этого вовсе не следует, что то же самое делает и автор романа «Гарденины». Не будучи сторонником революционного пути преобразования общества, Эртель верил, что «в общественной жизни осуществится мысль о политической свободе, о национализации земли, о низвержении деспотизма».

Убеждение в неотвратимости глубоких перемен в социальном строе России звучит в этих словах из незавершенной автобиографии Эртеля, которую он составлял в конце 80-х годов¹.

Выступая за мирные пути перехода страны к новому жизнеустройству, писатель стремился быть правдивым, воссоздавая образы участников революционно-освободительного движения. Человек решительный, волевой, целеустремленный, которому присуща «беззаветная деятельность в искании правды», — руководствуется, как символом веры, одной идеей: «Надо бороться!» Таков в романе «Гарденины» Ефрем, убежденность которого в необходимости и справедливости революционного дела увлекает юную наследницу гарденинского состояния Лизу, решившую порвать со своей семьей, с дворянским классом, становящуюся спутницей Ефрема в его трудной, полной опасностей жизни профессионального революционера.

В пору работы над романом «Гарденины» Эртель жаловался на стеснительные цензурные придирки, предвидя которые он не мог сколько-нибудь определенно и подробно рассказать о революционной деятельности Ефрема и его товарищей в России и в эмиграции.

...Наш разговор об А. И. Эртеле хочется закончить еще одним свидетельством его современника. Оно датируется 1929 годом и принадлежит перу И. А. Бунина. В вышедшей в 1950 году в Париже книге его «Воспоминаний» есть такая страница об Эртеле: «Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен, — начинает Бунин свои воспоминания. — Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь в общем он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, а в некоторых отношениях даже больше»².

По наблюдениям Бунина, «кипучая внутренняя и внешняя деятельность» Эртеля определялась «свободой и ясностью ума и широтой сердца»³. Точно такое же впечатление о человеке и писателе Эртеле возникает и у современных нам читателей его произведений. Таковы сила и власть подлинного таланта, оставляющего заметные следы в «памяти сердца» тех, кто знакомится с его творчеством.

К. Ломунов

¹ См.: Письма А. И. Эртеля. М., 1909, с. 30.

² См.: Б а б о р е к о А. Бунин и Эртель.— Русская литература, 1961, № 4, с. 151.

³ Т а м ж е.

СОДЕРЖАНИЕ

ГАРДЕНИНЫ, ИХ ДВОРНЯ, ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

- I. Экскурсия швейцара Григория в область сравнительной физиологии.— Откровенные излияния барчука.— «Орел».— Нервы и сон Элиз Гардениной.— Утро ее превосходительства.— Верноподданное письмо.— «Серебряный чай».— Успокоительные отчеты.— Случай на Сенной и неудачная поездка дворецкого Климона Алексеича на студенческую квартиру.— «Ну, времечко наступило!» 5
- II. Вотчина господ Гардениных.— Обход Капитона Аверьяныча.— Варфоломеичева ворожба.— Кролик.— Как разбирались подначальные люди в настроении конюшего.— Любимец Фадей.— Дети Волшебницы.— Коннозаводские мечты и идеалы.— Любезный.— Федоткин случай 23
- III. Выезд управителя.— Степь.— Урок истории.— Урок кулачного права.— «Авось крепостных-то теперь нету!» — Кое-что из философии.— Точки в жизни «вольного» человека.— Гнев на милость.— Весна и весенние мысли.— «Столпы» Гарденина; о Николае; о системе хозяйства, о «вольтерьянце» Агее и о том, как писалось увещание студенту медицинской академии 36
- IV. Хутор на Битюке.— Агафокл Ерник.— Как он проводил время.— Арефий Сукновал и столяр Иван Федотыч.— Разговор о «превозвышенном».— Николай оскорбляется.— Философия Ивана Федотыча.— «Делатели mzды, страха и любви».— Повесть о том, как Иван Федотыч женился на Татьяне 50
- V. О Николае.— Говение.— Разъяснение молитвенных слов и правда ли, что кобыла Отрадная «забалтывается».— Стихотворство.— Потомственный гражданин и кавалер.— О старых и новых сюжетах; о том, что все — из обезьяны, и о валухах.— Как встретились в Гарденине XVIII век с XIX.— Страшный грех.— Мечты, страхи, ведьма и неудавшийся подвиг мученичества 65
- VI. Праздник наездника Онисима Варфоломеича и его многочисленного семейства.— Фантастические мечты о плисовых штанах, о гарнитуровом платье и о прочем.— Удар.— Наездник Ефим Цыган.— Отъезд и бунт Онисима Варфоломеича и мужик Агафон 79

VII. Новый Николаев гардероб.— Торжественный выезд Николая.— Краткое наставление о светских приличиях.— Недовольный мужик Андрон.— Базарный день.— Гаврюшка — разудала голова и его соблазны.— «В казаки!» — Домашний совет.— Из-за сапоги и шапки.— Семейственное побоище.— Распадение дореформенных крепей 89

VIII. За чаем в доме Рукодеева.— Степной миллионер, исправник и Филипп Филиппыч Каптюзников.— Невинные беседы, в том числе — о государственном преступнике Мастакове, и как строится земская дорога.— «Постучим, господа!» — Явление Николая.— «Прибежище горьких дум».— Стуколка, Анна Евдокимовна, таинственные прогулки и скандал.— Исповедь.— Счастливый Николай и благополучный Федотка 100

IX. Утренние мысли старосты Веденя.— Донос управителю.— «Не прежние времена!» — Униженная и посрамленная унтером Ерофеичем власть.— Мирская сходка.— Картузы.— Зачатки кляузного красноречия.— Каверза дяди Ивлия и разгром старосты Веденя 115

X. Жизнь Николая в степи.— Его мысли, чувства, порывы и ощущения.— В куренях.— Шутка друга Кирюшки.— Любовные приключения Николая с голодной девкой Машкой.— Неожиданное общение с народом.— Обедня.— Проповедь.— Арефий Сукновал лазутчиком.— Отец Григорий и отец Александр, и кто из них лучше? 127

XI. Перед грозой.— Вечер в садике Ивана Федотыча.— Обличитель не по разуму.— О Константином соборе.— О том, можно ли убить человека.— О том, что есть смерть.— О Фаустине Премудром, бесе Велиаре и Маргарите Прекрасной.— Сладка власть греха.— Как повар Лукич прощал обидчиков.— Гроза.— Искушение Ивана Федотыча.— Утром 140

XII. Как ждали и как встретили холеру в народе и в застольной.— Николай являет из себя отпетого человека.— Чем занимается Иван Федотыч.— Татьяна.— Страх Агафокла.— «Понурая женщина в черном».— Мысли старые как мир.— Убийство.— Смерть «афеиста».— Радикалка Веруся, становой Фома Фомич и следственное производство.— Встреча 156

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Что случилось осенью и зимой в Гарденине и чем кончилось дело об Агафокле.— Новые песни и новые наряды.— Вечера в конторе.— Казус с приказчиком Елистратом.— Мартин Лукьяныч переменяет мнение о некоторых людях.— Столичный человек, анекдоты и фортуна.— Чем занимался и в чем изменился Николай.— Поездка его в Воронеж.— Встреча с Верусей Турчаниновой.— Категорическое письмо 181

II. Роща и сад.— На навозе.— Свидание.— Николай «развивает» Груньку, и что из этого вышло.— Засада Алешки Козлихина.— Перспектива порки.— «Писатель» Н. Рах — й и обаяние печатного слова.— Приезд «студента императорской академии».— Мать и отец.— Дворян приветствует Ефрема.— «Ау! Глебушка!» — Приезд господ.— Новые птицы — новые песни 196

III. Что чувствовал Капитон Аверьяныч к Ефиму Цыгану.— Как он проверял свои чувства.— Ефремова несостоятельность.— Сборы на бега.— Кузнец Ермил.— Степь и странности Ефима Цыгана.— «Зовет!» — Лошадиный город.— Новости.— Княжой наездник Сакердон Ионыч.— Хреновская Далила 211

IV. Письмо к другу	223
V. Федоткин рай.— Федоткино искушение.— Конспирация.— Сакердон Ионыч о добром старом времени.— Отчего была дурная кровь в Ефиме Цыгане? — Лошадиная психология.— Апофеоз крепостного права.— Кузнец-тайновидец.— Маринкины чары.— Карьера Наума Нефедова.— Засада.— «Без сорока шести!» . .	233
VI. Ярмарка.— «Столичный человек».— Куклы, патриотическая пляска и девица Марго.— Мытарства Онисима Варфоломеича.— По адресу железной дороги.— Сонное царство.— Дети и маляр Михеич.— Знакомство Николая с Ильєю Финогонычем	245
VII. Богобоязненный патриот Псой Антипыч Мальчиков.— Капитон Аверьяныч в Хреновом.— Ефим Цыган грубит.— Доклады кузнеца и Федотки о сверхъестественном.— Как провел Капитон Аверьяныч время накануне бегов.— Бега.— Праздник и трагедия во дворе отставного фельдфебеля Корпылева	258
VIII. Прерванное свидание.— Николаев проект.— Первая жертва на гарденинскую школу.— Что услышала Элиз из окна своей комнаты.— Что обдумала Фелицата Никаноровна.— Управитель в гневе от двух неприятностей.— О неуместном вмешательстве Ефрема в Федоткины дела.— Ссора, смерть, похороны.— Как отец с сыном простились навсегда	270
IX. Ненастье, скука и удручающие предчувствия в Гарденине.— В ком разочаровался Николай.— Чем кончился его роман с Грунькой.— «Все льет!» — Солнечный луч.— Дебют Веруси Турчаниновой.— Управитель поддается влияниям.— Ошеломляющее событие и Григорий Евлампых.— Смерть Капитона Аверьяныча	285
X. Что натворила самовольная смерть.— Одинокие.— Об Иване Федотыче и о любви.— «Угадайте!» — Объяснение.— Кляузы.— Брат с сестрою.— Интимные прожекты.— Чтение своих и чужих писем.— Отъезд Николая.— Внезапная новость	296
XI. Яков Ильич Переверзев.— Как проводил время Мартин Лукьяныч в ожидании своего увольнения.— Новый управитель принимает вотчину.— Его переговоры с крестьянами.— Бунт и усмирение.— Дневник Веруси	305
XII. Как Николай ответил Верусе.— Его жизнь у купца Ефорова.— «Утопис-ты».— Предприимчивая девица.— Николай в силках.— Свидание его с Верусей, и кулак ли Переверзев.— Илья Финогоныч разрубает узел.— Веруся замужем . .	316
XIII. — «Не стоит жить!» — Что об этом думал Иван Федотыч.— Его исповедь.— Театральный поступок Николая.— Гарденинские новости.— Татьяна.— «Братья».— Душеполезный подвиг.— Еще сын на отца.— Конец	328
XIV. Десять лет спустя	341
<i>К. Ломунов. Об А. И. Эртеле и его романе</i>	358

Эртель А. И.

Э82 Гарденины, их дворня, приверженцы и враги: Роман/Послел. К. Ломунова.— М.: Худож. лит., 1987.— 366 с.

В романе «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889) — лучшим произведении русского писателя А. И. Эртеля (1855—1908) — широко отражена жизнь России конца XIX в.: гибель патриархальной деревни, становление буржуазных порядков, поиски передовой русской интеллигенцией путей к улучшению жизни народа.

Э 4702010100-144 16-87
028(01)-87

ББК 84Р1

Александр Иванович Эртель

ГАРДЕНИНЫ,
ИХ ДВОРНЯ,
ПРИВЕРЖЕНЦЫ
И ВРАГИ



Редактор
С. Чулков
Художественный редактор
А. Моисеев
Технические редакторы
Е. Полонская
Корректоры
Л. Гостева, И. Ломанова

ИБ № 4634

Сдано в набор 19.05.86. Подписано в печать 02.12.86. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,81. Усл. кр.-отт. 58,64. Уч.-изд. л. 33,51. Тираж 850 000 экз. (I-й з-д 1—250 000 экз.). Изд. № I-2432. Заказ 572. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93



МОСКВА
· ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ·